Александр Солженицын

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ


ИНКОМ НВ



Лагерь на Калужской заставе. 1946

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Малое собрание сочинений

Том 6

Архипелаг ГУЛАГ

1918–1956

Опыт художественного исследования

III – IV



МОСКВА 1991

ББК 84Р7
С60

Печатается по тексту Собрания сочинений А. И. Солженицына
Вермонт — Париж, YMCA-PRESS, 1980, тома 5—7

Тексты «Малого собрания сочинений» подготовлены
Издательским центром «Новый мир» совместно с автором

Книга издана при содействии Московского
инновационного коммерческого банка

Солженицын А.
С60 Архипелаг ГУЛАГ, т. 2.— М.: ИНКОМ НВ, 1991
432 с.

С $\frac{4702010201-003}{A10(03)-91}$ **Без объявл.**

ISBN 5-85060-030-2

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ

«Только ети можут нас понимать,
хто кушал разом с нами с одной чашки»

(из письма гуцулки, бывшей зэчки)

То, что должно найти место в этой части,— неоглядно. Чтобы дикий этот смысл простичь и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях — в тех самых, где и один срок нельзя дотянуть без льготы, ибо изобретены лагеря — на истребление.

Оттого: все, кто глубже черпанул, полнее изведал,— те в могиле уже, не расскажут. *Главного* об этих лагерях уже никто никогда не расскажет.

И непосилен для одинокого пера весь объём этой истории и этой истины. Получилась у меня только щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни. Но к счастью, ещё несколько выплыло и выплывет книг. Может быть, в «Колымских рассказах» Шаламова читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния.

Да вкус-то моря можно отведать и от одного хлебка.

Глава 1

ПЕРСТЫ АВРОРЫ

Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро Архипелага.

Когда наши соотечественники услышали по Би-Би-Си, что М. Михайлов обнаружил, будто концентрационные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас (да и на Западе) были поражены: неужели так рано? неужели уже в 1921 году?

Конечно же нет! Конечно Михайлов ошибся. В 1921 они уже были на полном ходу, концентрационные (они даже оканчивались уже). Гораздо вернее будет сказать, что Архипелаг родился под выстрелы «Авроры».

А как же могло быть иначе? Рассудим.

Разве Маркс и Ленин не учили, что старую буржуазную машину принуждения надо сломать, а взамен неё тотчас же создать новую? А в машину принуждения входят: армия (мы же не удивляемся, что в начале 1918 создана Красная Армия); полиция (ещё раньше армии обновлена и милиция); суд (с 24 ноября 1917); и — тюрьма. Почему бы, устанавливая диктатуру пролетариата, должны были умедлить с новым видом тюрьмы?

То есть, вообще медлить с тюрьмой, старой ли, новой, было никак нельзя. Уже в первые месяцы после октябрьской революции Ленин требовал: «самых решительных драконовских мер поднятия дисциплины». * А возможны ли драконовские меры — без тюрьмы?

Что нового способно здесь внести пролетарское государство? Ильич нащупывал новые пути. В декабре 1917 он предположительно выдвигает набор наказаний такой: «конфискацию всего имущества... заключение в тюрьму, отправку на фронт и принудительные работы всем ослушникам настоящего закона». ** Стало быть, мы можем отметить, что ведущая идея Архипелага — принудительные работы, была выдвинута в первый же послеоктябрьский месяц.

Да над будущей карательной системой не мог не задумываться Владимир Ильич, ещё мирно сидя с другом Зиновьевым среди пахучих разливских сенокосов, под жужжание шмелей. Ещё тогда он подсчитал и успокоил нас, что: «подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наёмных рабов дело настолько, сравнительно, лёгкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше

---

* Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 36, стр. 217.

** Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 35, стр. 176.

крови... обойдётся человечеству гораздо дешевле», чем предыдущее подавление большинства меньшинством. *

И во сколько же обошлось нам это «сравнительно лёгкое» внутреннее подавление от начала октябрьской революции? По подсчётам эмигрировавшего профессора статистики И. А. Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной рождаемости,— оно обошлось нам в... 66,7 миллионов человек (без этого дефицита — 55 миллионов).

Шестьдесят шесть миллионов! Пятьдесят пять!

Свой или чужой — кто не онемеет?

Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатаются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить. (Уже сейчас появилось несколько исследований с использованием утаённой и раздёрганной советской статистики — но страшные тьмы погубленных наплывают те же.)

Тут бы интересны ещё такие цифры. Каковы штаты были в *центральном* аппарате страшного III отделения, протянутого ременною полосой черезо всю великую русскую литературу? При создании — 16 человек, в расцвете деятельности — 45. Для захолустнейшего губЧК — просто смешная цифра. Или: как много политзаключённых застала в царской Тюрьме Народов февральская революция? (Надо помнить, что в «политзаключённые» в прежней России зачислялись также экспроприаторы, налётчики, политические убийцы.) Где-то все эти цифры есть. Вероятно, в одних Крестах таких заключённых было более полусотни, да в Шлиссельбурге 63 человека, да несколько сотен вернулись из сибирской ссылки и каторги (из Александровского централа было освобождено около двухсот), да ещё ведь и в каждой губернской тюрьме сколько их томилось! А интересно — сколько? Вот цифра для Тамбова, взятая из тамошних горячих газет. Февральская революция, распахнувши дверь тамбовской тюрьмы, нашла там политзаключённых... 7 (семь) человек. В иркутской гораздо больше — 20. (Излишне напоминать, что от февраля до июля 1917 за политику не сажали, а после июля сидели тоже единицы и крайне привольно.)

Однако вот беда: первое советское правительство было коалиционным, часть наркоматов пришлось-таки отдать левым эсерам, и в том числе по несчастию попал в их руки наркомат юстиции. Руководствуясь гнилыми мелкобуржуазными представлениями о свободе, этот НКЮ привёл наказательную систему едва ли не к развалу, приговоры оказались слишком мягкими, и почти не использовали передовой принцип принудработ. В феврале 1918 председатель СНК товарищ Ленин потребовал увеличить число мест заключения и усилить уголовные репрессии **, а в мае, уже переходя к конкретному руководству, он указал ***, что за взятку надо давать не ниже десяти лет тюрьмы и *сверх того* десять лет принудительных работ, то есть всего двадцать. Такая шкала могла первое время казаться пессимистической: неужели через 20 лет

* Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 33, стр. 90.
** Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 54, стр. 391.
*** Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 50, стр. 70.

ещё понадобятся принудработы? Но мы знаем, что принудработы оказались очень жизненной мерой и даже через 50 лет они весьма популярны.

Тюремный персонал ещё много месяцев после Октября оставался всюду царский, только назначили комиссаров тюрем. Обнаглевшие тюремщики создали свой *профсоюз* («союз тюремных служащих») и установили в тюремной администрации — выборное начало! Не отставали и заключённые: у них тоже было внутреннее самоуправление. (Циркуляр НКЮ от 24.4.18: заключённых, где только возможно, привлекать к самоконтролю и самонаблюдению.) Такая арестантская вольница («анархическая распущенность») естественно не соответствовала задачам диктатуры передового класса и плохо способствовала очистке земли русской от вредных насекомых. (Да чего уж, если не были закрыты тюремные церкви! — и наши, советские, арестанты по воскресеньям охотно туда ходили, хоть бы и для разминки.)

Конечно, и царские тюремщики не вовсе были потеряны для пролетариата, как никак — это была специальность, для ближайших целей революции важная. А поэтому предстояло «отбирать тех лиц из тюремной администрации, которые не совсем заскорузли и отупели в нравах царской тюрьмы (а что значит «не совсем»? а как это узнаешь? забыли «Боже, царя храни»?) и могут быть использованы для работы по новым заданиям». * (Например, чётко отвечают «так точно», «никак нет»? или быстро поворачивают ключ в замке?) Конечно, и сами тюремные здания, камеры, решётки и замки, хотя по виду и оставались прежними, но это только для поверхностного глаза, на самом же деле они получили *новое классовое содержание*, высокий революционный смысл.

И всё же навык судов до середины 1918 года по инерции приговаривать всё «к тюрьме» да «к тюрьме» замедлял слом старой государственной машины в её тюремной части.

В середине 1918, а именно 6 июля, произошло событие, значение которого не всеми понимается, событие, поверхностно известное как «подавление мятежа левых эсеров». А между тем это был переворот, вряд ли уступающий 25-му октября. 25 октября была провозглашена власть Советов Депутатов, оттого и названная *советской* властью. Но первые месяцы эта новая власть ещё сильно замутнялась представительством в ней также и других партий, кроме большевиков. Хотя коалиционное правительство создано было только из большевиков и левых эсеров, однако в составе Всероссийских съездов (II, III, IV) и избранных на них ВЦИКов ещё попадались и представители других социалистических партий — эсеров, социал-демократов, анархистов, народных социалистов. От этого ВЦИКи носили нездоровый характер «социалистических парламентов». Но в течение первых месяцев 1918 года рядом решительных мер (поддержанных левыми эсерами) представители других социалистических партий либо исключались из ВЦИКа (его же решением, своеобразная парламентская процедура), либо не допускались быть в него избранными. Последней инородной партией, ещё составлявшей третью долю парламента (V Съезда Советов), были левые эсеры. Пришло наконец время освободиться и от них. 6 июля 1918 года они были поголовно все исключены из ВЦИКа

* Сборник «Советская Юстиция», М., 1919, стр. 20.

и СНК. Тем самым власть Советов Депутатов (по традиции называемая советской) перестала противостоять воле партии большевиков и приняла формы Демократии Нового Типа.

Только с этого исторического дня и могла по-настоящему начаться перестройка старой тюремной машины и создание Архипелага. *

А направление этой желаемой перестройки было понятно давно. Ведь ещё Маркс в «Критике Готской программы» указал, что единственное средство исправления заключённых — производительный труд. Разумеется, как объяснил гораздо позже Вышинский, «не тот труд, который высушивает ум и сердце человека», но «чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев». ** Почему наш заключённый не должен точить лясы в камере или книжечки почитывать, а должен трудиться? Да потому что в Республике Советов не может быть места вынужденной праздности, этому «принудительному паразитизму», который мог быть при паразитическом же царском строе, например в Шлиссельбурге. Такое арестантское безделье просто противоречило бы основам трудового строя Советской Республики, зафиксированным в конституции 10.7.18: не трудящийся да и не ест. Стало быть, если б заключённые не были привлечены к работе, они по новой конституции должны были быть лишены пайки.

Центральный Карательный Отдел НКЮ, созданный в мае 1918 (и возглавленный уже большевиками, левые эсеры после Брестского мира вышли из правительства), тотчас погнал тогдашних зэков на работу («начал организовывать производительный труд»). Но законодательно это было объявлено уже после июльского переворота, именно 23 июля 1918 года — во «Временной инструкции о лишении свободы» (она просуществовала всю гражданскую войну до ноября 1920): *«Лишённые свободы и трудоспособные обязательно привлекаются к физическому труду».*

Можно сказать, что от этой вот Инструкции 23 июля 1918 (через девять месяцев после Октябрьской революции) и пошли лагеря, и родился Архипелаг. (Кто упрекнёт, что роды были преждевременны?)

Необходимость принудительного труда заключённых (и без того, впрочем, всем уже ясная) была ещё пояснена на VII Всесоюзном Съезде Советов: «труд — наилучший способ парализовать развращающее влияние... бесконечных разговоров заключённых между собой, в которых более опытные просвещают новичков». ***

Тут вскоре подоспели и коммунистические субботники, и тот же НКЮ призвал: «необходимо приучить [заключённых] к труду коммунистическому, коллективному». **** То есть уже и дух коммунистических субботников перенести в *принудительные* лагеря!

---

* На суконно-пламенном языке Вышинского: «единственный в мире имеющий подлинное всемирно-историческое значение процесс создания на развалинах буржуазной системы тюрем, этих «мёртвых домов», построенных эксплуататорами для трудящихся,— новых учреждений с новым социальным содержанием». Сборник «От тюрем к воспитательным учреждениям», изд-во «Советское законодательство», М., 1934, стр. 5.

** «От тюрем к воспитательным учреждениям». Сборник под ред. Вышинского. «Советское законодательство», М., 1934, стр. 10.

*** Отчёт НКЮ VII Всесоюзному Съезду Советов, стр. 9.

**** Материалы НКЮ, вып. VII, стр. 137.

Так эта поспешная эпоха нагородила сразу много задач, разбираться в которых досталось десятилетиям.

Основы «исправтруд-политики» были на VIII съезде РКП/б/ (март 1919) включены в новую партийную программу. Полное же организационное оформление лагерной сети по Советской России строго совпало с первыми коммунистическими субботниками (12 апреля — 17 мая 1919 года): постановления ВЦИК о лагерях принудительных работ состоялись 15 апреля 1919 и 17 мая 1919. * По ним лагеря принудработ создавались (усилиями ГубЧК) непременно в каждом губернском городе (по удобству — в черте города, или в монастыре, или в близкой усадьбе) и в некоторых уездах (пока — не во всех). Лагеря должны были содержать каждый не менее трёхсот человек (дабы трудом заключённых окупались и охрана, и администрация) и находиться в ведении Губернских Карательных Отделов. Однако лагеря принудработ всё же не были первыми лагерями в РСФСР. Читатель уже несколько раз прочёл в трибунальских приговорах (Часть Первая, гл. 8) — «концлагерь» и счёл, быть может, что мы оговорились? что мы неосмотрительно используем более позднюю терминологию? Нет.

В августе 1918 года, за несколько дней до покушения на него Ф. Каплан, Владимир Ильич в телеграмме к Евгении Бош ** и пензенскому губисполкому (они не умели справиться с крестьянским восстанием) написал: «сомнительных (не «виновных», но *сомнительных* — А. С.) запереть в концентрационный лагерь вне города». *** А кроме того: «...провести беспощадный массовый террор...» (это ещё не было декрета о терроре).

А 5 сентября 1918, дней через десять после этой телеграммы, был издан Декрет СНК о Красном Терроре, подписанный Петровским, Курским и В. Бонч-Бруевичем. Кроме указаний о массовых расстрелах в нём в частности говорилось: «обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путём изолирования их в *концентрационных лагерях»*. ****

Так вот где — в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома — был найден и тотчас подхвачен и утверждён этот термин — концентрационные лагеря — один из главных терминов XX века, которому предстояло широкое международное будущее! И вот когда — в августе и сентябре 1918 года. Само-то слово уже употреблялось в 1-ю мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны. Перенос значения понятен: концентрационный лагерь для пленных не есть тюрьма, а необходимое предупредительное сосредоточение их. Так и для сомнительных соотечественников предлагались теперь внесудебные предупредительные сосредоточения. Энергичному ленинскому уму, увидев мысленно колючую проволоку вокруг неосуждённых, сподручно было найти и нужное слово — концентрационные!

* Собрание Узаконений РСФСР за 1919, № 12, стр. 124 и № 20, стр. 235.

** Этой забытой теперь женщине была вручена тогда (по линии ЦК и ЧК) судьба всей Пензенской губернии.

*** Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 50, стр. 143—144.

**** Собрание Узаконений РСФСР за 1918, № 65, статья 710.

Впрочем, глава реввоентрибуналов так и пишет: «Заключение в концентрационные лагеря получает характер изоляции военнопленных.» * То есть откровенно: по праву захвата, все черты военных действий — только против своего народа.

И если лагеря принудительных работ НКЮ вошли в класс «общих мест заключения», то концлагеря никак не были «общим местом», но содержались в прямом ведении ЧК для *особо-враждебных элементов* и для *заложников*. В концлагеря в дальнейшем попадали правда и через трибунал, но само собою лились не осуждённые, а лишь *по признаку враждебности*. ** За побег из концлагеря срок увеличивался (тоже без суда) в д е с я т ь р а з ! (Это ведь звучало тогда: «десять за одного!», «сто за одного!») Стало быть, если кто имел пять лет, бежал и пойман, то срок его автоматически удлинялся до 1968 года. За второй же побег из концлагеря полагался расстрел (и, конечно, применялся аккуратно).

На Украине концентрационные лагеря были созданы с опозданием — только в 1920 году.

Глубоко сидели лагерные корешки, только потеряли мы их места и следы. О бóльшей частн первых концлагерей нам уже никто не расскажет. Лишь по последним свидетельствам ещё неумерших тех первых концлагерников можно выхватить что-то н спасти.

Излюбили тогда власти устраивать концлагеря в бывших монастырях: крепкие замкнутые стены, добротные здания и — пустуют (ведь монахи — не люди, их всё равно вышвыривать). Так, в Москве концлагеря были в Андрониковом монастыре, Новоспасском, Ивановском. В петроградской «Красной газете» от 6 сентября 1918 читаем, что первый концентрационный лагерь «будет устроен в Нижнем Новгороде, в пустующем женском монастыре... *В первое время* предположено отправить в Нижний Новгород в концентрационный лагерь 5 тысяч человек» (курсив мой — А. С.).

В Рязани концлагерь учредили тоже в бывшем женском монастыре (Казанском). Вот что о нём рассказывают. Сидели там купцы, священники, «военнопленные» (так называли взятых офицеров, не служивших в Красной армии). Но н — неопределённая публика (толстовец И. Е-в, о чьём суде мы уже знаем, попал сюда же). При лагере были мастерские — ткацкая, портновская, сапожная н (в 1921 так и называлось уже) — «общие работы», ремонт и строительство в городе. Выводили под конвоем, но мастеров-одиночек, по роду работы, выпускали бесконвойно, и этих жители подкармливали в домах. Население Рязани очень сочувственно относилось к *лишенникам* («лишённые свободы», а не заключённые официально назывались они), проходящей колонне подавали милостыню (сухари, варёную свёклу, картофель) — конвой не мешал принимать подаяния, и лишенникн делили всё полученное поровну. (Что ни шаг — *не наши* обычаи, не наша идеология.) Особенно удачливые лишенники устраивались по специальности в учреждения (Е-в — на железную дорогу) — и тогда получали пропуск для хождения по городу (а ночевать в лагере).

* К. Х. Данишевский. «Революционные Военные Трибуналы». Издание Реввоентрибунала Республики, М., 1920, стр. 40.

** Сборник «От тюрем...».

Кормили в концлагере так (1921): полфунта хлеба (плюс ещё полфунта выполняющим норму), утром и вечером — кипяток, среди дня — черпак баланды (в нём — несколько десятков зёрен и картофельные очистки).

Украшалась лагерная жизнь с одной стороны доносами провокаторов (и арестами по доносам), с другой — драматическим и хоровым кружком. Давали концерты для рязанцев в зале бывшего благородного собрания, духовой оркестр лишенников играл в городском саду. Лишенники всё больше знакомились и сближались с жителями, это оказывалось уже нетерпимо,— и тут-то стали «военнопленных» высылать в Северные Лагеря Особого Назначения.

Урок нестойкости и несуровости концентрационных лагерей в том и состоял, что они находились в окружении гражданской жизни. Оттого-то и понадобились особые северные лагеря. (Концентрационные упразднены после 1922.)

Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше вглядеться в её переливы.

По окончании гражданской войны созданные Троцким две трудармии из-за ропота задержанных солдат пришлось распустить — и тем роль лагерей принудительного труда в структуре РСФСР естественно усилилась. К концу 1920 в РСФСР было 84 лагеря в 43 губерниях. * Если верить официальной (хотя и засекреченной) статистике, там содержалось в это время 25 336 человек и кроме того ещё 24 400 «военнопленных гражданской войны». ** Обе цифры, особенно последняя, кажутся сильно преуменьшенными. Однако, если учесть, что сюда не входят заключённые в системе ЧК, где *разгрузками тюрем,* потоплениями барж и другими видами массовых уничтожений счёт много раз начинался с ноля и снова с ноля,— может быть эти цифры и верны. В дальнейшем они наверстались.

Ранние лагеря принудительных работ представляются нам сейчас какой-то неосязаемостью. Люди, которые в них сидели, как будто ничего никому не рассказали — свидетельств нет. Художественная литература, мемуары, говоря о военном коммунизме, упоминают расстрелы и тюрьмы, но ничего не пишут о лагерях. Нигде даже между строчками, нигде за текстом они не подразумеваются. Где были эти лагеря? Как назывались?.. Как выглядели?..

Инструкция от 23 июля 1918 имела тот решительный (всеми юристами отмечаемый) недостаток, что в ней ничего не было сказано о классовой дифференциации заключённых, то есть, что одних заключённых надо содержать лучше, а других хуже. Но в ней был расписан порядок труда — и только поэтому мы можем кое-что себе представить. Рабочий день был установлен — 8 часов. Сгоряча, по новинке, решено было за всякий труд заключённых, кроме хозработ по лагерю, платить... (чудовищно, перо не может вывести) ...100% по расценкам соответствующих профсоюзов. (По конституции заставляли работать, но и платить соби-

* Центральный Государственный Архив Октябрьской Революции, фонд 393, опись 13, дело 1 в, лист 111.

** ЦГАОР, фонд 393, опись 13, дело 1 в, лист 112.

рались по конституции, ничего не скажешь.) Правда, из заработка вычиталась стоимость содержания лагеря и охраны. Для «добросовестных» была льгота: жить на частной квартире, а в лагерь являться лишь на работу. За «особое трудолюбие» обещалось досрочное освобождение. А в общем, подробных указаний о режиме не было, в каждом лагере было по-своему. «В период строительства новой власти и принимая во внимание *сильное переполнение мест заключения* (курсив наш — А. С.), нельзя было думать о режиме, когда всё внимание было направлено на разгрузку тюрем». * Прочтёшь такое — как вавилонскую клинопись. Сколько сразу вопросов: что делалось в тех бедных тюрьмах? «Наши тюремные порядки безобразны... Самое краткосрочное заключение превращается в мучение.» ** И от каких же социальных причин такое переполнение? И понимать ли «разгрузку» как расстрелы, или как рассылку по лагерям? И что значит — нельзя было думать о режиме? — значит, Наркомюст не имел времени охранить заключённого от произвола местного начальника лагеря, только так можно понять? Инструкции о режиме не было, и в годы *революционного правосознания* каждый самодур мог делать с заключённым, что хотел??

Из скромной статистики (всё из того же сборника «От тюрем...») узнаём: работы в лагерях были в основном чёрные. В 1919 только 2,5% заключённых работали в кустарных мастерских, в 1920 — 10%. Известно также, что в конце 1918 Центральный Карательный Отдел (а названьице-то! по коже пробирает) хлопотал о создании земледельческих колоний. Известно, что в Москве было создано из заключённых несколько «ударных» бригад по ремонту водопровода, отопления и канализации в национализированных зданиях Москвы. (И эти, очевидно бесконвойные, арестанты бродили с гаечными ключами, паяльниками и трубами по Москве, по коридорам учреждений, по квартирам тогдашних больших людей, вызванные по телефону их жёнами для ремонта,— а вот же не попали ни в одни мемуары, ни в одну пьесу, ни в один фильм.) А если таких специалистов в заключении не оказывалось? Можно предположить, что их *подсаживали.*

Дальнейшие сведения о тюремно-лагерной системе, какой она была в 1922 году, нам даёт счастливо сохранившийся отчёт X Съезду Советов начальника всех мест заключения РСФСР товарища Е. Ширвиндта. *** В этом году впервые были объединены все места заключения наркомюста и НКВД (кроме *специальных мест заключения ГПУ)* — в единый ГУМЗак (Главное Управление Мест Заключения) и переданы под крыло товарища Дзержинского. (Имея под другим крылом места заключения ГПУ, он с ненасытностью хотел возглавлять и эти все.) ГУМЗак объединил 330 мест заключения с общим числом лишённых свободы — 80 — 81 тысяча,— подросло сравнительно с 1920 годом, «в нынешнем году констатируется постоянный рост населения мест заключения». Но из этой же брошюры узнаём (стр. 40), что вместе с ГПУ

* Материалы НКЮ, 1920, выпуск VII.

** Данишевский. «Революционные Военные Трибуналы». Издание Реввоентрибунала Республики, М., 1920, стр. 39.

*** РСФСР. Главное Управление Местами Заключения НКВД. «Пенитенциарное дело в 1922 году». Москва, Типография Московской Губернской Таганской Тюрьмы.

никогда не было заключённых меньше 150 тысяч, а порой доходило до 195 тысяч. «Население мест заключения становится всё более устойчивым» (стр. 10), «процент числящихся за ревтрибуналами не только не падает, но проявляет определённую тенденцию к росту» (стр. 13). А в местах недавних народных волнений — в центрально-чернозёмных губерниях, в Сибири, на Дону и Северном Кавказе, число подследственных составляет 41—43% от всех заключённых, что свидетельствует о хорошей перспективе роста лагерей.

В систему ГУМЗака в 1922 году входят: исправительно-трудовые дома (сиречь — срочные тюрьмы), дома предварительного заключения (сиречь — следственные), пересыльные, карантинные, изоляционные тюрьмы (Орловская «не в состоянии вместить всех трудноисправимых», и возобновлены «Кресты», так славно распахнутые в феврале 1917), сельскохозяйственные колонии (с корчёвкой кустарников и пней, вручную), трудовые дома для несовершеннолетних и — концентрационные лагеря. Развитое же пенитенциарное дело! В тюрьмах «на каждые 5 мест приходится с лишком 6 человек, причём имеется много таких домов, где на одно место приходится 3 и более человек» (стр. 8).

Узнаём о зданиях (тюремных и лагерных): пришли в такой упадок, что не удовлетворяют даже основным санитарным требованиям, «в такую негодность, что... целые корпуса и даже целые исправдома пришлось закрыть (стр. 17). О питании. «В 1921 места заключения были в тяжёлом положении: на заключённых не было достаточного количества пайков». С 1922 из-за перехода на местные бюджеты «материальное положение мест заключения надо считать почти катастрофическим» (стр. 2), местные губисполкомы даже отказывают в полной выдаче пайка заключённым. В начале года на 150—195 тысяч заключённых Госплан отпустил 100 тысяч пайков, нормы питания сокращались, некоторые продукты не выдавались совсем (три четверти заключённых получали менее 1500 калорий), а с 1 декабря 1922 все места заключения, кроме 15, имеющих общегосударственное значение, вовсе сняты с пайкового довольствия. «Заключённые голодают» (стр. 41).

Государство хотело, хотело иметь Архипелаг, только нечем было его кормить!

Расценки за работы — уже сниженные. «Снабжение вещевым довольствием было крайне неудовлетворительно... Надо ожидать, что оно примет катастрофический характер» (стр. 42). «Недостаток топлива испытывается почти повсеместно.» Смертность за октябрь 1922 составила по ГУМЗаку не менее 1%. Это значит, за зиму предстояло потерять больше 6% — а то и 10%?

Не могло это не отразиться и на охране. «Большинство надзора буквально бежит со службы, а некоторые спекулируют и входят в сделки с заключёнными» (стр. 43) — и сколькие же их ещё обворовывают! «Сильный рост должностных преступлений среди сотрудников, толкаемых на то голодом.» Многие перешли на лучше оплачиваемую работу. «Имеются исправдома, где остались только начальник и один надзиратель» (можно представить, какой негодящий),— и «приходится к обязанностям надзора привлечь самих заключённых из числа образцовых».

И какую же надо было иметь дзержинскую силу духа и веру в ком-

мунистическое наказательное дело, чтоб этот вымирающий Архипелаг не распустить по домам, но вытягивать в светлое будущее!

И что ж? К октябрю 1923, уже в начале безоблачных годов НЭПа (и довольно далеко ещё до *культа личности*) содержалось: в 355 лагерях — 68 297 лишённых свободы, в 207 исправдомах — 48 163, в 105 домзаках и тюрьмах — 16 765, в 35 сельхозколониях — 2 328 и ещё 1 041 несовершеннолетних и больных. *

И это всё — без лагерей ГПУ! Радостный рост! Нытики посрамлены. Партия опять оказалась права: заключённые не только не умерли, но наросло их чуть не в два раза, а мест заключения — и больше, чем в два, не рухнули.

Есть и другая выразительная статистика: переуплотнение лагерей (число заключённых росло быстрее, чем организация лагерей). На 100 штатных мест приходилось в 1924 — 112 заключённых, в 1925 — 120, в 1926 — 132, в 1927 — 177. ** Кто сам *сидел*, хорошо понимает, каков лагерный быт (место на нарах, миски в столовой или телогрейки), если на 1 место приходится 1,77 заключённого.

Развитием лагерной системы развернулась смелая «борьба с тюремным фетишизмом» всех стран мира и в том числе прежней России, где ничего не могли придумать, кроме тюрем и тюрем. («Царское правительство, превратившее в одну огромную тюрьму всю страну, с каким-то утончённым садизмом развивало свою тюремную систему». ***)

Хотя до 1924 и на Архипелаге всё ещё недостаточно «простых трудколоний». В эти годы перевешивают «закрытые места» заключения, да не уменьшатся они и после. (В докладе 1924 Крыленко требует увеличить число изоляторов специального назначения — изоляторов для не-трудящихся и для *особо-опасных из числа трудящихся* (каким, очевидно, и окажется потом сам Крыленко). Эта его формулировка так и вошла в Исправительно-трудовой кодекс 1924 года.)

А на пороге «реконструктивного периода» (значит — с 1927 года) «роль лагерей... — что бы вы думали? теперь-то, после всех побед? — *...возрастает* — против наиболее опасных враждебных элементов, вредителей, кулачества, контрреволюционной агитации». ****

Итак, Архипелаг не уйдёт в морскую пучину! Архипелаг будет жить!

Как при сотворении всякого Архипелага происходят где-то невидимые передвижки важных опорных слоёв прежде, чем станет перед нами картина мира,— так и тут происходили важнейшие перемещения и переназвания, почти недоступные нашему уму. Вначале первозданная неразбериха, местами заключения руководят три ведомства: ВЧК (т. Дзержинский), НКВД (т. Петровский) и НКЮ (т. Курский); в НКВД — то ГУМЗак (Главное Управление Мест Заключения, сразу после Октября 1917), то ГУПР (Главное Управление Принудительных Работ), то снова ГУМЗак; в НКЮ — Тюремное Управление (декабрь 1917), затем Цент-

---

* ЦГАОР, фонд 393, опись 39, дело 48, листы 13, 14.

** А. А. Герцензон. «Борьба с преступностью в РСФСР», Юриздат, М., 1928, стр. 103.

*** Сборник «От тюрем...», стр. 431.

**** И. Л. Авербах. «От преступления к труду», под ред. Вышинского. Изд-во «Советское законодательство», 1936.

ральный Карательный Отдел (май 1918) с сетью губернских карательных отделов и даже съездами их (сентябрь 1920), затем облагозвученный в Центральный Исправительно-Трудовой Отдел (1921). Разумеется, такое рассредоточение не служило к пользе карательно-исправительного дела, и Дзержинский добивался единства управления. Кстати, тут произошло мало кем замеченное сращение НКВД с ВЧК: с 16 марта 1919 Дзержинский стал по совместительству также наркомом внутренних дел. А в 1922, как уже сказано, он добился передачи к себе в НКВД и всех мест заключения из НКЮ (25.6.1922).

Параллельно тому шла перестройка и лагерной охраны. Сперва это были войска ВОХР (Внутренней Охраны Республики), затем ВНУС (Внутренней Службы), в 1919 они соединились с корпусом ВЧК *, и председателем их Военного Совета стал Дзержинский же. (И тем не менее, тем не менее, до 1924 поступали жалобы на многочисленность побегов, на низкое состояние дисциплины работников. **) Лишь в июне 1924 декретом ВЦИК-СНК в корпусе Конвойной Стражи введена военная дисциплина и укомплектование через Наркомвоенмор. ***

Ещё тому параллельно создаётся в 1922 Центральное Бюро Дактилоскопической регистрации и Центральный Питомник служебных и розыскных собак.

А за это время ГУМЗак СССР переназывается в ГУИТУ СССР (Главное Управление Исправительно-Трудовых Учреждений), а затем и в ГУИТЛ ОГПУ (Главное Управление Исправительно-Трудовых Лагерей), и Начальник его одновременно становится Начальником Конвойных войск СССР.

И сколько ж это волнений! И сколько ж это лестниц, кабинетов, часовых, пропусков, печатей, вывесок!

А из ГУИТЛа, сына ГУМЗака, и получился-то наш ГУЛаг.

* Журнал «Власть Советов», 1919, № 11, стр. 6—7.
** ЦГАОР, ф. 393, оп. 47, д. 89, л. 11.
*** ЦГАОР, ф. 393, оп. 53, д. 141, лл. 1, 3, 4.

Глава 2

АРХИПЕЛАГ ВОЗНИКАЕТ ИЗ МОРЯ

На Белом море, где ночи полгода белые, Большой Соловецкий остров поднимает из воды белые церкви в обводе валунных кремлёвских стен, ржаво-красных от прижившихся лишайников — и серо-белые соловецкие чайки постоянно носятся над Кремлём и клекочат.

«В этой светлости как бы нет греха... Эта природа как бы ещё не доразвилась до греха»,— так ощутил Соловецкие острова Пришвин. *

Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыбными озёрами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда.

Приходили ледники и уходили, гранитные валуны натеснялись вкруг озёр; озёра замерзали соловецкою зимнею ночью, ревело море от ветра и покрывалось ледяною шугой, а где схватывалось; полыхали полярные сияния в полнеба; и снова светлело, и снова теплело, и подрастали и толщали ели, квохтали и кликали птицы, трубили молодые олени — кружилась планета со всей мировой историей, царства падали и возникали,— а здесь всё не было хищных зверей и не было человека.

Иногда тут высаживались новгородцы и зачли острова в Обонежскую пятину. Живали тут и карелы. Через полста лет после Куликовской битвы и за полтысячи лет до ГПУ пересекли перламутровое море в лодчёнке монахи Савватий и Зосима и этот остров без хищного зверя сочли святым. С них и пошёл Соловецкий монастырь. С тех пор поднялись тут Успенский и Преображенский соборы, церковь Усекновения на Секирной горе, и ещё два десятка церквей, и ещё два десятка часовен, скит Голгофский, скит Троицкий, скит Савватиевский, скит Муксалмский, и одинокие укрывища отшельников и схимников по дальним местам. Здесь приложен был труд многий — сперва самих монахов, потом и монастырских крестьян. Соединились десятками каналов озёра. В деревянных трубах пошла озёрная вода в монастырь. А самое удивительное — легла (XIX век) дамба на Муксалму из неподымных валунов, как-то уложенных по отмелям. На Большой и Малой Муксалме стали пастись тучные стада, монахи любили ухаживать за животными, ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи. ** Огороды растили

* И только сами монахи показались ему для Соловков грешными. Был 1908 год, и по тогдашним либеральным понятиям невозможно было вымолвить о духовенстве одобрительно. А нам, прошедшим Архипелаг, те монахи пожалуй и ангелами покажутся. Имея возможность есть «от пуза», они в Голгофско-Распятском скиту даже рыбу, постную пищу, разрешали себе лишь по великим праздникам. Имея возможность привольно спать, они бодрствовали ночами и (в том же скиту) круглосуточно, круглогодно, кругловременно читали псалтырь с поминовением всех православных христиан, живых и умерших. Как предчувствовали, что будет там дальше.

** Специалисты истории техники говорят, что Филипп Колычев (возвысивший голос против Грозного) внедрил в XVI веке технику в сельское хозяйство Соловков так, что и через три века не стыдно было бы повсюду.

плотную белую сладкую капусту (кочерыжки — «соловецкие яблоки»). Все овощи были свои, да все сортные, и свои цветочные оранжереи, даже розы. А то вызревали и бахчи. Развились рыбные промыслы — морская ловля и рыбоводство в отгороженных от моря «митрополичьих садках». С веками и с десятилетиями свои появились мельницы для своего зерна, свои лесопильни, своя посуда из своих гончарных мастерских, своя литейка, своя кузница, своя переплётная; своя кожевенная выделка, своя каретная и даже электростанция своя. И сложный фасонный кирпич и морские судёнышки для себя — всё делали сами.

Однако, никакое народное развитие ещё никогда не шло, не идёт и будет ли когда-либо идти? — без сопутствования мыслью военной и мыслью тюремной.

Мысль военная. Нельзя же каким-то беззрассудным монахам просто жить на просто острове. Остров — на границе Великой Империи и, стало быть, надо воевать ему со шведами, с датчанами, с англичанами, и, стало быть, надо строить крепость со стенами восьмиметровой толщины и воздвигнуть восемь башен, и бойницы проделать узкие, а с колокольни соборной обеспечить наблюдательный обзор **(фотография 1).** (И пришлось-таки монастырю стоять против англичан в 1808 и в 1854, и выстоять, а против никоновцев в 1667 предал Кремль царскому боярину монах Феоктист, открыв тайный ход.)

Мысль тюремная. Как же это славно — на отдельном острове да стоят добрые каменные стены. Есть куда посадить важных преступников, и охрану с кого спросить есть. Душу спасать мы им не мешаем, а узников нам постереги. (Сколько вер разбило в человечестве это тюремное совместительство иных христианских монастырей.)

И думал ли о том Савватий, высаживаясь на святом острове?..

Сажались сюда еретики церковные, сажались и еретики политические. Тут сидел Авраамий Палицын (и умер тут); дядя Пушкина П. Ганнибал — за сочувствие к декабристам. Уже в глубокой старости был посажен сюда последний кошевой Запорожского войска Калнишевский и после долгого срока освободился, будучи старше ста лет.

Но тех всех, однако, почти можно по именам перечесть. *

На древнюю историю соловецкой монастырской тюрьмы уже в советское, уже в лагерное время Соловков наброшена была накидка модного мифа, которая, однако, обманула создателей справочников и исторических описаний,— и теперь мы в нескольких книгах можем прочесть, что соловецкая тюрьма была пыточной; что тут были и крюки для дыбы, и плети, и каление огнём. Но всё это — принадлежности доелизаветинских следственных тюрем или западной инквизиции, никак не свойственные русским монастырским темницам вообще, а примысленные сюда исследователем недобросовестным да и несведущим.

Старые соловчане хорошо помнят его — это был *шпынь* Иванов, по лагерному прозвищу «антирелигиозная бацилла». Прежде он состоял

* Государственная тюрьма в Соловках существовала с 1718. В 80-х годах XIX века командующий войсками С.-Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович, посетив Соловки, нашёл воинскую команду там совершенно излишней и убрал солдат с Соловков. С 1903 соловецкая тюрьма прекратила своё существование. (А. С. Пругавин. «Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством». Издание «Посредника», стр. 78, 81)

службой при архиепископе Новгородском, арестован за продажу церковных ценностей шведам. На Соловки попал в 1925 и заметался, как уйти от общих работ и от гибели. Он специализировался по антирелигиозной пропаганде среди заключённых, конечно стал и сотрудником ИСЧ (Информационно-Следственная Часть, так откровенно и называлась). Но больше того: руководителей лагеря он взволновал предположениями, что здесь зарыты монахами многие клады,— и так создали под его началом Раскопочную Комиссию. Много месяцев эта комиссия копала,— увы, монахи обманули психологические расчёты антирелигиозной бациллы: никаких кладов они на Соловках не зарыли. Тогда Иванов, чтобы с почётом выйти из положения, принялся истолковывать подземные хозяйственные, складские и оборонные помещения — как тюремные и пыточные. Деталей пыток, естественно, не могло сохраниться за столько столетий, но уж крюк (для подвески туш) конечно свидетельствовал, что здесь была дыба. О XIX веке труднее было обосновать, почему никаких следов мучительства не осталось,— и так было заключено, что «с прошлого века режим соловецкой тюрьмы значительно смягчился». «Открытия» антирелигиозной бациллы очень приходились в цвет времени, несколько утешили разочарованное начальство, были помещены в лагерном журнале «Соловецкие острова», потом отдельно отпечатаны в соловецкой типографии — и так с успехом задымили историческую истину. (Затея тем более уместная, что Соловецкий процветающий монастырь был в большой славе и уважении по всей Руси ко времени революции.)

Но когда власть перешла в руки трудящихся,— что ж стало делать с этими злостными тунеядцами монахами? Послали туда комиссаров, социально-проверенных руководителей, монастырь объявили совхозом и велели монахам меньше молиться, а больше трудиться на пользу рабочих и крестьян. Монахи трудились, и та поразительная по вкусу селёдка, которую они ловили благодаря особому знанию мест и времени, где забрасывать сети, отсылалась в Москву на кремлёвский стол.

Однако обилие ценностей, сосредоточенных в монастыре, особенно в ризнице, смущало кого-то из прибывших руководителей и направителей: вместо того, чтобы перейти в трудовые (их) руки, ценности лежали мёртвым религиозным грузом. И тогда в некотором противоречии с уголовным кодексом, но в верном соответствии с общим духом экспроприации нетрудового имущества, монастырь был подожжён (25 мая 1923 года) — повреждены были постройки, исчезло много ценностей из ризницы, а главное — сгорели все книги учёта, и нельзя было определить, как много и что именно пропало. *

Не проводя даже никакого следствия, что́ подскажет нам революционное правосознание (нюх?) — кто может быть виноват в поджоге монастырского добра, если не чёрная монашеская свора? Так выбросить её на материк, а на Соловецких островах сосредоточить Северные Лагеря Особого Назначения! Восьмидесятилетние и даже столетние монахи умоляли с колен оставить их умереть на «святой земле», но с пролетарской непреклонностью вышибли их всех, кроме самых необходимых:

* И на этот пожар тоже ссылался «антирелигиозная бацилла», объясняя, почему так трудно теперь найти вещественно прежние каменные мешки и пыточные приспособления.

артели рыбаков *, да специалистов по скоту на Муксалме; да отца Мефодия, засольщика капусты; да отца Самсона, литейщика; да других подобных полезных отцов. (Им отвели особый от лагеря уголок Кремля со своим выходом — Сельдяными воротами **(ф. 2)**. Их назвали *трудовой коммуной*, но в снисхождение к их полной одурманенности оставили им для молитв Онуфриевскую церковь на кладбище.)

Так сбылась одна из любимых пословиц, постоянно повторяемая арестантами: свято место пусто не бывает. Утих колокольный звон, погасли лампады и свечные столпы, не звучали больше литургии и всенощные, не бормотался круглосуточный псалтырь, порушились иконостасы (в Преображенском соборе оставили) — зато отважные чекисты в сверхдолгополых, до самых пят, шинелях, с особо-отличительными соловецкими чёрными обшлагами и петлицами и чёрными околышами фуражек без звёзд, приехали в июне 1923 года созидать образцово-строгий лагерь, гордость рабоче-крестьянской Республики.

Концентрационные лагеря, хотя и классовые, к тому времени были признаны недостаточно строгими. Уже в 1921 году были основаны, в ведении ЧК, Северные Лагеря Особого Назначения — СЛОН. Первые такие лагеря возникли в Пертоминске, Холмогорах и близ самого Архангельска. ** Однако, эти места были, видимо, признаны трудными для охраны, не перспективными для сгущения больших масс заключённых. И взоры начальства естественно были переведены по соседству на Соловецкие острова — с уже налаженным хозяйством, с каменными постройками, в двадцати — сорока километрах от материка, достаточно близко для тюремщиков, достаточно удалённо для беглецов, и полгода без связи с материком — крепче орешек, чем Сахалин.

Что значит *Особое Назначение*, ещё не было сформулировано и разработано в инструкциях. Но первому начальнику соловецкого лагеря Эйхмансу разумеется объяснили на Лубянке устно. А он, приехав на остров, объяснил своим близким помощникам.

* * *

Сейчас-то бывших зэков да даже и просто людей 60-х годов рассказом о Соловках может быть и не удивишь. Но пусть читатель вообразит себя человеком чеховской и послечеховской России, человеком Серебряного Века нашей культуры, как назвали 1910-е годы, *там* воспитанным, ну пусть потрясённым гражданской войной,— но всё-таки привыкшим к принятым у людей пище, одежде, взаимному словесному обращению,— и вот тогда да вступит он в ворота Соловков — в Кемперпункт. *** Это — пересылка в Кеми, унылый, без деревца, без кустика, Попов остров, соединённый дамбой с материком. Первое, что всту-

---

* Их убрали с Соловков лишь около 1930 — и с тех пор прекратились уловы: никто больше не мог той селёдки в море найти, как будто она совсем исчезла.

** Журнал «Соловецкие острова», 1930, № 2—3, стр. 55, из доклада начальника УСЛОН товарища Ногтева в Кеми. Когда теперь экскурсантам показывают в устьи Двины так называемый «лагерь правительства Чайковского», надо знать, что это и есть один из первых чекистских «северных лагерей особого назначения».

*** По-фински это место называется Вегеракша, то есть «жилище ведьм».

пивший видит в этом голом, грязном загоне — карантинную роту (заключённых тогда сводили в «роты», ещё не была открыта «бригада»), одетую... *в мешки!* — в обыкновенные мешки: ноги выходят вниз как из-под юбки, а для головы и рук делаются дырки (ведь и придумать нельзя, но чего не одолеет русская смекалка!). Этого-то мешка новичок избежит, пока у него есть своя одежда, но ещё и мешков как следует не рассмотрев, он увидит легендарного ротмистра Курилку.

Курилко (или Белобородов ему на замен) выходит к этапной колонне тоже в длинной чекистской шинели с устрашающими чёрными обшлагами, которые дико выглядят на старом русском солдатском сукне — как предвещение смерти. Он вскакивает на бочку или другую подходящую подмость и обращается к прибывшим с неожиданной пронзительной яростью: «Э-э-эй! Внима-ни-е! Здесь республика не со-вец-ка-я, а соловец-ка-я! Усвойте! — нога прокурора ещё не ступала на соловецкую землю! — и не ступит! Знайте! — вы присланы сюда не́ для исправления! Горбатого не исправишь! Порядочек будет у нас такой: скажу «встать» — встанешь, скажу «лечь» — ляжешь! Письма писать домой так: жив, здоров, всем доволен! точка!..»

Онемев от изумления, слушают именитые дворяне, столичные интеллигенты, священники, муллы да тёмные среднеазиаты — чего не слыхано и не видано, не читано никогда. А Курилко, не прогремевший в гражданской войне, но сейчас, вот этим историческим приёмом вписывая своё имя в летопись всей России, ещё взводится, ещё взводится от каждого своего удачного выкрика и оборота, и ещё новые складываются и оттачиваются у него сами. *

И любуясь собой и заливаясь (а внутри, может быть, со злорадством: вы, штафирки, где́ прятались, пока мы воевали с большевиками? вы думали в шёлке отсидеться? так вытащены сюда! теперь получайте за свой говённый нейтралитет!),— Курилко начинает учение:

— Здравствуй, первая карантинная рота!..— (Должны отрывисто крикнуть: «Здра!») — Плохо, ещё раз! Здравствуй, первая карантинная рота!.. Плохо!.. Вы должны крикнуть «здра!» — чтоб на Соловках, за проливом было слышно! Двести человек крикнут — стены падать должны!! Снова! здравствуй, первая карантинная рота!

Проследя, чтобы все кричали и уже падали от крикового изнеможения, Курилко начинает следующее учение — бег карантинной роты вокруг столба:

— Ножки выше!.. Ножки выше!

* История Курилки вызывает интерес. Возможно, когда-нибудь будут пытаться установить его личность. В революционные годы посильно было и принятие чужого чина и чужой фамилии. Но вот два следа, данные мне читателями, на всякий случай. Полковник Курилко командовал ещё до 1914 года 16 Сибирским стрелковым полком; к концу войны был контуженный генерал с золотым оружием, Георгием и многими орденами. Сын его Игорь ещё кадетом 1 Московского кадетского корпуса летом 1914 и 1915 ездил на фронт, воевал, награждён георгиевской медалью, затем крестом; весной 1916 кончил ускоренный курс Александровского училища, прапорщик. Другой след: полковник Курилко был одним из возглавителей белогвардейской подпольной организации в Москве летом 1919. Она провалилась, были массовые расстрелы (до 7000 человек?), но Иван Алексеев (отец моего корреспондента) и брат профессора И. Ильина, известные только Курилке, не были им выданы и не были тронуты.

Это и самому нелегко, он и сам уже — как трагический артист к пятому акту перед последним убийством. И уже падающим и упавшим, разостланным по земле, он последним хрипом получасового учения, исповедью сути соловецкой обещает:

— Сопли у мертвецов сосать заставлю!

И это — только первая тренировка, чтобы сломить волю прибывших. А в чёрно-деревянном гниющем смрадном бараке приказано будет им «спать на рёбрышке» — да это хорошо, это кого *отделённые* за взятку всунут на нары. А остальные будут ночь с т о я т ь между нарами (а виновного ещё поставят между парашею и стеной, чтобы перед ним все оправлялись).

И это — благословенные допереломные докультовые до-искажённые до-нарушенные Тысяча Девятьсот Двадцать Третий, Тысяча Девятьсот Двадцать Пятый... (А с 1927 то дополнение, что на нарах уже будут урки лежать и в стоящих интеллигентов постреливать вшами с себя.)

В ожидании парохода «Глеб Бокий» * они ещё поработают на кемской пересылке, и кого-то заставят бегать вокруг столба с постоянным криком: «Я филон, работать не хочу и другим мешаю!»; а инженера, упавшего с парашей и разлившего на себя, не пустят в барак, а оставят обледеневать в нечистотах. Потом крикнет конвой: «В партии отстающих нет! Конвой стреляет без предупреждения! Шагом марш!» И потом, клацая затворами: «На нервах играете?» — и зимой погонят по льду пешком, волоча за собой лодки,— переплывать через полыньи. А при подвижной воде погрузят в трюм парохода, и столько втиснут, что до Соловков несколько человек непременно задохнутся, так и не увидав белоснежного монастыря в бурых стенах.

В первые же соловецкие часы быть может испытает на себе новичок и соловецкую приёмную банную шутку: он разделся, первый банщик макает швабру в бочку зелёного мыла и шваброй мажет новичка; второй пинком сталкивает его куда-то вниз по наклонной доске или по лестнице; там, внизу, его, ошеломлённого, третий окатывает из ведра, и тут же четвёртый выталкивает в одевалку, куда его «барахло» уже сброшено сверху как попало. (В этой шутке предвиден весь ГУЛАГ! и темп его и цена человека.)

Так глотает новичок соловецкого духа! — духа, ещё не известного в стране, но творимого на Соловках будущего духа Архипелага.

И здесь тоже новичок видит людей в мешках; и в обычной «вольной» одежде, у кого новой, у кого потрёпанной; и в особых соловецких коротких бушлатах из шинельного материала (это — привилегия, это признак высокого положения, так одевается лагерный адмсостав), с шапками-«соловчанками» из такого же сукна; и вдруг идёт среди арестантов человек... во фраке! — и не удивляет никого, никто не оборачивается и не

---

* В честь председателя московской тройки ОГПУ, недоучившегося молодого человека:

«Он был студент, и был горняк,
Зачёты же не шли никак.»

(Из «дружеской эпиграммы» в журнале «Соловецкие острова», 1929, № 1. Цензура глупая была и не понимала, что́ пропускает.)

смеётся. (Ведь каждый донашивает своё. Этого беднягу арестовали в ресторане «Метрополь», так он и мыкает свой срок во фраке.)

«Мечтой многих заключённых» — называет журнал «Соловецкие острова» (1930 год, № 1) получение одежды стандартного типа. * Только детколонию полностью одевают. А например женщинам не выдают ни белья, ни чулок, ни даже платка на голову — схватили сватью в летнем платьи, так и ходи заполярную зиму. От этого многие заключённые сидят в ротных помещениях даже в одном белье, и на работу их не выгоняют.

Столь дорога казённая одежда, что никому на Соловках не кажется дивной или дикой такая сцена: среди зимы арестант раздевается и разувается близ Кремля, аккуратно сдаёт обмундирование и бежит голый двести метров до другой кучки людей, где его одевают. Это значит: его передают от кремлёвского управления управлению филимоновской железнодорожной ветки **,— но если передать его в одежде, приёмщики могут не вернуть её или обменить, обмануть.

А вот и другая зимняя сцена — те же нравы, хотя иная причина. Лазарет санчасти признан антисанитарным, приказано срочно шпарить и мыть его кипятком. Но куда же больных? Все кремлёвские помещения переполнены, плотность населения Соловецкого архипелага больше, чем в Бельгии (а какая ж в соловецком Кремле?). Так всех больных выносят на одеялах на снег и кладут на три часа. Вымыли — затаскивают.

Мы же не забыли, что наш новичок — воспитанник Серебряного Века? Он ничего ещё не знает ни о Второй Мировой войне, ни о Бухенвальде. Он видит: отделённые в шинельных бушлатах с отменной выправкой приветствуют друг друга и ротных отданием воинской чести — и они же выгоняют своих рабочих длинными палками, дрынами (и даже глагол уже всем понятный: *дрыновать*). Он видит: сани и телегу тянут не лошади, а люди (по нескольку в одной) — и тоже есть слово *вридло* (временно исполняющий должность лошади).

А от других соловчан он узнаёт и пострашней, чем видят его глаза. Произносят ему гибельное слово — *Секирка*. Это значит — Секирная гора **(ф. 3).** В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так: от стены до стены укреплены жерди толщиною в руку и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. (На ночь ложатся на полу, но друг на друга, переполнение.) Высота жерди такова, что ногами до земли не достаёшь. Не так легко сохранить равновесие, весь день только и силится арестант — как бы удержаться. Если же свалится — надзиратели подскакивают и бьют его. Либо: выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней (от собора к озеру, монахи соорудили); привязывают человека по длине его к *балану* (бревну) для тяжести — и вдольно сталкивают (ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживается, и на двух маленьких площадках тоже).

---

* Все ценности с годами перепрокидываются — и то, что считается привилегией в лагере Особого Назначения 20-х годов — носить казённую одежду, то станет докукой в Особом лагере 40-х годов: там у нас привилегией будет н е носить казённой, а хоть что-нибудь своё, хоть шапку. Тут не только экономическая причина, тут и волны эпохи: одно десятилетие видит в идеале, как бы пристать к Общему, другое — как бы от него отстать.

** Перетащили сюда ж-д Старая Русса — Новгород.

Ну, да за *жёрдочками* не на Секирку ходить, они есть и в кремлёвском, всегда переполненном, карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не устоишь. А летом — «на пеньки», это значит — голого под комаров. Но тогда за наказанным надо следить; а если голого да к дереву привязывают — то комары справятся сами. А если голого зимой — так облить водой на морозе. Ещё — целые роты в снег кладут за провинность. Ещё — в приозёрную топь загоняют человека по горло и держат так. И вот ещё способ: запрягают лошадь в пустые оглобли, к оглоблям привязывают ноги виновного, на лошадь садится охранник и гонит её по лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся.

Новичок раздавлен духом, ещё и не начав соловецкой жизни, своих бесконечных трёх лет срока. Но поспешил бы современный читатель, если б вытянул палец: вот открытая система уничтожения, лагерь смерти! Э нет, мы не так просты! В этой первой экспериментальной зоне, как и потом в других, как и в самой объемлющей изо всех — в СССР, мы не открыто действуем — а наслоенно, смешанно — и потому так успешно и потому так долго.

Вдруг въезжает через кремлёвские ворота какой-то лихой человек верхом на козле, держится со значением, и никто не смеётся над ним. Это кто же? почему на козле? Дегтярёв, он в прошлом объездчик (не путать с вольным Дегтярёвым, начальником войск Соловецкого архипелага), потребовал себе лошадь, но лошадей на Соловках мало, так дали ему козла. А за что ему честь? А он — заведующий Дендрологическим Питомником. Они выращивают экзотические деревья. Здесь, на Соловках.

Так с этого всадника на козле начинается соловецкая фантастика. Зачем же экзотические деревья на Соловках, где простое разумное овощное хозяйство монахов — и то уже загубили, и овощи при конце? А затем экзотические деревья при Полярном Круге, что и Соловки, как вся Советская Республика, преображают мир и строят новую жизнь. Но откуда семена, средства? Вот именно: на семена для дендрологического питомника деньги есть, нет лишь денег на питание рабочим лесоповала (питание идёт ещё не по нормам — по средствам).

А вот — археологические раскопки? Да, у нас работает Раскопочная Комиссия. Нам важно знать своё прошлое.

Перед Управлением лагеря — клумба, и на ней выложен симпатичный слон, а на попоне его «У» — значит У-СЛОН — (Управление Соловецких Лагерей Особого Назначения). И тот же ребус — на соловецких бонах, ходящих как деньги этого северного государства. Какой приятный домашний маскарад! Так всё очень мило здесь, Курилко-шутник нас только пугал?

Денежное обращение лагерей ГПУ имело устойчивое продолжение на многие годы. Особые денежные знаки помогали лучшей изоляции этих лагерей. По прибытии в лагерь даже все чины администрации и охраны, тем более заключённые, должны были едать все имеющиеся у них советские деньги и получали взамен книжечки «расчётных квитанций» (на плотной бумаге, с водяным знаком) в достоинствах по 2, 5, 20, 50 копеек, 1, 3 и 5 рублей, выпуски разных годов отличались подписями разных членов Коллегии ОГПУ — Г. Бокия, Л. Когана или М. Бермана. За укрытие в лагере государственных денег полагался расстрел. (Одна из целей такой строгости была — затруднить побег.) На территории всех лагерей ГПУ для всех расчётов применялись эти квитанции. При освобождении (если оно наступало...) владелец снова обменивал их на государственные деньги. После 1932 года, при резком росте лагерной системы, все эти квитанции были изъяты. (Сообщил М. М. Быков.)

И вот свой журнал — тоже «Слон» (с 1924, первые номера на машинке, с № 9 — печатается в монастырской типографии), с 1925 — «Соловецкие острова», 200 экз. и даже с приложением — газетой «Новые Соловки» (разорвём с проклятым монашеским прошлым!). С 1926 — подписка по всей стране и большой тираж, большой успех! Ведь в 20-е годы Соловков не таили, но даже уши прожужжали ими. Соловками открыто играли, Соловками открыто гордились (имели смелость гордиться!), они поминались в советских песнях, над ними смеялись в эстрадных куплетах. Ведь классы исчезали (куда?), и Соловкам тоже был скоро конец.

И над журналом — верхоглядная какая-то цензура: заключённые (Глубоковский) пишут юмористические стишки о Тройке ГПУ — и проходит! И потом их поют с эстрады соловецкого театра прямо в лицо приехавшему Глебу Бокию:

Обещали подарков нам куль
Бокий, Фельдман, Васильев и Вуль...

— и начальству нравится! (Да ведь лестно! Ты курса не кончил — а тебя в историю лепят.) И припев:

Всех, кто наградил нас Соловками,—
Просим: приезжайте сюда сами!
Посидите здесь годочков три иль пять —
Будете с восторгом вспоминать!

— хохочут! нравится! (Кто ж разгадает, что здесь — пророчество?..)

К 1927 журнал оборвался: режим поворачивал, не до этих шуток. Но ещё потом, в 1929, после крупных соловецких событий и общего поворота всех лагерей к перевоспитанию, журнал возобновился и выходил до 1932.

А обнаглевший Шепчинский, сын расстрелянного генерала, вывешивает лозунг над входными воротами:

«Соловки — рабочим и крестьянам!»

(И тоже ведь пророчество! — но это не нравится, разгадали и сняли.)

На артистах драматической труппы — костюмы, сшитые из церковных риз. «Рельсы гудят». Фокстротирующие изломанные пары на сцене (гибнущий Запад) — и победная красная кузница, нарисованная на заднике (Мы).

Фантастический мир! Нет, шутил негодник Курилко!..

А ещё же есть Соловецкое Общество Краеведения, оно выпускает свои отчёты-исследования. О неповторенной архитектуре XVI века и о соловецкой фауне здесь пишут с такой обстоятельностью, преданностью науке, с такой кроткой любовью к предмету, будто это досужие чудаки-учёные притянулись на остров по научной страсти, а не арестанты, уже прошедшие Лубянку и дрожащие попасть на Секирную гору, под комаров или к оглоблям лошади. Да в тон с добродушными краеведами и сами звери и птицы соловецкие ещё не вымерли, не перестреляны, не изгнаны, даже не напуганы — ещё и в 28-м году зайцы доверчивым выводком выходят к самой обочине дороги и с любопытством следят, как ведут арестантов на Анзер.

Как же случилось, что зайцев не перестреляли? Объясняют новичку: зверюшки и птицы потому не боятся здесь, что есть приказ ГПУ: *«патроны беречь! Ни одного выстрела иначе, как по заключённому!»*

Итак, все страхи были шуткой. Но — «Разойдись! Разойдись!» — кричат среди бела дня на кремлёвском дворе, густом как Невский,— трое молодых людей, хлыщеватых, с лицами наркоманов (передний не дрыном, но стеком разгоняет толпу заключённых) быстро под руки волокут опавшего, с обмякшими ногами и руками человека в одном белье — страшно увидеть его *стекающее* как жидкость лицо! — волокут *под колокольню* **(ф. 4, ф. 5)**, вон туда под арку, в ту низенькую дверь, она — в основании колокольни. В эту маленькую дверь его втискивают и в затылок стреляют — там дальше крутые ступеньки вниз, он свалится, и даже можно 7—8 человек набить, а потом присылают вытянуть трупы и наряжают женщин (матерей и жён ушедших в Константинополь; верующих, не уступивших веры и не давших оторвать от неё детей) — помыть ступени. *

Что ж, нельзя было ночью, тихо? А зачем же тихо? — тогда и пуля пропадает зря. В дневной густоте пуля имеет воспитательное значение. Она сражает как бы десяток зараз.

Расстреливали и иначе — прямо на Онуфриевском кладбище, за женбараком (бывшим странноприимным домом для богомолок) — и та дорога мимо женбарака так и называлась *расстрельной*. Можно было видеть, как зимою по снегу там ведут человека босиком в одном белье (это не для пытки! это чтоб не пропала обувь и обмундирование) с руками, связанными проволокою за спиной **,— а осуждённый гордо, прямо держится и одними губами, без помощи рук, курит последнюю в жизни папиросу. (По этой манере узнают офицера. Тут ведь люди, прошедшие семь лет фронтов. Тут мальчишка 18-летний, сын историка В. А. Потто, на вопрос нарядчика о профессии пожимает плечами: «Пулемётчик». По юности лет и в жáре гражданской войны он не успел приобрести другой.)

Фантастический мир! Это сходится так иногда. Многое в истории повторяется, но бывают совсем неповторимые сочетания, короткие по времени и по месту. Таков наш НЭП. Таковы и ранние Соловки.

Очень малое число чекистов (да и то, может быть, полуштрафных), всего 20—40 человек приехали сюда, чтобы держать в повиновении тысячи, многие тысячи. Сперва ждали меньше, но Москва слала, слала, слала. За первые полгода, к декабрю 1923, уже собралось больше 2000 заключённых. А в 1928 в одной только 13-й роте (роте общих работ) крайний в строю при расчёте отвечал: «376-й! Строй по десяти!» — значит, 3760 человек, и такая ж крупная была 12-я рота, а ещё больше

---

* А сейчас на камнях, где вот так волокли, в этом месте двора, укромном от соловецкого ветра, жизнерадостные туристы, приехавшие повидать пресловутый остров, часами *кикают* в волейбол. Они не знают. Ну, а если б знали? Да так же бы и кикали.

Впрочем, экскурсоводов, заикавшихся, что здесь был не только монастырь, но лагерь,— выгнали. И туристов стараются не пускать за пределы Большого Соловецкого острова: чтобы не видели ни Секиркн, ни даже Троицкого скита (и сегодня много сохранилось тюремных решёток, в дверях — следы кормушек), ни Савватьевского. (В нём сохранился, например, подвальный карцер, где и в знойный день продрогаешь в минуту.)

** Соловецкий приём, повторенный на катынских трупах. Кто-то вспомнил — традицию? или свой личный опыт?

«17-я рота» — общие кладбищенские ямы. А кроме Кремля были уже командировки — Савватиево, Филимоново, Муксалма, Троицкая, «Зайчики» (Заяцкие острова). К 1928 было тысяч около шестидесяти. И сколько среди них «пулемётчиков», многолетних природных вояк? А с 1926 уже валили и матёрые уголовники всех сортов. И как же удержать их, чтоб они не восстали?

Только у ж а с о м! Только Секиркой! жёрдочками! комарами! проволочкой по пням! дневными расстрелами! Москва гонит этапы, не считаясь с местными силами,— но Москва ж и не ограничивает своих чекистов никакими фальшивыми правилами: всё, что сделано для порядка — то сделано, и ни один прокурор действительно никогда не ступит на соловецкую землю.

А второе — накидка газовая со стеклярусом: эра равенства — и Новые Соловки! Самоохрана заключённых! Самонаблюдение! Самоконтроль! Ротные, взводные, отделённые — все из своей среды. И самодеятельность, и саморазвлечение!

А под ужасом и под стеклярусом — какие люди? кто? Исконные аристократы. Кадровые военные. Философы. Учёные. Художники. Артисты. Лицеисты.

Вот немногие соловчане, сохранённые памятью уцелевших: Ширинская-Шахматова, Шереметева, Шаховская, Фитцтум, И. С. Дельвиг, Багратуни, Ассоциани-Эристов, Гошерон де ла Фосс, Сиверс, Г. М. Осоргин, Клодт, Н. Н. Бахрушин, Аксаков, Комаровский, П. М. Воейков, Вадбольский, Вонлярлярский, В. Левашов, О. В. Волков, В. Лозино-Лозинский, Д. Гудович, Таубе, В. С. Муромцев. Бывший кадетский лидер Некрасов. Финансист проф. Озеров. Юрист проф. А. Б. Бородин. Психолог проф. А. П. Суханов. Философы проф. А. А. Мейер, проф. С. А. Аскольдов, Е. Н. Данзас, теософ Мёбус. Историки Н. П. Анциферов, М. Д. Приселков, Г. О. Гордон, А. И. Заозерский, П. Г. Васенко. Литературоведы Д. С. Лихачёв, Цейтлин, лингвист И. Е. Аничков, востоковед Н. В. Пигулевская. Орнитолог Г. Поляков. Художники Браз, П. Ф. Смотрицкий. Актёры И. Д. Калугин (Александринка), Б. Глубоковский, В. Ю. Короленко (племянник). В 30-е годы, уже при конце Соловков, здесь побывал и о. Павел Флоренский.

По воспитанию, по традициям — слишком горды, чтобы показать подавленность или страх, чтобы выть, чтобы жаловаться на судьбу даже друзьям. Признак хорошего тона — всё с улыбкой, даже идя на расстрел. Будто вся эта полярная ревущая морем тюрьма — небольшое недоразумение на пикнике. Шутить. Высмеивать тюремщиков.

Вот и слон на деньгах и на клумбе. Вот и козёл вместо коня. И если уж 7-я рота артистическая, то ротный у неё — Кунст. Если Берри-Ягода — то начальник ягодосушилки. Вот и шутки над простофилями, цензорами журнала. Вот и песенки. Ходит и посмеивается Георгий Михайлович Осоргин: «Comment vous portez-vous *(как поживаете)* на этом острову́?» — «А лаге́р ком а лаге́р.»

Вот эти шуточки, эта подчёркнутая независимость аристократического духа — они-то больше всего и раздражают полузверячих соловецких тюремщиков. Кроме духовенства никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь — Осоргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошёл на пасхальную заутреню. С пятнистым тифом отвезенному на Анзер епископу Петру Воронежскому отвёз мантию и Св. Дары. По доносу посажен в карцер и приговорён к расстрелу. И в этот самый день сошла на соловецкую пристань его молодая

(он и сам моложе сорока) жена! И Осоргин просит тюремщиков: не омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться долее трёх дней, и как только она уедет — пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, которое за анафемой аристократии забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой боли: три дня непрерывно с женой — и не дать ей догадаться! Ни в одной фразе не намекнуть! не дать тону упасть! не дать омрачиться глазам! Лишь один раз (жена жива и вспоминает теперь), когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой.— «Что с тобой?» — «Ничего»,— прояснился он тут же. Она могла ещё остаться — он упросил её уехать. Черта времени: убедил её взять тёплые вещи, он на следующую зиму получит в санчасти — ведь это драгоценность была, он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани — Осоргин опустил голову. Через десять минут он уже раздевался к расстрелу.

Но ведь кто-то же и подарил им эти три дня. Эти три осоргинских дня, как и другие случаи, показывают, насколько соловецкий режим ещё не стянулся панцырем *системы*. Такое впечатление, что воздух Соловков странно смешивал в себе уже крайнюю жестокость с почти ещё добродушным непониманием: к чему это всё идёт? какие соловецкие черты становятся зародышами великого Архипелага, а каким суждено на первом взросте и засохнуть? Всё-таки не было ещё у соловчан общего твёрдого такого убеждения, что вот зажжены печи полярного Освенцима и топки его открыты для всех, привезенных однажды сюда. (А ведь было-то так!..) Тут сбивало ещё, что сроки у всех были больно коротки: редко десять лет, и пять не так часто, а то всё три да три. Ещё не понималась эта кошачья игра закона: придавить и выпустить, придавить и выпустить. И это патриархальное непонимание — к чему всё идёт? — не могло остаться совсем без влияния и на охранников из заключённых, и может быть слегка и на тюремщиков.

Как ни чётки были строки всюду выставленного, объявленного, не скрываемого классового учения о том, что только уничтожение есть заслуженный удел врага,— но этого уничтожения каждого конкретного двуногого человека, имеющего волосы, глаза, рот, шею, плечи,— всё-таки нельзя было себе представить. Можно было поверить, что уничтожаются классы, но *люди* из этих классов вроде должны были бы остаться?.. Перед глазами русских людей, выросших в других, великодушных и расплывчатых понятиях, как перед плохо подобранными очками, строки жестокого учения никак не прочитывались в точности. Недавно, кажется, прошли месяцы и годы открыто объявленного террора — а всё-таки нельзя было поверить!

Сюда, на первые острова Архипелага, передалась и неустойчивость тех пёстрых лет, середины 20-х годов, когда и по всей стране ещё плохо понималось: всё ли уже запрещено? или напротив, только теперь-то и начнёт разрешаться? Ещё так верила Русь в восторженные фразы! — и только немногие сумрачные головы уже разочли и знали, когда и как это будет всё перешиблено.

Повреждены пожаром купола — а кладка вечная... Земля, возделанная на краю света,— и вот разоряемая. Изменчивый цвет беспокойного моря. Тихие озёра. Доверчивые животные. Беспощадные люди. И к Бискайскому заливу улетают на зиму альбатросы со всеми тайнами перво-

го острова Архипелага. Но не расскажут на беспечных пляжах, но никому в Европе не расскажут.

Фантастический мир... И одна из главных недолговечных фантазий: управляют лагерной жизнью отчасти — белогвардейцы! Так что Курилко был — неслучаен.

Это вот как. Во всём Кремле — единственный вольный чекист: дежурный по лагерю. Караулы у ворот (вышек нет), наблюдательные засады по островам и поимка беглецов — у охраны. В охрану кроме вольных набираются бытовые убийцы, фальшивомонетчики, другие уголовникн (но не воры). Но кому заниматься всей внутренней организацией, кому вести Адмчасть, кто будут ротные и отделённые? Не священники же, не сектанты, не нэпманы, не учёные да и не студенты (студентов не так мало здесь, а студенческая фуражка на голове соловчанина — это вызов, дерзость, заметка н заявка на расстрел). Это лучше всего смогли бы бывшие военные. А какие ж тут военные, если не белые офицеры? Так, без сговора и вряд ли по стройному замыслу, складывается соловецкое сотрудничество чекистов и белогвардейцев.

Где же принципиальность тех н другнх? Удивнтельно? Поразительно? — только тому удивительно, кто привык к анализу классово-социальному и не умеет иначе. Но тому аналисту всё на свете удивительно, ибо никогда не вливаются мир н человек в его заранее подставленные желобочки.

А соловецкне тюремщики и чёрта возьмут на службу, раз не дают им красных штатов. Положено: заключённым самоконтролироваться (самоугнетаться). И кому ж тут лучше поручить?

А вечным офицерам, «военным косточкам» — ну как не взять организацию хоть и лагерной жизни (лагерного угнетения) в свои руки? Ну как подчиниться и смотреть, что кто-то возьмётся неумеючи и шалопутно? Что́ погоны делают с человеческим сердцем — мы уже в этой книге толковали. (Вот погодите, придёт время и красных командиров сажать — и как повалят в самоохрану, как за этой вертухайской внитовкой потянутся, лишь бы доверилн!.. Я писал уже: а кликни Малюта Скуратов нас?..) Ну, и такое должно было быть у белогвардейцев: а-а, всё равно пропали, и всё пропало, так н море по колено! И ещё такое: «чем хуже, тем лучше», поможем вам обуютить такие зверские Соловки, каких в *нашей* России сроду не бывало,— пусть о вас слава дурная идёт. И такое: наши все согласились, а я что — поп, чтобы на склад бухгалтером?

И всё же главная соловецкая фантазия ещё не в том была, а: заняв Адмчасть Соловков, белогвардейцы стали — бороться с чекистами! Ваш-де лагерь — снаружи, а наш — внутри. И кому где работать, и кого куда отправить — это Адмчасти дело. Мы наружу не лезем, а вы не лезьте к нам.

Как бы не так! — именно внутри-то и должен быть лагерь весь прослоен стукачами Информационно-Следственной Частн! Это была первая н грозная сила в лагере — ИСЧ. (И оперуполномоченные тоже были — нз заключённых, вот венец *самонаблюдения*.) И с ней-то взялась бороться белогвардейская АЧ! Все другие части — Культурно-Воспитательная, Санитарная, которые столько будут значить в дальнейших лагерях, тут были хилы и жалки. Прозябала и Экономчасть во главе с Н. Френкелем — заведывала «торговлей» с внешним миром и несущест-

вующей «промышленностью»; ещё не прометились пути её восхода. Две силы боролись — ИСЧ и АЧ. Это с Кемперпункта начиналось: к отделённому подошёл новоприбывший поэт Ал. Ярославский и зашептал ему на ухо. Отделённый, отчеканивая слова по-военному, рявкнул: «Был *тайным* — станешь *явным*!»

У Информационно-Следственной Части — Секирка, карцеры, доносы, личные дела заключённых, от них зависели и досрочные освобождения и расстрелы, у них — цензура писем и посылок. У Адмчасти — назначения на работу, перемещения по острову и этапы.

Адмчасть выявляла стукачей для отправки их на этап. Стукачей ловили, они убегали, прятались в помещении ИСЧ, их настигали и там, взламывали комнаты ИСЧ, выволакивали и тащили на этап. *

(Их отправляли на Кондостров, на лесозаготовки. Фантастичность продолжалась и там: разоблачённые и потерянные выпускали на Кондострове стенгазету «Стукач» и с печальным юмором «разоблачали» друг друга дальше — уже в «задроченности» и др.)

Тогда ИСЧ заводила дела на старателей Адмчасти, увеличивала им срок, отправляла на Секирку. Но осложнялась её деятельность тем, что обнаруженный сексот по истолкованию тех лет (см. 121 УК: «разглашение... должностным лицом сведений, не подлежащих оглашению»,— и независимо от того, по его ли намерению это разглашение произошло, и насколько он «должностное») считался преступником,— и не могла уже ИСЧ защищать и выручать провалившихся стукачей. Попался — сам и виноват. Кондостров был почти узаконен.

Вершиной «военных действий» между ИСЧ и АЧ был случай в 1927, когда белогвардейцы ворвались в ИСЧ, взломали несгораемый шкаф, оттуда изъяли и огласили полные списки стукачей — отныне потерянных сотрудников! Затем с каждым годом Адмчасть слабела: бывших офицеров становилось всё меньше, а всё больше уголовников ставилось туда (например «чубаровцы» — по нашумевшему ленинградскому процессу насильников). И постепенно была одолена. **

Да с 30-х годов начиналась и новая лагерная эра, когда и Соловки уже стали не Соловки, а рядовой «исправительно-трудовой лагерь». Всходила чёрная звезда идеолога этой эры Нафталия Френкеля, и стала высшим законом Архипелага его формула:

«От заключённого нам надо взять всё в первые три месяца — а потом он нам не нужен!»

* * *

Да где ж те Савватий с Зосимой и Германом? Да кто ж это придумал — жить под Полярным Кругом, где скот не водится, рыба не ловится, хлеб и овощи не растут?

---

* Интересно, как на заре Архипелага с того самого начинают, к чему вернёмся и мы в поздних Особых лагерях: с удара по стукачам.

** Ещё до 1972 года на чердаке Савватиевского скита долежала рукопись — дневник зэка 20-х годов (видимо *полита* — потому что описывалось там, как кормят политов). На одной из первых страниц упоминалось покушение молодого белогвардейца на чекистского генерала. Дальше никто не прочёл: рукопись забрало КГБ.

О, мастера по разорению цветущей земли! Чтобы так быстро — за год, за два — привести образцовое монастырское хозяйство в полный и необратимый упадок! Как же это удалось! Грабили и вывозили? Или доконали всё на месте? И тысячи имея незанятых рук — ничего не уметь добыть из земли.

Только вольным — молоко, сметаиа, да свежее мясо, да отменная капуста отца Мефодия. А заключённым — гнилая треска, солёная или сушёная; худая баланда с перловой или пшённой крупой без картошки, никогда ни щей, ни борщей. И вот — цынга, и даже «канцелярские роты» в нарывах, а уж *общие*... С дальних командировок возвращаются «этапы на карачках» (так и ползут от пристани на четырёх ногах).

Из деиежных (из дому) переводов можно использовать в месяц 9 рублей — есть ларёк в часовне Германа. А посылка — в месяц одна, её вскрывает ИСЧ, и если не дашь им взятки, объявят, что многое из присланного тебе не положено, например крупа. В Никольской церкви и в Успенском соборе растут иары — до четырёхэтажных. Не просторней живёт 13-я рота у Преображенского собора **(ф. 6)** в примыкающем корпусе. Вот у этого входа **(ф. 7)** представьте стиснутую толпу: три с половиной тысячи валят к себе, возвращаясь с работы. В кубовую за кипятком — очереди по часу. По субботам вечерние проверки затягиваются глубоко в ночь (как прежние богослужения...). За санитарией, конечно, очень следят: насильственно стригут волосы и обривают бороды (также и всем священникам сряду). Ещё — обрезают полы у длинной одежды (особенио у ряс), ибо в них-то главиая зараза. (У чекистов — шинели до земли.) Правда, зимою никак не выбраться в баню с ротных нар тем больным и старым, кто сидит в белье и в мешках, вши их одолевают. (Мёртвых прячут под нары, чтобы получить на них лишнюю пайку — хотя это и иевыгодно живым: с холодеющего трупа вши переползают на теплых, оставшихся.) В Кремле есть плохая санчасть с плохой больницей, а в глуби Соловков — никакой медицины.

Исключение только — Голгофско-Распятский скит на Анзере, штрафная командировка, где лечат... убийством. Там, в Голгофской церкви, лежат и умирают от бескормицы, от жестокостей — и ослабевшие священники, и сифилитики, и престарелые инвалиды, и молодые урки. По просьбе умирающих и чтоб облегчить свою задачу, тамошний голгофский врач даёт безнадёжным стрихнин, зимой бородатые трупы в одном белье подолгу задерживаются в церкви. Потом их ставят в притворе, прислоия к стене,— так они меньше занимают места. А вынеся наружу — сталкивают вниз с Голгофской горы.

Необычно название горы и скита, оно не встречается нигде больше. По преданию (рукопись XVIII века, Государственная Публичная библиотека, Соловецкий патерик) 18 июня 1712 иеромонаху Иову под этой горой во время ночного молитвенного бдения явилась Богоматерь «в небесной славе» и сказала: «сия гора отселе будет называться Голгофою, и на ней устроится церковь и Распятский скит. И убелится она страданиями неисчислимыми.» Так назвали и построили так, но более двухсот лет предсказание казалось холостым, не предвиделось ему оправдаться. После соловецкого лагеря этого уже не скажешь.

В 1975, кто был, рассказывают: храм разрушен (ещё в 60-е годы стоял), но стены сохранились, и кое-где видны росписи.

Как-то вспыхнула в Кеми эпидемия тифа (1928), и 60% вымерло там, но перекинулся тиф и на Большой Соловецкий остров, здесь в нетопленном «театральном» зале валялись сотни тифозных одновременно. И сот-



1. Общий вид Соловецкого Кремля (стр. 19)

2. Сельдяные ворота (стр. 21)



3. Секирная гора (стр. 24)

4. Колокольня (стр. 27)

5. Дверь под колокольней (стр. 27)

6. Преображенский собор (стр. 32)

ни ушли на кладбище. (Чтоб не спутать учёт, писали нарядчики фамилию каждому на руке — и выздоравливающие менялись сроками с мертвецами-краткосрочниками, переписывали на свою руку.) А в 1929, когда многими тысячами пригнали «басмачей», то есть, среднеазиатов, не принимающих советской власти,— они привезли с собой такую эпидемию, что чёрные бляшки образовывались на теле, и неизбежно человек умирал. То не могла быть чума или оспа, как предполагали соловчане, потому что те две болезни уже полностью были побеждены в Советской Республике,— а назвали болезнь «азиатским тифом». Лечить её не умели, искореняли же так: если в камере один заболевал, то всех запирали, не выпускали, и лишь пищу им туда подавали — пока не вымирали все.

Какой бы научный интерес был нам установить, что Архипелаг ещё не понял себя в Соловках, что дитя ещё не угадывало своего норова! И потом бы проследить, как постепенно этот норов проявлялся. Увы, не так! Хотя не у кого было учиться, хотя не с кого брать пример, и такой наследственности не было,— но Архипелаг быстро узнал и проявил свой будущий характер.

Так многое из будущего опыта уже было найдено на Соловках! Уже был термин «вытащить с общих работ». Все спали на нарах, а кто-то уже и на топчанах; целые роты в храме, а кто — по двадцать человек в комнате, а кто-то и по четыре — по пять. Уже кто-то знал своё право: оглядеть новый женский этап и выбрать себе женщину (на тысячи мужчин их было сотни полторы-две, потом больше). Уже была и борьба за тёплые места ухватками подобострастия и предательства. Уже снимали *контриков* с канцелярских должностей — и опять возвращали, потому что уголовники только путали. Уже сгущался лагерный воздух от постоянных зловещих слухов. Уже становилось высшим правилом поведения: никому не доверяй! (Это вытесняло и вымораживало прекраснодушие Серебряного Века.)

Тоже и вольные стали входить в сладость лагерной обстановки, раскушивать её. Вольные семьи получали право на даровых кухарок от лагеря, всегда могли затребовать в дом дровокола, прачку, портниху, парикмахера. Эйхманс выстроил себе приполярную виллу. Широко размахнулся и Потёмкин — бывший драгунский вахмистр, потом коммунист, чекист и вот начальник Кемперпункта. В Кеми он открыл ресторан, оркестранты его были консерваторцы, официантки — в шёлковых платьях. Приезжие товарищи из Главного Управления Лагерей, из карточной Москвы, могли здесь роскошно пировать в начале 30-х годов, к столу подавала им княгиня Шаховская, а счёт подавался условный, копеек на тридцать, остальное за счёт лагеря.

Да соловецкий Кремль — это ж ещё и не все Соловки, это ещё самое льготное место. Подлинные Соловки — даже не по скитам (где после увезенных социалистов учредились рабочие командировки), а — на лесоразработках, на дальних промыслах. Но именно о тех дальних глухих местах сейчас труднее всего что-нибудь узнать, потому что именно те-то люди и не сохранились. Известно, что уже тогда: осенью не давали просушиваться; зимой по глубоким снегам не одевали, не обували; а долгота рабочего дня определялась уро́ком — кончался день рабочий тогда, когда выполнен урок, а если не выполнен, то и не было возврата под крышу. И тогда уже «открывали» новые командировки тем, что по

несколько сот человек посылали в никак не подготовленные необитаемые места.

Но, кажется, первые годы Соловков и рабочий гон и заданье надрывных уроков вспыхивали порывами, в переходящей злости, они ещё не стали стискивающей системой, на них ещё не оперлась экономика страны, не утвердились пятилетки. Первые годы у СЛОНа, видимо, не было твёрдого внешнего хозяйственного плана, да и не очень учитывалось, как много человеко-дней уходит на работы по самому лагерю. Потому с такой лёгкостью вдруг могли сменить осмысленные хозяйственные работы на наказания: переливать воду из проруби в прорубь, перетаскивать брёвна с одного места на другое и назад. В этом была жестокость, да, но и патриархальность. Когда же рабочий гон становится продуманной системой, тогда обливание водой на морозе и выставление на пеньки под комаров оказывается уже избыточным, лишней тратой палаческих сил.

Есть такая официальная цифра: до 1929 года по РСФСР было «охвачено» трудом лишь от 34 до 41% всех заключённых * (да иначе и не могло быть при безработице в стране). Правда, это только «внешний» труд, сюда не входит хозяйственный труд по обслуживанию самого лагеря. Но для оставшихся 60—65% заключённых не хватит и хозяйственного. Соотношение это не могло не проявиться также и на Соловках. Определённо, что все 20-е годы там было немало заключённых, не получивших никакой постоянной рабoты (отчасти из-за раздетости) или занявших весьма условную должность.

Тот первый год той первой пятилетки, тряхнувший всю страну, тряхнул и Соловки. Новый (к 1930) начальник УСЛОНа Ногтев (тот самый начальник Савватиевского скита, который расстреливал социалистов) под «шёпот удивления в изумлённом зале» докладывал *вольняшкам* города Кеми такие цифры: «не считая собственных лесоразработок УСЛОНа, растущих совершенно исключительными темпами», УСЛОН только по «внешним» заказам ЖелЛеса и КарелЛеса заготовлял: в 1926 — на 63 тыс. рублей, в 1929 — на 2 млн. 355 тыс. (в 37 раз!), в 1930 ещё втрое. Дорожное строительство по Карело-Мурманскому краю в 1926 выполнено на 105 тыс. рублей, в 1930 — на 6 млн.— в 57 раз больше! **

Так оканчивались прежние глухие Соловки, где не знали, как извести заключённых. *Труд-чародей* приходил на помощь!

Через Кемперпункт Соловки создались, через Кемперпункт же они, пройдя созревание, стали с конца 20-х годов распространяться назад, на материк. И самое тяжёлое, что могло выпасть теперь заключённому, были эти материковые командировки. Раньше Соловки имели на материке только Сороку да Сумский посад — прибрежные монастырские владения. Теперь раздувшийся СЛОН забыл монастырские границы.

От Кеми на запад по болотам заключённые стали прокладывать грунтовый Кемь-Ухтинский тракт, «считавшийся когда-то почти неосуществимым». *** Летом тонули, зимой коченели. Этого тракта солов-

* «От тюрем к воспитательным учреждениям». Сборник под редакцией Вышинского. Изд-во «Советское законодательство», М., 1934, стр. 115.

** «Соловецкие острова», 1930, № 2—3, стр. 56—57.

*** Там же, стр. 57.

чане боялись панически, и долго рокотала над кремлёвским двором угроза: «Что?? *На Ухту* захотел?»

Второй подобный тракт повели Парандовский (от Медвежегорска). На этой прокладке чекист Гашидзе приказывал закладывать в скалу взрывчатку, на скалу посылал *каэров* и в бинокль смотрел, как они взрываются.

Рассказывают, что в декабре 1928 на Красной Горке (Карелия) заключённых в наказание (не выполнен урок) оставили ночевать в лесу — и 150 человек замёрзло насмерть. Это — обычный соловецкий приём, тут не усумнишься.

Труднее поверить другому рассказу: что на Кемь-Ухтинском тракте близ местечка Кут в феврале 1929 роту заключённых около ста человек *за невыполнение нормы загнали на костёр — и они сгорели!*

Об этом мне рассказал всего один только человек, близко бывший: профессор Дмитрий Павлович Каллистов, старый соловчанин, умерший недавно. Да, пересекающихся показаний я об этом не собрал (как, может, и никто уже не соберёт — и о многом не соберут, даже и по одному показанию). Но те, кто морозят людей и взрывают людей,— почему не могут их сжечь? Потому что здесь труднее техника?

Предпочитающие верить не людям живым, а типографским буквам, пусть прочтут о прокладке дороги тем же УСЛОНом, такими же зэками в том же году, только на Кольском полуострове:

«С большими трудностями провели грунтовую дорогу по долине реки Белой, по берегу озера Вудъярв до горы Кукисвумчорр (Аппатиты) на протяжении 27 километров, устилая болота...— чем, вы думаете, *устилая?* так и просится само на язык, правда? но не на бумагу...— ...брёвнами и песчаными насыпями, выравнивая капризные рельефы осыпающихся склонов каменистых гор.» Затем УСЛОН построил там и железную дорогу — «11 километров за один зимний месяц...— (а почему за месяц? а почему до лета нельзя было отложить?) — ...Задание казалось невыполнимым. 300.000 кубов земляных работ — (за Полярным Кругом! зимой! — то разве земля? то хуже всякого гранита!) — должны были быть выполнены исключительно ручной силой — киркой, ломом и лопатой.— (А рукавицы хоть были?..) — Многочисленные мосты задерживали развитие работ. Круглые сутки в три смены, прорезая полярную ночь светом керосиново-калильных фонарей, прорубая просеки в ельниках, выкорчёвывая пни, в мятели, заносящие дорогу снегом выше человеческого роста...» *

Перечитайте. Теперь зажмурьтесь. Теперь представьте: вы, беспомощный горожанин, воздыхатель по Чехову,— в этот ад ледяной! вы, туркмен в тюбетейке,— в эту ночную мятель! И корчуйте пни!

Это было в лучшие светлые двадцатые годы, ещё до всякого «культа личности», когда белая, жёлтая, чёрная и коричневая расы Земли смотрели на нашу страну как на светоч свободы. ** Это было в те годы, когда с эстрад напевали забавные песенки о Соловках.

---

* Г. Фридман. «Сказочная быль», журнал «Соловецкие острова», 1930, № 4, стр. 43—44.

** О, Бертран Рассел! О, Хьюлет Джонсон! О, где была ваша пламенеющая совесть т о г д а?

Так незаметно — рабочими заданиями — распался прежний замысел замкнутого на островах лагеря Особого Назначения. Архипелаг, родившийся и созревший на Соловках, начал своё злокачественное движение по стране.

Возникала проблема: расстелить перед ним территорию этой страны — и не дать её завоевать, не дать увлечь, усвоить, уподобить себе. Каждый островок и каждую релку Архипелага окружить враждебностью советского волнобоя. Дано было мирам переслоиться — не дано смешаться!

И этот ногтевский доклад под «шёпот удивления» — он ведь для резолюции выговаривался, для резолюции трудящихся Кеми (а там — в газетки! а там по посёлкам развешивать):

«...усиливающаяся классовая борьба внутри СССР... и возросшая как никогда опасность войны * ...требует от органов ОГПУ и УСЛОН ещё большей сплочённости с трудящимися, бдительности... Путём организации общественного мнения... повести борьбу с... якшанием вольных с заключёнными, укрывательством беглецов, покупкой краденых и казённых вещей от заключённых... и со всевозможными злостными слухами, распространяемыми про УСЛОН классовыми врагами.»

И какие ж это «злостные слухи»? Что в лагере — люди сидят и ни за что. И как их там добивают.

Ещё потом пункт: «...долг каждого своевременно ставить в известность...» **

Мерзкие вольняшки! Они дружат с зэками, они укрывают беглецов. Это — страшная опасность. Если этого не пресечь — не будет никакого Архипелага. И страна пропала. И революция пропала.

И распускаются против «злостных» слухов — честные прогрессивные слухи: что в лагерях — убийцы и насильники, что каждый беглец — опасный бандит! Запирайтесь, бойтесь, спасайте своих детей! Ловите, доносите, помогите работе ОГПУ! А кто не помог — о том *ставьте в известность!*

Теперь, с расползанием Архипелага, побеги множились: обречённость лесных и дорожных командировок — и всё же цельный материк под ногами беглеца, всё-таки надежда. Однако, беглядкая мысль будоражила соловчан и тогда, когда СЛОН ещё был замкнутым островом. Легковерные ждали конца своего трёхлетнего срока, провидчивые уже понимали, что ни через три, ни через двадцать три года не видать им свободы. И значит свобода — только в побеге.

Но как убежать с Соловков? Полгода море подо льдом — да не цельным, местами промоины, и крутят мятели, грызут морозы, висят туманы и тьма. А весной и бóльшую часть лета — белые ночи, далеко видно дежурным катерам. Только с удлинением ночей, поздним летом и осенью, наступает удобное время. Не в Кремле конечно, а на командировках, кто имел и передвижение и время, где-нибудь в лесу близ берега строили лодку или плот и отваливали ночью (а то и просто на бревне верхом) — наугад, больше всего надеясь встретить иностранный пароход. По суете охранников, по отплытию катеров о побеге узнава-

* Всегда у нас *как никогда,* слабее не бывает.

** Журнал «Соловецкие острова», 1930, № 2—3, стр. 60.

лось на острове — и радостная тревога охватывала соловчан, будто они сами бежали. Шёпотом спрашивали: ещё не поймали? ещё не нашли?.. Должно быть, тонули многие, никуда не добравшись. Кто-то, может быть, достиг карельского берега — так тот скрывался глуше мёртвого.

А знаменитый побег в Англию произошёл из Кеми. Этот смельчак (его фамилия нам не известна, вот кругозор!) знал английский язык и скрывал это. Ему удалось попасть на погрузку лесовоза в Кеми — и он объяснился с англичанами. Конвоиры обнаружили нехватку, задержали пароход почти на неделю, несколько раз обыскивали его — а беглеца не нашли. (Оказывается: при всяком обыске, идущем с берега, его по другому борту спускали якорной цепью под воду с дыхательной трубкой в зубах.) Платилась огромная неустойка за задержку парохода — и решили на авось, что арестант утонул, отпустили пароход.

А ещё по морю бежала группа Бессонова, 5 человек (Малзагов, Малбродский, Сазонов, Приблудин).

И стали в Англии выходить книги, даже, кажется, не по одному изданию. (Юр. Дм. Бессонов. «Мои 26 тюрем и моё бегство с Соловков.») *

Эта книга изумила Европу. И, конечно, автора-беглеца упрекнули в преувеличениях, да просто должны были друзья Нового Общества совсем не поверить этой клеветнической книге, потому что она противоречила уже известному: как описывала рай на Соловках немецкая коммунистическая газета «Роте-Фане» (надеемся, что её корреспондент и сам потом побывал на Архипелаге) и тем альбомам о Соловках, которые распространяли советские полпредства в Европе: отличная бумага, достоверные снимки уютных келий. (Надежда Суровцева, наша коммунистка в Австрии, получила такой альбом от венского полпредства и с возмущением опровергала ходящую в Европе клевету. К этому времени сестра её будущего мужа уже отсидела на Соловках, а самой ей предстояло через два года гулять «гуськом» в Ярославском изоляторе.)

Клевета-то клеветой, но досадный получился прорыв! И комиссия ВЦИК под председательством «совести партии» товарища Сольца **(ф. 8)** поехала узнать, что́ там делается, на этих Соловках (они же ничего не знали!..). Но впрочем, проехала та комиссия только по Мурманской железной дороге, да и там ничего особого не управила. А на остров сочтено было благом послать — нет, просить поехать! — как раз недавно вернувшегося в пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького. Уж его-то свидетельство будет лучшим опровержением той гнусной зарубежной фальшивки!

Опережающий слух донёсся до Соловков — заколотились арестантские сердца, засуетились охранники. Надо знать заключённых, чтобы представить их ожидание! В гнездо бесправия, произвола и молчания прорывается сокол и буревестник! первый русский писатель! вот он им пропишет! вот он им покажет! вот, батюшка, защитит! Ожидали Горького почти как всеобщую амнистию.

Волновалось и начальство: как могло, прятало уродство и лощило показуху. Из Кремля на дальние командировки отправляли этапы, чтобы здесь оставалось поменьше; из санчасти списали многих больных

* И их вы тоже не читали, сэр Бертран Рассел?..

7. Вход в 13-ю роту (стр. 32)



8. А. Сольц (стр. 40)



9. Н. А. Френкель (стр. 55)



10. Я. Д. Раппопорт (стр. 58)



11. М. Д. Берман (стр. 58)



12. Л. И. Коган (стр. 58)

и навели чистоту. И натыкали «бульвар» из ёлок без корней (несколько дней они должны были не засохнуть) — к детколонии, открытой 3 месяца назад, гордости УСЛОНа, где все одеты, и нет социально-чуждых детей, и где, конечно, Горькому интересно будет посмотреть, как малолетних воспитывают и спасают для будущей жизни при социализме.

Не доглядели только в Кеми: на Поповом острове грузили «Глеба Бокия» заключённые в белье и в мешках — и вдруг появилась свита Горького садиться на тот пароход. Изобретатели и мыслители! Вот вам достойная задача: голый остров, ни кустика, ни укрытия — и в трёхстах шагах показалась свита Горького,— ваше решение!? Куда девать этот срам, этих мужчин в мешках? Вся поездка Гуманиста потеряет смысл, если он сейчас увидит их. Ну, конечно, он постарается их не заметить,— но помогите же! Утопить их в море? — будут барахтаться... Закопать в землю? — не успеем... Нет, только достойный сын Архипелага может найти выход! Командует нарядчик: «Брось работу! Сдвинься! Ещё плотней! Сесть на землю! Та́к сидеть!» — и накинули поверху брезентом.— «Кто пошевелится — убью!» И бывший грузчик взошёл по трапу, и ещё с парохода смотрел на пейзаж, ещё час до отплытия — не заметил...

Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошёл на пристань в Бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже (чёрная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги),— живой символ ОГПУ плечо о плечо с русской литературой.

В окружении ко́мсостава ГПУ Горький прошёл быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат были распахнуты, но он в них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в две шеренги в свежих халатах врачей и сестёр, он и смотреть не стал, ушёл. Дальше чекисты УСЛОНа бесстрашно повезли его на Секирку. И что ж? — в карцерах не оказалось людского переполнения и, главное,— жёрдочек никаких! На скамьях сидели воры (уже их много было на Соловках) и все... читали газеты! Никто из них не смел встать и пожаловаться, но придумали они: держать газеты вверх ногами. И Горький подошёл к одному и молча обернул газету как надо. Заметил! Догадался! Так не покинет! Защитит! *

Поехали в детколонию. Как культурно! — каждый на отдельном топчане, на матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг 14-летний мальчишка сказал: «Слушай, Горький! Всё, что ты видишь,— это неправда. А хочешь правду знать? Рассказать?» Да, кивнул писатель. Да, он хочет знать правду. (Ах, мальчишка, зачем ты портишь только-только настроившееся благополучие литературного патриарха? Дворец в Москве, имение в Подмосковьи...) И велено было выйти всем,— и детям,

* Гепеушница, спутница Горького, тоже упражняясь пером, записала так: «Знакомимся с жизнью Соловецкого лагеря. Я иду в музей... Все едем на «Секир-гору». Оттуда открывается изумительный вид на озеро. Вода в озере холодного тёмно-синего цвета, вокруг озера — лес, он кажется заколдованным, меняется освещение, вспыхивают верхушки сосен, и зеркальное озеро становится огненным. Тишина и удивительно красиво. На обратном пути проезжаем торфоразработки. Вечером слушали концерт. Угощали нас местной соловецкой селёдочкой, она небольшая, но поразительно нежная и вкусная, тает во рту.» («М. Горький и сын.» Изд-во «Наука», М., 1971, стр. 276).

и даже сопровождающим гепеушникам,— и мальчик полтора часа всё рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря. А ребята хлынули в барак: «О *комариках* сказал?» — «Сказал!» — «О *жёрдочках* сказал?» — «Сказал!» — «О *вридлах* сказал?» — «Сказал!» — «А как с лестницы спихивают?.. А про мешки?.. А ночёвки в снегу?..» Всё-всё-всё сказал правдолюбец мальчишка!!!

Но даже имени его мы не знаем.

22 июня, уже после разговора с мальчиком, Горький оставил такую запись в «Книге отзывов», специально сшитой для этого случая:

«Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется да и стыдно (!) было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с этим, быть замечательно смелыми творцами культуры.» *

23-го Горький отплыл. Едва отошёл его пароход — мальчика расстреляли. (Сердцевед! знаток людей! — как мог он не забрать мальчика с собою?!)

Так утверждается в новом поколении вера в справедливость.

Толкуют, что там, наверху, глава литературы отнекивался, не хотел публиковать похвал УСЛОНу. Но как же так, Алексей Максимович?.. Но перед буржуазной Европой! Но *именно сейчас, именно в этот момент,* такой опасный и сложный!.. А режим? — мы сменим, мы сменим режим.

И напечаталось, и перепечаталось в большой вольной прессе, нашей и западной, от имени Сокола-Буревестника, что зря Соловками пугают, что живут здесь заключённые замечательно и исправляются замечательно.

И, в гроб сходя, благословил

Архипелаг...

Жалкое поведение Горького после возвращения из Италии и до смерти я приписывал его заблуждениям и неуму. Но недавно опубликованная переписка 20-х годов даёт толчок объяснить это ниже того: корыстью. Оказавшись в Сорренто, Горький с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем — и денег (был же у него целый двор обслуги). Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться в Союз и принять все условия. Тут стал он добровольным пленником Ягоды. И Сталин убивал его зря, из перестраховки: он воспел бы и 37-й год.

А насчёт режима — это уж как обещано. Режим *исправили* — в 11-й карцерной роте теперь *неделями стояли вплотную.* На Соловки поехала комиссия, уже не Сольца, а следственно-карательная. Она разобралась и поняла (с помощью местной ИСЧ), что все жестокости соловецкого режима — от белогвардейцев (Адмчасть), и вообще аристократов, и отчасти от студентов (ну, тех самых, которые ещё с прошлого века поджигали Санкт-Петербург). Тут ещё неудавшийся вздорный побег сошедшего с ума Кожевникова (бывшего министра Дальне-Восточной Республики) с Шепчинским и Дегтярёвым-объездчиком — побег раздули

---

* Журнал «Соловецкие острова», 1929, № 1, стр, 3. (В собрании сочинений Горького этой записи нет.)

в большой фантастический заговор белогвардейцев, будто бы собиравшихся захватить пароход и уплыть,— и стали хватать, и хотя никто в том заговоре не признался, но дело обрастало арестами.

Всего задались цифрою «300». Набрали её. И в ночь на 15 октября 1929 года, всех разогнав и заперев по помещениям,— Святые ворота, обычно запертые, открыли для краткости пути на кладбище. Водили партиями всю ночь. (И каждую партию сопровождала отчаянным воем где-то привязанная собака Блек, подозревая, что именно в этой ведут её хозяина Багратуни. По вою собаки считали в ротах партии, выстрелы за сильным ветром были слышны хуже. Этот вой так подействовал на палачей, что на следующий день был застрелен и Блек и все собаки за Блека.)

Расстреливали те три морфиниста-хлыща, начальник Охраны Дегтярёв и... начальник Культурно-Воспитательной Части Успенский. (Сочетание это удивительно лишь поверхностному взгляду. Этот Успенский имел биографию что называется типическую, то есть не самую распространённую, но сгущающую суть эпохи. Он родился сыном священника — и так застала его революция. Что ожидало его? Анкеты, ограничения, ссылки, преследования. И ведь никак не сотрёшь, никак себе не изменишь отца. Нет, можно, подумал Успенский: он *убил своего отца* и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти! Здоровое чувство, это уже почти и не убийство! Ему дали лёгкий срок — и сразу пошёл он в лагере по культурно-воспитательной линии, и быстро освободился, и вот уже мы застаём его вольным начальником КВЧ Соловков. А на этот расстрел — сам ли он напросился или предложили ему подтвердить свою классовую позицию — неизвестно. К концу той ночи видели его, как он над раковиной, поднимая ноги, поочерёдно мыл голенища, залитые кровью (**ф. 16**, крайний справа — может быть он, может быть однофамилец).

Стреляли они пьяные, неточно — и утром большая присыпанная яма ещё шевелилась.

Весь октябрь и ещё ноябрь привозили на расстрел дополнительные партии с материка. (В какой-то из приёмов был расстрелян и Курилко.)

Всё это кладбище некоторое время спустя было сровнено заключёнными под музыку оркестра. *

После тех расстрелов сменился начальник СЛОНа: вместо Эйхманса — Зарин, и считается, что установилась эра новой соловецкой законности.

Впрочем, вот какова она была. Летом 1930 привезли на Соловки несколько десятков «истинно-православных», их называли «сектантами»: в местных осколках, под разными названиями, в стране существовали многие православные общины, усвоившие тихоновское воззвание 1918 года — анафему советской власти, и потом уже, несмотря на

* Эта площадка — в 300 метрах на юг от Святых ворот (их вели вдоль стены Кремля до конца, а потом дальше, не сворачивая), образовалась большая, 80 x 80 метров, свободная от леса, удобная для постройки. Летом 1975 там начали рыть котлован для жилых домов — и экскаватор выгребал одни кости. Туристы (а среди них — понимающие бывшие зэки) разбирали черепа. Уже и фундамент подняли — а вокруг него во множестве лежали рёбра, ключицы, челюсти, лопатки, тазовые кости, берцовые, фаланги пальцев и позвонки.



13. Г. Г. Ягода (стр. 59)



14. Деревянные журавли (стр. 62)

поворот в центре, не сошедшие с этого отрицания. Эти привезенные («имяславцы») отрекались ото всего, что идёт от антихриста: не получали никаких советских документов, ни в чём не расписывались этой власти и не брали в руки её денег. Во главе этой пригнанной теперь группы состоял седобородый старик восьмидесяти лет, слепой и с долгим посохом. Каждому просвещённому человеку было ясно, что этим фанатикам никак не войти в социализм, потому что для того надо много и много иметь дела с бумажками,— и лучше всего поэтому им бы умереть. И их послали на Малый Заяцкий остров — самый малый в Соловецком архипелаге — песчаный, безлесный, пустынный, с летней избушкой прежних монахов-рыбаков. И выразили расположение дать им двухмесячный паёк — но при условии, чтобы за него расписался в ведомости обязательно *каждый*. Разумеется, они отреклись все. Тут вмешалась неугомонная Анна Скрипникова, уже к тому времени, несмотря на свою молодость и молодость советской власти, арестованная четвёртый раз. Она металась между бухгалтерией, нарядчиками и самим начальником лагеря, осуществлявшим гуманный режим. Она просила сперва сжалиться, потом — послать и её с «сектантами» на Заяцкие острова счетоводом, обязуясь выдавать им пищу на день и вести всю отчётность. Кажется, это никак не противоречило лагерной системе! — а отказали. «Но кормят же сумасшедших, не требуя от них расписок!» — кричала Анна. Зарин только рассмеялся. А нарядчица ответила: «Может быть это установка Москвы — мы же не знаем...» (И это, конечно, было указание из Москвы! — кто ж бы иначе взял ответственность? Хорошо было задумано безбожниками, как этим верующим умереть, но нельзя было осуществить такого плана в густоте среднерусской полосы, вот их и привезли сюда.) *И их отправили без пищи.* Через два месяца (ровно через два, потому что надо было предложить им расписаться на следующие два месяца) приплыли на Малый Заяцкий и нашли только трупы расклёванные. Все на месте, никто не бежал.

И кто теперь будет искать виновных? — в 60-х годах нашего великого века?

Впрочем, и Зарин был скоро снят — за либерализм. (И кажется — 10 лет получил.)

* * *

С конца 20-х годов менялся облик соловецкого лагеря. Из немой западни для обречённых каэров он всё больше превращался в новый тогда, а теперь старый для нас вид общебытового «исправительно-трудового» лагеря. Быстро увеличивалось в стране число «особо-опасных из числа трудящихся» — и гнали на Соловки бытовиков и шпану. Ступали на соловецкую землю воры матёрые и воры начинающие. Большим потоком полились туда воровки и проститутки (встречаясь на Кемперпункте, кричали первые вторым: «Хоть воруем, да собой не торгуем!» И отвечали вторые бойко: «Торгуем своим, а не краденым!»). Дело в том, что объявлена была по стране (не в газетах, конечно) борьба с проституцией, и вот хватали их по всем крупным городам, и всем по стандарту лепили три года, и многих гнали на Соловки. По теории было

ясно, что честный труд быстро их исправит. Однако, почему-то упорно держась за свою социально-унизительную профессию, они уже по пути напрашивались мыть полы в казармах конвоя и уводили за собой красноармейцев, подрывая устав конвойной службы. Так же легко они сдруживались и с надзирателями — и не бесплатно, конечно. Ещё лучше они устраивались на Соловках, где такой был голод по женщинам. Им отводились лучшие комнаты общежития, каждый день приносил им обновки и подарки, «монашки» и другие каэрки подрабатывали от них, вышивая им нижние сорочки,— и, богатые, как никогда прежде, с чемоданами, полными шёлка, они по окончанию срока ехали в Союз начинать честную жизнь.

А воры затеяли карточные игры. А воровки сочли выгодным рожать на Соловках детей: яслей там не было, и через ребёнка можно было на весь свой короткий срок освободиться от работы. (До них каэрки избегали этого пути.)

12 марта 1929 на Соловки поступила и первая партия несовершеннолетних, дальше их слали и слали (все моложе 16 лет). Сперва их располагали в детколонии близ Кремля с теми самыми показными топчанами и матрасами. Они прятали казённое обмундирование и кричали, что не в чем на работу идти. Затем и их рассылали по лесам, оттуда они разбегались, путали фамилии и сроки, их вылавливали, опознавали.

С поступлением социально-здорового контингента приободрилась Культурно-Воспитательная Часть. Зазывали ликвидировать неграмотность (но воры и так хорошо отличали черви от треф), повесили лозунг: «Заключённый — активный участник социалистического строительства!», и даже термин придумали — *перековка* (именно здесь придумали).

Это был уже сентябрь 1930 года — обращение ЦК ко всем трудящимся о развёртывании соревнования и ударничества — и как же заключённые могли остаться вне? (Если уж повсюду запрягались вольные, то не заключённых ли следовало в корень заложить?)

Дальше сведения наши идут не от живых людей, а из книги учёной юристки Иды Авербах *, и потому предлагаем читателю делить их на шестнадцать, на двести пятьдесят шесть, а порой брать и с обратным знаком.

Осенью 1930 года создан был соловецкий штаб соревнования и ударничества. Отъявленные рецидивисты, убийцы и налётчики вдруг «выступили в роли бережливых хозяйственников, умелых техноруков, способных культурных работников» (Г. Андреев вспоминает: били по зубам — «давай кубики, контра!»). Воры и бандиты, едва прочтя обращение ЦК, отбросили свои ножи и карты и загорелись жаждой создать в лагере коммуну. По уставу записали: членом может быть происходящий из бедняцко-середняцкой и рабочей среды (а, надо сказать, все блатные записывались Учётно-Распределительной Частью как «бывшие рабочие» — почти сбывался лозунг Шепчинского «Соловки — рабочим и крестьянам!») — и ни в коем случае не Пятьдесят Восьмая. (И ещё предложили коммунары: все их сроки сложить, разделить на число участников, так высчитать средний срок и по его истечении всех разом

---

* И. Л. Авербах. «От преступления к труду», под редакцией Вышинского. Изд-во «Советское законодательство», 1936.

освободить! Но несмотря на коммунистичность предложения, чекисты сочли его политически незрелым.) Лозунги Соловецкой коммуны были: «Отдадим долг рабочему классу!», и ещё лучше «*От нас — всё, нам — ничего!*» (Этот лозунг, уже вполне зрелый, достоин был, пожалуй, и всесоюзного распространения.) Придумано было вот какое зверское наказание для провинившихся членов коммуны: *запрещать* им выходить на работу! (Нельзя наказать вора суровее!!)

Впрочем соловецкое начальство, не столь горячась, как культвоспитработники, не шибко положилось на воровской энтузиазм, а «применило ленинский принцип: ударная работа — ударное снабжение!» Это значит: коммунаров переселили в отдельные общежития, мягче постелили, теплей одели и стали отдельно и лучше питать (за счёт остальных, разумеется). Это очень понравилось коммунарам, и они оговорили, чтоб никого уже не разлучать, из коммуны не выбрасывать.

Очень понравилась такая коммуна и не коммунарам — и все несли заявления в коммуну. Но решено было в коммуну их не принимать, а создавать 2-й, 3-й, 4-й «трудколлективы», уже без таких льгот. И ни в один коллектив не принималась Пятьдесят Восьмая, хотя самые развязные из шпаны через газету поучали её: пора, мол, пора понять, что лагерь есть трудовая школа!

И повезли самолётами доклады в ГУЛаг: соловецкие чудеса! бурный перелом настроения блатных! вся горячность преступного мира вылилась в ударничество, в соревнование, в выполнение промфинплана! Там удивлялись и распространяли опыт.

Так и стали жить Соловки: часть лагеря в трудколлективах, и процент выполнения у них не просто вырос, а — вдвое! (КВЧ это объясняло влиянием коллектива, мы-то понимаем, что — обычная лагерная тухта. *)

Другая часть лагеря — «неорганизованная» (да ненакормленная, да неодетая, да на тяжких работах) — и, понятно, с нормами не справлялась.

В феврале 1931 года конференция соловецких ударных бригад постановила: «широкой волной соцсоревнования ответить на новую клевету капиталистов о принудительном труде в СССР». В марте было ударных бригад уже 136. А в апреле вдруг потребовалась их генеральная чистка, ибо «классово-чуждый элемент проникал для разложения коллективов». (Вот загадка: Пятьдесят Восьмую с порога не принимали, кто ж им разлагал? Надо так понять: раскрылась тухта. Ели-пили, веселились, подсчитали — прослезились, и кого-то надо гнать, чтоб остальные шевелились.)

А за радостным гулом шла бесшумная работа отправки этапов: из материнской соловецкой опухоли слали Пятьдесят Восьмую в далёкие гиблые места открывать новые лагеря.

Рассказывают, что одна (ещё одна ли?) перегруженная баржа с заключёнными потонула (ещё случайно ли?).

---

* Меня корят, что надо писать туФта, как правильно по-воровски, а туХта есть крестьянское переиначивание, как Хвёдор. Но это мне и мило: туХта как-то сроднено с русскнм языком, а туФта совсем чужое. Принесли воры, а обучили весь русский народ, так пусть и будет туХта.

А с Анзера некоторых заключённых вовозили по одному, секретно. Удивлялась охрана: что это за зэки такие тайные? *

Откройте, читатель, карту русского Севера. Морской путь с Соловков в Сибирь пролегал мимо Новой Земли. Раз в год (июнь—июль) идут туда караваны судов во главе с ледоколом, везут новых зэков и провиант лагерям на год. На Новой Земле тоже были лагеря многие годы и самые страшные — потому что сюда попадали «без права переписки». Отсюда не вернулся никогда *ни единый* зэк. Что́ эти несчастные там добывали-строили, как жили, как умирали — этого ещё и сегодня мы не знаем.

Но когда-нибудь дождёмся же свидетельства!

---

* На Соловках и в 1975 ещё жили: бывший лагерный охранник Ершихин; его жена, бывший заседатель *тройки* в Кеми; бывшие надзиратели Беличкин, Третьяков, Шимонаев. А надзирательский сын Чеботарёв стал председатель исполкома острова.

Глава 3

АРХИПЕЛАГ ДАЁТ МЕТАСТАЗЫ

Да не сам по себе развивался Архипелаг, а ухо в ухо со всей страной. Пока в стране была безработица — не было и погони за рабочими руками заключённых, и аресты шли не как трудовая мобилизация, а как сметанье с дороги. Но когда задумано было огромной мешалкой перемешать все сто пятьдесят тогдашних миллионов, когда отвергнут был план сверхиндустриализации и вместо него погнали сверх-сверх-сверхиндустриализацию, когда уже задуманы были и раскулачивание и обширные общественные работы первой пятилетки,— в канун Года Великого Перешиба изменился и взгляд на Архипелаг и всё в Архипелаге.

26 марта 1928 года Совнарком (значит — ещё под председательством Рыкова) рассматривал состояние карательной политики в стране и состояние мест заключения. О карательной политике было признано, что она недостаточна. Постановлено было *: к классовым врагам и классово-чуждым элементам применять суровые меры репрессии, устрожить лагерный режим. Кроме того: поставить принудработы так, чтоб заключённые не зарабатывали ничего, а государству они были бы хозяйственно-выгодны. И: «считать в дальнейшем необходимым *расширение ёмкости* трудовых колоний». То есть попросту предложено было готовить побольше лагерей перед запланированными обильными посадками. (Эту же хозяйственную необходимость предвидел и Троцкий, только он опять предлагал свою трудармию с обязательной мобилизацией. Хрен редьки не слаще. Но из духа ли противоречия своему вечному оппоненту или чтоб решительней отрубить у людей жалобы и надежды на возврат, Сталин определил прокрутить трудармейцев через тюремную машину.) Упразднялась безработица в стране — появился *экономический смысл* расширения лагерей.

Если в 1923 на Соловках было заключено не более 3 тысяч человек, то к 1930 — уже около 50 тысяч, да ещё 30 тысяч в Кеми. С 1928 года соловецкий рак стал расползаться — сперва по Карелии — на прокладку дорог, на экспортные лесоповалы. Также охотно СЛОН стал «продавать» инженеров: они бесконвойно ехали работать в любое северное место, а зарплата их перечислялась в лагерь. Во всех точках Мурманской железной дороги от Лодейного поля до Тайболы к 1929 году уже появились лагерные пункты СЛОНа. Затем движение пошло на вологодскую линию — и такое оживлённое, что понадобилось на станции Званка открыть диспетчерский пункт СЛОНа. К 1930 в Лодейном поле окреп и стал на свои ноги СвирЛаг, в Котласе образовался КотЛаг. С 1931 года с центром в Медвежегорске родился БелБалтЛаг **, которому предстояло в ближайшие два года прославить Архипелаг во веки веков и на пять материков.

А злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны их не пускало море, а с другой — финская граница,— но ничто не мешало

* ЦГАОР, ф. 393, оп 78, х. 65, л.л. 369—372.

** Это — официальная дата, а фактически с 1930, но организационный период скрыли для краткости сроков, красы и истории. И тут тухта...

устроить лагерь под Красной Вишерой (1929), а главное — беспрепятственны были пути на восток по русскому Северу. Очень рано потянулась дорога Сорока — Котлас («Сорóка — построим до срока!» — дразнили соловчане С. Алымова, который однако дела своего держался и вышел в люди, в *поэты-песéнники.*) Доползя до Северной Двины, лагерные клеточки образовали СевДвинЛаг. Переползя её, они бесстрашно двинулись к Уралу. В 1931 году там основано было Северо-Уральское отделение СЛОНа, которое вскоре дало самостоятельные СоликамЛаг и СевУралЛаг. Березниковский лагерь начал строительство большого химкомбината, в своё время очень восславленное. Летом 1929 из Соловков на реку Чибью была послана экспедиция бесконвойных заключённых под главенством геолога М. В. Рущинского — разведать нефть, открытую там ещё в 80-х годах XIX века. Экспедиция была успешна,— и на Ухте образовался лагерь — УхтЛаг. Но он тоже не стыл на месте, а быстро метастазировался к северо-востоку, захватил Печору — и преобразовался в УхтПечЛаг. Вскоре он имел Ухтинское, Печорское, Интинское и Воркутинское отделения — всё основы будущих великих самостоятельных лагерей.

И тут ещё многое пропущено.

Освоение столь обширного северного бездорожного края потребовало прокладки железной дороги: от Котласа через Княж-Погост и Ропчу на Воркуту. Это вызвало потребность ещё в двух самостоятельных лагерях, уже железнодорожных: СевЖелДорЛаге — на участке от Котласа до реки Печоры, и ПечорЛаге (не путать с промышленным УхтПечЛагом) — на участке от реки Печоры до Воркуты. (Правда, дорога эта строилась долго. Её вымьский участок от Княж-Погоста до Ропчи был готов в 1938, вся же она — лишь в конце 1942.)

Так из тундренных и таёжных пучин подымались сотни средних и маленьких новых островов. На ходу, в боевом строю, создавалась и новая организация Архипелага: Лагерные Управления, лагерные отделения, лагерные пункты (ОЛПы — отдельные лагерные пункты, КОЛПы — комендантские, ГОЛПы — головные), лагерные участки (они же — «командировки» и «подкомандировки»). А в Управлениях — Отделы, а в отделениях — Части: I — Производственная, II — Учётно-Распределительная (УРЧ), III — Опер-Чекистская.

(А в диссертациях в это время писалось: «вырисовываются впереди контуры воспитательных учреждений для *отдельных* недисциплинированных членов бесклассового общества» (сборник «От тюрем...», стр. 429). В самом деле, кончаются классы — кончаются и преступники? Но как-то дух захватывает, что вот завтра — бесклассовое, — и никто не будет *сидеть?..* всё же отдельные недисциплинированные посидят... Бесклассовое общество тоже не без тюряги.)

Так вся северная часть Архипелага рождена была Соловками. Но не ими же одними! По великому зову советской власти исправительно-трудовые лагеря и колонии вспучивались по всей необъятной нашей стране. Каждая область заводила свои ИТЛ и ИТК. Миллионы километров колючей проволоки побежали и побежали, пересекаясь, переплетаясь, мелькая весело шипами вдоль железных дорог, вдоль шоссейных дорог, вдоль городских окраин. И охлупы уродливых лагерных вышек стали вернейшей чертой нашего пейзажа и только удивительным стечением обстоятельств не попадали ни на полотна художников, ни в кадры фильмов.

Как повелось ещё с гражданской войны, усиленно *мобилизовались* для лагерной нужды монастырские здания, своим расположением идеально приспособленные для изоляции. Борисоглебский монастырь в Торжке пошёл под пересыльный пункт (и сейчас он там), Валдайский (через озеро против будущей дачи Жданова) — под колонию малолетних, Нилова Пустынь на селигерском острове Столбном — под лагерь, Саровская пустынь — под гнездо Потьминских лагерей, и несть конца этому перечислению. Поднимались лагеря в Донбассе, на Волге верхней, средней, нижней, на Среднем и Южном Урале, в Закавказьи, в центральном Казахстане, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Официально сообщается, что в 1932 году площадь сельско-хозяйственных исправтрудколоний по РСФСР была — 253 тысячи гектаров, по УССР — 56 тысяч. * Кладя в среднем на одну колонию по тысяче гектаров, мы узнаём, что одних только «сельхозов», то есть самых второстепенных и льготных лагерей, уже было (без окраин страны) — более трёхсот!

Распределение заключённых по лагерям ближним и дальним легко решалось постановлением ЦИК и СНК от 6.11.29. (И всё годовщины попадаются...) Упразднялась прежняя «строгая изоляция» (мешавшая созидательному труду), устанавливалось, что в *общие* (ближние) места заключения посылаются осуждённые на сроки менее трёх лет, а от трёх до десяти — в отдалённые местности. ** Так как Пятьдесят Восьмая никогда не получала менее трёх лет, то вся и хлынула она на Север и в Сибирь — освоить и погибнуть.

А мы в это время — шагали под барабаны!..

* * *

На Архипелаге живёт упорная легенда, что *«лагеря придумал Френкель».*

Мне кажется, эта непатриотичная и даже оскорбительная для власти выдумка достаточно опровергнута предыдущими главами. Хотя и скудными средствами, но, надеюсь, нам удалось показать рождение лагерей для подавления и для труда ещё в 1918 году. Безо всякого Френкеля додумались, что заключённые не должны терять времени в нравственных размышлениях (целью советской исправительно-трудовой политики вовсе не является индивидуальное исправление в его традиционном понимании), а должны трудиться, и при этом нормы им надо назначить покрепче, почти непосильные. До всякого Френкеля уже говорили: «исправление через труд» (а понимали ещё с Эйхманса как «истребление через труд»).

Да даже и современного диалектического мышления не нужно было, чтобы додуматься до использования заключённых на тяжёлых работах в малонаселённой местности. Ещё в 1890 году в министерстве путей сообщения возникла мысль привлечь ссыльно-каторжных Приамурского края к прокладке рельсового пути. Каторжан просто заставили, а ссыльно-переселенцам и административно-ссыльным было разрешено работать на прокладке дороги и за это получить скидку трети или половины

* Сборник «От тюрем...», стр. 136—137.

** Собрание Законов СССР, 1929, № 72.

срока (впрочем, они предпочитали побегом сбросить весь срок сразу). С 1896 по 1900 год на кругбайкальском участке работало больше полутора тысяч каторжан и 2,5 тысячи ссыльно-переселенцев.

Но вообще-то на русской каторге XIX века шло развитие обратное: труд становился всё менее обязательным, замирал. Даже Карийская каторга к 90-м годам обратилась в места высидочного заключения, работ больше не производилось. К тому же времени помягчели и рабочие требования на Акатуе (П. Якубович). Так что привлечение каторжных к кругбайкальской дороге было скорее нуждою временной. Не наблюдаем ли мы опять «два рога» или параболу, как и со срочными тюрьмами (Часть Первая, глава 9): ветвь смягчения и ветвь ожесточения?

Что же до мысли, то осмысленный (и уж конечно не изнурительный) труд помогает *преступнику* исправиться, то она известна была, когда ещё и Маркс не родился, и в российском тюремном управлении тоже практиковалась ещё в прошлом веке. П. Курлов, одно время начальник тюремного управления, свидетельствует: в 1907 году арестантские работы широко организованы; их изделия отличаются дешевизной, занимают производительно время арестантов и снабжают их при выходе из тюрьмы денежными средствами и ремесленными познаниями.

И всё-таки Френкель действительно стал нервом Архипелага. Он был из тех удачливых деятелей, которых История уже с голодом ждёт и зазывает. Лагеря как будто и были до Френкеля, но не приняли они ещё той окончательной и единой формы, отдающей совершенством. Всякий истинный пророк приходит именно тогда, когда он крайне нужен. Френкель явился на Архипелаг к началу метастазов.

Нафталий Аронович Френкель, турецкий еврей, родился в Константинополе. Окончил коммерческий институт и занялся лесоторговлей. В Мариуполе он основал фирму и скоро стал миллионером, «лесным королём Чёрного моря». У него были свои пароходы, и он даже издавал в Мариуполе свою газету «Копейку», с задачей — порочить и травить конкурентов. Во время первой мировой войны Френкель вёл какие-то спекуляции с оружием через Галлиполи. В 1916 году учуял грозу в России, ещё до февральской революции перевёл свои капиталы в Турцию, и следом за ними в 1917 сам уехал в Константинополь.

И дальше он мог вести всю ту же сладко-тревожную жизнь коммерсанта и не знал бы горького горя и не превратился бы в легенду. Но какая-то роковая сила влекла его к красной державе. (Впрочем, с самого февраля 1917 кидались на возврат в Россию многие совсем не революционные эмигранты, и охотливо и зловеще помогли всем стадиям революции.) Не проверен слух, будто в те годы в Константинополе он становится резидентом советской разведки (разве что по идейным соображениям, а то трудно вообразить — зачем это ему нужно). Но вполне точно, что в годы НЭПа он приезжает в СССР и здесь по тайному поручению ГПУ создаёт, как бы от себя, чёрную биржу для скупки ценностей и золота за советские бумажные рубли (предшественник «золотой кампании» ГПУ и Торгсина). Дельцы и маклеры хорошо его помнят по прежнему времени, доверяют — и золото стекается в ГПУ. Скупка кончается и, в благодарность, ГПУ его сажает. На всякого мудреца довольно простоты.

Однако, неутомимый и необидчивый Френкель ещё на Лубянке или по дороге на Соловки что-то заявляет наверх. Очевидно, найдя себя

в капкане, он решает и эту жизнь подвергнуть деловому рассмотрению. Его привозят на Соловки в 1927 году, но сразу от этапа отделяют, поселяют в каменной будке вне черты монастыря, приставляют к нему для услуг дневального и разрешают свободное передвижение по острову. Мы уже упоминали, что он становится начальником экономической части (привилегия вольного) и высказывает свой знаменитый тезис об использовании заключённого в первые три месяца, а дальше ни он, ни его труп не нужны. С 1928 он уже в Кеми. Там он создаёт выгодное подсобное предприятие. За десятилетия накопленные монахами и втуне лежащие на монастырских складах кожи он перевозит в Кемь, стягивает туда заключённых скорняков и сапожников и поставляет модельную обувь и кожгалантерею в фирменный магазин на Кузнецком мосту (им ведает и классовую выручку забирает ГПУ, но дамочкам, покупающим туфли, это неизвестно — да и когда их самих вскоре потянут на Архипелаг, они об этом не вспомнят, не разберутся).

Как-то, году в 1929, за Френкелем прилетает из Москвы самолёт и увозит на свидание к Сталину. Лучший Друг заключённых (и Лучший Друг чекистов) с интересом беседует с Френкелем три часа. Стенограмма этой беседы никогда не станет известна, её просто не было, но ясно, что Френкель разворачивает перед Отцом Народов ослепительные перспективы построения социализма через труд заключённых. Многое из географии Архипелага, послушным пером описываемое нами теперь вослед, он набрасывает смелыми мазками на карту Союза под пыхтение трубки своего собеседника. Именно Френкель и очевидно именно в этот раз предлагает всеохватывающую систему лагерного учёта по группам А-Б-В-Г, не дающего лазейки ни лагерному начальнику, ни, тем более, арестанту: всякий, не обслуживающий лагерь (Б), не признанный больным (В) и не покаранный карцером (Г), должен каждый день своего срока тянуть упряжку (А). Мировая история каторги ещё не знала такой универсальности! Именно Френкель и именно в этой беседе предлагает отказаться от реакционной системы равенства в питании арестантов и набрасывает единую для всего Архипелага систему перераспределения скудного продукта — *хлебную шкалу и шкалу приварка,* впрочем позаимствованную им у эскимосов: держать рыбу на шесте перед бегущими собаками. Ещё предлагает он *зачёты* и досрочное освобождение как награду за хорошую работу. Вероятно здесь же устанавливается и первое опытное поле — великий Беломорстрой, куда предприимчивый валютчик вскоре будет назначен — не начальником строительства и не начальником лагеря, но на специально для него придуманную должность «начальника работ» — главного надсмотрщика на поле трудовой битвы.

Да вот и он сам **(ф. 9).** Его наполненность злой античеловеческой волей видна на лице. Но в той книге о Беломоре, желая прославить Френкеля, один из советских писателей напишет о нём так: «С тростью в руке он появлялся на трассе то там, то тут, молча проходил к работам и останавливался, опершись о трость, заложив ногу за ногу, и так стоял часами... Глаза следователя и прокурора, губы скептика и сатирика... Человек большого властолюбия и гордости, он считает, что главное для начальника — это власть, абсолютная, незыблемая и безраздельная. Если для власти нужно, чтобы тебя боялись — пусть боятся». И даже

находит повод восхититься «безжалостным сарказмом и сухостью, когда ни одно человеческое чувство казалось не было доступно этому начальнику». *

Последняя фраза нам кажется ключевой — и к характеру и к биографии Френкеля.

К началу Беломорстроя он освобождён, за Беломорканал получает орден Ленина и назначается начальником строительства БАМЛага («Байкало-Амурская магистраль» — это название из будущего, а в 30-е годы БАМЛаг достраивает вторые пути Сибирской магистрали там, где их ещё нет.) На этом далеко не окончена карьера Нафталия Френкеля, но уместнее досказать её в следующей главе.

* * *

Вся долгая история Архипелага за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза. Здесь сыграла роль та же злая случайность, по которой лагерные вышки никогда не попадали в кадры киносъёмок, ни на пейзажи художников.

Но не так с Беломорканалом и с Волгоканалом. По каждому из них в нашем распоряжении есть книга, и по крайней мере эту главу мы можем писать, руководясь документальным советским свидетельством.

В старательных исследованиях прежде, чем использовать какой-либо источник, полагается его охарактеризовать. Сделаем это.

Вот перед нами лежит этот том форматом почти с церковное Евангелие и с выдавленным на картонной обложке барельефом Полубожества. Книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» издана ГИЗом в 1934 году и посвящена авторами XVII съезду партии, очевидно к съезду она и поспела. Она есть ответвление горьковской «Истории фабрик и заводов». Её редакторы: Максим Горький, Л. Л. Авербах и С. Г. Фирин. Последнее имя мало известно в литературных кругах, объясним же. Семён Фирин, несмотря на свою молодость,— заместитель начальника ГУЛага. Томимый авторским честолюбием, он написал о Беломоре и свою отдельную брошюру. Леопольд Леонидович Авербах (брат уже встреченной нами Иды Леонидовны) — напротив, славней его не было в советской литературе, ответственный редактор журнала «На литературном посту», главный, кто бил писателей дубиной, и он же племянник Свердлова. **

История книги такова: 17 августа 1933 года состоялась *прогулка* ста двадцати писателей по только что законченному каналу на пароходе.

---

* «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». История строительства. Госиздат. «История фабрик и заводов», 1934, стр. 213, 216.

** Чудесная семья Свердловых как-то осталась в тени революционной истории — благодаря ранней смерти Якова, успевшего однако хорошо приложиться к нашим казням, не минуя и царскую семью. Вот — эти милые племянники, ещё же был сын Андрей, незаурядный следователь-палач (а ещё, по любительству, притворялся арестованным и садился в камеры наседкой). А у жены Свердлова Клавдии Новгородцевой хранился дома алмазио-бриллиантовый *партийный фонд*, награбленный большевиками в революцию: банда Политбюро приготовила этот запас на случай провала власти, если придётся поспешно покидать государственные здания.

Заключённый прораб канала Д. П. Витковский был свидетелем, как во время шлюзования парохода эти люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключённых с территории шлюза (а кстати там были больше уже эксплуатационники, чем строители), в присутствии канальского начальства спрашивали заключённого: любит ли он свой канал, свою работу, считает ли он, что здесь исправился, и достаточно ли заботится их руководство о быте заключённых? Вопросов было много, но в этом духе все, и все через борт, а при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки 84 писателя каким-то образом сумели увернуться от участия в Горьковском коллективном труде (но может быть писали свои восторженные стихи и очерки), остальные же 36 составили коллектив авторов. Напряжённым трудом осени 1933 года и зимы они и создали этот уникальный труд.

Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и удивлялось. Но по роковому стечению обстоятельств большинство прославленных в ней и сфотографированных руководителей через два-три года все были разоблачены как враги народа. Естественно, что и тираж книги был изъят из библиотек и уничтожен. Уничтожали её в 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за неё срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров, и нет надежды на переиздание — и тем отягчительнее чувствуем мы на себе бремя не дать погибнуть для наших соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге. Справедливо будет сохранить для истории литературы и имена авторов. Ну, хотя бы вот эти: Максим Горький.— Виктор Шкловский.— Всеволод Иванов.— Вера Инбер.— Валентин Катаев.— Михаил Зощенко.— Лапин и Хацревин.— Л. Никулин.— Корнелий Зелинский.— Бруно Ясенский (глава: «Добить классового врага»).— Е. Габрилович.— А. Тихонов.— Алексей Толстой.— К. Финн.

Необходимость этой книги для заключённых, строивших канал, Горький объяснил так: «у каналоармейцев * не хватает запаса слов» для выражения сложных чувств перековки,— у писателей же такой запас слов есть, и вот они помогут. Необходимость же её для писателей он объяснил так: «Многие литераторы после ознакомления с каналом... получили зарядку, и это очень хорошо повлияет на их работу... Теперь в литературе *появится то настроение, которое двинет её вперёд* и поставит её на уровень наших великих дел» (курсив мой — А. С. Этот уровень мы и посегодня ощущаем в советской литературе). Ну, а необходимость книги для миллионов читателей (многие из них и сами скоро должны притечь на Архипелаг) понятна сама собою.

Какова же точка зрения авторского коллектива на предмет? Прежде всего: уверенность в правоте всех приговоров и в виновности всех пригнанных на канал. Даже слово «уверенность» слишком слабое: этот вопрос недопустим для авторов ни к обсуждению, ни к постановке. Это для них так же ясно, как ночь темнее дня. Они, пользуясь своим запасом слов и образов, внедряют в нас все человеконенавистнические легенды 30-х годов. Слово «вредитель» они трактуют как основу инженерского существа. И агрономы, выступавшие против раннего сева (может

* Так решено было их называть для поднятия духа (или в честь несостоявшейся трудармии?).

быть — в снег и в грязь?), и ирригаторы, обводнявшие Среднюю Азию,— все для них безоговорочно вредители. Во всех главах книги эти писатели говорят о сословии инженеров только снисходительно, как о породе порочной и низкой. На странице 125 книга обвиняет *значительную часть русского дореволюционного инженерства — в плутоватости.* Это — уже не индивидуальное обвинение, никак. (Понять ли, что инженеры вредили уже и царизму?) И это пишется людьми, никто из которых не способен даже извлечь простейшего квадратного корня (что делают в цирке некоторые лошади).

Авторы повторяют нам все бредовые слухи тех лет как историческую несомненность: что в заводских столовых травят работниц мышьяком; что если скисает надоенное в совхозе молоко, то это — не глупая нерасторопность, но — расчёт врага: заставить страну пухнуть с голоду (так и пишут). Обобщённо и безлико они пишут о том зловещем собирательном *кулаке,* который «поступил на завод и подбрасывает болт в станок». Что ж, они — ведуны человеческого сердца, им это легче вообразить: человек каким-то чудом уклонился от ссылки в тундру, бежал в город, ещё бóльшим чудом поступил на завод, уже умирая от голода, и теперь вместо того, чтобы кормить семью, он подбрасывает болт в станок!

Напротив, авторы не могут и не хотят сдержать своего восхищения руководителями канальных работ, работодателями, которых, несмотря на 30-е годы, они упорно называют чекистами, вынуждая к этому термину и нас. Они восхищаются не только их умом, волей, организацией, но и в высшем человеческом смысле, как существами удивительными. Показателен хотя бы эпизод с Яковом Раппопортом **(ф. 10).** Этот недоучившийся студент Дерптского университета, эвакуированного в Воронеж, и ставший на новой родине заместителем председателя губернского ЧК, а затем заместителем начальника строительства Беломорстроя,— по словам авторов, обходя строительство, остался недоволен, как рабочие гонят тачки, и задал инженеру уничтожающий вопрос: а вы помните, чему равняется косинус сорока пяти градусов? И инженер был раздавлен и устыжён эрудицией Раппопорта, и сейчас же исправил свои вредительские указания, и гон тачек пошёл на высоком техническом уровне. Подобными анекдотами авторы не только художественно сдабривают своё изложение, но и поднимают нас на научную высоту.

И чем выше пост занимает работодатель, тем с большим преклонением он описывается авторами. Безудержные похвалы выстилаются начальнику ГУЛага Матвею Берману **(ф. 11).** * Много восторженных похвал достаётся Лазарю Когану, бывшему анархисту, в 1918 перешедшему на сторону победивших большевиков, доказавшему свою верность на посту начальника Особого Отдела IX армии, потом заместителя начальника войск ОГПУ, одному из организаторов ГУЛага, а теперь начальнику строительства Беломорканала **(ф. 12).** Но тем более авторы могут лишь присоединиться к словам товарища Когана о *железном наркоме:* «Товарищ Ягода — наш главный, наш повседневный руководитель.» (Это пуще всего и погубило книгу! Славословия Генриху Ягоде

* М. Берман — М. Борман, опять только буква одна разницы... Эйхманс — Эйхман...

и его портрет **(ф. 13)** были вырваны даже из сохранившегося для нас экземпляра, и долго пришлось нам искать этот портрет.)

Уж тем более этот тон внедрялся в лагерные брошюры. Вот например: «На шлюз № 3 пришли почётные гости (их портреты висели в каждом бараке) — товарищ Каганович, Ягода и Берман. Люди заработали быстрее. *Там наверху* улыбнулись — и улыбка передалась сотням людей в котловане.» * И в казённые песни:

«Сам Ягода ведёт нас и учит,
Зорок глаз его, крепка рука.»

Общий восторг перед лагерным строем жизни влечёт авторов к такому панегирику: «В какой бы уголок Союза ни забросила нас судьба, пусть это будет глушь и темнота,— отпечаток порядка... чёткости и сознательности... несёт на себе любая организация ОГПУ.» А какая же в российской глуши организация ГПУ? — да только лагерь. *Лагерь как светоч прогресса* — вот уровень нашего исторического источника.

Тут высказался и сам главный редактор. Выступая на последнем слёте беломорстроевцев 25.8.33 в городе Дмитрове (они уже переехали на Волгоканал), Горький сказал: «Я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей.» (Это значит — ещё раньше Соловков, раньше того расстрелянного мальчишки; как в Союз вернулся — так и присматривается.) И, уже еле сдерживая слёзы, обратился к присутствующим чекистам: «Черти драповые, вы сами не знаете, что́ сделали...» Отмечают авторы: тут чекисты *только улыбнулись*. (Они знали, ч т о сделали...) О чрезмерной скромности чекистов пишет Горький и в самой книге. (Эта их нелюбовь к гласности, действительности, трогательная черта.)

Коллективные авторы не просто умалчивают о смертях на Беломорканале, то есть не следуют трусливому рецепту полуправды, но прямо пишут (стр. 190), что *никто* не умирает на строительстве! (Вероятно вот они как считают: сто тысяч начинало канал, сто тысяч и кончило. Значит, все живы. Они упускают только этапы, заглотанные строительством в две лютых зимы. Но это уже на уровне косинуса плутоватого инженерства.)

Авторы не видят ничего более вдохновляющего, чем этот лагерный труд. В подневольном труде они усматривают одну из высших форм пламенного сознательного творчества. Вот теоретическая основа исправления: «Преступники — от прежних гнусных условий, а страна наша красива, мощна и великодушна, её надо украшать.» По их мнению все эти пригнанные на канал никогда бы не нашли своего пути в жизни, если бы работодатели не велели им соединить Белого моря с Балтийским. Потому что ведь «*человеческое сырьё* обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево»,— что за язык! глубина какая! кто это сказал? — это Горький говорит в книге, оспаривая «словесную мишуру гуманизма».

* Ю. Куземко. «3-й шлюз». Издание Культурно-воспитательного отдела Дмитлага, 1935. «Не подлежит распространению за пределы лагеря». Из-за редкости издания можно порекомендовать другое сочетание: «Каганович, Ягода и Хрущёв инспектируют лагеря на Беломорканале». D. D. Runes. «Despotism», NY, 1963, p. 262.

А Зощенко, глубоко вникнув, пишет: «перековка — это не желание выслужиться и освободиться (такие подозрения всё-таки были? — А. С.), а на самом деле перестройка сознания и гордость строителя». О, человековед! Катал ли ты канальную тачку да на штрафном пайке?..

Этой достойной книгой, составившей славу советской литературы, мы и будем руководствоваться в наших суждениях о канале.

Как случилось, что для первой великой стройки Архипелага избран был именно Беломорканал? Понуждала ли Сталина дотошная экономическая или военная необходимость? Дойдя до конца строительства, мы сумеем уверенно ответить, что — нет. Раскалял ли его благородный дух соревнования с Петром Первым, протащившим волоками по этой трассе свой флот, или с императором Павлом, при котором был высказан первый проект этого канала? Вряд ли Мудрый о том и знал. Сталину нужна была *где-нибудь* великая стройка заключёнными, которая поглотит много рабочих рук и много жизней (избыток людей от раскулачивания), с надёжностью душегубки, но дешевле её,— одновременно оставив великий памятник его царствования типа пирамиды. На излюбленном рабовладельческом Востоке, у которого Сталин больше всего в жизни почерпнул, любили строить великие каналы. И я почти вижу, как с любовью рассматривая карту русско-европейского Севера, где была собрана тогда бо́льшая часть лагерей, Властитель провёл в центре этого края линию от моря до моря кончиком трубочного черенка.

Объявляя же стройку, её надо было объявить только *срочной*. Потому что ничего не срочного в те годы в нашей стране не делалось. Если б она была не срочной — никто бы не поверил в её жизненную важность — а даже заключённые, умирая под опрокинутой тачкой, должны были верить в эту важность. Если б она была не срочной — то они б не умирали и не расчищали бы площадки для нового общества.

«Канал должен быть построен в короткий срок и *стоить дёшево*! — таково указание товарища Сталина!» (А кто жил тогда — тот помнит, что значит — Указание Товарища Сталина!) Двадцать месяцев! — вот сколько отпустил Великий Вождь своим преступникам и на канал и на исправление: с сентября 1931 по апрель 1933. Даже двух полных лет он дать им не мог — так торопился. Панамский канал длиною 80 км строился 28 лет, Суэцкий длиной в 160 км — 10 лет, Беломорско-Балтийский в 227 км — меньше 2 лет, не хотите? Скального грунта вынуть два с половиной миллиона кубометров, всего земляных работ — 21 миллион кубометров. Да загромождённость местности валунами. Да болота. Семь шлюзов «Повенчанской лестницы», двенадцать шлюзов на спуске к Белому морю. 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб, 33 канала. Бетонных работ — 390 тысяч кубометров, ряжевых — 921 тысяча. * И — «это не Днепрострой, которому дали долгий срок и валюту. Беломорстрой поручен ОГПУ *и ни копейки валюты*!»

Вот теперь всё более и более нам яснеет замысел: значит, так нужен этот канал Сталину и стране, что — ни копейки валюты. Пусть единовременно работает у вас с т о т ы с я ч заключённых — какой капитал ещё ценней? И в двадцать месяцев отдайте канал! ни дня отсрочки.

---

* Постановление Совета Народных Комиссаров, Москва, Кремль, 2.8.33. «Беломорско-Балтийский канал», стр. 401.

Вот тут и рассвирепеешь на инженеров-вредителей. Инженеры говорят: будем делать бетонные сооружения. Отвечают чекисты: некогда. Инженеры говорят: нужно много железа. Чекисты: замените деревом! Инженеры говорят: нужны тракторы, краны, строительные машины! Чекисты: ничего этого не будет, ни копейки валюты, делайте всё руками!

Книга называет это: «дерзкая чекистская формулировка технического задания». * То есть раппопортовский косинус... (Кстати, в разных тиражах «Беломора» этот косинус — разный.)

Так торопимся, что для северного этого проекта привозим ташкентцев, гидротехников и ирригаторов Средней Азии (как раз удачно их посадили). Из них создаётся на Фуркасовском переулке (позади Большой Лубянки) Особое (опять «особое», любимое слово!) конструкторское бюро. ** (Впрочем чекист Иванченко спрашивает инженера Журина: «А зачем проектировать, когда есть проект Волго-Дона? По нему и стройте.»)

Так торопимся, что они начинают делать проект ещё прежде изысканий на местности! Само собой мчим в Карелию изыскательные партии. Ни один конструктор не имеет права выйти за пределы бюро, ни тем более в Карелию (бдительность). Поэтому идёт облёт телеграммами: а какая там отметка? а какой там грунт?

Так торопимся, что эшелоны зэков прибывают и прибывают на будущую трассу, а там ещё нет ни бараков, ни снабжения, ни инструментов, ни точного плана — что́ же надо делать? Нет бараков — зато есть ранняя северная осень. Нет инструментов — зато идёт первый месяц из двадцати. (Плюс несколько *тухтяных* месяцев оргпериода, нигде не записанных.)

Так торопимся, что приехавшие наконец на трассу инженеры не имеют ватмана, линеек, кнопок (!) и даже света в рабочем бараке. Они работают при коптилках, это похоже на гражданскую войну! — упиваются наши авторы.

Весёлым тоном записных забавников они рассказывают нам: женщины приехали в шёлковых платьях, а тут получают тачки! И «кто только не встречается друг с другом в Тунгуде: былые студенты, эсперантисты, соратники по белым отрядам!» Соратники по белым отрядам давно уже встретились друг с другом на Соловках (или ещё раньше потоплены и стоят на дне Белого, Каспийского моря), а вот что эсперантисты и студенты тоже получают беломорские тачки, за эту информацию спасибо авторам. Почти давясь от смеха, рассказывают они нам: везут из красноводских лагерей, из Сталинабада, из Самарканда туркменов и таджиков в бухарских халатах, чалмах — а тут карельские морозы! то-то неожиданность для басмачей! Тут норма *два кубометра гранитной скалы разбить и вывезти на сто метров тачкой!* А сыпят снега и всё заваливают, тачки кувыркаются с трапов в снег.

Но пусть говорят авторы: по мокрым доскам тачка вихляла, опрокидывалась, «человек с такой тачкой был похож на лошадь в оглоблях» (стр. 112—113); даже не скальным, а просто мёрзлым грунтом «тачка

* «Беломорско-Балтийский канал», стр. 82.

** Таким образом — одна из самых ранних *шарашек,* Райских островов. Тут же называют и ещё подобную: ОКБ на Ижорском заводе, сконструировавшее первый знаменитый блюминг.

нагружается час». Или более общая картинка: «В уродливой впадине, запорошенной снегом, было полно людей и камней. Люди бродили, спотыкаясь о камни. По двое, по трое, они нагибались и, обхватив валун, пытались приподнять его. Валун не шевелился. Тогда звали четвёртого, пятого...» Но тут на помощь приходит техника нашего славного века: «валуны из котлована вытягивают сетью» — а сеть тянется канатом, а канат — «барабаном, крутимым лошадью»! Или вот другой приём — *деревянные журавли* для подъёма камней **(ф. 14).** Или вот ещё — из первых механизмов Беломорстроя — 5 веков назад, 15 назад? **(ф. 15)**

И это вам — вредители? Да это гениальные инженеры! — из XX века их бросили в пещерный — и, смотрите, они справились!

Основной транспорт Беломорстроя? — грабарки, узнаём мы из книги. А ещё есть *беломорские форды*! Это вот что такое: тяжёлые деревянные площадки, положенные на четыре круглых деревянных обрубка (катка) — две лошади тащат такой «форд» и отвозят камни. А тачку возят вдвоём — на подъёмах её подхватывает крючник. А как валить деревья, если нет ни пил, ни топоров? И это может наша смекалка: обвязывают деревья верёвками и в разные стороны попеременно бригады тянут — р а с ш а т ы в а ю т деревья! Всё может наша смекалка! — а почему? А потому что **канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина!** — написано в газетах и повторяют по радио каждый день.

Представить такое поле боя и на нём «в длинных серо-пепельных шинелях или кожаных куртках» — чекисты. Их всего 37 человек на сто тысяч заключённых, но их все любят, и эта любовь движет карельскими валунами. Вот **(ф. 16)** остановились они, показал товарищ Френкель рукой, чмокнул губами товарищ Фирин, ничего не сказал товарищ Успенский (отцеубийца? соловецкий палач?) — и судьбы тысяч людей решены на сегодняшнюю морозную ночь или на весь этот полярный месяц.

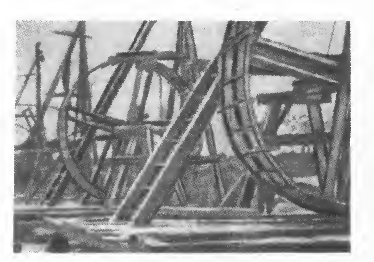
В том-то и величие этой постройки, что она совершается без современной техники и без всяких поставок от страны. «Это не темпы ущербного европейско-американского капитализма. Это — социалистические темпы!» — гордятся авторы (стр. 356). (В 60-е годы мы знаем, что это называется Большой Скачок.) Вся книга славит именно отсталость техники и кустарничество. Кранов нет? Будут свои! — и делаются «деррики» — краны из дерева, и только трущиеся металлические части к ним отливают сами. «Своя индустрия на канале!» — ликуют наши авторы. И тачечные колёса тоже отливают из самодельной вагранки.

Так спешно нужен был стране канал, что не нашлось для строительства тачечных колёс! Для заводов Ленинграда это был бы непосильный заказ!

Нет, несправедливо — эту дичайшую стройку XX века, материковый канал, построенный «от тачки и кайла», — несправедливо было бы сравнивать с египетскими пирамидами: ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники. А у нас была техника — на сорок веков назад!

В том-то душегубка и состояла. На газовые камеры у нас газа не было.

Побудьте-ка инженером в этих условиях! Все дамбы — земляные,



15. Первые механизмы (стр. 62)

16. Френкель, Фирин и Успенский (стр. 45, 62)

водоспуски — деревянные. Земля то и дело даёт течь. Чем же уплотнить её? — гоняют по дамбе лошадей с катками! (Только ещё лошадей вместе с заключёнными не жалеет Сталин и страна — а потому что это кулацкое животное, и тоже должно вымереть.) Очень трудно обезопасить от течи и сопряжения земли с деревом. Надо заменить железо деревом! — и инженер Маслов изобретает ромбовидные деревянные ворота шлюзов. На стены шлюзов бетона нет! — чем крепить стены шлюзов? Вспоминают древнерусские *ряжи* — деревянные срубы высотою в 15 метров, изнутри засыпаемые грунтом. Пользуйтесь техникой пещерного века, но ответственность по веку XX-му: прорвёт где-нибудь — отдай голову.

Пишет железный нарком Ягода главному инженеру Хрусталёву: «по имеющимся донесениям (то есть от стукачей и от Когана—Френкеля—Фирина) необходимой энергии и заинтересованности в работе вы не проявляете и не чувствуете. Приказываю немедленно ответить — намерены ли вы немедленно (язычёк-то)... взяться по-настоящему за работу... и заставить добросовестно работать ту часть инженеров, которые саботируют и срывают...» Что отвечать главному? Жить-то хочется... «Я сознаю свою преступную мягкость... я каюсь в собственной расхлябанности...»

А тем временем в уши неугомонно: **«Канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина!»** «Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, с грузовика, *радио, не спящее ни днём, ни ночью* (вообразите!), эти бесчисленные чёрные рты, чёрные маски без глаз (образно) кричат неустанно: что думают о трассе чекисты всей страны, что сказала партия». То же — думай и ты! То же — думай и ты! «Природу научим — свободу получим!» Да здравствует соцсоревнование и ударничество! Соревнования между бригадами! Соревнование между фалангами (250—300 человек)! Соревнования между трудколлективами! Соревнование между шлюзами! Наконец, и *вохровцы* вступают с зэками в соревнование (стр. 153)!?..

Но главная опора, конечно,— на *социально близких*, то есть на воров! (Эти понятия уже слились на канале.) Растроганный Горький кричит им с трибуны: «Да любой капиталист грабит бóльше, чем все вы, вместе взятые!» (стр. 392). Урки ревут, польщённые. «И крупные слёзы брызнули из глаз бывшего карманника.» Ставка на то, чтобы использовать для строительства «романтизм правонарушителей». А им ещё бы не лестно! Говорит вор из президиума слёта: «По два дня хлеба не получали, но это нам не страшно. (Они ведь всегда кого-нибудь раскурочат.) Нам дорого то, что с нами разговаривают как с людьми (чем не могут похвастаться инженеры). Скалы у нас такие, что буры ломаются. Ничего, берём.» (Чем же *берут*? и к т о берёт?..)

Это — классовая теория: опереться в лагере на своих против чужих. О Беломоре не написано, как кормятся бригадиры, а о Березниках рассказывает свидетель (И. Д. Т.): отдельная кухня бригадиров (сплошь — блатарей) и паёк — лучше военного. Чтоб кулаки их были крепки и знали, *за что* сжиматься...

На 2-м лагпункте — воровство, вырывание из рук посуды, карточек на баланду, но блатных за это не исключают из ударников: это не затмевает их социального лица, их производственного порыва. Пищу

доставляют на производство холодной. Из сушилок воруют вещи — ничего, *берём*! Повенец — «штрафной городок, хаос и неразбериха». Хлеба в Повенце не пекут, возят из Кеми (посмотрите на карту). На участке Шижня норма питания не выдаётся, в бараках холодно, обовшивели, хворают — ничего, берём! Канал строится по инициативе... Всюду КВБ — культ-воспит-боеточки! (Хулиган, едва придя в лагерь, сразу становится воспитателем.) Создать атмосферу постоянной боевой тревоги! Вдруг объявляется *штурмовая ночь — удар по бюрократии!* Как раз к концу вечерней работы ходят по комнатам управления культвоспитатели и *штурмуют*! Вдруг — прорыв (не воды, процентов) на отделении Тунгуда! **Штурм!** Решено: *удвоить нормы выработки!* Вот как! (стр. 302) Вдруг какая-то бригада выполняет дневное задание ни с того ни с сего — на 852%! Пойми, кто может! То объявляется всеобщий день рекордов! Удар по *темпосрывателям!* Вот какой-то бригаде раздача «премиальных пирожков» **(ф. 17).** Но что ж лица такие заморенные? Вожделенный момент — а радости нет...

Как будто всё идёт хорошо. Летом 1932 Ягода объехал трассу и остался доволен, кормилец. Но в декабре телеграмма его: нормы не выполняются, прекратить *бездельное шатание тысяч людей* (в это веришь! это — видишь!). Трудколлективы тянутся на работу с выцветшими знамёнами. Обнаружено: по сводкам уже *несколько раз* выбрано по 100% кубатуры! — а канал так и не кончен! Нерадивые работяги засыпают ряжи вместо камней и земли — льдом! А весной это потает, и вода прорвёт! Новые лозунги воспитателей: «*Туфта* * — *опаснейшее орудие контрреволюции*» (а тухтят блатные больше всех: уж лёд засыпать в ряжи — узнаю, это их затея!). Ещё лозунг: «туфтач — классовый враг!» — и поручается ворам идти разоблачать тухту, контролировать сдачу каэровских бригад! (Лучший способ приписать выработку каэров — себе.) «Туфта — есть попытка сорвать всю исправительно-трудовую политику ГПУ» — вот что такое ужасная эта тухта! «Туфта — это хищение социалистической собственности!» В феврале 1933 отбирают свободу у досрочно-освобождённых инженеров — за обнаруженную тухту.

Такой был подъём, такой энтузиазм — и откуда эта тухта? зачем её придумали заключённые?.. Очевидно, это — ставка на реставрацию капитализма. Здесь не без чёрной руки белоэмиграции.

В начале 1933 — новый приказ Ягоды: все управления переименовать в *штабы боевых участков!* 50% аппарата — бросить на строительство! (А лопат хватит?..) Работать — в три смены (ночь-то почти полярная)! Кормить — прямо на трассе (остывшим)! За тухту — судить!

В январе — Штурм водораздела! Все фаланги с кухнями и имуществом брошены в одно место! Не всем хватило палаток, спят на снегу — ничего, берём! Канал строится по инициативе...

Из Москвы — приказ № 1: «до конца строительства объявить *сплошной штурм*! После рабочего дня гонят на трассу машинисток, канцеляристок, прачек.

В феврале — запрет свиданий по всему БелБалтЛагу — то ли угроза сыпного тифа, то ли нажим на зэков.

---

* Подчиняюсь «ф» лишь потому, что цитирую.

17. Раздача пирожков (стр. 65)



18. С. Жук (стр. 68)

В апреле — непрерывный штурм сорокавосьмичасовой — ура-а!! — **тридцать тысяч человек не спит!**

И к 1 мая 1933 нарком Ягода докладывает любимому Учителю, что канал — готов в назначенный срок.

В июле 1933 Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают приятную прогулку на пароходе для осмотра канала. Есть фотография — они сидят в плетёных креслах на палубе, «шутят, смеются, курят». (А между тем Киров уже обречён, но — не знает.)

В августе проехали сто двадцать писателей.

Обслуживать Беломорканал было на месте некому, прислали раскулаченных («спецпереселенцев»), Берман сам выбирал места для их посёлков.

Бо́льшая часть «каналоармейцев» поехала строить следующий канал — Москва — Волга. *

* * *

Отвлечёмся от Коллективного зубоскального тома.

Как ни мрачны казались Соловки, но соловчанам, этапированным кончать свой срок (а то и жизнь) на Беломоре, только тут ощутилось, что шуточки кончены, только тут открылось, что такое подлинный лагерь, который постепенно узнали все мы. Вместо соловецкой тишины — неумолкающий мат и дикий шум раздоров вперемешку с воспитательной агитацией. Даже в бараках медвежегорского лагпункта при Управлении БелБалтЛага спали на вагонках (уже изобретенных) не по четыре, а по восемь человек: на каждом щите двое валетом. Вместо монастырских каменных зданий — продуваемые временные бараки, а то палатки, а то и просто на снегу. И переведенные из Березников, где тоже по 12 часов работали, находили, что здесь — тяжелей. Дни рекордов. Ночи штурмов. «От нас всё — нам ничего»... В густоте, в неразберихе при взрывах скал — много калечных и насмерть. Остывшая баланда, поедаемая между валунами. Какая работа — мы уже прочли. Какая еда — а какая ж может быть еда в 1931—33 годах? (Скрипникова рассказывает, что даже в медвежегорской столовой для вольнонаёмных подавалась мутная жижа с головками камсы и отдельными зёрнами пшена. **) Одежда — своя, донашиваемая. И только одно обращение, одна погонка, одна присказка: «Давай!.. Давай!.. Давай!..»

Говорят, что в первую зиму, с 1931 на 1932, сто тысяч и вымерло — столько, сколько постоянно было на канале. Отчего же не поверить? Скорее даже эта цифра преуменьшенная: в сходных условиях в лагерях военных лет смертность один процент в день была заурядна, известна всем. Так что на Беломоре сто тысяч могло вымереть за три месяца

* На августовском слёте каналоармейцев Л. Коган провозгласил: «Недалёк тот слёт, который будет последним в системе лагерей... Недалёк тот год, месяц и день, когда вообще будут не нужны исправительно-трудовые лагеря.» Вероятно расстрелянный, он так и не узнал, как жестоко ошибся. А впрочем, может быть, он, и говоря, сам не верил?

** Впрочем, она же вспоминает, что беженцы с Украины приезжали в Медвежегорск устроиться работать кем-нибудь близ лагеря и так спастись от голода. Их звали зэки, и *из зоны выносили своим поесть!* Очень правдоподобно. Только с Украины-то вырваться умели не все.

с небольшим. А тут была и другая зима, да и между ними же. Без натяжки можно предположить, что и триста тысяч вымерло.

Это освежение состава за счёт вымирания, постоянную замену умерших новыми живыми зэками надо иметь в виду, чтобы не удивиться: к началу 1933 года общее единовременное число заключённых в лагерях ещё могло не превзойти миллиона. Секретная «Инструкция», подписанная Сталиным и Молотовым 8 мая 1933, даёт цифру 800 тысяч. *

Д. П. Витковский, соловчанин, работавший на Беломоре прорабом, и этою самою тухтою, то есть приписыванием несуществующих объёмов работ, спасший жизнь многим, рисует («Полжизни», самиздат) такую вечернюю картину:

«После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятал руки в рукава и так замёрз. Кто-то застыл с головой, вобранной в колени. Там замёрзли двое, прислонясь друг к другу спинами. Это — крестьянские ребята, лучшие работники, каких только можно представить. Их посылают на канал сразу десятками тысяч, да стараются, чтоб на один лагпункт никто не попал со своим батькой, разлучают. И сразу дают им такую норму на гальках и валунах, которую и летом не выполнишь. Никто не может их научить, предупредить, они по-деревенски отдают все силы, быстро слабеют — и вот замерзают, обнявшись по двое. Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком.

А летом от неприбранных вовремя трупов — уже кости, они вместе с галькой попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохранятся там.»

Тут ещё то, что руководители стройки превзошли жестокостью самого Хозяина. Хоть и сказал Сталин «ни копейки валюты», однако советских рублей 400 миллионов разрешил. Они же, стараясь выслужиться, потратили меньше четверти — 95 млн. 300 тыс. рублей. **

Многотиражка Беломорстроя захлёбывалась, что многие каналоармейцы, «эстетически увлечённые» великой задачей,— в свободное время (и, разумеется, без оплаты хлебом) выкладывают стены канала камнями — исключительно для красоты.

Так впору было бы им выложить на откосах канала шесть фамилий — главных подручных у Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков Беломора, шестерых наёмных убийц, записав за каждым тысяч по сорок жизней: Семён Фирин.— Матвей Берман.— Нафталий Френкель.— Лазарь Коган.— Яков Раппопорт.— Сергей Жук **(ф. 18).**

Да приписать сюда, пожалуй, начальника ВОХРы БелБалтЛага — Бродского. Да куратора канала от ВЦИК — Сольца.

Да всех 37 чекистов, которые были на канале.

Да 36 писателей, восславивших Беломор. *** Ещё Погодина не забыть.

---

* «Инструкция всем партийно-советским работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры», 8.5.1933. Архив Смоленского обкома ВКП/б/. Опубликована: «Социалистический вестник», Нью-Йорк — Париж, 1955, № 4 (681), стр. 52.

** А. Пруссак. Из истории Беломорканала. «Вопросы истории», 1945, № 2, стр. 143.

*** И Алексей Н. Толстой среди них, проехавши трассою канала (надо же

Чтобы проезжающие пароходные экскурсанты читали и — думали.

Да вот беда — экскурсантов-то нет!

Как нет?

Вот так. И пароходов нет. По расписанию ничто там не ходит.

Захотел я в 1966 году, кончая эту книгу, проехать по великому Беломору **(ф. 19)**, посмотреть самому. Ну, состязаясь с теми ста двадцатью. Так нельзя: не на чем. Надо проситься на грузовое судно. А там документы проверяют. А у меня уж фамилия наклёванная, сразу будет подозрение: зачем еду? Итак, чтобы книга была целей,— лучше не ехать.

Но всё-таки немножко я туда подобрался. Сперва — Медвежегорск. До сих пор ещё — много барачных зданий, от тех времён. И — величественная гостиница с 5-этажной стеклянной башней. Ведь — ворота канала! Ведь здесь будут кишеть гости отечественные и иностранные... Попустовала-попустовала, отдали под интернат.

Дорога к Повенцу. Хилый лес, камни на каждом шагу, валуны.

От Повенца достигаю сразу канала и долго иду вдоль него, трусь поближе к шлюзам, чтоб их посмотреть. Запретные зоны, сонная охрана. Но кое-где хорошо видно. Стенки шлюзов — прежние, из тех самых ряжей, узнаю их по изображениям. А масловские ромбические ворота сменили на металлические и разводят уже не от руки.

Но что так тихо? Безлюдье, никакого движения ни на канале, ни в шлюзах. Не копошится нигде обслуга. Там, где 30 тысяч человек не спало ночью,— теперь и днём все спят. Не гудят пароходы. Не разводятся ворота. Погожий июньский день,— отчего бы?..

Так прошёл я пять шлюзов Повенчанской «лестницы» и после пятого сел на берегу. Изображённый на всех папиросных пачках, так позарез необходимый нашей стране — почему ж ты молчишь, Великий Канал?

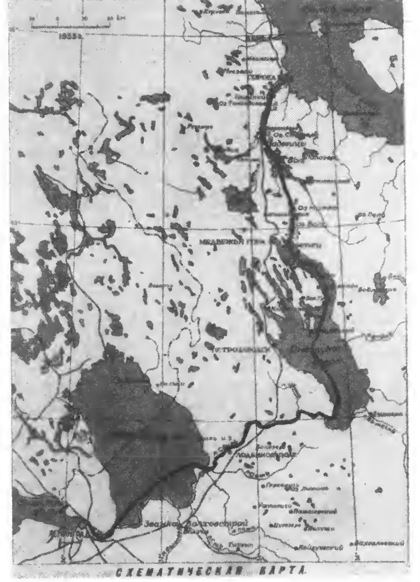
Некто в гражданском ко мне подошёл, глаза проверяющие. Я простодушно: у кого бы рыбки купить? да как по каналу уехать? Оказался он начальник охраны шлюза. Почему, спрашиваю, нет пассажирского сообщения? — Да что ты, удивляется он, разве можно? Да американцы так сразу и попрут. До войны ещё было, а после войны — нет.— Ну и пусть едут.— Да разве можно им показывать?! — А почему вообще не идут никто? — Идут. Но мало. Видишь, мелкий он, пять метров. Хотели реконструировать, но наверно будут рядом другой строить, сразу хороший.

Эх, начальничек, это мы давно знаем: в 1934 году, только успели все ордена раздать — уже был проект реконструкции. И пункт первый был: углубить канал. А второй: параллельно нынешним шлюзам построить глубоководную нитку океанских. Скоро ношено — слепо рожено. Из-за того-то срока, из-за тех-то *норм* и наврали глубину, и снизили пропускную способность: какими-то тухтяными кубометрами надо ж было

было за положение своё платить),→ «с азартом и вдохновением рассказывал о виденном, рисуя заманчивые, почти фантастические и в то же время реальные... перспективы развития края, вкладывая в свой рассказ весь жар творческого увлечения и писательского воображения. Он буквально захлёбываясь говорил о труде строителей канала, о *передовой технике* (курсив мой — А. С.)...» Богданов-Березовский. «Встречи». Изд-во «Искусство», М., 1967, стр. 58.

БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ

ОТ БАЛТИЙСКОГО ДО БЕЛОГО МОРЯ



19. Карта ББК (стр. 69)

работяг кормить. (Вскоре эту тухту навязали на инженеров: дали им новые *десятки.*) А 80 километров мурманской железной дороги перенесли, освобождая трассу. Хорошо хоть тачечных колёс не потратили. И — куда что возить? Ну, вот вырубили ближний лес,— теперь откуда возить? Архангельский — в Ленинград? Так его и в Архангельске купят, издавна там иностранцы и покупают. Да полгода канал подо льдом, если не больше. Какая была в нём необходимость? Ах да, военная. Перебрасывать флот.

— Такой мелкий,— жалуется начальник охраны,— даже подводные лодки своим ходом не проходят: на баржи их кладут, тогда перетягивают.

А как насчёт крейсеров?.. О, тиран-отшельник! Ночной безумец! В каком бреду ты это всё выдумал?!

И куда спешил ты, проклятый? Что жгло тебя и кололо — в двадцать месяцев? Ведь эти четверть миллиона могли остаться жить. Ну, эсперантисты тебе в горле стояли — а крестьянские ребята сколько б тебе наработали! сколько б раз ты ещё в атаку их поднял — за родину, за Сталина!

— Дорого обошёлся,— говорю я охраннику.

— Зато быстро построили! — уверенно отвечает он.

На твоих бы косточках!..

Я вспоминаю гордую фотографию беломорского тома: старорусский крест, взятый опорой электрическим проводам **(ф. 20).**

На ваших бы косточках...

В тот день провёл я около канала восемь часов. За это время одна самоходная баржа прошла от Повенца к Сороке и одна, того же типа, от Сороки к Повенцу. Номера у них были разные, и только по номерам я их различил, что эта — не возвращалась. Потому что нагружены они были совершенно одинаково: одинаковыми сосновыми брёвнами, уже лежалыми, годными на дрова.

А вычитая, получим ноль.

И четверть миллиона в уме.

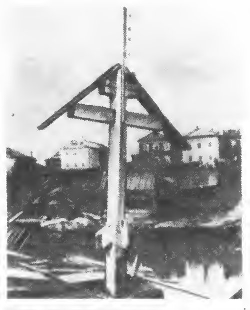
* * *

А за Беломорско-Балтийским шёл канал Москва — Волга, сразу все туда поехали и работяги, и начальником лагеря Фирин, и начальником строительства Коган. (Ордена Ленина за Беломор застали их обоих уже там.)

Но этот канал хоть оказался нужен. А все традиции Беломора он славно продолжил и развил, и здесь мы ещё лучше поймём, чем отличался Архипелаг периода бурных метастазов от застойного соловецкого. Вот когда было вспомнить и пожалеть о молчаливых жестоких Соловках. Теперь не только требовали работы, не только бить слабеющим кайлом неподатливые камни. Нет, забирая жизнь, ещё прежде того влезали в грудь и обыскивали душу.

Вот что было самое тяжёлое на каналах: от каждого требовали ещё *чирикать.* Уже в *фитилях,* надо было изображать общественную жизнь. Коснеющим от голода языком надо было выступать с речами, требуя

20. Провода на кресте (стр. 71)







21. Плакаты соревнования (стр. 74)

перевыполнения планов! И выявления вредителей! И наказания враждебной пропаганды, *кулацких* слухов (все лагерные слухи были «кулацкие»). И озираться, как бы змеи недоверия не оплели тебя самого на новый срок.

Беря сейчас бесстыдные эти книги, где так гладко и восторженно представлена жизнь обречённых,— почти уже поверить нельзя, что это всерьёз писалось и всерьёз же читалось. (Да осмотрительный Главлит уничтожил тиражи, так что и тут нам достался экземпляр из последних.)

Теперь нашим Вергилием будет прилежная ученица Вышинского Ида Авербах. *

Даже ввинчивая простой шуруп, надо вначале проявить старание: не отклонить ось, не вышатнуть шуруп в сторону. А уж когда малость войдёт — можно и вторую руку освободить, только вкручивай да посвистывай.

Читаем Вышинского: «Именно благодаря воспитательной задаче наш ИТЛ принципиально противоположен буржуазной тюрьме, где парит голое насилие.» ** «В противоположность буржуазным государствам у нас насилие в борьбе с преступностью играет второстепенную роль, а центр тяжести перенесен на организационно-материальные, культурно-просветительные и политико-воспитательные мероприятия.» *** (Надо мозги наморщить, чтобы не проронить: вместо палки — шкала пайки плюс агитация.) И вот уже: «...успехи социализма оказывают своё волшебное (так и вылеплено: волшебное!) влияние и на... борьбу с преступностью.»***

Вслед за своим учителем поясняет и Авербах: задача советской исправтрудполитики — «превращение *наиболее скверного людского материала* («сырьё»-то помните? «насекомых» помните? — А. С.) в полноценных активных сознательных строителей социализма.»

Только вот — коэффициентик... Четверть миллиона скверного материала легло, 12 с половиной тысяч активных сознательных освобождено досрочно (Беломор)...

Да ведь это, оказывается, ещё VIII съезд партии, в 1919 году, когда пылала гражданская война, ещё ждали Деникина под Орёл, ещё впереди были Кронштадт и Тамбовское восстание,— VIII съезд определил: заменить систему наказаний (то есть вообще никого не наказывать?) — системой воспитания!

«Принудительного» — теперь добавляет Авербах. И риторически (уже припася нам разящий ответ) спрашивает: но к а к же? Как можно переделать сознание в пользу социализма, если оно уже на воле сложилось ему враждебно, а лагерное принуждение ощущается как насилие и может только усилить вражду?

И мы с читателем в тупике: ведь верно?..

Не тут-то было, сейчас она нас ослепит: да производительным осмысленным трудом с *высокой целью!* — вот чем будет переделано всякое враждебное или неустойчивое сознание. А для этого, оказывается,

* И. Л. Авербах. «От преступления к труду», под редакцией Вышинского. Изд-во «Советское законодательство», 1936.

** Предисловие Вышинского к сборнику «От тюрем...».

*** Предисловие Вышинского к книге Авербах.

нужна: «концентрация работ на гигантских объектах, поражающих воображение своей грандиозностью»! (Ах, вот оно, зачем Беломор-то, а мы лопухи ничего не поняли...) Этим достигается «наглядность, эффективность и пафос строительства». Причем обязательно «работа от ноля до завершения» и «каждый лагерник» (ещё сегодня не умерший) «чувствует политический резонанс своего личного труда, заинтересованность всей страны в его работе».

А вы замечаете, как шуруп уже плавно пошёл? Может и косовато, но мы теряем способность ему сопротивляться? Отец по карте трубочкой провёл, а об оправдании его ли забота? Всегда найдётся Авербах: «Андрей Януарьевич, у меня вот такая мысль, как вы думаете, я в книге проведу?»

Но это — только цветочки. Надо, чтобы заключённый, ещё не выйдя из лагеря, уже «воспитался к высшим социалистическим формам труда».

А что нужно для этого?.. Застопорился шуруп.

Ах, бестолочь! Да *соревнование и ударничество!!* Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе? «Не просто работа, а работа героическая!» (Приказ ОГПУ № 190.)

Соревнование за переходящее красное знамя центрального штаба! районного штаба! отделенческого штаба! **(ф. 21)** Соревнование между лагпунктами, сооружениями, бригадами! «Вместе с переходящим красным знаменем присуждается и духовой оркестр! — он целыми днями играет победителям во время работы и во время вкусной еды». **(ф. 22)** Вкусной еды на снимке не видно, но вы видите также и прожектор. Это — для ночных работ, Волгоканал строится круглосуточно. * В каждой бригаде заключённых — тройка по соревнованию. Учёт — и резолюции! Резолюции — и учёт! Итоги штурма перемычки за первую пятидневку! за вторую пятидневку! Общелагерная газета «Перековка». Её лозунг: *«Потопим своё прошлое на дне канала!»* Её призыв: «Работать без выходных!» Общий восторг, общее согласие! Передовой ударник сказал: «Конечно! Какие могут быть выходные дни? *У Волги-то выходных нет,* вот-вот разольётся.» А как с выходными у Миссисипи?..— Хватайте его, это кулацкий агент! Пункт обязательств: «сбереженье здоровья каждым членом коллектива». О, человечность! Нет, это вот для чего — «чтобы сократить число невыходов на работу». «Не болеть — и не брать освобождений!» Красные доски. Чёрные доски. Доски показателей: дней до сдачи: что́ сделано вчера, что́ сегодня. Книга почёта. В каждом бараке — почётные грамоты, «окна перековки», графики, диаграммы (это сколько лоботрясов бегает и пишет). Каждый заключённый должен быть в курсе производственных планов! И каждый заключённый должен быть в курсе всей политической жизни страны! Поэтому на разводе (за счёт утреннего времени, конечно) — производственная пятиминутка, после возврата в лагерь (когда ноги не держат) — политическая пятиминутка. В часы обеда не давать расползаться по щелям, не давать спать — политичес-

* Оркестр использовался и в других лагерях: поставят на берегу и играет несколько суток подряд, пока заключённые без смены и без отдыха выгружают из баржи лес. И. Д. Т. был оркестрантом на Беломоре и вспоминает: оркестр вызывал озлобление у работающих (ведь оркестранты освобождались от общих работ, имели отдельную койку, военную форму). Им кричали: «Филоны! Дармоеды! Идите сюда вкалывать!»

кие читки! Если на воле — Шесть Условий товарища Сталина,— то и каждый лагерник должен зубрить их наизусть! * Если на воле — постановление Совнаркома об увольнении за прогул, то здесь разъяснительная работа: всякий сегодняшний отказчик и симулянт после своего освобождения будет заклеймён презрением масс Советского Союза. Такой порядок: для получения звания ударника (и, значит, добавочной еды) — мало одних производственных достижений! Ещё надо: а) читать газеты, б) *любить свой канал,* в) уметь рассказывать о его значении.

И — чудо! О, чудо! О, преображение и вознесение! — «ударник перестаёт ощущать дисциплину и труд как нечто, навязанное извне, а — как *внутреннюю необходимость*»! (Ну верно, ну конечно, ведь свобода же — не свобода, а осознанная решётка.) Новые социалистические формы поощрения! — выдача значков ударника. И что бы вы думали, что бы вы думали? «Значок ударника расценивается работягами *выше, чем пайка!*» Да, выше, чем пайка! И целые бригады «*самовольно выходят на работу за два часа до развода*» (ах, какой произвол! и что же делать конвою?) «и ещё остаются там после окончания рабочего дня»! Гроза? — работают и в грозу! (Ведь конвой не отпустит.) Вот она, ударная работа!

О, пылание! О, спички! Думали, что вы будете гореть — десятилетия...

А техника, мы о ней говорили на Беломоре: на подъёме прицепляется к тачке спереди крючково́й — а как её вскатишь наверх? **(ф. 23)** Иван Немцов вдруг решил делать работу *за пятерых!* Сказано-сделано: набросал за смену... 55 кубометров земли! ** (Посчитаем: это 5 кубометров в час, кубометр в 12 минут — даже самого лёгкого грунта, попробуйте!) Обстановка такая: насосов нет, колодцы не готовы — побороть воду своими руками! А женщины? Поднимали в одиночку камни по 4 пуда! *** Переворачивались тачки, камни летели на головы и в ноги. Ничего, *берём!* То — «по пояс в воде», то — «непрерывные 62 часа работы», то — «три дня 500 человек долбили обледеневшую землю» — и оказалось бесполезно. Ничего, берём!

Мы лопатой нашей боевою
Откопали счастье под Москвою!

Та «особая весёлая напряжённость», которую принесли с ББК. «Шли на штурм с буйными весёлыми песнями»...

В любую погоду
Шагайте к разводу!

А вот и сами ударницы **(ф. 24)**, они приехали на слёт. Сбоку, у поезда,— начальник конвоя, слева ещё там один конвоир. Что-то не

---

* Надо заметить, что интеллигенты, *пролезшие* на руководящие должности канала, умно использовали эти шесть условий: «Всемерно использовать специалистов»? — значит, вытягивайте инженеров с общих. «Не допускать текучести рабочей силы»? — значит, запретите этапы!

** Ю. Куземко. «3-й шлюз». Дмитлаг, 1935.

*** Брошюра «Каналоармейка», Дмитлаг, 1935. «Не подлежит распространению за пределы лагеря.»



22. Оркестр на канале (стр. 74)



23. Крючковые при тачках (стр. 75)



24. Ударницы (стр. 75)



25. Слёт ударников (стр. 78)



26. Женская ударная бригада (стр. 78)



27. Типаж озлоблённых (стр. 81)

слишком воодушевлённые счастливые лица, хотя эти женщины не должны думать ни о детях, ни о доме, только о канале, который они так полюбили. Довольно холодно, кто в валенках, кто в сапогах, домашних конечно, а вторая слева в первом ряду — воровка в ворованных туфлях — где же пофорсить, как не на слёте? Вот и другой такой слёт **(ф. 25)**. На плакате: «Москву с Волгой мы трудом сольём. Сделаем досрочно, дёшево и прочно!» А как это всё увязать — пусть у инженеро́в головы болят. Легко видно, что тени улыбок для аппарата, а в общем здорово устали эти женщины, выступать они не будут, а ждут от слёта только сытного обеда один раз. Всё больше простые крестьянские лица. * А в проходе встрял самоохранник, Иуда, очень уж хочется ему попасть на карточку.— А вот **(ф. 26)** и ударная бригада, вполне технически оснащённая, неправда, что мы всё на своём пару тянем!

Тут ещё была небольшая бедёнка — «по окончании Беломора появилось в разных газетах слишком много ликующих статей, парализовавших устрашающее действие лагерей... В освещении Беломора так перегнули, что приезжающие на канал Москва — Волга ожидали молочных рек в кисельных берегах и предъявили *невероятные* требования к администрации» (уж не требовали ли они себе чистого белья?). Так что, ври-ври, да не завирайся. «Над ними и сегодня реет знамя Беломора»,— пишет газета «Перековка». Умеренно. И хватит.

Впрочем, и на Беломоре и на Волгоканале поняли: «лагерное соревнование и ударничество должно быть связано со всей системой льгот», чтобы льготы «*стимулировали* ударничество». «Главная основа соревнования — *материальная заинтересованность»* (!? — нас, кажется, швырнуло? мы повернули на сто восемьдесят градусов? Провокация! Крепче за поручни!) И построено так: от производственных показателей зависят: и питание! и жильё! и одежда! и бельё и частота бань! (кто плохо работает — пусть и ходит в лохмотьях и вшах!) и досрочка! и отдых! и свидания! Например, выдача значка ударника — чисто социалистическая форма поощрения. Но пусть значок даёт право на внеочередное долгое свидание! — и вот он уже стал дороже пайки...

«Если на воле по советской конституции применяется принцип *кто не работает, тот не ест*, то почему надо лагерников ставить в *привилегированное* положение?» (Труднейшее в устроении лагерей: они не должны стать местами привилегий!) Шкала Дмитлага (от г. Дмитрова): штрафной котёл — мутная вода, штрафной паёк — триста граммов. Сто процентов дают право на восьмисотку и право докупить сто граммов в ларьке. И тогда «подчинение дисциплине начинается с эгоистических мотивов (заинтересованность в улучшении пайка) — и поднимается до социалистической заинтересованности в красном знамени»!

Но главное — зачёты! зачёты! (Засчитыванье одного проработанного дня более, чем за один день срока.) Штабы соревнования дают заключённому характеристику. Для зачётов нужно не только перевыполнение, но и общественная работа! А тому, кто был в прошлом нетрудо-

* Все эти фото — из книги Авербах. Она предупреждает: в ней нет фото кулаков и вредителей (то есть, лучших крестьянских и интеллигентских лиц) — мол, «ещё не пришло время» для них. Увы, уже и не придёт. Мёртвых не вернёшь.

вым элементом,— понижать зачёты, давать мизерные. «Он может только замаскироваться, а не исправиться! Ему нужно дольше побыть в лагере, дать себя проверить.» (Например, катит тачку в гору — а может быть это он не работает, а только маскируется?)

И что же делают досрочно-освобождённые?.. Как что? Они *самозакрепляются!* Они слишком полюбили канал, чтоб отсюда уехать! «Они так увлекаются, что, освобождаясь, *добровольно* остаются на канале на землекопных работах до конца стройки»! * (Добровольно катать тачки в гору. И можно автору верить? Конечно. Ведь в паспорте штамп: «был в лагерях ОГПУ». И больше нигде работы не найдёшь.)

Но что это?.. Испортилась машинка соловьиных трелей — и в перерыве мы слышим усталое дыхание правды: «даже и воровской мир охвачен соревнованием только на 60%» (уж если и воры не соревнуются!..); «лагерники часто истолковывают льготы и награды как неправильно применённые»; «характеристики пишутся шаблонно»; «по характеристикам сплошь и рядом (!) дневальный проходил как ударник-землекоп и получал ударный зачёт, а действительный ударник оказывался без зачёта»; ** «у многих (!) — чувство безнадёжности». ***

А трели — опять полились, да с металлом! Самое главное поощрение забыли? — «жестокое и беспощадное проведение дисциплинарных взысканий»! Приказ ОГПУ от 28.11.33 (это — к зиме, чтоб стоя не качались)! «Всех неисправимых лентяев и симулянтов отправить в отдалённые северные лагеря с полным лишением прав на льготы. Злостных отказчиков и подстрекателей предавать суду лагерных коллегий. За малейшую попытку срыва железной дисциплины — лишать всех уже полученных льгот и преимуществ.» (Например, за попытку погреться у костра...)

И всё-таки самое главное звено мы опять уронили, бестолковщина! Всё сказали, а главного не сказали. Слушайте, слушайте! «Коллективность есть принцип и метод советской исправительно-трудовой политики.» Ведь нужны же «приводные ремни от администрации к массе»! «Только опираясь на коллективы, многочисленная администрация лагерей может переделывать сознание заключённых». «От низших форм — коллективной ответственности, до высших форм: дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» (Браним мы часто свой язык, что де он с веками блекнет. А вдуматься — нет! Он — благороднеет. Раньше как говорили, по-извозчичьи — возжи? А теперь — приводные ремни! Раньше — круговая порука, так и пахнет конюшней. А теперь — коллективная ответственность.)

---

* И. Л. Авербах. «От преступления к труду», стр. 164.

** У нас всё перепрокидывается, и даже награды порой оборачивались нелепо. Кузнецу Парамонову в одном из архангельских лагерей за отличную работу сбросили два года с десятки. Из-за этого конец его восьмёрки пришёлся на военные годы, и, как Пятьдесят Восьмая, он не был освобождён, а оставлен «до особого (опять *особого*) распоряжения». Только кончилась война — однодельцы Парамонова свои десятки кончили — и освободились. А он трубил ещё с год. Прокурор ознакомился с его жалобой и ничего поделать не мог: «особое распоряжение» по всему Архипелагу ещё оставалось в силе.

*** Ну, да V Совещание работников юстиции в 1931 не зря осудило эту лавочку: «широкое и ничем не оправдываемое применение условно-досрочного освобождения и зачётов рабочих дней... приводит к нереальности судебных приговоров, подрыву уголовной репрессии — и к искривлению классовой линии».

«Бригада есть основная форма перевоспитания» (приказ по Дмитлагу, 1933). «Это значит — *доверие к коллективу,* невозможное при капитализме!» (Но вполне возможное при феодализме: провинился один в деревне, всех раздевай и секи. А всё-таки благородно: доверие к коллективу.) «Это — значит — самодеятельность лагерников в деле перевоспитания.» «Это — психологическое обогащение личности от коллектива»! (Нет, слова-то какие! Ведь этим психологическим обогащением Авербах нас навзрыд повалила! Ведь что значит учёный человек.) «Коллектив *повышает* чувство человеческого достоинства каждого заключённого и тем *препятствует* проведению системы морального подавления»!

И ведь скажи пожалуйста, тридцатью годами позже Иды Авербах пришлось и мне два слова вымолвить о бригаде, ну просто как там дела идут,— а на Западе люди совсем иначе, совсем искажённо поняли: «Бригада — основной вклад коммунизма в науку о наказаниях (что как раз верно, это и Авербах говорит)... Это — коллективный организм, живующий, работающий, едящий, спящий и страдающий вместе в безжалостно-вынужденном симбиозе.» *

О, без бригады ещё пережить лагерь можно! Без брагады ты — личность, ты сам избираешь линию поведения. Без бригады ты можешь хоть умереть гордо — в бригаде и умереть тебе дадут только подло, только на брюхе. От начальника, от десятника, от надзирателя, от конвоира — ото всех ты можешь спрятаться и улучить минутку отдыха, там потянуть послабже, здесь поднять полегче. Но от *приводных ремней* — от товарищей по бригаде, ни укрыва, ни спасения, ни пощады тебе нет. Ты не можешь *не хотеть* работать, ты не можешь предпочесть работе голодную смерть в сознании, что ты — политический. Нет уж, раз вышел за зону, записан на выходе — всё сделанное сегодня бригадой будет делиться уже не на 25, а на 26, и весь бригадный процент из-за тебя упадёт со 123 на 119, с рекордного котла на простой, все потеряют бабку пшённую и по сто граммов хлеба. Так уследят за тобой товарищи лучше всяких надзирателей! И бригадирский кулак тебя покарает доходчивей целого наркомата внутренних дел!

Вот это и есть — *самодеятельность в перевоспитании.* Это и есть *психологическое обогащение личности от коллектива.*

Теперь-то нам ясно как стёклышко, но на Волгоканале сами устроители ещё верить не смели, какой они крепкий ошейник нашли. И у них рядовая всеобщая бригада была на задворках, а только *трудовой коллектив* понимался как высшая честь и поощрение. Даже в мае 1934 ещё половина зэков Дмитлага были «неорганизованные», их... *не принимали* в трудколлективы! Их брали в «трудартели», и то не всех: кроме священников, сектантов и вообще верующих (если откажется от религии — ведь цель того стоит! — принимали с месячным испытательным сроком). Пятьдесят Восьмую в трудколлективы стали нехотя принимать, но и то у кого срок меньше пяти лет. У Коллектива был председатель, совет, а демократия — совершенно необузданная: собрания коллектива проводились только по разрешению КВЧ и только в присутствии ротного (да, ведь и роты ещё!) воспитателя. Разумеется, коллективы

* Ernst Pawel. «The Triumph of Survival».— The Nation, 1963, 2 Febr.

подкармливали по сравнению со сбродом: лучшим коллективам отводили огороды внутри зоны (не отдельно людям, а по-колхозному — для добавки в общий котёл). Коллектив распадался на секции, и всякий свободный часок они занимались то проверкой быта, то разбором краж и промотов казённого имущества, то выпуском стенгазет, то разбором дисциплинарных нарушений. На собрании коллективов часами с важностью разбирался вопрос: *как перековать* лентяя Вовку? симулянта Гришку? Коллектив и сам имел право исключать своих членов и просить лишить их зачётов, но круче того администрация распускала целые коллективы, «продолжающие преступные традиции» (то есть не захваченные коллективной жизнью). Однако самым увлекательным бывали периодические *чистки* коллективов — от лентяев, от недостойных, от шептунов (изображающих трудколлективы как взаимно-шпионские организации) и от пробравшейся агентуры классового врага. Например, обнаруживалось, что кто-то, уже в лагере, скрывает своё кулацкое происхождение (за которое, собственно, в лагерь и попал) — и вот теперь его клеймили и вычищали — не из лагеря вычищали, а из трудколлектива. (Художники-реалисты! О, напишите эту картину: «Чистка в трудколлективе»! Эти бритые головы, эти измотанные лица с настороженными выражениями, эти тряпки на телах — и этих озлобленных ораторов! Вот отсюда хорош будет типаж **(ф. 27).** А кому трудно представить, так и на воле было подобное. И в Китае тоже.) И слушайте: «предварительно до каждого лагерника *доводились задачи и цели чистки.* Потом перед лицом общественности каждый член коллектива держал отчёт». *

А ещё — *выявление лжеударников!* А выборы культсоветов! А — выговоры тем, кто плохо ликвидирует свою неграмотность! А сами занятия по ликбезу: «мы-не-ра-бы!! ра-бы-не-мы!» А песни?

«Это царство болот и низин
Станет родиной нашей счастливой»;

или, так и рвётся из груди:

«И даже самою прекрасной песнею
Мы не расскажем, нет, не воспоём,
Страны, которой нет нигде чудеснее,
Страны, в которой мы с тобой живём.» **

Вот это всё и значит по-лагерному — *чирикать.*

О! так доймут, что ещё заплачешь по ротмистру Курилке, по простой короткой расстрельной дороге, по откровенному соловецкому бесправию.

Боже! На дне какого канала утопить нам э т о прошлое??!

* Все неоговоренные цитаты в этой главе — по книге Авербах. Но иногда я соединял её разные фразы вместе, иногда опускал нестерпимое многословие — ведь ей на диссертацию надо было тянуть, а у нас места нет. Однако смысла я не исказил нигде.

** Песенные сборники Дмитлага, 1935. А музыка называлась — *каналоармейская,* и в конкурсной комиссии состояли вольные композиторы — Шостакович, Кабалевский, Шехтер...

Глава 4

АРХИПЕЛАГ КАМЕНЕЕТ

А часы истории — били.

В 1933 году на январском пленуме ЦК и ЦКК, уже в уме развёрстывая практические цифры, сколько же двуногих в этой стране надо ещё и ещё пустить в расход, Великий Вождь объявил, что так обещанное Лениным и так чаемое гуманистами «отмирание государства придёт не через ослабление государственной власти, а через её *максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов...»* (курсив мой — А. С.). А так как те доживают свои дни, «апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против Советской власти»,— а уж под отсталый слой подойдёт и любой человек не умирающего класса,— то вот и: «мы хотим покончить с этими элементами быстро и без особых жертв». * (Как именно «без особых жертв», Кормилец не пояснил.)

Это было так неожиданно гениально, что не всякому умишке дано было объять, но Вышинский состоял на своём подручном месте и сразу же подхватил: «и, значит, максимальное *укрепление* исправительно-трудовых учреждений»! **

Вступление в социализм через максимальное укрепление тюрьмы! — это не юмористический журнал сострил, это сказал генеральный прокурор Советского Союза! Так что «ежовые рукавицы» готовились и без Ежова.

Ведь вторая пятилетка, кто помнит (да ведь никто у нас ничего не помнит! память — самое слабое место русских, особенно — память на злое), вторая пятилетка среди своих блистательных (по сей день не выполненных) задач имела и такую: «искоренение пережитков капитализма в сознании людей». Значит, и закончить это искоренение надо было в 1938 году. Рассудите сами, чем же было их так быстро искоренять?

«Советские места лишения свободы на пороге второй пятилетки ни в какой мере не только не теряют, но даже усиливают своё значение.» (Года не прошло от предсказания Когана, что лагерей вообще скоро не будет. Но он же не знал январского пленума.) «В эпоху вступления в социализм роль исправительно-трудовых учреждений как орудия пролетарской диктатуры, как органа репрессии, как средства принуждения и воспитания (принуждение уже на первом месте) должна *ещё больше возрасти и усилиться.»* *** (А иначе комсоставу НКВД при социализме что ж — пропади?)

Кто упрекнёт нашу Передовую Теорию, что она отставала от практики? Всё это чёрным по белому печаталось, да мы читать ещё не умели. 1937 год был публично предсказан и обоснован.

Но что же истинно произошло с Архипелагом в 1937 году? В согласии с Вышинским, Архипелаг очень «укрепился»: резко умножилось

---

* Сталин. Сочинения, М., 1951, т. 13, стр. 211—212.

** Сборник «От тюрем...», предисловие.

*** Сборник «От тюрем...», стр. 449. Один из авторов — Апетер, новый начальник ГУЛага.

его население. Но вопреки распространённому представлению это произошло далеко не только за счёт арестованных в 1937 году с воли: обращались в зэков «спецпереселенцы». Это был отжёв коллективизации и раскулачивания, те, кто смогли выжить и в тайге и в тундре, разорённые, без крова, без обзавода, без инструмента. По крепости крестьянской породы — ещё и этих невымерших оставались миллионы. И вот «спецпосёлки» высланных теперь перестали такими быть,— но не за счёт того, чтоб их распустили в прежние места или на волю, нет, их целиком включали в ГУЛАГ. Такие посёлки обносились колючей проволокой, если её ещё не было, и стали лагпунктами (весь Норильский комбинат возник таким образом), со временем иные этапировались в другие лагеря уже как зэки (дети — в детдома). И вот это многомиллионное добавление — снова крестьянское! — и было главным приливом на Архипелаг в 1937. Хотя в самой деревне в тот год не было таких массовых посадок, как в городе (впрочем, тоже заметали заметно),— всё в целом население Архипелага стало обильно крестьянским, как помнят свидетели.

Так гигантски возрос Архипелаг — но режим его мог ли ещё ужесточиться? Оказывается мог. Сшиблены были мохнатой рукой все фитюльки и бантики. Трудколлективы? Запретить! Ещё чего выдумали — самоуправление в лагере! Лучше бригады всё равно ничего не придумаешь. Какие ещё там политбеседы? Отставить. Заключённых присылают работать — а понимать им не обязательно. На Ухте объявили «ликвидацию последней вагонки»? Политическая ошибка! — а что, на пружинные койки будем их класть? Втиснуть им вагонок, да вдвое! Зачёты? Зачёты — в первую очередь отменить! — что ж, судам вхолостую работать? А кому уже зачёты начислены? Считать недействительными. В каких-то лагерях ещё свидание дают? Запретить повсеместно. В какой-то тюрьме труп священника выдали на волю для похорон? Да вы с ума сошли, вы даёте повод для антисоветских демонстраций. За это — наказать примерно! Разъяснить: трупы умерших принадлежат ГУЛАГу, а могилы — совсекретны. Профтехкурсы для заключённых? Распустить! Надо было на воле учиться. Что́ ВЦИК, какое решение ВЦИК? за подписью Калинина?.. У нас НКВД. На волю выйдут — пусть учат сами. Графики, диаграммы? Содрать со стен, стены побелить. Можно и не белить. Это что за ведомость? Зарплата заключённым? Циркуляр ГУМЗака от 25.11.26 , двадцать пять процентов от ставки рабочего соответствующей квалификации в госпромышленности? Молчать! Разорвать! Самих зарплаты лишим! Заключённому, да ещё платить! Спасибо пусть скажет, что не расстреляли. Исправительно-трудовой кодекс 1933 года? Забыть навсегда, изъять из всех лагерных сейфов! «Всякое нарушение общесоюзных кодексов о труде... только по согласованию в ВЦСПС»? Да неужели ж е н а м идти в ВЦСПС? Что такое ВЦСПС? — тьфу и нету! Статья 75-я — «при более тяжёлой работе увеличивается паёк»? Кру-гом! При более лёгкой — уменьшается. Вот так, и фонды целы.

Исправительно-трудовой кодекс с его сотнями статей как акула проглотила, и не только потом двадцать пять лет никто не видел, но даже и названия такого не подозревали.

Тряхнули Архипелаг — и убедились, что ещё начиная с Соловков и тем более во времена каналов вся лагерная машина недопустимо разболталась. Теперь эту слабину выбирали.

Прежде всего никуда не годилась охрана, это не лагеря были вовсе: на вышках часовые только по ночам; на вахте одинокий невооружённый вахтёр, которого можно уговорить и пройти на время; фонари на зоне допускались керосиновые; несколько десятков заключённых сопровождал на работу одинокий стрелок. Теперь потянули вдоль зон электрическое освещение (при политически-надёжных электриках). Стрелки охраны получили боевой устав и военную подготовку. В обязательные служебные штаты были включены охранные овчарки со своими собаководами, тренерами и отдельным уставом. Лагеря приняли, наконец, вполне современный, известный нам вид.

Здесь не перечислить, во скольких бытовых мелочах был зажат и острожен лагерный режим. И сколько было обнаружено дырок, через которые *воля* ещё могла наблюдать за Архипелагом. Все эти связи теперь были прерваны, дырки заткнуты, изгнаны ещё какие-то там последние «наблюдательные комиссии».

Не найдётся в книге другого места объяснить, что это такое. Пусть же будет длинное примечание для любознательных.

Лицемерное буржуазное общество придумало, что оно должно наблюдать за состоянием мест заключения и ходом исправления арестантов. В царской России существовали «общества попечительства о тюрьмах» — «для улучшения физического и нравственного состояния арестантов», были благотворительные тюремные комитеты и общества тюремного патроната. В американских же тюрьмах наблюдательные комиссии из представителей общественности в 20-е и 30-е годы уже имели широкие права: даже досрочного освобождения (не ходатайства о нём, а самого освобождения, без суда). Впрочем, наши диалектические законники метко возражают: «не надо забывать, *из каких классов* составляются комиссии — они принимают решения в соответствии со своими классовыми интересами».

Другое дело — у нас. Первой же «Временной инструкцией» от 23.7.18, создавшей первые лагеря, предусматривалось создание Распределительных комиссий при губернских Карательных Отделах. Распределяли же они — всех осуждённых по с е м и видам лишения свободы, учреждённых в ранней РСФСР. Работа эта (как бы заменяющая суды) была столь важна, что Наркомюст в отчёте 1920 года назвал деятельность распредкомиссий «нервом карательного дела». Состав их был очень демократичный, например в 1922 году это была Тройка: начальник губернского управления НКВД, член президиума губернского суда и начальник мест лишения свободы в данной губернии. Позже к ним присоединили по человечку от губРКИ и Губпрофсовета. Но уже к 1929 году ими были страшно недовольны: они применяли досрочное освобождение и льготы классово-чуждым элементам. «Это была правооппортунистическая практика руководства НКВД.» За то распредкомиссии были в том же году Великого Перелома упразднены, а место их заняли Наблюдательные комиссии, председателями которых назначались с у д ь и, членами же — начальник лагеря, прокурор и представитель *общественности* — от работников надзорсостава, от милиции, от райисполкома и от комсомола. Как метко возражают наши юристы, не надо забывать, из каких классов... Ах, простите, это я уже выписывал... Поручено было наблюдкомам: от НКВД — решать вопросы зачётов и досрочек, от ВЦИК (то бишь от парламента) — попутно следить за промфинпланом.

Вот эти-то наблюдкомиссии и были в начале второй пятилетки разогнаны. Откровенно говоря, никто из заключённых от этой потери не охнул.

Кстати уж н о классах, если заговорили. Один из авторов всё того же Сборника — Шестакова, по материалам 20-х и начала 30-х годов делает «странный вывод о сходстве социального состава в буржуазных тюрьмах и у нас»: к её собственному изумлению оказалось, что и тут и там сидят... трудящиеся. Ну, конечно тут есть какое-нибудь диалектическое объяснение, но она его не нашла. Добавим от себя, что это «странное сходство» было лишь несколько нарушено 37—38-м годами, когда кроме огромного крестьянского добавления в лагеря хлынули люди высоких государственных положений. Но очень вскоре соотношение выровнялось. Все многомиллионные потоки войны и послевоенные — были только потоки трудящихся.

Попутно и лагерные «фаланги», хотя в них, кажется, уже отсвечивал социализм, были в 1937 для отлики от Франко переименованы в «колонны». Лагерная оперчасть, которая до сих пор считалась с задачами

общей работы и плана, теперь приобрела самодовлеющее руководящее значение в ущерб любой производственной работе, любому штату специалистов. Не разогнали, правда, лагерное КВЧ, но отчасти и потому, что через них удобно собирать доносы и вызывать стукачей.

И железный занавес опустился вокруг Архипелага. Никто, кроме офицеров и сержантов НКВД, не мог больше входить и выходить через лагерную вахту. Установился тот гармоничный порядок, который и сами зэки скоро привыкнут считать единственно-мыслимым, каким и будем мы его описывать в этой части книги — уже без кумачёвых тряпок и больше трудовым, чем «исправительным».

И тогда-то оскалились волчьи зубы! И тогда-то зинули бездны Архипелага!

— *В консервные банки обую, а на работу пойдёшь!*

— *Шпал не хватит — вас положу!*

Вот тогда-то, провезя по Сибири товарные эшелоны с пулемётом на каждой третьей крыше, Пятьдесят Восьмую загоняли в котлованы, чтобы надёжнее содержать. Тогда-то, ещё до первого выстрела Второй Мировой войны, ещё когда вся Европа танцевала фокстроты,— в Мариинском *распреде* (внутрилагерной пересылке Мариинских лагерей) не успевали бить вшей и сметали их с одежды полыневыми метёлками. Вспыхнул тиф — и за короткое время 15 000 (пятнадцать тысяч) умерших сбросили в ров — скрюченными, голыми, для экономии срезав с них даже домашние кальсоны. (О тифе на Владивостокской транзитке мы уже поминали.)

И только с одним приобретением прошлых лет ГУЛАГ не расстался: с поощрением шпаны, блатных. Блатным ещё последовательней отдавали все «командные высоты» в лагере. Блатных ещё последовательней натравливали на Пятьдесят Восьмую, допускали беспрепятственно грабить её, бить и душить. Урки стали как бы внутрилагерной полицией, лагерными штурмовиками. (В годы войны во многих лагерях полностью отменили надзорсостав, доверив его работу *комендатуре* — «ссученным ворам», *сукам* — и суки действовали ещё лучше надзора: ведь им-то никакое битьё не воспрещалось.)

Говорят, что в феврале-марте 1938 года была спущена по НКВД секретная инструкция: *уменьшить количество заключённых!* (не путём их роспуска, конечно). Я не вижу здесь невозможного: это была логичная инструкция, потому что не хватало ни жилья, ни одежды, ни еды. ГУЛАГ изнемогал.

Тогда-то легли вповалку гнить пеллагрические. Тогда-то начальники конвоев стали проверять точность пулемётной пристрелки по спотыкающимся зэкам. Тогда-то, что ни утро, поволокли дневальные мертвецов на вахту, в штабеля.

На Колыме, этом Полюсе холода и жестокости в Архипелаге, тот же перелом прошёл с резкостью, достойной Полюса.

По воспоминаниям Ивана Семёновича Карпунича-Бравена (бывшего комдива-40 и комкора-12, недавно умершего с неоконченными и разрозненными записями), на Колыме установился жесточайший режим питания, работы и наказаний. Заключённые голодали так, что на ключе Заросшем съели труп лошади, который пролежал в июле более недели, вонял, и весь шевелился от мух и червей. На прииске Утином зэки съели

полбочки солидола, привезенного для смазки тачек. На Мылге питались ягелем, как олени.— При заносе перевалов выдавали на дальних приисках по сто граммов хлеба в день, никогда не восполняя за прошлое.— Многочисленных доходяг, не могущих идти, на работу тащили санями другие доходяги, ещё не столь оплывшие. Отстающих били палками и догрызали собаками. На работе при 45 градусах мороза запрещали разводить огонь и греться (блатарям — разрешалось). Сам Карпунич испытал и «холодное ручное бурение» двухметровым стальным буром и отвозку «торфов» (грунта со щебёнкой и валунами) при 50 градусах ниже нуля на санях, в которые впрягались четверо (сани были из сырого леса и короб на них — из сырого горбыля); пятым шёл при них толкачурка, «отвечающий за выполнение плана», и бил их дрыном.— Не выполняющих норм (а что значит — не выполняющих? ведь выработка Пятьдесят Восьмой всегда воровски переписывалась блатным) начальник лагпункта Зельдин наказывал так: зимой в забое раздевать донага, обливать холодной водой и так пусть бежит в лагерь; летом — опять же раздевать донага, руки назад привязывать к общей жерди и выставлять прикованных под тучу комаров (охранник стоял под накомарником). Наконец, и просто били прикладами и бросали в изолятор.

На Мылге (подОЛПе Эльгена) при начальнике Гаврике для невыполняющих нормы женщин эти наказания были мягче: просто неотапливаемая палатка зимой (но можно выбежать и бегать вокруг), а на сенокосе при комарах — незащищённый прутяной шалаш (воспоминания Слиозберг).

Возразят, что здесь ничего нового и нет никакого развития: что это примитивный возврат от крикливо-воспитательных Каналов к откровенным Соловкам. Ба! А может — это гегелевская триада: Соловки — Беломор — Колыма? Тезис — антитезис — синтез? Отрицание отрицания, но обогащённое?

Например вот *кареты смерти* как будто не было на Соловках? Это — по воспоминаниям Карпунича на ключе Марисном (66-й км Среднеканской трассы). Целую декаду терпел начальник невыполнение нормы. Лишь на десятый день сажали в изолятор на штрафной паёк, и ещё выводили на работу. Но кто и при этом не выполнял нормы — для тех была карета: поставленный на тракторные сани сруб 5 x 3 x 1,8 метра из сырых брусьев, скреплённых строительными скобами. Небольшая дверь, окон нет и внутри ничего, никаких нар. Вечером самых провинившихся, отупевших и уже безразличных, выводили из штрафного изолятора, набивали в карету, запирали огромным замком и отвозили трактором на 3—4 км от лагеря, в распадок. Некоторые изнутри кричали, но трактор отцеплялся и на сутки уходил. Через сутки отпирался замок, и трупы выбрасывали. Вьюги их заметут.

А летом на подкомандировках изолятор бывал — яма в мёрзлом грунте (в такой яме якуты хорошо сохраняют свежую рыбу и мясо). Её накрывали брёвнами, а если откапывали неглубоко, то посаженный не мог выпрямиться в рост, а стоял, и затекал, согнувшись. (Сидеть, разумеется, было невозможно.)

На ОЛПе Экспедиционном Южного управления невыполнение норм наказывалось ещё проще: начальник ОЛПа лейтенант Григорьев шёл на прииск с пистолетом — и там каждый день пристреливал двух-трёх невыполняющих (воспоминания Томаса Сговио).

Ожесточение колымского режима внешне было ознаменовано тем, что начальником УСВИТЛага (Управления Северо-Восточных лагерей) был назначен Гаранин, а начальником Дальстроя вместо комдива латышских стрелков Э. Берзиня — Павлов. (Кстати, совсем ненужная чехарда из-за сталинской подозрительности. Отчего не мог бы послужить новым требованиям и старый чекист Берзинь со товарищи? Прекрасно бы расстреливал.)

Тут отменили (для Пятьдесят Восьмой) последние выходные (их полагалось три в месяц, но давали неаккуратно, а зимой, когда плохо с нормами, и вовсе не давали), летний рабочий день довели до 14 часов, морозы в 45 и 50 градусов признали годными для работы, и «актировать» день разрешили только с 55 градусов. По произволу отдельных начальников выводили и при 60. (Многие колымчане и вообще никакого термометра на своём ОЛПе не вспоминают). На прииске Горном отказчиков привязывали верёвками к саням (опять плагиат с Соловков) и так волокли в забой. Ещё приняли на Колыме, что конвой не просто сторожит заключённых, но отвечает за выполнение ими плана, и должен не дремать, а вечно их подгонять.

Ещё и цынга, без начальства, валила людей.

Но и этого всего оказалось мало, ещё недостаточно режимно, ещё недостаточно уменьшалось количество заключённых. И начались «гаранинские расстрелы», прямые убийства. Иногда под тракторный грохот, иногда и без. Многие лагпункты известны расстрелами и массовыми могильниками: и Оротукан, и ключ Полярный, и Свистопляс, и Аннушка, и даже сельхоз Дукча, но больше других знамениты этим прииск Золотистый (начальник лагпункта Петров, оперуполномоченные Зеленков и Анисимов, начальник прииска Баркалов, начальник райотдела НКВД Буров) и Серпантинка. На Золотистом выводили днём бригады из забоя — и тут же расстреливали кряду. (Это не взамен ночных расстрелов, те — сами собой.) Начальник Юглага Николай Андреевич Агланов, приезжая туда, любил выбирать на разводе какую-нибудь бригаду, в чём-нибудь виновную, приказывал отвести её в сторонку — и в напуганных, скученных людей сам стрелял из пистолета, сопровождая радостными криками. Трупы не хоронили, они в мае разлагались — и тогда уцелевших доходяг звали закапывать их — за усиленный паёк, даже и со спиртом. На Серпантинке расстреливали каждый день 30—50 человек под навесом близ изолятора. Потом трупы оттаскивали на тракторных санях за сопку. Трактористы, грузчики и закопщики трупов жили в отдельном бараке. После расстрела самого Гаранина расстреляли и всех их. Была там и другая техника: подводили к глубокому шурфу с завязанными глазами и стреляли в ухо или в затылок. (Никто не рассказывает о каком-либо сопротивлении.) Серпантинку закрыли и тот изолятор сравняли с землёй, и всё приметное, связанное с расстрелами, и засыпали те шурфы. * На тех же приисках, где расстрелы открыто не велись,— зачитывались или вывешивались афишки с крупными буквами фамилий и мелкими мотивировками:

* В 1954 году на Серпантинной открыли промышленные запасы золота (раньше не знали его там). И пришлось добывать между человеческими костями: золото дороже.

«за контрреволюционную агитацию», «за оскорбление конвоя», «за невыполнение нормы».

Расстрелы останавливались временами потому, что план по золоту проваливался, а по замёрзшему Охотскому морю не могли подбросить новой партии заключённых (М. И. Кононенко ожидал так на Серпантинке расстрела больше полугода, и остался жив.)

Кроме того проступило ожесточение в набавке новых сроков. Гаврик на Мылге оформлял это картинно: впереди на лошадях ехали с факелами (полярная ночь), а сзади на верёвках волокли по земле за новым *делом* в райНКВД (30 километров). На других лагпунктах совсем буднично: УРЧи подбирали по карточкам, кому уже подходят концы нерасчётливо-коротких сроков, вызывали сразу пачками по 80—100 человек и дописывали каждому новую десятку (рассказ Р. В. Ретца).

Я почти исключаю Колыму из охвата этой книги. Колыма в Архипелаге — отдельный материк, она достойна своих отдельных повествований. Да Колыме и «повезло»: там выжил Варлам Шаламов и уже написал много; там выжили Евгения Гинзбург, О. Слиозберг, Н. Суровцева, Н. Гранкина и другие — и все написали мемуары. * Я только разрешу себе привести здесь несколько строк В. Шаламова о гаранинских расстрелах:

«Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В 50-градусный мороз музыканты из бытовиков играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензиновые факелы разрывали тьму... Папиросная бумага приказа покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного.»

Так Архипелаг закончил 2-ю пятилетку и, стало быть, вошёл в социализм.

* * *

Начало войны сотрясло островное начальство: ход войны был поначалу таков, что, пожалуй, мог привести и к крушению всего Архипелага, а как бы и не к ответу работодателей перед рабочими. Сколько можно судить по впечатлениям зэков из разных лагерей, таков уклон событий породил два разных поведения у хозяев. Одни, поблагоразумней или потрусоватей, умягчили свой режим, разговаривать стали почти ласково, особенно в недели военных поражений. Улучшить питание или содержание они конечно не могли. Другие, поупрямей и позлобней, наоборот, стали содержать Пятьдесят Восьмую ещё круче и грознее, как бы суля им смерть прежде всякого освобождения. В большинстве лагерей заключённым даже не объявили о начале войны 22 июня — наше необоримое пристрастие к скрытности и лжи! — лишь в понедельник 23-го зэки узнавали от расконвоированных и от вольных. Где и было радио (Усть-Вымь, многие места Колымы) — упразднили его на всё время наших военных неудач. В том же Устьвымьлаге вдруг запретили

* Отчего получилось такое сгущение, а не-колымских мемуаров почти нет? Потому ли, что на Колыму действительно стянули цвет арестантского мира? Или, как ни странно, в «ближних» лагерях дружнее вымирали?

писать письма домой (а получать можно) — и родные решили, что их тут расстреляли. В некоторых лагерях (нутром предчувствуя направление будущей политики) Пятьдесят Восьмую стали отделять от бытовиков в особые строго охраняемые зоны, ставили на вышках пулемёты и даже так говорили перед строем: «Вы здесь — заложники! — (Ах, шипуча зарядка Гражданской войны! Как трудно эти слова забываются, как легко вспоминаются!) — Если Сталинград падёт — всех вас перестреляем!» С этим настроением и выспрашивали туземцы о сводках: стоит Сталинград или уже свалили.— На Колыме в такие спецзоны стягивали немцев, поляков и приметных из Пятьдесят Восьмой. Но поляков тут же (август 1941) стали вообще освобождать. *

Всюду на Архипелаге (вскрыв пакеты мобилизационных предписаний) с первых дней войны прекратили освобождеиие Пятьдесят Восьмой. Даже были случаи возврата с дороги уже освобождённых. В Ухте 23 июня группа освободившихся уже была за зоной, ждали поезда — как конвой загнал назад и ещё ругал: «через вас война началась!» Карпунич получил бумажку об освобождении 23 июня утром, но ещё не успел уйти за вахту, как у него обманом выманили: «А покажите-ка!» Он показал — и остался в лагере ещё на 5 лет. Это считалось — *до особого распоряжения*. (Уже война кончилась, а во миогих лагерях запрещали даже ходить в УРЧ и спрашивать — когда же освободят. Дело в том, что после войны на Архипелаге некоторое время людей не хватало, и многие местные управления, даже когда Москва разрешила отпускать,— издавали свои собственные «особые распоряжения», чтобы удержать рабочую силу. Именно так была задержана в Карлаге Е. М. Орлова — и из-за того не поспела к умирающей матери.)

С начала войны (по тем же, вероятно, мобпредписаниям) уменьшились нормы питания в лагерях. Всё ухудшались с каждым годом и сами продукты: овощи заменялись кормовою репой, крупы — викой и отрубями. (Колыма снабжалась из Америки, и там, напротив, появился белый хлеб кое-где.) Но на важных производствах от ослабления арестантов падение выработки было так велико (в 5 и в 10 раз), что сочли выгодным вернуть довоенные иормы питания. Многие лагерные производства получили оборонные заказы — и оборотистые директора таких заводиков иногда умудрялись подкармливать зэков добавочно, с подсобных хозяйств. Где платили зарплату, то по рыиочным цеиам войны это было (30 рублей) — меньше одного килограмма картофеля в месяц.

Если лагерника военного времени спросить, какова его высшая, конечная и совершенно недостижимая цель, он ответил бы: «один раз наесться вволю *черняшки* — и можно умереть». Здесь хоронили в войну никак не меньше, чем на фронте, только не воспето поэтами. Л. А. Комогор в «слабосильиой команде» всю зиму 1941—42 года был на этой лёгкой работе: упаковывал в гробовые обрешётки из четырёх досок по двое голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежедён. (Очевидно, лагерь был близкий, поэтому иадо было упаковывать.)

* С Золотистого освободились 186 поляков (из двух тысяч ста, привезенных за год до того). Они попали в армию Сикорского, на Запад — и там, как видно, порассказали об этом Золотистом. В июне 1942 его закрыли совсем.

Прошли первые месяцы войны — и страна приспособилась к военному ладу жизни; кто надо — ушёл на фронт, кто надо — тянулся в тылу, кто надо — руководил и утирался после выпивки. Так и в лагерях. Оказалось, что напрасны были страхи, что всё — устойчиво, что как заведена эта пружина, так и дальше давит без отказу. Кто поначалу заискивал перед зэками — теперь лютел, и не было ему меры и остановки. Оказалось, что формы лагерной жизни однажды определены правильно и будут такими довеку.

Семь лагерных эпох будут спорить перед вами, какая из них была хуже для человека,— склоните ухо к военной. Говорят и так: кто в войну не сидел — тот и лагеря не отведал.

Вот зимою, с 41-го на 42-й, лагпункт Вятлага: только в бараках ИТР и мехмастерских теплится какая-то жизнь, остальные — замерзающее кладбище (а занят Вятлаг заготовкою именно дров — для Пермской железной дороги).

Вот что такое лагеря военных лет: больше работы — меньше еды — меньше топлива — хуже одежда — свирепей закон — строже кара — но и это ещё не всё. Внешний протест и всегда был отнят у зэков — война отнимала ещё и внутренний. Любой проходимец в погонах, скрывающийся от фронта, тряс пальцем и поучал: «А на фронте как умирают?.. А на воле как работают? А в Ленинграде сколько хлеба получали?..».И даже внутренне нечего им было возразить. Да, на фронте умирали, лёжа и в снегу. Да, на воле тянулись из жил и голодали. (И вольный *трудфронт*, куда из деревень забирали незамужних девок, где были лесоповал, семисотка, а на приварок — посудные ополоски, стоил любого лагеря.) Да, в ленинградскую блокаду давали ещё меньше лагерного карцерного пайка. Во время войны вся раковая опухоль Архипелага оказалась (или выдавала себя) как бы важным нужным органом русского тела — она как бы тоже работала на войну! от неё тоже зависела победа! — и всё это ложным оправдывающим светом падало на нитки колючей проволоки, на гражданина начальника, трясущего пальцем,— и, умирая её гниющей клеточкой, ты даже лишён был предсмертного удовольствия её проклясть.

Для Пятьдесят Восьмой лагеря военного времени были особенно тяжелы накручиванием *вторых сроков*, это висело хуже всякого топора. Оперуполномоченные, спасая самих себя от фронта, открывали в усторонних захолустьях, на лесных подкомандировках, заговоры с участием мировой буржуазии, планы вооружённых восстаний и массовых побегов. Такие тузы ГУЛага, как Яков Моисеевич Мороз, начальник Ухтпечлага, особенно поощряли в своих лагерях следственно-судебную деятельность. (Не оттого ли, что сам был прежде следователем? Но на допросе убил арестанта, получил бытовую десятку, административную лагерную работу, затем амнистирован.) В Ухтпечлаге как из мешка сыпались приговоры на расстрел и на 20 лет: «за подстрекательство к побегу», «за саботаж».— А сколько было тех, для кого не требовалось и суда, чьи судьбы руководимы звёздными предначертаниями: не угодил Сикорский Сталину — в одну ночь схватили на Эльгене тридцать полек, увезли и расстреляли.

Были многие зэки — это не придумано, это правда — кто с первых дней войны подавали заявления: просили взять их на фронт. Они от-

ведали самого густо-вонючего лагерного зачерпа — и теперь просились отправить их на фронт защищать эту лагерную систему, и умереть за неё в штрафной роте! («А останусь жив — вернусь отсиживать срок»...) Ортодоксы теперь уверяют, что это *они* просились. Были и они (и уцелевшие от расстрелов троцкисты), но не очень-то: они большей частью на каких-то тихих местах в лагере пристроились (не без содействия коммунистов-начальников), здесь можно было размышлять, рассуждать, вспоминать и ждать, а ведь в штрафной роте дольше трёх дней головы не сносить. Этот порыв был не в идейности, нет, а в сердечности,— вот это и был русский характер: лучше умереть в чистом поле, чем в гнилом закуте! Развернуться, на короткое время стать «как все», не угнетённым граждански. Уйти от здешней застойной обречённости, от наматывания вторых сроков, от немой гибели. И у кого-то ещё проще, но отнюдь не позорно: там пока ещё умереть, а сейчас обмундируют, накормят, напоят, повезут, можно в окошко смотреть из вагона, можно с девками перебрасываться на станциях. И ещё тут было добродушное прощение: вы с нами плохо, а мы — вот как!

Однако государству не было экономического и организационного смысла делать эти лишние перемещения, кого-то из лагеря на фронт, а кого-то вместо него в лагерь. Определён был каждому свой круг жизни и смерти; при первом разборе попавший к козлищам, как козлище должен был и околеть. Иногда брали на фронт бытовиков с небольшими сроками, но их — не в штрафную роту, а в обычную действующую армию. Совсем не часто, но были случаи, когда брали и Пятьдесят Восьмую. Но вот Горшунова Владимира Сергеевича взяли в 43-м из лагеря на фронт, а к концу войны возвратили в лагерь же с надбавкой срока. Уж они меченые были, и оперуполномоченному в воинской части проще было *мотать* на них, чем на свеженьких.

Но и не вовсе пренебрегали лагерные власти этим порывом патриотизма. На лесоповале это не очень шло, а вот: «Дадим уголь сверх плана — это свет для Ленинграда!», «Поддержим гвардейцев минами!» — это забирало, рассказывают очевидцы. Арсений Фармаков, человек почтенный и темперамента уравновешенного, рассказывает, что лагерь их был увлечён работой для фронта; он собирался это и описать. Обижались зэки, когда не разрешали им собирать деньги на танковую колонну («Джидинец»). *

А награды — общеизвестны, их объявили вскоре после войны: дезертирам, жуликам, ворам — амнистия, Пятьдесят Восьмую — в Особые лагеря.

И чем ближе к концу войны, тем жесточе и жесточе становился режим для Пятьдесят Восьмой. Далеко ли забираться — в Джидинские и Колымские лагеря? Под самой Москвой, почти в её черте, в Ховрине, был захудалый заводик Хозяйственного управления НКВД и при нём режимный лагерь, где командовал Мамулов — всевластный потому, что

---

* Это требует многоразрезного объяснения, как и вся советско-германская война. Ведь идут десятилетия. Мы не успеваем разобраться и самих себя понять в одном слое, как новым пеплом ложится следующий. Ни в одном десятилетии не было свободы и чистоты информации — и от удара до удара люди не успевали разобраться ни в себе, ни в других, ни в событиях.

родной брат его был начальником секретариата у Берии. Этот Мамулов кого угодно забирал с краснопресненской пересылки, а режим устанавливал в своём лагерьке такой, какой ему нравился. Например, свидания с родственниками (в подмосковных лагерях повсюду широко разрешённые) он давал через две сетки, как в тюрьме. И в общежитиях у него был такой же тюремный порядок: много ярких лампочек, не выключаемых на ночь, постоянное наблюдение за тем, как спят, чтобы в холодные ночи не накрывались телогрейками (таких будили), в карцере у него был чистый цементный пол и больше ничего — тоже как в порядочной тюрьме. Но ни одно наказание, назначенное им, не приносило ему удовлетворения, если сверх того и перед этим он не выбивал кровь из носа виновного. Ещё были приняты в его лагере ночные набеги надзора (мужчин) в женский барак на 450 человек. Вбегали внезапно с диким гиканьем, с командой: «Вста-ать рядом с постелями!» Полуодетые женщины вскакивали, и надзиратели обыскивали их самих и их постели с мелочной тщательностью, необходимой для поиска иголки или любовной записки. За каждую находку давался карцер. Начальник отдела главного механика Шклиник в ночную смену ходил по цехам, согнувшись гориллой, и чуть замечал, кто начинает дремать, вздрогнет головой, прикроет глаза,— с размаху метал в него железной болванкой, клещами, обрезком железа.

Таков был режим, завоёванный лагерниками Ховрина их работой для фронта: они всю войну выпускали мины. К этой работе заводик приспособил и наладил заключённый инженер (увы, его фамилии не могут вспомнить, но она не пропадёт, конечно), он создал и конструкторское бюро. Сидел он по 58-й и принадлежал к той отвратительной для Мамулова породе людей, которая не поступается своими мнениями и убеждениями. И этого негодяя приходилось терпеть! Но у нас нет незаменимых! И когда производство уже достаточно завертелось, к этому инженеру как-то днём при конторских (да нарочно при них! — пусть все знают, пусть рассказывают! — вот мы и рассказываем) ворвались Мамулов с двумя подручными, таскали за бороду, бросали на пол, били сапогами в кровь — и отправили в Бутырки получать второй срок за политические высказывания.

Этот милый лагерёк находился в пятнадцати минутах электричкою от Ленинградского вокзала. Сторона не дальняя, да печальная.

(Зэки-новички, попав в подмосковные лагеря, цеплялись за них, если имели родственников в Москве, да и без этого: всё-таки казалось, что ты не срываешься в ту дальнюю невозвратную бездну, всё-таки здесь ты на краю цивилизации. Но это был самообман. Тут и кормили обычно хуже — с расчётом, что большинство получает передачи, тут не давали даже белья. А главное, вечные мутящие *параши* о дальних этапах клубились в этих лагерях, жизнь была шаткая, как на острие шила, невозможно было даже за сутки поручиться, что проживёшь их на одном месте.)

* * *

В таких формах каменели острова Архипелага, но не надо думать, что, каменея, они переставали источать из себя метастазы.

В 1939 году, перед финской войной, гулаговская alma mater Соловки, ставшие слишком близкими к Западу, были переброшены северным морским путём, кто не на Новую Землю, те — в устье Енисея и там влились в создаваемый НорильЛаг, скоро достигший 75 тысяч человек. Так злокачественны были Соловки, что даже умирая, они дали ещё один последний метастаз — и какой!

К предвоенным годам относится завоевание Архипелагом безлюдных пустынь Казахстана. Разрастается осьминогом гнездо карагандинских лагерей, выбрасываются плодотворные метастазы в Джезказган с его отравленной медной водой, в Моинты, в Балхаш. Рассыпаются лагеря и по северу Казахстана.

Пухнут новообразования в Новосибирской области (Мариинские лагеря), в Красноярском крае (Канские, КрасЛаг), в Хакассии, в Бурят-Монголии, в Узбекистане, даже в Горной Шории.

Не останавливается в росте излюбленный Архипелагом русский Север (УстьВымЛаг, НыробЛаг, УсольЛаг) и Урал (ИвдельЛаг).

В этом перечислении много пропусков. Достаточно написать «УсольЛаг», чтобы вспомнить, что в Иркутском Усолье тоже был лагерь.

Да просто не было такой области, Челябинской или Куйбышевской, которая не плодила бы своих лагерей.

Метод преобразования крестьянских посёлков в лагеря был применён и после высылки немцев Поволжья: целые сёла, как они есть, заключались в *зону* — и это были сельхозлагучастки (Каменские сельхозлагеря между Камышиным и Энгельсом).

Мы просим у читателя извинения за многие недостачи этой главы: через целую эпоху Архипелага мы перебрасываем лишь хлипкий мостик — просто потому, что не сошлось к нам материалов больше. Запросов по радио мы оглашать не могли.

Здесь опять на небосклоне Архипелага выписывает замысловатую петлю багровая звезда Нафталия Френкеля.

1937 год, разя своих, не миновал и его головы: начальник БАМлага, генерал НКВД, он снова в благодарность посажен на уже известную ему Лубянку. Но не устаёт Френкель жаждать верной службы, не устаёт и Мудрый Учитель изыскивать эту службу. Началась позорная и неудачливая война с Финляндией. Сталин видит, что он не готов, что нет путей подвоза к армии, заброшенной в карельские снега,— и он вспоминает изобретательного Френкеля и требует его к себе: надо сейчас, лютой зимой, безо всякой подготовки, не имея ни планов, ни складов, ни автомобильных дорог, построить в Карелии три железных дороги — одну рокадную и две подводящих, и построить *за три месяца,* потому что стыдно такой великой державе так долго возиться с моськой Финляндией. Это — чистый эпизод из сказки: злой король заказывает злому волшебнику нечто совершенно неисполнимое и невообразимое. И спрашивает вождь социализма: «Можно?» И радостный коммерсант и валютчик отвечает: «Да!»

Но уж он ставит и свои условия:

1) выделить его целиком из ГУЛАГа, основать новую зэковскую империю, новый автономный архипелаг ГУЛЖДС (гулжэдээс) —

Главное Управление Лагерей ЖелезноДорожного Строительства, и во главе этого архипелага — Френкель;

2) все ресурсы страны, которые он выберет,— к его услугам (это вам не Беломор!);

3) ГУЛЖДС на время авральной работы выпадает также и из системы социализма с его донимающим учётом. Френкель не отчитывается ни в чём. Он не разбивает палаток, не основывает лагпунктов. У него нет никаких пайков, «столов», «котлов». (Это он-то, первый и предложивший столы и котлы! Только гений отменяет законы гения!) Он сваливает грудами в снег лучшую еду, полушубки и валенки, каждый зэк надевает что хочет и ест сколько хочет. Только махорка и спирт будут в руках его помощников, и только их надо заработать!

Великий Стратег согласен. И ГУЛЖДС — создан! Архипелаг расколот? Нет, Архипелаг только усилился, умножился, он ещё быстрее будет усваивать страну.

С карельскими дорогами Френкель всё-таки не успел: Сталин поспешил свернуть войну вничью. Но ГУЛЖДС крепнет и растёт. Он получает новые и новые заказы (уже с обычным учётом и порядками): рокадную дорогу вдоль персидской границы, потом дорогу вдоль Волги от Сызрани на Сталинград, потом «Мёртвую дорогу» с Салехарда на Игарку и собственно БАМ: от Тайшета на Братск и дальше.

Больше того, идея Френкеля оплодотворяет и само развитие ГУЛага: признаётся необходимым и ГУЛаг построить по отраслевым управлениям. Подобно тому, как Совнарком состоит из наркоматов, ГУЛаг для своей империи создаёт свои министерства: «ГлавЛесЛаг, ГлавПромСтрой, ГУЛГМП (Главное Управление Лагерей Горно-Металлургической Промышленности).

А тут война. И все эти гулаговские министерства эвакуируются в разные города. Сам ГУЛаг попадает в Уфу, ГУЛЖДС — в Вятку. Связь между провинциальными городами уже не так надёжна, как радиальная из Москвы, и на всю первую половину войны ГУЛаг как бы распадается: он уже не управляет всем Архипелагом, а каждая окружная территория Архипелага достаётся в подчинение тому Управлению, которое сюда эвакуировано. Так Френкелю достаётся управлять из Кирова всем русским Северо-Востоком (потому что кроме Архипелага там почти ничего и нет). Но ошибутся те, кто увидит в этой картине распад Римской Империи — она соберётся после войны ещё более могущественная.

Френкель помнит старую дружбу: он вызывает и назначает на крупный пост в ГУЛЖДС — Бухальцева, редактора своей жёлтой «Копейки» в дореволюционном Мариуполе, собратья которого или расстреляны или рассеяны по земле.

Френкель был выдающихся способностей не только в коммерции и организации. Охватив зрительно ряды цифр, он их суммировал в уме. Он любил хвастаться, что помнит в лицо 40 тысяч заключённых и о каждом из них — фамилию, имя, отчество, статью и срок (в его лагерях был порядок докладывать о себе эти данные при подходе высоких начальников). Он всегда обходился без главного инженера. Глянув на поднесенный ему план железнодорожной станции, он спешил заметить там

ошибку,— и тогда комкал этот план, бросал его в лицо подчинённому и говорил: «Вы должны понять, что вы — осёл, а не проектировщик!» Голос у него был гнусавый, обычно спокойный. Рост — низенький. Носил Френкель железнодорожную генеральскую папаху, синюю сверху, красную с изнанки, и всегда, в разные годы, френч военного образца — однозначная заявка быть государственным деятелем и не быть интеллигентом. Жил он, как Троцкий, всегда в поезде, разъезжавшем по разбросанным строительным боям — и вызванные из туземного неустройства на совещание к нему в вагон поражались венским стульям, мягкой мебели,— и тем более робели перед упрёками и приказами своего шефа. Сам же он никогда не зашёл ни в один барак, не понюхал этого смрада — он спрашивал и требовал только работу. Он особенно любил звонить на объекты по ночам, поддерживая легенду о себе, что никогда не спит. (Впрочем, в сталинский век и многие вельможи так привыкли.)

Больше его уже не сажали. Он стал заместителем Кагановича по капитальному железнодорожному строительству и умер в Москве в 50-е годы в звании генерал-лейтенанта, в старости, в почёте и в покое.

Мне представляется, что он ненавидел эту страну.

Глава 5

НА ЧЁМ СТОИТ АРХИПЕЛАГ

Был на Дальнем Востоке город с верноподданным названием Цесаревич. Революция переименовала его в город Свободный. Амурских казаков, населявших город, рассеяли — и город опустел. Кем-то надо было его заселить. Заселили: заключёнными и чекистами, охраняющими их. Весь город Свободный стал лагерем (БАМлаг).

Так символы рождаются жизнью сами.

Лагеря не просто «тёмная сторона» нашей послереволюционной жизни. Их размах сделал их не стороной, не боком — а едва ли не печенью событий. Редко в чём другом наше пятидесятилетие проявило себя так последовательно, так до конца.

Как всякая точка образуется от пересечения по крайней мере двух линий, всякое событие — по крайней мере от двух необходимостей,— так и к системе лагерей с одной стороны вела нас экономическая потребность, но одна она могла бы привести и к трудармии, да пересеклась со счастливо сложившимся теоретическим оправданием лагерей.

И они сошлись как срослись: шип — в гнездо, выступ — в углубину. И так родился Архипелаг.

Экономическая потребность проявилась, как всегда, открыто и жадно: государству, задумавшему окрепнуть в короткий срок (тут три четверти дела в сроке, как и на Беломоре!) и не потребляя ничего извне, нужна была рабочая сила:

а) предельно дешёвая, а лучше — бесплатная;

б) неприхотливая, готовая к перегону с места на место в любой день, свободная от семьи, не требующая ни устроенного жилья, ни школ, ни больниц, а на какое-то время — ни кухни, ни бани.

Добыть такую рабочую силу можно было лишь глотая своих сыновей.

Теоретическое же оправдание не могло бы так уверенно сложиться в спешке этих лет, не начнись оно ещё в прошлом веке. Энгельс доследовал, что не с зарождения нравственной идеи начался человек, и не с мышления — а со случайного и бессмысленного труда: обезьяна взяла в руки камень — и оттуда всё пошло. Маркс же, касаясь более близкого времени («Критика Готской программы»), с той же уверенностью назвал *единственным* средством исправления преступников (правда, уголовных; он, кажется, не зачислял в преступников политических, как его ученики) — опять-таки не одиночные размышления, не нравственное самоуглубление, не раскаяние, не тоску (это всё надстройки) — а производительный труд. Сам он отроду не брал в руки кирки, довеку не катал и тачки, уголька не добывал, лесу не валил, не знаем, как колол дрова,— но вот написал это на бумаге, и она не сопротивилась.

И для последователей теперь легко сложилось: что заставить заключённого ежедневно трудиться (иногда по 14 часов, как на колымских забоях) — гуманно и ведёт к его исправлению. Напротив, ограничить его заключение тюремной камерой, двориком и огородом, дать ему возможность эти годы читать книги, писать, думать и спорить — означает обращение «как со скотом» (из той же «Критики»).

Правда, в послеоктябрьское горячее время было не до этих тонкостей, и ещё гуманнее казалось просто расстреливать. Тех же, кого не расстреливали, а сажали в самые ранние лагеря,— сажали туда не для исправления, а для обезвреживания, для чистой изоляции.

Дело в том, что были и в то время умы, занятые карательной теорией, например Пётр Стучка, и в «Руководящих Началах по уголовному праву РСФСР» 1919 года подвергнуто было новому определению само понятие *наказания*. Наказание, очень свежо утверждалось там, не есть ни возмездие (рабоче-крестьянское государство не мстит преступнику), ни искупление вины (никакой индивидуальной вины быть не может, только классовая причинность), а есть оборонительная мера по охране общественного строя — *мера социальной защиты*.

Раз «мера социальной защиты» — тогда понятно, на войне как на войне, надо или расстреливать («высшая мера социальной защиты») или держать в тюрьме. Но при этом как-то тускнела идея *исправления*, к которой в том же 1919 году призывал VIII съезд партии. И, главное, непонятно стало: от чего же исправляться, если нет вины? От классовой причинности исправиться же нельзя!?

Тем временем кончилась гражданская война, учредились в 1922 году первые советские кодексы, прошёл в 1923 «съезд работников пенитенциарного труда», составились в 1924 новые «Основные начала уголовного законодательства» — под новый Уголовный Кодекс 1926 года (который и полозил-то по нашей шее тридцать пять лет) — а новонайденные понятия, что нет «вины» и нет «наказания», а есть «социальная опасность» и «социальная защита»,— сохранились.

Конечно, так удобнее. Такая теория разрешает кого угодно арестовывать как заложника, как «лицо, находящееся под сомнением» (телеграмма Ленина Евгении Бош), даже целые народы ссылать по соображениям их опасности (примеры известны),— но надо быть жонглёром первого класса, чтобы при всём этом ещё строить и содержать в начищенном состоянии теорию «исправления».

Однако, были жонглёры, и теория была, и сами лагеря были названы именно исправительными. И мы сейчас даже много можем привести цитат.

Вышинский: «Вся советская уголовная политика строится на диалектическом (!) сочетании принципа подавления и принуждения с принципом убеждения и перевоспитания.» * «Все буржуазные пенитенциарные учреждения стараются «донять» преступника причинением ему физических и моральных страданий» (ведь они же хотят его «исправить»). «В отличие же от буржуазного наказания, у нас страдания заключённых — не цель, а средство.— (Так и там, вроде, тоже — не цель, а средство.— А. С.).— Цель же у нас — действительное исправление, чтобы из лагерей выходили сознательные труженики.»

Усвоено? Хоть и принуждая, но мы всё-таки исправляем (и тоже, оказывается, через страдания) — только неизвестно *от чего*.

Но тут же, на соседней странице:

«При помощи революционного насилия исправительно-трудовые ла-

---

* Предисловие Вышинского к книге Авербах «От преступления к труду», стр. VI.

геря локализуют и обезвреживают преступные элементы старого общества» * (и всё — старого общества! и в 1952 году — всё будет «старого общества». Вали волку на холку!).

Так уж об исправлении — ни слова? Локализуем и обезвреживаем?

И в том же (1934) году:

«Двуединая задача подавления плюс воспитания кого можно.»

Кого можно. Выясняется: исправление-то не для всех.

И уж у мелких авторов так и порхает готовой откуда-то цитаткой: «исправление исправимых», «исправление исправимых».

А неисправимых? В братскую яму? *На луну* (Колыма)? *Под шмидтиху* (Норильск)?

Даже исправительно-трудовой кодекс 1924 года с высоты 1934 юристы Вышинского упрекают в «ложном представлении о всеобщем исправлении». Потому что кодекс этот ничего не пишет об *истреблении*.

Никто не обещал, что будут исправлять Пятьдесят Восьмую.

Вот и назвал я эту Часть — *истребительно*-трудовые. Как чувствовали мы шкурой нашей.

А если какие цитатки у юристов сошлись кривовато, то подымайте из могилы Стучку, волоките Вышинского — и пусть разбираются. Я не виноват.

Это сейчас вот, за свою книгу садясь, обратился я полистать предшественников, да и то добрые люди помогли, ведь нигде их уже не достанешь. А таская замызганные лагерные бушлаты, мы о таких книгах не догадывались даже. Что вся наша жизнь определяется не волей гражданина начальника, а каким-то легендарным кодексом труда заключённых — это не для нас одних был слух тёмный, параша, но и майор, начальник ОЛПа, ни за что б не поверил. Служебным закрытым тиражом изданные, никем в руках не держанные, ещё ли сохранились они в гулаговских сейфах или все сожжены как вредительские — никто не знал. Ни цитаты из них не было вывешено в культурно-воспитательных уголках, ни цифирки не оглашено с деревянных помостов — сколько там часов рабочий день? сколько выходных в месяц? есть ли оплата труда? полагается ли что за увечья? — да и свои ж бы ребята на смех бы подняли, если вопрос задашь.

Кто эти гуманные письмена знал и читал, так это наши дипломаты. Они-то, небось, на конференциях этой книжечкой потрясывали. Так ещё бы! Я вот сейчас только цитатки добыл — и то слёзы текут:

— в «Руководящих Началах» 1919: раз наказание не есть возмездие, то не должно быть никаких элементов мучительства;

— в 1920: запретить называть заключённых на «ты». (А, простите, неудобно выразиться, а... «в рот» — можно?);

— исправтрудкодекс 1924 года, статья 49 — «режим должен быть лишён признаков мучительства, отнюдь не допуская: наручников, карцера (!), строго-одиночного заключения, лишения пищи, свиданий через решётку».

Ну, и хватит. А более поздних указаний нет: для дипломатов и этого довольно, ГУЛАГу и того не нужно.

---

* Предисловие Вышинского к книге Авербах «От преступления к труду», стр. VII.

Ещё в уголовном кодексе 1926 года была статья 9-я, случайно я её знал и вызубрил:

«Меры социальной защиты не могут иметь целью причинения физического страдания или унижения человеческого достоинства и не ставят себе задачи возмездия и кары.»

Вот где голубизна! Любя *оттянуть* начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью — и все охранители только глаза таращили от удивления и негодования. Были уже служаки по двадцать лет, к пенсии готовились — никогда никакой Девятой статьи не слышали, да впрочем и кодекса в руках не держали.

О, «умная дальновидная человечная администрация сверху донизу»! — как написал в «Лайфе» верховный судья штата Нью-Йорк Лейбовиц, посетивший ГУЛАГ. «Отбывая свой срок наказания, заключённый сохраняет чувство собственного достоинства»,— вот как понял он и увидел.

О, счастлив штат Нью-Йорк, имея такого проницательного осла в качестве судьи!

Ах, сытые, беспечные, близорукие, безответственные иностранцы с блокнотами и шариковыми ручками! — от тех корреспондентов, которые ещё в Кеми задавали зэкам вопросы при лагерном начальстве! — сколько вы нам навредили в тщеславной страсти блеснуть пониманием там, где не поняли вы ни хрена.

«Собственного достоинства»! Того, кто осуждён без суда? Кого на станциях сажают задницей в грязь? Кто по свисту плётки гражданина надзирателя скребёт пальцами землю, политую мочёй, и относит — чтобы не получить карцера? Тех образованных женщин, которые как великой чести удостаивались стирки белья и кормления собственных свиней гражданина начальника лагпункта? И по первому пьяному жесту его становились в доступные позы, чтобы завтра не околеть на общих?

...Огонь, огонь! Сучья трещат, и ночной ветер поздней осени мотает пламя костра. Зона — тёмная, у костра — я один, могу ещё принести плотничьих обрезков. Зона — льготная, такая льготная, что я как будто на воле,— это райский остров, это «шарашка» Марфино в её самое льготное время. Никто не наглядывает за мной, не зовёт в камеру, от костра не гонит. Я закутался в телогрейку — всё-таки холодновато от резкого ветра.

А о н а — который уже час стоит на ветру, руки по швам, голову опустив, то плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно:

— Гражданин начальник!.. Простите!.. Простите, я больше не буду...

Ветер относит её стон ко мне, как если б она стонала над самым моим ухом. Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается.

Это — вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за хитросплетением многих колючих проволок, а от вахты в двух шагах, под ярким фонарём, понуренно стоит наказанная девушка, ветер дёргает её серую рабочую юбочку, студит ноги и голову в лёгкой косынке. Днём, когда они копали у нас траншею, было тепло. И другая девушка, спустясь в овраг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала — охрана была растяпистая. А по шоссе ходит мо-

сковский городской автобус, спохватились — её уже не поймать. Подняли тревогу, приходил злой чёрный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассвирепели, и все кричали, особенно одна, злобно вращая глазами: «Чтоб её поймали, проклятую! Чтоб ей ножницами — шырк! шырк! — голову остригли перед строем!» (То не она придумала, так наказывают женщин в ГУЛАГе.) А эта девушка вздохнула и сказала: «Хоть за нас пусть на воле погуляет!» Надзиратель услышал — и вот она наказана: всех увели в лагерь, а её поставили по стойке «смирно» перед вахтой. Это было в шесть часов вечера, а сейчас — одиннадцатый ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь, вахтёр высунулся и крикнул: «Стой смирно, б..., хуже будет!» Теперь она не шевелится и только плачет:

— Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не буду!..

Но даже в лагере ей никто не скажет: *святая! войди!..*

Её потому так долго не пускают, что завтра — воскресенье, для работы она не нужна.

Беловолосая такая, простодушная необразованная девчёнка. За какую-нибудь катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестрёнка! Тебя хотят на всю жизнь проучить.

Огонь, огонь!.. Воевали — в костры смотрели, какая будет Победа... Ветер выносит из костра недогоревшую огненную лузгу.

Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтёт о том весь свет.

Это происходит в конце 1947 года, под Тридцатую годовщину Октября, в стольном городе нашем Москве, только что отпраздновавшем восьмисотлетие своих жестокостей. В двух километрах от всесоюзной сельскохозяйственной выставки. И километра не будет до останкинского Дома творчества крепостных.

* * *

Крепостных!.. Это сравнение не случайно напрашивалось у многих, когда им выпадало время размыслить. Не отдельные черты, но весь главный смысл существования крепостного права и Архипелага один и тот же: это общественные устройства для принудительного и безжалостного использования дарового труда миллионов рабов. Шесть дней в неделю, а часто и семь, туземцы Архипелага выходили на изнурительную барщину, не приносящую им лично никакого прибытка. Им не оставляли ни пятого, ни седьмого дня работать на себя, потому что содержание выдавали «месячи́ною» — лагерным пайком. Так же точно были они разделены на барщинных (группа «А») и дворовых (группа «Б»), обслуживающих непосредственно помещика (начальника лагпункта) и поместье (зону). Хворыми (группа «В») признавались только те, кто уже совсем не мог слезть с печи (с нар). Так же существовали и наказания для провинившихся (группа «Г»), только тут была та разница, что помещик, действуя в собственных интересах, наказывал с меньшей потерей рабочих дней — плетьми на конюшне, карцера у него не было, начальник же лагпункта по государственной инструкции помещает виновного в ШИзо (штрафной изолятор) или БУР (барак усилен-

ного режима). Как и помещик, начальник лагеря мог взять любого раба себе в лакеи, в повара, парикмахеры или шуты (мог собрать и крепостной театр, если ему нравилось), любую рабыню определить себе в экономки, в наложницы или в прислугу. Как и помещик, он вволю мог дурить, показывать свой нрав. (Начальник Химкинского лагеря майор Волков увидел, как заключённая девушка сушила на солнце распущенные после мытья долгие льняные волосы, почему-то рассердился и коротко бросил: «Остричь!» И её тотчас остригли. 1945.) Менялся ли помещик или начальник лагеря, все рабы покорно ждали нового, гадали о его привычках и заранее отдавались в его власть. Не в силах предвидеть волю хозяина, крепостной мало задумывался о завтрашнем дне — и заключённый тоже. Крепостной не мог жениться без воли барина — и уж тем более заключённый только при снисхождении начальника мог обзавестись лагерной женой. Как крепостной не выбирал своей рабской доли, он не виновен был в своём рождении, так не выбирал её и заключённый, он тоже попадал на Архипелаг чистым роком.

Это сходство давно подметил русский язык: «Людей накормили?», «людей послали на работу?», «сколько у тебя людей?», «пришли-ка мне человека!» *Людей, люди* — о ком это? Так говорили о крепостных. Так говорят о заключённых. * Так невозможно, однако, сказать об офицерах, о руководителях — «сколько у тебя людей?» — никто и не поймёт.

Но, возразят нам, всё-таки с крепостными не так уж много и сходства. Различий больше.

Согласимся: различий — больше. Но вот удивительно: все различия — к выгоде крепостного права! все различия — к невыгоде Архипелага ГУЛАГа!

Крепостные не работали дольше, чем от зари до зари. Зэки — в темноте начинают, в темноте и кончают (да ещё не всегда и кончают). У крепостных воскресенье было свято, да все двунадесятые, да храмовые, да из святок сколько-то (ряжеными же ходили!). Заключённый перед каждым воскресеньем трусится: дадут или не дадут? А праздников он вовсе не знает (как Волга — выходных...): эти 1-е мая и 7-е ноября больше мучений с обысками и режимом, чем того праздника (а некоторых зэков из года в год именно в эти дни сажают в карцер). У крепостных Рождество и Пасха были подлинными праздниками; а личного обыска то после работы, то утром, то ночью («встать рядом с постелями!») — они и вообще не знали! Крепостные жили в постоянных избах, считали их своими, и на ночь ложась — на печи, на полатях, на лавке — знали: вот это место моё, давеча тут спал и дальше буду. Заключённый не знает, в каком бараке будет завтра (и даже, идя с работы, не уверен, что и сегодня там будет спать). Нет у него «своих» нар, «своей» вагонки. Куда перегонят.

У крепостного барщинного бывали лошадь своя, соха своя, топор, коса, веретено, коробы, посуда, одежда. Даже у дворовых, пишет Герцен **, всегда были кой-какие тряпки, которые они оставляли по наслед-

* И конечно — о колхозниках и чернорабочих, но того сравнения мы сейчас не продолжим.

** А. И. Герцен. «К старому товарищу». Собр. соч., изд-во Академии наук, М., 1960, т. XX, стр. 585.

ству своим близким — и которые почти никогда не отбирались помещиком. Зэк же обязан зимнее сдать весной, летнее — осенью, на инвентаризациях трясут его суму и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. Не разрешено ему ни ножичка малого, ни миски, а из живности — только вши. Крепостной нет-нет, да вершу закинет, рыбки поймает. Зэк ловит рыбу только ложкой из баланды. У крепостного бывали то коровушка Бурёнушка, то коза, куры. Зэк молоком и губ никогда не мажет, а яиц куриных и глазами не видит десятилетиями, пожалуй и не узнает, увидя.

Бо́льшую часть своей истории прежняя Россия не знала голода. «На Руси никто с голоду не умирывал»,— говорит пословица. А пословицу сбрёху не составят. Крепостные были рабы, но были сыты. * Архипелаг же десятилетиями жил в пригнёте жестокого голода, между зэками шла грызня за селёдочный хвост из мусорного ящика. Уж на Рождество-то и Пасху самый худой крепостной мужичишка разговлялся салом. Но самый первый работник в лагере может сало получить только из посылки.

Крепостные жили семьями. Продажа или обмен крепостного отдельно от семьи были всеми признанным оглашаемым варварством, над ним негодовала публичная русская литература. Сотни, пусть тысячи (уж вряд ли) крепостных были отрываемы от своих семей. Но не миллионы. Зэк разлучен с семьёй с первого дня ареста и в половине случаев — навсегда. Если же сын арестован с отцом (как мы слышали от Витковского) или жена вместе с мужем,— то пуще всего блюли не допустить их встречу на одном лагпункте; если случайно встретились они — разъединить как можно быстрей. Также и всякого зэка и зэчку, сошедшихся в лагере для короткой или подлинной любви,— спешили наказать карцером, разорвать и разослать. И даже самые сентиментальные пишущие дамы — Шагинян или Тэсс — ни беззвучной слёзки о том не проронили в платочек. (Ну, да ведь *они не знали*. Или думали — *так нужно*.)

И самый перегон крепостных с места на место не производился в угаре торопливости: им давали уложить свой скарб, собрать свою движимость и переехать спокойно за пятнадцать или сорок вёрст. Но как шквал настигает зэка этап: двадцать, десять минут лишь на то, чтоб отдать имущество лагерю, и уже опрокинута вся жизнь его вверх дном, и он едет куда-то на край света, может быть — навеки. На жизнь одного крепостного редко выпадало больше одного переезда, а чаще сидели на местах. Туземца же Архипелага, не знавшего этапов, невозможно указать. А многие переезжали по пять, по семь, по одиннадцать раз.

Крепостным удавалось вырываться на оброк, они уходили далеко с глаз проклятого барина, торговали, богатели, жили под вид вольных.

---

* По всем столетиям есть такие свидетельства. В XVII пишет Юрий Крижанич, что крестьяне и ремесленники Московии живут обильнее западных, что самые бедные жители на Руси едят хороший хлеб, рыбу, мясо. Даже в Смутное время «давные житницы не истощены, и поля скирд стояху, гумны же преисполнены одоней, и копен, и зародов до четырёх-на десять лет» (Авраамий Палицын). В XVIII веке Фонвизин, сравнивая обеспеченность русских крестьян и крестьян Лангедока, Прованса, пишет: «нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим». В XIX веке о крепостной деревне Пушкин написал:

«Везде следы *довольства* и труда.»

Но даже бесконвойные зэки живут в той же зоне и с утра тянутся на то же производство, куда гонят и колонну остальных.

Дворовые были большей частью развращённые паразиты («дворня — хамово отродье»), жили за счёт барщинных, но хоть сами не управляли ими. Вдвое тошнее зэку от того, что развращённые придурки ещё им же управляют и помыкают.

Да вообще всё положение крепостных облегчалось тем, что помещик вынужденно их щадил: они стоили денег, своей работой приносили ему богатство. Лагерный начальник не щадит заключённых: он их не покупал, детям в наследство не передаёт, а умрут одни — пришлют других.

Нет, зря мы потянулись сравнивать наших зэков с помещичьими крепостными. Состояние тех следует признать гораздо более спокойным и человеческим. С кем ещё приблизительно можно сравнивать положение туземцев Архипелага — это с *заводскими* крепостными, уральскими, алтайскими и нерчинскими. Или — с аракчеевскими поселенцами. (А иные возражают мне: и то жирно, в аракчеевских поселениях тоже и природа, и семья, и праздники. Только древневосточное рабство будет сравнением верным.)

И лишь одно, лишь одно преимущество заключённых над крепостными приходит на ум: заключённый попадает на Архипелаг, даже если малолеткой в 12—15 лет, — а всё-таки не со дня рождения! А всё-таки сколько-то лет до посадки отхватывает он и воли. Что же до выгоды определённого судебного срока перед пожизненной крестьянской крепостью,— то здесь много оговорок: если срок не «четвертная»; если статья не 58-я; если не будет «до особого распоряжения»; если не намотают второго лагерного срока; если после срока не пошлют автоматически в ссылку; если не вернут с воли тотчас же назад на Архипелаг как повторника. Оговорок такой частокол, что ведь, вспомним, иногда ж и крепостного барин на волю отпускал по причуде...

Вот почему когда «император Михаил» сообщил нам на Лубянке ходящую среди московских рабочих анекдотическую расшифровку ВКП(б) — Второе Крепостное Право (большевиков),— это не показалось нам смешным, а — вещим.

* * *

Коммунисты искали новый стимул для общественного труда. Думали, что это будет сознательность и энтузиазм при полном бескорыстии. Потому так подхватывали «великий почин» субботников. Но он оказался не началом новой эры, а судорогой самоотверженности одного из последних поколений революции. Из губернских тамбовских материалов 1921 года видно, например, что уже тогда многие члены партии пытались уклоняться от субботников — и введена была отметка о явке на субботник в партийной учётной карточке. Ещё на десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних пионеров. Но потом и у нас пресеклось.

Что же тогда? Где ж искать стимул? Деньги, сдельщина, премиальные? Но это в нос шибало недавним капитализмом, и нужен был долгий период, другое поколение, чтоб запах перестал раздражать и его можно было бы мирно принять как «социалистический принцип материальной заинтересованности».

Копнули глубже в сундуке истории и вытащили то, что Маркс называл «внеэкономическим принуждением». В лагере и в колхозе эта находка выставилась неприкрытыми клыками.

Потом подвернулся Френкель и, как чёрт сыпет зелье в кипящий котёл, подсыпал *котловку.*

Известно было заклинание, сколько раз его повторяли: «В новом общественном строе не может быть места ни дисциплине палки, на которую опиралось крепостничество, ни дисциплине голода, на которой держится капитализм.»

Так вот Архипелаг сумел чудесно совместить и то, и другое.

И всего-то приёмов для этого понадобилось: 1. Котловка; 2. Бригада; 3. Два начальства. (Но последнее не обязательно: на Воркуте, например, всегда было одно начальство, а дела шли.)

Так вот на этих трёх китах стоит Архипелаг.

А если считать их «приводными ремнями» — от них крутится.

О котловке уже сказано. Это — такое перераспределение хлеба и крупы, чтобы за средний паёк заключённого, который в паразитических обществах выдаётся арестанту бездействующему, наш зэк ещё бы поколотился и погорбил. Чтобы свою законную пайку он добрал добавочными кусочками по сто граммов и считался бы при этом ударником. Проценты выработки сверх ста давали право и на дополнительные (у тебя же перед тем отнятые) ложки каши. Беспощадное знание человеческой природы! Ни эти кусочки хлеба, ни эти крупяные бабки не шли в сравнение с тем расходом сил, которые тратились на их зарабатывание. Но по своей извечной бедственной черте человек не умеет соразмерить вещь и цену за неё. Как солдат на чужой войне дешёвым стаканом водки поднимается в атаку и в ней отдаёт жизнь, так и зэк за эти нищенские подачки, скользнув с бревна, купается в паводке северной реки или в ледяной воде месит глину для саманов голыми ногами, которым уже не понадобится земля воли.

Однако, не всесильна и сатанинская котловка. Не все на неё клюют. Как крепостные когда-то усвоили: «хоть хвойку глодать, да не пенья ломать», так и зэки поняли: в лагере не маленькая пайка губит, а большая. Ленивые! тупые! бесчувственные полуживотные! они не хотят этого дополнительного! они не хотят кусочка этого питательного хлеба, замешанного на картошке, вике и воде! они уже и досрочки не хотят! они и на доску почёта не хотят! они не хотят подняться до интересов стройки и страны, не хотят выполнять пятилеток, хотя пятилетки в интересах трудящихся! Они разбредаются по закоулкам шахт, по этажам строительства, они рады в тёмной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать.

Не часто же можно устроить такие массовые работы, как гравийный карьер под Ярославлем: видимые простому глазу надзора, сотни заключённых там скучены на небольшом пространстве, и едва лишь кто перестаёт двигаться — сразу он заметен. Это — идеальные условия: никто не смеет замедлиться, спину разогнуть, пот обтереть, пока на холме не упадёт флаг — условный знак перекура. А как же быть в других случаях?

Было думано. И придумана была — *бригада.* Да и как бы нам не додуматься? У нас и народники в социализм идти хотели — через

общину, и марксисты — через «коллектив». Как и поныне наши газеты пишут? — *«Главное для человека — это труд и обязательно труд в коллективе»* !

Так в лагере ничего кроме труда и нет, и только в коллективе. Значит, ИТЛ — и есть высшая цель человечества? главное-то — достигнуто?

Как бригада служит *психологическому обогащению* своих членов, понуканию, слежке и *повышению чувства достоинства* — мы уже имели повод объяснить (глава 3). Соответственно целям бригады подбираются достойные задачи и бригадиры (по-лагерному — «бугры»). Прогоняя заключённых через палку и пайку, бригадир должен справиться с бригадой в отсутствие начальства, надзора и конвоя. Шаламов приводит примеры, когда за один промывочный сезон на Колыме несколько раз вымирал состав бригады, а бригадир всё оставался тот же. В КемерЛаге такой был бригадир Переломов — языком он не пользовался, только дрыном. Список этих фамилий занял бы много у нас страниц, но я его не готовил. Интересно, что чаще всего такие бригадиры получаются из блатных, то бишь люмпен-пролетариев.

Однако, к чему не приспосабливаются люди? Было бы грубо с нашей стороны не досмотреть, как бригада становилась иногда и естественной ячейкой туземного общества — как на воле бывает семья. Я сам такие бригады знал — и не одну. Правда, это не были бригады общих работ — там, где кто-то должен умереть, иначе не выжить остальным. Это были обычно бригады специальные: электриков, слесарей-токарей, плотников, маляров. Чем эти бригады были малочисленнее (по 10—12 человек), тем явнее проступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки. *

Для такой бригады и для такой роли должен быть и бригадир подходящий: в меру жестокий; хорошо знающий все нравственные (безнравственные) законы ГУЛАГа; проницательный и справедливый в бригаде; со своей отработанной хваткой против начальства — кто хриплым лаем, кто исподтишка; страшноватый для всех придурков, не пропускающий случая вырвать для бригады лишнюю стограммовку, ватные брюки, пару ботинок. Но и со связями среди придурков влиятельных, откуда узнаёт все лагерные новости и предстоящие перемены, это всё нужно ему для правильного руководства. Хорошо знающий работы и участки выгодные и невыгодные (и на невыгодные умеющий спихнуть соседнюю бригаду, если такая есть). С острым взглядом на тухту — где её легче в эту пятидневку вырвать: в нормах или в объёмах. И неколебимо отстаивающий тухту перед прорабом, когда тот уже заносит брызжущую ручку «резать» наряды. И *лапу* умеющий дать нормировщику. И знающий, кто у него в бригаде стукач (и если не очень умный и вредный — пусть и будет, а то худшего подставят). А в бригаде он всегда знает, кого взглядом подбодрить, кого отматерить, а кому дать сегодня работу полегче. И такая бригада с таким бригадиром сурово сживается и выживает сурово. Нежностей нет, но никто и не падает. Работал я у таких бригадиров — у Синебрюхова, у Павла Боронюка. Если этот список подбирать — и на него страниц пошло бы много. И по

---

* Проявилось это и в больших разнорабочих бригадах, но только в каторжных лагерях и при особых условиях. Об этом — в Части Пятой.

многим рассказам совпадает, что чаще всего такие хозяйственные разумные бригадиры — из «кулацких» сыновей.

А что же делать? Если бригаду неотклонимо навязывают как форму существования — то что же делать? Приспособиться как-то надо? От работы гибнем, но и не погибнуть можем только через работу. (Конечно, философия спорная. Верней бы ответить: не учи меня гибнуть как ты хочешь, дай мне погибнуть как я хочу. Да ведь всё равно не дадут, вот что...)

Неважный выбор бывает и бригадиру: не выполнит лесоповальная бригада дневного задания в 55 «кубиков» — и в карцер идёт бригадир. А не хочешь в карцер — загоняй в смерть бригадников. Кто кого смогá, тот того и в рога.

А *два начальства* удобны лагерям так же, как клещам нужен и левый и правый захват, оба. Два начальства — это молот и наковальня, и куют они из зэка то, что нужно государству, а рассыпался — смахивают в мусор. Хотя содержание отдельного *зонного* (лагерного) начальства и сильно увеличивает расходы государства, хотя по тупости, капризности и бдительности оно часто затрудняет, усложняет рабочий процесс, а всё-таки ставят его, и значит тут не промах. Два начальства — это два терзателя вместо одного, да посменно, и поставлены они в положение соревнования: кто из арестанта больше выжмет и меньше ему даст.

В руках одного начальства находится производство, материалы, инструмент, транспорт, и только малости нет — рабочей силы. Эту рабочую силу каждое утро конвой приводит из лагеря и каждый вечер уводит в лагерь (или по сменам). Те десять или двенадцать часов, на которые зэки попадают в руки производственного начальства, нет надобности их воспитывать или исправлять, и даже если в течение рабочего дня они издохнут — это не может огорчить ни то, ни другое начальство: мертвецы легче списываются, чем сожжённые доски или раскраденная олифа. Производственному начальству важно принудить заключённых за день сделать побольше, а в наряды записать им поменьше, ибо надо же как-то покрыть губительные расходы и недостачи производства: ведь воруют и тресты, и СМУ (строительно-монтажные управления), и прорабы, и десятники, и завхозы, и шофера, и меньше всех зэки, да и то не для себя (им уносить некуда), а для своего лагерного начальства и конвоя. А ещё больше гибнет от беспечного и непредусмотрительного хозяйствования, и ещё от того, что зэки ничего не берегут тоже,— и покрыть все эти недостачи один путь: не доплатить за рабочую силу.

В руках лагерного начальства — только *рабсила* (язык знает, как сокращать!). Но это — решающее. Лагерные начальники так и говорят: мы можем на них (производственников) нажимать, они нигде не найдут других рабочих. (В тайге и пустыне — где ж их найдёшь?) И потому они стараются вырвать за свою рабсилу побольше денег, которые и сдают в казну, а часть идёт на содержание самого лагерного руководства за то, что оно зэков охраняет (от свободы), поит, кормит, одевает и морально допекает.

Как всегда при нашем продуманном социальном устройстве, здесь сталкиваются лбами два плана: план производства иметь по зарплате самые низкие расходы и план МВД приносить с производства в лагерь самые большие заработки. Стороннему наблюдателю странно: зачем

приводить в столкновение собственные планы? О, тут большой смысл! Столкновение-то планов и сплющивает человечка. Это — принцип, выходящий за колючую проволоку Архипелага.

А что ещё важно: что два начальства эти совсем друг другу не враждебны, как можно думать по их постоянным стычкам и взаимным обманам. Там, где нужно плотнее сплющить, они примыкают друг к другу очень тесно. Хотя начальник лагеря — отец родной для своих зэков, но всегда охотно признает и подпишет акт, что в увечье виноват сам заключённый, а не производство; не будет очень уж настаивать, что заключённым нужна спецодежда или в каком-то цеху вентиляции нет (нет так нет, что ж поделаешь, временные трудности, а ка́к в ленинградскую блокаду?..). Никогда не откажет лагерное начальство производственному посадить в карцер бригадира за грубость или рабочего, утерявшего лопату, или инженера, не так выполнившего приказ. В глухих посёлках не оба ли эти начальства и составляют высшее общество — таёжно-индустриальных помещиков? Не их ли жёны друг ко другу ходят в гости?

И если всё-таки тухту в нарядах непрерывно *дуют*, если записывается копка и засыпка траншей, никогда не зиявших в земле; ремонт отопления или станка, не выходившего из строя; смена столбов целёхоньких, которые ещё десять лет перестоят,— то делается это даже не по наущению лагерного начальства, спокойного, что деньги в лагерь так или иначе притекут,— а самими заключёнными (бригадирами, нормировщиками, десятниками), потому что таковы все государственные нормы: они рассчитаны не для земной реальной жизни, а для какого-то лунного идеала. Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый — выполнить этих норм не может! Что же спрашивать с измученного, слабого, голодного и угнетённого арестанта? Государственное нормирование описывает производство таким, каким оно не может быть на земле,— и этим напоминает социалистический реализм в беллетристике. Но если непроданные книги потом просто изрубливаются,— закрывать промышленную тухту сложней. Однако не невозможно.

В постоянной круговертной спешке директор и прораб проглядывают, не успевают обнаружить тухту. А десятники из вольных неграмотны или пьяны, или добросердечны к зэкам (с расчётом, что и бригадир их выручит в тяжёлую минуту). А там — «процентовка съедена», хлеб из брюха не вытащишь. Бухгалтерские же ревизии и учёт известны своей неповоротливостью, они открывают тухту с опозданием в месяцы или годы, когда и деньги за эту работу давно упорхнули и остаётся только или под суд отдать кого-нибудь из вольных или замять и списать.

Трёх китов подвело под Архипелаг Руководство: котловку, бригаду и два начальства. А четвёртого и главного кита — тухту, подвели туземцы и сама жизнь.

Нужны для тухты напористые предприимчивые бригадиры, но ещё нужней, ещё важней — производственные начальники из заключённых. Десятников, нормировщиков, плановиков, экономистов, их было немало, потому что в тех дальних местах не настачишься вольных. Одни зэки на этих местах забывались, жесточели хуже вольных, топтали своего брата-арестанта и по трупам шли к собственной досрочке. Другие, напротив, сохраняли отчётливое сознание своей родины — Архипелага,

и вносили разумную умеренность в управление производством, разумную долю тухты в отчётность. Это был риск для них: не риск получить новый срок, потому что сроки и так были нахомучены добрые и статья крепка,— но риск потерять своё место, разгневать начальство, попасть в худой этап — и так незаметно погибнуть. Тем славней их стойкость и ум, что они помогали выжить и своим братьям.

Таков был, например, Василий Григорьевич Власов, уже знакомый нам по Кадыйскому процессу. Весь долгий срок свой (он просидел девятнадцать лет без перерыва) он сберёг ту же упрямую убеждённость, с которой вёл себя на суде, с которой высмеял Калинина и его помиловку. Он все эти годы, когда и от голода сох, и тянул лямку общих работ, ощущал себя не козлом отпущения, а истым политическим и даже «революционером», как говорил в задушевных беседах. И когда благодаря своей природной острой хозяйственной хватке, заменявшей ему неоконченное экономическое образование, он занимал посты производственных придурков,— Власов не просто видел в этом оттяжку своей гибели, но и возможность всю телегу подправить так, чтобы ребятам тянуть было легче.

В 40-е годы на одной из Усть-Вымьских лесных командировок (УстьВымьЛаг отличался от общей схемы тем, что имел *одно* начальство: сам лагерь вёл лесоповал, учитывал и отвечал за план перед МинЛесом) Власов совмещал должности нормировщика и плановика. Он был там голова всему, и зимой, чтобы поддержать работяг-повальщиков, приписывал их бригадам лишние кубометры. Одна зима была особенно суровой, от силы выполняли ребята на 60%, но получали как за 125%, и на повышенных пáйках перестояли зиму, и работы ни на день не остановились. Однако, вывозка «поваленного» (на бумаге) леса сильно отставала, до начальника лагеря дошли недобрые слухи. В марте он послал в лес комиссию из десятников — и те обнаружили недостачу восьми тысяч кубометров леса! Разъярённый начальник вызвал Власова. Тот выслушал и сказал: «Дай им, начальник, всем по *пять суток*, они неряхи. Они поленились по лесу походить, там снег глубокий. Составь новую комиссию, я — председатель.» Со своей толковой тройкой Власов, не выходя из кабинета, составил акт и «нашёл» весь недостающий лес. На время начальник успокоился, но в мае схватился опять: леса-то вывозят мало, уже сверху спрашивают. Он призвал Власова. Власов, маленький, но всегда с петушиным задором **(ф. 28),** теперь и отпираться не стал: леса нет. «Так как же ты мог составить фальшивый акт, трам-тара-рам?!» «А что ж, лучше было бы вам самому в тюрьму садиться? Ведь восемь тысяч кубов — это для вольного *червонец,* ну для чекиста — пять.» Поматюгался начальник, но теперь уже поздно Власова наказывать: им держится. «Что же делать?» — «А вот пусть совсем дороги развезёт.» Развезло все пути, ни зимника, ни летника, и принёс Власов начальнику подписывать и отправил дальше в Управление техническую подробно-обоснованную записку. Там докладывалось, что из-за весьма успешного повала леса минувшей зимой восемь тысяч кубометров не поспели вывезти по санному пути. По болотистому же лесу вывезти их невозможно. Дальше приводился расчёт стоимости лежневой дороги, если её строить, и доказывалось, что вывозка этих восьми тысяч будет сейчас стоить дороже их самих. А через год,

28. Василий Григорьевич Власов (стр. 108)





29. Кум (стр. 237)

пролежав лето и осень в болоте, они будут уже некондиционные, заказчик примет их только на дрова. Управление согласилось с грамотными доводами, которые не стыдно показать и всякой иной комиссии,— и списало восемь тысяч кубов.

Так стволы эти были свалены, *съедены*, списаны — и снова гордо стояли, зеленея хвоей. Впрочем, недорого заплатило и государство за эти мёртвые кубометры: несколько сот лишних буханок чёрного, слипшегося, водою налитого хлеба. Сохранённая тысяча стволов да сотня жизней в прибыль не шла — этого добра на Архипелаге никогда не считали.

Наверное, не один Власов догадывался так мухлевать, потому что с 1947 года на всех лесоповалах ввели новый порядок: комплексные звенья и комплексные бригады. Теперь лесорубы объединялись с возчиками в одно звено, и бригаде засчитывался не поваленный лес, а — вывезенный на катище, к берегу сплавной реки, к месту весеннего сплава.

И что же? Теперь тухта лопнула? Нисколько! Даже расцвела! — она расширилась вынужденно, и расширился круг рабочих, которые от неё кормились. Кому из читателей не скучно, давайте вникнем.

1. От катища по реке не могут сплавлять заключённые (кто ж их будет вдоль реки конвоировать? бдительность). Поэтому на катище от лагерного сдатчика (от всех бригад) принимает лес представитель сплавной конторы, состоящей из вольных. Ну вот он-то и проявит строгость? Ничего подобного. Лагерный сдатчик тухтит, сколько надо для лесоповальных бригад, и приёмщик сплавконторы на всё согласен.

2. А вот почему. Своих-то, вольных, рабочих сплавконторе тоже надо кормить, нормы тоже непосильны. Весь этот несуществующий приписанный лес сплавконтора записывает также и себе как сплавленный.

3. При генеральной запони, где собирается сплавленный со всех повальных участков лес, располагается биржа — то есть выкатка из воды на берег. Этим опять занимаются заключённые, тот же Устьвымьлаг (52 острова Устьвымьлага разбросаны по территории 250x250 километров, вот какой у нас Архипелаг!). Сдатчик сплавконторы спокоен: лагерный приёмщик теперь принимает от него обратно всю тухту: во 2-х, чтобы не подвести своего лагеря, который этот лес сдал на катище, а во 1-х, чтобы этой же тухтой накормить и *своих* заключённых, работающих на выкатке (у них-то тоже нормы фантастические, им тоже *горбушка* нужна)! Тут уже приёмщику надо попотеть для общества: он должен не просто лес принять в объёме, но и реальный и тухтяной расписать по диаметрам брёвен и длинам. Вот кто кормилец-то (Власов и тут побывал.)

4. За биржею — лесозавод, он обрабатывает брёвна в пилопродукцию. Рабочие — опять зэки. Бригады кормятся от объёма обработанного ими круглого леса, и «лишний» тухтяной лес как нельзя кстати поднимает процент их выработки.

5. Дальше склад готовой продукции, и по государственным нормам он должен иметь 65% объёма от принятого лесозаводом круглого леса. Так и 65% от тухты невидимо поступает на склад (и мифическая пилопродукция тоже расписывается по сортам: горбыль, деловой; толщина досок, обрезные, необрезные...). Штабелюющие рабочие тоже подкармливаются этой тухтой.

Но что же дальше? Тухта упёрлась в склад. Склад охраняется Вохрой, бесконтрольных «потерь» быть не может. Кто и как теперь ответит за тухту?

Тут на помощь великому принципу тухты приходит другой великий принцип Архипелага: принцип *резины*, то есть всевозможных оттяжек. Так и числится тухта, так и переписывается из года в год. При инвентаризациях в этой дикой архипелажной глуши — все ведь свои, все понимают. Каждую досочку ради одного счёта тоже руками не перебросишь. К счастью, сколько-то тухты каждый год «гибнет» от хранения, её списывают. Ну снимут одного-другого завскладом, перебросят работать нормировщиком. Так зато сколько же народу покормилось!

Стараются вот ещё: грузя доски в вагоны для потребителей (а приёмщика нет, вагоны потом будут разбрасывать по разнарядкам) — грузить и тухту, то есть приписывать избыток (при этом кормятся и погрузочные бригады, отметим!). Железная дорога ставит пломбу, ей дела нет. Через сколько-то времени где-нибудь в Армавире или в Кривом Роге вскроют вагон и оприходуют фактическое получение. Если недогруз будет умеренный, то все эти разности объёмов соберутся в какую-то графу, и объяснять их будет уже Госплан. Если недогруз будет хамский — получатель пошлёт Устьвымьлагу рекламацию,— но рекламации эти движутся в миллионах других бумажек, где-то подшиваются, а со временем гаснут,— они не могут противостоять людскому напору жить. (А послать вагон леса назад никакой Армавир не решится: хватай, что дают,— на юге леса нет.)

Отметим, что и государство, МинЛес, серьёзно использует в своих народно-хозяйственных сводках эти тухтяные цифры поваленного и обработанного леса. Министерству они тоже приходятся кстати.*

Но, пожалуй, самое удивительное здесь вот что: казалось бы, из-за тухты на каждом этапе передвижки леса его должно не хватать. Однако, приёмщик биржи за летний сезон успевает столько приписать тухты на выкатке, что к осени у сплавконторы образуются в запонях реальные *избытки* леса! — до них руки не дошли, норму набрали и без них. На зиму же их так оставить нельзя, чтоб не пришлось весной звать самолёт на бомбёжку. И поэтому этот «лишний», уже никому не нужный лес поздней осенью *спускают в Белое море*!

Чудо? диво? Но это не в одном месте так. Вот и в Унжлаге на лесоскладах всегда оставался «лишний» лес, так и не попавший в вагоны, и уже не числился он нигде!.. И после полного закрытия очередного склада на него ещё много лет потом ездили с соседних ОЛПов за бесхозными сухими дровами и жгли в печах окорённую рудстойку, на которую столько страданий положено было при заготовке.

Чтоб этих избытков у вольных сплавщиков не образовывалось,— с лагпункта Талага Архангельской области посылали команды расконвоированных уголовников,— и они отбивали тайком у них плоты, перехватывали: то есть воровали в пользу лагеря добытый лагерем же лес, но пока он находится у вольных. И ежегодно планировалось изготовление мебели из... ворованной древесины.

И всё это — затея как прожить, а вовсе не нажиться, а вовсе не — ограбить государство.

Нельзя государству быть таким слишком лютым — и толкать подданных на обман.

Так и принято говорить у заключённых: *без тухты и аммонала не построили б Канала.*

Вот на всём том и стоит Архипелаг.

---

* Так и тухта, как многие из проблем Архипелага, не помещается в нём, а имеет значение общегосударственное.

Глава 6

ФАШИСТОВ ПРИВЕЗЛИ!

— Фашистов привезли! Фашистов привезли! — возбуждённо кричали, бегая по лагерю, молодые зэки — парни и девки, когда два наших грузовика, каждый груженный тридцатью *фашистами*, въехали в черту небольшого квадрата лагеря Новый Иерусалим.

Мы только что пережили один из высоких часов своей жизни — один час переезда сюда с Красной Пресни — то, что называется ближний этап. Хотя везли нас со скорченными ногами в кузовах, но нашими были — весь воздух, вся скорость, все краски. О, забытая яркость мира! — трамваи — красные, троллейбусы — голубые, толпа — в белом и пёстром,— да видят ли они сами, давясь при посадке, эти краски? А ещё почему-то сегодня все дома и столбы украшены флагами и флажками, какой-то неожиданный праздник — 14 августа, совпавший с праздником нашего освобождения из тюрьмы. (В этот день объявлено о капитуляции Японии, конце семидневной войны.) На Волоколамском шоссе вихри запахов скошенного сена и предвечерняя свежесть лугов обвевали наши стриженые головы. Этот луговой ветер — кто может вбирать жаднее арестантов? Неподдельная зелень слепила глаза, привыкшие к серому, к серому. Мы с Гаммеровым и Ингалом вместе попали на этап, сидели рядом, и нам казалось — мы едем на весёлую дачу. Концом такого обворожительного пути не могло быть ничто мрачное.

И вот мы спрыгиваем из кузовов, разминаем затекшие ноги и спины и оглядываемся. Зона Нового Иерусалима нравится нам, она даже премиленькая: она окружена не сплошным забором, а только переплетённой колючей проволокой, и во все стороны видна холмистая, живая, деревенская и дачная, звенигородская земля. И мы — как будто часть этого весёлого окружения, мы видим эту землю так же, как те, кто приезжает сюда отдыхать и наслаждаться, даже видим её объёмней (наши глаза привыкли к плоским стенам, плоским нарам, неглубоким камерам), даже видим сочней: поблекшая к августу зелень нас слепит, а может быть так сочно потому, что солнце при закате.

— Так вы — фашисты? Вы все — фашисты? — с надеждой спрашивают нас подходящие зэки. И утвердившись, что — да, фашисты,— тотчас убегают, уходят. Больше ничем мы не интересны им.

(Мы уже знаем, что «фашисты» — это кличка для Пятьдесят Восьмой, введенная зоркими блатными и очень одобренная начальством: когда-то хорошо звали «каэрами», потом это завяло, а нужно меткое клеймо.)

После быстрой езды в свежем воздухе нам здесь как будто теплее и оттого ещё уютнее. Мы ещё оглядываемся на маленькую зону с её двухэтажным каменным мужским корпусом, деревянным с мезонином — женским, и совсем деревенскими сараюшками-развалюшками подсобных служб; потом на длинные чёрные тени от деревьев и зданий, которые уже ложатся везде по полям; на высокую трубу кирпичного завода, на уже зажигающиеся окна двух его корпусов.

— А что? Здесь неплохо... как будто... — говорим мы между собой, стараясь убедить друг друга и себя.

Один паренёк с тем остро-настороженным недоброжелательным выражением, которое мы уже начинаем замечать не у него одного, задержался подле нас дольше, с интересом рассматривая фашистов. Чёрная затасканная кепка была косо надвинута ему на лоб, руки он держал в карманах и так стоял, слушая нашу болтовню.

— Н-не плохо! — встряхнуло ему грудь. Кривя губы, он ещё раз презрительно осмотрел нас и отпечатал:— Со-са-ловка!.. За-гнётесь!

И, сплюнув нам под ноги, ушёл. Невыносимо ему было ещё дальше слушать таких дураков.

Наши сердца упали.

Первая ночь в лагере! Вы уже несётесь, несётесь по скользкому, гладкому вниз, вниз,— и где-то есть ещё спасительный выступ, за который надо уцепиться, но вы не знаете, где он. В вас ожило всё, что было худшего в вашем воспитании: всё недоверчивое, мрачное, цепкое, жестокое, привитое голодными очередями, открытой несправедливостью сильных. Это худшее ещё взбудоражено, ещё перемучено в вас опережающими слухами о лагерях: только не попадите на «общие»! волчий лагерный мир! здесь загрызают живьём! здесь затаптывают споткнувшегося! только не попадите на общие! Но как не попасть? Куда бросаться? Что-то надо *дать*! Кому-то надо дать! Но что именно? Но кому? Но как это делается?

Часу не прошло — один из наших этапников уже приходит сдержанно сияющий: он назначен инженером-строителем по зоне. И ещё один: ему разрешено открыть парикмахерскую для вольных на заводе. И ещё один: встретил знакомого, будет работать в плановом отделе. Твоё сердце щемит: это всё — за твой счёт! Они выживут в канцеляриях и парикмахерских. А ты — погибнешь. Погибнешь.

Зона. Двести шагов от проволоки до проволоки, и то нельзя подходить к ней близко. Да, вокруг будут зеленеть и сиять звенигородские перехолмки, а здесь — голодная столовая, каменный погреб ШИзо, худой навесик над плитой «индивидуальной варки», сарайчик бани, серая будка запущенной уборной с прогнившими досками,— и никуда не денешься, всё. Может быть в твоей жизни этот островок — последний кусок земли, который тебе ещё суждено топтать ногами.

В комнатах наставлены голые *вагонки.* Вагонка — это изобретенье Архипелага, приспособление для спанья туземцев и нигде в мире не встречается больше: это четыре деревянных щита в два этажа на двух крестовидных опорах — в голове и ногах. Когда один спящий шевелится — трое остальных качаются.

Матрасов в этом лагере не выдают, мешков для набивки — тоже. Слово «бельё» неведомо туземцам новоиерусалимского острова: здесь не бывает постельного, не выдают и не стирают нательного, разве что на себе привезёшь и озаботишься. И слова «подушка» не знает завхоз этого лагеря, подушки бывают только свои и только у баб и у блатных. Вечером, ложась на голый щит, можешь разуться, но учти — ботинки твои сопрут. Лучше спи в обуви. И одежёнки не раскидывай: сопрут и её. Уходя утром на работу, ты ничего не должен оставить в бараке: чем побрезгуют воры, то отберут надзиратели: *не положено*! Утром вы

уходите на работу, как снимаются кочевники со стоянки, даже чище: вы не оставляете ни золы костров, ни обглоданных костей животных, комната пуста, хоть шаром покати, хоть заселяй её днём другими. И ничем не отличен твой спальный щит от щитов твоих соседей. Они голы, засалены, отлощены боками.

Но и на работу ты ничего не унесёшь с собой. Свой скарб утром собери, стань в очередь в каптёрку личных вещей и спрячь в чемодан, в мешок. Вернёшься с работы — стань в очередь в каптёрку и возьми, чтó по предвидению твоему тебе понадобится на ночлеге. Не ошибись, второй раз до каптёрки не добьёшься.

И так — десять лет. Держи голову бодро!

Утренняя смена возвращается в лагерь в третьем часу дня. Она моется, обедает, стоит в очереди в каптёрку — и тут звонят на проверку. Всех, кто в лагере, выстраивают шеренгами, и неграмотный надзиратель с фанерной дощечкой ходит, мусоля во рту карандаш, умственно морща лоб и всё шепчет, шепчет. Несколько раз он пересчитывает строй, несколько раз обойдёт всё помещение, оставляя строй стоять. То он ошибётся в арифметике, то собьётся, сколько больных, сколько сидит в ШИзо «без вывода». Тянется эта бессмысленная трата времени хорошо — час, а то и полтора. И особенно беспомощно и униженно чувствуют себя те, кто дорожит временем,— это не очень развитая в нашем народе и совсем не развитая среди зэков потребность, кто хочет даже в лагере что-то успеть сделать. «В строю» читать нельзя. Мои мальчики, Гаммеров и Ингал, стоят с закрытыми глазами, они сочиняют или стихи, или прозу, или письма — но и так не дадут стоять в шеренге, потому что ты как бы спишь и тем оскорбляешь проверку, а ещё уши твои не закрыты, и матерщина и глупые шутки, и унылые разговоры — всё лезет туда. (Идёт 1945 год. Уже расщеплен атом, скоро сформулируется кибернетика — а тут бледнолобые интеллектуалы стоят и ждут — «нэ вертухайсь!» — пока тупой краснорожий идол лениво сшепчет свой баланс.) Проверка кончена, теперь в половине шестого можно было бы лечь спать (ибо коротка была прошлая ночь, но ещё короче может оказаться будущая) — однако через час ужин, кромсается время.

Администрация лагеря так ленива и так бездарна, что не хватает у неё желания и находчивости разделить рабочих трёх разных смен по разным комнатам. В восьмом часу, после ужина, можно было бы первой смене успокоиться, но не берёт угомон сытых и неусталых, и блатные на своих перинах только тут и начинают играть в карты, горланить и откалывать театрализованные номера. Вот один вор азербайджанского вида, преувеличенно крадучись, в обход комнаты прыгает с вагонки на вагонку по верхним щитам и по работягам и рычит: «Так Наполеон шёл в Москву за табаком!» Разжившись табаку, он возвращается той же дорогой, наступая и переступая: «Так Наполеон убегал в Париж!» Каждая выходка блатных настолько поразительна и непривычна, что мы только наблюдаем за ними, разинув рты. С девяти вечера качает вагонки, топает, собирается, относит вещи в каптёрку ночная смена. Их выводят к десяти, поспать бы теперь! — но в одиннадцатом часу возвращается дневная смена. Теперь тяжело топает она, качает вагонки, моется, идёт за вещами в каптёрку, ужинает. Может быть только с половины двенадцатого изнеможенный лагерь спит.

Но четверть пятого звон певучего металла разносится над нашим маленьким лагерем и над сонной колхозной округой, где старики хорошо ещё помнят перезвоны истринских колоколов. Может быть и наш лагерный сереброголосый колокол — из монастыря и ещё там привык по первым петухам поднимать иноков на молитву и труд.

«Подъём, первая смена!» — кричит надзиратель в каждой комнате. Голова, хмельная от недосыпу, ещё не размеженные глаза — какое тебе умывание! а одеваться не надо, ты так и спал. Значит, сразу в столовую. Ты входишь туда, ещё шатаясь от сна. Каждый толкается и уверенно знает, чего он хочет, одни спешат за пайкой, другие за баландой. Только ты бродишь как лунатик, при тусклых лампах и в пару баланды не видя, где получить тебе то и другое. Наконец получил — пятьсот пятьдесят пиршественных граммов хлеба и глиняную миску с чем-то горячим чёрным. Это — чёрные щи, щи из крапивы. Чёрные тряпки вываренных листьев лежат в черноватой пустой воде. Ни рыбы, ни мяса, ни жира. Ни даже соли: крапива, вывариваясь, поедает всю брошенную соль, так её потому и совсем не кладут: если табак — лагерное золото, то соль — лагерное серебро, повара приберегают её. Выворачивающее зелье — крапивная непосоленная баланда! — ты и голоден, а всё никак не вольёшь её в себя.

Подними глаза. Не к небу, под потолок. Уже глаза привыкли к тусклым лампам и разбирают теперь вдоль стены длинный лозунг излюбленно-красными буквами на обойной бумаге:

«Кто не работает — тот не ест!»

И дрожь ударяет в грудь. О, мудрецы из Культурно-Воспитательной Части! Как вы были довольны, изыскав этот великий евангельский и коммунистический лозунг — для лагерной столовой. Но в Евангелии от Матфея сказано: «Трудящийся достоин пропитания». Но во Второзаконии сказано: «Не заграждай рта у вола молотящего».

А у вас — восклицательный знак! Спасибо вам от молотящего вола! Теперь я буду знать, что мою потончавшую шею вы сжимаете вовсе не от нехватки, что вы душите меня не просто из жадности — а из светлого принципа грядущего общества! Только не вижу я в лагере, чтоб ели работающие. И не вижу я в лагере, чтоб неработающие — голодали.

Светает. Бледнеет предутреннее августовское небо. Только самые яркие звёзды ещё видны на нём. На юго-востоке, над заводом, куда нас поведут сейчас,— Процион и Сириус — альфы Малого и Большого Пса. Всё покинуло нас, даже небо заодно с тюремщиками: псы на небе, как и на земле, на сворках у конвоиров. Собаки лают в бешенстве, подпрыгивают, хотят досягнуть до нас. Славно они натренированы на человеческое мясо.

Первый день в лагере! И врагу не желаю я этого дня! Мозги пластами смещаются от невместимости всего жестокого. Как будет? как будет со мной? — точит и точит голову, а работу дают новичкам самую бессмысленную, чтоб только занять их, пока разберутся. Бесконечный день. Носишь носилки или откатываешь тачки, и с каждой тачкой только на пять, на десять минут убавляется день, и голова для того одного и свободна, чтоб размышлять: как будет? как будет?

Мы видим бессмысленность перекатки этого мусора, стараемся бол-

тать между тачками. Кажется, мы изнемогли уже от этих первых тачек, мы уже силы отдали им — а как же катать их восемь лет? Мы стараемся говорить о чём-нибудь, в чём почувствовать свою силу и личность. Ингал рассказывает о похоронах Тынянова, чьим учеником он себя считает,— и мы заспариваем об исторических романах: смеет ли вообще кто-нибудь их писать. Ведь исторический роман — это роман о том, чего автор никогда не видел. Нагруженный отдалённостью и зрелостью своего века, автор может сколько угодно убеждать себя, что он хорошо осознал, но ведь вжиться ему всё равно не дано, и значит, исторический роман есть прежде всего фантастический?

Тут начинают вызывать новый этап по несколько человек в контору для назначения, и все мы бросаем тачки. Ингал сумел со вчерашнего дня с кем-то познакомиться — и вот он, литератор, послан в заводскую бухгалтерию, хотя до смешного путается в цифрах, а на счётах отроду не считал. Гаммеров даже для спасения жизни не способен идти просить и зацепляться. Его назначают чернорабочим. Он приходит, ложится на траву и этот последний часок, пока ему ещё не надо быть чернорабочим, рассказывает мне о затравленном поэте Павле Васильеве, о котором я слыхом не слышал. Когда эти мальчики успели столько прочесть и узнать?

Я кусаю стебелёк и колеблюсь — на что мне *косить*: — на математику или на офицерство? Так гордо устраниться, как Борис, я не могу. Когда-то внушали мне и другие идеалы, но с тридцатых годов жёсткая жизнь обтирала нас только в этом направлении: добиваться и пробиваться.

Само получилось так, что, переступая порог кабинета директора завода, я сбросил под широким офицерским поясом морщь гимнастёрки от живота по бокам (я и нарядился-то в этот день нарочно, ничто мне, что тачку катать). Стоячий ворот был строго застёгнут.

— Офицер? — сразу сметил директор.

— Так точно!

— Опыт *работы с людьми*? *

— Имею.

— Чем командовали?

— Артиллерийским дивизионом.— (Соврал на ходу, батареи мне показалось мало.)

Он смотрел на меня и с доверием и с сомнением.

— А здесь — справитесь? Здесь трудно.

— Думаю, что справлюсь! — (Ведь я ещё и сам не понимаю, в какой лезу хомут. Главное ж — добиваться и пробиваться!)

Он прищурился и подумал. (Он соображал, насколько я готов переработаться во пса и крепка ли моя челюсть.)

— Хорошо. Будете сменным мастером глиняного карьера.

И ещё одного бывшего офицера, Николая Акимова, назначили мастером карьера. Мы вышли с ним из конторы сроднённые, радостные. Мы не могли бы тогда понять, даже скажи нам, что избрали стандартное для армейцев холопское начало срока. По неинтеллигентному непритязательному лицу Акимова видно было, что он открытый парень и хороший солдат.

---

* Опять «с людьми», замечаете?

— Чего это директор пугает? С двадцатью человеками да не справиться? Не минировано, не бомбят — чего ж тут не справиться?

Мы хотели возродить в себе фронтовую былую уверенность. Щенки, мы не понимали, насколько Архипелаг не похож на фронт, насколько его осадная война тяжелее нашей взрывной.

В армии командовать может дурак и ничтожество и даже с тем большим успехом, чем выше занимаемый им пост. Если командиру взвода нужна и сообразительность, и неутомимость, и отвага, и чтенье солдатского сердца,— то иному маршалу достаточно брюзжать, браниться и уметь подписать свою фамилию. Всё остальное сделают за него, и план операции ему поднесёт оперативный отдел штаба, какой-нибудь головастый офицер с неизвестной фамилией. Солдаты выполняют приказы не потому, что убеждаются в их правильности (часто совсем наоборот), а потому, что приказы передаются сверху вниз по иерархии, это есть приказы машины, и кто не выполнит, тому оттяпают голову.

Но на Архипелаге для зэка, назначенного командовать другими зэками, совсем не так. Вся золотопогонная иерархия отнюдь не высится за твоей спиной и отнюдь не поддерживает твоего приказа: она предаст тебя и вышвырнет, как только ты не сумеешь осуществить этих приказов своей силой, собственным уменьем. А уменье здесь такое: или твой кулак, или безжалостное вымаривание голодом, или такое глубинное знание Архипелага, что приказ и для каждого заключённого выглядит как его единственное спасение.

Зеленоватая полярная влага должна сменить в тебе тёплую кровь — лишь тогда ты сможешь командовать зэками.

Как раз в эти дни из ШИзо на карьер, как на самую тяжёлую работу, стали выводить штрафную бригаду — группу блатных, перед тем едва не зарезавших начальника лагпункта (они не резать его хотели, не такие дураки, а напугать, чтоб он их отправил назад на Пресню: Новый Иерусалим признали они местом гиблым, где не подкормишься). Ко мне в смену их привели под конец её. Они легли на карьере в затишке, обнажили свои толстые короткие руки, ноги, жирные татуированные животы, груди, и блаженно загорали после сырого подвала ШИзо. Я подошёл к ним в своём военном одеянии и чётко корректно предложил им приступить к работе. Солнце настроило их благодушно, поэтому они только рассмеялись и послали меня к известной матери. Я возмутился и растерялся и отошёл ни с чем. В армии я бы начал с команды «встать!» — но здесь ясно было, что если кто и встанет — то только сунуть мне нож между рёбрами. Пока я ломал голову, что мне делать (ведь остальной карьер смотрел и тоже мог бросить работу),— окончилась моя смена. Только благодаря этому обстоятельству я и могу сегодня писать исследование Архипелага.

Меня сменил Акимов. Блатные продолжали загорать. Он сказал им раз, второй раз крикнул командно (может быть даже: «встать!»), третий раз пригрозил начальником — они погнались за ним, в распадах карьера свалили и ломом отбили почки. Его увезли прямо с завода в областную тюремную больницу, на этом кончилась его командная служба, а может быть и тюремный срок и сама жизнь. (Директор, наверно, и назначил нас как чучела для битья против этих блатных.)

Моя же короткая карьера на карьере продлилась несколькими днями

дольше акимовской, только принесла она мне не удовлетворение, как я ждал, а постоянное душевное угнетение. В шесть утра я входил в рабочую зону подавленный больше, чем если бы шёл копать глину сам, я совершенно потерянный плёлся к карьеру, ненавидя и его и роль свою в нём.

От завода мокрого прессования к карьеру шёл вагонеточный путь. Там, где кончалась ровная площадка и рельсовый путь спускался в разработку,— стояла лебёдка на помосте. Эта моторная лебёдка была — из немногих чудес механизации на всём заводе. Весь путь по карьеру до лебёдки и потом от лебёдки до завода толкать вагонетки с глиной должны были работяги. Только на подъёме из карьера их втаскивала лебёдка. Карьер занимал дальний угол заводской зоны, он был взрытая развалами поверхность, развалы ветвились как овраги, между ними оставались нетронутые горки. Глина залегала сразу с поверхности, и пласт был не тощ. Можно было, вероятно, брать и вглубь, брать и сплошняком вширь, но никто не знал, как надо, и никто не составлял плана разработки, а всем руководил бригадир утренней смены Баринов — молодой нагловатый москвич, бытовик, со смазливым обличьем. Баринов разрабатывал карьер просто где удобнее, вкапывался там, где, меньше поработав, можно больше было нагрузить глины. Слишком вглубь он не шёл, чтоб не слишком круто выкатывать вагонетки. Баринов собственно и командовал теми восемнадцатью-двадцатью человеками, которые только и работали в мою смену на карьере. Он и был единственный настоящий хозяин смены: знал ребят, *кормил* их, то есть добивался им больших паек, и каждый день сам мудро решал, сколько выкатить вагонеток, чтоб не слишком было мало и не слишком много. И Баринов нравился мне, и окажись мы с ним где-нибудь в тюрьме рядом на нарах — мы бы с ним весело ладили. Да мы и сейчас бы ладили — но мне нужно было прийти и посмеяться вместе с ним, что вот назначил меня директор на должность промежуточной гавкалки, а я — ничего не понимаю. Но офицерское воспитание не дозволяло мне так. И я пытался держаться с ним строго и добиваться повиновения, хотя не только я и не только он, но и вся бригада видела, что я — такой же пришлёпка, как инструктор из райкома при посевной. Баринова же сердило, что над ним поставили попку, и он не раз остроумно разыгрывал меня перед бригадой. Обо всём, что я считал нужным делать, он тотчас же доказывал мне, что нельзя. Напротив, громко крича «мастер! мастер!» — то и дело звал меня в разные концы карьера и просил указаний: как снимать старый и прокладывать новый рельсовый путь; как закрепить на оси соскочившее колесо; или будто бы лебёдка отказала, не тянет, и что делать теперь; или куда нести точить затупившиеся лопаты. Перед его насмешками день ото дня слабея в своём командном порыве, я уже доволен бывал, если он с утра велел ребятам копать (это бывало не всегда) и не тревожил меня досадными вопросами.

Тогда я тихо отходил и прятался от своих подчинённых и от своих начальников за высокие кучи отваленного грунта, садился на землю и замирал. В оцепенении был мой дух от нескольких первых лагерных дней. О, это не тюрьма! Тюрьмы — крылья. Тюрьмы — коробы мыслей. Голодать и спорить в тюрьме — весело и легко. А вот попробуй здесь — десять лет голодать, работать и молчать,— вот это попробуй!

Железная гусеница уже втягивала меня на пережёв. Беспомощный, я не знал — как, а хотелось откатиться в сторонку. Отдышаться. Очнуться. Поднять голову и увидеть:

вон, за колючей проволокой, через ложок — высотка. На ней маленькая деревня — домов десять. Всходящее солнце озаряет её мирными лучами. Так рядом с нами — и совсем же не лагерь! (Впрочем, тоже лагерь, но об этом забываешь.) Движения там подолгу не бывает, потом пройдёт баба с ведром, пробежит маленький ребятёнок через лебеду на улице. Запоёт петух, промычит корова — всё отчётливо слышно нам на карьере. Тявкнет дворняжка — что за милый голос! — это не конвойный пёс! *

И от каждого тамошнего звука и от самой неподвижности деревни струится мне в душу заветный покой. И я твёрдо знаю — сказали бы мне сейчас: вот тебе свобода! Но до самой смерти живи в этой деревне! Откажись от городов и от мира всего, от твоих залётных желаний, от твоих убеждений, от истины — ото всего откажись и живи в этой деревне (но не колхозником!), каждое утро смотри на солнышко и слушай петухов. Согласен? — О, не только согласен, но, Господи, пошли мне такую жизнь! Я чувствую, что лагеря мне не выдержать.

С другой стороны завода, не видимой мне сейчас, гремит по ржевской дороге пассажирский поезд. В карьере кричат: «Придурочный!» Каждый поезд здесь известен, по ним отсчитывают время. «Придурочный» — это без четверти девять, а в девять отдельно, вне смен, доведут на завод из лагеря *придурков* — конторских и начальников. Самый любимый из поездов — в половине второго, «Кормилец», после него мы вскоре идём на съём и на обед.

Вместе с придурками, а иногда, если сердце заныает о работе, то и раньше, спецконвоем, выводят на работу и мою начальницу-зэчку Ольгу Петровну Матронину. Я вздыхаю, выхожу из укрытия и иду вдоль рельсового пути на завод мокрого прессования — докладываться.

Весь кирпичный завод это — два завода, мокрого и сухого прессования. Наш карьер обслуживает только мокрое прессование, и начальница мокрого прессования — Матронина, инженер-силикатчик. Какой она инженер — не знаю, но суетлива и упряма. Она — из тех непоколебимо-благонамеренных, которых я уже немного встречал в камерах (их и вообще — немного), но на чьей горней высоте не удержался. По литерной статье ЧС, как член семьи расстрелянного, она получила 8 лет через ОСО и вот теперь досиживает последние месяцы. Правда, всю войну политических не выпускали, и её тоже задержат до пресловутого Особого распоряжения. Но и это не наводит никакой тени на её состояние: она служит партии, неважно — на воле или в лагере. Она — из большевистского заповедника. Она повязывается в лагере красной и только красной косынкой, хотя ей уже за сорок (таких косынок не носит на заводе ни одна лагерная девчёнка и ни одна вольная комсомолка). Никакой обиды за расстрел мужа и за собственные отсиженные восемь лет она не испытывает. Все эти несправедливости учинили, по её мнению, отдель-

* Когда обсуждаются конвенции о всеобщем разоружении, меня всегда волнует: ведь в перечнях запрещаемого оружия никто не указывает охранных овчарок. А людям от них больше нежитья, чем от ракет.

ные ягодинцы или ежовцы, а при товарище Берни сажают только правильно. Увидев меня в одежде советского офицера, она при первом же знакомстве сказала: «Те, кто меня посадил, теперь могут убедиться в моей ортодоксальности!» Недавно она написала письмо Калинину и цитирует всем, кто хочет или вынужден её слушать: «Долгий срок заключения не сломил моей воли в борьбе за советскую власть, за советскую промышленность.»

Впрочем, когда Акимов пришёл и доложил ей, что блатные его не слушают, она не пошла сама объяснять этим социально-близким вредность их поведения для промышленности, но одёрнула его: «Так надо заставить! Для того вы и назначены!» Акимова прибили — она не стала дальше бороться, а написала в лагерь: «Этот контингент больше к нам не выводить.» — Спокойно смотрит она и на то, как у неё на заводе девчёнки восемь часов работают автоматами: все восемь часов без перерыва однообразные движения у конвейера. Она говорит: «Ничего не поделаешь, для механизации есть более важные участки.» Вчера, в субботу, разнёсся слух, что сегодня опять не дадут нам воскресенья (так и не дали). Девчёнки-автоматы окружили её стайкой и с горечью: «Ольга Петровна! Неужели опять воскресенья не дадут? Ведь третье подряд! Ведь война кончилась!» В красной косынке она негодующе вскинула сухой тёмный профиль не женщины и не мужчины: «Девочки, ка́-ко́е нам может быть воскресенье?! В Москве стройка стоит без кирпичей!!» (То есть, она не знала конечно той именно стройки, куда повезут наши кирпичи,— но умственным взором она видела ту обобщённую великую стройку, а девчёнкам хотелось низменно постираться.)

Я нужен был Матрониной для того, чтобы *удвоить* число вагонеток за смену. Она не проводила расчёта сил работяг, годности вагонеток, поглотительной способности завода, а только требовала — удвоить! (И как, кроме кулака, мог бы удвоить вагонетки сторонний не разбирающийся человек?) Я не удвоил, и вообще ни на одну вагонетку выработка при мне не изменилась — и Матронина, не щадя, ругала меня при Баринове и при рабочих, в бабьей голове своей не умещая того, что знает последний сержант: что даже ефрейтора нельзя ругать при рядовом. И вот однажды, признав своё полное поражение на карьере и, значит, неспособность *руководить*, я прихожу к Матрониной и сколь могу мягко прошу:

— Ольга Петровна! Я — хороший математик, быстро считаю. Я слышал, вам на заводе нужен счетовод. Возьмите меня!

— Счетовод?! — возмущается она, ещё темнеет её жёсткое лицо, и кончики красной косынки перемётываются на её затылок.— Счетоводом я любую девчёнку посажу, а нам нужны командиры производства! Сколько вагонеток за смену не додали! Отправляйтесь! — И как новая Афина Паллада она шлёт меня вытянутой дланью на карьер.

А ещё через день упраздняется самая должность мастера карьера, я разжалован, но не просто, а мстительно. Матронина зовёт Баринова и велит:

— Поставь его с ломом и глаз не спускай! Чтобы шесть вагонеток за смену нагрузил! Чтобы *вкалывал*!

И тут же, в своём офицерском одеянии, которым я так горжусь, я иду копать глину. Баринову весело, он предвидел моё падение.

Если бы я лучше понимал скрытую настороженную связь всех лагерных событий, я мог бы о своей участи догадаться ещё вчера. В иерусалимской столовой было отдельное раздаточное окошко — для ИТР («инженерно-технических работников»), откуда кормились инженеры, бухгалтеры... и сапожники. После своего назначения мастером карьера, я, усваивая лагерную хватку, подходил к этому окну и требовал себе питание оттуда. Поварихи мялись, говорили, что меня ещё нет в списке ИТР, но всякий раз кормили, потом даже молча, так что я сам поверил, что я — в списке. Как я после обдумал,— я был для кухни фигурой ещё неясной: едва приехав, сразу вознёсся, держался гордо, ходил в военном. Такой человек, свободное дело, станет ещё через неделю старшим нарядчиком, или старшим бухгалтером зоны, или врачом (в лагере всё возможно!),— и тогда они будут в моих руках. И хотя на самом деле завод ещё только испытывал меня и ни в какой список не включал — кухня кормила меня на всякий случай. Но за сутки до моего падения, когда ещё и завод не знал, лагерная кухня уже всё знала, и хлопнула мне дверцей в морду: я оказался *дешёвый фраер*. В этом маленьком эпизоде — воздух лагерного мира.

Это столь частое человеческое желание выделиться одеждой на самом деле раскрывает нас, особенно под зоркими лагерными взглядами. Нам кажется, что мы одеваемся, а на самом деле мы обнажаемся, мы показываем, чего мы стоим. Я не понимал, что моя военная форма стоит матронинской красной косынки. И недреманный глаз из укрытия всё это высмотрел. И прислал за мной как-то дневального. Лейтенант вызывает, вот сюда, в отдельную комнату.

Молодой лейтенант разговаривал очень приятно. В уютной чистой комнате были только он и я. Светило предзакатное солнышко, ветер отдувал занавеску. Он усадил меня. Он почему-то предложил мне написать автобиографию — и не мог сделать предложения приятнее. После протоколов следствия, где я себя оплёвывал как антисоветского клеветника, после унижения воронков и пересылок, после конвоя и тюремного надзора, после блатных и придурков, отказавшихся видеть во мне бывшего капитана нашей славной Красной Армии, вот я сидел за столом и никем не понукаемый, под доброжелательным взглядом симпатичного лейтенанта писал в меру густыми чернилами по отличной гладкой бумаге, которой в лагере нет, что я был капитан, что я командовал батареей, что у меня были какие-то ордена. И от одного того, что я писал, ко мне возвращалась, кажется, моя личность, моё «я». (Да, мой гносеологический субъект «я»! А ведь я всё-таки был из университетов, из гражданских, в армии человек случайный. Представим же, как неискоренимо это в кадровике — требовать к себе уважения.) И лейтенант, прочтя автобиографию, совершенно был доволен: «Так вы — советский человек, правда?» Ну, правда же, ну конечно же, отчего же нет? Как приятно воспрять из грязи и праха — и снова стать советским человеком — половина свободы.

Лейтенант попросил зайти к нему через пять дней. За эти пять дней, однако, мне пришлось расстаться с моей военной формой, потому что дурно в ней копать глину. Гимнастёрку и галифе я спрятал в свой чемодан, а в лагерной каптёрке получил латаное линялое тряпьё, выстиранное будто после года лёжки в мусорном ящике. Это — важный шаг,

хотя я ещё не сознаю его значения: душа у меня ещё не зэковская, но вот шкура становится зэковской. Бритый наголо, терзаемый голодом и теснимый врагами, скоро я приобрету и зэковский взгляд: неискренний, недоверчивый, всё замечающий.

В таком-то виде и иду я через пять дней к оперуполномоченному, всё ещё не понимая, к чему он прицелился. Но уполномоченного не оказывается на месте. Он вообще перестаёт приезжать. (Он уже знает, а мы не знаем: ещё через неделю нас всех расформируют, а в Новый Иерусалим вместо нас привезут немцев.) Так я избегаю увидеть лейтенанта.

Мы обсуждали с Гаммеровым и с Ингалом — зачем это я писал автобиографию, и не догадались, дети, что это уже первый коготь хищника, запущенный в наше гнездо. А между тем такая ясная картинка: в новом этапе приехало трое молодых людей, и всё время они о чём-то между собой рассуждают, спорят, а один из них — чёрный, круглый, хмурый, с маленькими усиками, тот, что устроился в бухгалтерии, ночами не спит и на нарах у себя что-то пишет, пишет и прячет. Конечно, можно наслать и вырвать, что он там прячет, но чтоб не спугивать — проще узнать обо всём у того из них, кто ходит в галифе. Он, очевидно, армейский и советский человек, и поможет духовному надзору.

Жора Ингал, не устающий днём на работе, действительно положил первые полно́чи не спать — и так отстоять непленённость творческого духа. У себя на верхнем щите вагонки, свободном от матраса, подушки и одеял, он сидит в телогрейке (в комнатах не тепло, ночи осенние), в ботинках, ноги вытянув по щиту, спиной прислонясь к стене и, посасывая карандаш, сурово смотрит на свой лист. (Не придумать худшего поведения для лагеря! — но ни он, ни мы ещё не понимаем, как это видно и как за этим следят.) *

Ночами он пишет, а на день прячет — новеллу о Кампесино, испанском республиканце, с которым он сидел в камере и чьей крестьянской основательностью восхищён. А судьба Кампесино простая: проиграв войну Франко, приехал в Советский Союз, здесь со временем посажен в тюрьму. **

Ингал не тёпел, первым толчком сердце ещё не раскрывается ему навстречу (написал и подумал: а разве был тёпел я?). Но твёрдость его — образец достойный. Писать в лагере! — до этого и я когда-нибудь возвышусь, если не погибну. А пока я измучен своим суетным рыском, придавлен первыми днями глинокопа. Погожим сентябрьским вечером мы с Борисом находим время лишь посидеть немного на куче шлака у предзонника.

Со стороны Москвы за шестьдесят километров небо цветно полыха-

* По рассказу Аркадия Белинкова, Ингал потом в другом лагере так же всё писал, отгородясь у себя на нарах,— зэки просили его, потом стали требовать, чтобы он показал, ч т о он пишет (может — доносы?). Но увидев в этом лишь новое насилие над творчеством, только с другой стороны,— он отказался! И его — избили. (По другому рассказу — убили.)

** Эль Кампесино — значит: крестьянин, это прозвище. Звали его Валентин Гонсалес. Своей новеллы Ингал по-настоящему никогда не кончит, потому что не узнает конца Кампесино. Тот переживёт своего описателя. Я слышал, что он вывел группу зэков из лагеря в Туркмении и перевёл горами в Иран. И даже, кажется, он тоже издал книгу о советских лагерях.

ет в салютах — это «праздник победы над Японией». Но унылым тусклым светом горят фонари нашей лагерной зоны. Красноватый враждебный свет из окон завода. И вереницей таинственной, как годы и месяцы нашего срока, уходят вдаль фонари на столбах обширной заводской зоны.

Обняв колени, худенький кашляющий Гаммеров повторяет:

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду...
И не желаю.

* * *

«Фашистов привезли! Фашистов привезли!» — так кричали не только в Новом Иерусалиме. Поздним летом и осенью 1945 года так было на всех островах Архипелага. Наш приезд — «фашистов», открывал дорогу на волю бытовикам. Амнистию свою они узнали ещё 7 июля, с тех пор сфотографировали их, приготовили им справки об освобождении, расчёт в бухгалтерии,— но сперва месяц, а где второй, где и третий амнистированные зэки томились в опостылевшей черте колючки — их некем было заменить.

Их *некем было заменить*! — а мы-то, слепорождённые, ещё смели всю весну и всё лето в своих законопаченных камерах надеяться на амнистию! Что Сталин нас *пожалеет!*.. Что он «учтёт Победу»!.. Что, пропустив нас в первой июльской амнистии, он даст потом вторую особую для политических... (Рассказывали даже подробность: эта амнистия уже готова, *лежит на столе у Сталина,* осталось только подписать, но он — в отпуску. Неисправимый народ ждал подлинной амнистии, неисправимый народ верил!..) Но если нас помиловать — кто спустится в шахты? кто выйдет с пилами в лес? кто отожжёт кирпичи и положит их на стены? Коммунисты сумели создать такую систему, что прояви она великодушие — и мор, глад, запустение, разорение тотчас объяли бы всю страну.

«Фашистов привезли!» Всегда ненавидевшие нас или брезговавшие нами, бытовики теперь почти с любовью смотрели на нас за то, что мы их сменяли. И те самые пленники, которые в немецком плену узнали, что нет на свете нации более презренной всеми, более покинутой, более чужой и ненужной, чем русская,— теперь, спрыгивая из красных вагонов и из грузовиков на русскую землю, узнавали, что и среди этого отверженного народа они — самое горькое лихое колено.

Вот какова оказалась та великая сталинская амнистия, какой «ещё не видел мир». Где, в самом деле, видел мир амнистию, которая не касалась бы политических?!

Она освобождала Пятьдесят Восьмую до т р ё х лет, которых почти никому и не давали; вряд ли и полупроценту осуждённых по ней. Но и в этом полупроценте случаев непримиримый дух амнистии пересиливал её смягчительную букву. Я знал одного парня — кажется, Матюшина (он был художником в лагерьке на Калужской заставе), который получил 58-1-б за плен что-то очень рано, чуть ли не в конце 1941 года, когда ещё не решено было, как это расценивать, сколько давать. Матюшину дали за плен всего три года — небывалый случай. По концу срока его, разумеется, не освободили, откладывая до Особого Распоряжения. Но

вот разразилась амнистия. Матюшин стал просить (где уж там требовать) освобождения. Почти 5 месяцев, до декабря 1945, перепуганные чиновники учётно-распределительной части отказывали ему. Наконец, отпустили к себе в Курскую область. Был слух (а иному и повернуть нельзя), что вскоре его загребли и добавили до *червонца*. Нельзя же пользоваться рассеянностью первого суда!

Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, раздевал прохожих, насиловал девушек, растлевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоёмах, вступал в многожёнство, применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, ложно доносил (да такие и не сидели), торговал наркотиками, сводничал, вынуждал к проституции, допускал по невежеству или беззаботности человеческие жертвы (это я просто перелистал статьи кодекса, попавшие под амнистию, это не фигура красноречия).

А потом от народа хотят нравственности!..

Половину срока сбрасывали: растратчикам, подделывателям документов и хлебных карточек, спекулянтам и государственным ворам (за государственный карман Сталин всё-таки обижался).

Но ничто не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как поголовное *всепрощение дезертиров* военного времени! Все, кто, струсив, бежал из частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами прятался у матери в огородной яме, в подпольях, в запечьях (всегда у матери! жёнам своим дезертиры, как правило, не доверяли), годами не произнося ни слова вслух, превращаясь в сгорбленного заросшего зверя,— все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню амнистии,— объявлялись теперь равноправными незапятнанными несудимыми советскими гражданами. (Вот когда оправдалась осмотрительность старой пословицы: не красен бог, да здоров.)

Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за родину удар и поплатился за него пленом,— тем не могло быть прощения, так понимал Верховный Главнокомандующий.

Отзывалось ли Сталину в дезертирах что-то своё родное? Вспоминалось ли собственное отвращение к службе рядовым, жалкое рекрутство зимою 1917 года? Или он рассудил, что его управлению трусы не опасны, а опасны только смелые? Ведь кажется, даже со сталинской точки зрения было совсем не разумно амнистировать дезертиров: он сам показывал своему народу, как вернее и проще всего спасать свою шкуру в будущую войну. *

В другой книге я рассказал историю доктора Зубова и его жены: за укрытие старухою в их доме приблудного дезертира, потом на них донёсшего, супруги Зубовы получили оба по десятке по 58-й статье. Суд увидел их вину не столько в укрытии дезертира, сколько в бескорыстии этого укрытия: он не был их родственником, и значит здесь имел место антисоветский умысел! По сталинской амнистии дезертир освободился, не отсидев и трёх лет, он уже и забыл об этом маленьком эпизоде своей жизни. Не то досталось Зубовым. По полных десять они отбыли в лагерях (из них по четыре — в Особых), ещё по четыре — без всякого

* А пожалуй, тут была и историческая справедливость: отдавался старый долг фронтовому дезертирству, без которого большевики и к власти бы не пришли.

приговора — в ссылке; освобождены были лишь тем, что вообще распущена была самая ссылка, но судимость не была снята с них тогда, ни через шестнадцать, ни даже через *девятнадцать лет* после события, она не пустила их вернуться в свой дом под Москву, мешала им тихо дожить жизнь!

В 1958 Главная Военная Прокуратура СССР ответила им: ваша вина доказана и к пересмотру нет оснований. Лишь в 1962, через 20 лет, прекращено было их дело по 58-10 (антисоветский умысел) и 58-11 («организация» из мужа и жены). По статье же 193-17-7-г (соучастие дезертирству) определена была им мера 5 лет и применена (! через двадцать лет!) сталинская амнистия. Так и написано было двум разбитым старикам в 1962 году: «с 7 июля 1945 года в ы с ч и т а е т е с ь о с в о б о ж д ё н н ы м и со снятием судимости»!

Вот чего боится и чего не боится злопамятный мстительный нерассудливый Закон.

После амнистии стали мазать, мазать кисти КВЧ и издевательскими лозунгами украсили внутренние арки и стены лагерей: «На широчайшую амнистию — ответим родной партии и правительству удвоением производительности труда!»

Амнистированы-то были уголовники и бытовики, они уходили, а уж отвечать удвоением должны были политические... Чувство юмора — не просветляло начальства.

С нашим, «фашистским», приездом тотчас начались в Новом Иерусалиме ежедневные освобождения. Ещё вчера ты видел этих женщин в зоне безобразными, отрёпанными, сквернословящими — и вот они преобразились, помылись, пригладили волосы и в невесть откуда взявшихся платьях в горошину и в полоску, с жакетами через руку скромно идут на станцию. Разве в поезде догадаешься, как она волнисто умеет запетлять матом?

А вот выходят за ворота блатные и *полуцвет* (подражающие). Эти не оставили своих развязных манер и там: они ломаются, приплясывают, машут оставшимся и кричат, а из окон кричат их друзья. Охрана не мешает — уркам всё можно. Один уркач не без выдумки ставит стоймя свой чемодан, легко на него становится и, заломя шапку, откидывая полы пиджачка, где-то сдрюченного на пересылке или выигранного в карты, играет на мандолине прощальную серенаду лагерю, поёт какую-то блатную чушь. Хохот.

Освобождённые ещё долго идут по тропинке вокруг лагеря и дальше по полю — и переплёты проволоки не закрывают открытого обзора нам. Сегодня эти воры будут гулять по московским бульварам, может быть в первую же неделю они сделают *скачок* (обчистят квартиру), разденут на ночной улице твою жену, сестру или дочь.

А вы пока, фашисты (и Матронина — тоже фашист),— удвойте производительность труда!

* * *

Из-за амнистии везде не хватало рабочих рук, шли перестановки. На короткое время меня из карьера «бросили» в цех. Тут я насмотрелся на механизацию Матрониной. Всем здесь доставалось, но удивительнее всех работала одна девчёнка — поистине героиня труда, но не подходящая для газеты. Её место, её должность в цеху никак не называлась,

а назвать можно было — «верхняя расставлялка». Около ленты, идущей из пресса с нарезанными мокрыми кирпичами (только что замешанные из глины, они очень тяжелы), стояли две девушки — нижняя расставлялка и подавалка. Этим не приходилось сгибаться, лишь поворачиваться, и то не на большой угол. Но верхней расставлялке — стоящей на постаменте царице цеха, надо было непрерывно: наклоняться; брать у ног своих поставленный подавалкой мокрый кирпич; не разваливая его, поднимать до уровня своего пояса или даже плеч; не меняя положения ног, разворачиваться станом на прямой угол (иногда направо, иногда налево, в зависимости от того, какая приёмная вагонетка нагружалась); и расставлять кирпичи на пяти деревянных полках, по двенадцати на каждой. Движения её не знали перерыва, остановки, изменения, они делались в быстром гимнастическом темпе — и так всю 8-часовую смену, если только не портился пресс. Ей всё подкладывали и подкладывали — половину всех кирпичей, выпускаемых заводом за смену. Внизу девушки менялись обязанностями, её же никто не менял за восемь часов. От пяти минут такой работы, от этих махов головой и скручиваний туловищем должно было всё закружиться. Девушка же в первой половине смены ещё и улыбалась (переговариваться из-за грохота пресса было нельзя), может быть ей нравилось, что она выставлена на пьедестал как королева красоты, и все видят её босые голые крепкие ноги из-под подобранной юбки и балетную гибкость талии.

За эту работу ей делали самую высокую в лагере пайку: триста граммов лишнего хлеба (всего в день — 850) и на ужин кроме общих чёрных щей — «три стахановских»: три жалких порции жидкой манной каши на воде — так мало её клали, что она лишь затягивала дно глиняной миски.

«Мы работаем за деньги, а вы за хлеб, это не секрет»,— сказал мне вольный чумазый механик, чинивший пресс.

А приёмные вагонетки откатывали мы с однoруким алтайцем Пуниным. Это были как бы высокие башенки — шаткие, потому что от десяти полок по двенадцать кирпичей центр тяжести их высоко поднимался. Гибкую, дрожащую, как этажерку, перегруженную книгами,— такую вагонетку надо было тянуть железной ручкой по прямым рельсам; взвести на подставную тележку (шабибюику); застопорить на ней; теперь по другой прямой тянуть эту тележку вдоль сушильных камер. Остановившись против нужной, надо было вагонетку свезти с тележки и ещё по новому направлению толкать вагонетку перед собой в камеру. Каждая камера была длинный узкий коридор, по стенам которого тянулось десять пазов и десять планок. Надо было быстро без перекоса прогнать вагонетку вглубь, там отжать рычаг, посадить все десять полок с кирпичами на десять планок, а десять пар железных лап освободить и тотчас же выкатываться с пустой вагонеткой. Вся эта придумка была, кажется, немецкая, прошлого века (у вагонетки была немецкая фамилия), да по-немецки полагалось, чтобы не только рельсы держали вагонетку, но и пол, настланный над ямами, держал бы откатчика,— у нас же доски были прогнившие, надломанные, и я оступался и проваливался. Ещё наверно полагалась и вентиляция в камерах, но её не было, и пока я там возился с неукладками (у меня часто получались перекосы, полки цеплялись, не садились, мокрые кирпичи шлёпались мне на голову) — я наглатывался угарного запаха, он саднил дыхательное горло.

Так что я не очень горевал по цеху, когда меня снова погнали на карьер. Не хватало глинокопов — они тоже освобождались. Прислали на карьер и Борю Гаммерова, так мы стали работать вместе. Норма была известная: за смену одному накопать, нагрузить и откатить до лебёдки шесть вагонеток (шесть кубометров) глины. На двоих полагалось двенадцать. В сухую погоду мы вдвоём успевали пять. Но начинался мелкий осенний дождичек-бусенец. Сутки, и двое, и трое, без ветра, он шёл не усиливаясь и не переставая. Он не был проливным, и никто бы не взял на себя прекратить наружные работы. «На трассе дождя не бывает!» — знаменитый лозунг ГУЛАГа. Но в Новом Иерусалиме нам что-то не дают и телогреек, и под этим нудным дождичком на рыжем карьере мы барахтаемся и мажемся в своих старых фронтовых шинелях, впитавших в себя к третьему дню уже по ведру воды. И обуви нам лагерь не даёт, и мы раскисляем в жидкой глине свои последние фронтовые сапоги.

Первый день мы ещё шутим:

— Ты не находишь, Борис, что нам очень позавидовал бы сейчас барон Тузенбах? Ведь он всё мечтал работать на кирпичном заводе. Помнишь? — так наработаться, чтобы прийти домой, повалиться и сразу уснуть. Он полагал, очевидно, что будет сушилка для мокрого, будет постель и горячее из двух блюд.

Но мы откатываем пару вагонеток и, сердито стуча лопатой о железный бок следующей вагонетки (глина плохо отваливается), я говорю уже с раздражением:

— Скажи, а какого чёрта трём сёстрам не сиделось на месте? Их не заставляли по воскресеньям собирать с ребятами железный лом? С них по понедельникам не требовали конспектов Священного Писания? Им классного руководства не навязывали бесплатно? Не гоняли их по кварталам всеобуч проводить?

И ещё через вагонетку:

— Какая-то у них у всех пустейшая болтовня: трудиться! трудиться! трудиться! Да трудитесь, чёрт бы вас побрал, кто вам не даёт? Такая будет счастливая жизнь! такая! такая!! — какая? С овчарками бы вас проводить в эту счастливую жизнь, знали бы!..

Борис слабее меня, он едва ворочает лопатой, отяжелевшей от прилипшей глины, он едва взбрасывает каждую до борта вагонетки. Всё же второй день он старается держать нас на уровне Владимира Соловьёва. Обогнал он меня и тут — сколько уже читал Соловьёва, а я ни строчки из-за своих бесселевых функций.

И что вспоминает — он говорит мне, а я пытаюсь запомнить, но вряд ли, не та голова сейчас.

Нет, как же всё-таки сберечь жизнь и притом добраться до истины? И почему надо свалиться на лагерное дно, чтобы понять своё убожество?

Говорит:

— Владимир Соловьёв учил радоваться смерти. Хуже, чем здесь,— не будет.

Это верно...

Нагружаем сколько можем. Штрафной паёк, так и штрафной, пёс вас задери! Скрадываем день и плетёмся в лагерь. Но ничто радостное не ждёт нас там: трижды в день всё тот же чёрный несолёный навар из

крапивных листьев, да однажды — черпачок кашицы, треть литра. А хлеба уже срезали, и дают утром 450, а днём и вечером ни крошки. И ещё под дождём нас строят на проверку. И опять мы спим на голых нарах во всём мокром, вымазанные в глине, и зябнем, потому что в бараках не топят.

И на следующий день всё сеет и сеет тот маленький дождь. Карьер размок, и мы вовсе в нём увязаем. Сколько ни возьми на лопату и как ни колоти о борт вагонетки — глина от неё не отстаёт. Приходится всякий раз дотягиваться и рукой счищать глину с лопаты в вагонетку. Тогда мы догадываемся, что делаем лишнюю работу. Мы отбрасываем лопаты и начинаем просто руками собирать чавкающую глину из-под ног и забрасывать её в вагонетку.

Боря кашляет, у него в лёгких так и остался осколок немецкого танкового снаряда. Он худ и жёлт, обострились мертвецки его нос, уши, кости лица. Я присматриваюсь и уже не знаю: зимовать ли ему в лагере.

Ещё силимся мы отвлечься и победить наше положение — мыслью. Но уже ни философия, ни литература у нас не идут. Даже руки стали тяжелы, как лопаты, и виснут. Борис предлагает:

— Нет, разговаривать — много сил уходит. Давай молчать и с пользой думать. Например стихи писать. В уме.

Я вздрагиваю — он может сейчас писать стихи? Сень смерти, но и сень какого же упорного таланта над его жёлтым лобиком! *

Так мы молчим и руками накладываем глину. Всё дождь... Но нас не только не снимают с карьера, а приходит Матронина, огненно меча взоры (тёмной накидкой закрыта её красная голова), с обрыва руками показывает бригадиру в разные концы карьера. До нас доходит: сегодня не снимут бригаду в конце смены в два часа дня, а будут держать на карьере, пока норму не выполним. Тогда и обед и ужин.

В Москве стройка стоит без кирпичей...

Но Матронина уходит, а дождь усиливается. Собираются светло-рыжие лужи всюду на глине и в вагонетке у нас. Изрыжели голенища наших сапог, во многих рыжих пятнах наши шинели. Руки окоченели от холодной глины, уже и ими мы ничего не можем забросить в вагонетку. Тогда мы оставляем это бесполезное занятие, взлезаем повыше на травку, садимся там, нагибаем головы, натягиваем на затылки воротники шинелей.

Со стороны — два рыжеватых камня на поле.

Где-то учатся ровесники наши в Сорбоннах и Оксфордах, играют в теннис на своём просторном досуге, спорят о мировых проблемах в студенческих кафе. Они уже печатаются, выставляют картины. Выворачиваются, как по-новому исказить окружающий, недостаточно оригинальный мир. Они сердятся на классиков, что те исчерпали сюжеты и темы. Они сердятся на свои правительства и своих реакционеров, не желающих понять и перенять передовой советский опыт. Они наговаривают интервью в микрофоны радиорепортёров, прислушиваясь к своему

* Зимой того года Борис Гаммеров умер в Бутырской больнице от истощения и туберкулёза. Я чту в нём поэта, которому не дали и прохрипеть. Высок был его духовный образ, и сами стихи казались мне тогда очень сильны. Но ни одного из них я не запомнил, и нигде подобрать теперь не могу, чтоб хоть из этих камешков сложить надмогильник.

голосу, кокетливо поясняют, что они *хотели сказать* в своей последней или первой книге. Очень уверенно судят они обо всём на свете, но особенно — о процветании и высшей справедливости нашей страны. Только когда-нибудь к старости, составляя энциклопедии, они с удивлением не найдут достойных русских имён на наши буквы, на все наши буквы...

Барабанит дождь по затылкам, озноб ползёт по мокрой спине.

Мы оглядываемся. Недогруженные и опрокинутые вагонетки. Все ушли. Никого на всём карьере, и на всём поле за зоной никого. В серой завесе — заветная деревенька, и петухи все спрятались в сухое место.

Мы берём лопаты, чтоб их не стащили, — они записаны за нами, и волоча их как тачки тяжёлые за собой, идём в обход матронинского завода — под навес, где вокруг гофмановских печей, обжигающих кирпич, вьются пустынные галереи. Здесь сквозит, холодно, но сухо. Мы утыкаемся в пыль под кирпичный свод, сидим

Недалеко от нас свалена большая куча угля. Двое зэков копаются в ней, оживлённо ищут что-то. Когда находят — пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом садятся — и едят по такому серо-чёрному куску.

— Что это вы едите, ребята?

— Это — морская глина. Врач — не запрещает. Она без пользы и без вреда. А килограмм в день к пайке поджуёшь — и вроде нарубался. Ищите, тут среди угля много...

...Так и до вечера карьер не выполняет нормы. Матронина велит оставить нас и на ночь. Но — гаснет всюду электричество, зона остаётся без освещения, и зовут на вахту всех. Велят взяться под руки и с усиленным конвоем, лаем псов и бранью ведут в жилую зону. Всё черно. Мы идём, не видя, где жидко и где твёрдо, всё меся подряд, оступаясь и дёргая друг друга.

И в жилой зоне темно — только адским красноватым огнём горит из-под плиты «индивидуальной варки». И в столовой — две керосиновые лампы около раздачи, ни лозунга не перечесть, ни увидеть в миске двойной порции крапивной баланды, хлещешь её губами наощупь.

И завтра так будет, и каждый день: шесть вагонеток рыжей глины — три черпака чёрной баланды. Кажется, мы слабели и в тюрьме, но здесь — гораздо быстрей. В голове уже как будто подзванивает. Подходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться.

А в бараках — и вовсе тьма. Мы лежим во всём мокром на всём голом, и кажется: ничего не снимать будет теплей, как компресс.

Раскрытые глаза — к чёрному потолку, к чёрному небу.

Господи, Господи! Под снарядами и под бомбами я просил Тебя сохранить мне жизнь. А теперь прошу Тебя — пошли мне смерть...

Глава 7

ТУЗЕМНЫЙ БЫТ

Рассказать о внешней однообразной туземной жизни Архипелага — кажется, легче и доступней всего. А и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения (приезда в первый лагерь) и до смерти (смерти). И сразу обо всех, обо всех островах и островках.

Никто этого не обнимет, конечно, а целые тома читать пожалуй будет скучно.

А состоит жизнь туземцев из работы, работы, работы; из голода, холода и хитрости. Работа эта, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком,— работа эта *общая,* та самая, которая из земли воздвигает социализм, а нас загоняет в землю.

Видов этих общих работ не перечесть, не перебрать, языком не перекидать. Тачку катать («машина ОСО, две ручки, одно колесо»). Носилки таскать. Кирпичи разгружать голыми руками (покров кожи быстро снимается с пальцев). Таскать кирпичи на себе «козой» (заспинными носилками). Ломать из карьеров камень и уголь, брать глину и песок. Золотоносной породы накайлить шесть кубиков да отвезти на бутару. Да просто землю грызть (кремнистый грунт да зимой; на дороге Тайшет — Абакан при 40° мороза — киркой и лопатой взять 4 кубометра). Уголёк рубить под землёю. Там же и рудишки — свинцовую, медную. Ещё можно — медную руду молоть (сладкий привкус во рту, из носа течёт водичка). Можно креозотом пропитывать шпалы (и всё тело своё). Тоннели можно рубить для дорог. Пути подсыпать. Можно по пояс в грязи вынимать торф из болота. Можно плавить руды. Можно лить металл. Можно кочки на мокрых лугах выкашивать (а ходить по полголени в воде). Можно конюхом, возчиком быть (да из лошадиной торбы себе в котелок овёс перекладывать, а она-то казённая, травяной мешок, выдюжит небось, однако и подохни). Да вообще на *сельхозах* можно править всю крестьянскую работу (и лучше этой работы нет: что-нибудь из земли да выдернешь).

Но всем отец — наш русский лес со стволами истинно-золотыми (из них золотцо добывается). Но старше всех работ Архипелага — лесоповал. Он всех зовёт, он всех поместит, и даже не закрыт для инвалидов (безруких звеном по три человека посылают утаптывать полуметровый снег). Снег — по грудь. Ты — лесоруб. Сперва ты собой утопчешь его около ствола. Свалишь ствол. Потом, едва проталкиваясь по снегу, обрубишь все ветки (ещё их надо тискать в снегу и топором до них добираться). Всё в том же рыхлом снегу волоча, все ветки ты снесёшь в кучи и в кучах сожжёшь (а они дымят, не горят). Теперь лесину распилишь на размеры и соштабелюешь. И норма тебе на брата в день — пять кубометров, а на двоих — десять. (В Бурепоаоме — семь кубов, но толстые кряжи надо было ещё колоть на плахи.) Уже руки твои не поднимают топора, уже ноги твои не переходят.

В годы войны (при военном питании) звали лагерники три недели лесоповала — *сухим расстрелом.*

Этот лес, эту красу земли, воспетую в стихах и в прозе, ты возненавидишь! Ты с дрожью отвращения будешь входить под сосновые и берёзовые своды! Ты ещё потом десятилетиями, чуть закрыв глаза, будешь видеть те еловые и осиновые кряжи, которые сотни метров волок на себе до вагона, утопая в снегу, и падал, и цеплялся, боясь упустить, не надеясь потом поднять из снежного месива.

Каторжные работы в дореволюционной России десятилетиями ограничивались Урочным Положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались: физические силы рабочего и степень навыка (да разве в это можно теперь поверить?!). Рабочий день устанавливался зимой 7 часов (!), летом — 12,5. На Акатуйской лютой каторге (П. Ф. Якубович, 1890-е годы) рабочие уроки были легко выполнимы для всех, кроме него. Их летний рабочий день там составлял с ходьбою вместе — 8 часов, с октября 7, а зимой — только 6. (Это ещё до всякой борьбы за всеобщий восьмичасовой рабочий день!) Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель. Работа у них шла в охотку, впритруску, и начальство даже одевало их в *белые* полотняные куртки и панталоны! — ну, куда ж дальше? У нас в лагере так и говорят: «хоть белые воротнички пришивай» — когда уж совсем легко, совсем делать нечего. А у них — и куртки белые! После работы каторжники «Мёртвого дома» подолгу *гуляли* по двору острога — стало быть не примаривались. Впрочем, «Записки из Мёртвого дома» цензура не хотела пропустить, опасаясь, что лёгкость изображённой Достоевским жизни не будет удерживать от преступлений. И Достоевский добавил для цензуры новые страницы с указанием, что жизнь на каторге *всё-таки* тяжела! * У нас только придурки по воскресеньям гуляли, да и те стеснялись.— А над «Записками Марии Волконской» Шаламов замечает, что декабристам в Нерчинске был урок в день добыть и нагрузить т р и п у д а руды на человека (сорок восемь килограмм! — за один раз можно поднять!), Шаламову же на Колыме — в о с е м ь с о т пудов. Ещё Шаламов пишет, что иногда доходил у них летний рабочий день до 16 часов! Не знаю, как с шестнадцатью, а тринадцать-то часов хватили многие — и на земляных работах в Карлаге, и на северных лесоповалах,— и это чистых часов, кроме ходьбы пять километров в лес да пять назад. Впрочем, спорить ли о долготе дня? — ведь норма старше мастью, чем долгота рабочего дня, и когда бригада не выполняла нормы, то менялся вовремя только конвой, а работяги оставались в лесу до полуночи, при прожекторах, чтобы лишь перед утром сходить в лагерь и съесть ужин вместе с завтраком да снова в лес. **

Рассказать об этом некому: они умерли все.

И ещё так поднимали норму, доказывая её выполнимость: при морозе ниже 50° дни актировались, то есть писалось, что заключённые не

* Письма И. А. Груздева к Горькому. Архив Горького, т. XI, М., 1966, стр. 157.

** Те, кто увеличивает промышленные нормы, могут еще обманывать себя, что таковы успехи технологии производства. Но те, кто увеличивает ф и з и ч е с к и е нормы,— это палачи из палачей! — они же не могут серьёзно верить, что при социализме стал человек вдвое выше ростом и вдвое толще мускулами. Вот кого — судить! Вот кого послать на эти нормы.

выходили на работу,— но их выгоняли, и что удавалось выжать из них в эти дни, раскладывалось на остальные, повышая процент. (А замёрзших в этот день услужливая санчасть списывала по другим поводам. А оставшихся на обратной дороге, уже не могущих идти или с растянутым сухожилием ползущих на четвереньках,— конвой пристреливал, чтоб не убежали, пока за ними вернутся.)

И как же за всё это их кормили? Наливалась в котёл вода, ссыпалась в него хорошо если нечищенная мелкая картошка, а то — капуста чёрная, свекольная ботва, всякий мусор. Ещё — вика, отруби, их не жаль. (А где мало самой воды, как на лагпункте Самарка под Карагандою, там баланда варилась только по миске в день, да ещё отмеряли две кружки солоноватой мутной воды.) Всё же стоящее всегда и непременно разворовывается для начальства (см. гл. 9), для придурков и для блатных,— повара настращены, только покорностью и держатся. Сколько-то выписывается со склада и жиров, и мясных «субпродуктов» (то есть не подлинно продуктов), и рыбы, и гороха, и круп,— но мало что из этого сыпется в жерло котла. И даже, в глухих местах, начальство отбирало соль для своих солений. (В 1940 на железной дороге Котлас — Воркута и хлеб и баланду давали несолёными.) Чем хуже продукт, тем больше попадает его зэкам. Мясо лошадей, измученных и павших на работе,— попадало, и хоть разжевать его нельзя было — это пир. Вспоминает теперь Иван Добряк: «В своё время я много протолкнул в себя дельфиньего мяса, моржового, тюленьего, морского кота и другой морской животной дряни. (Прерву: китовое мясо мы и в Москве ели, на Калужской заставе.) Животный кал меня не страшил. А иван-чай, лишайник, ромашка — были лучшими блюдами.» (Это уж он, очевидно, добирал к пайку.)

Накормить по нормам ГУЛАГа человека, тринадцать или даже десять часов работающего на морозе,— нельзя. И совсем это невозможно после того, как закладка обворована. Тут-то и запускается в кипящий котёл сатанинская мешалка Френкеля: накормить одних работяг за счёт других. «Котлы» разделяются: при выполнении (в каждом лагере это высчитывают по-своему) скажем меньше 30% нормы — котел карцерный: 300 граммов хлеба и миска баланды в день; с 30% до 80% — штрафной: 400 граммов хлеба и две миски баланды; с 81% до 100% — производственный: 500 — 600 граммов хлеба и три миски баланды; дальше идут котлы ударные, причём разные: 700 — 900 хлеба и дополнительная каша, две каши, «премблюдо» («премиальное») — какой-нибудь тёмный горьковатый ржаной пирожок с горохом.

И за всю эту водянистую пищу, не могущую покрыть расходов тела,— сгорают мускулы на надрывной работе, и ударники и стахановцы уходят в землю раньше отказчиков. Это понято старыми лагерниками и говорят так: *лучше кашки не доложь, да на работу не тревожь!* Если выпадет такое счастье — остаться на нарах «по раздетости», получишь гарантированные 600. Если одели тебя *по сезону* (это — знаменитое выражение) и вывели на *трассу* — хоть издолбись кувалдой в зубило, больше трёхсотки на мёрзлом грунте не получишь.

Но не в воле зэка остаться на нарах... Ещё б е г у т на развод, чтоб не остаться последним. (В иную пору в иных лагерях *последнего* — расстреливали.)

Конечно, не всюду и не всегда кормили так худо, но это — типичные цифры: по КрасЛагу времён войны. На Воркуте в то время горняцкая пайка, наверное самая высокая в ГУЛАГе (потому что тем углем отапливалась героическая Москва), была: за 80% под землёю и за 100% наверху — кило триста.

А до революции? В ужаснейшем убийственном Акатуе в *нерабочий* день («на нарах») давали два с половиною фунта хлеба (кило!) и 32 золотника мяса — 133 грамма! В рабочий день — три фунта хлеба и 48 золотников (200 граммов) мяса — да не выше ли нашего фронтового армейского пайка? У них баланду и кашу целыми ушатами арестанты относили надзирательским свиньям, размазню же из гречневой (! — ГУЛАГ никогда не видал её) каши П. Якубович нашёл «невыразимо отвратительной на вкус».— Опасность умереть от истощения никогда не нависала и над каторжанами Достоевского. Чего уж там, если в остроге у них («в зоне») ходили гуси (!!) — и арестанты не сворачивали им голов. * Хлеб на столах стоял у них вольный, на Рождество же отпустили им по фунту говядины, а масла для каши — вволю.— На Сахалине рудничные и «дорожные» арестанты в месяцы наибольшей работы получали в день: хлеба — 4 фунта (кило шестьсот!), мяса — 400 граммов, крупы — 250! И добросовестный Чехов исследует: действительно ли достаточны эти нормы или, при плохом качестве выпечки и варки, их не достаёт? Да если б заглянул он в миску нашего работяги, так тут же бы над ней и скончался.

Какая же фантазия в начале века могла представить, что «через тридцать-сорок лет» не на Сахалине одном, а по всему Архипелагу будут рады ещё более мокрому, засоренному, закалелому, с примесями чёрт-те-чего хлебу — и семьсот граммов его будут завидным «ударным» пайком?!

Нет, больше! — что по всей Руси колхозники ещё и этой арестантской пайке позавидуют! — «у нас и её ведь нет!..»

Даже на нерчинских царских рудниках платили «старательские» — дополнительную плату за всё, сделанное сверх казённого урока (всегда умеренного). В наших лагерях большую часть лет Архипелага не платили за труд ничего или столько, сколько надо на мыло и зубной порошок. Лишь в тех редких лагерях и в те короткие полосы, когда почему-то вводили *хозрасчёт* (и от одной восьмой до одной четвёртой части истинного заработка зачислялось заключённому),— зэки могли подкупать хлеб, мясо и сахар — и вдруг, о удивление! — на столе в столовой осталась корочка, и пять минут никто за ней руку не протянул.

Как же одеты и как обуты наши туземцы?

Все архипелаги — как архипелаги: плещется вокруг синий океан, растут кокосовые пальмы, и администрация островов не несёт расхода на одежду туземцев — ходят они босиком и почти голые. А наш проклятый Архипелаг и представить нельзя под жарким солнцем: вечно покрыт он снегом, вечно дуют вьюги над ним. И всю эту десяти-пятнадцатимиллионную прорву арестантов надо ещё и одеть и обуть.

---

* По мерке многих тяжких лагерей справедливо упрекнул меня Шаламов: «и что ещё за больничный кот ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?.. И зачем Иван Денисович носит у вас ложку, когда известно, что всё, варимое в лагере, легко съедается жидким, через бортик»?

К счастью, родясь за пределами Архипелага, они сюда приезжают уже не вовсе голые. Их можно оставить в чём есть — верней, в чём оставят их *социально-близкие* — только в знак Архипелага вырвать кусок, как ухо стригут барану: у шинелей косо обрезать полы, у будёновок срезать шишаки, сделав продув на макушке. Увы, вольная одежда — не вечная, а обутка — в неделю издирается о пеньки и кочки Архипелага. И приходится туземцев одевать, хотя расплачиваться им за это нечем.

Это когда-нибудь ещё увидит русская сцена! русский экран! — сами бушлаты одного цвета, рукава к ним — другого. Или столько заплат на бушлате, что уже не видно его основы. Или бушлат-*огонь* (лохмотья как языки пламени). Или заплата на брюках — из обшивки чьей-то посылки, и ещё долго можно читать уголок адреса, написанный чернильным карандашом. *

А на ногах — испытанные русские лапти, только онучей хороших к ним нет. Или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, электрическим шнуром. (У горя и догадки...) Если этот кусок покрышки схвачен проволочками в лодочную обутку — то вот и знаменитое «ЧТЗ» (Челябинский тракторный завод). Или «бурки», сшитые из кусков разорванных старых телогреек, а подошвы у них — слой войлока и слой резины. ** Утром на вахте, слыша жалобы на холод, начальник ОЛПа отвечает им с гулаговским остроумием:

— У меня вон гусь всю зиму босой ходит и не жалуется, правда ноги красные. А вы все в чунях.

Ко всему тому выйдут на экран бронзово-серые лагерные лица. Слезящиеся глаза, покраснелые веки. Белые истресканные губы, обмётанные сыпью. Пегая небритая щетина. По зиме — летняя кепка с пришитыми наушниками.

Узнаю вас! — это вы, жители моего Архипелага!

Но сколько б ни был часов рабочий день — когда-то приходят же работяги и в барак.

Барак? А где и землянка, врытая в землю. А на Севере чаще — палатка, правда обсыпанная землёй, кой-как обложенная тёсом. Нередко вместо электричества — керосиновые лампы, но и лучины бывают, но и фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. (В Усть-Выми два года не видели керосина и даже в штабном бараке освещались маслом с продсклада.) Вот в этом сиротливом освещении и разглядим наш погубленный мир.

Нары в два этажа, нары в три этажа, признак роскоши — вагонки. Доски чаще всего голые, нет на них ничего: на иных командировках воруют настолько подчистую (а потом проматывают через вольных), что уже и казённого ничего не выдают и своего в бараках ничего не держат: носят на работу и котелки и кружки (даже вещмешки за спиной — и так землю копают), надевают на шею одеяла, у кого есть (кадр!), либо относят к знакомым придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет как необитаемый. На ночь бы сдать в сушилку

---

* На Акатуе арестантам давали шубы.

** Ни Достоевский, ни Чехов, ни П. Якубович не говорят нам, что́ было у арестантов на ногах. Да уж обуты, иначе б написали.

мокрое рабочее (и сушилка есть) — так раздетый ведь замёрзнешь на голом. Так и сушат на себе. Ночью примерзает к стене палатки — шапка, у женщин — волосы. Даже лапти прячут под головы, чтоб не украли их с ног (Буреполом, годы войны). — Посреди барака — бензиновая бочка, пробитая под печку, и хорошо, если раскалена — тогда парной портяночный дух застилает весь барак,— а то не горят в ней сырые дрова.— Иные бараки так заражены насекомыми, что не помогают четырёхдневные серные окуривания, и если летом уходят зэки спать в зоне на земле — клопы ползут за ними и настигают их там. А вшей с белья зэки вываривают в своих обеденных котелках.

Всё это стало возможно только в социалистическом государстве XX века, и сравнить с тюремными летописцами прошлого века здесь не удаётся ничего: они не писали о таком.

Ко всему этому ещё пририсовать, как из хлеборезки в столовую несут на подносе бригадный хлеб под охраною самых здоровых бригадников с дрынами — иначе вырвут, собьют, расхватают. Пририсовать, как посылки выбивают из рук на самом выходе из посылочного отделения. Добавить постоянную тревогу, не отнимет ли начальство выходного дня (что говорить о войне, если в «совхозе Ухта» уже за год до войны не стало ни одного выходного, а в Карлаге их не помнят с 1937 по 1945). Наложить на это всё — вечное лагерное непостоянство жизни, судорогу перемен: то слухи об этапе, то сам этап (каторга Достоевского не знала этапов, и по десять и по двадцать лет люди отбывали в одном остроге, это совсем другая жизнь); то какую-то тёмную и внезапную тасовку «контингентов»; то переброски «в интересах производства»; то *комиссовки*; то инвентаризация имущества; то внезапные ночные обыски с раздеванием и переклочиванием всего скудного барахла; ещё отдельные доскональные обыски к 1 мая и 7 ноября (Рождество и Пасха каторги прошлого века не знали подобного). И три раза в месяц губительные, разорительные бани. (Чтобы не повторять, я не стану писать о них здесь: есть обстоятельный рассказ-исследование у Шаламова, есть рассказ у Домбровского.)

И ещё потом — твою постоянную цепкую (для интеллигента — мучительную) неотдельность, не состояние личностью, а членом бригады, и необходимость круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не как ты решил, а как надо бригаде.

И вспомнить ещё, что всё сказанное относится к лагерю стационарному, стоящему не первый год. А ведь когда-то и кому-то (кому, как не нашему несчастному брату) эти лагеря надо начинать: приходить в морозный заснеженный лес, обтягиваться проволокой по деревьям, а кто доживёт до первых бараков — бараки те будут для охраны. В ноябре 1941 близ станции Решёты открывался 1-й ОЛП Краслага (за 10 лет их стало семнадцать). Пригнали 250 вояк, изъятых из армии для её морального укрепления. Валили лес, строили срубы, но крыши крыть было нечем, и так под небом жили с чугунными печками. Хлеб привозили мороженый, его разрубливали топором, выдавали пригоршнями — колотый, крошеный, мятый. Другая еда была — круто солёная горбуша. Во рту пылало, и пылание заедали снегом.

(Поминая героев отечественной войны, не забудьте этих...)

Вот это и есть — быт моего Архипелага.

* * *

Философы, психологи, медики и писатели могли бы в наших лагерях, как нигде, наблюдать подробно и множественно особый процесс сужения интеллектуального и духовного кругозора человека, снижения человека до животного и процесс умирания заживо. Но психологам, попадавшим в лагеря, большей частью было не до наблюдений: они сами угожали в ту же струю, смывающую личность в кал и прах.

Уцелевшие в лагерях партийные ортодоксы шлют мне теперь возвышенные возражения: как низко чувствуют и думают герои «Одного дня Ивана Денисовича»! Где ж их страдательные размышления о ходе истории? (Впрочем, есть там и они.) Всё пайка да баланда, а ведь есть гораздо более тяжкие муки, чем голод!

Ах — есть? Ах — гораздо более тяжкие муки (муки ортодоксальной мысли)? Не знали ж вы голода, при санчастях да каптёрках, господа благомыслящие ортодоксы!

Столетиями открыто, что Голод — правит миром. (И на Голоде, на том, что голодные неминуемо будто бы восстанут против сытых, построена и вся Передовая Теория, кстати. И всё не так: восстают лишь чуть приголоженные, а истинно-голодным не до восстания.) Голод правит каждым голодающим человеком, если только тот не решил сам сознательно умереть. Голод, понуждающий честного человека тянуться украсть («брюхо вытрясло — совесть вынесло»). Голод, заставляющий самого бескорыстного человека с завистью смотреть на чужую миску, со страданием оценивать, сколько тянет пайка соседа. Голод, который затмевает мозг и не разрешает ни на что отвлечься, ни о чём не думать, ни о чём заговорить, кроме как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон: сны — о еде, и бессонница — о еде. И скоро — одна бессонница. Голод, от которого с опозданием нельзя уже и наесться: человек превращается в прямоточную трубу, и всё выходит из него в том самом виде, в каком заглотано.

Как ничто, в чём держится жизнь, не может существовать, не извергая отработанного, так и Архипелаг не мог бы копошиться иначе, как отделяя на дно свой главный отброс — *доходяг*. И всё, что построено Архипелагом,— выжато из мускулов доходяг (перед тем, как им стать доходягами).

И ещё это должен увидеть русский экран: как доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитый. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят. (А любознательные операторы могут ещё продолжить съёмку и показать, как в 1947 в Долинке привезенные с воли бессарабские крестьянки бросаются с тем же замыслом на уже *проверенную* доходягами помойку.) Экран покажет, как под одеялами стационара лежат ещё сочленённые кости и почти без движения умирают — и их выносят. Вообще — как просто умирает человек: говорил — и замолк; шёл по дороге — и упал. «Бырк — и готов.» Как (лагпункты Унжа, Нукша) мордатый социально-близкий нарядчик за ноги сдёргивает с нар на развод, а тот уже мёртв, головою об пол. «Подох, падло!» И ещё его весело пинает ногой. (На тех

лагпунктах во время войны не было ни лекпома, ни даже санитара, оттого не было и больных, а кто притворялся больным — выводили под руки товарищи в лес и ещё несли с собой доску и верёвку, чтобы недомерших легче волочить назад. На работе сажали больного близ костра, и все — заключённые и конвоиры — заинтересованы были, чтоб скорее он умер.)

Чего не схватил экран, то опишет нам медленная внимательная проза, она различит оттенки смертного пути, называемые то цынгой, то пеллагрой, то — безбелковым отёком, то алиментарной дистрофией. Вот после укуса осталась кровь на хлебе — это цынга. Дальше начнут вываливаться зубы, гнить дёсны, появятся язвы на ногах и будут отпадать ткани целыми кусками, от человека завоняет трупом, сведёт ноги от толстых шишек, в стационар таких не кладут, и они ползают на карачках по зоне.— Темнеет лицо, как от загара, шелушится, а всего человека проносит понос — это пеллагра. Как-то надо остановить понос — там принимают мел по три ложки в день, здесь говорят, что если достать и наесться селёдки — пища начнёт держаться. Но где же достать селёдки? Человек слабеет, слабеет, и тем быстрей, чем он крупнее ростом. Он уже так слаб, что не может подняться на вторые нары, что не может перешагнуть через лежащее бревно: надо ногу поднять двумя руками или на четвереньках переползти. Поносом выносит из человека и силы и всякий интерес — к другим людям, к жизни, к самому себе. Он глохнет, глупеет, теряет способность плакать, даже когда его волоком тащат по земле за санями. Его уже не пугает смерть, им овладевает податливое розовое состояние. Он перешёл все рубежи, забыл, как зовут его жену и детей, забыл, как звали его самого.— Иногда всё тело умирающего от голода покрывают сине-чёрные горошины с гнойными головками меньше булавочной — по лицу, рукам, ногам, туловищу, даже мошёнке. К ним не прикоснуться, так больно. Нарывчики созревают, лопаются, из них выдавливается густой червеобразный жгутик гноя. Человек сгнивает заживо.

Если по лицу соседа твоего на нарах с недоумением расползлись головные чёрные вши — это верный признак смерти.

Фи, какой натурализм. Зачем ещё об этом рассказывать?

И вообще, говорят теперь нам те, кто сами не страдали, кто казнил или умывал руки, или делал невинный вид: зачем это всё вспоминать? Зачем бередить старые раны? (*Их* раны!!)

На это ответил ещё Лев Толстой Бирюкову («Разговоры с Толстым»): «Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь, и я излечился и стал чистым от неё, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею всё так же и ещё хуже, и мне хочется обмануть себя. Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо, тогда и наше новое теперешнее насилие откроется.»

Эти страницы о доходягах я хочу закончить рассказом Н. К. Г. об инженере Льве Николаевиче (ведь наверняка в честь Толстого!) Е.— доходяге-теоретике, нашедшем форму существования доходяги наиболее удобной формой сохранения своей жизни.

Вот занятие инженера Е. в глуховатом углу зоны в жаркое воскресенье: человекоподобное существо сидит в лощинке над ямой, в которой собралась коричневая торфяная вода. Вокруг ямы разложены селё-

дочные головы, рыбные кости, хрящи, корки хлеба, комочки каши, сырые вымытые картофельные очистки и ещё что-то, что трудно даже назвать. На куске жести разложен маленький костёр, над ним виснт солдатский дочерна закопчённый котелок с варевом. Кажется, готово! Деревянной ложкой доходяга начинает черпать тёмную бурду из котелка и поочерёдно заедает её то картофельным очистком, то хрящём, то селёдочной головой. Он очень долго, очень намеренно внимательно жуёт (общая беда доходяг — глотают поспешно, не жуя). Его нос едва виден среди тёмно-серой шерсти, покрывшей шею, подбородок, щёки. Нос и лоб — буро-воскового цвета, местами шелушатся. Глаза слезятся, часто мигают.

Заметнв подход постороннего, доходяга быстро собирает всё разложенное, чего не успел съесть, прижимает котелок к груди, припадает к земле и сворачивается как ёж. Теперь его можно бить, толкать — он устойчив на земле, не стронется и не выдаст котелка.

Н. К. Г. дружелюбно разговаривает с ним — ёж немного раскрывается. Он видит, что ни бить, ни отнимать котелка не будут. Беседа дальше. Они оба инженеры (Н. Г.— геолог, Е.— химик), и вот Е. раскрывает перед Г. свою веру. Оперируя незабытымн цифрами химических составов, он доказывает, что всё нужное питание можно получить из отбросов, надо только преодолеть брезгливость и направить все усилия, чтоб это питание оттуда взять.

Несмотря на жару Е. одет в несколько одёжек, притом грязных. (И на это обоснование: Е. экспериментально установил, что в очень грязной одежде вши и блохи уже не размножаются, как бы брезгуют. Одну исподнюю одёжку поэтому он даже выбрал из обтирочного материала, использованного в мастерской.)

Вот его вид: шлем-будёновка с чёрным огарком вместо шишака; подпалины и по всему шлему. К засаленным слоновьим ушам шлема прилипло где сено, где пакля. Из верхней одёжки на спине и на боках языками болтаются вырванные куски. Заплаты, заплаты. Слой смолы на одном боку. Вата подкладки бахромой вывнсает по подолу изнутри. Оба внешних рукава разорваны до локтей, и когда доходяга поднимает рукн — он как бы взмахивает крыльями летучей мыши. А на ногах его — лодкоподобные чуни, склеенные из красных автопокрышек.

Зачем же так жарко он одет? Во-первых, лето короткое, а зима долга, надо всё это сберечь на зиму, где ж, как не на себе? Во-вторых, и главное, он тем создаёт мягкость, воздушные подушки — не чувствует боли ударов. Его бьют и ногами и палками, а синяков нет. Это — одна его защита. Надо только всегда успеть увидеть, кто хочет ударить, успеть упасть, колени подтянуть к животу и тем его прикрыть, голову пригнуть к груди и обнять толсто-ватными руками. И тогда его могут бить только по мягкому. А чтоб не били долго — надо быстро доставить бьющему чувство победы, для этого Е. научился с первого же удара неистово кричать, как поросёнок, хотя ему совсем не больно. (В лагере ведь очень любят бить слабых, и не только нарядчики и бригадиры, а и простые зэки, чтобы почувствовать себя ещё не совсем слабым. Что делать, если люди не могут поверить в свою силу, не причинив жестокости?)

И Е. кажется вполне посильным и разумным избранный образ

жизни — к тому же не требующим запятнания совести. Он никому не делает зла.

Он надеется выжить срок.

Интервью доходяги окончено.

Старый колымчанин Томас Сговио (итальянец из Баффало) утверждает: «доходягами скорее становились интеллигенты; все доходяги, которых я знал, были из интеллигенции. Я никогда не видел, чтобы доходягой стал простой русский крестьянин.»

Может быть, это и верное наблюдение: крестьянину не открыт никакой путь, кроме труда, трудом он и спасается, трудом и погибает. А интеллигент иногда не имеет другой защиты, как стать доходягой и даже вот так виртуозно разработать теорию, как Е.

* * *

В нашем славном отечестве самые важные и смелые книги не бывают прочитаны современниками, не влияют вовремя на народную мысль (одни потому, что запрещены, преследуются, неизвестны, другие потому, что образованные читатели заранее от них отвращены). И эту книгу я пишу из одного сознания долга — потому что в моих руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть. Я не чаю своими глазами видеть её напечатанной где-либо; мало надеюсь, что прочтут её те, кто унёс свои кости с Архипелага; совсем не верю, что она объяснит правду нашей истории тогда, когда ещё можно будет что-то исправить. В самом разгаре работы над этой книгой меня постигло сильнейшее потрясение жизни: дракон вылез на минуту, шершавым красным язычищем слизнул мой роман, ещё несколько старых вещей — и ушёл пока за занавеску. Но я слышу его дыхание и знаю, что зубы его намечены на мою шею, только ещё не отмерены все сроки. И с душой разорённой я силюсь кончить это исследование, чтоб хоть оно-то избежало драконовых зубов. В дни, когда Шолохов, давно уже не писатель, из страны писателей растерзанных и арестованных поехал получать Нобелевскую премию,— я искал, как уйти от шпиков в укрывище и выиграть время для моего потайного запыхавшегося пера, для окончания вот этой книги.

Это я отвлёкся, а сказать хотел, что у нас лучшие книги остаются неизвестны современникам, и очень может быть, что кого-то я зря повторяю, что, зная чей-то тайный труд, мог бы сократить свой. Но за семь лет хилой блеклой свободы кое-что всё-таки всплыло, одна голова пловца в рассветном море увидела другую и крикнула хрипло. Так я узнал шестьдесят лагерных рассказов Шаламова и его исследование о блатных.

Я хочу здесь заявить, что кроме нескольких частных пунктов между нами никогда не возникало разнотолка в изъяснении Архипелага. Всю туземную жизнь мы оценили в общем одинаково. Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт.

Это однако не запрещает мне возразить ему в точках нашего расхождения. Одна из этих точек — лагерная санчасть. О каждом лагерном

установлении говорит Шаламов с ненавистью и жёлчью (и прав!) — и только для санчасти он делает всегда пристрастное исключение. Он поддерживает, если не создаёт, легенду о благодетельной лагерной санчасти. Он утверждает, что всё в лагере против лагерника, а вот врач — один может ему помочь.

Но *может* помочь ещё не значит: помогает. Может помочь, если захочет, и прораб, и нормировщик, и бухгалтер, и нарядчик, и каптёр, и повар, и дневальный — да много ли помогают?

Может быть до 1932 года, пока лагерная санитария ещё подчинялась наркомздраву, врачи могли быть врачами. Но в 1932 они были переданы полностью в ГУЛаг — и стала их цель помогать угнетению и быть могильщиками. Так не говоря о добрых случаях у добрых врачей — кто держал бы эту санчасть на Архипелаге, если б она не служила общей цели?

Когда комендант и бригадир избивают доходягу за отказ от работы — так, что он зализывает раны как пёс, двое суток без памяти лежит в карцере (Бабич), два месяца потом не может сползти с нар,— не санчасть ли (1-й ОЛП Джидинских лагерей) отказывается составить акт, что было избиение, а потом отказывается и лечить? .

А кто, как не санчасть, подписывает каждое постановление на посадку в карцер? (Впрочем не упустим, что не так уж начальство в этой врачебной подписи нуждается. В лагере близ Индигирки был вольнонаёмным «лепилой» (фельдшером,— а не случайно лагерное словцо!) С. А. Чеботарёв. Он не подписал ни одного постановления начальника ОЛПа на посадку, так как считал, что в такой карцер и собак сажать нельзя, не то что людей: печь обогревала только надзирателя в коридоре. Ничего, посадки шли и без его подписи.)

Когда по вине прораба или мастера из-за отсутствия ограждения или защиты погибает на производстве зэк,— кто как не лекпом и санчасть подписывают акт, что он умер от разрыва сердца? (И, значит, пусть остаётся всё по-старому и завтра погибают другие. А иначе ведь и лекпома завтра в забой. А там и врача.)

Когда происходит квартальная *комиссовка* — эта комедия общего медицинского осмотра лагерного населения с квалификацией на ТФТ, СФТ, ЛФТ и ИФТ (тяжёлый-средний-лёгкий-индивидуальный физический труд),— много ли возражают добрые врачи злому начальнику санчасти, который сам только тем и держится, что поставляет колонны тяжёлого труда?

Или может быть санчасть была милосердна хоть к тем, кто не пожалел доли своего тела, чтобы спасти остальное? Все знают закон, это не на одном каком-нибудь лагпункте: саморубам, членовредителям и *мостырщикам* медицинская помощь вовсе не оказывается! Приказ — администрации, а кто это *не оказывает* помощи? Врачи... Рванул себе капсулем четыре пальца, пришёл в больничку — бинта не дадут: иди, подыхай, пёс! Ещё на Волгоканале во время энтузиазма всеобщего соревнования вдруг почему-то (?) стало слишком много *мостырок*. Это нашло мгновенное объяснение: вылазка классового врага. Так их — лечить?.. (Конечно, здесь зависит от хитрости мостырщика: можно сделать мостырку так, что это не докажешь. Анс Бернштейн обварил умело руку кипятком через тряпку — и тем спас свою жизнь.

Другой обморозит умело руку без рукавички или намочится в валенок и идёт на мороз. Но не всё разочтёшь: возникает гангрена, а за нею смерть. Иногда бывает мостырка невольная: цынготные незаживающие язвы Бабича признали за сифилис, проверить анализом крови было негде, он с радостью солгал, что и сам болел сифилисом и все родственники. Перешёл в венерическую зону и тем отсрочил смерть.)

Или санчасть освобождала когда-нибудь всех, кто в этот день был действительно болен? Не выгоняла каждый день сколько-то совсем больных людей за зону? Героя и комика народа зэков Петра Кишкина врач Сулейманов не клал в больницу потому, что понос его не удовлетворял норме: чтоб каждые полчаса и обязательно с кровью. Тогда при этапировании колонны на рабочий объект Кишкин *сел*, рискуя, что его подстрелят. Но конвой оказался милосерднее врача: остановил проезжую машину и отправил Кишкина в больницу.— Возразят, конечно, что санчасть была ограничена строгим процентом для группы «В» — больных стационарных и больных ходячих. * Так объяснение есть в каждом случае, но в каждом случае остаётся и жестокость, которую никак не перевесить соображением, что «зато кому-то другому» в это время сделали хорошо.

Да добавить сюда ужасные лагерные больнички вроде стационара 2-го лагпункта Кривощёкова: маленькая приёмная, уборная и комната стационара. Уборная зловонна и наполняет больничный воздух, но разве дело в уборной? Тут в каждой койке лежит *по два* поносника и на полу между койками тоже. Ослабевшие оправляются прямо в кроватях. Ни белья, ни медикаментов (1948 — 49 годы). Заведует стационаром студент 3-го курса мединститута (сидит по 58-й), он в отчаянии, но сделать ничего не может. Санитары, кормящие больных,— сильные жирные ребята: они объедают больных, воруют из их больничного пайка. Кто их поставил на это выгодное место? Наверно, *кум*. У студента не хватает сил их изгнать и защитить паёк больных. А у врача — у всякого хватало?.. **

Или может быть в каком-нибудь лагере санчасть имела возможность отстоять действительно человеческое питание? Ну, хотя бы чтоб не видеть по вечерам этих «бригад куриной слепоты», так и возвращающихся с работы цепочкою слепых, друг за друга держась? Нет. Если чудом кто и добивался улучшения питания, то производственная администрация, чтоб иметь крепких работяг. А не санчасть вовсе.

Врачей никто во всём этом и не винит (хотя часто слабо мужество их сопротивления, потому что на общие страх идти), но не надо же и легенды о спасительной санчасти. Как всякая лагерная ветвь, и санчасть тоже: дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита.

---

* Врачи обходили это как могли. В Сымском ОЛПе устраивали *полустационар:* доходяги лежали на своих бушлатах, ходили чистить снег, но питались из больничного котла. Вольный начальник санотдела А. М. Статников обходил группу «В» так: он сокращал стационары в рабочих зонах, но расширял ОЛПы-больницы, то есть целиком состоящие из одних больных. В официальных гулаговских бумагах даже писали иногда: «поднять физпрофиль з/к з/к»,— да поднимать-то не давали средств. Вся сложность этих увёрток честных врачей как раз и убеждает, что не дано было санчасти остановить смертный процесс.

** Достоевский ложился в госпиталь безо всяких помех. И санчасть у них была даже общая с конвоем. Неразвитость!

Продолжая свою мысль, говорит Шаламов, что только на одну санчасть и может рассчитывать в лагере арестант, а вот на труд своих рук он полагаться не может, не смеет: это — могила. «В лагере губит не маленькая пайка, а большая.»

Пословица верна: большая пайка губит. Самый крепкий работяга за сезон выкатки леса доходит вчистую. Тогда ему дают временную инвалидность: 400 граммов хлеба и самый последний котёл. За зиму большая часть их умирает (ну, например 725 из 800). Остальные переходят на «лёгкий физический» и умирают уже на нём.

Но какой же другой выход мы можем предложить Ивану Денисовичу, если фельдшером его не возьмут, санитаром тоже, даже освобождения липового ему на один день не дадут? Если у него недостаток грамоты и избыток совести, чтоб устроиться придурком в зоне? Остаётся ли у него другой путь, чем положиться на свои руки? Отдыхательный Пункт (ОП)? Мостырка? Актировка?..

Пусть он сам расскажет о них, он ведь и их обдумывал, время было.

«ОП — это вроде дома отдыха лагерного. Десятки годов зэки горбят, отпусков не знают, так вот им — ОП, на две недели. Там кормят много лучше, и за зону не гонят, а в зоне часа три-четыре в день легонечко: щебёнку бить, зону убирать или ремонтировать. Если в лагере человек полтысячи — ОП открывают на пятнадцать. Да оно, если б честно разложить, так за год с небольшим и все б через ОП обернулись. Но как ни в чём в лагере правды нет, так с ОП особенно нет. Открывают ОП исподвоху, как собака тяпнет, уже и список на три смены готовый,— и закроют так же вихрем, полугода оно не простоит. И прутся туда — бухгалтера, парикмахера, сапожники, портные — вся аристократия, а работяг подлинных добавят несколько для прикраски — мол, лучшие производственники. И ещё тебе портной Беремблюм в нос тычет: я, мол, шубу вольному сшил, за неё в лагерную кассу тысячу рублей плочено, а ты, дурак, целый месяц бала́ны катаешь, за тебя и ста рублей в лагерь не попадёт, так кто производственник? кому ОП дать? И ходишь ты, душой истекаешь: как бы в ОП попасть, ну легонечко передышаться, глядь — а его уж и закрыли, с концами. И самая обида, что хоть бы где в тюремном деле помечали, что был ты в ОП в таком-то году, ведь сколько бухгалтеров сидит. Не, не помечают. Потому что им невыгодно. На следующий год откроют ОП — и опять Беремблюм в первую смену, тебя опять мимо. За десять лет прокатят боками через десять лагерей, в десятом будешь проситься, хоть разик бы за целый срок в ОП просунуться, посмотреть, ладно ли там стены крашены, не был-де ни разу,— а как докажешь?..

Нет уж, лучше с ОП не расстраиваться.

Другое дело — мостырка, покалечиться так, чтоб и живу остаться, и инвалидом. Как говорится, минута терпения — год кантовки. Ногу сломать да потом чтоб срослась неверно. Воду солёную пить — опухнуть. Или чай курить — это против сердца. А табачный настой пить — против лёгких хорошо. Только с мерою надо делать, чтобы не перемостырить, да через инвалидность в могилку не скакнуть. А кто меру знает?..

Инвалиду во многом хорошо: и в кубовой можно устроиться, и в лаптеплётку. Но главное, чего люди умные через инвалидство достигают,— это актировки. Только актировка тем более волнами, хуже, чем ОП. Собирают комиссию, смотрят инвалидов и на самых плохих пишут акт: числа такого-то по состоянию здоровья признан негодным к дальнейшему отбыванию срока, ходатайствуем освободить.

Ходатайствуем только! Ещё пока этот акт по начальству вверх подымется да вниз скатится — тебя уж и в живых не застанет, частенько так бывало. Начальство-то ведь хитрозадое, оно так и актирует, кому подыхать через месяц. * Да ещё тех, кто заплатит хорошо. Вон, у Каликман однодельша — полмиллиона хопнув, сто тысяч заплатила — и на воле. Не то что мы дураки.

Это по бараку книга такая ходила, студенты её в своём уголке вслух читали. Так там парень один добыл миллион и не знал, что с тем миллионом при советской власти делать — будто, де, купить на него ничего нельзя и с голоду помрёшь с им, с миллионом. Смеялись и мы: уж брешите кому-нибудь другому, а мы этих миллионщиков за ворота не одного провожали. Только может здоровья божьего на миллион не купишь, а свободу покупают, и власть покупают, и людей с потрохами. С миллионами их уже ой-ой-ой на воле завелось, только что на крышу не лезут, руками не махают.

А Пятьдесят Восьмой актировка закрыта. Сколько лагеря стоят — раза три по месяцу, говорят, была актировка Десятому Пункту, да тут же и захлопывалась. И денег от них никто не возьмёт, от врагов народа,— ведь это свою голову класть взамен. Да у них и денег не бывает, у политиканов.»

— У кого это, Иван Денисыч, у *них?*

— Ну, у нас...

* * *

Но одно *досрочное освобождение* никакая голубая фуражка не может отнять у арестанта. Освобождение это — смерть.

И это есть самая основная, неуклонная и никем не нормируемая продукция Архипелага.

С осени 1938 по февраль 1939 на одном из Усть-Вымьских лагпунктов из 550 человек умерло 385. Некоторые бригады (Огурцова) целиком умирали, и с бригадирами. Осенью 1941 Печорлаг (железнодорожный) имел списочный состав — 50 тысяч, весной 1942 — 10 тысяч. *За это время никуда не отправлялось ни одного этапа,*— куда же ушли с о р о к т ы с я ч? Написал в разрядку «тысяч» — а зачем? Узнал эти цифры случайно от зэка, имевшего к ним в то время доступ,— но по всем лагерям, по всем годам не узнаешь, не просуммируешь. На центральной усадьбе Буреполомского лагеря в бараках доходяг в феврале 1943 из пятидесяти человек умирало за ночь двенадцать, никогда — меньше

---

* У бывшего зэка Олега Волкова в рассказе «Деды»: «актированные» старики выгнаны из лагеря, но им некуда уходить, и они располагаются тут же поблизости, умереть — без отнятой пайки и крова.

четырёх. Утром места их занимали новые доходяги, мечтающие отлежаться здесь на жидкой магаре и четырёхстах граммах хлеба.

Мертвецов, ссохшихся от пеллагры (без задниц, женщин — без грудей), сгнивших от цинги, проверяли в срубе морга, а то и под открытым небом. Редко это походило на медицинское вскрытие — вертикальный разрез от шеи до лобка, перебой на ноге, раздвиг черепного шва. Чаще же не анатом, а конвоир проверял — действительно ли зэк умер или притворяется. Для этого прокалывали туловище штыком или большим молотком разбивали голову. Тут же к большому пальцу правой ноги мертвеца привязывали бирку с номером тюремного дела, под которым он значился в лагерных ведомостях.

Когда-то хоронили в белье, потом — в самом плохом, третьего срока, серо-грязном. Потом было единое распоряжение: не тратиться на бельё (его ещё можно было использовать на живых), хоронить голыми.

Считалось когда-то на Руси: мёртвый без гроба не обойдётся. Самых последних холопов, нищих и бродяг хоронили в гробах. И сахалинских и акатуйских каторжан — в гробах же. Но на Архипелаге это были бы миллионные непроизводительные растраты лесоматериалов и труда. Когда на Инте после войны одного заслуженного мастера деревообделочного комбината похоронили в гробу, то через КВЧ дано было указание провести агитацию: работайте хорошо — *и вас тоже похоронят в деревянном гробу!*

Вывозили на санях или подводе — по сезону. Иногда для удобства ставили ящик под шесть трупов, а без ящиков связывали руки и ноги бечёвками, чтоб они не болтались. После этого наваливали как брёвна, а потом покрывали рогожей. Если был аммонал, то особая бригада могильщиков рвала им ямы. Иначе приходилось копать, всегда братские, по грунту: большие на многих или мелкие на четверых. (Весной из мелких ямок начинает на лагерь praванивать, посылают доходяг углублять.)

Зато никто не обвинит нас в газовых камерах.

Бельё, обувь, отрепья с умерших — всё идёт в дело, ещё живым. А вот — лагерные дела остаются, совсем ни к чему, и много их. Когда негде держать становится — их сжигают. Вот (лагпункт Явас Дубровлага, 1959) подъехал к лагерной кочегарке три раза самосвал, и ссунул вороха *дел*. Лишние зэки были отогнаны, а кочегары при надзирателях всё сожгли.

Где было больше досуга — например в Кенгире — там над холмиками ставились столбики, и представитель УРЧа, не кто-нибудь, сам важно надписывал на них инвентарные номера похороненых. Впрочем в Кенгире же кто-то занялся и вредительством: приезжавшим матерям и жёнам указывал, где кладбище. Они шли туда и плакали. Тогда начальник Степлага полковник товарищ Чечев велел бульдозерами свалить и столбики, сравнять и холмики, раз ценить не умеют.

Вот так похоронен твой отец, твой муж, твой брат, читательница.

На этом кончается путь туземца и кончается его быт.

Впрочем, Павел Быков говорил:

— Пока после смерти 24 часа не прошло,— ещё не думай, что кончено.

* * *

— Ну, Иван Денисович, о чём ещё мы не рассказали? Из нашей повседневной жизни?

«Ху-у-у! Ещё и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели. Как из строя за окурком нагнётся, а конвой подстреливал... * Как инвалиды на кухне картошку сырую глотали: сварят — так уже не разживёшься... Как чай в лагере заместо денег идёт. Как *чифиря́т* — пятьдесят грамм на стакан — и в голове виденья. Только чифирят больше урки — они чай у вольных за ворованные деньги покупают...

Вообще — как зэк живёт?.. Ему если из песка верёвки не вить, то никак и не прожить. Зэку и во сне надо обдумывать, как на следующий день вывернуться. Если чем разжился, какую лазейку надыбал,— молчи! Молчи, а то соседи узнают — затопчут. В лагере так: на всех всё равно не хватит, смотри, чтоб тебе хватило.

Так бы так, а вот скажи — всё же по людскому обычаю и в лагере бывает дружба. Не только там старая — однодельцы, по воле товарищи, а — здешняя. Сошлись душами и уже друг другу открыты. Напарники. Что есть — вместе, чего нет — пополам. Пайка кровная, правда, порознь, а добыток весь — в одном котелке варится, из одного черпается. **

Бывает напарничество короткое, а бывает долгое... Бывает — на совести построено, а бывает — и на обмане. Меж такими напарниками любит змеёй заползать кум. Над котелком-то общим, шёпотом,— обо всём и говорится.

Признаю́т зэки старые, и пленники бывшие рассказывают: тот-то и продаст тебя, кто из одного котелка с тобой ел.

Тоже правда отчасти...

А самое хорошее дело — не напарника иметь, а напарницу. Жену лагерную, зэчку. Как говорится — *подже́ниться*. Молодому хоро́шо то, что где-нибудь ты её... в заначке, на душе и полегчает. А и старому, слабому — всё равно хорошо. Ты чего-нибудь добудешь, заработаешь, она тебе постирает, в барак принесёт, под подушку положит сорочку, никто и не засмеётся — *в законе*. Она и сварит, на койке сядет рядом, едите. Даже старому оно особенно-то к душе льнёт, это супружество лагерное, еле тёпленькое, с горчинкой. Смотришь на неё через пар котелка — по её лицу морщины пошли; да и по твоему. Оба вы в серой лагерной рвани, телогрейки ваши ржавчиной вымазаны, глиной, известью, алебастром, автолом. Никогда ты её раньше не знал, и на родине её ногой не ступал, и говорит она не так, как нашенские. И у ней на воле дети растут, и у тебя растут. У ней муж остался — по бабам ходит, и твоя осталась, не растеряется: восемь лет, десять лет, а жить всем хоц-ца. А эта твоя лагерная волочит с тобой ту же цепь и не жалуется.

Живём — не люди, умрём — не родители...

Кой к кому и родные жёны приезжали на свидание. В разных лагерях

---

* При Достоевском можно было из строя выйти за милостынею. В строю разговаривали и пели.

** Почему-то на каторге Достоевского «среди арестантов не наблюдалось дружества», никто не ел вдвоём.

при разных начальниках давали с ними посидеть двадцать минут на вахте. А то и на ночь — на две в отдельной хибарке. Если у тебя сто пятьдесят процентов. Да ведь свидания эти — растрава, не больше. Для чего её руками коснуться и говорить с ней о чём, если ещё не жить с ней годы и годы? Двоилось у мужиков. С лагерной женой понятней: вот крупы ещё кружка у нас осталась; на той неделе, говорят, жжёный сахар дадут. Уж конечно не белый, змеи... К слесарю Родичеву приехала жена, а его как раз накануне шалашовка, лаская, в шею укусила. Выругался Родичев, что жена приехала, пошёл в санчасть синяк бинтами обматывать: мол скажу — простудился.

А какие в лагере бабы? Есть блатные, есть развязные, есть политические, а больше-то всё смирные, по Указу. По Указу их всё толкают за расхищение государственного. Кем в войну и после войны все фабрики забиты? Бабами да девками. А семью кто кормит? Они же. А — на что её кормить? Нужда закона не знает. Вот и тянут: сметану в карманы кладут, булочки меж ног проносят, чулками вокруг пояса обёртываются, а верней: на фабрику пойдут на босу ногу, а там новые чулки вымажут, наденут, а дома постирают и на рынок. Кто что вырабатывает, то и несёт. Катушку ниток меж грудями закладывают. Вахтёры все куплены, им тоже жить надо, они лишь кое-как обхлопывают. А наскочит охрана, проверка,— за эту катушку дерьмовую — десять лет! Как за измену родине, ровно. И тысячи их с катушками попались.

Берёт каждый, как ему работа позволяет. Хорошо было Гуркиной Настьке — она в багажных вагонах работала. Так правильно рассудила: свой советский человек прилипчивый, стерва, из-за полотенца к морде полезет. Поэтому она советских чемоданов не трогала, а чистила только иностранные. Иностранец, говорит, и проверить вовремя не догадается, и когда спохватится,— жалобы писать не станет, а только плюнет: жулики русские! — и уедет к себе домой.

Шитарев, старик-бухгалтер, Настю корил: «Да как же тебе не стыдно, мяса ты кусок! Как же ты о чести России не позаботилась?» Послала она его: «В рот тебе, чтоб не качался! Что ж ты-то о Победе не заботился? Господ офицеров кобелировать распустил!» (А он, Шитарев, был в войну бухгалтером госпиталя, офицеры ему при выписке лапу давали, и он в справках накидывал срок лечения, чтоб они перед фронтом домой съездили. Дело серьёзное. Дали Шитареву расстрел, лишь потом на десятку сменили.)

Конечно, и несчастные всякие садились. Одна получила пятёрку за мошенничество: что муж у ней умер в середине месяца, а она до конца месяца хлебных карточек его не сдала, пользовалась с двумя детьми. Донесли на неё соседи из зависти. Четыре года отсидела, один по амнистии сбросили.

А и так было: разнесло бомбою дом, убило жену, детей, а муж остался. Все карточки сгорели, но муж был вне ума, и 13 дней до конца месяца жил без хлеба, карточки себе не просил. Заподозрили, что, значит, все карточки у него целые. Три года дали. Полтора отсидел.»

— Подожди-подожди, Иван Денисыч, это — другой раз. Так значит, говоришь,— напарница? Подженитъся?.. Волочит с тобой ту же цепь — и не жалуется?..

Глава 8

ЖЕНЩИНА В ЛАГЕРЕ

Да как же не думать было о них ещё на следствии? — ведь в соседних где-то камерах! в этой самой тюрьме, при этом самом режиме, невыносимое это следствие — им-то, слабым, как перенести?!

В коридорах беззвучно, не различишь их походки и шелеста платьев. Но вот бутырский надзиратель завозится с замком, оставит мужскую камеру полминуты перестоять в верхнем светлом коридоре вдоль окон — и вниз из-под намордника коридорного окна, в зелёном садике на уголке асфальта вдруг видим мы так же стоящих в колонне по двое, так же ожидающих, пока отопрут им дверь,— щиколотки и туфельки женщин! — только щиколотки и туфельки да на высоких каблуках! — и это как вагнеровский удар оркестра в „Тристане и Изольде"! — мы ничего не можем углядеть выше, и уже надзиратель загоняет нас в камеру, мы бредём освещённые и омрачённые, мы пририсовали всё остальное, мы вообразили их небесными и умирающими от упадка духа. Как они? Как они!..

Но, кажется, им не тяжелее, а может быть и легче. Из женских воспоминаний о следствии я пока не нашёл ничего, откуда бы заключить, что они больше нас бывали обескуражены или упали духом ниже. Врач-гинеколог Н. И. Зубов, сам отсидевший 10 лет и в лагерях постоянно лечивший и наблюдавший женщин, говорит, правда, что статистически женщина быстрее и ярче мужчины реагирует на арест и главный его результат — потерю семьи. Она душевно ранена, и это чаще всего сказывается на пресечении уязвимых женских функций.

А меня в женских воспоминаниях о следствии поражает именно: о каких «пустяках» с точки зрения арестантской (но отнюдь не женской) они могли там думать. Надя Суровцева, красивая и ещё молодая, надела впопыхах на допрос разные чулки, и вот в кабинете следователя её смущает, что допрашивающий поглядывает на её ноги. Да казалось бы и чёрт с ним, хрен ему на рыло, не в театр же она с ним пришла, к тому ж она едва ль не доктор (по-западному) философии и горячий политик,— а вот поди ж ты! Александра Острецова, сидевшая на Большой Лубянке в 1943, рассказывала мне потом в лагере, что они там часто шутили: то прятались под стол, и испуганный надзиратель входил искать недостающую; то раскрашивались свёклой и так отправлялись на прогулку; то, уже вызванная на допрос, она увлечённо обсуждала с сокамерницами: идти ли сегодня одетой попроще или надеть вечернее платье? Правда, Острецова была тогда избалованная шалунья да и сидела-то с ней молоденькая Мира Уборевич.

Потом во дворе Красной Пресни мне пришлось посидеть рядом с этапом свежеосуждённых, как и мы, женщин, и я с удивлением ясно увидел, что все они не так худы, не так истощены и бледны, как мы. Равная для всех тюремная пайка и тюремные испытания оказываются для женщин в среднем легче. Они не сдают так быстро от голода.

Но и для всех нас, а для женщины особенно, тюрьма — это только цветочки. Ягодки — лагерь. Именно там предстоит ей сломиться или, изогнувшись, переродясь, приспособиться.

В лагере, напротив, женщине всё тяжелее, чем нам. Начиная с лагерной нечистоты. (Предвидя это, Н. И. П-ва оттачивала в камере алюминиевую ложку, думаете — зарезаться? нет, косы обрезать. И обрезала.) Уже настрадавшаяся от грязи на пересылках и в этапах, она не находит чистоты и в лагере. В среднем лагере в женской рабочей бригаде и, значит, в общем бараке, ей почти никогда не возможно ощутить себя по-настоящему чистой, достать тёплой воды (иногда и никакой не достать: на 1-м Кривощёковском лагпункте зимой нельзя умыться нигде в лагере, только мёрзлая вода, и растопить негде). Никаким законным путём она не может достать ни марли, ни тряпки. Где уж там стирать!..

Баня? Ба! С бани и начинается первый приезд в лагерь,— если не считать выгрузки на снег из телячьего вагона и перехода с вещами на горбу среди конвоя и собак. В лагерной-то бане и разглядывают раздетых женщин как товар. Будет ли вода в бане или нет, но осмотр на вшивость, бритьё подмышек и лобков дают не последним аристократам зоны — парикмахерам, возможность рассмотреть новых баб. Тотчас же их будут рассматривать и остальные придурки — это традиция ещё соловецкая, только там, на заре Архипелага, была нетуземная стеснительность — и их рассматривали одетыми, во время подсобных работ. Но Архипелаг окаменел, и процедура стала наглей. Федот С. и его жена (таков был рок их соединиться) теперь со смехом вспоминают, как придурки мужчины стали по двум сторонам узкого коридора, а новоприбывших женщин пускали по этому коридору голыми, да не сразу всех, а по одной. Потом между придурками решалось, кто кого берёт. (По статистике 20-х годов у нас сидела в заключении одна женщина на шесть-семь мужчин. * После Указов 30-х и 40-х годов соотношение это немного выравнялось, но не настолько, чтобы женщин не ценить, особенно привлекательных.) В иных лагерях процедура сохранялась вежливой: женщин доводят до их барака — и тут-то входят сытые, в новых телогрейках (не рваная и не измазанная одежда в лагере уже сразу выглядит бешеным франтовством), уверенные и наглые придурки. Они не спеша прохаживаются между вагонками, выбирают. Подсаживаются, разговаривают. Приглашают сходить к ним в гости. А они живут не в общем барачном помещении, а в «кабинках» по несколько человек. У них там и электроплитка, и сковородка. Да у них жареная картошка! — мечта человечества! На первый раз просто полакомиться, сравнить и осознать масштабы лагерной жизни. Нетерпеливые тут же после картошки требуют и уплаты, более сдержанные идут проводить и объясняют будущее. Устраивайся, устраивайся, милая, в зоне, пока предлагают по-джентльменски. И чистота, и стирка, и приличная одежда, и неутомительная работа — всё твоё.

И в этом смысле считается, что женщине в лагере — «легче». Легче ей сохранить саму жизнь. С той «половой ненавистью», с какой иные доходяги смотрят на женщин, не опустившихся до помойки, естественно рассудить, что женщине в лагере легче, раз она насыщается меньшей пайкой и раз есть у неё путь избежать голода и остаться в живых. Для исступлённо-голодного весь мир заслонён крылами голода, и больше несть ничего в мире.

---

* Сборник «От тюрем...», стр. 358.

И правда, есть женщины, кто по натуре вообще и на воле легче сходится с мужчинами, без большого перебора. Таким, конечно, в лагере всегда открыты лёгкие пути. Личные особенности не раскладываются просто по статьям Уголовного кодекса,— однако, вряд ли ошибёмся сказав, что большинство Пятьдесят Восьмой составляют женщины не такие. Иным с начала и до конца этот шаг непереносимее смерти. Другие ёжатся, колеблются, смущены (да удерживает и стыд перед подругами), а когда решатся, когда смирятся — смотришь, поздно, они уже не идут в лагерный спрос.

Потому что предлагают — не каждой.

Так ещё в первые сутки многие уступают. Слишком жестоко прочерчивается — и надежды ведь никакой. И этот выбор вместе с мужниными жёнами, с матерями семейств делают и почти девочки. И именно девочки, задохнувшись от наготы лагерной жизни, становятся скоро самыми отчаянными.

А — нет? Что ж, смотри. Надевай штаны и бушлат. И бесформенным, толстым снаружи и хилым внутри существом бреди в лес. Ещё сама приползёшь, ещё кланяться будешь.

Если ты приехала в лагерь физически сохранённой и сделала *умный* шаг в первые же дни,— ты надолго устроена в санчасть, в кухню, в бухгалтерию, в швейную или прачечную, и годы потекут безбедно, вполне похоже на волю. Случится этап — ты и на новое место приедешь вполне в расцвете, ты и там уже знаешь, как поступать с первых же дней. Один из самых удачных ходов — стать прислугой начальства. Когда среди нового этапа пришла в лагерь дородная холёная И. Н., долгие годы благополучная жена крупного армейского командира, начальник УРЧа тотчас её высмотрел и дал почётное назначение мыть полы в кабинете начальника. Так она мягко начала свой срок, вполне понимая, что это — удача.

Что с того, что кого-то на воле ты там любила и кому-то хотела быть верна! Какая корысть в верности мертвячки? «*выйдешь на волю — кому ты будешь нужна?*» — вот слова, вечно звенящие в женском бараке. Ты грубеешь, стареешь, безрадостно и пусто пройдут последние женские годы. Не разумнее ли что-то спешить взять и от этой дикой жизни?

Облегчает и то, что здесь никто никого не осуждает. «Здесь все так живут.»

Развязывает и то, что у жизни не осталось никакого смысла, никакой цели.

Те, кто не уступили сразу,— или одумаются, или их заставят всё же уступить. Самым упорным, но если собой хороша,— сойдётся, сойдётся на клин — сдавайся!

Была у нас в лагерьке на Калужской заставе (в Москве) гордая девка М., лейтенант-снайпер, как царевна из сказки — губы пунцовые, осанка лебяжья, волосы вороновым крылом. * И наметил купить её старый грязный жирный кладовщик Исаак Бершадер. Он был и вообще отвратителен на взгляд, а ей, при её упругой красоте, при её мужественной

* Я представил её (в пьесе «Республика Труда») под именем Грани Зыбиной, но там придал ей лучшую судьбу, чем у неё была.

недавней жизни,— особенно. Он был корягой гнилой, она — стройным тополем. Но он обложил её так тесно, что ей не оставалось дохнуть. Он не только обрёк её общим работам (все придурки действовали слаженно, и помогали ему в облаве), придиркам надзора (а *на крючке* у него был и надзорсостав) — но и грозил неминуемым худым далёким этапом. И однажды вечером, когда в лагере погас свет, мне довелось самому увидеть в бледном сумраке от снега и неба, как М. прошла тенью от женского барака и с опущенной головой постучала в каптёрку алчного Бершадера. После этого она хорошо была устроена в зоне.

М. Н., уже средних лет, на воле чертёжница, мать двоих детей, потерявшая мужа в тюрьме, уже сильно доходила в женской бригаде на лесоповале — и всё упорствовала, и была уже на грани необратимой. Опухли ноги. С работы тащилась в хвосте колонны, и конвой подгонял её прикладами. Как-то осталась на день в зоне. *Присыпался* повар: приходи в кабинку, от пуза накормлю. Она пошла. Он поставил перед ней большую сковороду жареной картошки со свининой. Она всю съела. Но после расплаты ее вырвало,— и так пропала картошка. Ругался повар: «Подумаешь, принцесса!» А с тех пор постепенно привыкла. Как-то лучше устроилась. Сидя на лагерном киносеансе, уже сама выбирала себе мужика на ночь.

А кто прождёт дольше — то самой ещё придётся плестись в общий мужской барак, уже не к придуркам, идти в проходе между вагонками и однообразно повторять: «Полкило... полкило...» И если избавитель пойдёт за нею с пайкой, то завесить свою вагонку с трёх сторон простынями, и в этом шатре, шалаше (отсюда и «шалашовка») заработать свой хлеб. Если раньше того не накроет надзиратель.

Вагонка, обвешанная от соседок тряпьём,— классическая лагерная картина. Но есть и гораздо проще. Это опять-таки кривощёковский 1-й лагпункт, 1947—1949. (Нам известен такой, а сколько их?) На лагпункте — блатные, бытовики, малолетки, инвалиды, женщины и мамки — всё перемешано. Женский барак всего один — но на пятьсот человек. Он — неописуемо грязен, несравнимо грязен, запущен, в нём тяжёлый запах, вагонки — без постельных принадлежностей. Существовал официальный запрет мужчинам туда входить — но он не соблюдался и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но валили малолетки, мальчики по 12—13 лет шли туда обучаться. Сперва они начинали с простого наблюдения: там не было этой ложной стыдливости, не хватало ли тряпья, или времени,— но вагонки не завешивались, и конечно никогда не тушился свет. Всё совершалось с природной естественностью, на виду и сразу в нескольких местах. Только явная старость или явное уродство были защитой женщины — и больше ничто. Привлекательность была проклятьем, у такой непрерывно сидели гости на койке, её постоянно окружали, её просили и ей угрожали побоями и ножом,— и не в том уже была её надежда, чтоб устоять, но — сдаться-то умело, но выбрать такого, который потом угрозой своего имени и своего ножа защитит её от остальных, от следующих, от этой жадной череды, и от этих обезумевших малолеток, растравленных всем, что они тут видят и вдыхают. Да только ли защита от мужчин? и только ли малолетки растравлены? — а женщины, которые рядом изо дня в день всё это видят, но их самих не спрашивают мужчины,— ведь эти женщины тоже

взрываются наконец в неуправляемом чувстве — и бросаются бить удачливых соседок.

И ещё по кривощёковскому лагпункту быстро разбегаются венерические болезни. Уже слух, что почти половина женщин больна, но выхода нет, и всё туда же, через тот же порог тянутся властители и просители. И только осмотрительные, вроде баяниста К., имеющего связи в санчасти, всякий раз для себя и для друзей сверяются с тайным списком венерических, чтоб не ошибиться.

А женщина на Колыме? Ведь там она и вовсе редкость, там она и вовсе нарасхват и наразрыв. Там не попадайся женщина на трассе — хоть конвоиру, хоть вольному, хоть заключённому. На Колыме родилось выражение *трамвай* для группового изнасилования. Е. Олицкая рассказывает, как шофёр проиграл в карты их — целую грузовую машину женщин, этапируемых в Эльген,— и, свернув с дороги, завёз на ночь расконвоированным стройрабочим.

А — работа? Ещё в смешанной бригаде какая-то есть женщине потачка, какая-то работа полегче. Но если вся бригада женская,— тут уж пощады не будет, тут давай *кубики!* А бывают сплошь женские целые лагпункты, уж тут женщины и лесорубы, и землекопы, и саманщицы. Только на медные и вольфрамовые рудники женщин не назначали. Вот «29-я точка» Карлага — сколько ж в этой точке женщин? Ни много ни мало — шесть тысяч! * Кем же работать там женщине? Елена О. работает грузчиком — она таскает мешки по 80 и даже по 100 килограммов! — правда наваливать на плечи ей помогают, да и в молодости она была гимнасткой. (Все свои 10 лет проработала грузчиком и Елена Прокофьевна Чеботарёва.)

На женских лагпунктах устанавливается не-женски жестокий общий нрав: вечный мат, вечный бой и озорство, иначе не проживёшь. (Но, замечает бесконвойный инженер Пустовер-Прохоров, взятые с такой женской колонны в прислугу или на приличную работу женщины тут же оказываются тихими и трудолюбивыми. Он наблюдал такие колонны на БАМе, вторых сибирских путях, в 1930-е годы. Вот картинка: в жаркий день триста женщин просили конвой разрешить им искупаться в обводнённом овраге. Конвой не разрешил. Тогда женщины с единодушием все разделись донага и легли загорать — возле самой магистрали, на виду у проходящих поездов. Пока шли поезда местные, советские, то была не беда, но ожидался международный экспресс, и в нём иностранцы. Женщины не поддавались командам одеться. Тогда вызвали пожарную машину и спугнули их брандспойтом.)

Вот женская работа в Кривощёкове. На кирпичном заводе, окончив разрабатывать участок карьера, обрушивают туда перекрытие (его перед разработкой стелят по поверхности земли). Теперь надо поднять метров на 10—12 тяжёлые сырые брёвна из большой ямы. Как это сделать? Читатель скажет: механизировать. Конечно. Женская бригада набрасы-

* Это — к вопросу о численности зэков на Архипелаге. Кто знал эту 29-ю точку? Последняя ли она в Карлаге? И по сколько людей на остальных точках? Умножай, кто досужен! А кто знает какой-нибудь 5-й стройучасток Рыбинского гидроузла? А между тем там больше ста бараков, и при самом льготном наполнении, по полтысячи на барак,— тут тоже тысячёнок шесть найдётся, Лощилин же вспоминает — было больше десяти тысяч.

вает два каната (их серединами) на два конца бревна, и двумя рядами бурлаков (равняясь, чтобы не вывалить бревно и не начинать сначала) вытягивают одну сторону каждого каната и так — бревно. А потом они вдвадцатером берут одно такое бревно на плечи и под командный мат отъявленной своей бригадирши несут бревнище на новое место и сваливают там. Вы скажете — трактор? Да помилуйте, откуда трактор, если это 1948 год? Вы скажете — кран? А вы забыли Вышинского — «труд-чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев»? Если кран — так как же с чародеем? Если кран — эти женщины так и погрязнут в ничтожестве.

Тело истощается на такую работу, и всё, что в женщине есть женское, постоянное или в месяц раз, перестаёт быть. Если она дотянет до ближней комиссовки, то разденется перед врачами уже совсем не та, на которую облизывались придурки в банном коридоре: она стала безвозрастна; плечи её выступают острыми углами, груди повисли иссохшими мешочками; избыточные складки кожи морщатся на плоских ягодицах, над коленями так мало плоти, что образовался просвет, куда овечья голова пройдёт и даже футбольный мяч; голос погрубел, охрип, а на лицо уже находит загар пеллагры. (А за несколько месяцев лесоповала, говорит гинеколог, опущение и выпадение более важного органа.)

Труд-чародей!..

Ничто не равно в жизни вообще, а в лагере тем более. И на производстве выпадало не всем одинаково безнадёжно. И чем моложе, тем иногда легче. Так и вижу девятнадцатилетнюю Напольную, всю как сбитую, с румянцем во всю деревенскую щеку. В лагерьке на Калужской заставе она была крановщицей на башенном кране. Как обезьяна лазила к себе на кран, иногда без надобности и на стрелу, оттуда всему строительству кричала «хо-го-о-о!», из кабины перекрикивалась с вольным прорабом, с десятниками, телефона у неё не было. Всё ей было как будто забавно, весело, лагерь не в лагерь, хоть в комсомол вступай. С каким-то не лагерным добродушием она улыбалась всем. Ей всегда было выписано 140%, самая высокая в лагере пайка, и никакой враг ей не был страшен (ну, кроме кума),— её прораб не дал бы в обиду. Одного только не знаю: как ей удалось в лагере обучиться на крановщицу? — бескорыстно ли её сюда приняли? Впрочем, она сидела по безобидной бытовой статье. Силы так и пышели из неё, а завоёванное положение позволяло ей любить не по нужде, а по влечению сердца.

Так же описывает своё состояние и Сачкова, посаженная в 19 лет. Она попала в сельхозколонию, где, впрочем, всегда сытней и потому легче. «С песней я бегала от жатки к жатке, училась вязать снопы.» Если нет другой молодости, кроме лагерной,— значит, надо веселиться здесь, а где же? Потом её привезли в тундру под Норильск, так и он ей «показался каким-то сказочным городом, приснившимся в детстве». Отбыв срок, она осталась там вольнонаёмной. «Помню, я шла в пургу, и у меня появилось какое-то задорное настроение, я шла, размахивая руками, борясь с пургой, пела «легко на сердце от песни весёлой», глядела на переливающиеся занавеси Северного сияния, бросалась на снег и смотрела в высоту. Хотелось запеть, чтоб услышал Норильск: что не меня пять лет победили, а я их, что кончились эти проволоки, нары и конвой. Хотелось любить! Хотелось что-нибудь сделать для людей, чтобы больше не было зла на земле.»

Ну, да это многим хотелось.

Освободить нас ото зла Сачковой всё-таки не удалось: лагеря стоят. Но самой ей повезло: ведь не пяти лет, а пяти недель довольно, чтоб уничтожить и женщину и человека.

Вот эти два случая у меня только и стоят против тысяч безрадостных или бессовестных.

А конечно, где ж как не в лагере пережить тебе первую любовь, если посадили тебя (по политической статье!) *пятнадцати лет,* восьмиклассницей, как Нину Перегуд? Как не полюбить джазиста-красавца Василия Козьмина, которым ещё недавно на воле весь город восхищался, и в ореоле славы он казался тебе недоступен? И Нина пишет стих «Ветка белой сирени», а он кладёт иа музыку и поёт ей через зону (их уже разделили, он снова недоступен).

Девочки из кривощёковского барака тоже носили цветочки, вколотые в волоса,— признак, что — в лагерном бараке, но может быть — и в любви?

Законодательство виешнее (вне ГУЛАГа) как будто способствовало лагерной любви. Всесоюзный Указ от 8.7.44 об укреплении брачных уз сопровождался негласным Постановлением СНК и инструкцией НКЮ от 27.11.44, где говорилось, что суд обязан по первому желанию вольного советского человека беспрекословио расторгать его с половиной, оказавшейся в заключении (или в сумасшедшем доме), и поощрить даже тем, чтобы освободить от платы сумм при выдаче разводного свидетельства. (И никто при этом законодательно ие обязывался сообщать той, другой, половине о произошедшем разводе!) Тем самым гражданки и граждане призывались поскорее бросать в беде своих заключённых мужей и жён, а заключённые — забывать поглуше о супружестве. Уже не только глупо и иесоциалистично, но становилось противозаконно женщине тосковать по отлучённому мужу, если он остался на воле. У Зои Якушевой, севшей за мужа как ЧС, получилось так: года через три мужа освободили как важного специалиста, и он не поставил непременным условием освобождеиие жены. Все свои восемь она и оттяиула за иего...)

Забывать о супружестве, да, ио инструкции внутри ГУЛАГа осуждали и любовный разгул как диверсию против производственного плана. Ведь, разбредясь по производству, эти бессовестные женщины, забывшие свой долг перед государством и Архипелагом, готовы были лечь на спину где угодно — иа сырой земле, на дровяной щепе, на щебёнке, на шлаке, на железных стружках — а план срывался! а пятилетка топталась иа месте! а премии гулаговским начальникам не шли! Кроме того некоторые из зэчек таили гнусный замысел забеременеть, и под эту беременность, пользуясь гумаииостью иаших законов, урвать несколько месяцев из своего срока, иногда короткого пятилетнего или трёхлетнего, и эти месяцы не работать. Потому ииструкции ГУЛага требовали: уличённых в сожительстве иемедленно разлучать и менее ценного из них отсылать этапом. (Это, коиечио, ничуть ие напоминало Салтычих, отсылавших девок в дальние деревни.)

Досадчива была вся эта подбушлатная лирика и надзору. Ночами, когда граждаиии надзиратель мог бы храпануть в дежурке, он должеи был ходить с фоиарём и ловить этих голоногих баб в койках мужского

барака и мужиков в бараках женских. Не говоря уже о возможных собственных вожделениях (ведь и гражданин надзиратель тоже не каменный), он должен был ещё трудиться отводить виновную в карцер или целую ночь увещевать её, объясняя, чем её поведение дурно, а потом и писать докладные (что при отсутствии высшего образования даже мучительно).

Ограбленные во всём, что наполняет женскую и вообще человеческую жизнь,— в семье, в материнстве, в дружеском окружении, в привычной и может быть интересной работе, кто и в искусстве, и в книгах, а тут давимые страхом, голодом, забытостью и зверством,— к чему ж ещё могли повернуться лагерницы, если не к любви? Благословением Божьим возникала любовь почти уже и не плотская, потому что в кустах стыдно, в бараке при всех невозможно, да и мужчина не всегда в силе, да и лагерный надзор изо всякой *заначки* (уединения) таскает и сажает в карцер. Но от бесплотности, вспоминают теперь женщины, ещё глубже становилась духовность лагерной любви. Именно от бесплотности она становилась острее, чем на воле! Уже пожилые женщины ночами не спали от случайной улыбки, от мимолётного внимания. И так резко выделялся свет любви на грязно-мрачном лагерном существовании!

«Заговор счастья» видела Н. Столярова на лице своей подруги, московской артистки, и её неграмотного напарника по сеновозке Османа. Актриса открыла, что никто никогда не любил её так — ни муж-кинорежиссёр, ни все бывшие поклонники. И только из-за этого не уходила с сеновозки, с общих работ.

Да ещё этот риск — почти военный, почти смертельный: за одно раскрытое свидание платить обжитым местом, то есть жизнью. Любовь на острие опасности, где так глубеют и разворачиваются характеры, где каждый вершок оплачен жертвами,— ведь героическая любовь! (Аня Лехтонен в Ортау разлюбила своего возлюбленного за те двадцать минут, что стрелок вёл их в карцер, а тот униженно умолял отпустить.) Кто-то шёл содержанками придурков без любви — чтобы спастись, а кто-то шёл на общие и гиб — за любовь.

И совсем немолодые женщины оказывались тоже в этом замешаны, даже ставя надзирателей в тупик: на воле на такую женщину никак не подумал бы! А женщины эти не страсти уже искали, а насытить свою потребность о ком-то позаботиться, кого-то согреть, от себя урезать, а его подкормить; обстирать его и обштопать. Их общая миска, из которой они питались, была их священным обручальным кольцом. «Мне не спать с ним надо, а в звериной нашей жизни, как в бараке целый день за пайки и за тряпки ругаемся, про себя думаешь: сегодня ему рубашку починить, да картошку сварим»,— объясняла одна доктору Зубову. Но мужик-то временами хочет и большего, приходится уступать, а надзор как раз и ловит... Так в Унжлаге больничную прачку тётю Полю, рано овдовевшую, потом всю жизнь одинокую, прислуживавшую в церкви, нашли ночью с мужчиной уже в конце её лагерного срока. «Как же это, тётя Поля? — ахали врачи.— А мы-то на тебя надеялись! А теперь тебя на общие пошлют.» — «Да уж виновата,— сокрушённо кивала старушка.— По-евангельски блудница, а по-лагерному...».

Но и в наказании уличённых любовников, как и во всём строе ГУЛАГа, не было беспристрастия. Если один из любовников был приду-

рок, близкий начальству или очень нужный по работе, то на связь его могли и годами смотреть сквозь пальцы. (Когда на ОЛП женской больницы Унжлага приезжал бесконвойный электромонтёр, в услугах которого были заинтересованы все вольняшки,— главврач, вольная, вызывала сестру-хозяйку, зэчку, и распоряжалась: «Создайте условия Мусе Бутенко» — медсестре, из-за которой монтёр и приезжал.) Если же это были зэки незначительные или опальные, они наказывались быстро и жестоко.

В Монголии, в Гулжедээсовском лагере (наши зэки строили там дорогу в 1947 — 50 годах), двух расконвоированных девушек, пойманных на том, что бегали к дружкам на мужскую колонну, охранник привязал к лошади и, сидя верхом, п р о г н а л и х п о с т е п и. * Такого и Салтычихи не делали. Но делали Соловки.

Всегда преследуемые, уличаемые и рассылаемые, туземные пары как будто не могли быть прочны. А между тем известны случаи, что и разлучённые они поддерживали переписку, а после освобождения соединялись. Известен такой случай: один врач, Б. Я. Ш., доцент провинциального мединститута, в лагере потерял счёт своим связям,— не пропущена была ни одна медсестра и сверх того. Но вот в этом ряду попалась З., и ряд остановился. З. не прервала беременности, родила. Б. Ш. вскоре освободился и, не имея ограничений, мог ехать в свой город. Но он остался вольнонаёмным при лагере, чтобы быть близко к З. и к ребёнку. Потерявшая терпение его жена приехала за ним сама сюда. Тогда он спрятался от неё в зону (где жена не могла его достичь), жил там с З., а жене всячески передавал, что он развёлся с ней, чтоб она уезжала.

Но не только надзор и начальство могут разлучить лагерных супругов. Архипелаг настолько вывороченная земля, что на ней мужчину и женщину разъединяет то, что должно крепче всего их соединить: рождение ребёнка. За месяц до родов беременную этапируют на другой лагпункт, где есть лагерная больница с родильным отделением и где резвые голосёнки кричат, что не хотят быть зэками за грехи родителей. После родов мать отправляют на особый ближний лагпункт *мамок*.

Тут надо прерваться. Тут нельзя не прерваться. Сколько самонасмешки в этом слове! «Мы — не настоящие!..» Язык зэков очень любит и упорно проводит эти вставки уничижительных суффиксов: не мать, а мамка; не больница, больничка; не свидание, а свиданка; не помилование, а помиловка; не вольный, а вольняшка; не жениться, а *под*жениться — та же насмешка, хоть и не в суффиксе. И даже *четвертная* (двадцатипятилетний срок) снижается до *четвертака*, то есть от двадцати пяти рублей до двадцати пяти копеек.

Этим настойчивым уклоном языка зэки показывают и что на Архипелаге всё не настоящее, всё поддельное, всё последнего сорта. И что сами они не дорожат тем, чем дорожат обычные люди, они отдают себе отчёт и в поддельности лечения, которое им дают, и в поддельности

* Кто отыщет теперь его фамилию? И его самого? Да скажи ему — он поразится: он-то в чём виноват? Ему сказали так! А пусть не ходят к мужикам, сучки!...

просьб о помиловании, которые они вынужденно и без веры пишут. И снижением до двадцати пяти копеек зэк хочет показать своё превосходство даже над почти пожизненным сроком!

Так вот на своём лагпункте мамки живут и работают, пока оттуда их под конвоем водят кормить грудью новорожденных туземцев. Ребёнок в это время находится уже не в больнице, а в «детгородке» или «доме малютки», как это в разных местах называется. После конца кормления матерям больше не дают свиданий с ними — или в виде исключения «при образцовой работе и дисциплине» (ну да смысл в том, что не держать же матерей из-за этого под боком, их надо отправлять работать туда, куда требует производство). Но и на старый лагпункт, к своему лагерному «мужу», женщина тоже уже не вернётся чаще всего. И отец вообще не увидит своего ребёнка, пока он в лагере. Дети же в детгородке после отъёма от груди ещё содержатся с год, иногда дольше (их питают по нормам вольных детей, и поэтому лагерный медперсонал и хозобслуга кормится вокруг них). Некоторые не могут приспособиться без матери к искусственному питанию, умирают. Детей выживших отправляют через год в общий детдом. Так сын туземки и туземца пока уходит с Архипелага, не без надежды вернуться сюда *малолеткой.*

Кто следил за этим, говорят, что не часто мать после освобождения берёт своего ребёнка из детдома (блатнячки — никогда),— так прокляты многие из этих детей, захватившие первым вздохом маленьких лёгких заразного воздуха Архипелага. Другие — берут или даже ещё раньше присылают за ним каких-то тёмных (вероятно религиозных) бабушек. В ущерб казённому воспитанию и невозвратно потеряв деньги на родильный дом, на отпуск матери и на дом малютки, ГУЛАГ отпускает этих детей.

Все те годы, предвоенные и военные, когда беременность разлучала лагерных супругов, нарушала этот трудно найденный, усильно скрываемый, отовсюду угрожаемый и без того неустойчивый союз,— женщины старались не иметь детей. И опять-таки Архипелаг не был похож на волю: в годы, когда на воле аборты были запрещены, преследовались судом, очень не легко давались женщинам,— здесь лагерное начальство снисходительно смотрело на аборты, то и дело совершаемые в больнице: ведь так было лучше для лагеря.

И без того иной женщине трудные, ещё запутаннее для лагерницы эти исходы: рожать или не рожать? и что потом с ребёнком? Если допустила изменчивая лагерная судьба забеременеть от любимого, то как же можно решиться на аборт? А родить? — это верная разлука сейчас, а он по твоему отъезду не сойдётся ли на том же лагпункте с другой? И какой ещё будет ребёнок? (Из-за дистрофии родителей он часто неполноценен.) И когда ты перестанешь кормить, и тебя отошлют (а ещё много лет сидеть),— то доглядят ли его, не погубят? И можно ли взять ребёнка в свою семью (для некоторых исключено)? А если не брать — то всю жизнь потом мучиться (для некоторых — нисколько).

Шли уверенно на материнство те, кто рассчитывали после освобождения соединиться с отцом своего ребёнка. И расчёты эти иногда оправдывались. *Отбухав* свои сроки, родители соединялись в настоящую семью. Шли на материнство и те, кто само это материнство рвались

испытать — в лагере, раз нет другой жизни. (Харбинка Ляля рожала второго ребёнка только для того, чтобы вернуться в детгородок и посмотреть на своего первого! И ещё потом третьего рожала, чтобы вернуться посмотреть на первых двух. Отбыв пятёрку, она сумела всех трёх сохранить и с ними освободилась.) Сами безвозвратно униженные, лагерные женщины через материнство утверждались в своём достоинстве, они на короткое время как бы равнялись вольным женщинам. Или: «Пусть я заключённая, но ребёнок мой вольный!» — и ревниво требовали для ребёнка содержания и ухода как для подлинно вольного. Третьи, обычно из прожжённых лагерниц и из приблатнённых, смотрели на материнство как на год *кантовки*, иногда — как путь к *досрочке*. Своего ребёнка они и своим не считали, не хотели его и видеть, не узнавали даже — жив ли он.

Матери из *захíдниц* (западных украинок) непременно, а из русских неинтеллигентных иногда — норовили крестить своих детей (это уже послевоенные годы). Крестик либо присылался искусно запрятанным в посылке (надзор бы не пропустил такой контрреволюции), либо заказывался за хлеб лагерному умельцу. Доставали и ленточку для креста, шили и парадную распашонку, чепчик. Экономился сахар из пайки, пёкся из чего-то крохотный пирог — и приглашались ближайшие подружки. Всегда находилась женщина, которая прочитывала молитву, ребёнка окунали в тёплую воду, крестили, и сияющая мать приглашала к столу.

Иногда для мамок с грудными детьми (только конечно не для Пятьдесят Восьмой) выходили частные амнистии или просто распоряжения о досрочном освобождении. Чаще всего под эти распоряжения попадали мелкие уголовницы и приблатнённые, которые на эти-то льготы отчасти и рассчитывали. И как только такие мамки получали в ближайшем райцентре паспорт и железнодорожный билет,— своего ребёнка, уже не ставшего нужным, они частенько оставляли на вокзальной скамье, на первом крыльце. (Да надо и представить, что не всех ждало жильё, сочувственная встреча в милиции, прописка, работа, а на следующее утро уже ведь не ожидалось готовой лагерной пайки. Без ребёнка было легче начинать жить.)

В 1954 году на ташкентском вокзале мне пришлось провести ночь недалеко от группы зэков, ехавших из лагеря и освобождённых по каким-то частным распоряжениям. Их было десятка три, они занимали целый угол зала, вели себя шумно, с полублатной развязностью, как истые дети ГУЛАГа, знающие, почём жизнь, и презирающие здесь всех вольных. Мужчины играли в карты, а мамки о чём-то голосисто спорили,— и вдруг одна мамка крикнула истошней других, вскочила, размахнула своего ребёнка за ноги и слышно стукнула его головой о каменный пол. Весь *вольный* зал ахнул, застонал: мать! как может *мать?*

...Они не понимали же, что была то не мать, а *мамка*.

* * *

Всё сказанное до сих пор относится к совместным лагерям, смешанным по полу,— к таким, какими они были от первых лет революции и до конца 2-й мировой войны. В те годы был в РСФСР только один, кажется, Новинский домзак (бывшая московская женская тюрьма), где содер-

жались женщины без мужчин. Опыт этот не получил распространения и сам не длился слишком долго.

Но благополучно восстав из-под развалин войны, которую он едва не загубил, Учитель и Зиждитель задумался о благе своих подданных. Его мысли освободились для упорядочения их жизни, и много он изобрёл тогда полезного, много нравственного, а среди этого — разделение пола мужского и пола женского, сперва в школах и лагерях (а там дальше, может, хотел добраться и до всей *воли*).

И в 1946 году на Архипелаге началось, а в 1948 закончилось великое полное отделение женщин от мужчин. Рассылали их по разным островам, а на едином острове тянули между мужской и женской зонами испытанного дружка — колючую проволочку. *

Но как и другие многие научно-предсказанные и научно-продуманные действия, эта мера имела последствия неожиданные и даже противоположные.

С отделением женщин резко ухудшилось их общее положение в производстве. Раньше многие женщины работали прачками, санитарками, поварихами, кубовщицами, каптёрщицами, счетоводами на смешанных лагпунктах, теперь все эти места они должны были освободить, в женских же лагпунктах таких мест было гораздо меньше. И женщин погнали на «общие», погнали в цельноженских бригадах, где им особенно тяжело. Вырваться с «общих» хотя бы на время стало спасением жизни. И женщины стали гоняться за беременностью, стали ловить ее от любой мимолётной встречи, любого касания. Беременность не грозила теперь разлукой с супругом, как раньше,— все разлуки уже были ниспосланы одним Мудрым Указом.

И вот число детей, поступающих в дом малютки (Унжлаг, 1948), за год возросло *вдвое!* — 300 вместо 150, хотя заключённых женщин за это время не прибавилось.

«Как же девочку назовёшь?» — «Олимпиадой. Я на олимпиаде самодеятельности забеременела.» Ещё по инерции оставались эти формы культработы — олимпиады, приезды мужской культбригады на женский лагпункт, совместные слёты ударников. Ещё сохранились и общие больницы — тоже дом свиданий теперь. Говорят, в Соликамском лагере в 1946 разделительная проволока была на однорядных столбах, редкими нитями (и, конечно, не имела огневого охранения). Так ненасытные туземцы сбивались к этой проволоке с двух сторон, женщины становились так, как моют полы, и мужчины овладевали ими, не переступая запретной черты.

Ведь чего-то же стоит и бессмертный Эрос! Не один же разумный расчёт избавиться от общих. Чувствовали зэки, что кладётся черта надолго, и будет она каменеть, как всё в ГУЛАГе. Если до разделения было дружеское сожительство, лагерный брак и даже любовь,— то теперь стал откровенный блуд.

Разумеется, не дремало и начальство, и на ходу исправляло своё научное предвидение. К однорядной колючей проволоке пристраивали

*** Уже многие начинания Корифея не признаны столь совершенными и даже отменены,— а разделение полов на Архипелаге закостенело и по сей день. Ибо здесь основание — глубоко нравственное.**

предзонники с двух сторон. Затем, признав преграды недостаточными, заменяли их забором двухметровой высоты — и тоже с предзонниками.

В Кенгире не помогла и такая стена: женихи перепрыгивали. Тогда по воскресеньям (нельзя же на это тратить производственное время; да и естественно, что устройством своего быта люди занимаются в выходные дни) стали назначать с обеих сторон стены воскресники — и заставили докладывать стену до четырёхметровой высоты. И вот усмешка: на эти воскресники действительно шли с радостью! — перед прощанием хоть познакомиться с кем-то по ту сторону стены, поговорить, условиться о переписке!

Потом в Кенгире достроили разделительную стену до пяти метров, и уже сверх пяти метров потянули колючую проволоку. Потом ещё пустили провод высокого напряжения (до чего же силён амур проклятый!). Наконец, поставили и охранные вышки по краям. У этой кенгирской стены была особая судьба в истории всего Архипелага (см. Часть Пятая, гл. 12). Но и в других Особлагерях (Спасск) строили подобное.

Надо представить себе эту разумную методичность работодателей, которые считают вполне естественным разделение проволокой рабов и рабынь, но изумились бы, если б им предложили сделать то же со своей семьёй.

Стены росли — и Эрос метался. Не находя других сфер, он уходил или слишком высоко — в платоническую переписку, или слишком низко — в однополую любовь.

Записки перешвыривались через зону, оставлялись на заводе в уговорных местах. На пакетиках писались и адреса условные: так, чтобы надзиратель, перехватив, не мог бы понять — от кого кому. (За переписку теперь полагалась лагерная тюрьма.)

Галя Венедиктова вспоминает, что иногда и знакомились-то заочно; переписывались, друг друга не увидав; и расставались, не увидав. (Кто вёл такую переписку, знает и её отчаянную сладость, и безнадёжность, и слепоту.) В том же Кенгире литовки выходили *замуж* через стену за земляков, никогда прежде их не знав: ксёндз (в таком же бушлате, конечно, из заключённых) свидетельствовал письменно, что такая-то и такой-то навеки соединены перед небом. В этом соединении с незнакомым узником за стеной — а для католичек соединение было необратимо и священно — мне слышится хор ангелов. Это — как бескорыстное созерцание небесных светил. Это слишком высоко для века расчёта и подпрыгивающего джаза.

Кенгирские браки имели тоже исход необычный. Небеса прислушались к молитвам и вмешались (Часть Пятая, гл. 12).

Сами женщины (и врачи, лечившие их в разделённых зонах) подтверждают, что они переносили разделение хуже мужчин. Они были особенно возбудимы и нервны. Быстро развивалась лесбийская любовь. Нежные и юные ходили пожелтевшие, с подглазными тёмными кругами. Женщины более грубого устройства становились «мужьями». Как надзор ни разгонял такие пары, они оказывались снова вместе на койке. Отсылали с лагпункта теперь кого-то из этих «супругов». Вспыхивали бурные драмы с самобросанием на колючую проволоку под выстрелы часовых.

В карагандинском отделении Степлага, где собраны были женщины только из Пятьдесят Восьмой, они многие, рассказывает Н. В., ожидали вызова к *оперу* с замиранием — не с замиранием страха или ненависти к полному политическому допросу, а с замиранием перед этим мужчиной, который запрёт её одну в комнате с собою на замок.

Отделённые женские лагеря несли всю ту же тяжесть общих работ. Правда, в 1951 женский лесоповал был формально запрещён (вряд ли потому, что началась вторая половина XX века). Но например в Унжлаге мужские лагпункты никак не выполняли плана. И тогда придумано было, как подстегнуть их — как заставить туземцев своим трудом оплатить то, что бесплатно отпущено всему живому на земле. Женщин стали тоже выгонять на лесоповал и в одно общее конвойное оцепление с мужчинами, только лыжня разделяла их. Всё заготовленное здесь должно было потом записываться как выработка мужского лагпункта, но норма требовалась и от мужчин и от женщин. Любе Березиной, «мастеру леса», так и говорил начальник с двумя просветами в погонах: «Выполнишь норму своими бабами — будет Беленький с тобой в кабинке!» Но теперь и мужики-работяги, кто покрепче, а особенно производственные придурки, имевшие деньги, совали их конвоирам (у тех тоже зарплата не разгуляешься) и часа на полтора (до смены купленного постового) прорывались в женское оцепление.

В заснеженном морозном лесу за эти полтора часа предстояло: выбрать, познакомиться (если до тех пор не переписывался), найти место и совершить.

Но зачем это всё вспоминать? Зачем бередить раны тех, кто жил в это время в Москве и на даче, писал в газетах, выступал с трибун, ездил на курорты и за границу?

Зачем вспоминать об этом, если и сегодня всё так? Ведь писать можно только о том, что «не повторится»...

Глава 9

ПРИДУРКИ

Одно из первых туземных понятий, которое узнаёт приехавший в лагерь новичок, это — *придурок*. Так грубо назвали туземцы тех, кто сумел не разделить общей обречённой участи: или же ушёл с общих или не попал на них.

Придурков немало на Архипелаге. Ограниченные в жилой зоне строгим процентом по учётной группе «Б», а на производстве штатным расписанием, они однако всегда перехлёстывают за этот процент: отчасти из-за слишком большого напора желающих спастись, отчасти из-за бездарности лагерного начальства, не умеющего вести хозяйство и управление малым числом рук.

По статистике НКЮ 1933 года обслуживанием мест лишения свободы, включая хозработы, вместе правда с *самоокарауливанием,* занимались тогда 22% от общего числа туземцев. Если мы эту цифру и снизим до 17—18% (без самоохраны), то всё-таки будет одна шестая часть. Уже видно, что в этой главе речь пойдёт об очень значительном лагерном явлении. Но придурков много больше, чем одна шестая: ведь здесь подсчитаны только *зонные* придурки, а ещё есть *производственные;* и потом ведь состав придурков текуч, и за свою лагерную жизнь через положение придурка пройдёт, очевидно, больше. А самое главное: среди выживших, среди освободившихся, придурки составляют очень вескую долю; среди выживших долгосрочников из Пятьдесят Восьмой — мне кажется — девять десятых.

Почти каждый зэк-долгосрочник, которого вы поздравляете с тем, что он выжил,— и есть придурок. Или был им большую часть срока.

Потому что лагеря — истребительные, этого не надо забывать.

Всякая житейская классификация не имеет резких границ, а переходы все постепенны. Так и тут: края размыты. Вообще каждый не выходящий из жилой зоны на рабочий день может считаться зонным придурком. Рабочему хоздвора уже живётся значительно легче, чем работяге общему: ему не становиться на развод, значит можно позже подниматься и завтракать; у него нет проходки под конвоем до рабочего объекта и назад, меньше строгости, меньше холода, меньше тратить силы; к тому ж и кончается его рабочий день раньше; его работы или в тепле, или обогревалка ему всегда доступна. Затем его работа — обычно не бригадная, а — отдельная работа мастера, значит понуканий ему не слышать от товарищей, а только от начальства. А так как он частенько делает что-либо по личному заказу этого начальства, то вместо понуканий ему даже достаются подачки, поблажки, разрешение в первую очередь обуться-одеться. Имеет он и хорошую возможность подработать по заказам от других зэков. Чтобы было понятнее: хоздвор — это как бы рабочая часть дворни. Если среди неё слесарь, столяр, печник — ещё не вполне выраженный придурок, то сапожник, а тем более портной — это уже придурки высокого класса. «Портной» звучит и значит в лагере примерно то же, что на воле — «доцент». (Наоборот, истинный

«доцент» звучит издевательски, лучше не делать себя посмешищем и не называться. Лагерная шкала значений специальностей совершенно обратна вольной шкале.)

Прачка, санитарка, судомойка, кочегар и рабочие бани, кубовщик, простые пекари, дневальные бараков — тоже придурки, но низшего класса. Им приходится работать руками и иногда немало. Все они, впрочем, сыты.

Истые зонные придурки это: повара, хлеборезы, кладовщики, врачи, фельдшеры, парикмахеры, «воспитатели» КВЧ, заведующий баней, заведующий пекарней, заведующие каптёрками, заведующий посылочной, старшие бараков, коменданты, нарядчики, бухгалтеры, писаря штабного барака, инженеры зоны и хоздвора. Эти все не только сыты, не только ходят в чистом, не только избавлены от подъёма тяжестей и ломоты в спине, но имеют большую власть над тем, что нужно человеку, и, значит, власть над людьми. Иногда они борются группа против группы, ведут интриги, свергают друг друга и возносят, ссорятся из-за «баб», но чаще живут в совместной круговой обороне против черни, ублаготворённою верхушкой, которой нечего делить, ибо всё единожды разделено, и каждый на кругах своих. И тем сильней в лагере эта клика зонных придурков, чем больше полагается на неё начальник, сам устраняясь от забот. Все судьбы прибывающих и отправляемых на этап, все судьбы простых работяг решаются этими придурками.

По обычной кастовой ограниченности человеческого рода, придуркам очень скоро становится неудобным спать с простыми работягами в одном бараке, на общей вагонке, и вообще даже на вагонке, а не на кровати, есть за одним столом, раздеваться в одной бане, надевать то бельё, в котором потел и которое изорвал работяга. И вот придурки уединяются в небольших комнатах по 2 — 4 — 8 человек, там едят нечто избранное, добавляют нечто незаконное, там обсуждают все лагерные назначения и дела, судьбы людей и бригад, не рискуя нарваться на оскорбление от работяги или бригадира. Они отдельно проводят досуг (у них есть досуг), им по отдельному кругу меняют бельё («индивидуальное»). По тому же кастовому неразумию они стараются и в одежде отличиться от лагерной массы, но возможности эти малы. Если в данном лагере преобладают чёрные телогрейки или куртки,— они стараются получить из каптёрки синие, если же преобладают синие,— то надевают чёрные. Ещё — расклёшивают в портняжной вставленными треугольниками узкие лагерные брюки.

Придурки производственные — это инженеры, техники, прорабы, десятники, мастера цехов, плановики, нормировщики, и ещё бухгалтеры, секретарши, машинистки. От зонных придурков они отличаются тем, что строятся на развод, идут в конвоируемой колонне (иногда, впрочем, бесконвойны). Но положение их на производстве — льготное, не требует от них физических испытаний, не изнуряет их. Напротив, от них от многих зависит труд, питание, жизнь работяг. Хоть и менее связанные с жилой зоной, они стараются и там отстоять своё положение и получить значительную часть тех же льгот, что и придурки зонные, хотя сравняться с ними им не удаётся никогда.

Нет точных границ и здесь. Сюда входят и конструкторы, технологи, геодезисты, мотористы, дежурные по механизмам. Это уже — не «кома-

ндиры производства», они не разделяют губительной власти, и на них не лежит ответственность за гибель людей (в той мере, в какой эту гибель не вызывает избранная или обслуживаемая ими технология производства). Это просто — интеллигентные или даже полуобразованные работяги. Как и всякий зэк на работе, они *темнят,* обманывают начальство, стараются растянуть на неделю то, что можно сделать за полдня. Обычно в лагере они живут почти как работяги, часто состоят и в рабочих бригадах, лишь в производственной зоне у них тепло и покойно, и там-то в рабочих кабинетах и кабинках, оставшись без вольных, они отодвигают казённую работу и толкуют о житье-бытье, о сроках, о прошлом и будущем, больше же всего — о слухах, что Пятьдесят Восьмую (а они чаще всего набраны из Пятьдесят Восьмой) скоро будут снимать на общие.

К этому тоже есть глубокое единственно-научное обоснование: ведь социально-чуждых почти невозможно *исправить,* так закоренели они в своей классовой испорченности. Большинство из них может исправить только могила. Если же какое-то меньшинство всё-таки поддаётся исправлению — то только конечно трудом, и трудом физическим, тяжёлым (заменяющим собой машины), тем трудом, который унизил бы лагерного офицера или надзирателя, но который тем не менее создал когда-то человека из обезьяны (а в лагере необъяснимо превращает его в обезьяну вновь). Так вот почему — не из мести совсем, а только в слабой надежде на исправление Пятьдесят Восьмой, и указано в гулаговских инструкциях строго (и указание это постоянно возобновляется), что лица, осуждённые по 58-й, не могут занимать никаких привилегированных постов ни в жилой зоне, ни на производстве. (Занимать посты, связанные с материальными ценностями, могут только те, кто на воле уже отличился в хищениях.) И так бы оно и было — неужели ж лагерные начальники любят Пятьдесят Восьмую! — но знают они: по всем другим статьям вместе нет и пятой доли таких специалистов, как по 58-й. Врачи и инженеры — почти сплошь Пятьдесят Восьмая, а и просто-то честных людей и работников лучше Пятьдесят Восьмой нет и среди вольных. И вот, в скрываемой оппозиции к Единственно-Научной Теории, работодатели начинают исподволь расставлять Пятьдесят Восьмую на придурочьи места (впрочем, самые злачные всегда остаются у бытовиков, с кем легче и начальству столковаться, а слишком большая честность даже мешала бы). Они расставляют их, но при каждом обновлении инструкции (а инструкции всё обновляются), перед приездом каждой проверочной комиссии (а они всё приезжают) — Пятьдесят Восьмую без колебания и без сожаления, одним взмахом белой руки начальника гонят на общие. Месяцами кропотливо-состроенное промежуточное благополучие разлетается вдребезги в один день. Но не так сам этот выгон губителен, как истачивают, изможДают придурочных политических — вечные слухи о его приближении. Слухи эти отравляют всё существование придурка. Только бытовики могут наслаждаться придурочьим положением безмятежно. (Впрочем, минует комиссия, а работа потихоньку разваливается, и инженеров опять полегоньку вытаскивают на придурочьи места, чтобы погнать при следующей комиссии.)

А ещё есть не просто Пятьдесят Восьмая, но клеймёная на тюремном деле особым проклятием из Москвы: «использовать только на общих

работах». Многие колымчане в 1938 имели такое клеймо. Устроиться прачкой или сушильщиком валенок была для них мечта недосягаемая.

Как это написано в «Коммунистическом манифесте»? — «Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почётными и на которые смотрели с благоговейным трепетом» (довольно похоже). «Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наёмных работников». Да ведь хоть — платных! да ведь хоть оставила «по специальности» работать! А если на общие? на лесоповал? и — бесплатно! и — бесхлебно!.. Правда, врачей снимали на общие редко: они лечили ведь и семьи начальников. А уж «юристов, священников, поэтов и людей науки» сгнаивали только на общих, в придурках им делать было нечего.

Особое положение в лагере занимают бригадиры. Они по-лагерному не считаются придурками, но и работягами их не назовёшь. И поэтому тоже относятся к ним рассуждения этой главы.

* * *

Как в бою, в лагерной жизни бывает некогда рассуждать: подворачивается должность придурка — и её хватаешь.

Но прошли годы и десятилетия, мы выжили, наши сотоварищи погибли. Изумлённым вольняшкам и равнодушным наследникам мы начинаем понемногу приоткрывать наш тамошний мир, почти не имеющий в себе ничего человеческого,— и при свете человеческой совести должны его оценить.

И один из главных моральных вопросов здесь — о придурках.

Выбирая героя лагерной повести, я взял работягу, не мог взять никого другого, ибо только ему видны истинные соотношения лагеря (как только солдат пехоты может взвесить всю гирю войны,— но почему-то мемуары пишет не он). Этот выбор героя и некоторые резкие высказывания в повести озадачили и оскорбили иных бывших придурков,— а выжили, как я уже сказал, на девять десятых именно придурки. Тут появились и «записки придурка» (Дьяков — «Записки о пережитом»), самодовольно утверждавшие изворотливость по самоустраиванию, хитрость выжить во что бы то ни стало. (Именно такая книга и должна была появиться ещё раньше моей.)

В те короткие месяцы, когда казалось возможным порассуждать, вспыхнула некоторая дискуссия о придурках, некоторая общая постановка вопроса о моральности положения придурка в лагере. Но никакой информации у нас не дают просветиться насквозь, никакой дискуссии — обойти действительно все грани предмета. Всё это непременно подавляется в самом начале, чтоб ни луч не упал на нагое тело правды, всё это сваливается в одну бесформенную многолетнюю груду, и изнывает там десятилетиями, пока к болванкам ржавым из этого хлама будет потерян и всякий интерес и пути разбора. Так дискуссию о придурках притушили в самом начале, и она ушла из журнальных статей в частные письма.

А различение между придурком и работягой в лагере (впрочем не более резкое, чем та разность, которая существовала в действительности) должно было быть сделано, и очень хорошо, что сделано при

зарождении лагерной темы. Но в подцензурной статье В. Лакшина * получился некоторый перехлёст в выражениях о лагерном труде (как бы в прославление этого самого, заменившего машины и сотворившего нас из обезьяны), и на общее верное направление статьи, а заодно отчасти и на мою повесть, был встречный всплеск негодования — и бывших придурков и их никогда не сидевших интеллигентных друзей: так что же, прославляется рабский труд («сцена кладки» в «Иване Денисовиче»)?! Так что же — «добывай хлеб свой в поте лица», то есть то́ и делай, что хочет гулаговское начальство? А *мы* именно тем и гордимся, что уклонились от труда, не влачили его.

Отвечая сейчас на эти возражения, вздыхаю, что не скоро их прочтут.

По-моему, неблагородно со стороны интеллигента гордиться, что он, видите ли, не унизился до рабского физического труда, так как сумел пойти на канцелярскую работу. В этом положении русские интеллигенты прошлого века разрешали бы себе гордиться только тогда, если бы они при этом *освободили от рабского труда и младшего брата*. Ведь этого выхода — устроиться на канцелярскую работу — у Ивана Денисовича не было! Как же нам быть с «младшим братом»? Младшему-то значит брату разрешается влачить рабский труд? (Ну да отчего же! Ведь в колхозе мы ему давно разрешаем. Мы его сами туда и устроили.) А если разрешается, так может быть разрешим ему хоть когда-нибудь, хоть на час-другой, перед съёмом, когда кладка хорошо пошла,— найти в этом труде и интерес? Мы-то ведь и в лагере находим некоторую приятность в скольжении пера по бумаге, в прокладке рейсфедерной чёрной линии по ватману. Как же Ивану Денисовичу выжить десять лет, денно и нощно только проклиная свой труд? Ведь это он на первом же кронштейне удавиться должен!

А как быть с такой почти невероятной историей: Павел Чульпенёв, *семь лет* подряд работавший на лесоповале (да ещё на штрафном лагпункте),— как бы мог прожить и проработать, если б не нашёл в том повале смысла и интереса? На ногах удержался он так: начальник ОЛПа, заинтересованный в своих немногих постоянных работниках (ещё удивительный начальник), во-первых, кормил их баландой «от пуза», во-вторых, никому, кроме рекордистов, не разрешал работать ночью на кухне. Это была премия! — после полного дня лесоповала Чульпенёв шёл мыть и заливать котлы, топить печи, чистить картошку — до двух часов ночи, потом наедался и шёл поспать три часа, не снимая бушлата. Один раз, тоже в виде премии, работал месяц в хлеборезке. Ещё месячишко отдохнул саморубом (рекордиста, его никто не заподозрил). Вот и всё. (Конечно, тут и ещё не без объяснений. В звене у них годок работала возчицей воровка-майданщица, она жила сразу с двумя придурками: приёмщиком леса и завскладом. Оттого всегда в их звене было перевыполнение и, главное, их конь Герчик ел овса вволю и крепко тянул,— а то ведь и лошадь получала овса... от выработки звена! Надоело говорить «бедные люди!», сказать хоть «бедные лошади!») Но всё равно — *семь лет на лесоповале без перерыва* — это почти миф! Так как семь лет работать, если не уноравливаться, не смекать, если не вникнуть в интерес самой работы? Уж только б, говорит Чульпенёв,

* «Новый мир», 1964, № 1.

кормили, а работал бы и работал. Русская натура... Овладел он приёмом «сплошного повала»: первый хлыст валится так, чтоб опирался, не был в провисе, легко раскряжёвывался. И все хлысты потом кладутся один на один, скрещиваясь — так, чтоб сучья попадали в один-два костра, без стаскивания. Он умел *затягивать* падающий ствол точно в нужном направлении. И когда от литовцев услышал о канадских лесорубах, на спор ставящих в землю кол и потом падением стволов вгоняющих его в землю,— загорелся: «А ну, и мы попробуем!» Вышло.

Так вот, оказывается: такова природа человека, что иногда даже горькая проклятая работа делается им с каким-то непонятным лихим азартом. Поработав два года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечься работой самой по себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и на каменной кладке (иначе б не написал), и в литейном деле, и в плотницкой и даже в задоре разбивания старого чугуна кувалдой. Так Ивану-то Денисовичу можно разрешить не всегда тяготиться своим неизбежным трудом, не всегда его ненавидеть?

Ну, тут, я думаю, нам уступят. Уступят, но с обязательным условием, чтоб никаких отсюда не вышло укоризн для придурков, которые и минуты не добывали хлеба в поте лица.

В поте-то не в поте, но веления гулаговского начальства исполняли старательно (а то — на общие!), и изощрённо, с применением специальных знаний. Ведь все значительные придурочьи места суть звенья управления лагерем и лагерным производством. Это как раз те особо откованные «квалифицированные» звенья цепи, без которых (откажись поголовно все зэки от придурочьих мест) *развалилась бы вся цепь* эксплуатации, вся лагерная система! Потому что такого количества высоких специалистов, да ещё согласных жить в собачьих условиях годами, *воля* никогда не могла бы поставить.

Так почему ж не отказались? Цепь Кащееву — почему ж не развалили?

Посты придурков — ключевые посты эксплуатации. Нормировщики! — а намного ли безгрешней их помощники-счетоводы? Прорабы! А уж так ли чисты технологи? Какой придурочный пост не связан с угождением высшим и с участием в общей системе принуждения? Разве непременно работать воспитателем КВЧ или дневальным кума, чтобы прямо помогать дьяволу? А если Н. работает машинисткой — только и всего, машинисткой, но выполняет заказы административной части лагеря — это ничего не стоит? Подумаем. А размножать приказы? — отнюдь не к процветанию зэков. А у опера своей машинистки нет. Вот ему надо печатать обвинительные заключения, обработку доносных материалов — на тех вольных и зэков, кого посадят завтра. Так ведь он даст ей,— и она печатает и молчит, угрожаемого не предупредит. Да чего там — да низшему придурку, слесарю хоздвора — не придётся выполнять заказ на наручники? укреплять решётку БУРа? Или останемся среди письменности? — плановик? Плановик безгрешный не способствует плановой эксплуатации?

Я не понимаю — чем весь этот интеллигентный рабский труд чище и благороднее рабского физического?

Так не пóтом Ивана Денисовича надо возмутиться прежде, а спокойным поскрипыванием пера в лагерной конторе.

Или вот сам я полсрока проработал на *шарашке,* на одном из этих Райских островов. Мы были там отторгнуты от остального Архипелага, мы не видели его рабского существования,— но не такие же разве придурки? Разве в широчайшем смысле, своей научной работой, мы не укрепляли то же министерство ВД и общую систему подавления? *

Всё, что плохого делается на Архипелаге или на всей земле,— не через самих ли нас и делается? А мы на Ивана Денисовича напали — зачем он кирпичи кладёт. Наших там больше.

В лагере высказывают чаще противоположные обиды и упрёки: что придурки сидят на шее у работяг, объедают их, выживают за их счёт. Это особенно выдвигают против придурков зонных, и часто не без основания. А кто же недовешивает Ивану Денисовичу хлеб? Намочив водой, крадёт его сахар? Кто не даёт жирам, мясу и добрым крупам всыпаться в общий котёл?

Особенным образом подбираются те зонные придурки, от кого зависит питание и одежда. Чтобы добыть те посты, нужны пробойность, хитрость, подмазывание; чтоб удержаться на них — бессердечие, глухость к совести (и чаще всего ещё быть стукачом). Конечно, всякое обобщение страдает натяжками, и я из собственной памяти берусь назвать противоположные примеры бескорыстных и честных зонных придурков,— да не очень долго они на тех местах удержались. О массе же зонных благополучных придурков можно уверенно сказать, что они сгущают в себе в среднем больше испорченных душ и дурных намерений, чем их содержится в среднем же туземном населении. Не случайно именно сюда назначаются начальством все бывшие свои люди, то есть посаженные гебисты и эмведешники. Если уж посажен начальник МВД Шахтинского округа, то он не будет валить лес, а выплывет нарядчиком на комендантском ОЛПе Усольлага. Если уж посажен эмведешник Борис Гуганава («как снял я один раз крест с церкви, так с тех пор мне в жизни счастья не было»),— он будет на станции Решёты заведующим лагерной кухней. Но к этой группе легко примыкает и совсем казалось бы другая масть. Русский следователь в Краснодоне, который при немцах вёл дело молодогвардейцев **, был почётным уважаемым нарядчиком в одном из отделений Озёрлага. Саша Сидоренко, в прошлом разведчик, попавший сразу к немцам, а у немцев сразу же ставший работать на них, теперь в Кенгире был завкаптёркой и очень любил на немцах отыгрываться за свою судьбу. Усталые от дня работы, едва они после проверки засыпали, он приходил к ним под пьянцой и поднимал истошным криком: «Немцы! Achtung! Я — ваш бог! Пойте мне!» (Полусонные испуганные немцы, приподнявшись на нарах, начинали ему петь «Лили Марлен».) — А что за люди должны быть те бухгалтеры, кото-

* Да и эта проблема выходит за Архипелаг; её объём — всё наше общество. Весь образованный наш слой — и техники, и гуманитарии, все эти десятилетия разве не были такими же звеньями Кащеевой цепи, такими же обобщёнными придурками? Среди уцелевших и процветших, даже самых честных — укажут ли нам таких учёных или композиторов, или историков культуры, кто положил себя на устроение общей жизни, пренебрегая собственной?

** Истинное содержание этого дела, кажется, очень не совпадало даже с первым фадеевским вариантом, но не будем основываться на одних лагерных слухах.

рые отпустили Лощилина * на волю поздней осенью в одной рубашке? Тот сапожник в Буреполоме, который без зазрения взял у голодного Анса Бернштейна новые армейские сапоги за пайку хлеба?

Когда они на своём крылечке дружно покуривают, толкуя о лагерных делах, трудно представить, кто́ только среди них не сошёлся!

Правда, кое-что в своё оправдание (объяснение) могут высказать и они. Вот И. Ф. Липай пишет страстное письмо:

«Паёк заключённого обкрадывали самым нахальным и безжалостным образом везде, всюду и со всех сторон. Воровство придурков лично для себя — это мелкое воровство. А те придурки, которые решались на более крупное воровство, были к этому вынуждены. Работники Управления — и вольнонаёмные и заключённые, особенно в военное время, *выжимали лапу* с работников отделений, а работники отделений — с работников лагпунктов, а последние — с каптёрок и кухонь за счёт пайка зэков. Самые страшные акулы были не придурки, а вольнонаёмные начальники (Курагин, Пойсуйшапка, Игнатченко из Севдвинлага), они не воровали, а «брали» из каптёрок, и не килограммами, а мешками и бочками. И опять же не только для себя, они должны были делиться. А заключённые придурки всё это как-то должны были оформлять и покрывать. А кто этого делать не хотел — их не только выгоняли с занимаемой должности, а отправляли на штрафной и режимный лагпункт. И таким образом состав придурков по воле начальства просеивался и комплектовался из трусов, боявшихся физических работ, проходимцев и жуликов. И если судили, то опять-таки каптёров и бухгалтеров, а начальники оставались в стороне: они ведь расписок не оставляли. Показания каптёров на начальников следователи считали провокацией.»

Картина довольно вертикальная...

Одна хорошо мне известная, предельно-честная женщина Наталья Мильевна Аничкова попала как-то волею судеб заведовать лагерной пекарней. При самом начале она установила, что тут принято из выпекаемого хлеба (пайкового хлеба заключённых) сколько-то ежедневно (и без всяких, конечно, документов) отправлять за зону, за что пекаря получали из вольного ларька немного варенья и масла. Она запретила этот порядок, не выпустила хлеба за зону,— и тут же хлеб стал выходить недопеченный, с закалом, потом опоздала выпечка (это от пекарей), потом со склада стали задерживать муку, начальник ОЛПа (он-то больше всех получал!) отказывался дать лошадь на отвозку-привозку. Сколько-то дней Аничкова боролась, потом сдалась — и сразу восстановилась плавная работа.

Если зонный придурок сумел не прикоснуться к этому всеобщему воровству, то всё равно почти невозможно ему удержаться от пользования своим преимущественным положением для получения других благ — ОП вне очереди, больничного питания, лучшей одежды, белья, лучших мест в бараке. Я не знаю, не представляю, где тот святой придурок, который так-таки ничегошеньки-ничего не ухватил для себя изо всех рассыпанных благ? Да его б соседние придурки забоялись, они б его выжили! Каждый хоть косвенно, хоть опосредствованно, хоть даже

* Об его удивительной (или слишком обычной) судьбе — Часть Четвёртая, глава 4.

почти не ведая — но пользовался, а значит, в чём-то и жил за счёт работяг.

Трудно, трудно зонному придурку иметь неомрачённую совесть.

А ещё ведь вопрос — и о средствах, какими он своего места добился. Тут редко бывает неоспоримость специальности, как у врача (или как у многих производственных придурков). Бесспорный путь — инвалидность. Но нередко покровительство кума. Конечно, бывают пути как будто нейтральные: устраиваются люди по старому тюремному знакомству; или по групповой коллективной выручке (чаще национальной, некоторые малые нации удачливы в этом и обычно плотнятся на придурочьих местах; так же и коммунисты негласно выручают друг друга).

А ещё вопрос: когда возвысился — как вёл себя относительно прочих, относительно серой скотинки? Сколько здесь бывает надменности, сколько грубости, сколько забывчивости, что все мы — туземцы и преходяща наша сила.

И наконец вопрос самый высокий: если ничем ты не был дурён для арестантской братии — то был ли хоть чем-нибудь полезен? своё положение направил ли ты хоть раз, чтоб отстоять общее благо — или только одно своё всегда?

К придуркам производственным никак не справедливо было бы относить упрёки «объедают», «сидят на шее»: не оплачен труд работяг, да, но не потому, что придурков кормит, труд придурков тоже не оплачен — всё идёт в ту же прорву. А остальные нравственные сомнения остаются: и почти неизбежность пользоваться бытовыми поблажками; и не всегда чистые пути устройства; и заносчивость. И всё тот же вопрос на вершине: что ты сделал для общего блага? хоть что-нибудь? хоть когда-нибудь?

А ведь были, были, кто может, подобно Василию Власову, вспомнить о своих проделках в пользу всеобщего блага. Да таких светлоголовых умников, обходивших лагерный произвол, помогавших устроить общую жизнь так, чтоб не всем умереть, чтоб обмануть и трест, и лагерь, таких героев Архипелага, понимавших свою должность не как кормление своей персоны, а как тяготу и долг перед арестантской скотинкой,— таких и «придурками» не извернётся язык назвать. И больше всего таких было среди инженеров. И — слава им!

А остальным славы нет. На пьедестал возводить — нечего. И превозноситься нечем перед Иваном Денисовичем, что избежал низкой рабской работы и не клал кирпичей в поте лица. И даже бы не стоило строить доказательств, что нас, умственников, когда мы на общих работах, постигает двойной расход энергии: на саму работу и ещё на психическое сгорание, на размышления-переживания, которых нельзя остановить; и потому де это справедливо: нам избегать общих работ, а *вкалывают* пусть натуры грубые. (Ещё неизвестно: двойной ли у нас расход энергии.)

Да, чтоб отказаться от всякого «устройства» в лагере и дать силам тяжести произвольно потянуть тебя на дно,— нужна очень устоявшаяся душа, очень просветлённое сознание, большая часть отбытого срока да ещё, наверно, и посылки из дому — а то ведь прямое самоубийство.

Как говорит благодарно-виновно старый лагерник Д. С. Л-в: если я сегодня жив — значит, вместо меня кого-то расстреляли в ту ночь по

списку; если я сегодня жив — значит, кто-то вместо меня задохнулся в нижнем трюме: если я сегодня жив — значит, мне достались те лишние двести граммов хлеба, которых не хватило умершему.

Это всё написано — не к попрёку. В этой книге уже принято и будет продолжено до конца: всех страдавших, всех зажатых, всех, поставленных перед жестоким выбором, лучше оправдать, чем обвинить. Вернее будет — оправдать.

Но, прощая себе этот выбор между гибелью и спасением,— не бросай же, забывчивый, камнем в того, кому выбирать досталось ещё лише. Такие тоже в этой книге уже встречались. И ещё встретятся.

* * *

Архипелаг — это мир без дипломов, мир, где аттестуются саморассказом. Зэку не положено иметь никаких документов, в том числе и об образовании. Приезжая на новый лагпункт, ты изобретаешь: за кого бы себя на этот раз выдать?

В лагере выгодно быть фельдшером, парикмахером, баянистом,— я не смею перечислять выше. Не пропадёшь, если ты жестянщик, стекольщик, автомеханик. Но горе тебе, если ты генетик или не дай Бог философ, если ты языковед или искусствовед — ты погиб! Ты *дашь дубаря* на общих работах через две недели.

Не раз мечтал я объявить себя фельдшером. Сколько литераторов, сколько филологов спаслось на Архипелаге этой стезёй! Но каждый раз я не решался — не из-за внешнего даже экзамена (зная медицину в пределах грамотного человека да ещё по верхам латынь, как-нибудь бы я *раскинул чернуху)*, а страшно было представить, как уколы делать, не умея. Если б оставались в медицине только порошки, микстуры, компрессы да банки,— я бы решился.

После опыта Нового Иерусалима усвоив, что быть командиром производства — занятие гнусное, я при перегоне меня в следующий лагерь, на Калужскую заставу, в саму Москву,— с порога же, прямо на вахте, соврал, что я нормировщик (слово это я в лагере услышал впервые; сном и духом ещё не знал, что такое нормирование, но надеялся, что по математической части).

Почему пришлось врать именно на вахте и на пороге — потому что начальник участка младший лейтенант Невежин, высокого роста хмурый горбун, несмотря на ночной час пришёл опросить новый этап прямо на вахту: ему к утру же надо было решить, кого куда, такой был деловой. Исподлобным взглядом оценил он моё галифе, заправленное в сапоги, длиннополую шинель, лицо моё с прямодышащей готовностью тянуть службу, спросил о нормировании (мне казалось — я ловко ответил, потом-то понял, что разоблачил меня Невежин с двух слов),— и уже с утра я за зону не вышел — значит, одержал победу. Прошло два дня и назначил он меня... не нормировщиком, нет, хватай выше! — «заведующим производством», то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров! Попал я из хомута да в ярмо. Прежде меня тут не было и должности такой. До чего ж верным псом я, значит, выглядел. А ещё б какого из меня Невежин вылепил!

Но опять моя карьера сорвалась, Бог берёг: на той же неделе

Невежина сняли за воровство стройматериалов. Это был очень сильный человек, со взглядом почти гипнотическим, и даже не нуждался он голоса повышать, строй слушал его замерев. И по возрасту (за пятьдесят), и по лагерному опыту и по жестокости быть бы ему давно в генералах НКВД, да говорили, он и был уже подполковником, однако не мог одолеть страсти воровать. Под суд его никогда не отдавали, как *своего,* а только снимали на время с должности и каждый раз снижали звание. Но вот и на младшем лейтенанте он не удержался.— Заменивший его лейтенант Миронов не имел воспитательного терпения, а сам я и в голову взять не мог, что из меня хотят молота дробящего. Во всём Миронов оказался мной недоволен, и даже энергичные мои докладные отталкивал с досадой:

— Ты и писать толком не умеешь, стиль у тебя корявый.— И протягивал мне докладную десятника Павлова.

— Вот пишет человек:

«При анализации отдельных фактов понижения выполнения плана является

1) недостаточное количество стройматериалов
2) за неполным снабжением инструментом бригад
3) о недостаточной организации работ со стороны техперсонала
4) а также не соблюдается техника безопасности.»

Ценность стиля была та, что во всём оказывалось виновато производственное начальство и ни в чём — лагерное.

Впрочем, изустно этот Павлов, бывший танкист (в шлеме и ходил) объяснялся так же:

— Если вы понимаете о любви, то докажите мне, что такое любовь.— (Он рассуждал о предмете знакомом: его дружно хвалили женщины, побывавшие с ним в близости, в лагере это не очень скрывается.)

На вторую неделю меня с позором изгнали на общие, а вместо меня назначили того же Васю Павлова. Так как я с ним за место не боролся, снятию своему не сопротивлялся, то и он послал меня не землекопом, а в бригаду маляров.

Вся эта короткая история моего главенства закрепилась однако для меня бытовой выгодой: как завпроизводством я помещён был в особую комнату придурков, одну из двух привилегированных комнат в лагере. А Павлов уже жил в другой такой комнате, и когда я был разжалован, то не оказалось достойного претендента на мою койку, и я на несколько месяцев остался там жить.

Тогда я ценил только бытовые преимущества этой комнаты: вместо вагонок — обыкновенные кровати, тумбочка — одна на двоих, а не на бригаду; днём дверь запиралась, и можно было оставлять вещи; наконец, была полулегальная электрическая плитка, и не надо было ходить толпиться к большой общей плите во дворе. Раб своего угнетённого испуганного тела, я тогда ценил только это.

Но сейчас, когда меня захватно потянуло написать о моих соседях по той комнате, я понял, в чём была главная удача: никогда больше в жизни ни по влечению сердца, ни по лабиринту общественных разгородок я не приближался и не мог бы приблизиться к таким людям, как авиационный генерал Беляев и эмведист Зиновьев, не генерал, так около.

Теперь я знаю, что писателю нельзя поддаваться чувствам гнева, отвращения, презрения. Ты кому-то запальчиво возражал? Так ты не дослушал и потерял систему его взглядов. Ты избегал кого-то из отвращения,— и от тебя ускользнул совершенно не известный тебе характер — именно такой, который тебе понадобится. Но я с опозданием спохватился, что время и внимание всегда отдавал людям, которые восхищали меня, были приятны, вызывали сочувствие,— и вот вижу общество как Луну, всегда с одной стороны.

Но как Луна, чуть покачиваясь, показывает нам и часть обратной стороны («либрация»),— так эта комната уродов приоткрыла мне неведомых людей.

Генерал-майора авиации Александра Ивановича Беляева (все в лагере так и звали его «генерал») всякому новоприбывшему нельзя было не заметить в первый же день на первом же разводе. Изо всей чёрно-серой вшивой лагерной колонны он выделялся не только ростом и стройностью, но отменным кожаным пальто, вероятно иностранным, какого и на московских улицах не встретишь (такие люди в автомобилях ездят), и ещё больше особенной осанкой неприсутствия. Даже в лагерной колонне и не шевелясь, он умел показывать, что никакого отношения не имеет к этой копошащейся вокруг лагерной мрази, что и умирать будет — не поймёт, как он среди неё очутился. Вытянутый, он смотрел над толпой, как бы принимая совсем другой, не видимый нам парад. Когда же начинался развод и вахтёр дощечкой отхлопывал по спинам крайних зэков в выходящих пятёрках, Беляев (в своей бригаде производственных придурков) старался не попасть крайним. Если же попадал, то, проходя мимо вахты, брезгливо вздрагивал и изгибался, всей спиной показывая, что презирает вахтёра. И тот не смел коснуться его.

Ещё будучи завпроизводством, то есть важным начальником, я познакомился с генералом так: в конторе строительства, где он работал помощником нормировщика, я заметил, что он курит, и подошёл прикурить. Я вежливо попросил разрешения и уже наклонился к его столу. Чётким жестом Беляев отвёл свою папиросу от моей, как бы опасаясь, чтоб я её не заразил, достал роскошную никелированную зажигалку и положил её передо мной. Ему легче было дать мне пачкать и портить его зажигалку, чем унизиться в прислуживании — держать для меня свою папиросу! Я был смущён. И так перед каждым нахалом, просящим прикурить, он всегда клал дорогую зажигалку, тем начисто его раздавливая и отбивая охоту обратиться в другой раз. Если же у него улучали попросить в тот момент, когда он сам прикуривал от зажигалки, спешили сунуться папиросой туда же,— он спокойно гасил зажигалку, закрывал крышечкой и в таком виде клал перед просителем. Так ясней понималась вся величина его жертвы. И все вольные десятники и заключённые бригадиры, толпившиеся в конторе, если не у кого было больше прикурить, то легче шли прикуривать во двор, чем у него.

Поместясь теперь в одной с ним комнате, ещё и койкой бок о бок, я мог узнать, что брезгливость, презрительность и раздражение — главные чувства, владеющие им в его положении заключённого. Он не только не ходил никогда в лагерную столовую («я даже не знаю, где в неё дверь!»), но и не велел соседу нашему Прохорову ничего себе

приносить из лагерного варева — только хлебную пайку. Однако был ли ещё хоть один зэк на Архипелаге, который бы так издевался над бедной пайкой? Беляев осторожно брал её как грязную жабу — ведь её трогали руками, носили на деревянных подносах — и обрезал ножом со всех *шести* сторон! — и корки, и мякиш. Эти шесть обрезанных пластов он никогда не отдавал просившим — Прохорову или старику-дневальному, но выбрасывал сам в помойное ведро. Однажды я осмелился спросить, почему он не отдаёт их Прохорову. Он гордо вскинул голову с очень коротким ёжиком белых волос (носил их настолько короткими, чтоб это была как будто и причёска, как будто и лагерная стрижка): «Мой однокамерник на Лубянке как-то попросил меня: разрешите после вас доесть суп. Меня всего просто передёрнуло! Я — болезненно воспринимаю человеческое унижение!» Он не давал голодным людям хлеба, чтобы не унижать их!

Всё это высокомерие генерал потому мог так легко сохранять, что около самой нашей вахты была остановка троллейбуса № 4. Каждый день в час пополудни, когда мы возвращались из рабочей зоны в жилую на обеденный перерыв,— с троллейбуса у внешней вахты сходила жена генерала: она привозила в термосах горячий обед, час назад приготовленный на домашней кухне генерала. В будние дни им не давали встречаться, термосы передавал вертухай. Но по воскресеньям они сидели полчаса на вахте. Рассказывали, что жена всегда уходила в слезах: Александр Иванович вымещал на ней всё, что накапливалось в его гордой страдающей душе за неделю.

Беляев делал правильное наблюдение: «В лагере нельзя хранить вещи или продукты просто в ящике и просто под замком. Надо, чтоб этот ящик был железный, да ещё привинчен к полу.» Но из этого сразу следовал вывод: «В лагере из ста человек — восемьдесят подлецов!» (он не говорил «девяносто пять», чтоб не потерять собеседников). «Если я на свободе встречу кого-нибудь из *здешних* и он ко мне бросится, я скажу: вы с ума сошли! я вас вижу первый раз.»

«Как я страдаю от общежития! — говорил он (это от шести-то человек).— Если б я мог кушать один, запершись на ключ!» Намекал ли он, чтоб мы выходили при его еде? Именно кушать ему хотелось в одиночестве! — потому ли, что он сегодня ел несравнимое с другими или просто уже от устоявшейся привычки своего круга прятать изобилие от голодных?

Напротив, разговаривать с нами он любил, и вряд ли ему действительно было бы хорошо в отдельной комнате. Но разговаривать он любил односторонне — громко, уверенно, только о себе: «*мне* вообще предлагали другой лагерь, с более удобными условиями...» (Допускаю, что им и предлагают выбор.) «У *меня* этого никогда не бывает...» «Знаете, я...» «Когда я был в Англо-Египетском Судане...» — но дальше ничего интересного, какая-нибудь чушь, лишь бы оправдать это звонкое вступление: «Когда я был в Англо-Египетском Судане...»

Он действительно побывал и повидал. Он был моложе пятидесяти, ещё вполне крепок. Только одно странно: генерал-майор авиации, не рассказал он ни об одном боевом вылете, ни об одном даже полёте. Зато, по его словам, он был начальником нашей закупочной авиационной миссии в Соединённых Штатах во время войны. Америка видимо

поразила его. Сумел он там много и накупить. Беляев не снижался объяснять нам, за что именно его посадили, но, очевидно, в связи с этой американской поездкой или рассказами о ней. «Оцеп * предлагал мне путь полного признания.— (То есть адвокат повторял следователя.) — Я сказал: пусть лучше двойной срок, но я ни в чём не виноват!» Можно поверить, что перед властью он-таки не был виноват ни в чём: ему дали не двойной, а половинный срок —5 лет, даже шестнадцатилетним болтунам давали больше.

Смотря на него и слушая, я думал: это сейчас! — после того как грубые пальцы сорвали с него погоны (воображаю, как он извивался), после шмонов, после боксов, после воронков, после «руки взять назад!» — он не дозволяет возразить себе в мелочи, не то что в крупном (крупного он и обсуждать с нами не будет, мы недостойны, кроме Зиновьева). Но ни разу я не заметил, чтобы какая-нибудь мысль, не им высказанная, была бы им усвоена. Он просто не способен воспринять никакого довода. Он всё знает *до* наших доводов! Чтó ж был он раньше, глава закупочной миссии, вестник Советов на Западе? Лощёный белолицый непробиваемый сфинкс, символ «Новой России», как понимали на Западе. А что, если прийти к нему с каким-нибудь прошением? с прошением просунуть голову в его кабинет? Ведь как гаркнет! ведь прищемит! Многое было бы понятно, если бы происходил он из потомственной военной семьи,— но нет. Эти Гималаи самоуверенности усвоены советским генералом первого поколения. Ведь в гражданскую войну в Красной армии он наверно был паренёк в лапоточках, он ещё подписываться не умел. Откуда ж это так быстро?.. Всегда в избранной среде — даже в поезде, даже на курорте, всегда между своими, за железными воротами, по пропускам.

А те, другие? Скорее ведь похожи на него, чем непохожи. И что будет, если истина «сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам» заденет их особняки, чины и заграничные командировки? Да ведь за чертёж треугольника будут отрубливать голову! Треугольные фронтоны с домов будут сшибать! Издадут декрет измерять углы только в радианах!

А в другой раз думаю: а из меня? А почему бы из меня за двадцать лет не сделали такого генерала? Вполне бы.

И ещё я присматриваюсь: Александр Иваныч совсем не дурной человек. Читая Гоголя, он добросердечно смеётся. Он и нас рассмешит, если в хорошем настроении. У него усмешка умная. Если б я захотел взрастить в себе ненависть к нему — вот когда лежим мы рядом на койках, я б не мог. Нет, не закрыто ему стать вполне хорошим человеком. Но — перестрадав. Перестрадав.

Павел Николаевич Зиновьев тоже не ходил в лагерную столовую и тоже хотел наладить, чтоб ему привозили обед в термосе. Отстать от Беляева, оказаться ниже — был ему нож острый. Но обстоятельства сильней: у Беляева не было конфискации имущества, у Зиновьева же частичная была. Деньги, сбережения — это у него всё, видимо, отгребли, а осталась только богатая хорошая квартира. Зато ж и рассказывал он

* Известный советский адвокат.

нам об этой квартире! — часто, подолгу, смакуя каждую подробность ванной, понимая, какое и у нас наслаждение должен вызвать его рассказ. У него даже был афоризм: с сорока лет человек столького стоит, какова у него квартира! (Всё это он рассказывал в отсутствие Беляева, потому что тот и слушать бы не стал, тот бы сам взялся рассказывать, только не о квартире, ибо считал себя интеллектуалом, а хотя бы о Судане снова.) Но, как говорил Павел Николаевич, жена больна, а дочь вынуждена работать — возить термос некому. Впрочем и передачи по воскресеньям ему привозили очень скромные. С гордостью оскудевшего дворянина вынужден был он нести своё положение. В столовую он всё-таки не ходил, презирая тамошнюю грязь и окружение чавкающей черни, но и баланду и кашу велел Прохорову носить сюда, в комнату, и здесь на плитке разогревал. Охотно бы обреза́л он и пайку с шести сторон, но другого хлеба у него не было, и он ограничивался тем, что терпеливо держал пайку над плиткой, по всем её шести граням прожаривая микробов, занесенных руками хлебореза и Прохорова. Он не ходил в столовую и даже иногда мог отказаться от баланды, но вот шляхетской гордости удержаться от мягкого попрошайничества здесь, в комнате, ему не хватало: «Нельзя ли маленький кусочек попробовать? Давно я этого не ел...»

Он вообще был преувеличенно мягок и вежлив, пока ничто его не царапало. Его вежливость была особенно заметна рядом с ненужными резкостями Беляева. Замкнутый внутренне, замкнутый внешне, с неторопливым прожёвыванием, с осторожностью в поступках,— он был подлинный человек в футляре по Чехову, настолько верно, что остального можно и не описывать, всё как у Чехова, только не школьный учитель, а генерал МВД. Невозможно было на мгновение занять электроплитку в те минуты, которые рассчитал для себя Павел Николаевич: под его змеиным взглядом вы сейчас же сдёргивали свой котелок, а если б нет — он тут же б и выговорил. На долгие воскресные дневные проверки во дворе я пытался выходить с книгой (подальше держась от литературы, всегда — с физикой), прятался за спинами и читал. О, какие мучения доставляло Павлу Николаевичу такое нарушение дисциплины! — ведь я читал *в строю,* в священном строю! ведь я этим подчёркивал свой вызов, бравировал разнузданностью. Он не осаживал меня прямо, но так взглядывал на меня, так мучительно кривился, так стонал и бурчал, да и другим придуркам так моё чтение было тошно, что пришлось мне отказаться от книги и по часу простаивать как дураку (а в комнате — там уж не почитаешь, там надо слушать рассказы). Как-то на развод опоздала одна из девиц-бухгалтерш стройконторы и тем задержала на пять минут вывод придурочьей бригады в рабочую зону — ну, вместо того, чтобы вывести бригаду в голове развода, вывели в конце. Дело было обычное, ни нарядчик, ни надзиратель даже не обратили внимания, но Зиновьев в своей особенной сизоватой шинели мягкого сукна, в своём строго надетом защитном картузе, давно без звёздочки, в очках, встретил опоздавшую гневным шипением: «Ка-ко-го чёрта вы опаздываете?! Из-за вас стоим!!» (Он не мог уже больше молчать! Он извёлся за эти пять минут! Он заболел!) Девица круто повернулась и с сияющими от наслаждения глазами отповедала ему: «Подхалим! Ничтожество! Чичиков! (Почему Чичиков? Наверно, спутала с Беликовым...) Заткни свою

лоханку!..», и ещё, и ещё, дальше уже на грани матерщины. Она управлялась только своим бойким остреньким язычком, она руки не подняла — но, казалось, невидимо хлещет его по щекам, потому что пятнами, пятнами красно вспыхивала его матовая девичья кожа, и уши налились до багрового цвета и дёргались губы, он нахохлился, но ни слова больше не вымолвил, не пытался поднять руку в защиту. В тот день он жаловался мне: «Что поделать с неисправимой прямотой моего характера! Моё несчастье, что я и здесь не отвык от дисциплины. Я вынужден делать замечания, это дисциплинирует окружающих.»

Он всегда нервничал на утреннем разводе — он скорее хотел прорваться на работу. Едва бригаду придурков пропускали в рабочую зону — он очень показно обгонял всех неспешащих, идущих вразвалку, и почти бежал в контору. Хотел ли он, чтоб это видело начальство? Не очень важно. Чтоб видели зэки, до какой степени он занят на работе? Отчасти — да. А главное и самое искреннее было — скорей отделиться от толпы, уйти из лагерной зоны, закрыться в тихой комнатке планового отдела и там...— там вовсе не делать той работы, что Василий Власов, не смышлять, как выручить рабочие бригады, а — целыми часами бездельничать, курить, мечтать ещё об одной амнистии и воображать себе другой стол, другой кабинет, со звонками вызова, с несколькими телефонами, с подобострастными секретаршами, с подтянутыми посетителями.

Мало мы знали о нём! Он не любил говорить о своём прошлом в МВД — ни о чинах, ни о должностях, ни о сути работы — обычная «стеснительность» бывших эмведешников. А шинель на нём была как раз такая сизая, как описывают авторы «Беломорканала», и не приходило ему в голову даже в лагере выпороть голубые канты из кителя и брюк. Года за два его сидки ему видимо ещё не пришлось столкнуться с настоящим лагерным хайлом, почуять бездну Архипелага. Наш-то лагерь ему конечно дали по выбору: его квартира была от лагеря всего в нескольких троллейбусных остановках, где-то на Калужской площади. И, не осознав донышка, как же враждебен он своему нынешнему окружению, он в комнате иногда проговаривался: то высказывал близкое знание Круглова (тогда ещё — не министра), то Френкеля, то — Завенягина, всё крупных гулаговских чинов. Как-то упомянул, что в войну руководил постройкой большого участка железной дороги Сызрань — Саратов, это значит во френкелевском ГУЛЖэДээСе. Что могло значить — руководил? Инженер он был никакой. Значит, начальник лагерного управления? И вот с такой высоты больновато грохнулся до уровня почти простого арестанта. У него была 109-я статья, для МВД это значило — *взял* не по чину. Дали 7 лет, как своему (значит, хапанул на все двадцать). По сталинской амнистии ему уже сбросили половину оставшегося, предстояло ещё два года с небольшим. Но он страдал — страдал, как от полной десятки.

Единственное окно нашей комнаты выходило на Нескучный сад. Совсем невдали от окна и чуть пониже колыхались вершины деревьев. Всё сменялось тут: мятели, таяние, первая зелень. Когда Павел Николаевич ничем в комнате не был раздражён и умеренно грустен, он становился у окна и, глядя на парк, напевал негромко, приятно:

«О, засни моё сердце глубоко!
Не буди, не пробудишь, что было...»

Вот поди ж ты! — вполне приятный человек в гостиной. А сколько арестантских братских ям он оставил вдоль своего полотна!..

Уголок Нескучного, обращённый к нашей зоне, отгораживался пригорками от гуляющих и был укромен — был бы, если не считать, что из наших окон смотрели мы, бритоголовые. На 1-е мая какой-то лейтенант завёл сюда, в укрытие, свою девушку в цветном платьи. Так они скрылись от парка, а нас не стеснялись, как взгляда кошки или собаки. Пластал офицер свою подружку по траве, да и она была не из застенчивых.

«Не зови, что умчалось далёко,
Не люби, что ты прежде любило.»

Вообще наша комнатка была как смоделирована. Эмведешник и генерал полностью нами управляли. Только с их разрешения мы могли пользоваться электроплиткой (она была *народная*), когда они её не занимали. Только они решали вопрос: проветривать комнату или не проветривать, где ставить обувь, куда вешать штаны, когда замолкать, когда спать, когда просыпаться. В нескольких шагах по коридору была дверь в большую общую комнату, там бушевала республика, там «в рот» и «в нос» слали все авторитеты,— здесь же были привилегии, и, держась за них, мы тоже должны были всячески соблюдать законность. летев в ничтожные маляры, я был бессловесен: я стал пролетарий, и в любую минуту меня можно было выбросить в общую. Крестьянин Прохоров, хоть и считался «бригадиром» производственных придурков, но назначен был на эту должность именно как прислужник — носить хлеб, носить котелки, объясняться с надзирателями и дневальными, словом делать всю грязную работу (это был тот самый мужик, который кормил двух генералов). Итак, мы вынужденно подчинялись диктаторам. Но где же была и на что смотрела великая русская интеллигенция?

Доктору Правдину (я ведь и фамилию не выдумываю!), невропатологу, врачу лагучастка, было семьдесят лет. Это значит, революция застала его уже на пятом десятке, сложившимся в лучшие годы русской мысли, в духе совестливости, честности и народолюбия. Как он выглядел! Огромная маститая голова с серебряной качающейся сединой, которой не дерзала касаться лагерная машинка (льгота от начальника санчасти). Портрет украсил бы обложку лучшего в мире медицинского журнала. Никакой стране не зазорно было бы иметь такого министра здравоохранения! Крупный, знающий себе цену нос внушал полное доверие к его диагнозу. Почтенно-солидны были все его движения. Так объёмен был доктор, что на одинарной металлической кровати почти не помещался, вывисал из неё.

Не знаю, каков он был невропатолог. Вполне мог быть и хорошим, но лишь в рыхлую обходительную эпоху и обязательно не в государственной больнице, а у себя дома, за медною дощечкой на дубовой двери под мелодичное позванивание пристенных стоячих часов, никуда не торопящийся и ничему, кроме совести своей, не подчинённый. Однако, с тех пор его крепко пугнули — перепугали на всю жизнь. Не знаю,

сидел ли он когда-нибудь прежде, таскали ли его на расстрел в гражданскую (дивного ничего тут нет), но его и без револьвера напугали достаточно. Довольно было ему поработать в амбулаториях, где требовалось пропускать по девять больных в час, где время было только — стукнуть раз молоточком по колену; посидеть членом ВТЭК (Врачебно-Трудовой Экспертной Комиссии), да членом курортной комиссии, да членом военкоматской, и всюду подписывать, подписывать, подписывать бумажки и знать, что каждая подпись — это твоя голова, что кого-то из врачей уже посадили, кому-то угрожали, а ты всё подписывай бюллетени, заключения, экспертизы, освидетельствования, истории болезни, и каждая подпись потрясение гамлетовское: освободить или не освободить? годен или не годен? болен или здоров? Больные умоляют в одну сторону, начальство жмёт в другую, перестращенный доктор терялся, сомневался, трепетал и раскаивался.

Но то всё было на воле, это любезные пустячки! А вот арестованный как враг народа, до смертного инфаркта напуганный следователем (воображаю, скольких человек, целый мединститут, он мог бы за собой потащить при таком страхе),— что был он теперь? Простой очередной приезд вольного начсанчасти ОЛПа, какого-то старого пьянчужки без врачебного образования, приводил Правдина в такое волнение и замешательство, что он не способен был прочесть на больничных карточках русского текста. Его сомнения теперь удесятерились, в лагере он пуще терялся и не знал: с температурою 37,7— можно ли освободить от одного дня работы? а вдруг будут ругать? — и приходил советоваться к нам в комнату. Он мог жить в равновесном покойном состоянии не более суток — суток после похвалы начальника лагеря или хотя бы от младшего надзирателя. За этой похвалой он 24 часа как бы чувствовал себя в безопасности, но со следующего утра неумолимая тревога опять вкрадывалась в него.— Однажды отправляли из лагеря очень спешный этап, так торопились, что устроить баню было некогда (ещё счастье, что не погнали голых в ледяную). Старший надзиратель пришёл к Правдину и велел написать справку, что этапируемые прошли санобработку. Как всегда Правдин подчинился начальству,— но что же с ним было потом! Придя в комнату, он опустился на кровать как подрезанный, он держался за сердце, стонал и не слушал наших успокоений. Мы заснули. Он курил папиросу за папиросой, бегал в уборную, наконец за полночь оделся и с безумным видом пошёл к дежурному надзирателю по прозвищу Коротышка — питекантропу неграмотному, но со звёздочкой на фуражке! — советоваться: что с ним будет теперь? за это преступление дадут или не дадут ему второй срок по 58-й? Иль только вышлют из московского лагеря в дальний? (Семья у него была в Москве, ему носили богатые передачи, он очень держался за наш лагерёк.)

Затруханный и запуганный, Правдин потерял волю во всём, даже в санитарной профилактике. Он и спросить уже не умел ни с поваров, ни с дневальных, ни со своей санчасти. В столовой было грязно, миски на кухне мылись плохо, в самой санчасти одеяла неизвестно когда вытряхивались — всё это он знал, но настоять на чистоте не мог. Только один пункт помешательства разделял он со всем лагерным начальством (да эту забаву знают многие лагеря) — ежедневное мытьё полов в жилых комнатах. Это выполнялось неуклонно. Воздух и постели не просыхали

из-за вечно-мокрых гниющих полов.— Правдина не уважал последний доходяга в лагере. На тюремном пути его не грабил и не обманывал только тот, кто не хотел. Лишь потому, что комната наша на ночь запиралась, целы были его вещи, разбросанные вокруг кровати, и не обчищена самая беспорядочная в лагере тумбочка, из которой всё вываливалось и падало.

Правдин был посажен на 8 лет по статьям 58-10 и 11, то есть как политик, агитатор и организатор,— но наивность недоразвитого ребёнка я обнаружил в его голове. Даже на третьем году заключения он всё ещё не дозрел до тех мыслей, которые на следствии за собою признал. Он верил, что все мы посажены временно, в виде шутки, что готовится великолепная щедрая амнистия, чтоб мы больше ценили свободу и вечно было благодарны Органам за урок. Он верил в процветание колхозов, в гнусное коварство плана Маршалла для закабаления Европы и в интриги союзников, рвущихся к третьей мировой войне.

Помню, однажды он пришёл просветлённый, сияющий тихим добрым счастьем, как приходят верующие люди после хорошей всенощной. На его крупном добром открытом лице всегда большие с отвисшими нижними веками глаза светились неземной кротостью. Оказывается, только что происходило совещание зонных придурков. Начальник лагпункта сперва орал на них, стучал кулаком и вдруг стих и сказал, что доверяет им *как своим верным помощникам*. И Правдин умилённо открыл нам: «Просто энтузиазм к работе появился после этих слов!» (Отдать справедливость генералу, тот презрительно скривил губы.)

Не лгала фамилия доктора: он был правдолюбив, он любил правду. Любил, но не был достоин её!

В нашей малой модели он смешон. Но если теперь от малой модели перейти к большой, так застынешь от ужаса. Какая доля нашей *духовной* России стала такой? — от единого только страха...

Правдин вырос в культурном кругу, вся жизнь его занята была умственной работой, он окружён был умственно-развитыми людьми,— но был ли он интеллигент, то есть человек с индивидуальным интеллектом?

С годами мне пришлось задуматься над этим словом — *интеллигенция*. Мы все очень любим относить себя к ней — а ведь не все относимся. В Советском Союзе это слово приобрело совершенно извращённый смысл. К интеллигенции стали относить всех, кто не работает (и боится работать) руками. Сюда попали все партийные, государственные, военные и профсоюзные бюрократы. Все бухгалтеры и счетоводы — механические рабы Дебета. Все канцелярские служащие. С тем большей лёгкостью причисляют сюда всех учителей (и тех, кто не более, как говорящий учебник, и не имеет ни самостоятельных знаний, ни самостоятельного взгляда на воспитание). Всех врачей (и тех, кто только способен петлять пером по истории болезни). И уж безо всякого колебания относят сюда всех, кто только ходит около редакций, издательств, кинофабрик, филармоний, не говоря уже о тех, кто публикуется, снимает фильмы или водит смычком.

А между тем ни по одному из этих признаков человек не может быть зачислен в интеллигенцию. Если мы не хотим потерять это понятие, мы не должны его разменивать. Интеллигент не определяется професси-

ональной принадлежностью и родом занятий. Хорошее воспитание и хорошая семья тоже ещё не обязательно выращивают интеллигента. Интеллигент — этот тот, чьи интересы и воля к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Интеллигент это тот, чья мысль не подражательна.

В нашей комнате уродов первыми интеллигентами считались Беляев и Зиновьев, а вот что касается десятника Орачевского и кладовщика-инструментальщика мужлана Прохорова, то они оскорбляли чувства этих высоких людей, и пока я был премьер-министром, генерал и эмведист успели обратиться ко мне, убеждая выбросить из нашей комнаты обоих этих мужиков — за их нечистоплотность, за их манеру ложиться в сапогах на кровать, да и вообще за неинтеллигентность (генералы вздумали избавиться от кормящего мужика!). Но мне понравились они оба — я сам в душе мужик — и в комнате создалось равновесие. (А вскоре и обо мне генералы, наверно, кому-нибудь говорили, чтобы — выбросить.)

У Орачевского действительно грубоватая была наружность, ничего «интеллигентного». Из музыки он понимал одни украинские песни, слыхом не слыхал о старой итальянской живописи, ни о новой французской. Любил ли книги, сказать нельзя, потому что в лагере у нас их не было. В отвлечённые споры, возникавшие в комнате, он не вмешивался. Лучшие монологи Беляева об Англо-Египетском Судане и Зиновьева о своей квартире он как бы и не слышал. Свободное время он отдавал тому, что мрачно молча подолгу думал, ноги уставив на перильца кровати, задниками сапог на самые перильца, а подошвами на генералов (не из вызова вовсе, но: подготовясь к разводу, или в обеденный перерыв или вечером, если ещё ожидается выходить,— разве может человек отказаться от удовольствия полежать? а сапоги снимать хлопотно, они на две портянки плотно натянуты). Туповато пропускал Орачевский и все самотерзания доктора. И вдруг, промолчав час или два, мог, совсем некстати тому, что происходит в комнате, трагически изречь: «Да! Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем Пятьдесят Восьмой выбраться на волю.» Наоборот, в практические споры — о свойствах бытовых вещей, о правильности бытового поведения, он мог со всем хохлацким упрямством ввязаться и доказывать запальчиво, что валенки портятся от сушки на печи, и что их полезнее и приятнее носить всю зиму не суша. Так что, конечно, какой уж там он был интеллигент!

Но изо всех нас он один был искренне предан строительству, один мог с интересом о нём говорить во внерабочее время. Узнав, что зэки умудрились сломать уже полностью поставленные межкомнатные перегородки и пустить их на дрова,— он охватил грубую голову грубыми руками и качался как от боли. Не мог он постичь туземного варварства! — может быть оттого, что сидел только год.— Пришёл кто-то и рассказал: уронили бетонную плиту с восьмого этажа. Все заахали: «Никого не убила??» А Орачевский: «Вы не видели, *как* она разбилась — по каким направлениям трещины?» (Плиты отливали по его чертежам, и ему надо было понять, хорошо ли ставил он арматуру.) — В декабрьскую стужу собрались в контору бригадиры и десятники греться, рассказывали разные лагерные сплетни. Вошёл Орачевский, снял варежку и торжественно, осторожно высвободил оттуда на стол замершую, но живую

оранжево-чёрную красавицу-бабочку: «Вот вам бабочка, пережившая 19-градусный мороз! Сидела на балке перекрытия.»

Все сошлись вокруг бабочки и замолчали. Тем счастливцам из нас, кто выживет, вряд ли кончить срок подвижней этой бабочки.

Самому Орачевскому дали только 5 лет. Его посадили за «лицепреступление» (точно по Оруэллу) — *за улыбку!* Он был преподавателем сапёрного училища. В учительской, показывая другому преподавателю что-то в «Правде», он улыбнулся. Того, другого, вскоре убили, и *о чём улыбнулся* Орачевский, так никто и не узнал. Но улыбку видели, и сам факт улыбки над центральным органом партии святотатственен! Затем Орачевскому предложили сделать политический доклад. Он ответил, что приказу подчинится, но доклад сделает *без настроения*. Это уж переполнило чашу!

Кто ж из двоих — Правдин или Орачевский, был поближе к интеллигенту?

Не миновать теперь сказать и о Прохорове. Это был дородный мужик, тяжелоступный, тяжёлого взгляда, приязни мало было в его лице, а улыбался он подумавши. Таких на Архипелаге зовут «волк серый». Не было в нём движения чем-то поступиться, добро кому-нибудь сделать. Но что мне сразу понравилось: Зиновьеву котелки, а Беляеву хлеб приносил он без угодливости, ложной улыбочки или хотя бы пустого слова, приносил как-то величественно, сурово, показывая, что служба службой, но и он не мальчик. Чтоб накормить своё большое рабочее тело, надо было ему много еды. За генеральскую баланду и кашу терпел он своё униженное положение, знал, что тут его презирают, круто не отвечал, но и *на цырлах* не бегал. * Он всех нас, он всех нас как голеньких тут понимал, да не приходило время высказать. Мне в Прохорове ощутилось, что он на камне строен, на таких плечах многое в народе держится. Никому он не спешит улыбнуться, хмуро смотрит, но и в пятку никогда не укусит.

Сидел он не по 58-й, но бытие понимал досконально. Он был немало лет председателем сельсовета под Наро-Фоминском, там тоже надо было уметь прокрутиться, и жестокость проявить и перед начальством устоять. Рассказывал он о своём председательстве так:

— Патриотом быть — значит, идти всегда впереди. Ясно, на всякие неприятности первым и наскочишь. Делаешь в сельсовете доклад, и хоть разговор в деревне больше материально сводится, но подкинет тебе какая-нибудь борода: а что такое пер-ма-нент-ная революция? Шут её знает, какая такая, знаю бабы в городе перманент носят, а не ответишь — скажут: вылез со свиным рылом в калашный ряд. А это говорю такая революция, которая вьётся, льётся, в руки не даётся,— поезжай вон в город у баб кудряшки посмотри, или на баранах. Когда с Макдональдом наши рассобачились, я в докладе власти поправил: «А вы б, говорю, товарищи, чужим кобелям меньше па хвост наступали.»

С годами во всю показуху нашей жизни он проник и сам в ней участвовал. Вызывал председателя колхоза и говорил: «Одноё доярку ты к сельхозвыставке на золотую медаль подготовь — так, чтобы дневной удой литров на шестьдесят!» И во всём колхозе сообща готовили такую

* Выражение объяснено в главе 19.

доярку, сыпали её коровам в ясли белковые корма н даже сахар. И вся деревня и весь колхоз знали, чего стоит та сельхозвыставка. Но сверху чудят, себя дурят — значнт, так хотят.

Когда к Наро-Фоминску подходил фронт, поручили Прохорову эвакуировать скот сельсовета. Но была эта мера, если разобраться, не против немцев, а против мужиков: это они оставались на голой земле без скота и без тракторов. Крестьяне скота отдавать не хотели, дрались (ждали, что колхозы, может, распадутся, и скот тогда им достанется) — едва Прохорова не убили.

Закатился фронт за их деревню — и замер на всю зиму. Артиллерист ещё с 1914, Прохоров без скота, с горя, прнмкнул к советской батарее и подносил снаряды, пока его не прогнали. С весны 1942 воротилась советская власть в их район, н стал Прохоров опять председателем сельсовета. Теперь вернулась ему полная сила рассчитаться со своими недругами и стать собакой пуще прежнего. И был бы благополучен по сей день. Но странно — он не стал. Сердце дрогнуло в нём.

Местность их была разорена, и председателю давали хлебные талоны: чуть подкармливать из пекарни погорелых и самых голодных. Прохоров же стал жалеть народ, перерасходовал талоны против инструкции и получил закон «семь восьмых», 10 лет. Макдональда ему простили за малограмотность, человеческого сожаленвя не простнли.

В комнате Прохоров любил так же молча часами лежать, как и Орачевский, с сапогами на перильцах кровати, смотря в облупленный потолок. Высказывался он только когда генералов не было. Мне удивительно нравились некоторые его рассуждения и выражения:

— Какую линию трудней провести — прямую или кривую? Для прямой приборы нужны, а кривую и пьяный ногой прочертит. Так и линия жизни.

— Деньги — они *двухэтажные* теперь.— (Как это метко! Прохоров к тому сказал, что у колхоза продукты забирают по одной цене, а продают людям совсем по другой. Но он видел и шире, «двухэтажность» денег во многом раскрывается, она идёт черезо всю жизнь, государство платит нам деньги по первому этажу, а расплачиваться мы везде должны по второму, для того и самим надо откуда-то по второму получать, иначе прогоришь быстро.)

— Человек не дьявол, а житья не даст,— ещё была его пословица.

И многое в таком духе, я очень жалею, что не сохранил.

Я назвал эту комнату — комнатой уродов, но ни Прохорова, ни Орачевского отнести к уродам не могу. Однако, из шести большинство уродов было, потому что сам-то я был кто ж, как не урод? В моей голове, хотя уже расклоченные и разорванные, а всё ещё плавали обрывки путаных верований, лживых надежд, мнимых убеждений. И разменивая уже второй год срока, я всё ещё не понимал перста судьбы, на что он показывал мне, швырнутому на Архипелаг. Я всё ещё поддавался первой поверхностной развращающей мысли, внушённой спецнарядчиком на Пресне: «только не попасть на общие! выжить!» Внутреннее развитие к общим работам не давалось мне легко.

Как-то ночью к вахте лагеря подошла легковая машина, вошёл надзиратель в нашу комнату и тряхнул генерала Беляева за плечо, велел собнраться «с вещами». Ошалевшего от торопливой побудки генерала увели. Из Бутырок он ещё сумел переслать нам записку: «Не падайте

духом! (То есть, очевидно, от его отъезда.) Если буду жив — напишу.» (Он не написал, но мы стороной узнали. Видимо, в московском лагере сочли его опасным. Попал он в Потьму. Там уже не было термосов с домашним супом, и, думается, пайку он уже не обрезал с шести сторон. А ещё через полгода дошли слухи, что он очень опустился в Потьме, разносил баланду, чтобы похлебать. Не знаю, верно ли; как в лагере говорится, за что купил, за то и продаю.)

Так вот не теряя времени, я на другое же утро устроился помощником нормировщика вместо генерала, так и не научась малярному делу. Но и нормированию я не учился, а только умножал и делил в своё удовольствие. Во время новой работы у меня бывал и повод пойти бродить по строительству и время посидеть на перекрытии восьмого этажа нашего здания, то есть как бы на крыше. Оттуда обширно открывалась арестантскому взору — Москва.

С одной стороны были Воробьёвы горы, ещё чистые. Только-только намечался, ещё не было его, будущий Ленинский проспект. В нетронутой первозданности видна была Канатчикова дача. По другую сторону — купола Новодевичьего, туша Академии Фрунзе, а далеко впереди за кипящими улицами, в сиреневой дымке — Кремль, где осталось только подписать уже готовую амнистию для нас.

Обречённым, искусительно показывался нам этот мир, в богатстве и славе его почти попираемый нашими ногами, а — навсегда недоступный.

Но как по-новичковски ни рвался я «на волю»,— город этот не вызывал у меня зависти и желания спорхнуть на его улицы. Всё зло, державшее нас, было сплетено здесь. Кичливый город, никогда ещё так, как после этой войны, не оправдывал он пословицы:

Москва слезам не верит!

А сейчас я нет-нет, да и пользуюсь этой редкой для бывшего зэка возможностью: побывать в с в о ё м лагере! Каждый раз волнуюсь. Для измерения масштабов жизни так это полезно — окунуться в безвыходное прошлое, почувствовать себя снова т е м. Где была столовая, сцена и КВЧ — теперь магазин «Спартак». Вот здесь, у сохранённой троллейбусной остановки, была внешняя вахта. Вон на третьем этаже окно нашей комнаты уродов. Вот линейка развода. Вот тут ходил башенный кран Напольной. Тут М. юркнула к Бершадеру. По асфальтовому двору идут, гуляют, разговаривают о мелочах — они не знают, что ходят по трупам, по нашим воспоминаниям. Им не представить, что этот дворик мог быть не частью Москвы в двадцати минутах езды от центра, а островочком дикого Архипелага, ближе связанного с Норильском и Колымой, чем с Москвой. Но и я уже не могу подняться на крышу, где ходили мы с полным правом, не могу зайти в те квартиры, где я шпаклевал двери и настилал полы. Я беру руки назад, как прежде, и расхаживаю по зоне, представляя, что выхода мне нет, только отсюда досюда, и куда завтра пошлют — я не знаю. И те же деревья Нескучного, теперь уже не отгороженные зоной, свидетельствуют мне, что помнят всё, и меня помнят, что так оно и было.

Я хожу так, арестантским прямым тупиком, с поворотами на концах,— и постепенно все сложности сегодняшней жизни начинают оплавляться как восковые.

Не могу удержаться, хулиганю: поднимаюсь по лестнице и на белом подоконнике, полмарша не дойдя до кабинета начальника лагеря, пишу чёрным: «121-й лагучасток».

Пройдут — прочтут, может — задумаются.

* * *

Хотя мы были и придурки, но — производственные, и не наша была комната главная, а над нами такая же, где жили придурки зонные и откуда триумвират бухгалтера Соломонова, кладовщика Бершадера

и нарядчика Бурштейна правил нашим лагерем. Там-то и решена была перестановка: Павлова от должности заведующего производством тоже уволить и заменить на Кукоса. И вот однажды этот новый премьер-министр въехал в нашу комнату (а Правдина перед тем, как он ни выслуживался, *шуранули* на этап). Недолго после того терпели и меня: выгнали из нормировочной и из этой комнаты (в лагере, падая в общественном положении, напротив, поднимаешься на вагонке), но пока я ещё был здесь, у меня было время понаблюдать Кукоса, неплохо дополнившего нашу маленькую модель ещё одной важной послереволюционной разновидности интеллигента.

Александр Фёдорович Кукос, тридцатипятилетний расчётливый хваткий делец (что называется «блестящий организатор»), по специальности инженер-строитель (но как-то мало он эту специальность выказывал, только логарифмической линейкой водил), имел десять лет по закону от 7 августа, сидел уже года три, в лагерях совершенно освоился, и чувствовал себя здесь так же нестеснённо, как и на воле. Общие работы как будто совершенно не грозили ему. Тем менее был он склонен жалеть бездарную массу, обречённую именно этим общим. Он был из тех заключённых, действия которых страшнее для зэков, чем действия заядлых хозяев Архипелага: схватив за горло, он уже не выпускал, не ленился. Он добивался уменьшения пайков (усугубления котловки), лишения свиданий, этапирования — только бы выжать из заключённых побольше. Начальство лагерное и производственное равно восхищалось им.

Но вот что интересно: все эти приёмы ему явно были свойственны ещё до лагеря. Это он на воле так научился *руководить*, и оказалось, что лагерю его метод руководства как раз под стать.

Познавать нам помогает сходство. Я быстро заметил, что Кукос очень напоминает мне кого-то. Кого же? Да Леонида З-ва, моего лубянского однокамерника. И главное, совсем не наружностью, нет, тот был кабановатый, этот стройный, высокий, джентльменистый. Но, сопоставленные, они позволяли прозреть сквозь них целое течение — ту первую волну собственной *новой* инженерии, которой с нетерпением ждали, чтобы поскорее старых «спецов» спихнуть с места, а со многими и расправиться. И они пришли, первые выпускники советских ВТУЗов! Как инженеры они и равняться не смели с инженерами прежней формации — ни по широте технического развития, ни по артистическому чутью и тяготению к делу. (Даже перед медведем Орачевским, тут же изгнанным из комнаты, блистающий Кукос сразу выявлялся болтуном.) Как претендующие на общую культуру, они были комичны. (Кукос говорил: «Моё любимое произведение — «Три цвета времени» Стендаля» (! — путал с книгой о Стендале). Неуверенно беря интеграл x^2dx, он во все тяжкие бросался спорить со мной по любому вопросу высшей математики. Он запомнил пять-десять школьных фраз на немецком языке и кстати и некстати их применял. Вовсе не знал английского, но упрямо спорил о правильном английском произношении, однажды слышанном им в ресторане. Была у него ещё тетрадь с афоризмами, он часто её подчитывал и подзубривал, чтобы при случае блеснуть.)

Но за всё то от них, никогда не видавших капиталистического прошлого, никак не заражённых его язвами, ожидалась республиканская

чистота, *наша* советская принципиальность. Прямо со студенческой скамьи многие из них получали ответственные посты, очень высокую зарплату, во время войны Родина освобождала их от фронта и не требовала ничего, кроме работы по специальности. И за то они были патриоты, хотя в партию вступали вяло. Чего не знали они — не знали страха классовых обвинений, поэтому не боялись в своих решениях оступиться, при случае защищали их и горлом. По той же причине не робели они и перед рабочими массами, напротив, имели к ним общую жестокую волевую хватку.

Но — и всё. И по возможности старались, чтобы восемью часами ограничивался их рабочий день. А дальше начиналась чаша жизни: артистки, «Метрополь», «Савой». Тут рассказы Кукоса и З-ва были до удивительности похожи. Вот рассказывает Кукос (не без привиранья, но в основном правда, сразу веришь) об одном рядовом воскресеньи лета 1943 года, рассказывает и весь светится, переживая заново:

— С вечера субботы закатываемся в ресторан «Прага». Ужин! Вы понимаете, что такое для женщины *ужин?* Женщине аб-солютно неважно, какой будет завтрак, обед и дневная работа. Ей важно: платье, туфли и ужин! В «Праге» затемнение, но можно подняться на крышу. Балюстрада. Ароматный летний воздух. Уснувший затемнённый Арбат. Рядом — женщина в *шёлковом* (это слово он всегда подчёркивает) платьи! Кутили всю ночь, и теперь пьём только шампанское! Из-за шпиля НКО выплывает малиновое солнце. Лучи, стёкла, крыши! Оплачиваем счёт. Персональная машина у входа! — вызвали по телефону. В открытые окна ветер рвёт и освежает. А на даче — сосновый лес! Вы понимаете, что такое утренний сосновый лес? Несколько часов сна за закрытыми ставнями. Около десяти просыпаемся — ломится солнце сквозь жалюзи. По комнате — милый беспорядок женской одежды. Лёгкий (вы понимаете, что такое *лёгкий?)* завтрак с красным вином на веранде. Потом приезжают друзья — речка, загорать, купаться. Вечером на машинах по домам. Если же воскресенье рабочее, то после завтрака часов в одиннадцать едешь поруководить.

И нам когда-нибудь, к о г д а - н и б у д ь можно будет друг друга понять?..

Он сидит у меня на кровати и рассказывает, размахивая кистями рук для большей точности пленительных подробностей, вертя головой от жгучей сладости воспоминаний. Вспоминаю и я одно за другим эти страшные воскресенья лета 1943 года.

4 июля. На рассвете вся земля затряслась левее нас на Курской Дуге. А при малиновом солнце мы уже читали падающие листовки: «Сдавайтесь! Вы испытали уже не раз сокрушительную силу германских наступлений!»

11 июля. На рассвете тысячи свистов разрезали воздух над нами — это начиналось наше наступление на Орёл.

— «Лёгкий завтрак»? Конечно, понимаю. Это — ещё в темноте, в траншее, одна банка американской тушёнки на восьмерых и — ура! за Родину! за Сталина!

Глава 10

ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ

Но в этом угрюмом мире, где всякий гложет, кто кого может; где жизнь и совесть человека покупаются за пайку сырого хлеба,— в этом мире что же и где же были *политические* — носители чести и света всех тюремных населений истории?

А мы уже проследили, как «политических» отъединили, удушили и извели.

Ну, а взамен их?

А — что взамен? С тех пор у нас нет политических. Да у нас их и быть не может. Какие ж «политические», если установилась всеобщая справедливость? В царских тюрьмах мы когда-то льготы политических использовали, и тем более ясно поняли, что их надо кончать. Просто — отменили политических. Нет и не будет!

А те, кого сажают, ну, это *каэры*, враги революции. С годами увяло слово «революция», хорошо, пусть будут *враги народа*, ещё лучше звучит. (Если бы счесть по обзору наших Потоков всех посаженных по этой статье, да прибавить сюда трёхкратное количество членов семей — изгоняемых, подозреваемых, унижаемых и теснимых, то с удивлением надо будет признать, что впервые в истории народ стал враг самому себе, зато приобрёл лучшего друга — тайную полицию.)

Известен лагерный анекдот, что осуждённая баба долго не могла понять, почему на суде прокурор и судья обзывали её «конный милиционер» (а это было «контрреволюционер»!). Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать этот анекдот за быль.

Портной, откладывая иголку, вколол её, чтоб не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58-я, 10 лет (террор).

Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. 58-я, 10 лет.

Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет, а уборщица хватилась (она за те листовки отвечала) — и нашла, у кого. КРА, контрреволюционная агитация, 10 лет.

Заведующий сельским клубом пошёл со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжёлый, большой. Надо бы на носилки поставить, да нести вдвоём, но заведующему клубом положение не дозволяет: «Ну, донесёшь как-нибудь потихоньку.» И ушёл вперёд. Старик-сторож долго не мог приладиться. Под бок возьмёт — не обхватит. Перед собой нести — спину ломит, назад кидает. Догадался всё же: снял ремень, сделал петлю Сталину на шею и так через плечо понёс по деревне. Ну, уж тут никто оспаривать не будет, случай чистый. 58-8, террор, 10 лет.

Матрос продал англичанину зажигалку - «Катюшу» (фитиль в трубке да кресало) как сувенир — за фунт стерлингов. Подрыв авторитета Родины, 58-я, 10 лет.

Пастух в сердцах выругал корову за непослушание «колхозной б...» — 58-я, срок.

Эллочка Свирская спела на вечере самодеятельности частушку, чуть *затрагивающую,*— да это мятеж просто! 58-я, 10 лет.

Глухонемой плотник — и тот получает срок за контрреволюционную агитацию! Каким же образом! Он стелет в клубе полы. Из большого зала всё вынесли, нигде ни гвоздика, ни крючка. Свой пиджак и фуражку он, пока работает, набрасывает на бюст Ленина. Кто-то зашёл, увидел. 58-я, 10 лет.

Перед войною в Волголаге сколько было их! — деревенских неграмотных стариков из Тульской, Калужской, Смоленской областей. Все они имели статью 58-10, то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили крестик. (Рассказ Лощилина.)

После же войны сидел я в лагере с ветлужцем Максимовым. Он служил с начала войны в зенитной части. Зимою собрал их политрук обсуждать с ними передовицу «Правды» (16 января 1942 года: «Расколошматим немца за зиму так, чтоб весной он не мог подняться!»). Вытянул выступать и Максимова. Тот сказал: «Это правильно! Надо гнать его, сволоча, пока вьюжит, пока он без валенок, хоть и мы часом в ботинках. А весной-то хуже будет с его техникой...» И политрук хлопал, как будто всё правильно. А в СМЕРШ вызвали и накрутили 8 лет — «восхваление немецкой техники», 58-я. (Образование Максимова было — один класс сельской школы. Сын его, комсомолец, приезжал в лагерь из армии, велел: «матке не описывай, что арестован, мол — в армии до сих пор, не пускают». Жена отвечает по адресу «почтовый ящик»: «да уж твои года все вышли, что ж тебя не пущают?» Конвойный смотрит на Максимова, всегда небритого, пришибленного да ещё глуховатого, и советует: «Напиши: дескать, в комсостав перешёл, потому задёрживают.» Кто-то на стройке рассердился на Максимова за его глуховатость и непонятливость, выругался: «испортили на тебя 58-ю статью!»)

Детвора в колхозном клубе баловалась, боролась, и спинами сорвали со стены какой-то плакат. Двум старшим дали срок по 58-й. (По Указу 1935 года дети несут по всем преступлениям уголовную ответственность с 12-летнего возраста!) Мотали и родителям, что подучили, подослали.

16-летний школьник-чувашонок сделал на неродном русском языке ошибку в лозунге стенгазеты. 58-я, 5 лет.

А в бухгалтерии совхоза висел лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселей. (Сталин)». И кто-то красным карандашом приписал «у» — мол, СталинУ жить стало веселей. Виновника не искали — посадили всю бухгалтерию.

Уж конечно карается 58-й сбор денег в цеху на помощь жене арестованного рабочего. (Да как ещё осмелились, спросить!)

Гесель Бернштейн и его жена Бессчастная получили 58-10, 5 лет за... домашний спиритический сеанс. Следователь добивался: сознайся, кто ещё крутил? (А в лагере прошёл слух, что Гесель сидит «за гадания» — и придурки несли ему хлеб и табак: погадай и мне!)

Вздорно? дико? бессмысленно? Ничуть не бессмысленно, вот это и есть «террор как средство убеждения». Есть пословица: бей сороку да ворону — добьёшься и до белого лебедя! Бей подряд — в конце концов угодишь и в того, в кого надо. Первый смысл массового террора в том

и состоит: подвернутся и погибнут такие сильные и затаённые, кого по одиночке не выловить никак.

И каких только не сочинялось глупейших обвинений, чтоб обосновать посадку случайного или намеченного лица!

Григорий Ефимович Генералов (из Смоленской области) обвинён: «пьянствовал потому, что ненавидел Советскую власть» (а он пьянствовал потому, что с женой жил плохо),— 8 лет.

Ирина Тучинская (невеста сына Софроницкого) арестована, когда шла из церкви (намечено было всю семью их посадить), и обвинена, что в церкви «молилась о смерти Сталина» (кто мог слышать ту молитву?!),— террор! 25 лет.

Александ Бабич обвинён, что «в 1916 году действовал против советской власти (!!) в составе турецкой армии» (а на сáмом деле был русским добровольцем на турецком фронте). Так как попутно он был ещё обвинён в намерении передать немцам в 1941 году ледокол «Садко» (на борт которого был взят пассажиром),— то и приговор был: расстрел! (Заменили на *червонец*, в лагере умер.)

Сергей Степанович Фёдоров, инженер-артиллерист, обвинён во «вредительском торможении проектов молодых инженеров»: ведь эти комсомольские активисты не имеют досуга дорабатывать свои чертежи. (Тем не менее этого отъявленного вредителя возили из Крестов... на военные заводы консультантом.)

Член-корреспондент Академии Наук Игнатовский арестован в Ленинграде в 1941 и обвинён, что завербован немецкой разведкой во время работы своей у Цейса в 1908 году! — притом с таким странным заданием: в ближайшую войну (которая интересует это поколение разведки) не шпионить, а только в следующую. Поэтому он верно служит царю в 1-ю мировую войну, потом советской власти, налаживает единственный в стране оптико-механический завод (ГОМЗ); избирается в Академию Наук,— а вот с начала второй войны пойман, обезврежен, расстрелян!

Впрочем, большей частью фантастические обвинения не требовались. Существовал простенький стандартный набор обвинений, из которых следователю достаточно было, как марки на конверт, наклеить одно-два:

— дискредитация Вождя;
— отрицательное отношение к колхозному строительству;
— отрицательное отношение к государственным займам (а какой нормальный относился к ним положительно!);
— отрицательное отношение к Сталинской конституции;
— отрицательное отношение к (очередному) мероприятию партии;
— симпатия к Троцкому;
— симпатия к Соединённым Штатам;
— и так далее, и так далее.

Наклеивание этих марок разного достоинства была однообразная работа, не требовавшая никакого искусства. Следователю нужна была только очередная жертва, чтобы не терять времени. Такие жертвы набирались по резвёрстке оперуполномоченными районов, воинских частей, транспортных отделений, учебных заведений. Чтоб не ломать головы и оперуполномоченным, очень кстати тут приходились доносы.

В борьбе друг с другом людей на воле доносы были сверхоружием, икс-лучами: достаточно было только направить невидимый лучик на врага — и он падал. Отказу не было никогда. Я для этих случаев не запоминал фамилий, но смею утверждать, что много слышал в тюрьме рассказов, как доносом пользовались в любовной борьбе: мужчина убирал нежелаемого супруга, жена убирала любовницу или любовница жену, или любовница мстила любовнику за то, что не могла оторвать его от жены.

Из марок больше всего шёл у следователей в ход *десятый пункт* — контрреволюционная (переименованная в антисоветскую) агитация. Если потомки когда-нибудь почитают следственные и судебные дела сталинского времени, они диву дадутся, что за неутомимые ловкачи были эти антисоветские агитаторы. Они агитировали иглой и рваной фуражкой, вымытыми полами (см. ниже) или нестиранным бельём, улыбкой или её отсутствием, слишком выразительным или слишком непроницаемым взглядом, беззвучными мыслями в черепной коробке, записями в интимный дневник, любовными записочками, надписями в уборных. Они агитировали на шоссе, на просёлочной дороге, на пожаре, на базаре, на кухне, за чайным домашним столом и в постели на ухо. И только непобедимая формация социализма могла устоять перед таким натиском агитации!

На Архипелаге любят шутить, что не все статьи уголовного кодекса *доступны*. Иной и хотел бы нарушить закон об охране социалистической собственности, да его к ней не подпускают. Иной, не дрогнув, совершил бы растрату — но никак не может устроиться кассиром. Чтоб убить, надо достать хотя бы нож, чтоб незаконно хранить оружие — надо его прежде приобрести, чтоб заниматься скотоложеством — надо иметь домашних животных. Даже и сама 58-я статья не так-то доступна: как ты изменишь родине по пункту «1-б», если не служишь в армии? как ты свяжешься по пункту «4» с мировой буржуазией, если живёшь в Ханты-Мансийске? как подорвёшь государственную промышленность и транспорт по пункту «7», если работаешь парикмахером? если нет у тебя хоть поганенького медицинского автоклавчика, чтоб он взорвался (инженер-химик Чудаков, 1948 год, «диверсия»)?

Но 10-й пункт 58-й статьи — ***общедоступен***. Он доступен глубоким старухам и двенадцатилетним школьникам. Он доступен женатым и холостым, беременным и невинным, спортсменам и калекам, пьяным и трезвым, зрячим и слепым, имеющим собственные автомобили и просящим подаяние. Заработать 10-й пункт можно зимой с таким же успехом, как и летом, в будний день, как и в воскресенье, рано утром и поздно вечером, на работе и дома, в лестничной клетке, на станции метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения.

Сравниться с 10-м пунктом по общедоступности мог только 12-й — *недонесение* или «знал — не сказал». Все те же, как выше сказано, могли получить этот пункт и во всех тех же условиях, но облегчение состояло в том, что для этого не надо было даже рта раскрывать, ни браться за перо. В бездействии-то пункт и настигал! А срок давался тот же: 10 лет и 5 «намордника».

Конечно, после войны 1-й пункт 58-й статьи — «измена родине»,

тоже не мог показаться труднодоступным. Не только все военнопленные, не только все оккупированные имели на него право, но даже те, кто мешкали с эвакуацией из угрожаемых районов, и тем выявляли своё *намерение* изменить родине. (Профессор математики Журавский просил на выезд из Ленинграда три места в самолёте: жене, больной свояченице и себе. Ему дали два, без свояченицы. Он отправил жену и свояченицу, сам остался. Власти не могли истолковать этот поступок иначе, как то, что профессор ждал немцев. 58-1-а через 19-ю, 10 лет.)

По сравнению с тем несчастным портным, клубным сторожем, глухонемым, матросом или ветлужцем, уже покажутся вполне законно осуждёнными:

— эстонец Энсельд, приехавший в Ленинград из независимой ещё Эстонии. У него отобрали письмо по-русски. Кому? от кого? «Я — честный человек, и не могу сказать». (Письмо было от В. Чернова к его родственникам.) Ах, сволочь, честный человек? Ну, езжай на Соловки!.. Так он же хоть письмо имел.

— Гиричевский. Отец двух фронтовых офицеров, он попал во время войны по трудмобилизации на торфоразработки и там порицал жидкий голый суп (так порицал-таки! рот-то всё же раскрывал!). Вполне заслуженно он получил за это 58-10, 10 лет. (Он умер, выбирая картофельную кожуру из лагерной помойки. В грязном кармане его нашли фотографию сына, грудь в орденах.)

— Нестеровский, учитель английского языка. У себя *дома,* за чайным столом рассказал жене и её лучшей подруге (так рассказал же! действительно!), как нищ и голоден приволжский тыл, откуда он только что вернулся. Лучшая подруга *заложила* обоих супругов: ему 10-й пункт, ей — 12-й, обоим по 10 лет. (А квартира? Не знаю, может быть — подруге?)

— Рябинин Н. И. В 1941, при нашем отступлении, прямо вслух заявил: надо было меньше песню петь — «нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим». Да подлеца такого расстрелять мало, а ему дали всего 10 лет!

— Реунов и Третюхин, коммунисты, стали беспокоиться, будто их оса в шею жалила, почему съезда партии долго не собирают, устав нарушают (будто их собачье дело!..). Получили по десятке.

— Фаина Ефимовна Эпштейн, поражённая преступностью Троцкого, спросила на партсобрании: «А зачем его выпустили из СССР?» (Как будто перед ней партия должна отчитываться. Да Иосиф Виссарионович может быть локти кусал!) За этот нелепый вопрос она заслуженно получила (и отсидела) один за другим т р и с р о к а. (Хотя никто из следователей и прокуроров не мог объяснить ей, в чём её вина.)

А Груша-пролетарка просто поражает тяжестью преступлений. Двадцать три года проработала на стекольном заводе, и никогда соседи не видели у неё икон. А перед приходом в их местность немцев она повесила иконы (да просто бояться перестала, ведь гоняли с иконами) и, что особенно отметило следствие по доносу соседок,— вымыла полы! (А немцы так и не пришли.) К тому ж около дома подобрала красивую листовку немецкую с картинкой и засунула её в вазочку на комоде. И всё-таки наш гуманный суд, учитывая пролетарское происхождение, дал Груше *только*: 8 лет лагеря да три года лишения прав. А муж её тем

временем погиб на фронте. А дочь училась в техникуме, но *кадры* всё допекали: «где твоя мать?» — и девочка отравилась. (Дальше смерти дочери Груша никогда не могла рассказывать — плакала и уходила.)

А что давать Геннадию Сорокину, студенту 3-го курса Челябинского пединститута, если он в литературном студенческом журнале (1946) написал собственных две статьи? Малую катушку, 10 лет.

А чтение Есенина? Ведь всё мы забываем. Ведь скоро объявят нам: «так не было, Есенин всегда был почитаемым народным поэтом». Но Есенин был — контрреволюционный поэт, его стихи — запрещённая литература. М. Я. Потапову в рязанском ГБ выставили такое обвинение: «как ты смел восхищаться (перед войной) Есениным, если Иосиф Виссарионович сказал, что самый лучший и талантливый — Маяковский? Вот твоё антисоветское нутро и сказалось.»

И уж совсем заядлым антисоветчиком выглядит гражданский лётчик, второй пилот «Дугласа». У него не только нашли полное собрание Есенина; он не только рассказывал, что крепко и сытно жили люди в Восточной Пруссии, пока мы туда не пришли,— но он на диспуте в лётной части вступил в публичный спор с Эренбургом по поводу Германии. (По тогдашней позиции Эренбурга можно догадаться, что лётчик предлагал быть с немцами помягче.) На диспуте — и вдруг публичный спор! Трибунал, 10 лет и 5 намордника.

В мемуарах Эренбурга не найдёшь следа таких пустяшных событий. Да он мог и не знать, что спорщика посадили. Он только ответил ему в тот момент достаточно по-партийному, потом забыл. Пишет Эренбург, что сам он «уцелел по лотерее». Эх, лотерейка-то была с номерами проверенными. Если вокруг *брали* друзей, так надо ж было вовремя переставать им звонить. Если дышло поворачивалось, так надо было и вертеться. Ненависть к немцам Эренбург уж настолько калил обезумело, что его Сталин одёрнул. Ощущая к концу жизни, что ты помогал утверждать ложь, не мемуарами надо было оправдываться, а сегодняшней смелой жертвой.

И. Ф. Липай в своём районе создал колхоз на год раньше, чем это было приказано начальством,— и совершенно добровольный колхоз! Так неужели же уполномоченный ГПУ Овсянников мог эту враждебную вылазку перетерпеть? Не надо мне твоего хорошего, делай моё плохое! Колхоз объявлен был кулацким, а самого Липая, подкулачника, потащили по кочкам...

Ф. В. Шавирин, рабочий, на партсобрании сказал вслух о «завещании Ленина». Ну, уж страшней этого и быть ничего не может, это уж — заклятый враг! Какие зубы на следствии сохранились, на Колыме в первый год потерял.

Вот какие ужасные встречались преступники по 58-й статье. А ведь ещё бывали злохидные, с подпольным вывертом. Например, Перец Герценберг, житель Риги. Вдруг переезжает в Литовскую Социалистическую Республику и там записывает себя польского происхождения. А сам — латышский еврей. Ведь здесь что особенно возмутительно: желание обмануть своё родное государство. Это значит, он рассчитал, что мы его в Польшу отпустим, а оттуда он в Израиль улизнёт. Нет уж, голубчик, не хотел в Риге — езжай в ГУЛАГ. Измена Родине через намерение, 10 лет.

А какие бывают скрытные! В 1937 среди рабочих завода «Большевик» (Ленинград) обнаружены бывшие ученики ФЗУ, которые в 1929 присутствовали на собрании, где выступал Зиновьев. (Нашлась регист-

рация присутствующих, приложенная к протоколу.) И 8 лет скрывали, прокрались в состав пролетариата. Теперь все арестованы и расстреляны. По какому-то же делу умудрились посадить трёх братьев Старостиных, футболистов, двух братьев Знаменских, бегунов,— не спасла и спортивная знаменитость.

Сказал Маркс: «государство калечит самого себя, когда оно делает из гражданина преступника». * И очень трогательно объяснил, как государство должно видеть в любом нарушителе ещё и человека с горячей кровью, и солдата, защищающего отечество, и члена общины, и отца семейства, «существование которого священно», и самое главное — гражданина. Но нашим юристам читать Маркса некогда, а он, если хочет, пусть наши инструкции почитает.

Воскликнут, что весь этот перечень — чудовищен? несообразен? Что поверить даже нельзя? Что Европа не поверит?

Европа конечно не поверит. Пока сама не *посидит* — не поверит. Она в наши глянцевые журналы поверила, а больше ей в голову не вобрать.

Да и мы лет пятьдесят назад — ни за что б не поверили. Да и сто лет назад бы не поверили.

* * *

В прежней России политические и обыватели были — два противоположных полюса в населении. Нельзя было найти более исключающих образов жизни и образов мышления.

В СССР обывателей стали грести как «политических».

И оттого политические сравнялись с обывателями.

Половина Архипелага была Пятьдесят Восьмая. А политических — не было... (Если б столько было да настоящих политических — так на какой *скамье* уже бы давно та власть сидела!)

В эту Пятьдесят Восьмую угожал всякий, на кого сразу не подбиралась бытовая статья. Шла тут мешанина и пестрота невообразимая.

Например, молодой американец, женившийся на советской и арестованный в первую же ночь, проведенную вне американского посольства (Морис Гершман). Или бывший сибирский партизан Муравьёв, известный своими расправами над белыми (мстил за брата),— с 1930 не вылезал из ГПУ (началось из-за золота), потерял здоровье, зубы, разум и даже фамилию (стал — Фокс). Или проворовавшийся советский интендант, бежавший от уголовной кары в западную зону Австрии, но там — вот насмешка! — не нашедший себе применения. Тупой бюрократ, он хотел и там высокого положения, но как его добиться в обществе, где соревнуются таланты? Решили вернуться на родину. Здесь получил 25 по совокупности — за хищение и подозреие в шпионаже. И рад был: здесь дышится привычней!

Примеры такие бессчётны. Зачислить в Пятьдесят Восьмую был простейший из способов похерить человека, убрать быстро и навсегда.

А ещё туда же шли и просто семьи, особенно жёны, Че-эСы. Сейчас привыкли, что в ЧС забирали жён крупных партийцев, но этот обычай установился поране, так чистили и дворянские семьи, и заметные интеллигентские, и лиц духовных. (И даже в 50-х годах: историк Х-цев за принципиальные ошибки, допущенные в книге, получил 25 лет. Но надо ж дать и жене? Десятку. Но зачем же оставлять мать-старуху в 75 лет

* Маркс и Энгельс. Собр. соч., т. 1, стр. 233, изд. 1928.

и 16-летнюю дочь? — за недонесение и им. И всех четверых разослали в разные лагеря без права переписки между собой.)

Чем больше мирных, тихих, далёких от политики и даже неграмотных людей, чем больше людей, до ареста занятых только своим бытом, втягивалось в круговорот незаслуженной кары и смерти,— тем серей и робче становилась Пятьдесят Восьмая, теряла всякий и последний политический смысл и превращалась в потерянное стадо потерянных людей.

Но мало сказать, *из кого* была Пятьдесят Восьмая,— ещё важней, как её содержали в лагере.

Эта публика с первых лет революции была обложена вкруговую: режимом и формулировками юристов.

Возьмём ли мы приказ ВЧК № 10 от 8. 1. 21, мы узнаем, что только рабочего и крестьянина нельзя арестовать без основательных данных — а интеллигента стало быть можно, ну, например по антипатии. Послушаем ли мы Крыленку на V съезде работников юстиции в 1924, мы узнаем, что «относительно осуждённых из классово-враждебных элементов... исправление бессильно и *бесцельно*». В начале 30-х годов нам ещё раз напомнят, что сокращение сроков классово-чуждым элементам есть правооппортунистическая практика. И так же «оппортунистична установка, что в тюрьме все равны, что классовая борьба как бы прекращается с момента вынесения приговора, после чего классовый враг начинает «исправляться». *

Если это всё вместе собрать, то вот: брать вас можно ни за что, исправлять вас бесцельно, в лагере определим вам положение униженное и доймём вас там классовой борьбой.

Но как же это понять — в лагере да ещё классовая борьба? Ведь действительно, вроде — все арестанты равны. Нет, не спешите, это представление буржуазное! Для того-то и отобрали у политической Статьи право содержаться отдельно от уголовников, чтоб теперь этих уголовников да ей же на шею! (Это те изобретали люди, кто в царских тюрьмах поняли силу возможного политического объединения, политического протеста и опасность её для режима.)

Да вот Ида Авербах тут как тут, она же нам и разъяснит. «Работа по политическому воспитанию и перевоспитанию начинается с классового расслоения заключённых», «опереться на наиболее социально-близкие пролетариату слои» ** (а какие ж это — близкие? да «бывшие рабочие», то есть *воры*, вот их-то и натравить на Пятьдесят Восьмую!)... «перевоспитание *невозможно без разжигания политических страстей*».

Так что когда жизнь нашу полностью отдавали во власть воров — то не был произвол ленивых начальников на глухих лагучастках, то была высокая Теория!

«Классово-дифференцированный подход к режиму... непрерывное административное воздействие на классово-враждебные элементы» — да влача свой бесконечный срок, в изорванной телогрейке и с головой потупленной — вы хоть можете себе это вообразить? — *непрерывное административное воздействие* на вас?!

* Сборник «От тюрем...», стр. 384.

** И. Авербах. «От преступления к труду», стр. 35.

Всё в той же замечательной книге мы читаем даже перечень приёмов, как создать Пятьдесят Восьмой невыносимые условия в лагере. Тут не только сокращать ей свидания, передачи, переписку, право жалобы, право передвижения внутри (!) лагеря. Тут и создавать из классово-чуждых отдельные бригады, *ставить их в более трудные условия* (от себя поясню: обманывать их при замере выполненных работ), а когда они не выполнят норму — объявить это вылазкой классового врага. (Вот и колымские расстрелы целыми бригадами.) Тут и частные творческие советы: кулаков и подкулачников (то есть лучших сидящих в лагере крестьян, во сне видящих крестьянскую работу) — не посылать на сельхозработы! Тут и: высококвалифицированному классово-враждебному элементу (то есть инженерам) не доверять никакой ответственной работы «без предварительной проверки». (Но кто в лагере настолько квалифицирован, чтобы проверить инженеров? очевидно, воровская лёгкая кавалерия от КВЧ, нечто вроде хунвейбинов). Этот совет трудно выполним на каналах: ведь шлюзы сами не проектируются, трасса сама не ложится, тогда Авербах просто умоляет: пусть хоть шесть месяцев после прибытия в лагерь специалисты проводят на общих! (А для смерти больше не нужно.) Мол тогда, живя не в интеллигентском привилегированном бараке, «он испытывает воздействие коллектива», «контрреволюционеры видят, что массы против них и презирают их».

И как удобно, владея классовой идеологией, выворачивать всё происходящее. Кто-то устраивает «бывших» и интеллигентов на придурочьи посты? — значит тем самым он «посылает на самую тяжёлую работу лагерников из среды трудящихся». Если в каптёрке работает бывший офицер, и обмундирования не хватает — значит, он «сознательно отказывает». Если кто-то сказал рекордистам: «остальные за вами не угонятся» — значит, он классовый враг! Если вор напился, или бежал, или украл,— разъясняют ему, что это не он виноват, что это классовый враг его напоил, или подучил бежать, или подучил украсть (интеллигент подучил вора украсть! — это совершенно серьёзно пишется в 1936 году). А если сам «чуждый элемент даёт хорошие производственные показатели» — это он «делает в целях маскировки»!

Круг замкнут. Работай или не работай, люби нас или не люби — мы тебя ненавидим и воровскими руками уничтожим!

И вздыхает Петр Николаевич Птицын (посидевший по 58-й): «А ведь настоящие преступники не способны к подлинному труду. Именно неповинный человек отдаёт себя полностью, до последнего вздоха. Вот драма: враг народа — друг народа.»

Но — не угодна жертва твоя.

«Неповинный человек»! — вот главное ощущение того эрзаца политических, который нагнали в лагеря. Вероятно это небывалое событие в мировой истории тюрем: когда *миллионы* арестантов сознают, что они — правы, все правы и никто не виновен. (С Достоевским сидел на каторге о д и н невинный!)

Однако, эти толпы случайных людей, согнанные за проволоку не по закономерности убеждений, а швырком судьбы, отнюдь не укреплялись сознанием своей правоты — оно, может быть, гуще угнетало их нелепостью положения. Больше держась за свой прежний быт, чем за какие-либо убеждения, они отнюдь не проявляли готовности к жертве, ни

единства, ни боевого духа. Они ещё в тюрьмах целыми камерами доставались на расправу двум-трём сопливым блатным. Они в лагерях уже вовсе были подорваны, они готовы были только гнуться под палкой нарядчика и блатного, под кулаком бригадира, они оставались способны только усвоить лагерную философию (разъединённость, каждый за себя и взаимный обман) и лагерный язык.

Попав в общий лагерь в 1938, с удивлением смотрела Е. Олицкая глазами социалистки, знавшей Соловки и изоляторы, на эту Пятьдесят Восьмую. Когда-то, на её памяти, политические всем делились, а сейчас каждый жил и жевал за себя, и даже «политические» торговали вещами и пайками!..

Политическая шпана — вот как назвала их (нас) Анна Скрипникова. Ей самой ещё в 1925 достался этот урок: она пожаловалась следователю, что её однокамерниц начальник Лубянки таскает за волосы. Следователь рассмеялся и спросил: «А вас тоже таскает?» — «Нет, но моих товарищей!» И тогда он внушительно воскликнул: «Ах, как страшно, что вы протестуете! *Оставьте эти русские интеллигентские никчемные замашки! Они устарели. Заботьтесь только о себе!* — иначе вам плохо придётся.»

А это ж и есть блатной принцип: тебя не гребут — не подмахивай! Лубянский следователь 1925 года уже имел философию блатного!

Так на вопрос, дикий уху образованной публики: «может ли политический украсть?» — мы встречно удивимся: «а почему бы нет?»

«А может ли он донести?» — «А чем он хуже других?»

И когда по поводу «Ивана Денисовича» мне наивно возражают: как это у вас политические выражаются блатными словами? — я отвечаю: а если на Архипелаге другого языка нет? Разве политическая шпана может противопоставить уголовной шпане свой язык?

Им же и втолковывают, что они — уголовные, самые тяжкие из уголовных, а не уголовных у нас и в тюрьму не сажают!

Перешибли хребет Пятьдесят Восьмой — и политических нет. Влитых в свинское пойло Архипелага, их гнали умереть на работе и кричали им в уши лагерную ложь, что каждый каждому враг!

Ещё говорит пословица: возьмёт голод — появится голос. Но у нас, но у наших туземцев — не появлялся. Даже от голода.

А ведь как мало, как мало им надо было, чтобы спастись! Только: не дорожить жизнью, уже всё равно потерянной, и — сплотиться.

Это удавалось иногда цельным иностранным группам, например японцам. В 1947 году на Ревучий, штрафной лагпункт Красноярских лагерей, привезли около сорока японских офицеров, так называемых «военных преступников» (хотя в чём они провинились перед нами — придумать нельзя). Стояли сильные морозы. Лесоповальная работа, непосильная даже для русских. *Отрицаловка* * быстро раздела кое-кого из них, несколько раз упёрла у них весь лоток с хлебом. Японцы в недоумении ожидали вмешательства начальства, но начальство, конечно, и внимания не обращало. Тогда их бригадир полковник Кондо с двумя офицерами, старшими по званию, вошёл вечером в кабинет

---

* Отрицаловка: отрицаю всё, что требует начальство,— режим и работу. Обычно это — сильное ядро блатных.

начальника лагпункта и предупредил (русским языком они прекрасно владели), что если произвол с ними не прекратится, то завтра на заре двое офицеров, изъявивших желание, сделают харакири. И это — только начало. Начальник лагпункта (дубина Егоров, бывший комиссар полка) сразу смекнул, что на этом можно погореть. Двое суток японскую бригаду не выводили на работу, нормально кормили, потом увезли со штрафного.

Как же мало нужно для борьбы и победы — *только* жизнью не дорожить! жизнью-то всё равно уже пропащей.

Но, постоянно перемешивая с блатными и бытовиками, нашу Пятьдесят Восьмую никогда не оставляли одну,— чтоб не посмотрели друг другу в глаза и не осознали бы вдруг — *кто мы*. А те светлые головы, горячие уста и твёрдые сердца, кто мог бы стать тюремными и лагерными вожаками,— тех давно по спецпометкам на делах — отделили, заткнули кляпами рты, спрятали в специзоляторах, расстреляли в подвалах.

* * *

Однако, по важной особенности жизни, замеченной ещё в учении Дао, мы должны ожидать, что когда не стало политических — тогда-то они и появились.

Я рискну теперь высказать, что в советское время истинно-политические не только были, но:

1. Их было *больше*, чем в царское время, и
2. Они проявили стойкость и мужество *бóльшие*, чем прежние революционеры.

Это покажется в противоречии с предыдущим, но — нет. Политические в царской России были в очень выгодном положении, очень на виду — с мгновенными отголосками в обществе и прессе. Мы уже видели (Часть Первая, гл. 12), что в Советской России социалистам пришлось несравнимо трудней.

Да не одни ж социалисты были теперь политические. Только сплеснутые ушатами в пятнадцатимиллионный уголовный океан, они невидимы и неслышимы были нам. Они были — немы. Немее всех остальных. Рыбы — их образ.

Рыбы, символ древних христиан. И христиане же — их главный отряд. Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни составить подпольного воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагеря на мучение и смерть — только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, *за что* сидят, и были неколебимы в своих убеждениях! Они единственные, может быть, к кому совсем не пристала лагерная философия и даже язык. Это ли не политические? Нет уж, их шпаной не назовёшь.

И женщин среди них — особенно много. Говорит Дао: когда рушится вера — тогда-то и есть подлинно-верующие. За просвещённым зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках,— мы проглядели, что у грешной православной церкви выросли всё-таки дочери, достойные

первых веков христианства,— сёстры тех, кого бросали на арены ко львам.

Христиан было множество, этапы и могильники, этапы и могильники,— кто сочтёт эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая, как свеча, только в самой близи от себя. Это были лучшие христиане России. Худшие все — дрогнули, отреклись или перетаились.

Так это ли — не *больше*? Разве когда-нибудь царская Россия знала столько политических? Она и считать не умела в десятках тысяч.

Но так чисто, так без свидетелей сработано удушение, что редко выплывет нам рассказ об одном или другом.

Архиерей Преображенский (лицо Толстого, седая борода). Тюрьма — ссылка — лагерь, тюрьма — ссылка — лагерь (Большой Пасьянс). После такого многолетнего изнурения в 1943 вызван на Лубянку (по дороге блатные сняли с него камилавку). Предложено ему — войти в Синод. После стольких лет, кажется, можно бы себе разрешить отдохнуть от тюрьмы? Нет, он отказывается: это — не чистый Синод, не чистая церковь. И — снова в лагерь.

А Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877 — 1961), епископ Лука и автор знаменитой «Гнойной хирургии»? Его жизнеописание, конечно, будет составлено, и не нам здесь писать о нём. Этот человек избывал талантами. До революции он уже прошёл по конкурсу в Академию Художеств, но оставил её, чтобы лучше служить человечеству — врачом. В госпиталях первой мировой войны он выдвинулся как искусный хирург-глазник, после революции вёл ташкентскую клинику, весьма популярную по всей Средней Азии. Гладчайшая карьера развёртывалась перед ним, какой и шли наши современные преуспевшие знаменитости,— но Войно-Ясенецкий ощутил, что служение его недостаточно, и принял сан священника. В операционной он повесил икону и читал студентам лекции в рясе с наперсным крестом (1921). Ещё патриарх Тихон успел назначить его ташкентским епископом. В 20-е годы Войно-Ясенецкий сослан был в Туруханский край, хлопотами многих возвращён, но уже заняты были и его врачебная кафедра и его епархия. Он частно практиковал (с дощечкою «епископ Лука»), валили валом больные (и кожаные куртки тайком), а избытки средств раздавал бедным.

Примечательно, как его убрали. Во вторую ссылку (1930, Архангельск) он послан был не по 58-й статье, а — «за подстрекательство к убийству» (вздорная история, будто он влиял на жену и тёщу покончившего с собой физиолога Михайловского, уже в безумии шприцевавшего трупы растворами, останавливающими разложение, а газеты шумели о «триумфе советской науки» и рукотворном «воскрешении»). Этот административный приём заставляет нас ещё менее формально уразуметь, кто же такие истинно-политические. Если не борьба с режимом, то нравственное или жизненное противостояние ему — вот главный признак. А прилепка «статьи» не говорит ни о чём. (Многие сыновья раскулаченных получали воровские статьи, но выявляли себя в лагерях истинно-политическими.)

В архангельской ссылке Войно-Ясенецкий разработал новый метод лечения гнойных ран. Его вызывали в Ленинград, и Киров уговаривал его снять сан, после чего тут же предоставлял ему институт. Но упорный епископ не согласился даже на печатание своей книги без указания

в скобках сана. Так без института и без книги он окончил ссылку в 1933, воротился в Ташкент, там получил третью ссылку в Красноярский край. С начала войны он работал в сибирских госпиталях, применил свой метод лечения гнойных ран — и это привело его к Сталинской премии. Он согласился получать её только в полном епископском облачении! (На вопросы о его биографии студентам мединститутов отвечают сегодня: «о нём нет никакой литературы».)

А инженеры? Сколькие среди них, не подписавшие глупых и гнусных признаний во вредительстве, рассеяны и расстреляны? И какой звездой блещет среди них Пётр Акимович Пальчинский (1875 — 1929)! Это был инженер-учёный с широтой интересов поразительной. Выпускник (1900) Горного института, выдающийся горняк, он, как мы видим из списка его трудов, изучал и оставил работы по общим вопросам экономического развития, о колебаниях промышленных цен, об экспорте угля, об оборудовании и работе торговых портов Европы, экономических проблемах портового хозяйства, о технике безопасности в Германии, о концентрации в германской и английской горной промышленности, о горной экономике, о восстановлении и развитии промышленности стройматериалов в СССР, об общей подготовке инженеров в высших школах — и сверх того работы по собственно-горному делу, описание отдельных районов и отдельных месторождений (и ещё не все работы известны нам сейчас). Как Войно-Ясенецкий в медицине, так горя бы не знал и Пальчинский в своём инженерном деле; но как тот не мог не содействовать вере, так этот не мог не вмешаться в политику. Ещё студентом Горного института Пальчинский числился у жандармов «вожаком движения», в 1900 председательствовал на студенческой сходке. Уже инженером в 1905 в Иркутске занимал видное место в революционных волнениях и был по «делу об Иркутской республике» осуждён на каторжные работы. Он бежал, уехал в Европу. Годы эмиграции он совершенствовался по нескольким инженерным профилям, изучил европейскую технику и экономику, но не упускал из виду и программу народных изданий «для проведения анархистских идей в массах». В 1913, амнистированный и возвращаясь в Россию, он писал Кропоткину: «в виде программы своей деятельности в России я поставил... всюду, где был бы в состоянии, принять участие в развитии производительных сил страны вообще и в развитии общественной самодеятельности в самом широком смысле этого слова». * В первый же объезд крупных русских центров ему наперебой предлагали баллотироваться в управляющие делами совета съезда горнопромышленников, предоставляли «блестящие директорские места в Донбассе», консультантские посты при банках, чтение лекций в Горном институте, пост директора Горного департамента. Мало было в России работников с такой энергией и такими широкими знаниями.

И какая же судьба ждала его дальше? Уже упоминалось (Часть Первая, гл. 10), что он стал в войну товарищем председателя Военно-Промышленного комитета, а после Февральской революции — товарищем министра торговли и промышленности. Как самый, очевидно, энергичный из членов безвольного Временного правительства, Пальчинский побыл даже генерал-губернатором Петрограда, в октябрьские

---

* Письмо Кропоткину 20.2.1913, ЦГАОР, ф. 1129, оп. 2, ед. хр. 1936.

дни — начальником обороны Зимнего дворца. Немедленно же он был посажен в Петропавловку, просидел там 4 месяца, правда отпущен. В июне 1918 снова арестован без предъявления какого-либо обвинения. 6 сентября 1918 включён в список 122 видных заложников («если... будет убит ещё хоть один из советских работников, нижеперечисленные заложники будут расстреляны», ПетроЧК, председатель Г. Бокий, секретарь А. Иоселевич *). Однако, не был расстрелян, а в конце 1918 даже и освобождён из-за неуместного вмешательства швейцарского социал-демократа Карла Моора (изумлённого, каких людей мы гноим в тюрьме). С 1920 он — профессор Горного института, навещает и Кропоткина в Дмитрове, после скорой его смерти создаёт комитет по (неудавшемуся) увековечиванию его памяти — и вскоре же, за это или не за это, снова посажен. В архиве сохранился любопытный документ об освобождении Пальчинского из этого третьего советского заключения — письмо в Московский Ревтрибунал от 16 января 1922:

«Ввиду того, что постоянный консультант Госплана инженер П. А. Пальчинский 18 января с. г. в три часа дня выступает в качестве докладчика в Южбюро по вопросу о восстановлении южной металлургии, имеющей особо важное значение в настоящий момент, президиум Госплана просит Ревтрибунал освободить тов. Пальчинского к указанному выше часу для исполнения возложенного на него поручения.

Пред. Госплана Кржижановский.» **

Просит (и довольно бесправно). И только потому, что южная металлургия — «особо важное значение в настоящий момент»... и только — «для исполнения поручения», а там — хоть пропади, хоть забирайте в камеру назад.

Нет, Пальчинскому дали ещё поработать над восстановлением горной добычи в СССР. После героической тюремной стойкости его расстреляли без суда только в 1929 году.

Надо совсем не любить свою страну, надо быть ей чужаком, чтобы расстреливать гордость нации — её сгущённые знания, энергию и талант!

Да не то же ли самое и через 12 лет с Николаем Ивановичем Вавиловым? Разве Вавилов — не подлинный политический (по горькой нужде)? За 11 месяцев следствия он перенёс 400 допросов. И на суде (9 июля 1941) не признал обвинений!

А безо всякой славы мировой — гидротехник профессор Родионов (о нём рассказывает Витковский). Попав в заключение, он *отказался* работать по специальности — хотя это самый лёгкий был для него путь. И тачал сапоги. Разве это — не подлинный политический? Он был мирный гидротехник, он не готовился к борьбе, но если против тюремщиков он упёрся в своих убеждениях — разве он не истый политический? Какая ему ещё партийная книжка?

Как внезапно звезда ярчеет в сотни раз — и потухает, так человек, не расположенный быть политическим, может дать короткую сильную

* «Петроградская правда», 6.9.18, № 193.
** ЦГАОР, ф. 3348, ед. хр. 167, лист 32.

вспышку в тюрьме и за неё погибнуть. Обычно мы не узнаём этих случаев. Иногда о них расскажет свидетель. Иногда лежит блеклая бумажка и по ней можно строить только предположения:

Яков Ефимович Почтарь, рожд. 1887, беспартийный, врач. С начала войны — на 45-й авиабазе Черноморского флота. Первый приговор военного трибунала Севастопольской базы (17 ноября 1941) — 5 лет ИТЛ. Кажется очень благополучно. Но что это? 22-го ноября — второй приговор: расстрел. И 27 ноября расстреляли. Что произошло в роковые пять дней между 17-м и 22-м? Вспыхнул ли он, как звезда? Или просто судьи спохватились, что мало? (По первому делу он теперь реабилитирован. Значит, если бы не второе...?)

А троцкисты? Чистокровные политические, этого у них не отнять.

(Мне кричат! мне колокольчиком звонят: станьте на место! Говорите о единственных политических! — о несокрушимых коммунистах, кто и в лагере продолжал свято верить...— хорошо, отведём им следующую отдельную главу.)

Историки когда-нибудь исследуют: с какого момента у нас потекла струйка *политической молодёжи*? Мне кажется, с 43 — 44 года (я не имею в виду молодёжи социалистов и троцкистов). Почти школьники (вспомним «демократическую партию» 1944 года) вдруг задумали искать платформу, отдельную от той, что им усиленно предлагают, подсовывают под ноги. Ну, кем же их ещё назвать?

Только мы и о них ничего не знаем и не узнаем.

А если 22-летний Аркадий Белинков садится в тюрьму за свой первый роман «Черновик чувств» (1943), не напечатанный, конечно, а потом в лагере пишет ещё (но на грани умирания доверяет стукачу Кермайеру и получает новый срок),— неужели мы откажем ему в звании политического?

В 1950 году студенты ленинградского механического техникума создали партию с программой и уставом. Многих расстреляли. Рассказал об этом Арон Левин, получивший 25 лет. Вот и всё, придорожный столбик.

А что нашим современным политическим нужны стойкость и мужество несравненно бóльшие, чем прежним революционерам, это и доказывать не надо. Прежде за бóльшие действия присуждались лёгкие наказания, и революционеры не должны были быть уж так смелы: в случае провала они рисковали только собой (не семьёй!), и даже не головой, а — небольшим сроком.

Что значило до революции расклеить листовки? Забава, всё равно, что голубей гонять, не получишь и трёх месяцев срока. Но когда пять мальчиков группы Владимира Гершуни готовят листовки: «наше правительство скомпрометировало себя»,— на это нужна примерно та же решимость, что пяти мальчикам группы Александра Ульянова для покушения на царя.

И как это самовозгорается, как это пробуждается само в себе! В городе Ленинске-Кузнецке — единственная мужская школа. С 9-го класса пятеро мальчиков (Миша Бакст, их комсорг; Толя Тарантин, тоже комсомольский активист; Велвел Рейхтман, Николай Конев и Юрий Аникаков) теряют беззаботность. Они не терзаются девочками, ни новыми танцами, они оглядываются на дикость и пьянство в своём

городе и долбят, и листают свой учебник истории, пытаясь как-то связать, сопоставить. Перейдя в 10-й класс, перед выборами в местные советы (1950 год), они печатными буквами выводят свою первую (и последнюю) простоватую листовку:

> «Слушай, рабочий! Разве мы живём сейчас той жизнью, за которую боролись и умирали наши деды, отцы и братья? Мы работаем — а получаем жалкие гроши, да и те зажимают... Почитай и подумай о своей жизни...»

Они сами тоже только думают — и поэтому ни к чему не призывают. (В плане у них был — цикл таких листовок и сделать гектограф самим.)

Клеили так: шли ночью по городу гурьбой, один налеплял четыре комка хлебного мякиша, другой — на них листовку.

Ранней весной к ним в класс пришёл новый какой-то педагог и предложил... заполнить анкеты печатным почерком. * Умолял директор не арестовывать их до конца учебного года. Сидя уже под следствием, мальчишки больше всего жалели, что не побывают на собственном выпускном вечере. «Кто руководил вами, сознайтесь!» (Не могли поверить гебисты, что у мальчиков открылась простая совесть — ведь случай невероятный, ведь жизнь дана один раз, зачем же *задумываться*?) Карцеры, ночные допросы, стояния. Закрытое (уж конечно) заседание Облсуда. (Судья — Пушкин, вскоре осуждённый за взятки.) Жалкие защитники, растерянные заседатели, грозный прокурор Трутнев (!). Всем — по 10 и по 8 лет, и всех, семнадцатилетних,— в Особлаги.

Нет, не врёт старая пословица: смелого ищи в тюрьме, глупого — в политруках!

Я пишу за Россию безъязыкую, и потому мало скажу о троцкистах: они все люди письменные, и кому удалось уцелеть, те уж наверно приготовили подробные мемуары и опишут свою драматическую эпопею полней и точней, чем смог бы я.

Но кое-что для общей картины.

Они вели регулярную подпольную борьбу в конце 20-х годов с использованием всего опыта прежних революционеров, только ГПУ, стоявшее против них, не было таким лопоухим, как царская охранка. Не знаю, готовились ли они к той тотальной гибели, которую определил им Сталин, или ещё думали, что кончится шутками и примирением. Во всяком случае, они были мужественные люди. (Опасаюсь, впрочем, что придя ко власти, они принесли бы нам безумие не лучшее, чем Сталин.) Заметим, что и в 30-х годах, когда уже подходило им под шею, они считали для себя всякий контакт с социалистами — изменой и позором, и поэтому в изоляторах держались отчуждённо, даже не передавали через себя тюремную почту социалистов (ведь они считали себя ленинцами). Жена И. Н. Смирнова (уже после его расстрела) избегала общаться с социалистами, «чтобы не видел надзор» (то есть как бы — глаза компартии)!

Такое впечатление (но не настаиваю), что в их политической «борь-

---

* Продал ребят Фёдор Полотнянщиков, позже парторг полысаевской шахты. Страна должна знать своих стукачей.

бе» в лагерных условиях были излишняя суетливость, отчего появился оттенок трагического комизма. В телячьих эшелонах от Москвы до Колымы они договаривали «о нелегальных связях, паролях» — а их рассовали по разным лагпунктам и разным бригадам.

Вот бригаду КРТД, честно заслужившую производственный паёк, внезапно переводят на штрафной. Что делать? «Хорошо законспирированная комячейка» обсуждает. Забастовать? Но это значило бы клюнуть на провокацию. Нас хотят вызвать на провокацию, а мы — мы гордо выйдем на работу и без пайка! Выйдем, а работать будем по-штрафному. (Это — 37-й год, и в бригаде — не только «чистые» троцкисты, но и зачисленные как троцкисты «чистые» ортодоксы, эти подали заявления в ЦК на имя товарища Сталина, в НКВД на имя товарища Ежова, в ЦИК на имя товарища Калинина, в генеральную прокуратуру, и им крайне нежелательно теперь ссориться с лагерным начальством, от которого будут зависеть сопровождающие характеристики.)

На прииске Утиный они готовятся к XX годовщине Октября. Подбирают чёрные тряпки или древесным углем красят белые. Утром 7 ноября они намерены на всех палатках вывесить чёрные траурные флаги, а на разводе петь «Интернационал», крепко взявшись за руки и не впуская в свои ряды конвойных и надзирателей. Допеть, несмотря ни на что! После этого ни за что не выходить из зоны на работу! Выкрикивать лозунги: «Долой фашизм!», «Да здравствует ленинизм!», «Да здравствует великая Октябрьская социалистическая революция!»

В этом замысле смешан какой-то надрывный энтузиазм и бесплодность, становящаяся смешной...

Впрочем, на них или из них же кто-то *стучит,* их всех накануне, 6 ноября, увозят на прииск Юбилейный и там изолируют на праздники. Из закрытых палаток (откуда им запрещено выходить), они поют «Интернационал», а работяги Юбилейного тем временем выходят на работу. (Да и среди поющих раскол: тут есть и несправедливо посаженные коммунисты, они отходят в сторону, «Интернационала» не поют, показывая молчанием свою правоверность.)

«Если нас держат за решёткой, значит, мы ещё чего-нибудь стоим»,— утешался Александр Боярчиков. Ложное утешение. А кого не держали?..

Самым крупным достижением троцкистов в лагерной борьбе была их голодовка-забастовка по всей воркутинской линии лагерей. (Перед тем ещё где-то на Колыме, кажется 100-дневная: они требовали вместо лагерей вольного поселения, и *выиграли* — им обещали, они сняли голодовку, их рассредоточили по разным лагерям и постепенно уничтожили.) Сведения о воркутской голодовке у меня противоречивые. Примерно вот так.

Началась 27 октября 1936 года и продолжалась 132 дня (их искусственно питали, но они не снимали голодовки). Было несколько смертей от голода. Их требования были:

— отъединение политических от уголовных; *

* Включали ли они в этих политических остальную Пятьдесят Восьмую, кроме себя? Вероятно нет: не могли же они каэров признать за братьев, если даже социалистов отвергли?

— восьмичасовой рабочий день;
— восстановить политпаёк (то есть добавочное питание по сравнению с остальными, уж это — только для себя), питание независимо от выработки;
— уничтожение Особого Совещания, аннулирование его приговоров.

Их кормили через кишку, а потом распустили по лагерям слух, что не стало сахара и масла, «потому что скормили троцкистам»,— приём, достойный голубых фуражек! В марте 1937 пришла телеграмма из Москвы: требования голодающих полностью приняты! Голодовка закончилась. Беспомощные лагерники, как они могли добиться исполнения? А их обманули — не выполнили ни одного. (Западному человеку ни поверить, ни понять нельзя, чтобы так можно было сделать. А у коммунистов — так.) Напротив, всех участников голодовки стали пропускать через оперчекотделы и предъявляли обвинение в продолжении контрреволюционной деятельности.

Великий сыч в Кремле уже обдумывал свою расправу над ними.

Чуть позже на Воркуте на 8-й шахте была ещё крупная голодовка (а может — это часть предыдущей). Здесь участвовало 170 человек, некоторые из них известны поименно: староста голодовки Михаил Шапиро, бывший рабочий Харьковского ВЭФ; Дмитрий Куриневский из киевского обкома комсомола; Иванов — бывший командир эскадры сторожевых кораблей в Балтфлоте; Орлов-Каменецкий; Михаил Андреéвич; Полевой-Генкин; В. В. Верап, редактор тбилисской «Зари Востока»; Сократ Геверкян, секретарь ЦК Армении; Григорий Золотников, профессор истории; его жена.

Ядро голодовки сложилось из 60 человек, в 1927 — 28 сидевших вместе в Верхнеуральском изоляторе. Большой неожиданностью — приятной для голодающих и неприятной для начальства, было присоединение к голодовке ещё и двадцати урок во главе с паханом по кличке *Москва* (в том лагере он известен был своей ночной выходкой: забрался в кабинет начальника лагеря и оправился на его столе. Нашему бы брату — расстрел, ему — только укоризна: наверно классовый враг подучил?). Эти-то двадцать блатных только и огорчали начальство, а «голодовочному активу» социально-чуждых начальник оперчекистского отдела Воркутлага Узков говорил, издеваясь:

— Думаете, Европа про вашу голодовку узнает? Чихали мы на Европу!

И был прав. Но социально-близких бандитов нельзя было ни бить, ни дать им умереть. Впрочем, после половины голодовки добрались до их люмпен-пролетарского сознания, они откололись, и пахан Москва по лагерному радио объяснил, что его попутали троцкисты.

После этого судьба оставшихся была — расстрел. Они сами своей голодовкой подали заявку и список.

Нет, политические истинные — были. И много. И — жертвенны.

Но почему так ничтожны результаты их противостояния? Почему даже лёгких пузырей они не оставили на поверхности?

Разберём и это. Позже.

Глава 11

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ

Но я слышу возмущённый гул голосов. Терпение *товарищей* иссякло! Мою книгу захлопывают, отшвыривают, заплёвывают:

— В конце концов это наглость! это клевета! Где он ищет настоящих политических? О ком он пишет? О каких-то попах, о технократах, о каких-то школьниках сопляках... А подлинные политические — это *мы*! Мы, непоколебимые! Мы, ортодоксальные, кристальные (Оруэлл назвал их *благомыслами*). Мы, оставшиеся и в лагерях до конца преданными единственно-верному...

Да уж судя по нашей печати — одни только вы вообще и сидели. Одни только вы и страдали. Об одних вас и писать разрешено. Ну, давайте.

Согласится ли читатель с таким критерием: политзаключённые — это те, кто знают, *за что* сидят, и тверды в своих убеждениях?

Если согласится, так вот и ответ: наши непоколебимые, кто несмотря на личный арест остался предан единственно-верному и т. д.,— тверды в своих убеждениях, *но не знают, за что сидят* ! И потому не могут считаться политзаключёнными.

Если мой критерий не хорош, возьмём критерий Анны Скрипниковой, за пять своих сроков она имела время его обдумать. Вот он: «политический заключённый это тот, у кого есть убеждения, отречением от которых он мог бы получить свободу. У кого таких убеждений нет — тот политическая шпана.»

По-моему, неплохой критерий. Под него подходят гонимые за идеологию во все времена. Под него подходят все революционеры. Под него подходят и «монашки», и архиерей Преображенский, и инженер Пальчинский, а вот ортодоксы — не подходят. Потому что: где ж те убеждения, о т которых их понуждают отречься?

Их нет. А значит, ортодоксы, хоть это и обидно вымолвить, подобно тому портному, глухонемому и клубному сторожу, попадают в разряд беспомощных, непонимающих жертв. Но — с гонором.

Будем точны и определим предмет. О ком будет идти речь в этой главе?

Обо всех ли, кто, вопреки своей посадке, издевательскому следствию, незаслуженному приговору и потом выжигающему лагерному бытию,— вопреки всему этому сохранил коммунистическое сознание?

Нет, не обо всех. Среди них были люди, для которых эта коммунистическая вера была внутренней, иногда единственным смыслом оставшейся жизни, но:

— они не руководствовались ею для «партийного» отношения к своим товарищам по заключению, в камерных и барачных спорах не кричали им, что те посажены «правильно» (а я мол — неправильно);

— не спешили заявить гражданину начальнику (и оперуполномоченному) «я — коммунист», не использовали эту формулу для выживания в лагере;

— сейчас, говоря о прошлом, не видят главного и единственного произвола лагерей в том, что сидели коммунисты, а на остальных наплевать.

Одним словом, именно те, для кого коммунистические их убеждения были интимны, а не постоянно на языке. Как будто это — индивидуальное свойство, ан нет: такие люди обычно не занимали больших постов на воле, и в лагере — простые работяги.

Вот например Авенир Борисов, сельский учитель: «Вы помните нашу молодость (я — с 1912), когда верхом блаженства для нас был зелёный из грубого полотна костюм «юнгштурма» с ремнём и портупеей, когда мы плевали на деньги, на всё личное, и готовы были *пойти на любое дело, лишь бы позвали.* * В комсомоле я с тринадцати лет. И вот, когда мне было всего двадцать четыре, органы НКВД предъявили мне чуть ли не все пункты 58-й статьи.» (Мы ещё узнаем, как он ведёт себя на воле, это достойный человек.)

Или Борис Михайлович Виноградов, с которым мне довелось сидеть. В юности он был машинистом (не год один, как бывают пастухами иные депутаты), после рабфака и института стал инженером-путейцем (и не на партработу сразу, как опять же бывает), хорошим инженером (на шарашке он вёл сложные газодинамические расчёты турбины реактивного двигателя). Но к 1941 году, правда, угодил быть парторгом МИИТа. В панические (16-го и 17-го) октябрьские дни 1941 года, добиваясь указаний, он звонил — телефоны молчали, он ходил и обнаружил, что никого нет в райкоме, в горкоме, в обкоме, всех сдуло как ветром, палаты пусты, а выше он, кажется, не ходил. Воротился к своим и сказал: «Товарищи! Все руководители бежали. Но мы — коммунисты, будем обороняться сами!» И оборонялись. Но вот за это «все бежали» — те, кто бежали, его, не бежавшего, и убрали в тюрьму на 8 лет (за «антисоветскую агитацию»). Он был тихий труженик, самоотверженный друг и только в задушевной беседе открывал, что верил, верит и будет верить. Никогда этим не козырял.

Или вот геолог Николай Каллистратович Говорко, который, будучи воркутским доходягой, сочинил «Оду Сталину» (и сейчас сохранилась), но не для опубликования, не для того, чтобы через неё получить льготы, а потому что лилась из души. И прятал эту оду на шахте (хотя зачем было прятать?).

Иногда такие люди сохраняют убеждённость до конца. Иногда (как Ковач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей приехавший создавать коммуну под Каховкой, посаженный в 1937) после реабилитации не принимают партбилета. Некоторые срываются ещё раньше, как опять же венгр Сабо, командир сибирского партизанского отряда в гражданскую войну. Тот ещё в 1937 в тюрьме заявил: «был бы на свободе — собрал бы сейчас своих партизан, поднял бы Сибирь, пошёл на Москву и разогнал бы всю сволочь».

Так вот, ни первых, ни вторых мы в этой главе не разбираем. (Да кто сорвался, как эти два венгра, — тех сами ортодоксы отсюда отчислят.)

Не будем рассматривать здесь и анекдотических персонажей — кто в тюремной камере лишь притворяется ортодоксом, чтобы *наседка*

* Курсив на всякий случай мой — А. С.

«хорошо» донёс о нём следователю; как Подварков-сын, на воле расклеивавший листовки, а в Спасском лагере громко споривший со всеми недоброжелателями режима, в том числе и со своим отцом, рассчитывая так облегчить свою судьбу.

Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов, кто выставлял свою идеологическую убеждённость сперва следователю, потом в тюремных камерах, потом в лагере всем и каждому, и в этой окраске вспоминает теперь лагерное прошлое.

По странному отбору это уже будут совсем не работяги. Такие обычно до ареста занимали крупные посты, завидное положение, и в лагере им больней всего было бы согласиться быть уничтоженным, они яростней всего выбивались приподняться от всеобщего ноля. Тут — и все попавшие за решётку следователи, прокуроры, судьи и лагерные распорядители. И все теоретики, начётчики и громогласные (писатели Г. Серебрякова, Б. Дьяков, Алдан-Семёнов отнесутся сюда же, никуда больше).

Поймём их, не будем зубоскалить. Им было больно падать. «Лес рубят — щепки летят» — была их оправдательная бодрая поговорка. И вдруг они сами отрубились в эти щепки.

Прохоров-Пустовер описывает сцену на Манзовке (особый пункт БАМлага) в начале 1938. На удивление всем туземцам привезли какой-то небольшой «особый контингент» и с большой секретностью его отделяли от прочих. Такого поступления ещё никто никогда не видел: приехавшие были в кожаных пальто, меховых «москвичках», в бостоновых и шевиотовых костюмах, модельных ботинках и полуботинках (к 20-летию Октября эта отборная публика уже нашла вкус в одежде, не доступной рабочему люду). От дурной распорядительности или в издёвку им не выдали рабочей одежды, а так и погнали в шевиоте и хроме рыть траншеи в жидкой глине по колено. На стыке тачечного хода один зэк опрокинул тачку с цементом, и цемент вывалился. Подбежал бригадир-урка, материл и в спину толкал виновного: «Руками подбирай, растяпа!» Тот вскричал истерически: «Как вы смеете издеваться? Я бывший прокурор республики!» И крупные слёзы катились по его лицу. «Да на ... мне, что ты — прокурор республики, стерва! Мордой тебя в этот цемент, вот и будешь прокурор! Теперь ты — враг народа и обязан вкалывать!» (Впрочем, прораб заступился за прокурора.)

Расскажите нам такую сценку с прокурором царского времени в концлагере 1918 года — никто не шевельнётся его пожалеть: признано единодушно, что то были не люди (они и сроки требовали своим подсудимым год, три, пять). А своего, советского, пролетарского прокурора, хоть и в бостоновом костюме,— как не пожалеть. (Он и требовал — *червонец* да *вышку*.)

Сказать, что им было больно — это почти ничего не сказать. Им — невместимо было испытать такой удар, такое крушение — и от *своих*, от родной партии, и по видимости — ни за что. Ведь перед партией они ни в чём не были виноваты, перед партией — ни в чём.

Настолько это было болезненно для них, что среди них считалось запретным, нетоварищеским задать вопрос: «за что тебя посадили?» Единственное такое щепетильное арестантское поколение! — мы-то, в 1945, язык вываля, как анекдот, первому встречному и на всю камеру рассказывали о своих посадках.

Это вот какие были люди. У Ольги Слиозберг уже арестовали мужа и пришли делать обыск и брать её самою. Четыре часа шёл обыск — и эти четыре часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетинно-щёточной промышленности, где она была секретарём за день до того. Неготовность протоколов больше беспокоила её, чем оставляемые навсегда дети! Даже следователь, руководивший обыском, не выдержал и посоветовал ей: «да проститесь вы с детьми!»

Это вот какие были люди. К Елизавете Цветковой в казанскую отсидочную тюрьму в 1938 пришло письмо пятнадцатилетней дочери: «Мама! Скажи, напиши — виновата ты или нет?.. Я лучше хочу, чтоб ты была не виновата, и я тогда в комсомол не вступлю и за тебя не прощу. А если ты виновата — я тебе больше писать не буду и буду тебя ненавидеть.» И угрызается мать в сырой гробовидной камере с подслеповатой лампочкой: как же дочери жить без комсомола? как же ей ненавидеть советскую власть? Уж лучше пусть ненавидит меня. И пишет: «Я виновата... Вступай в комсомол.»

Ещё бы не тяжко! да непереносимо человеческому сердцу: попав под родной топор — оправдывать его разумность.

Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме.

Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть «совращение малых сих», что мать совратила дочь и повредила её душу.

Это вот какие были люди: Е. Т. давала искренние показания на мужа — лишь бы помочь партии!

О, как можно было бы их пожалеть, если бы хоть сейчас они поняли свою тогдашнюю жалкость!

Всю главу эту можно было бы писать иначе, если бы хоть сегодня они расстались со своими тогдашними взглядами! Но сбылось по мечте Марии Даниэлян: «если когда-нибудь выйду отсюда — буду жить, как будто ничего не произошло».

Верность? А по-нашему: хоть кол на голове теши. Эти адепты теории развития увидели верность свою развитию в отказе от всякого собственного развития. Как говорит Николай Адамович Виленчик, просидевший 17 лет: «Мы верили партии — и мы *не ошиблись*!» Верность — или кол теши?

Нет, не для показа, не из лицемерия спорили они в камерах, защищая все действия власти. Идеологические споры были нужны им, чтоб удержаться в сознании правоты — иначе ведь и до сумасшествия не далеко.

Как можно было бы им всем посочувствовать! Но так хорошо всё видят они, в чём пострадали,— не видят, в чём виноваты.

Этих людей не брали до 1937 года. И после 1938 их очень мало брали. Поэтому их называют «набор 37-го года», и так можно было бы, но чтоб это не затемняло общую картину, что даже в месяцы пик сажали не их одних, а всё те же тянулись и мужички, и рабочие, и молодёжь, инженеры и техники, агрономы и экономисты, и просто верующие.

«Набор 37-го года», очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, создал «легенду 37-го года», легенду из двух пунктов:

1) если когда при советской власти сажали, то только в 37-м, и только о 37-м надо говорить и возмущаться;

2) сажали в 37-м — только их.
Так и пишут: страшный год, когда сажали преданнейшие коммунистические кадры: секретарей ЦК союзных республик, секретарей обкомов, председателей облисполкомов, всех командующих военными округами, корпусами и дивизиями, маршалов и генералов, областных прокуроров, секретарей райкомов, председателей райисполкомов...

В начале нашей книги мы уже дали объём *потоков*, лившихся на Архипелаг два десятилетия до 37-го года. Как долго это тянулось! И сколько это было миллионов! Но ни ухом ни рылом не вёл будущий набор 37-го года, они находили всё это нормальным. В каких выражениях они обсуждали это друг с другом, мы не знаем, а П. П. Постышев (эмиссар Сталина при Украинском ЦК), не ведая, что и сам обречён на то же, выражался так:

в 1931 на совещании работников юстиции: «...сохраняя во всей суровости и жестокости нашу карательную политику в отношении классового врага и деклассированных выходцев» (эти *выходцы деклассированные* чего стоят! кого нельзя загнать под «деклассированного выходца»?);

в 1932: «Понятно, что... проведя их через горнило раскулачивания... мы ни в коем случае не должны забывать, что этот вчерашний кулак морально не разоружился...»;

и ещё как-то: «Ни в коем случае не притуплять остриё карательной политики!»

А остриё-то какое острое, Павел Петрович! А горнило-то какое горячее!

Р. М. Гер объясняет так: «Пока аресты касались людей, мне не знакомых или малоизвестных, у меня и моих знакомых не возникало сомнения в обоснованности (!) этих арестов. Но когда были арестованы близкие мне люди и я сама, и встретилась в заключении с десятками преданнейших коммунистов, то...»

Одним словом, они оставались спокойны, пока сажали *общество*. «Вскипел их разум возмущённый», когда стали сажать *их сообщество*. Сталин нарушил табу, которое казалось твёрдо установленным, и потому так весело было жить.

Конечно, ошеломишься! Конечно, диковато было это воспринять! В камерах спрашивали вгорячe:

— Товарищи! Не знаете? — чей переворот? Кто захватил власть в городе?

И долго ещё потом, убедясь в бесповоротности, вздыхали и стонали: «Был бы жив Ильич — никогда б этого не было!»

(А чего э т о г о? Разве не э т о же было раньше с другими? — см. Часть Первая, гл. 8—9.)

Но всё же — государственные люди! просвещённые марксисты! теоретические умы! — как же они справились с этим испытанием? как же они переработали и осмыслили заранее не разжёванное, в газетах не разъяснённое историческое событие? (А исторические события и всегда налетают внезапно.)

Годами грубо натасканные по поддельному следу, вот какие давали они объяснения, поражающие глубиной:

1) это — очень ловкая работа иностранных разведок;

2) это — вредительство огромного масштаба! в НКВД засели вредители! (смешанный вариант: в НКВД засели немецкие разведчики);

3) это — затея местных энкаведистов;

И во всех трёх случаях: мы сами виноваты в потере бдительности! Сталин ничего не знает! Сталин не знает об этих арестах!! Вот он узнает — он всех их разгромит, а нас освободит!!

4) в рядах партии действительно страшная измена (а почему??), и во всей стране кишат враги, и большинство здесь посажены правильно, это уже не коммунисты, это *контрюги,* и надо в камере остерегаться, не надо при них разговаривать. Только я посажен совершенно невинно. Ну, может быть, ещё и ты. (К этому варианту примыкал и Механошин, бывший член Реввоенсовета. То есть, выпусти его, дай волю — скольких бы он сажал!);

5) эти репрессии — историческая необходимость развития нашего общества. (Так говорили немногие из теоретиков, не потерявшие владение собой, например профессор из Плехановского института мирового хозяйства. Объяснение-то верное, и можно было бы восхититься, как он это правильно и быстро понял,— да закономерности-то самой никто из них не объяснил, а только в дуделку из постоянного набора: «историческая необходимость развития»; на что угодно так непонятно говори — и всегда будешь прав.)

И во всех пяти вариантах никто, конечно, не обвинял Сталина — он оставался незатменным солнцем!

На фоне этих изумительных объясиеиий психологически очень возможным кажется и то, которое приписывает своим пёрсонажам Нароков (Марченко) в «Мнимых величинах»: что все этн посадки есть просто спектакль, проверка верных сталинцев. Надо делать всё, что от тебя требуют, и кто будет подписывать всё и ие озлится — тот будет потом сильно возвышен.

И если вдруг кто-нибудь из старых партийцев, например Александр Иванович Яшкевич, белорусский цензор, хрипел в углу камеры, что Сталин — никакая не правая рука Ленина, а — собака, и пока он не подохнет — добра не будет,— на такого ортодоксы бросались с кулаками, на такого спешили донести своему следователю!

Вообразить себе нельзя благомысла, который на минуту бы ёкнул в мечте о смерти Сталина.

Вот на каком уровне пытливой мысли застал 1937 год благонамеренных ортодоксов! И как же оставалось им настраиваться перед судом? Очевидно, как Парсонс в «1984» у Оруэлла: «разве партия может арестовать невиновного? Я на суде скажу им: спасибо, что вы спасли меня, пока ещё можно было спасти!»

И какой же выход они для себя нашли? Какое же действенное решение подсказала им их революционная теория? Их решение стóит всех их объяснений! Вот оно:

чем больше посадят — тем скорее вверху *поймут ошибку*! А поэтому — стараться *как можно больше называть фамилий*! Как можно больше давать фантастических показаний на невиновных! *Всю партию не арестуют!*

(А Сталину всю и не нужно было, ему только головку и долгостажников.)

Как среди членов всех российских партий коммунисты оказались первыми, кто стал давать ложные на себя показания *,— так им первым же безусловно принадлежит и это карусельное открытие: называть побольше фамилий! Такого ещё русские революционеры не слышали!

Проявлялась ли в этой теории куцость их предвидения? убогость мышления? Мне сердцем чуется, что — нет, что здесь был у них — испуг. А теория эта — лишь подручная маскировка прикрыть свою слабость. Ведь назывались они (уже давно незаконно) революционерами, а, глянув в себя, содрогнулись: оказалось, что они не могут выстоять. Эта «теория» освобождала их от необходимости бороться со следователем.

Хотя б то́ было понять им, что эту чистку партии Сталин необходимо должен провести, чтобы снизить партию по сравнению с собой.

Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Сталину громить оппозиции, да даже и самих себя. Ведь Сталин давал своим слабовольным жертвам возможность рискнуть, возможность восстать, эта игра была для него не без удовольствия. Для ареста каждого члена ЦК требовалась санкция всех остальных! — так придумал игривец-тигр. И пока шли пусто-деловые пленумы, совещания, по рядам передавалась бумага, где безлично указывалось: поступил материал, компрометирующий такого-то; и предлагалось поставить согласие (или несогласие!..) на исключение его из ЦК. (И ещё кто-нибудь наблюдал, долго ли читающий задерживает бумагу.) И все — ставили визу. Так Центральный Комитет ВКП(б) расстрелял сам себя. (Да Сталин ещё раньше угадал и проверил их слабость: раз верхушка партии приняла как должное высокие зарплаты, тайное снабжение, закрытые санатории — она уже в капкане, ей уже не воспрять.) А к т о было «спецприсутствие», судившее Тухачевского — Якира? Блюхер! Егоров! (и С. А. Туровский.)

И уж тем более забыли они (да не читали никогда) такую давнь, как послание патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров 26 октября 1918 года. Взывая о пощаде и освобождении невинных, предупредил их твёрдый патриарх: «взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Луки: 11,51) и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Матфея: 26,52)». Но тогда это казалось смешно, невозможно! Где было им тогда представить, что История всё-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю справедливость, но странные выбирает для неё формы и неожиданных исполнителей.

И если на молодого Тухачевского, когда он победно возвращался с подавления разорённых тамбовских крестьян, не нашлось на вокзале ещё одной Маруси Спиридоновой, чтоб уложить его пулею в лоб,— это сделал недоучившийся грузинский семинарист через 16 лет.

И если проклятья женщин и детей, расстрелянных крымской весной 1921 года, как рассказал нам Волошин, не могли прорезать грудь Бела Куна,— это сделал его товарищ по III Интернационалу.

И Петерса, Лациса, Берзиня, Агранова, Прокофьева, Балицкого, Артузова, Чудновского, Дыбенко, Уборевича, Бубнова, Алафузо, Алксниса, Аронштама, Геккера, Гиттиса, Егорова, Жлобу, Ковтюха, Корка,

---

* Ну, может быть, «Союзное бюро меньшевиков» опередило их, но они по убеждениям были почти большевиками.

Кутякова, Примакова, Путну, Ю. Саблина, Фельдмана, Р. Эйдемана; и Уншлихта, Енукидзе, Невского, Нахамкеса, Ломова, Кактыня, Косиора, Рудзутака, Гикало, Голодеда, Шлихтера, Белобородова, Пятакова и Зиновьева — всех их покарал маленький рыжий мясник, а нам пришлось бы о некоторых терпеливо искать, к чему приложили они руку и подпись за пятнадцать и двадцать лет перед тем.

Бороться? Бороться из них не пробовал никто. Если скажут, что трудно было бороться в ежовских камерах,— то почему не открыли борьбы хоть на день раньше своего ареста? Неужели не видно было, куда течёт? Значит, вся молитва была: пронеси мимо! Почему малодушно кончил с собой Орджоникидзе? (А если убит — то почему дождался?) Почему не боролась верная подруга Ленина Крупская? Почему ни разу не выступила она с публичным разоблачением, как старый рабочий в ростовских Ленмастерских (в 1932—33)? Неужели уж так боялась за свою старушечью жизнь? Члены первого Иваново-Вознесенского Совдепа 1905 года — Алалыкин, Спиридонов,— почему они теперь подписывали позорные обвинения на себя? А председатель того Совдепа Шубин более того подписал, что никакого Совдепа в 1905 году в Иваново-Вознесенске и не было? Как же можно так наплевать на всю свою жизнь?

Сами благомыслы, вспоминая теперь 37-й год, стонут о несправедливости, об ужасах — никто не упомянет о возможностях борьбы, которые физически были у них — и не использованы никем. Да уж они и никогда не объяснят. И время тех аргументов ушло.

Всей твёрдости посаженных правоверных хватало лишь для разрушения традиций политических заключённых. Они чуждались инакомыслящих однокамерников, таились от них, шептались об ужасах следствия так, чтобы не слышали беспартийные или эсэры — «не давать им материала против партии!»

Евгения Гольцман в казанской тюрьме (1938) противилась перестукиванию между камерами: как коммунистка она не согласна нарушать советские законы! Когда же приносили газету — настаивала Гольцман, чтобы сокамерницы читали её не поверхностно, а подробно!

Мемуары Е. Гинзбург в тюремной их части дают сокровенные свидетельства о наборе 1937 года. Вот твердолобая Юлия Анненкова требует от камеры: «не смейте потешаться над надзирателем! *Он представляет здесь советскую власть*!» (А? Всё перевернулось! Эту сцену покажите в сказочную гляделку буйным революционеркам в царской тюрьме!) Или комсомолка Катя Широкова спрашивает у Гинзбург в шмональном помещении: вон та немецкая коммунистка спрятала золото в волосы, но тюрьма-то наша, советская,— так не надо ли донести надзирательнице?!

А Екатерина Олицкая, ехавшая на Колыму в том же самом 7-м вагоне, где и Гинзбург (этот вагон почти сплошь состоял из одних коммунисток), дополняет её сочные воспоминания двумя разительными подробностями.

У кого были деньги, дали на покупку зелёного лука, а получить тот лук в вагон пришлось Олицкой. С её старореволюционными традициями, ей и в голову не пришло ничего другого, как делить на 40 человек. Но тотчас же её одёрнули: «Делить на тех, кто деньги давал!» «Мы не

можем кормить нищих!» «У нас у самих мало!» Олицкая обомлела даже: это были политические?.. Это были коммунистки набора 37-го года!

И второй эпизод. В свердловской пересылочной бане этих женщин прогнали голыми сквозь строй надзирателей. Ничего, утешились. Уже на следующих перегонах они пели в своём вагоне:

«Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!»

Вот с таким комплексом миропонимания, вот с таким уровнем сознания вступают благомыслящие на свой долгий лагерный путь. Ничего не поняв с самого начала ни в аресте, ни в следствии, ни в общих событиях, они по упорству, по преданности (или по безвыходности?) будут теперь всю дорогу считать себя светоносными, будут объявлять только себя знающими суть вещей.

Однажды приняв решение ничего окружающего не замечать и не истолковывать, тем более постараются они не замечать и самого страшного для себя: как на них, на прибывающий набор 37-го года, ещё очень отличный в одежде, в манерах и в разговоре, смотрят лагерники, смотрят бытовики, да и Пятьдесят Восьмая (кто выжил из «раскулаченных» — как раз кончал первые десятки). Вот они, кто носили с важным видом портфели! Вот они, кто ездили на персональных машинах! Вот они, кто в карточное время получали из закрытых распределителей! Вот они, кто обжирались в санаториях и блудили на курортах! — а нас по закону «семь-восьмых» отправляли на 10 лет в лагеря за кочан капусты, за кукурузный початок. И с ненавистью им говорят: «Там, на воле, *вы — нас*, здесь будем *мы — вас*!» (Но это не осуществится. Ортодоксы все скоро хорошо устроятся.)

Приводит Е. Гинзбург совсем противоположную сцену. Спрашивает её тюремная медсестра: «Правда ли, что вы пошли за бедный народ, сидите за колхозников?» Вопрос невероятный. Может, тюремная сестра за решётками ничего не видит, так и спросила такую глупость. Но колхозники и простые лагерники имеют глаза, они сразу же узнавали этих людей, как раз и совершавших чудовищный сгон «коллективизации».

И в чём же состоит высокая истина благонамеренных? А в том, что они не хотят отказаться ни от одной прежней оценки и не хотят почерпнуть ни одной новой. Пусть жизнь хлещет через них, и переваливается через них, и даже колёсами переезжает через них — а они её не пускают в свою голову! а они не признают её, как будто она не идёт! Это нехотение что-либо изменить в своём мозгу, эта простая неспособность критически обмысливать опыт жизни — их гордость! На их мировоззрении не должна отразиться тюрьма! не должен отразиться лагерь! На чём стояли — на том и будем стоять! Мы — марксисты! Мы — материалисты! Как же можем мы измениться от того, что случайно попали в тюрьму? (Как же можем мы измениться сознанием, если бытие меняется, если оно показывается новыми сторонами? Ни за что! Провались оно пропадом, бытие, но нашего сознания оно не определит! Ведь мы же материалисты!..)

Вот степень их проницания в случившееся с ними. В. М. Зарин: «я всегда повторял в лагере: из-за дураков (то есть посадивших его) с советской властью ссориться не собираюсь!»

Вот их неизбежная мораль: я посажен зря и значит я — хороший, а все вокруг — враги и сидят за дело.

Вот куда их энергия: по шесть и по двенадцать раз в году они шлют

жалобы, заявления и просьбы. О чём там они пишут? Что они там скребут? Конечно клянутся в преданности Великому и Гениальному (а без этого не освободят). Конечно отрекаются от тех, кто уже расстрелян по их делу. Конечно умоляют простить их и разрешить им вернуться туда, наверх. И завтра они с радостью примут любое партийное поручение — вот хотя бы управлять этим лагерем. (А что на все жалобы шли таким же густым косяком отказы — так это потому, что до Сталина они не доходили! Он бы понял! Он бы простил, милостивец!)

Хороши ж «политические», если они просят власть — о прощении!.. Вот уровень их сознания — генерал Горбатов со своими мемуарами. «Суд? что с него взять? Ему так кто-то приказал...» О, какая сила анализа! И какая же ангельски-большевистская кротость! Спрашивают Горбатова блатные: «Почему ж вы сюда попали?» (Кстати не могут они спрашивать на «вы».) Горбатов: «Оклеветали нехорошие люди.» Нет, анализ-то, анализ каков! А ведёт себя генерал не как Шухов, но как Фетюков: идёт убирать канцелярию в надежде получить за это лишнюю корку хлеба. «Сметая со столов крошки и корочки, а иногда и кусочки хлеба, я в какой-то степени стал лучше утолять свой голод». Ну, хорошо, утоляй. Но Шухову ставят в тяжкую вину, что он думает о каше и нет у него социального сознания, а генералу Горбатову всё можно, потому что он *мыслит...* о нехороших людях! (Впрочем Шухов не промах и судит обо всех событиях в стране посмелей генерала.)

А вот В. П. Голицын, сын уездного врача, инженер-дорожник. 140 (сто сорок!) суток он просидел в смертной камере (было время подумать!). Потом 15 лет, потом вечная ссылка. «В мозгах ничего не изменилось. Тот же беспартийный большевик. Мне помогла вера в партию, что зло творят не партия и правительство, а злая воля *каких-то людей* (анализ!), которые приходят и уходят (что-то никак не уйдут...), а всё остальное (!) остаётся... И ещё помогли выстоять простые советские люди, которых в 1937—38 *очень много* было и в НКВД (то есть в аппарате), и в тюрьмах, и в лагерях. Не «кумы», а настоящие дзержинцы.» (Совершенно непонятно: эти дзержинцы, которых было так много,— что ж они смотрели на беззакония *каких-то людей*? А сами к беззакониям не притрагивались? И при этом уцелели? Чудеса...)

Или Борис Дьяков: смерть Сталина пережил с острой болью (да он ли один? все ортодоксы). Ему казалось: умерла вся надежда на освобождение!.. *

Но мне кричат: нечестно! Нечестно! Вы ведите спор с настоящими теоретиками! Из института Красной Профессуры!

Пожалуйста. Я ли не спорил! А чем же я занимался в тюрьмах? и в этапах? и на пересылках? Сперва я спорил вместе с ними и за них. Но что-то наши аргументики показались мне жидкими. Потом я помалкивал и послушивал. Потом я спорил против них. Да сам Захаров, учитель Маленкова (очень он гордился, что — учитель Маленкова), и тот снисходил до диалога со мной.

И вот что — ото всех этих споров остался у меня в голове как будто один спор. Как будто все эти талмудисты вместе — один слившийся человек. Из разу в раз он повторит в том же месте — тот же довод и теми же словами. И так же будет непробиваем,— непробиваем, вот их

* Журнал «Октябрь», 1964, № 7.

главное качество! Не изобретено ещё бронебойных снарядов против чугуннолобых! Спорить с ними — изнуришься, если заранее не принять, что спор этот — просто игра, забава весёлая.

С другом моим Паниным лежим мы так на средней полке вагон-зака, хорошо устроились, селёдку в карман спрятали, пить не хочется, можно бы и поспать. Но на какой-то станции в наше купе суют — учёного марксиста! это даже по клиновидной бородке, по очкам его видно. Не скрывает: бывший профессор Коммунистической Академии. Свесились мы в квадратную прорезь — с первых же его слов поняли: непробиваемый. А сидим в тюрьме давно, и сидеть ещё много, ценим весёлую шутку — надо слезть позабавиться! Довольно просторно в купе, с кем-то поменялись, стиснулись.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Вам не тесно?

— Да нет, ничего.

— Давно сидите?

— Порядочно.

— Осталось меньше?

— Да почти столько же.

— А смотрите — деревни какие нищие: солома, избы косые.

— Наследие царского режима.

— Ну да и советских лет уже тридцать.

— Исторически ничтожный срок.

— Беда что колхозники голодают.

— А вы заглядывали во в с е чугунки?

— Но спросите любого колхозника в нашем купе.

— Все посаженные в тюрьму — озлоблены и необъективны.

— Но я сам видел колхозы...

— Значит, нехарактерные.

(Клинобородый и вовсе в них не бывал, так и проще.)

— Но спросите вы старых людей: при царе они были сыты, одеты, и праздников сколько!

— Не буду и спрашивать. Субъективное свойство человеческой памяти: хвалить всё прошедшее. Которая корова пала, та два удоя давала.— Он и пословицей иногда.— А праздники наш народ не любит, он любит трудиться.

— А почему во многих городах с хлебом плохо?

— Когда?

— Да и перед самой войной...

— Неправда! Перед войной как раз всё наладилось.

— Слушайте, по всем волжским городам тогда стояли тысячные очереди...

— Какой-нибудь местный незавоз. А скорей всего вам изменяет память.

— Да и сейчас не хватает!

— Бабьи сплетни. У нас 7—8 миллиардов пудов зерна. *

* Ведь ещё нескоро обнародует Хрущёв, что в 1952 году собрал хлеба меньше, чем в 1913.

— А зерно — перепревшее.
— Напротив, успехи селекции.
— Но во многих магазинах прилавки пустые.
— Неповоротливость на местах.
— Да и цены высоки. Рабочий во многом себе отказывает.
— Наши цены научно обоснованы, как нигде.
— Значит, зарплата низка.
— И зарплата научно обоснована.
— Значит, так обоснована, что рабочий бóльшую часть времени работает на государство бесплатно.
— Вы не разбираетесь в политэкономии. Кто вы по специальности?
— Инженер.
— А я именно экономист. Не спорьте. У нас прибавочная стоимость невозможна даже.
— Но почему раньше отец семейства мог кормить семью один, а теперь должны работать двое-трое?
— Потому что раньше была безработица, жена не могла устроиться. И семья голодала. Кроме того работа жены важна для её равенства.
— Какого ж к чёрту равенства? А на ком все домашние заботы?
— Должен муж помогать.
— А вот вы — помогали жене?
— Я не женат.
— Значит, раньше каждый работал днём, а теперь оба ещё должны работать и вечером. У женщины не остаётся времени на главное: на воспитание детей.
— Совершенно достаточно. Главное их воспитание — это детский сад, школа, комсомол.
— Ну, и как они воспитывают? Растут хулиганы, воришки. Девчёнки — распущенные.
— Ничего подобного. Наша молодёжь высокоидейна.
— Это — по газетам. Но наши газеты лгут!
— Они гораздо честнее буржуазных. Почитали бы вы буржуазные.
— Дайте почитать!
— Это совершенно излишне.
— И всё-таки наши газеты лгут!
— Они открыто связаны с пролетариатом.
— В результате такого воспитания растёт преступность.
— Наоборот падает. Дайте статистику!
Это — их любимый козырь: дайте им статистику! — в стране, где засекречено даже количество овечьих хвостов. Но — дождутся они: ещё дадим мы им и статистику.
— А почему ещё растёт преступность: законы наши сами рождают преступления. Они свирепы и нелепы.
— Наоборот, прекрасные законы. Лучшие в истории человечества.
— Особенно 58-я статья.
— Без неё наше молодое государство не устояло бы.
— Но оно уже не такое молодое.
— Исторически очень молодое.
— Но оглянитесь, сколько людей сидит!
— Они получили по заслугам.

— А вы?
— Меня посадили ошибочно. Разберутся — выпустят.
(Эту лазейку они все себе оставляют.)
— Ошибочно? Каковы ж тогда ваши законы?
— Законы прекрасны, печальны отступления от них.
— Везде — блат, взятки, коррупция.
— Надо усилить коммунистическое воспитание.

И так далее. Он невозмутим. Он говорит языком, не требующим напряжения ума. Спорить с ним — идти по пустыне.

О таких людях говорят: все кузни исходил, а некован воротился.

А сложись его личная судьба иначе — мы не узнали бы, какой это сухой малозаметный человечек. С уважением читали бы его фамилию в газете, он ходил бы в наркомах или смел бы представлять за границей всю Россию.

Спорить с ним бесполезно. Гораздо интересней сыграть с ним... нет, не в шахматы, «в товарищей». Есть такая игра. Это очень просто. Пару раз ему поддакните. Скажите ему что-нибудь из его же набора слов. Ему станет приятно. Ведь он привык, что все вокруг — враги, он устал огрызаться и совсем не любит рассказывать, потому что все рассказы будут тут же обращены против него. А приняв вас за своего, он вполне по-человечески откроется вам, что вот видел на вокзале: люди проходят, разговаривают, смеются, жизнь идёт. Партия руководит, текут великие события, кто-то перемещается с поста на пост, а мы тут с вами сидим, нас горсть, надо — писать, писать просьбы о пересмотре, о помиловании...

Или расскажет что-нибудь интересное: в Комакадемии наметили они *съесть* одного товарища, чувствовали, что он какой-то не настоящий, *не наш*, но никак не удавалось: в статьях его не было ошибок, и биография чистая. И вдруг, разбирая архивы, о находка! — наткнулись на старую брошюрку этого товарища, которую держал в руках сам Ильич и на полях оставил своим почерком пометку: «как экономист — говно». «Ну, вы сами понимаете,— доверительно улыбается наш собеседник,— что после этого нам ничего не стоило расправиться с путаником и самозванцем. Выгнали и лишили учёного звания.»

Вагоны стучат. Уже все спят, кто лёжа, кто сидя. Иногда по коридору пройдёт конвойный солдат, зевая.

Пропадает никем не записанный ещё один эпизод из ленинской биографии...

* * *

Для полноты представления о благонамеренных исследуем их поведение во всех основных разрезах лагерной жизни. А) **Отношение к лагерному режиму и к борьбе заключённых за свои права.** Поскольку лагерный режим установлен *нами*, советской же властью,— надо его соблюдать не только с готовностью, но и со всей сознательностью. Надо соблюдать самый дух режима ещё прежде, чем это будет потребовано или указано надзором.

Всё у той же Е. Гинзбург изумительные наблюдения: женщины оправдывают стрижку (под машинку) своей головы (раз требует режим)!

Из закрытой тюрьмы их шлют умирать на Колыму. У них готово своё объясненне: значит, нам доверяют, что мы там будем работать по совести!

О какой же к чёрту «борьбе» может идти речь? Борьбе — против кого? Против *своих* ! Борьбе — во имя чего? Во имя личного освобождения? Так надо не бороться, а просить в законном порядке. Во имя свержения советской власти? Типун вам на язык!

Среди тех лагерников, кто хотел бороться, но не мог; кто мог, он не хотел; кто и мог и хотел (и боролся! дойдёт черёд, поговорим и о них!),— ортодоксы представляют четвёртую группу: кто не хотел — да и не мог, если бы захотел. Вся предыдущая жизнь уготовила их только к искусственной, условной среде. Их «борьба» на воле была принятием и передачей одобренных свыше резолюций и распоряжений с помощью телефона и электрического звонка. В лагерных условиях, где борьба потребует скорее всего рукопашной, и безоружным идти на автоматы, и ползти по-пластунски под обстрелом, они были Сидоры Поликарповичи и Укропы Помидоровичи, никому не страшные и ни к чему не годные.

И уж тем более эти принципиальные борцы за общечеловеческое счастье никогда не были помехой для разбоя блатных: они не возражали против засилия блатных на кухнях и в придурках (читайте хотя бы генерала Горбатова, там есть) — ведь это по *их* теории социально-близкие блатные получили в лагере такую власть. Они не мешали грабить при себе слабых и сами тоже не сопротивлялись грабежу.

И всё это было логично, концы сходились с концами, и никто не оспаривал. Но вот подошла пора писать историю, раздались первые придушенные голоса о лагерной жизни, благомыслящие оглянулись, и стало им обидно: как же так? они, такие передовые, такие сознательные,— и не боролись! И даже не знали, что был культ личности Сталина! * И не предполагали, что дорогой Лаврентий Павлович — заклятый враг народа!

И спешно понадобилось пустить какую-то мутную версию, что они — боролись. Упрекали моего Ивана Денисовича все журнальные шавки, кому только не лень: почему не боролся, сукин сын? «Московская правда» (8.12.62) даже укоряла Ивана Деннсовича, что коммунисты устраивали в лагерях подпольные собрания, а он на них не ходил, уму-разуму не учился у мыслящнх.

Но что за бред? — какие подпольные собрания? И зачем? — чтобы показывать кукиш в кармане? И кому показывать кукиш, если от младшего надзирателя и до самого Сталина — сплошная советская власть? И когда, и какими же методами они боролись?

Этого никто назвать не может.

А *мыслили* они о чём? — если единственно разрешали себе повторять: всё действнтельное разумно? О чём они мыслили, если вся их молитва была: не бей меня, царская плеть?

* В 1957 году завкадрами рязанского облоно спросила меня: «А за что вы были в 45-м году арестованы?» — «За высказывание против культа личности»,— ответил я. «Как это может быть? — изумилась она.— Разве т о г д а был культ личности?» (она искренне так поняла, что культ личности объявили в 1956, откуда ж он в 1945?)

Б) Взаимоотношения с лагерным начальством. Какое ж может быть отношение у благомыслящих к лагерному начальству, кроме самого почтительного и приязненного? Ведь лагерные начальники — все члены партии и выполняют партийную директиву, не их вина, что «я» (= единственный невиновный) прислан сюда с приговором. Ортодоксы прекрасно сознают, что, окажись они вдруг на месте лагерных начальников — и они всё делали бы точно так же.

Тодорский, о котором прошумела теперь вся наша пресса как о лагерном герое (журналист из семинаристов, замеченный Лениным и почему-то ставший к 30-м годам начальником Военно-Воздушной (?) академии), по тексту Дьякова, даже с начальником снабжения, мимо которого работяга пройдёт и глаз не повернёт,— разговаривает так:

— Чем могу служить, гражданин начальник?

Начальнику же санчасти Тодорский составляет конспект по «Краткому курсу». Если Тодорский хоть в чём-нибудь мыслит не так, как в «Кратком курсе»,— то где ж его принципиальность, как он может составлять конспект точно по Сталину? * Значит, он мыслит *так точно*.

Но мало любить начальство! — надо, чтоб и начальство тебя любило. Надо же объяснить начальству, что мы — такие же, вашего теста, уж вы нас пригрейте как-нибудь. Оттого герои Серебряковой, Шелеста, Дьякова, Алдан-Семёнова при каждом случае, надо не надо, удобно не удобно, при приёме этапа, при проверке по формулярам, заявляют себя коммунистами. Это и есть заявка на тёплое местечко.

Шелест придумывает даже такую сцену. На котласской пересылке идёт перекличка по формулярам. «Партийность?» — спросил начальник. (Для каких дураков это пишется? Где в тюремных формулярах графа партийности?) «Член ВКП(б)»,— отвечает Шелест на подставной вопрос.

И надо отдать справедливость начальникам, как дзержинцам, так и берианцам: они *слышат*. И — устраивают. Да не было ли письменной или хотя бы устной директивы: коммунистов устраивать поприличнее? Ибо даже в периоды самых резких гонений на Пятьдесят Восьмую, когда её снимали с должностей придурков, бывшие крупные коммунисты почему-то удерживались. (Например, в Краслаге. Бывший член военсовета СКВО Аралов держался бригадиром огородников, бывший комбриг Иванчик — бригадиром коттеджей, бывший секретарь МК Дедков — тоже на синекуре.) Но и безо всякой директивы простая солидарность и простой расчёт — «сегодня ты, а завтра я», должны были понуждать эмведешников заботиться о правоверных.

И получалось, что ортодоксы были у начальства на ближнем счету, составляли в лагере устойчивую привилегированную прослойку. (На рядовых таких коммунистов, кто не ходил к начальству твердить о своей вере, это не распространялось.)

Алдан-Семёнов в простоте так прямо и пишет: коммунисты-начальники стараются перевести коммунистов-заключённых на более лёгкую

* Возразят нам: принципиальность-то принципиальность, но иногда нужно быть и гибким. Был же период, когда Ульбрихт и Димитров инструктировали свои компартии о мире с нацистами и даже поддержке их. Ну, тут нам крыть нечем, диалектика!

работу. Не скрывает и Дьяков: новичок Ром объявил начальнику больницы, что он — старый большевик. И сразу же его оставляют дневальным санчасти — очень завидная должность! Распоряжается и начальник лагеря не страгивать Тодорского с санитаров.

Но самый замечательный случай рассказывает Г. Шелест в «Колымских записях» *: приехал новый крупный эмведешник и в заключённом Заборском узнаёт своего бывшего комкора по гражданской войне. Прослезились. Ну, полцарства проси! И Заборский: соглашается «особо питаться с кухни и брать хлеба сколько надо» (то есть объедать работяг, ибо новых норм питания ему никто не выпишет) и просит дать ему только шеститомник Ленина, чтобы читать его вечерами при коптилке! Так всё и устраивается: днём он питается ворованным пайком, вечером читает Ленина. Так откровенно и с удовольствием прославляется подлость.

Ещё у Шелеста какое-то мифическое «подпольное политбюро» бригады (многовато для бригады?) в неурочное время раздобывает и буханку хлеба из хлеборезки и миску овсяной каши. Значит — везде свои придурки? И значит,— подворовываем, благомыслящие?

Всё тот же Шелест даёт нам окончательный вывод:

«Одни выживали *силой духа* (вот эти ортодоксы, воруя кашу и хлеб — А. С.), другие — лишней миской овсяной каши» (это — Иван Денисович). **

Ну, ин пусть будет так. У Ивана Денисовича знакомых придурков нет. Толко скажите: а камушки? камушки кто на стену клал, а? Твердолобые, вы ли?

В) **Отношение к труду.** В общем виде ортодоксы преданы труду (заместитель Эйхе и в тифозном бреду только тогда успокаивался, когда сестра уверяла его, что — да, телеграммы о хлебозаготовках уже посланы). В общем виде они одобряют и лагерный труд: он нужен для построения коммунизма, и без него было бы незаслуженно всей ораве арестантов выдаватв баланду. Поэтому они считают вполне разумным, что отказчиков следует бить, сажать в БУР, а в военное время и расстреливать. Вполне моральным считается у них и быть нарядчиком, бригадиром, любым погонщиком и понукателем (тут они расходятся с «честными ворами» и сходятся с «суками»).

Вот например была бригадиром лесоповальной бригады Елена Никитина, бывший секретарь киевского комитета комсомола. Рассказывают о ней: обворовывала выработку своей же бригады (Пятьдесят Восьмой), меняла с блатными. Откупалась у неё от работы Люся Джапаридзе (дочь бакинского комиссара) посылочным шоколадом. Зато анархистку Татьяну Гарасёву бригадирша трое суток не выпускала из лесу — до отморожения.

Вот Прохоров-Пустовер, тоже большевик, хоть и беспартийный, разоблачает зэков, что они нарочно не выполняют нормы (и докладывает об этом по начальству, тех наказывают). На упрёки зэков, что надо же понимать — их труд рабский, Пустовер отвечает: «Странная филосо-

* Журнал «Знамя», 1964, № 9.
** «Забайкальский рабочий», 27.8.64.

фия! в капиталистических странах рабочие борются против рабского труда, но мы-то, хоть и рабы, работаем на социалистическое государство, не для частных лиц. Это чиновники лишь временно (?) стоят у власти, одно движение народа — и они слетят, а государство народа останется.»

Это — дебри, сознание ортодокса. С ним невозможно столковаться живому человеку.

И единственное только исключение благомыслящие оговаривают для себя: их самих было бы неправильно использовать в общем лагерном труде, так как тогда им трудно было бы сохраниться для будущего плодотворного руководства советским народом, да и сами лагерные годы им трудно было бы *мыслить,* то есть, собираясь гужками, повторять по круговой очереди, что правы товарищ Сталин, товарищ Молотов, товарищ Берия и вся остальная партия.

А поэтому всеми силами под покровительством лагерных начальников и с тайной помощью друг друга они стараются устроиться придурками — на те места, которые не требуют знаний (специальности у них ни у кого нет) и которые поспокойней, подальше от главной лагерной рукопашной. Так и уцепляются они: Захаров (учитель Маленкова) — за каптёрку личных вещей; упомянутый выше Заборский (сам Шелест?) — за стол вещдовольствия; пресловутый Тодорский — при санчасти; Конокотин — фельдшером (хотя никакой он не фельдшер); Серебрякова — медсестрой (хоть никакая она не медсестра). Придурком был и Алдан-Семёнов.

Лагерная биография Дьякова — самого горластого из благонамеренных, представлена его собственным пером и достойна удивления. За пять лет своего срока он умудрился выйти за зону *один раз* — и то на полдня, за эти полдня он проработал *полчаса,* рубил сучья, и то надзиратель сказал ему: ты умаялся, отдохни. Полчаса за пять лет! — это не каждому удаётся! Какое-то время он *косил* на грыжу, потом на свищ от грыжи — но, слушайте, не пять же лет! Чтобы получать такие золотые места, как медстатистик, библиотекарь КВЧ и каптёр личных вещей, и держаться на этом *весь срок,*мало кому-то заплатить салом, вероятно и душу надо снести куму,— пусть оценят старые лагерники. Да Дьяков ещё не просто придурок, а придурок воинственный: в первом варианте своей повести*, пока его публично не пристыдили **, он с изяществом обосновывал, почему умный человек должен избежать грубой народной участи («шахматная комбинация», «рокировка», то есть вместо себя подставить под бой другого). И этот человек берётся теперь стать главным истолкователем лагерной жизни!

Г. Серебрякова свою лагерную биографию сообщает осторожным пунктиром. Говорят, есть тяжёлые свидетельницы против неё. Я не имел возможности этого проверить.

Но не сами только авторы-коммунисты, а и все остальные благонамеренные, описанные этим хором авторов, *все показаны вне труда* — или в больнице или в придурках, где и ведут они свои мракобесные (и несколько осовремененные) разговоры. Здесь писатели не лгут: у них

* Журнал «Звезда», 1963, № 3.
** «Новый мир», 1964, № 1, Лакшин.

просто не хватило фантазии изобразить этих твердолобых за трудом, полезным обществу. (Как изобразишь, если сам никогда не работал?)

Г) **Отношение к побегам.** Сами твердолобые в побег никогда не ходят: ведь это был бы акт борьбы с режимом, дезорганизация МВД, а значит и подрыв советской власти. Кроме того у ортодокса всегда странствует в высших инстанциях две-три просьбы о помиловании, а побег мог бы быть истолкован там, наверху, как нетерпение, как даже недоверие к высшим инстанциям.

Да и не нуждались благомыслящие в «свободе вообще» — в людской, птичьей свободе. Всякая истина конкретна — и свобода им была нужна только из рук государства, законная, с печатью, с возвратом их доарестного положения и преимуществ,— а без этого зачем и свобода?

Ну а уж если сами они в побег не шли,— тем более они осуждали и все чужие побеги как чистый подрыв системы МВД и хозяйственного строительства.

А если побеги так вредны, то, вероятно, гражданским долгом благонамеренного коммуниста является, когда он узнал,— донести товарищу оперуполномоченному? Логично?

А ведь среди них были и когдатошние подпольщики, и смелые люди гражданской войны. Но их догма обратила их — в политическую шпану...

Д) **Отношение к остальной Пятьдесят Восьмой.** С товарищами по беде они никогда себя не смешивали, это было бы непартийно. Иногда тайно между собой, а иногда и совсем в открытую (тут риска им нет) они противопоставляли себя этой грязной Пятьдесят Восьмой, они старались от неё очиститься отделением. Именно эту простоватую массу они возглавляли на воле — и там не давали ей вымолвить свободного слова. Здесь же, оказавшись с ней в одних камерах и на равных, они наоборот подавлены ею не были и сколько угодно кричали на неё: «Та́к вас и надо, мерзавцы! Все вы на воле притворялись! Все вы враги, и правильно вас посадили! Всё закономерно! Всё идёт к великой победе!» (Только меня неправильно посадили.)

И беспрепятственность своих тюремных монологов (администрация всегда за ортодоксов, контры и возразить не смеют, будет второй срок) они серьёзно приписывали силе всепобеждающего учения. (Ну, да в лагере бывало и иное соотношение сил. Некоему прокурору, сидевшему в Унжлаге, пришлось не один год притворяться юродивым. Только тем и спасся от расправы: сидели с ним «крестники» его.)

С откровенным презрением, с заповеданной классовой ненавистью озирались ортодоксы на всю Пятьдесят Восьмую, кроме себя. Дьяков: «Я в ужасе подумал, с кем мы здесь?» Конокотин не хочет делать укола больному власовцу (хотя обязан как фельдшер!), но жертвенно отдаёт свою кровь больному конвоиру. (Как и вольный врач их Баринов: «прежде всего я — чекист, а потом врач». Вот это — медицина!) Вот теперь и понятно, зачем в больнице «нужны честные люди» (Дьяков): чтобы знать, кому уколы делать, а кому нет.

И ненависть эту они превращали в действие (а как же можно и зачем классовую ненависть таить в себе?). У Шелеста Самуил Гендаль,

профессор (вероятно коммунистического права), при нежелании кавказцев выйти на работу сразу даёт затравку: подозревать муллу в саботаже.

Е) **Отношение к стукачеству.** Как в Рим ведут все дороги, так и предыдущие пункты все подвели нас к тому, что твердокаменным нельзя не сотрудничать с лучшими и душевнейшими из лагерных начальников — с оперуполномоченными. В их положении — это самый верный способ помочь НКВД, государству и партии.

Это кроме того и выгодно, это — лучшая спайка с начальством. Услуги куму не остаются без награды. Только при защите кума можно годами оставаться на хороших придурочьих местах в зоне.

В одной книжке о лагере из того же ортодоксного потока * любимый автором наиположительнейший коммунист Кратов руководствуется в лагере такой системой взгляда: 1) выжить любой ценой, ко всем приспосабливаясь; 2) пусть в стукачи идут порядочные люди — это лучше, чем пойдут негодяи.

Да если б ортодокс заупрямился и не пожелал служить куму — трудно ему той двери избежать. Всех правоверных, громко выражающих свою веру, оперуполномоченный не упустит ласково вызвать и отечески спросить: «Вы — советский человек?» И благонамеренный не может ответить «нет». Значит, «да».

А если «да», так давайте сотрудничать, товарищ. Мешать вам не может ничто. **

Только теперь, извращая всю историю лагерей, стыдно признаваться, что сотрудничали. Не всегда попадались открыто, как Лиза Котик, обронившая письменный донос. Но вот проболтаются, что оперуполномоченный Соковиков дружески отправлял письма Дьякова, минуя лагерную цензуру, лишь не скажут: а *за что* отправлял? дружба такая — откуда? Придумают, что оперуполномоченный Яковлев не советовал Тодорскому открыто называться коммунистом, и не растолкуют: а почему он об этом заботился?

Но это — до времени. Уже при дверях та славная пора, когда можно будет встряхнуться и громко признаться:

— Да! Мы — *стучали* и гордимся этим! ***

А впрочем — зачем вся эта глава? весь этот длинный обзор и анализ благонамеренных? Вместо этого напишем аршинными буквами:

ЯНОШ КАДАР. ВЛАДИСЛАВ ГОМУЛКА. ГУСТАВ ГУСАК.

Они прошли и несправедливый арест, и пыточное следствие, и по сколько-то лет отсидели.

Весь мир видит, много ли они усвоили. Весь мир узнал им цену.

---

* Виктор Вяткин. «Человек рождается дважды». Магадан, 1964.

** Иванов-Разумник вспоминает: в их бутырской камере разоблачили троих стукачей — и все трое оказались коммунисты.

*** Я написал это в начале 1966 года, а к концу его прочёл в «Октябре» № 9 статью К. Буковского. Так и есть — уже открыто гордятся.

Глава 12

СТУК-СТУК-СТУК...

ЧК-ГБ (вот так пожалуй и звучно, и удобно, и кратко называть это учреждение, вместе с тем не упуская его движения во времени) было бы бесчувственным чурбаном, не способным досматривать свой народ, если б не было у него постоянного взгляда и постоянного наслуха. В наши технические годы за глаза отчасти работают фотоаппараты и фотоэлементы, за уши — микрофоны, магнитофоны, лазерные подслушиватели. Но всю ту эпоху, которую охватывает эта книга, почти единственными глазами и почти единственными ушами ЧКГБ были *стукачи.*

В первые годы ЧК они названы были по-деловому: секретные сотрудники (в отличие от штатных, открытых). В манере тех лет это сократилось — *сексоты,* и так перешло в общее употребление. Кто придумывал это слово (не предполагая, что оно так распространится,— не уберегли) — не имел дара воспринимать его непредвзятым слухом и в одном только звучании услышать то омерзительное, что в нём сплелось,— нечто более даже постыдное, чем содомский грех. А ещё с годами оно налилось желтовато-бурой кровью предательства — и не стало в русском языке слова гаже.

Но применялось это слово только на воле. На Архипелаге были свои слова: в тюрьме — «наседка», в лагере — «стукач». Однако, как многие слова Архипелага вышли на простор русского языка и захватили всю страну, так и «стукач» со временем стало понятием общим. В этом отразилось единство и общность самого явления стукачества.

Не имея опыта и недостаточно над этим размышляв, трудно оценить, насколько мы пронизаны и охвачены стукачеством. Как, не имея в руках транзистора, мы не ощущаем в поле, в лесу и на озере, что постоянно струится сквозь нас множество радиоволн.

Трудно приучить себя к этому постоянному вопросу: а *кто у нас стучит?* У нас в квартире, у нас во дворе, у нас в часовой мастерской, у нас в школе, у нас в редакции, у нас в цеху, у нас в конструкторском бюро и даже у нас в милиции. Трудно приучить и противно приучаться — а для безопасности надо бы. Невозможно стукачей изгнать, уволить — навербуют новых. Но надо их знать: иногда — чтоб остеречься при них; иногда — чтобы при них *развести чернуху,* выдать себя не за то, что ты есть; иногда — чтоб открыто поссориться со стукачом и тем обесценить его показания против тебя.

О густоте сети сексотов мы скажем в особой главе о *воле.* Эту густоту многие ощущают, но не силятся представить каждого сексота в лицо — в его простое человеческое лицо, и оттого сеть кажется загадочней и страшней, чем она на самом деле есть. А между тем сексотка — та самая милая Анна Фёдоровна, которая по соседству зашла попросить у вас дрожжей и побежала сообщить в условный пункт (может быть в ларёк, может быть в аптеку), что у вас сидит непрописанный приезжий. Это тот самый свойский парень Иван Никифорович, с которым вы выпили по 200 грамм, и он донёс, как вы матерились, что в магазинах ничего не купишь, а начальству отпускают по блату. Вы не знаете

сексотов в лицо, и потом удивлены, откуда известно вездесущим Органам, что при массовом пении «Песни о Сталине» вы только рот раскрывали, а голоса не тратили? или о том, что вы не были веселы на демонстрации 7 ноября? Да где ж они, эти пронизывающие жгучие глаза сексота? А глаза сексота могут быть и с голубой поволокой, и со старческой слезой. Им совсем не обязательно светиться угрюмым злодейством. Не ждите, что это обязательно негодяй с отталкивающей наружностью. Это — обычный человек, как ты и я, с мерой добрых чувств, мерой злобы и зависти и со своими слабостями, делающими нас уязвимыми для пауков. Если бы набор сексотов был совершенно добровольный, на энтузиазме — их не набралось бы много (разве в 20-е годы). Но набор идёт опутыванием и захватом, и слабости отдают человека этой позорной службе. И даже те, кто искренне хотят сбросить с себя липкую паутину, эту вторую кожу — не могут, не могут.

Вербовка — в самом воздухе нашей страны. В том, что государственное выше личного. В том, что Павлик Морозов — герой. В том, что донос не есть донос, а *помощь* тому, на кого доносим. Вербовка кружевно сплетается с идеологией: ведь и Органы хотят, ведь и вербуемый должен хотеть только одного: успешного движения нашей страны к социализму.

Техническая сторона вербовки — выше похвал. Увы, наши детективные комиксы не описывают этих приёмов. Вербовщики работают в агитпунктах перед выборами. Вербовщики работают на кафедре марксизма-ленинизма. Вас вызывают — «там какая-то комиссия, зайдите». Вербовщики работают в армейской части, едва отведенной с переднего края: приезжает смершевец и по очереди *дёргает* половину вашей роты; с кем-то из солдат он разговаривает просто о погоде и каше, а кому-то даёт задание следить друг за другом и за командирами.— Сидит в конурке мастер и чинит кожгалантерею. Входит симпатичный мужчина: «вот эту пряжку вы не могли бы мне починить?» И тихо: «сейчас вы закроете мастерскую, выйдете на улицу, там стоит машина 37—48, прямо открывайте дверцу и садитесь, она отвезёт вас, куда надо». (А там дальше известно: «Вы советский человек? так вы должны нам *помочь*.») Такая мастерская — чудесный пункт сбора донесений граждан. А для личной встречи с оперуполномоченным — квартира Сидоровых, 2-й этаж, три звонка, от шести до восьми вечера.

Поэзия вербовки сексотов ещё ждёт своего художника. Есть жизнь видимая — и есть невидимая. Везде натянуты паучьи нити, и мы при движениях не замечаем, как они нас опетливают.

Набор инструментов для вербовки — как набор отмычек: № 1, № 2, № 3. № 1: «вы — советский человек?» № 2: пообещать то, чего вербуемый много лет бесплодно добивается в законном порядке; № 3: надавить на слабое место, пригрозить тем, чего вербуемый больше всего боится; № 4...

Да ведь чуть-чуть только бывает надо и придавить. Вызывается такой А. Г., известно, что по характеру он — размазня. И сразу ему: «Напишите список антисоветски настроенных людей из ваших знакомых.» Он растерян, мнётся: «Я не уверен...» Не вскочил, не ударил кулаком: «Да как вы смеете?!» (Да кто там вскочит у нас? Что фантазировать?..) — «Ах, вы не уверены? Тогда вы пишите список, за кого

вы ручаетесь, что они вполне советские люди. Но — ручаетесь, учтите! Если хоть одного аттестуете ложно, *сядете* сразу сами! Что ж вы не пишете?» «Я... не могу ручаться.» — «Ах, не можете? Значит, что *знаете,* что они — антисоветские. Вот и пишите, про кого знаете!» И потеет, и ёрзает, и мучается честный хороший кролик А. Г. с душою слишком мягкой, лепленной ещё до революции. Он искренне принял этот напор, врезавшийся в него: или писать, что советские, или писать, что антисоветские. Он не видит третьего выхода.

Камень — не человек, а и тот рушат.

На воле отмычек больше, потому что и жизнь разнообразнее. В лагере — самые простые, жизнь упрощена, обнажена, и резьба винтов и диаметр головки известны. № 1, конечно, остаётся: «вы — советский человек?» Очень применимо к благонамеренным, отвёртка никогда не соскальзывает, головка сразу подалась и пошла. № 2 тоже отлично работает: обещание взять с общих работ, устроить в зоне, дать дополнительную кашу, приплатить, сбросить срок. Всё это — жизнь, каждая эта ступенька — сохранение жизни. (В годы войны *стук* особенно измельчал: предметы дорожали, а люди дешевели. Закладывали даже за пачку махорки.) А № 3 работает ещё лучше: снимем с придурков! пошлём на общие! переведём на штрафной лагпункт! Каждая эта ступенька — ступенька к смерти. И тот, кто не выманивается кусочком хлеба наверх, может дрогнуть и взмолиться, если его сталкивают в пропасть.

Это не значит, что в лагере не бывает уж никогда нужна более тонкая работа. Иногда приходится-таки исхитриться. Майору Шикину надо было собрать обвинение против заключённого Герценберга, еврея. Он имел основание думать, что обвинительный материал может дать Антон, немец из пленных, семнадцатилетний неопытный мальчик. Шикин вызвал Антона и стал возбуждать в нём нацистские посевы: как гнусна еврейская нация и как она погубила Германию. Антон раскалился и предал Герценберга. (И почему бы в переменчивых обстоятельствах коммунист-чекист Шикин не стал бы исполнительным следователем Гестапо?)

Или вот Александр Филиппович Степовой. До посадки он был солдатом войск МВД, посажен — по 58-й. Он совсем не ортодокс, он вообще простой парень, он в лагере начал стыдиться своей прошлой службы и тщательно скрывал её, понимая, что это опасно, если узнается. Так ка́к его вербовать? Вот этим и вербовать: разгласим, что ты — «чекист». И собственным знаменем они подотрутся, чтоб только завербовать. (Уверяет, что всё же устоял.)

Не будет другого повода рассказать историю его посадки. Мобилизован был хлопчик в армию, а послали служить в войска МВД. Сперва — на борьбу с бандеровцами. Получив (от стукачей же) сведения, когда те придут из леса в церковь на обедню, окружали церковь и брали на выходе (по фотографиям). То — охраняли (в гражданском) народных депутатов в Литве, когда те ездили на избирательные собрания. («Один такой смелый был, всегда от охраны отказывался!») То — мост охраняли в Горьковской области. У них и у самих был бунт, когда плохо стали кормить,— и их послали в наказание на турецкую границу. Но Степовой уже к этому времени сел. Он — рисовал много, и даже на обложках тетрадей по политучёбе. Нарисовал как-то свинью, и под руку ему кто-то сказал: «А Сталина можешь?» Могу. Тут же и Сталина нарисовал. И сдал тетрадь для проверки. Уже довольно было для посадки, но на стрельбах он в присутствии генерала выбил 7 из 7 на 400 метров и получил отпуск домой. Вернувшись в часть, рассказал: деревьев нет, все фруктовые сами спилили из-за «зверского» налога. Трибунал Горьковского военного округа. Ещё и там кричал: «Ах вы,

подлецы! Если я враг народа — чего ж вы перед народом не судите, прячетесь?» Потом — Буреполом и Красная Глинка (тяжёлый режимный лагерь с тоннельными работами, одна Пятьдесят Восьмая).

Иной, как говорится, и не плотник, да стучать охотник — этот берётся без затруднения. На другого приходится удочку забрасывать по несколько раз: сглатывает иаживу. Кто будет извиваться, что трудно ему собрать точную информацию, тому объясняют: «Давайте какая есть, мы будем проверять.» — «Но если я совсем не уверен?» — «Так что ж — вы истиниый враг?» Да наконец и честно ему объяснить: «Нам нужно пять процентов правды, остальное пусть будет ваша фантазия.» (Джидинские оперы.)

Но иногда выбивается из сил и кум *, не берётся добыча ни с третьего, ни с пятого раза. Это — редко, но бывает. Тогда остаётся куму затянуть запасную петельку: подписку о неразглашении. Нигде — ни в конституции, ни в кодексе — не сказано, что такие подписки вообще существуют, что мы обязаны их давать, но — мы ко всему привыкли. Как же можно ещё и тут отказаться? Уж это мы непременно все даём. (А между тем, если бы мы их не давали, если бы, выйдя за порог, мы тут же бы всем и каждому разглашали свою беседу с кумом,— вот и развеялась бы бесовская сила Третьего Отдела, на нашей трусости и держится их секретность и сами они!) И ставится в лагерном деле освобождающая счастливая пометка: *«не вербовать!»* Это — проба «96» или по крайней мере «84», но мы не скоро о ней узнаем, если вообще доживём. Мы догадаемся по тому, что схлынет с нас эта нечисть и никогда больше не будет к нам липнуть.

Однако чаще всего вербовка удаётся. Просто и грубо давят, давят, так, что ни отмолиться, ни отлаяться.

И вскоре завербованный приносит донос.

И по доносу чаще всего затягивают на чьей-то шее удавку второго срока.

И получается лагерное стукачество сильнейшей формой лагерной борьбы: «подохни ты сегодня, а я завтра!»

На воле все полвека или сорок лет стукачество было совершенно безопасным занятием: никакой ответной угрозы от общества, или разоблачения, ни кары быть не могло.

В лагерях несколько иначе. Читатель помнит, как стукачей разоблачала и ссылала иа Кондостров соловецкая Адмчасть. Потом десятилетиями стукачам было как будто вольготно и расцветно. Но редкими временами и местами сплачивалась группка волевых и энергичных зэков и в скрытой форме продолжала соловецкую традицию. Иногда прибивали (убивали) стукача под видом самосуда разъярённой толпы над пойманным вором (самосуд по лагерным понятиям почти законный). Иногда (1-й ОЛП Вятлага во время войны) производственные придурки административно списывали со своего объекта самых вредных стукачей «по деловым соображениям». Тут оперу трудно было помочь. Другие стукачи понимали и стихали.

* Слово «кум» по Далю означает: «состоящий в *духовном* родстве, восприемник по крещению». Стало быть, перенос на лагерного опера — очень меток, вполне в духе языка. Только с усмешкой, обычной для зэков.

Много было в лагерях надежды на приходящих фронтовиков — вот кто за стукачей возьмётся! Увы, военные пополнения разочаровывали лагерных борцов: вне своей армии эти вояки, миномётчики и разведчики, совсем скисали, не годились никуда.

Нужны были ещё качания колокольного била, ещё откладки временнóго метра, пока откроется на Архипелаге мор на стукачей.

* * *

В этой главе мне не хватает материала. Что-то неохотно рассказывают лагерники, как их вербовали. Расскажу ж о себе.

Лишь поздним лагерным опытом, наторевший, я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагере всё лез на какие-то должности, и тотчас же падал с них. И очень держался за эту шкуру — гимнастёрку, галифе, шинель, уж так старался не менять её на защитную лагерную чернедь! В новых условиях я делал ошибку новобранца: я выделялся из местности.

И снайперский глаз первого же кума, новоиерусалимского, сразу меня заметил. А на Калужской заставе, как только я из маляров выбился в помощники нормировщика, опять я вытащил эту форму — ах, как хочется быть мужественным и красивым! К тому ж я жил в комнате уродов, там генералы и не так одевались.

Забыл я и думать, как и зачем писал в Новом Иерусалиме автобиографию. Полулёжа на своей кровати как-то вечером, почитывал я учебник физики, Зиновьев что-то жарил и рассказывал, Орачевский и Прохоров лежали, выставив сапоги на перильца кровати,— и вошёл старший надзиратель Сенин (это очевидно была не настоящая его фамилия, он и не русский был, а псевдоним для лагеря). Он как будто не заметил ни этой плитки, ни этих выставленных сапог — сел на чью-то кровать и принял участие в общем разговоре.

Лицом и манерами мне он не нравился, этот Сенин, слишком играл мягкими глазами, но уж какой был окультуренный! какой воспитанный! уж как отличался он среди наших надзирателей — хамов, недотёп и неграмотных. Сенин был ни много ни мало — студент! — студент 4-го курса, вот только не помню какого факультета. Он, видно, очень стыдился эмведистской формы, боялся, чтобы сокурсники не увидели его в голубых погонах в городе, и потому, приезжая на дежурство, надевал форму на вахте, а уезжая — снимал. (Вот современный герой для романистов. Вообразить по царским временам, чтобы прогрессивный студент подрабатывал в тюрьме надзирателем!) Впрочем, культурный-культурный, а послать старика побегушками или назначить работяге трое суток карцера ему ничего не стоило.

Но у нас в комнате он любил вести интеллигентный разговор: показать, что понимает наши тонкие души, и чтоб мы оценили тонкость его души. Так и сейчас — он свежо рассказал нам что-то о городской жизни, что-то о новом фильме и вдруг незаметно для всех сделал мне явное движение — выйти в коридор.

Я вышел, недоумевая. Через сколько-то вежливых фраз, чтоб не было заметно, Сенин тоже поднялся и нагнал меня. И велел тотчас же

идти в кабинет оперуполномоченного — туда вела глухая лестница, где никого нельзя было встретить. Там и сидел сыч.

Я его ещё и в глаза не видел. Я пошёл с замиранием сердца. Я — чего боюсь? Я боюсь, чего каждый лагерник боится: чтоб не стали мотать второго срока. Ещё года не прошло от моего следствия, ещё болит во мне всё от одного вида следователя за письменным столом. Вдруг опять переворох прежнего дела: ещё какие-нибудь странички из дневника, ещё какие-нибудь письма...

Тук-тук-тук.

— Войдите.

Открываю дверь. Маленькая, уютно обставленная комната, как будто она не в ГУЛАГе совсем. Нашлось место и для маленького дивана (может быть, сюда он таскает наших женщин) и для радиоприёмника «Филипс» на этажерке. В нём светится цветной глазочек и негромко льётся мягкая какая-то, очень приятная мелодия. Я от такой чистоты звука и от такой музыки совсем отвык, я размягчаюсь с первой минуты: где-то идёт жизнь! Боже мой, мы уже привыкли считать нашу жизнь — за жизнь, а она где-то там идёт, где-то там...

— Садитесь.

На столе — лампа под успокаивающим абажуром. За столом в кресле — опер, как и Сенин — такой же интеллигентный, чернявый, малопроницаемого вида. Мой стул — тоже полумягкий. Как всё приятно, если он не начнёт меня ни в чём обвинять, не начнёт опять вытаскивать старые погремушки.

Но нет, его голос совсем не враждебен. Он спрашивает вообще о жизни, о самочувствии, как я привыкаю к лагерю, удобно ли мне в комнате придурков. Нет, так не вступают в следствие. (Да где я слышал эту мелодию прелестную?..)

А теперь вполне естественный вопрос, да из любознательности даже:

— Ну, и как после всего происшедшего с вами, всего пережитого,— остаётесь вы советским человеком? Или нет?

А? Что ответишь? Вы, потомки, вам этого не понять: что́ вот сейчас ответишь? Я слышу, я слышу, нормальные свободные люди, вы кричите мне из 1990 года: «Да пошли его на ... ! (Или, может, потомки уже не будут так выражаться? Я думаю — будут.) Посадили, зарезали — и ещё ему советский человек!»

В самом деле, после всех тюрем, всех встреч, когда на меня хлынула информация со всего света,— ну, какой же я могу остаться советский? Где, когда выстаивало что-нибудь советское против полноты информации?

И если б я столько был уже перевоспитан тюрьмой, сколько образован ею, я конечно, должен был бы сразу отрезать: «Нет! И шли бы вы на ... ! Надоело мне на вас мозги тратить. Дайте отдохнуть после работы!»

Но ведь мы же выросли в послушании, ребята! Ведь если «кто против?.. кто воздержался?..» — рука никак не поднимается, никак. Даже осуждённому, как это можно выговорить языком: я — не советский...?

— В постановлении ОСО сказано, что — антисоветский,— осторожно уклоняюсь я.

— ОСО-о,— отмахивается он безо всякого почтения.— Но сами-то вы что чувствуете? Вы — остаётесь советским? Или переменились, озлобились?

Негромко, так чисто льётся эта мелодия, и не пристаёт к ней наш тягучий, липкий, ничтожный разговор. Боже, как чиста, и как прекрасна может быть человеческая жизнь, но из-за эгоизма властвующих нам никогда не дают её достичь. Монюшко? — не Монюшко, Дворжак? — не Дворжак... Отвязался бы ты, пёс, дал бы хоть послушать.

— Почему я мог бы озлобиться? — удивляюсь я. (Почему в самом деле? «Озлобиться» никак нельзя, это уже пахнет новым следствием.)

— Так значит — советский? — строго, но и с поощрением допытывается опер.

Только не отвечать резко. Только не открывать себя сегодняшнего. Вот скажи сейчас, что — антисоветский, и заведёт лагерное дело, будет паять второй срок, свободно.

— В душе, внутренне — как вы сами себя считаете?

Страшно-то как: зима, вьюги, да ехать в Заполярье. А тут я устроен, спать сухо, тепло, и бельё даже. В Москве ко мне жена приходит на свидание, носит передачи... Куда ехать! зачем ехать, если можно остаться?.. Ну, что позорного — сказать «советский»? Система — социалистическая.

— Я-то себя... д-да... советский...

— Ах, советский! Ну вот это другой разговор,— радуется опер.— Теперь мы можем с вами разговаривать как два советских человека. Значит, мы с вами имеем одну идеологию, у нас общие цели — (только комнаты разные) — и мы с вами должны действовать заодно. Вы *поможете* нам, мы — вам...

Я чувствую, что я уже пополз... Тут ещё музыка эта... А он набрасывает и набрасывает аккуратненькие петельки: я должен помочь им быть в курсе дела. Я могу стать случайным свидетелем некоторых разговоров. Я должен буду о них сообщить...

Вот этого я никогда не сделаю. Это холодно я знаю внутри: советский, не советский, но чтоб о политическом разговоре я вам сообщил — не дождётесь! Однако — осторожность, осторожность, надо как-то мягенько заметать следы.

— Это я... не сумею,— отвечаю я почти с сожалением.

— Почему же? — суровеет мой коллега по идеологии.

— Да потому что... это не в моём характере...— (Как бы тебе помягче сказать, сволочь?) — Потому что... я не прислушиваюсь... не запоминаю...

Он замечает, что что-то у меня с музыкой,— и выщёлкивает её. Тишина. Гаснет тёплый цветной глазок доброго мира. В кабинете — сыч и я. Шутки в сторону.

Хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов, и фиксируется ничья. Но нет! На всё ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно шахует меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку и опять высовываюсь из-за неё. Вкуса у него нет, времени — сколько угодно. Я сам подставил себя под вечный шах, объявившись советским человеком. Конечно, каждый из ста раз есть какой-то оттенок: другое слово, другая интонация.

И проходит час, и проходит ещё час. В нашей камере уже спят, а ему куда торопиться, это ж его работа и есть. Как отвязаться? Какие онн вязкие. Уж он намекнул и об этапе, и об общих работах, уже он выражал подозрение, что я заклятый враг, и переходил опять к надежде, что я — заклятый друг.

Уступить — не могу. И на этап мне не хочется ехать зимой. С тоской я думаю: чем всё это кончнтся?

Вдруг он поворачнвает разговор к блатным. Он слышал от надзирателя Сенина, что я резко высказываюсь о блатных, что у меня были с ннмн столкновения. Я оживляюсь: это — перемена ходов. Да, я их ненавижу. (Но знаю, что *вы* их любите!)

И чтоб меня окончательно растрогать, он рисует такую картину: в Москве у меня жена. Без мужа она вынуждена ходить по улицам одна, иногда и ночью. На улицах часто раздевают. Вот эти самые блатные, которые бегут из лагерей. (Нет, которых вы амннстируете!) Так неужели я откажусь сообщить оперуполномоченному о готовящихся побегах блатных, если мне станет это известно?

Что ж, блатные — враги, враги безжалостные, и против них, пожалуй, все меры хороши... Там уж хороши, не хороши, а главное — сейчас выход хороший. Это как будто и

— Можно. Это — можно.

Ты сказал! Ты сказал, а бесу только н нужно одно словечко! И уже чистый бланк порхает перед мной на стол:

«Обязательство

Я, имя рек, даю обязательство сообщать оперуполномоченному лагучастка о...»

готовящихся побегах заключённых...

— Но мы говорили только о блатных!

— А кто же бегает кроме блатных?.. Да как я в официальной бумаге напишу «блатных»? Это же жаргон. Понятно н так.

— Но так меняется весь смысл!

— Нет, я-таки вижу: вы — *не наш* человек, н с вами надо разговаривать совсем иначе. И — не здесь.

О, какие страшные слова — «не здесь», когда вьюга за окном, когда ты придурок и жнвёшь в симпатичной комнате уродов! Где же это «не здесь»? В Лефортове? И как это — «совсем иначе»? Да в конце концов ни одного побега в лагере при мне не было, такая ж вероятность, как падение метеорнта. А если и будут побегн — какой дурак будет перед тем о них разговаривать? А значнт, я не узнаю. А значит, мне нечего будет и докладывать. В конце концов это совсем неплохой выход... Только...

— Неужели нельзя обойтись без этой бумажки?

— Таков порядок.

Я вздыхаю. Я успокаиваю себя оговорочками и ставлю подпнсь о продаже души. О продаже души для спасения тела. Окончено? Можно идти?

О, нет. Ещё будет «о неразглашении». Но ещё раньше, на этой же бумажке:

— Вам предстоит выбрать псевдоним.

Псевдоним?.. Ах, *кличку!* Да-да-да, ведь осведомители должны иметь кличку! Боже мой, как я быстро скатился. Он-таки меня переиграл. Фигуры сдвинуты, мат признан.

И вся фантазия покидает мою опустевшую голову. Я всегда могу находить фамилии для десятков героев! Сейчас я не могу придумать никакой клички. Прислушиваясь ли за окном, он милосердно подсказывает мне:

— Ну, например, Ветров.

И я вывожу в конце обязательства — «Ветров». Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами.

Ведь я же хотел умереть с людьми! Я же готов был умереть с людьми! Как получилось, что я остался жить во псах?..

А уполномоченный прячет моё обязательство в сейф — это его выработка за вечернюю смену, и любезно поясняет мне: сюда, в кабинет, приходить не надо, это навлечёт подозрение. А надзиратель Сенин — доверенное лицо, и все сообщения (доносы!) передавать незаметно через него.

Так ловят птичек. Начиная с коготка.

В тот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Ведь за гриву не удержался — за хвост не удержишься. Начавший скользить — должен скользить и срываться дальше.

Но что-то мне помогло удержаться. При встрече Сенин понукал: ну, ну? Я разводил руками: ничего не слышал. Блатным я чужд и не могу с ними близиться. А тут как назло — не бегали, не бегали, и вдруг бежал воришка из нашего лагерька. Тогда — о другом! о бригаде! о комнате! — настаивал Сенин.— О другом я не обещал! — твердил я (да и к весне уже шло). Всё-таки маленькое достижение было, что я дал обязательство слишком частное — о побегах.

А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу больше мне не пришлось подписаться «Ветров». Но и сегодня я поёживаюсь, встречая эту фамилию.

О, как же трудно, как трудно становиться человеком! Даже если прошёл ты фронт, и бомбили тебя, и на минах ты рвался — это ещё только начало мужества. Это ещё — не всё...

Прошло много лет. Были шарашки, были особые лагеря. Держался я независимо, всё наглей, никогда больше оперчасть не баловала меня расположением, и я привык жить с весёлым дыханием, что на деле моём поставлена проба: «не вербовать!».

Послали меня в ссылку. Прожил я там почти три года. Уже началось рассасывание и ссылки, уже освободили несколько национальностей. Уже на отметку в комендатуру мы, оставшиеся, ходили с шуточками. Уже и XX съезд прошёл. Уже всё казалось навеки конченным. Я строил весёлые планы отъезда в Россию, как только получу освобождение. И вдруг на выходе из школьного двора меня приветливо окликнул по имени-отчеству какой-то хорошо одетый (в гражданском) казах и поспешил поздороваться за руку.

— Пойдёмте побеседуем! — ласково кивнул он в сторону комендатуры.

— Да мне обедать надо,— отмахнулся я.
— А позже вечером будете свободны?
— И вечером тоже нет.— (Свободными вечерами я роман писал.)
— Ну, а когда завтра?

Вот прицепился. Пришлось назначить на завтра. Я думал, он будет говорить что-нибудь о пересмотре моего дела. (К тому времени я сплошал: написал наверх о снятии ссылки на основании «аденауэровской амнистии», а значит, стал в положение просителя. Этого не могло пропустить ГБ!) Но оперуполномоченный из области торжественно занял кабинет начальника РайМВД, дверь запер и явно располагался на многочасовой разговор, усложнённый ещё тем, что он по-русски не хорошо говорил. Всё же к концу первого часа я понял, что не пересмотром моего дела он хочет заниматься, а привлечь меня к стукачеству. (Очевидно, с освобождением части ссыльных кадры стукачей поредели.)

Мне стало смешно и досадно; досадно, потому что каждым получасом я очень дорожил; а смешно потому, что в марте 1956 года разговор такой резал неуместностью, как неуклюже поперечное движение ножом по тарелке. Я попробовал в лёгкой форме объяснить несвоевременность — ничего подобного, он как серьёзный бульдог старался не разжать хватку. Всякое послабление всегда доходит в провинцию с опозданием на три, на пять, на десять лет, только острожение — мгновенно. Он ещё совсем не понимал, что такое будет 1956 год! Тогда я напомнил ему, что и МГБ-то упразднено, но он с живостью и радостью доказывал, что КГБ — то же самое, и штаты те же, и задачи те же.

У меня к этому году развилась уже какая-то кавалерийская лёгкость по отношению к их славному учреждению. Я чувствовал, что вполне в духе эпохи послать его именно туда, куда они заслужили. Прямых последствий для себя я ничуть не боялся — их быть не могло в тот славный год. И очень весело бы уйти от него, хлопнув дверью.

Но я подумал: а мои рукописи? Целыми днями они лежат в моей хатке, защищённые слабым замочком, да ещё маленькой хитростью внутри. А ночами я их достаю и пишу. Разозлю КГБ — будет искать мне отместку, что-нибудь компрометирующее, и вдруг найдут рукописи?

Нет, надо кончить миром.

О, страна! О, заклятая страна, где в самые свободные месяцы самый внутренне-свободный человек не может позволить себе поссориться с жандармами!.. Не может в глаза им вызвездить всё, что думает!

— Я тяжело болен, вот что. Болезнь не разрешает мне приглядываться, присматриваться. Хватит с меня забот. Давайте на этом кончим.

Конечно, жалкая отговорка, жалкая, потому что само право вербовать я за ними признаю, а нужно высмеять и опрокинуть именно его.

А он ещё не соглашался, нахалюга! Он ещё полчаса доказывал, что и тяжело больной тоже должен сотрудничать!.. Но видя окончательную мою непреклонность, сообразил:

— А справка есть у вас лишняя?
— Какая?
— Ну, что вы так больны.
— Справка — есть.
— Тогда принесите справку.

Ему ведь выработка нужна, выработка за рабочий день. Оправдание,

что кандидатура была намечена правильно, да не знали, что человек так болен серьёзно. Справка нужна была ему не просто прочесть, а — подшить и тем прекратить затею.

Отдал я ему справку и на том рассчитались.

Это были самые свободные месяцы нашей страны за полстолетия!

А у кого справки не было?

* * *

Умелость опера состоит в том, чтобы сразу взять нужную отмычку. В одном из сибирских лагерей прибалтийца У., хорошо знающего русский язык (потому на него и выбор пал), зовут «к начальнику», а в кабинете начальника сидит какой-то неизвестный горбоносый капитан с гипнотизирующим взглядом кобры. «Закрывайте плотно дверь!» — очень серьёзно предупреждает он, будто вот-вот ворвутся враги, а сам из-под мохнатых бровей не спускает с У. пылающих глаз,— и уже всё в У. опускается, его уже что-то жжёт, что-то душит. Прежде, чем вызвать У., капитан собрал, конечно, о нём сведения и ещё заочно представил, что № 1, № 2, № 3, № 4 — все отпадают, и что здесь подойдёт только самая последняя и самая сильная, но ещё несколько минут он жгуче смотрит в незамутнённые незащищённые глаза У., проверяя своими кобряными, а заодно лишая его воли, уже невидимо возвышая над ним то, что сейчас обрушиться.

Опер тратит время только на маленькое вступление, но говорит не тоном отвлечённой политграмоты, а — напряжённо, как о том, что сейчас или завтра взорвётся и на их лагпункте: «Вам известно, что мир разделился на два лагеря, один из них будет побит, и мы твёрдо знаем, какой. Вы знаете — какой?.. Так вот, если вы хотите остаться жить, вы должны отколоться от гиблого капиталистического берега и пристать к новому берегу. Знаете, у Лациса «К новому берегу»? — и ещё несколько таких фраз, а сам не спускает горячего угрожающего взора и, окончательно выяснив для себя номер отмычки, с тревожной значительностью спрашивает: «А *как ваша семья?»* И всех семейных запросто называет по именам! Он помнит, по сколько лет детям! Значит, он уже занимался семьёй, это очень серьёзно! «Вы понимаете, конечно,— гипнотизирует он,— что вы с семьёй — одно целое. Если ошибётесь вы и погибнете — сейчас же погибнет и ваша семья. *Семей изменников* (усиляет он голосом) мы не оставляем жить в здоровой советской среде. Итак: делайте выбор между двумя мирами! между жизнью и смертью! Я предлагаю вам взять обязательство помогать оперчекистскому отделу! В случае вашего отказа ваша семья полностью и немедленно будет посажена в лагеря! В наших руках — полная власть (и он прав), и мы не привыкли отступать от своих решений (и опять же прав)! Раз мы выбрали вас, вы — будете с нами работать!»

Всё это внезапно грохнуло на голову У., он не приготовлен, он никак и думать не мог, он считал, что стучат негодяи, но что предложат — ему? Удар — прямой, без ложных движений, без проволочки времени, и капитан ждёт ответа: вот взорвётся и всё взорвёт! И думает У.: а что невозможно для них? Когда щадили они чьи-нибудь семьи? Не стеснялись же «раскулачивать» семьями до малых детей, и с гордостью

писали в газетах. Видел У. и работу Органов в 1940—41 в Прибалтике, ходил на тюремные дворы смотреть навал расстрелянных при отступлении. И в 1944 году слушал прибалтийские передачи из Ленинграда. Как взгляд капитана сейчас, передачи были полны угроз и дышали местью. В них обещалось расправиться *со всеми,* решительно со всеми, кто помогал врагу. * Так что́ заставит их проявить милосердие теперь? Просить — бесполезно. Надо выбирать. (Только вот чего ещё не понимает У., поддавшись и сам легенде об Органах: что нет в этой машине такого великолепного взаимодействия и взаимоотзывчивости, чтобы сегодня он отказался стать стукачом на сибирском лагпункте, а через неделю его семью потянули бы в Сибирь. И ещё одного не понимал он. Как плохо ни думает он об Органах, но они ещё хуже: скоро ударит час, и все эти семьи, все эти сотни тысяч семей тронут в общую ссылку на погибель, не сверяясь, как ведут себя в лагере отцы.)

Страх за одного себя его бы не поколебнул. Но представил У. свою жену и свою дочь в лагерных условиях — в этих бараках, где даже занавесками не завешивается блуд и где нет никакой защиты для женщины моложе шестидесяти лет. И он — дрогнул. Отмычка выбрана правильно. Никакая б не взяла, а эта — взяла.

Ну, ещё он тянет: я должен обдумать.— Хорошо, три дня обдумывайте, но не советуйтесь ни с единым человеком. *За разглашение вы будете расстреляны!* (У. идёт и советуется с земляком — с тем самым, на которого ему предложат написать и первый донос, с ним вместе они и отредактируют. Признаёт и тот, что нельзя рисковать семьёю.)

При втором посещении капитана У. даёт дьявольскую расписку, получает задание и связь: сюда больше не ходить, все дела через расконвоированного придурка Фрола Рябинина.

Это — важная составная часть работы лагерного опера: вот эти резиденты, рассыпанные по лагерю. Фрол Рябинин — громче всех на народе, весельчак, Фрол Рябинин — популярная личность, у Фрола Рябинина какая-то блатная работёнка, отдельная кабина и всегда свободные деньги. С помощью опера простиг он глубины и течения лагерной жизни и легко в них витает. Вот эти резиденты и есть те канаты, на которых держится вся сеть.

Фрол Рябинин наставляет У., что передавать донесения надо в тёмном закоулке («в нашем деле — самое главное конспирация»). Он зовёт его и к себе в кабинку: «Капитан вашим донесением недоволен. Надо так писать, чтобы на человека получался *материал.* Вот я сейчас вас поучу.»

И это мурло поучает потускневшего, сникшего, интеллигентного У., как надо писать на людей гадости. Но понурый вид У. толкает Рябинина к собственному умозаключению: надо этого хлюпика подбодрить, надо огонька ему влить! И он говорит уже по-дружески: «Слушайте, вам трудно жить. Иногда хочется подкупить чего-нибудь к пайке. Капитан

* Но педагог, но заводской рабочий, но трамвайный кондуктор, но каждый, кто питает себя работою,— ведь все же они помогают! Не помогает оккупантам только спекулянт на базаре и партизан в лесу! Крайний тон этих неосмысленных ленинградских передач толкнул несколько сот тысяч человек к бегству в Скандинавию в 1944.

хочет вам помочь. Вот, возьмите!» — и достав из бумажника пятидесятку (это ж капитанская! значит, как свободны *они* от бухгалтерской отчётности, может во всей стране они одни!), суёт ее У.

И от вида этой бледно-зеленоватой жабы, соваемой в руки, вдруг спадают с У. все чары капитана-кобры, весь гипноз, вся скованность, вся боязнь даже за семью: всё происшедшее, весь смысл его овеществлятся в этой гадкой бумажке с зеленоватою лимфой, в обыкновенных иудиных серебренниках. И уже не рассуждая о том, что будет с семьёй, естественным движением оттолкнуться от мрази, У. отталкивает пятидесятку, а непонимающий Рябинин опять суёт,— У. отбрасывает её совсем на пол — и встаёт уже облегчённый, уже свободный и от нравоучений Рябинина и от подписи, данной капитану, свободный от этих бумажных условностей перед великим долгом человека! Он уходит без спроса. Он идёт по зоне, несут его лёгкие ноги: «Свободен! Свободен!»

Ну, не совсем-то. При тупом опере тянули бы дальше ещё. Но капитан-кобра понял, что глупый Рябинин сорвал резьбу, не тою отмычкой взял. И больше в этом лагере щупальцы не тянули У., Рябинин проходил не здороваясь. Успокоился У. и радовался. Тут стали отправлять в Особлаги, и он попал в Степлаг. Тем более он думал, что с этим этапом обрывается всё.

Но нет! Пометка, видимо, осталась. Однажды на новом месте У. вызвали к полковнику. «Говорят, вы согласны с нами работать, но *не заслуживаете доверия*. Может быть, вам плохо объяснили?»

Однако, этот полковник совсем уже не вызывал у У. страха. К тому ж за это время семью У., как и семьи многих прибалтов, выселили в Сибирь. Сомнения не было: надо отлипнуть от них. Но какой найти предлог?

Полковник передал У. лейтенанту, чтобы тот ещё обрабатывал, и тот скакал, угрожал и обещал, а У. тем временем подыскивал: как сильней всего и решительней всего отказаться?

Просвещённый и безрелигиозный человек, У. нашёл, однако, что он оборонится от них только заслонясь Христом. Не очень это было принципиально, но безошибочно. Он солгал: «Я должен вам сказать откровенно. Я получил христианское воспитание, и поэтому работать с вами мне совершенно невозможно!»

И — всё! И многочасовая болтовня лейтенанта вся пресеклась! Он понял, что номер — пуст. «Да нужны вы нам, как пятая нога собаке! — вскричал он досадливо.— Пишите письменный отказ! (Опять письменный.) Так и пишите, про боженьку объясняйте!»

Видно, каждого стукача они должны закрыть отдельной бумажкой, как и открывают. Ссылка на Христа вполне устраивала и лейтенанта: никто из оперчеков не упрекнёт его, что можно было ещё какие-то усилия предпринять.

А не находит беспристрастный читатель, что разлетаются они от Христа, как бесы от крестного знамения, от колокола к заутрене?

Вот почему наш режим никогда не сойдётся с христианством! И зря французские коммунисты обещают.

Глава 13

СДАВШИ ШКУРУ, СДАЙ ВТОРУЮ!

Можно ли отсечь голову, если раз её уже отсекли? Можно. Можно ли содрать с человека шкуру, если единожды уже спустили её? Можно!

Это всё изобретено в наших лагерях. Это всё выдумано на Архипелаге. И пусть не говорят, что только *бригада* — вклад коммунизма в мировую науку о наказаниях. А *второй лагерный срок* — это не вклад? Потоки, прихлёстывающие на Архипелаг извне, не успокаиваются тут, не растекаются привольно, но ещё раз перекачиваются по трубам вторых следствий.

О, благословенны те безжалостные тирании, те деспотии, те самые дикарские страны, где однажды арестованного уже нельзя больше арестовать! Где посаженного в тюрьму уже некуда больше сажать. Где осуждённого уже не вызывают в суд. Где приговорённого уже нельзя больше приговорить!

А у нас это всё — можно. Распластанного, безвозвратно погибшего, отчаявшегося человека ещё как удобно глушить обухом топора! Этика наших тюремщиков — бей лежачего! Этика наших оперуполномоченных — подмощайся трупами!

Можно считать, что лагерное следствие и лагерный суд тоже родились на Соловках, но там просто загоняли под колокольню и шлёпали. Во времена же пятилеток и метастазов стали вместо пули применять второй лагерный срок.

Да как же было без вторых (третьих, четвёртых) сроков утаить в лоне Архипелага и уничтожить там всех, намеченных к тому?

Регенерация сроков, как отращивание змеиных колец,— это форма жизни Архипелага. Сколько колотятся наши лагеря и коченеет наша ссылка, столько времени и простирается над головами осуждённых эта чёрная угроза: получить новый срок, не докончив первого. Вторые лагерные сроки давали во все годы, но гуще всего в 1937—38 и в годы войны. (В 1948—49 тяжесть вторых сроков была перенесена на волю: упустили, прохлопали, кого надо было пересудить ещё в лагере,— и теперь пришлось загнать их в лагерь с воли. Этих и называли *повторниками,* своих внутрилагерных даже не называли.)

И это ещё милосердие — машинное милосердие, когда второй лагерный срок в 1938 давали без второго ареста, без лагерного следствия, без лагерного суда, а просто вызывали бригадами в УРЧ и давали расписаться в получении второго срока. (За отказ расписаться — простой карцер, как за курение в неположенном месте. Ещё и объясняли почеловечески: «Мы ж не даём вам, что вы в чём-нибудь виноваты, а распишитесь в уведомлении.») На Колыме давали так десятку, а на Воркуте даже мягче: 8 лет и 5 лет по ОСО. И тщета была отбиваться: как будто в тёмной бесконечности Архипелага чем-то отличались восемь от восемнадцати, десятка при начале от десятки при конце. Важно было единственно то, что твоего тела не когтили и не рвали сегодня.

Можно так понять теперь: эпидемия лагерных осуждений 1938 года была директива сверху. Это там, наверху, спохватились, что до сих пор

по малу давали, что надо догрузить (а кого и расстрелять) — и так перепугать оставшихся.

Но к эпидемии лагерных дел военного времени приложен был и снизу радостный огонёк, черты народной инициативы. Сверху было вероятно указано, что во время войны в каждом лагере должны быть подавлены и изолированы самые яркие заметные фигуры, могущие стать центром мятежа. Кровавые мальчики на местах сразу разглядели богатство этой жилы — своё спасение от фронта. Эта догадка родилась, очевидно, не в одном лагере и быстро распространилась как полезная, остроумная и спасительная. Лагерные чекисты тоже затыкали пулемётные амбразуры — только чужими телами.

Пусть историк представит себе дыхание тех лет: фронт отходит, немцы вкруг Ленинграда, под Москвой, в Воронеже, на Волге, в предгорьях Кавказа. В тылу всё меньше мужчин, каждая здоровая мужская фигура вызывает укорные взгляды. Всё для фронта! Нет цены, которую правительство не заплатит, чтоб остановить Гитлера. И только лагерные офицеры (ну да и братья их по ГБ) — откормленные, белотелые, бездельные — все на своих тыловых местах (вот например этот лагерный куманёк, **ф. 29,** — ведь как ему необходимо остаться в живых!),— и чем глубже в Сибирь и на Север, тем спокойнее. Но трезво надо понять: благополучие шаткое. До первого окрика: а почистить-ка этих румяных, лагерных, расторопных! Строевого опыта нет? — так есть идейность. Хорошо если — в милицию, в заградотряды, а ну как: свести в офицерские батальоны! бросить под Сталинград! Летом 1942 так сворачивают целые офицерские училища и бросают неаттестованными на фронт. Всех молодых и здоровых конвойных уже выскребли из охраны — и ничего, лагеря не рассыпались. Так и без оперов не рассыпятся! (Уже ходят слухи.)

Бронь — это жизнь! Бронь — это счастье! Как сохранить свою бронь? Простая естественная мысль — надо доказать свою нужность! Надо доказать, что если не чекистская бдительность, то лагеря взорвутся, это — котёл кипящей смолы! — и тогда погиб наш славный фронт! Именно здесь, на тундренных и таёжных лагпунктах, белогрудые оперуполномоченные сдерживают пятую колонну, сдерживают Гитлера! Это — их вклад в Победу! Не щадя себя, они ведут и ведут следствия, они вскрывают новые и новые заговоры.

До сих пор только несчастные изнурённые лагерники, вырывая друг у друга пайку из зубов, боролись за жизнь. Теперь в эту борьбу бессовестно вступили и полновластные оперчекисты. «Подохни ты сегодня, а я завтра!» Погибни лучше ты и отсрочь мою гибель, грязное животное.

Вот *оформляют* в Усть-Выми «повстанческую группу»: восемнадцать человек! хотели, конечно, обезоружить вохру, у неё добыть оружие (полдюжины старых винтовок)! — а дальше? Дальше трудно себе представить размах замысла: хотели поднять весь Север! идти на Воркуту! на Москву! соединиться с Маннергеймом! И летят, летят телеграммы и докладные: обезврежен крупный заговор! в лагере неспокойно! нужно ещё усилить оперативную прослойку!

И что это? В каждом лагере открываются заговоры! заговоры! заговоры! И всё крупней! И всё замашистей! Эти коварные доходяги! — они притворялись, что их уже ветром шатает,— но своими исхудалыми

пеллагрическими руками они тайно тянулись к пулемётам! О, спасибо тебе, оперчекистская часть! О, спаситель Родины — III Отдел!

И сидит в таком III Отделе банда (Джидинские лагеря в Бурят-Монголии): начальник оперчекотдела Соколов, следователь Мироненко, оперуполномоченные Калашников, Сосиков, Осинцев,— а мы-то отстали! у всех заговоры, а мы отстаём! У нас, конечно, есть крупный заговор, но какой? Ну конечно, «разоружить охрану», ну наверно — «уйти за границу», ведь граница близко, а Гитлер далеко. С кого же начать?

И как сытая свора собак рвёт больного худого линючего кролика, так набрасывается эта голубая свора на несчастного Бабича, когда-то полярника, когда-то героя, а теперь доходягу, покрытого язвами. Это он при загаре войны чуть не передал ледокол «Садко» немцам — так уж все нити заговора в его руках конечно! Это он своим умирающим цинготным телом должен спасти их откормленные.

Если ты — плохой советский гражданин, мы всё равно заставим тебя выполнить нашу волю, будешь в ноги кланяться! Не помнишь? — *Напомним!* Не пишется? — *Поможем!* Обдумывать? — в карцер и на трёхсотку!

А другой оперативник так: «Очень жаль. Вы, конечно, потом поймёте, что разумно было выполнить наши требования. Но поймёте слишком поздно, когда вас *как карандаш* можно будет сломать между пальцев.» (Откуда у них эта образность? Придумывают сами или в учебнике оперчекистского дела есть такой набор, какой-то неизвестный поэт им сочинил?)

А вот допрос у Мироненко. Едва только Бабича вводят — запах вкусной еды прохватывает его. И Мироненко сажает его поближе к дымящемуся мясному борщу и котлетам. И, будто не видя этого борща и котлет, и даже не видя, что Бабич видит, начинает ласково приводить десятки доводов, облегчающих совесть, оправдывающих, почему можно и надо дать ложные показания. Он дружески напоминает:

— Когда вас первый раз арестовали, с воли, и вы пытались доказать свою правоту — ведь не удалось? Ведь не удалось же! Потому что судьба ваша была предрешена ещё до ареста. Так и сейчас. Так и сейчас. Ну-ну, съешьте обед. Съешьте, пока не остыл... Если не будете глупы — мы будем жить дружно. Вы всегда будете сыты и обеспечены... А иначе...

И дрогнул Бабич! Голод жизни оказался сильней жажды правды. И начал писать всё под диктовку. И оклеветал двадцать четыре человека, из которых и знал-то только четверых! Всё время следствия его кормили, но не докармливали, чтобы при первом сопротивлении опять нажать на голод.

Читая его предсмертную запись о жизни — вздрагиваешь: с какого высока и до какого низка может упасть мужественный человек! Можем все мы упасть...

И 24 человека, не знавшие ни о чём, были взяты на расстрелы и новые сроки. А Бабич был послан до суда ассенизатором в совхоз, потом свидетельствовал на суде, потом получил новую десятку с погашением прежней, но, не докончив второго срока, в лагере умер.

А банда из Джидинского III Отдела... Ну, да кто-нибудь доследует же об этой банде? Кто-нибудь! Современники! Потомки!

А — ты?.. Ты думал, что в лагере можно, наконец, отвести душу? Что здесь можно хоть вслух пожаловаться: вот срок большой дали! вот кормят плохо! вот работаю много! Или, думал ты, можно здесь *повторить,* за что ты получил срок? Если ты хоть что-нибудь из этого вслух сказал — ты погиб! ты обречён на новую десятку. (Правда, с начала второй лагерной десятки ход первой прекращается, так что отсидеть тебе выпадет не двадцать, а каких-нибудь тринадцать, пятнадцать... Дольше, чем ты сумеешь выжить.)

Но ты уверен, что ты молчал как рыба? И вот тебя всё равно взяли? Опять-таки верно! — тебя не могли не взять, как бы ты себя ни вёл. Ведь берут не *за что,* а берут *потому что*. Это тот же принцип, по которому стригут и волю. Когда банда из III Отдела готовится к охоте, она выбирает по списку самых заметных в лагере людей. И этот список потом продиктует Бабичу...

В лагере ведь ещё трудней упрятаться, здесь все на виду. И одно только есть у человека спасение: быть нолём! Полным нолём. С самого начала нолём.

А уж потом пришить тебе обвинение совсем не трудно. Когда «заговоры» кончились (стали немцы отступать) — с 1943 года пошло множество дел по «агитации» (кумовьям-то на фронт всё равно ещё не хотелось!). В Буреполомском лагере, например, сложился такой набор:

— враждебная деятельность против политики ВКП(б) и Советского правительства (а какая враждебная — пойди пойми);
— высказывал пораженческие измышления;
— в клеветнической форме высказывался о материальном положении трудящихся Советского Союза (правду скажешь — вот и клевета);
— выражал пожелание (!) восстановления капиталистического строя;
— выражал обиду на Советское правительство (это особенно нагло! ещё тебе ли, сволочь, обижаться? десятку получил и молчал бы);

70-летнего бывшего царского дипломата обвинили в такой агитации:

— что в СССР плохо живёт рабочий класс;
— что Горький — плохой писатель.

Сказать, что это уж хватили через край,— никак нельзя, за Горького и всегда срок давали, так он себя поставил. А вот Скворцов в Лохчемлаге (близ Усть-Выми) отхватил 15 лет, и среди обвинений было:

— противопоставлял пролетарского поэта Маяковского *некоему буржуазному* поэту.

Так было в обвинительном заключении, для осуждения этого довольно. А по протоколам допросов можно установить и «некоего». Оказывается — Пушкин! Вот за Пушкина срок получить — это, правда, редкость.

Так после всего Мартинсон, действительно сказавший в жестяном цеху, что «СССР — одна большая зона», должен Богу молиться, что десяткой отделался.

Или отказчики, получившие десятку вместо расстрела.

Так это понравится — давать вторые сроки, такой это смысл внесёт в жизнь оперчекотдела, что когда кончится война и уже нельзя будет поверить ни в заговоры, ни даже в пораженческие настроения,— станут сроки лепить по бытовым статьям. В 1947 в сельхозлаге Долинка каждое воскресенье шли в зоне показательные суды. Судили за то, что, копая картошку, пекли её в кострах; судили за то, что ели с поля сырую морковь и репу (что сказали бы барские крепостные, посидев на одном таком суде?!); и за всё это лепили по 5 и 8 лет по только что изданному великому Указу «четыре шестых». Один бывший «кулак» уже кончал десятку. Он работал на лагерном бычке и смотреть не мог на его голод. Этого лагерного бычка — не себя! — он накормил свёклой — и получил 8 лет. Конечно, «социально-близкий» не стал бы кормить бычка. Вот так у нас десятилетиями и отбирается народ — кому жить, кому умереть.

Но не самими цифрами лет, не пустой фантастической длительностью лет страшны были эти вторые сроки — а как получить этот второй срок? как проползти за ним по железной трубе со льдом и снегом?

Казалось бы — что уж там лагернику арест? Арестованному когда-то из домашней тёплой постели — что́ бы ему арест из неуютного барака с голыми нарами? А ещё сколько! В бараке печка топится, в бараке полную пайку дают,— но вот пришёл надзиратель, дёрнул за ногу ночью: «Собирайся!» Ах, как не хочется!.. Люди-люди, я вас любил...

Лагерная следственная тюрьма. Какая ж она будет тюрьма и в чём будет способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря? Все эти тюрьмы обязательно холодны. Если недостаточно холодны — держат в камерах в одном белье. В знаменитой воркутинской Тридцатке (перенято арестантами от чекистов, они называли её так по её телефону «30») — дощатом бараке за Полярным Кругом, при сорока градусах мороза топили угольной пылью — банная шайка на сутки, не потому конечно, что на Воркуте не хватало угля. Ещё издевались: не давали спичек, а на растопку — одну щепочку как карандаш. (Кстати, поимманных беглецов держали в этой Тридцатке совсем голыми; через 2 недели, кто выжил,— давали летнее обмундирование, но не телогрейку. И ни матрасов, ни одеял. Читатель! Для пробы — переспите так одну ночь! В бараке было примерно плюс пять.)

Так сидят заключённые несколько месяцев следствия! Они уже раньше измотаны многолетним голодом, рабским трудом. Теперь их довести легче. Кормят их? — как положит III Отдел: где 350, где 300, а в Тридцатке — 200 граммов хлеба, липкого как глина, немногим крупнее кусок, чем спичечная коробка, и в день один раз жидкая баланда.

Но не сразу ты согреешься, если и всё подписал, признался, сдался, согласился ещё десять лет провести на родном Архипелаге. Из Тридцатки переводят до суда в воркутинскую «следственную палатку», не менее знаменитую. Это — самая обыкновенная палатка, да ещё рваная. Пол у неё не настлан, пол — земля полярная. Внутри 7x12 метров и посредине — железная бочка вместо печки. Есть жердевые нары в один слой, около печки нары всегда заняты блатарями. Политические плебеи — по краям и на земле. Лежишь и видишь над собой звёзды. Так взмолишься: о, скорей бы меня осудили! скорей бы приговорили! Суда этого ждёшь как избавления. (Скажут: не может человек так жить за Полярным Кругом, если не кормят его шоколадом и не одевают в меха. А у нас — может! Наш советский человек, наш туземец Архипелага — может! Арнольд Раппопорт просидел так много *месяцев* — всё не ехала из Нарьян-Мара выездная сессия облсуда.)

А вот на выбор ещё одна следственная тюрьма — лагпункт Оротукан на Колыме, это 506-й километр от Магадана. Зима с 1937 на 1938. Деревянно-парусиновый посёлок, то есть палатки с дырами, но всё ж обложенные тёсом. Приехавший новый этап, пачка новых обречённых на следствие, ещё до входа в дверь видит: каждая палатка в городке с трёх сторон, кроме дверной, *обставлена штабелями окоченевших трупов!* (Это — не для устрашения. Просто выхода нет: люди мрут, а снег двухметровый, да под ним вечная мерзлота.) А дальше измор ожидания. В палатках надо ждать, пока переведут в бревенчатую тюрьму для следствия. Но захват слишком велик — со всей Колымы согнали слишком много кроликов, следователи не справляются, и большинству привезенных предстоит умереть, так и не дождавшись первого допроса. В палатках — скученность, не вытянуться. Лежат на нарах и на полу, лежат многими неделями. (Это разве скученность? — ответит Серпантинка.— У нас ожидают расстрела, правда, всего по несколько дней, но эти дни *стоят* в сарае, так сплочены, что когда их поят — то есть поверх голов бросают из дверей кусочки льда, так нельзя вытянуть рук, поймать кусочек, ловят ртами.) Бань нет, прогулок тоже. Зуд по телу. Все с остервенением чешутся, все *ищут* в ватных брюках, телогрейках, рубахах, кальсонах — но ищут не раздеваясь, холодно. Крупные белые полнотелые вши напоминают упитанных поросят-сосунков. Когда их давишь — брызги долетают до лица, ногти — в сукровице.

Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях: «Мертвяки есть?» — «Есть.» — «Кто хочет пайку заработать — тащи!» Их выносят и кладут поверх штабеля трупов. И никто *не спрашивает фамилий умерших:* — пайки выдаются по счёту. А пайка — трёхсотка. И одна миска баланды в день. Ещё выдают горбушу, забракованную санитарным надзором. Она очень солона. После неё хочется пить, но кипятка не бывает никогда, вообще никогда. Стоят бочки с ледяной водой. Надо выпить много кружек, чтоб утолить жажду. Г. С. М. уговаривает друзей: «Откажитесь от горбуши — одно спасение! Все калории, что вы получаете от хлеба, вы тратите на согревание в себе этой воды!» Но не могут люди отказаться от куска даровой рыбы — и едят, и снова пьют. И дрожат от внутреннего холода. Сам М. её не ест — зато теперь рассказывает нам об Оротукане.

Как было скученно в бараке — и вот редеет, редеет. Через сколько-то недель остатки барака выгоняют на внешнюю перекличку. На непривычном дневном свете они видят друг друга: бледные, обросшие, с бисерами гнид на лице, с синими жёсткими губами, ввалившимися глазами. Идёт перекличка по формулярам. Отвечают еле слышно. Карточки, на которые отклика нет, откладываются в сторону. Так и выясняется, кто остался в штабелях — избежавшие следствия.

Все, пережившие оротуканское следствие, говорят, что предпочитают газовую камеру...

Следствие? Оно идёт так, как задумал следователь. С кем идёт не так — те уже не расскажут. Как говорил оперчек Кемаров: «Мне нужна только твоя правая рука — протокол подписать...» Ну, пытки, конечно, домашние, примитивные — защемляют руку дверью, в таком роде всё (попробуйте, читатель).

Суд? Какая-нибудь *Лагколлегия* — подчинённый облсуду постоянный суд при лагере, как нарсуд в районе. Законность торжествует! Выступают и свидетели, купленные III Отделом за миску баланды.

В Бурепоперме частенько свидетелями на своих бригадников бывали бригадиры. Их заставлял следователь — чуваш Крутиков. «А иначе сниму с бригадиров, на Печору отправлю!» У латыша Бернштейна — бригадир Николай Ронжин (из Горького); выходит и подтверждает: «Да, Бернштейн говорил, что зингеровские швейные машины хороши, а подольские не годятся.» Ну, и довольно! Для выездной сессии Горьковского облсуда (председатель — Бухонин, да две местных комсомолки Жукова и Коркина) — разве не довольно? Десять лет!

Ещё был в Буреполоме такой кузнец Антон Васильевич Балыбердин (местный, таншаевский) — так он выступал свидетелем вообще по всем лагерным делам. Кто встретит — пожмите его честную руку!

Ну, и наконец,— ещё один этап, на другой лагпункт, чтобы ты не вздумал рассчитываться со свидетелями. Это этап небольшой — какихнибудь четыре часа на открытой платформе узкоколейки.

А теперь — в больничку. Если же нога ногу минует — завтра с утра тачки катать.

Да здравствует чекистская бдительность, спасшая нас от военного поражения, а оперчекистов — от фронта.

* * *

Во время войны в лагерях расстреливали мало (если не говорить о тех республиках, откуда мы поспешно отступали: там перестреливали сотни и сотни в покидаемых тюрьмах). А — всё больше клепали новые сроки: не уничтожение этих людей нужно было оперчекистам, а только раскрытие преступлений. Осуждённые же могли трудиться, могли умереть — это уж вопрос производственный.

Напротив, в 1938 году верховное нетерпение было — расстреливать! Расстреливали посильно во всех лагерях, но больше всего пришлось на Колыму (расстрелы «гаранинские») и на Воркуту (расстрелы «кашкетинские»).

Кашкетинские расстрелы связаны с продирающим кожу названием «Старый Кирпичный завод». Так называлась станция узкоколейки в двадцати километрах южнее Воркуты.

После «победы» троцкистской голодовки в марте 1937 года, и обмана её, прислана была из Москвы «комиссия Григоровича» для следствия над бастовавшими. Южнее Ухты, невдалеке от железнодорожного моста через реку Ропча, в тайге поставлен был тын из брёвен и создан новый изолятор — Ухтарка. Там вели следствие над троцкистами южной части магистрали. А в саму Воркуту послан был член комиссии Кашкетин. Здесь он протягивал троцкистов через «следственную палатку» (применял порку плетьми!) и, не очень даже настаивая, чтобы они признали себя виновными, составлял свои «кашкетинские списки».

Зимой 1937 — 38 года из разных мест сосредоточения — из палаток в устье Сыр-Яги, с Кочмаса, из Сивой Маски, из Ухтарки, троцкистов да ещё и децистов («демократические централисты») стали стягивать на Старый Кирпичный завод (иных — и безо всякого следствия). Несколь-

ко самых видных взяли в Москву в связи с процессами. Остальных к апрелю 1938 набралось на Старом Кирпичном 1053 человека. В тундре, в стороне от узкоколейки, стоял старый длинный сарай. В нём и стали поселять забастовщиков, а потом, с пополнениями, поставили рядом ещё две старые рваные ничем не обложенные палатки на 250 человек каждая. Как их там содержали, мы уже можем догадаться по Оротукану. Посреди такой палатки 20 x 6 метров стояла одна бензиновая бочка вместо печи, а угля отпускалось на неё в сутки — ведро, да ещё бросали в неё вшей, подтапливали. Толстый иней покрывал полотнище изнутри. На нарах не хватало мест, и в очередь то лежали, то ходили. Давали хлеба в день трёхсотку и один раз миску баланды. Иногда, не каждый день, по кусочку трески. Воды не было, а раздавали кусочками лёд как паёк. Уж разумеется никогда не умывались, и бани не бывало. По телу проступали цынготные пятна.

Но что было здесь особенно тяжело — к троцкистам подбросили лагерных штурмовиков — блатных, среди них и убийц, приговорённых к смерти. Их проинструктировали, что вот эту политическую сволочь надо давить, и за это им, блатным, будет смягчение. За такое приятное и вполне в их духе поручение блатные взялись с охотой. Их назначили старостами (сохранилась кличка одного — «Мороз») и подстаростами, они ходили с палками, били этих бывших коммунистов и глумились как могли: заставляли возить себя верхом, брали чьи-нибудь вещи, испражнялись в них и спаливали в печи. В одной из палаток политические бросились на блатных, хотели убить, те подняли крик, и конвой извне открыл огонь в палатку, защищая социально-близких.

Этим глумлением блатных были особенно сломлены единство и воля недавних забастовщиков.

На Старом Кирпичном заводе, в холодных и рваных убежищах, в убогой негреющей печке догорали революционные порывы жестокостей — двух десятилетий, и многих из содержимых здесь.

Всё же, по человеческому свойству надеяться, заключённые Старого Кирпичного ждали, что их направят на какой-то новый объект. Уже несколько месяцев они мучились здесь, и было невыносимо. И действительно, рано утром 22 апреля (нет полной уверенности в дате, а то ведь — день рождения Ленина) начали собирать этап — 200 человек. Вызываемые получали свои мешки, клали их на розвальни. Конвой повёл колонну на восток, в тундру, где близко не было совсем никакого жилья, а вдалеке был Салехард. Блатные позади ехали на санях с вещами. Одну только странность заметили остающиеся: один, другой мешок упал с саней, и никто их не подобрал.

Колонна шла бодро: ждала их какая-то новая жизнь, новая деятельность, пусть изнурительная, но не хуже этого ожидания. А сани далеко отстали. И конвой стал отставать — ни впереди, ни сбоку уже не шёл, а только сзади. Что ж, слабость конвоя — это тоже добрый признак.

Светило солнце.

И вдруг по чёрной идущей колонне невидимо откуда, из ослепительной снежной пелены, открыт был частый пулемётный огонь. Арестанты падали, другие ещё стояли, и никто ничего не понимал.

Смерть пришла в солнечно-снежных ризах, безгрешная, милосердная.

Это была фантазия на тему будущей войны. Из временных снежных укреплений поднялись убийцы в полярных балахонах (говорят, что большинство из них были грузины), бежали к дороге и добивали кольтами живых. А недалеко были заготовлены ямы, куда подъехавшие блатные стали стаскивать трупы. Вещи же умерших к неудовольствию блатных были сожжены.

23-го и 24-го апреля там же и так же расстреляли ещё 760 человек.

А девяносто трёх вернули этапом на Воркуту. Это были блатные и, очевидно, стукачи-провокаторы.

Называют Ройтмана, Истнюка, Алиева. Из блатных — Тадика Николаевского. Мы не можем утверждать достоверно, за что именно каждый был пощажён, но трудно представить другую причину.

Называли и Моделя. Теперь мне прислали коллективное сообщение, исправляя о Моисее Иосифовиче Моделе, что он не был пощажён на Старом Кирпичном, но изъят ещё из штрафного этапа туда. Каким же образом? Эпизод, очень характерный для ортодоксов: один из присланных энкаведешников оказался старый сотрудник М. Моделя по Следственной Комиссии при Военно-Революционном Комитете Петроградского Совдепа (то есть вместе расправлялись в дни Октября). Увидев Моделя в списках, тот соратник тайно изъял его дело и так спас.

Приведенные сведения о кашкетинских расстрелах я собрал от двух зэков, с которыми сидел. Один из них был *там*, и пощажён. Другой — очень любознательный и тогда же горевший писать историю, сумел по тёплым следам осмотреть те места и расспросить, кого можно.

Но с дальних командировок этапы смертников опоздали, они продолжали поступать по 5—10 человек. Отряд убийц принимал их на станции Кирпичный завод, вёл к старой бане — будке, изнутри в тричетыре слоя обитой одеялами. Там велели смертникам на снегу раздеваться и голыми входить. Внутри их расстреливали из пистолетов. Так за полтора месяца было уничтожено около двухсот человек. Трупы убитых сжигали в тундре.

Сожжены были и сарай Старого Кирпичного и Ухтарка. (А «баню» поставили потом на железнодорожную платформу, отвезли на 308-й пикет узкоколейки и сбросили там. Там её и изучал мой приятель. Она вся была в крови изнутри, стены изрешечены.)

Ещё об одном случае расстрела троцкистов, там же и тогда же, рассказывает Франц Диклер (еврей из Бразилии, в Нью-Йорке увлёкся советской пропагандой, в 1937 на греческом судне радистом приплыл в Ленинград, сбежал на берег, чтоб участвовать в социализме,— сразу под срок). Весной 1938 он работал тормозщиком на воркутской узкоколейке Рудник — Уса. Однажды из оперчекистского отдела им приказали: движение остановить, уголь не грузить, приготовить 4 платформы и 2 теплушки для этапа на Усу. Привели под большим конвоем с собаками человек 250, из них человек 50 бандитов-рецидивистов, остальные троцкисты, 8 женщин. У большинства одежда хорошая — меховые шапки, меховые воротники, чемоданы. Среди них Диклер увидел своего знакомого Андрейчина — выходца из Югославии, но крупного американского коммуниста, соратника Фостера и Браудера: раньше Диклер слышал его речи в Мэдисон Сквер Гарден, а на днях встретился в зоне, узнал об успехе их забастовки — они стали получать сухой паёк, выходные, бригады и бараки у них отдельные. Теперь их посадили на голые платформы, а было снежно, морозно,— и повезли. На крутом спуске Диклер держал ручку тормоза и посматривал на платформы. Андрейчин

увидел его и, глядя в сторону, стал кричать во всё горло, как бы не ему:

— Frank! Just listen, don't say a word! This is the end. We're going to be murdered in cold blood! Frank! Listen! If you ever get out, tell tne world who they are: a bunch of cutthroats! assassins! bandits! *

И — повторно кричал те же слова. Диклер дрожал. Рядом с ним на площадке стоял старый коми-вохровец, курил козью ножку. Когда Андрейчин замолчал — этапники на платформах заговорили хором, стало слышно женский плач, очевидно многие поняли по-английски. Начальник этапа свистком остановил поезд, дали несколько выстрелов в воздух. Все стихли. Начальник кричал: «Что бунтуете? Вы хотели жить отдельно? Ну и будете отдельно. Пайка и работа — будет!»

Поехали дальше. Остановились на станции Змейка. Этап свели с платформ, а поезд вернули на Рудник. Вся поездная обслуга знала станцию Змейка: там никогда не было никакого лагпункта, никакого жилья.

Два дня по узкоколейке движения не было. Потом возчики рассказали: этап повели к ущелью, а против него были спрятаны пулемётчики и стали стрелять залпами. **

Ещё впрочем и на том не кончились расстрелы троцкистов. Ещё каких-то недострелянных постепенно собрали человек тридцать и расстреляли недалеко от Тридцатки. Но это уже делали другие. А тот первый отряд убийц, тех оперчекистов и конвоиров, и блатных тех, участвовавших в кашкетинских расстрелах,— тоже вскоре расстреляли как свидетелей.

Сам Кашкетин был в 1938 году награждён орденом Ленина «за особые заслуги перед партией и правительством». А ещё через год расстрелян в Лефортове.

И не сказать, чтоб в истории это было первый раз.

А. Б-в рассказывает, как велись казни на Адаке (лагпункт на Печоре). Ночами оппозиционеров брали «с вещами» на этап, за зону. А за зоной стоял домик оперчасти. Обречённых поодиночке заводили в комнату, там на них набрасывались вохровцы. В рот им запихивали мягкое, руки связывали назад верёвками. Потом выводили во двор, где наготове стояли запряжённые подводы. Связанных валили по 5—7 человек на подводу и отвозили на «Горку» — лагерное кладбище. Там сволакивали их в готовые большие ямы и тут же ж и в ы х з а к а п ы в а л и. Не из зверства, нет. А: выяснено, что обращаться с живыми — перетаскивать, поднимать — гораздо легче, чем с мёртвыми.

Эта работа велась на Адаке много ночей.

Вот так и было достигнуто морально-политическое единство нашей партии.

---

* «Фрэнк! Слушай — и не отвечай. Это — конец. Нас везут на убой! Фрэнк! Слушай! Если ты когда-нибудь выйдешь — расскажи миру, кто они такие: свора головорезов! убийцы! бандиты!»

** Диклер освободился и даже в Бразилию вернулся, но не обнаружил во всём мире, кто бы хотел его слушать. Через 40 лет передал этот рассказ мне.

Глава 14

МЕНЯТЬ СУДЬБУ!

Отстоять себя в этом диком мире — невозможно. Бастовать — самоубийственно. Голодать — бесполезно.

А умереть — всегда успеем.

Что ж остаётся арестанту? Вырваться! Пойти *менять судьбу!* (Ещё — «зелёным прокурором» называют зэки побег. Это — единственный популярный среди них прокурор. Как и другие прокуроры, он много дел оставляет в прежнем положении, и даже ещё более тяжёлом, но иногда освобождает и вчистую. Он есть — зелёный лес, он есть — кусты и трава-мурава.)

Чехов говорит, что если арестант — не философ, которому при всех обстоятельствах одинаково хорошо (или скажем так: который может уйти в себя), то не хотеть бежать он не может и *не должен!*

Не должен не хотеть! — вот императив вольной души. Правда, туземцы Архипелага далеко не таковы, они смирней намного. Но и среди них всегда есть те, кто обдумывает побег или вот-вот пойдёт. Постоянные там и сям побеги, пусть неудавшиеся,— верное доказательство, что ещё не утеряна энергия зэков.

Зона хорошо охранена: крепок забор, и надёжен предзонник, и расставлены правильно вышки — каждое место просматривается и простреливается. Но вдруг безысходно тошно тебе становится, что вот именно здесь, на этом клочке огороженной земли тебе и суждено умереть. Да почему же счастья не попытать? — не рвануться сменить судьбу? Особенно в начале срока, на первом году, бывает силён и даже необдуман этот порыв. На том первом году, когда вообще решается вся будущность и весь облик арестанта. А позже этот порыв как-то ослабевает, уже нет уверенности, что *там* тебе быть нужнее, слабеют нити, связывающие с внешним миром, изжиганье души переходит в тление, и втягивается человек в лагерную упряжку.

Побегов было, видимо, немало все годы лагерей. Вот случайные данные: за один лишь март 1930 из мест заключения РСФСР бежало 1328 человек. * (И как же это в нашем обществе не слышно, беззвучно!)

С огромным разворотом Архипелага после 1937 года и особенно в годы войны, когда боеспособных стрелков забирали на фронт,— всё трудней становилось с конвоем, и даже злая выдумка с самоохраной не всегда выручала распорядителей. Одновременно с тем зарились получить от лагерей как можно больше хозяйственной пользы, выработки, труда — и это заставляло, особенно на лесоповале, расширяться, выбрасывать в глушь командировки, подкомандировки — а охрана их становилась всё призрачней, всё условней.

На некоторых подкомандировках Устьвымского лагеря уже в 1939 вместо зоны был только прясельный заборец или плетень и — никакого освещения ночью! — то есть ночью попросту никто не задерживал заключённых. При выводе в лес на работу даже на штрафном лагпункте

---

* ЦГАОР, ф. 393, оп. 84, д. 4, л. 68.

этого лагеря приходился один стрелок на бригаду заключённых. Разумеется, он никак уследить не мог. И там за лето 1939 бежало 70 человек (один бежал даже дважды в день: до обеда и после обеда), однако 60 из них вернулись. Об остальных вестей не было.

Но то — глушь. А в самой Москве при мне произошли три очень лёгких побега: с лагучастка на Калужской заставе днём пролез в забор строительной зоны молодой вор (и, по их бахвальству, через день прислал в лагерь открытку: что едет в Сочи и просит передать привет начальнику лагеря); из лагерька Марфино близ Ботанического Сада — девушка, я уж об этом писал; и оттуда же ускочил на автобус и уехал в центр молодой бытовик, правда его оставили вовсе без конвоя: насворенное на нас, МГБ отнеслось к потере бытовика беспечно.

Наверно, в ГУЛаге посчитали однажды и убедились, что гораздо дешевле допустить в год утечку какого-то процента зэ-ка́ зэ-ка́, чем устанавливать подлинно строгую охрану всех многотысячных островков.

К тому ж они положились и ещё на некоторые невидимые цепи, хорошо держащие туземцев на своих местах.

Крепчайшая из этих цепей — общая пониклость, совершенная отданность своему рабскому положению. И Пятьдесят Восьмая, и бытовики почти сплошь были семейные трудолюбивые люди, способные проявлять доблести только в законном порядке, по приказу и с одобрения начальства. Даже и посаженные на пять и на десять лет, они не представляли, как можно бы теперь одиночно (уж Боже упаси коллективно!..) восстать за свою свободу, видя против себя государство (*своё* государство), НКВД, милицию, охрану, собак; как можно, даже счастливо уйдя, жить потом — по ложному паспорту, с ложным именем, если на каждом перекрестке проверяют документы, если из каждой подворотни за прохожим следят подозревающие глаза. И настроение общее такое было в ИТЛ: что́ вы там с винтовками торчите, уставились? Хоть разойдитесь совсем, мы никуда не пойдём: мы же — не преступники, зачем нам бежать? Да мы через год и так на волю выйдем (амнистия...)! К. Страхович рассказывает, что их эшелон в 1942 при этапировании в Углич попадал под бомбёжки. Конвой разбегался, а зэки никуда не бежали, ждали своего конвоя. Много расскажут случаев таких, как с бухгалтером Ортаусского отделения Карлага: послали его с отчётом за 40 км, с ним — одного конвоира. А назад пришлось ему везти в телеге не только пьяного вдрызг конвоира, но и особенно беречь его винтовку, чтоб не судили того дурака за потерю.

Другая цепь была — *доходиловка,* лагерный голод. Хотя именно этот голод порой толкал отчаявшихся людей брести в тайгу в надежде, что там всё же сытей, чем в лагере, но и он же, ослабляя их, не давал сил на дальний рывок, и из-за него же нельзя было собрать запаса пищи в путь.

Ещё была цепь — угроза нового срока. Политическим за побег давали новую десятку по 58-й же статье (постепенно нащупано было, что лучше всего тут давать 58-14, контрреволюционный саботаж). Ворам, правда, давали 82-ю статью (чистый побег) и всего два года, но за воровство и грабёж до 1947 года они тоже не получали больше двух лет, так что величины сравнимые. К тому ж в лагере у них был «дом родной», в лагере они не голодали, не работали — прямой расчёт им

был не бежать, а отсиживать срок, тем более, что всегда могли выйти льготы или амнистия. Побег для воров — лишь игра сытого здорового тела да взрыв нетерпеливой жадности: гульнуть, ограбить, выпить, изнасиловать, покрасоваться. По-серьёзному бежали из них только бандиты и убийцы с тяжёлыми сроками.

(Воры очень любят врать о своих никогда не совершённых побегах или совершённые изукрашивать лихо. Расскажут вам, как *Индия* (барак блатных) получила переходной вымпел за лучшую подготовку к зиме — за добротную земляную обсыпку барака, а это, мол, они делали подкоп и землю открыто выкладывали перед начальством. Не верьте! — и целая «Индия» не побежит, и копать они много не захотят, им надо как-нибудь полегче да попроворней, и начальство не такое уж глупое, чтоб не посмотреть, откуда они землю берут.— Вор Корзинкин, с десятью судимостями, доверенный у начальника комендант, действительно уходил, хорошо одетый, и за помпрокурора действительно себя выдавал, но он добавит, как ночевал в одной избе с уполномоченным по ловле беглецов (такие есть), и как ночью украл у него форму, оружие, даже собаку — и дальше выдавал себя за оперуполномоченного. Вот это уже всё врёт. Блатные в своих фантазиях и рассказах всегда должны быть героичнее, чем они есть.)

Ещё держала зэков — не зона, а бесконвойность. Те, кого менее всего охраняли, кто имел эту малую поблажку — пройти на работу и с работы без штыка за спиной, иногда завернуть в вольный посёлок, очень дорожили своим преимуществом. А после побега оно отнималось.

Глухой преградой к побегам была и география Архипелага: эти необозримые пространства снежной или песчаной пустыни, тундры, тайги. Колыма, хотя и не остров, а горше острова: оторванный кусок, куда убежишь с Колымы? Тут бегут только от отчаяния. Когда-то, правда, якуты хорошо относились к заключённым и брались: «Девять солнц — я тебя в Хабаровск отвезу». И отвозили на оленях. Но потом блатари в побегах стали грабить якутов, и якуты переменились к беглецам, выдавали их.

Враждебность окружного населения, подпитываемая властями, стала главной помехой побегам. Власти не скупились награждать поимщиков (это к тому же было и политическим воспитанием). И народности, населявшие места вокруг ГУЛАГа, постепенно привыкали, что поймать беглеца — это праздник, обогащение, это как добрая охота или как найти небольшой самородок. Тунгусам, комякам, казахам платили мукой, чаем, а где ближе к жилой густоте, заволжским жителям около Бурепосреднего и Унженского лагерей, платили за каждого пойманного по два пуда муки, по восемь метров мануфактуры и по несколько килограммов селёдки. В военные годы селёдку иначе было и не достать, и местные жители так и прозвали беглецов *селёдками*. В деревне Шерстки, например, при появлении всякого незнакомого человека ребятишки дружно бежали: «Мама! Селёдка идёт!»

А как — геологи? Эти пионеры северного безлюдья, эти мужественные бородатые сапогатые герои, джек-лондоновские сердца? На наших советских геологов беглецу худая надежда, лучше к их костру не подходить. Ленинградский инженер Абросимов, арестованный в потоке «Промпартии» и получивший десятку, бежал из лагеря Нивагрэс в 1933. Два-

дцать один день он пробродил в тайге и вот уж как радовался встрече с геологами! А они его вывели в населённый пункт и сдали председателю рабочкома. (Поймёшь н геологов: они ведь тоже не в одиночку, они друг от друга боятся доноса. А ещё если беглец — и в самом деле уголовник, убийца? — и их же ночью зарежет?)

Пойманного беглеца, если взялн убитым, можно на несколько суток броснть с гниющим прострелом около лагерной столовой — чтобы заключённые больше ценили свою пустую баланду. Взятого живым можно поставить у вахты и, когда проходит развод, травить собаками. (Собаки, смотря по команде, умеют душить человека, умеют кусать, а умеют только рвать одежду, раздевая догола.) И ещё можно написать в Культурно-Воспитательной части вывеску: «Я бежал, но меня поймали собаки», эту вывеску надеть пойманному на шею н так велеть ходить по лагерю.

А если бить — то уж отбнвать почки. Если затягивать руки в наручники, то так, чтоб *на всю жизнь* в лучезапястных суставах была потеряна чувствительность (Г. Сорокин, Ивдельлаг). Если в карцер сажать, то чтоб уж без туберкулёза он оттуда не вышел. (Ныроблаг, Баранов, побег 1944 года. После побоев конвоя кашлял кровью, через три года отняли левое лёгкое.) *

Собственно, избить н убить беглеца — это главная на Архипелаге форма борьбы с побегами. ** И даже если долго нет побегов — их надо иногда выдумывать. На прииске Дебин (Колыма) в 1951 разрешили как-то группе зэков пособирать ягод. Трое заблудилнсь — и нет их. Начальник лагеря старший лейтенант Пётр Ломага послал истязателей. Те напустили собак на трёх спящих, потом застрелили их, потом прикладами раскололи головы, обратили их в месиво, так что свешивались наружу мозгн,— и в таком виде на телеге доставили в лагерь. Здесь заменилн лошадь четырьмя арестантами, и те тянули телегу мимо строя. «Вот так будет с каждым!» — объявил Ломага.

И кто найдёт в себе отчаянне передо всем этим не дрогнуть? — и пойти! — и дойти! — а *дойти*-то куда? Там, в конце побега, когда беглец достигнет заветного назначенного места,— кто, не побоявшись, его бы встретил, спрятал, переберёг? Только блатных на воле ждёт уговоренная *малина,* а у нас, Пятьдесят Восьмой, такая квартнра называется *явкой,* это почти подпольная организация.

Вот как много заслонов и ям против побега.

Но отчаявшееся сердце иногда и не взвешивает. Оно видит: течёт река, по реке плывёт бревно — и прыжок! поплывём! Вячеслав Безродный с лагпункта Ольчан, едва выписанный из больницы, ещё совсем слабый, на двух скреплённых брёвнах бежал по реке Индигирке — в Ледовитый океан! Куда? На что надеялся? Уж не то что пойман, а — подобран он был в открытом море, и зимним путём опять возвращён в Ольчан, в ту же больницу.

---

* И теперь он наивно добивается (для пенсии), чтоб его заболевание признали *профессиональным*. Уж куда, кажется, профессиональнее и для арестанта и для конвоя! — а не признают...

** И всё главней становится она в новейшее, уже хрущёвское время. См. «Мои показания» Анатолия Марченко. Самиздат, 1968.

Не обо всяком, кто не вернулся в лагерь сам, и кого не привели полуживым, не привезли мёртвым, можно сказать, что он ушёл. Он может быть только сменил подневольную и растянутую смерть в лагере на свободную смерть зверя в тайге.

Пока беглецы не столько бегут, сколько бредут, и сами же возвращаются,— лагерные оперуполномоченные даже получают от них пользу: они без напряжения *мотают* им вторые сроки. А если побегов что-то долго нет, то устраивают провокации: какому-нибудь стукачу поручают сколотить группу «на побег» — и всех сажают.

Но человек, пошедший на побег серьёзно, очень скоро становится и страшен. Иные, чтобы сбить собак, зажигали за собой тайгу, и она потом неделями на десятки километров горела.— В 1949 году на лугу близ Веслянского совхоза задержали беглеца с человеческим мясом в рюкзаке: он убил попавшегося ему на пути бесконвойного художника с пятилетним сроком и обрезал с него мясо, а варить был недосуг.

Весной 1947 на Колыме, близ Эльгена, вели колонну зэков два конвоира. И вдруг один зэк, ни с кем не сговариваясь, умело напал на конвоиров, в одиночку, обезоружил и застрелил обоих. (Имя его неизвестно, а оказался он — недавний фронтовой офицер. Редкий и яркий пример фронтовика, не утерявшего мужество в лагере!) Смельчак объявил колонне, что она свободна! Но заключённых объял ужас: никто за ним не пошёл, а все сели тут же и ждали нового конвоя. Фронтовик стыдил их — тщетно. Тогда он взял оружие (32 патрона, «тридцать один — им!») и ушёл один. Ещё убил и ранил нескольких поимщиков, а тридцать вторым патроном кончил с собой. Пожалуй, развалился бы Архипелаг, если бы все фронтовики так себя вели.

В 1945 на ОЛПе «Победа» (Индигирского управления) несколько власовцев так же напали на охрану, отобрали винтовки, ушли — но не знаю, как далеко.

В Краслаге бывший вояка, герой Халхингола, пошёл с топором на конвоира, оглушил его обухом, взял у него винтовку, тридцать патронов. Вдогонку ему были спущены собаки, двух он убил, ранил собаковода. При поимке его не просто застрелили, а, излютев, мстя за себя и за собак, искололи мёртвого штыками и в таком виде бросили неделю лежать близ вахты.

В 1951 в том же Краслаге около десяти большесрочников конвоировались четырьмя стрелками охраны. Внезапно зэки напали на конвой, отняли автоматы, переоделись в их форму (но стрелков пощадили! — угнетённые чаще великодушны, чем угнетатели) и четверо, *с понтом* конвоируя, повели своих товарищей к узкоколейке. Там стоял порожняк, приготовленный под лес. Мнимый конвой поравнялся с паровозом, ссадил паровозную бригаду, и (кто-то из бегущих был машинист) — полным ходом повёл состав к станции Решёты, к главной сибирской магистрали. Но им предстояло проехать около семидесяти километров. За это время о них уже дали знать (начиная с пощажённых стрелков), несколько раз им пришлось отстреливаться на ходу от групп охраны, а в нескольких километрах от Решёт перед ними успели заминировать путь, и расположился батальон охраны. Все беглецы в неравном бою погибли.

Более счастливыми складывались обычно побеги тихие. Из них были

удивительно удачные, но эти счастливые рассказы мы редко слышим: *оторвавшиеся* не дают интервью, они переменили фамилии, прячутся. Кузиков-Скачинский, удачно бежавший в 1942, лишь потому сейчас об этом рассказывает, что в 1959 был разоблачён — через 17 лет!

Открылось это так: попался по другому делу его сопобежник. По пальцам установили его подлинную личность. Так выяснилось, что беглецы не погибли, как предполагалось. Стали искать и Кузикова. Для этого на его родине осторожно выспрашивали, выслеживали родных — и по цепочке родственников добрались до него. И на всё это не жалели сил и времени через 17 лет!

И об успешном побеге Зинаиды Яковлевны Поваляевой мы потому узнали, что в конце-то концов она провалилась. Она получила срок за то, что оставалась при немцах учительницей в своей школе. Но не тотчас по приходу советских войск её арестовали, и до ареста она ещё вышла замуж за лётчика. Тут её посадили и послали на 8-ю шахту Воркуты. Через кухонных китайцев она связалась с волей и с мужем. Он служил в гражданской авиации и устроил себе рейс на Воркуту. В условленный день Зина вышла в баню в рабочую зону, там сбросила лагерное платье, распустила из-под косынки закрученные с ночи волосы. В рабочей зоне ждал её муж. У речного перевоза дежурили оперативники, но не обратили внимания на завитую девушку под руку с лётчиком. Улетели на самолёте. Год пробыла Зина под чужим документом. Но не выдержала, захотела повидаться с матерью — а за той следили. На новом следствии сумела сплести, что бежала в угольном вагоне. Об участии мужа так и не узналось.

Янис Л-с в 1946 дошёл пешком из Пермского лагеря до Латвии, причём явно коверкая русский язык и почти не умея объясниться. Самый уход его из лагеря был прост: с разбегу он толкнул ветхий забор и переступил через него. Но потом в болотистом лесу (а на ногах — лапти) долго питался одними ягодами. Как-то из деревни он увёл в лес корову, зарезал. Отъедался говядиной, из шкуры коровьей сшил себе чуни. В другом месте украл у крестьянина кожушок (беглец, к которому враждебны жители, невольно становится и врагом жителей). В людных местах Л-с выдавал себя за мобилизованного латыша, потерявшего документы. И хотя в тот год ещё не отменена была всеобщая проверка пропусков, он сумел в незнакомом ему Ленинграде, не вымолвив словечка, дойти до Варшавского вокзала, ещё четыре километра отшагать по путям и там сесть на поезд. (Но одно-то Л-с твёрдо знал: что хоть в Латвии его безбоязненно укроют. Это и придавало смысл его побегу.)

Такой побег, как у Л-са, требует крестьянской ходки, хватки и сметки. А способен ли бежать горожанин, да ещё старик, на 5 лет посаженный за пересказ анекдота? Оказывается, способен, если более верная смерть — остаться в своём лагере, бытовом доходном лагерьке между Москвою и Горьким, делавшем с 1941 снаряды. Вот ведь пять лет — «детский срок», но и пяти месяцев не выдержит анекдотчик, если гонять его на работу и не кормить. Это побег — толчком отчаяния, коротким толчком, на который через полминуты уже не было бы ни рассудка, ни сил. — В лагерь пригнали очередной эшелон и загрузили его снарядами. Вот идёт вдоль поезда сержант конвоя, а на несколько вагонов от него отстал железнодорожник: сержант, отодвигая дверь каждой *краснухи*, уверяется, что там никого нет, задвигает дверь, а железнодорожник

ставит пломбу. И наш злополучный оголодавший доходной анекдотчик (всё было точно так, но его фамилия не сохранилась) за спиной прошедшего сержанта и перед проходящим железнодорожником бросается в вагон — ему нелегко вскарабкаться, нелегко беззвучно двинуть дверью, это нерасчётливо, это верный провал, он уже жалеет, закрывшись, с перебивами сердца: сейчас вернётся сержант и будет бить сапогами, сейчас железнодорожник крикнет, вот кто-то уже касается двери — а это ставят пломбу!.. (Я так думаю от себя: а вдруг — добрый железнодорожник? и видел и — не видел?..) Эшелон уходит за зону. Эшелон идёт на фронт. Беглец не готовился, у него ни кусочка хлеба, он за трое суток наверняка умрёт в этом движущемся добровольном карцере, до фронта он не доедет, да и не нужен фронт ему. Что делать? Как же спастись теперь? Он видит, что снарядные ящики обтянуты железной лентой. Голыми беззащитными руками он рвёт эту ленту и пилит ею пол вагона на месте, свободном от ящиков. Это невозможно для старика? А умереть возможно? А откроют, поймают — возможно? Ещё приделаны к ящикам верёвочные петли для переноски. Он отрезает их и из них же сплетает подобные петли, но длинные, и привязывает их так, чтоб они свисали под вагон в прорезанный лаз. Как он истощён! как не слушаются его израненные руки! как дорого ему обходится рассказанный анекдотик! Он не ждёт станции, а осторожно спускается в лаз на ходу, и ложится обеими ногами в одну петлю (к хвосту поезда), плечами в другую. Поезд идёт, и беглец висит, покачиваясь. Скорость уменьшилась, вот он решается и сбрасывает ноги, ноги волочатся — и стягивают его всего. Номер смертный, цирковой — но ведь телеграммою могут поезд нагнать и обыскать вагоны, ведь в зоне его хватились. Не изогнуться, не подброситься! — он прилегает к шпалам. Он закрыл глаза, готовый к смерти. Учащённый хлопающий стук последних вагонов — и вдруг милая тишина. Беглец открыл глаза, перевалился: только красный огонёк уходящего поезда! Свобода!

Но ещё не спасение. Свобода-то свобода, но ни документов, ни денег, лагерные лохмотья на нём, и он обречён. Распухший и оборванный, кое-как он добрался до станции, тут смешался с пришедшим ленинградским эшелоном: эвакуированных полумертвецов водили за руки и на станции кормили горячим. Но и это б ещё его не спасло,— а нашёл он в эшелоне своего умирающего друга и взял его документы, а всё прошлое его он знал. Их всех отправили под Саратов, и несколько лет, до послевоенных, он прожил там на птицеферме. Потом его разняла тоска по дочери, и он отправился искать её. Он искал её в Нальчике, в Армавире, а нашёл в Ужгороде. За это время она вышла замуж за пограничника. Она считала отца благополучно-мёртвым и вот теперь со страхом и омерзением выслушала его рассказ. Уже вполне благочестивая в гражданственности, она всё-таки сохранила и позорные пережитки родственности и не донесла на отца, а только прогнала его с порога.— Больше никого не осталось близких у старика, он жил бессмысленно, кочуя из города в город. Он стал наркоманом, в Баку накурился как-то анаши, был подобран скорой помощью и в окуре назвал свою верную фамилию, а очнувшись — ту, под которой жил. Больница была наша, советская, она не могла лечить, не установив личности, вызван был товарищ из госбезопасности,— и в 1952 году, через 10 лет после побега,

старик получил 25 лет. (Это и дало ему счастливую возможность рассказать о себе в камерах и вот теперь попасть в историю.)

Иногда последующая жизнь удачливого беглеца бывает драматичнее самого побега. Так было, пожалуй, у Сергея Андреевича Чеботарёва, уже не раз названного в этой книге. С 1914 он был служащий КВЖД, с февраля 1917 — член партии большевиков. В 1929 во время КВЖДинского конфликта он сидел в китайской тюрьме, с 1931 с женой Еленой Прокофьевной и сыновьями Геннадием и Виктором вернулись на родину. Здесь всё шло по-отечественному: через несколько дней сам он был арестован, жена сошла с ума, сыновей отдали в *разные* детдома и против воли присвоили им чужие отчества и фамилии, хотя они хорошо помнили свои и отбивались. Чеботарёву дальневосточная тройка ОГПУ дала сперва по неопытности всего три года, но вскоре он снова был взят, пытан и переосуждён на 10 лет без права переписки (ибо о чём же ему теперь писать?) и даже с содержанием под усиленной стражей в революционные праздничные дни. Это устрожение приговора неожиданно помогло ему. С 1934 года он был в Карлаге, строил дорогу на Моинты, там на майские праздники 1936 года заключили его в штрафной изолятор и к ним же на равных правах бросили вольного Чупина Автонома Васильевича. Пьян ли он был или трезв, но Чеботарёв сумел у него утянуть просроченное на шесть месяцев трёхмесячное удостоверение, выданное сельсоветом. Это удостоверение как будто обязывало Чеботарёва бежать! Уже 8 мая он ушёл с моинтинского лагпункта, весь в вольной одежде, ни тряпки лагерной на себе не имея, и с двумя поллитровыми бутылками в карманах, как носят пьяницы, только была то не водка, а вода. Сперва тянулась солончаковая степь. Два раза он попадался в руки казахам, ехавшим на строительство железной дороги, но, немного зная казахский язык, «играл на их религиозном чувстве, и они меня отпускали». * На западном краю Балхаша его задержал оперпост Карлага. Взяв документ, спросили по памяти все сведения о себе и о родственниках, мнимый Чупин отвечал точно. Тут опять случай (а без случаев, наверно, и ловят) — вошёл в землянку старший опергруппы, и Чупин опередил его: «Хо! Николай, здорово, узнаёшь?» (Счёт на доли секунды, на морщинки лица, состязание зрительных памятей: я-то узнал, но пропал, если узнаешь ты!) — «Нет, не узнаю.» — «Ну как же! В поезде вместе ехали! Фамилия твоя — Найдёнов, ты рассказывал, как в Свердловске на вокзале с Олей встретился — в одно купе попали и оттуда поженились.» Всё верно, Найдёнов сражён; закурили и отпускают беглеца. (О, голубые! Недаром вас учат молчать! Не должны вы болеть человеческим чувством открытости. Рассказано-то было не в вагоне, а на командировке Древопитомник Карлага всего год назад, рассказано заключённым, просто так вот сдуру, и не запомнишь их всех по морде, кто тебя слушал. А и в вагоне, наверно, рассказывать любил, да не в одном, история-то поездная! — на это и была дерзкая ставка Чеботарёва!) Ликуя, шёл Чупин дальше, большаком на станцию Чу, мимо озера к югу. Он больше шёл ночами, от каждых автомобильных фар шараха-

* Всё-таки и атеисту религия не без пользы. У казахов же, я думаю, ещё горяча память о будённовском подавлении 1930 года, потому они и миловали. В 1950 году так не будет.

ясь в камыши, дни перелёживал в них (там — джунгли камышёвые). Оперативников становилось пореже, в те места тогда ещё не закинул свои метастазы Архипелаг. * Был с ним хлеб и сахар, он тянул их, а пять суток шёл совсем без воды. Километров через двести дошёл он до станции и уехал.

И начались годы *вольной* — нет, затравленной жизни, потому что не рисковал он хорошо устраиваться и задерживаться на одном месте. В том же самом году, через несколько месяцев, он во Фрунзе в городском саду встретил своего — лагерного кума!.. Но бегло это было, веселье, музыка, девушки, и кум не успел узнать. Пришлось бросать найденную работу (старший бухгалтер догадался и допытался о срочных причинах — но сам оказался старым соловчанином), гнать куда-то дальше. Сперва Чеботарёв не рисковал искать семью, потом придумал — как. Он написал в Уфу двоюродной сестре: где Лена с детьми? догадайся, кто тебе пишет, ей пока не сообщай. И обратный адрес — какая-то станция Зирабулак, какой-то Чупин. Сестра ответила: дети потеряны, жена в Новосибирске. Тогда Чеботарёв послал её съездить в Новосибирск и только с глазу на глаз рассказать, что муж объявился и хочет прислать ей денег. Сестра съездила; теперь пишет сама жена: была в психиатрической больнице, сейчас паспорт утерян, три месяца принудработ, и до востребования денег получить не могу. Подождать бы эти месяцы? — но вскакивает сердце: надо поехать! И даёт муж безумную телеграмму: встречай! поезд №, вагон №... Беззащитно наше сердце против чувств, но, слава Богу, не загорожено и от предчувствий. В пути так разбирают его эти предчувствия, что за две станции до Новосибирска он слезает и доезжает попутной машиной. Вещи сдав в камеру хранения, отчаянно идёт по адресу жены. Стучит! Дверь подаётся, в доме никого (первое совпадение, враждебное: квартирохозяин сутки дежурил предупредить его о засаде — но в эти минуты вышел по воду). Идёт дальше. Нет и жены. На кровати лежит укрытый шинелью чекист и сильно храпит (совпадение второе, благоприятное). Чеботарёв убегает. Тут окликает его хозяин — его знакомый по КВЖД, ещё уцелевший. Оказывается, зять его — оперативник, сам принёс домой телеграмму и тряс ею перед глазами жены Чеботарёва: вот твой мерзавец, сам к нам едет в руки! Ходили к поезду — не встретили, второй оперативник пока ушёл, этот лёг отдохнуть. Всё же вызвал Чеботарёв жену, на машине проехали несколько станций, там сели на поезд в Узбекистан. В Ленинабаде снова зарегистрировались! — то есть, не разводясь с Чеботарёвым, она теперь вышла замуж за Чупина. Но вместе жить не решились. Во все концы слали от её имени заявления о розыске детей — бесполезно. И вот такая розная и загнанная жизнь была у них до войны.— В 1941 Чупин был мобилизован, был радистом в 61-й кавдивизии. Имел неосторожность при других бойцах назвать папиросы и спички по-китайски, в шутку. Ну, в какой нормальной стране это вызовет подозрение — что человек знает какие-то иностранные слова? У нас вызвало, и стукачи — вот они. И политрук Соколов, опер 219-го кавполка уже через час допрашивал его: «Откуда вы знаете китайский язык?» Чупин: только эти

* Но вскоре была туда корейская ссылка, потом и немецкая, потом и всех наций. Через 17 лет в то место попал и я.

два слова. «Вы не служили на КВЖД?» (Служить за границей — это сразу как тяжёлый грех!) Подсылал к нему опер и стукачей, не выведали. Так для своего спокойствия всё же посадили его по 58-10:

— не верил в сводки Информбюро;

— говорил, что у немцев техники больше (как будто глазами не видели все).

Не в лоб, так в голову... Трибунал. **Расстрел!** И так уже осточертела Чеботарёву жизнь в отечестве, что не подавал он просьбы о помиловании. А рабочие руки были государству нужны, вот 10 и 5 намордника. Снова в «доме родном»... Отсидел (при зачётах) девять лет.

И вот ещё случай. Однажды в лагере другой зэк, Н. Ф-в, отозвал его на дальний угол верхних нар и там тихо спросил: «Тебя как зовут?» — «Автоном Васильич.» — «А какой ты области урожак?» — «Тюменской.» — «А района?.. а сельсовета?..» Всё точно отвечал Чеботарёв — Чупин, и услышал: «Всё ты врёшь. Я с Автономом Чупиным на одном паровозе пять лет работал, я его знаю как себя. Это не ты у него, часом, документы спёр в 36-м году в мае?» Вот ещё какой подводный якорь может пропороть живот беглецу! Какому романисту поверили бы, придумай он такую встречу! К этому времени Чеботарёв опять хотел жить и крепко пожал руку доброму человеку, когда тот сказал: «Не бось, к куму я не пойду, не сука!»

И так отбыл Чеботарёв второй срок как Чупин. Но на беду последний лагерь его был — особо засекреченный, из той группы строек атомных — Москва-10, Тура-38, Свердловск-39, Челябинск-40. Они работали на разделении ураново-радиевых руд, стройка шла по планам Курчатова, начальник стройки генерал-лейтенант Ткаченко подчинялся только Сталину и Берии. От каждого зэка обновляли ежеквартально подпись «о неразглашении». Но это всё б ещё не беда, а беда то, что освободившихся не отпускали домой. «Освобождённых», отправили их большую группу в сентябре 1950 года — на Колыму! Только там освободили от конвоя и объявили *особо-опасным спецконтингентом!* — за то опасным, что они помогли атомную бомбу сделать! (Ну, как угнаться это всё описать? ведь это главы и главы нужны.) Таких разбросали по Колыме десятки тысяч! (Листайте конституцию, листайте кодексы,— что там написано про *спецконтингент??*)

Зато хоть жену он теперь мог вызвать. Она приехала к нему на прииск Мальдьяк. И отсюда опять они запрашивали о сыновьях — и ответы были: «нет», «не числятся».

Свалился Сталин с копыт — и уехали старики с Колымы на Кавказ — греть кости. Теплело в воздухе, хоть и медленно. И в 1959 сын их Виктор, киевский слесарь, решился скинуть с себя ненавистную фамилию и объявиться сыном врага народа Чеботарёва! И через год нашли его родители! Теперь забота встала у отца — вернуться самому в Чеботарёвых (*трижды* реабилитированный, он уже за побег не отвечал). Объявился и он, оттиски пальцев послали в Москву для сличения. Лишь тогда успокоился старик, когда всем троим выписали паспорта на Чеботарёвых, и невестка стала Чеботарёва. Только ещё через несколько лет он пишет мне, что уже раскаиваются, что нашли Виктора: честит отца преступником, виновником своих злоключений, на справки о реабилитации машет: «филькина грамота!» А старший сын Геннадий так и пропал.

Из рассказанных случаев видно, что и побег удавшийся ещё совсем не даёт свободы, а жизнь постоянно угнетённую и угрожаемую. Кое-кем из беглецов это хорошо понималось — теми, кто в лагерях успел от отчизны отпасть политически; и теми, кто живёт по неосмысленному безграмотному принципу: *просто жить*! И не вовсе редки среди беглецов были такие (на провал готовившие ответ: «Мы бежали в ЦК просить разобраться!»), которые цель имели уйти на Запад и только такой побег считали завершённым.

Об этих побегах всего трудней рассказать. Те, кто не дошли,— в сырой земле. Те, кто пойманы снова,— расстреляны или немы. Те, кто ушли,— может быть объявились на Западе, а может быть из-за кого-то оставшихся тут — снова молчат. Ходили слухи, что на Чукотке захватили зэки самолёт и всемером улетели на Аляску. Но, думаю: только пробовали захватить, да сорвалось.

Все эти случаи ещё долго будут томиться в закрыве, и стареть, и ненужными делаться, как эта рукопись, как всё правдивое, что пишется в нашей стране.

Вот один такой случай, и опять не удержала людская память имени геройского беглеца. Он был из Одессы, по гражданской специальности — инженер-механик, в армии — капитан. Он кончил войну в Австрии и служил в оккупационных войсках в Вене. В 1948 по доносу был арестован, получил 58-ю и, как тогда уже завели, 25 лет. Отправлен был в Сибирь, на лагпункт в 300 километрах от Тайшета, то есть далеко от главной сибирской магистрали. Очень скоро стал доходить на лесоповале. Но сохранялась ещё у него воля бороться за жизнь и память о Вене. И оттуда — о т т у д а! — он сумел убежать в Вену! Невероятно!

Их лесоповальный участок ограничивала просека, просматриваемая с малых вышек. В избранный день он имел на работе с собой пайку хлеба. Повалил поперёк просеки пушистую ель и под ветками её пополз к макушке. На всю просеку её не доставало, но, продолжая ползти, он счастливо ушёл. С собой он унёс и топор. Это было летом. Он пробирался тайгой по бурелому, идти было очень трудно, зато никого не встречал целый месяц. Завязав рукава и ворот рубашки, он ловил рыбу, ел её сырой. Собирал кедровые орехи, грибы и ягоды. Полумёртвым, он всё же долез до сибирской магистрали и счастливо уснул в стогу сена. Очнулся от голосов: вилами брали сено и уже обнаружили его. Он был измотан, не готов ни убегать, ни бороться. И сказал: «Что ж, берите, выдавайте, я беглец.» То были железнодорожный обходчик и его жена. Обходчик сказал: «Да мы ж русские люди. Только сиди, не показывайся.» Ушли. Но беглец не поверил им: они ведь — советские, они должны донести. И пополз к лесу. С краю леса он следил и увидел, как обходчик вернулся, принёс одежду и еду.— С вечера беглец пошёл вдоль линии и на лесном полустанке сел на товарняк, к утру соскочил — и на день ушёл в лес. Ночь за ночью он так продвигался, а когда стал покрепче, то и на каждой остановке сходил — перепрятывался в зелени или шёл вперёд, обгоняя поезд, а там прыгал на ходу. Так десятки раз он рисковал потерять руку, ногу, голову. (Это всё он расхлёбывал несколько лёгких скольжений пера доносчика...) Но как-то перед Уралом он изменил своему правилу и на платформе с брёвнами заснул. Его ударили ногой и светили фонарём в лицо: «Документы!» — «Сейчас.» Припод-

нялся и ударом сбил охранника с высоты, сам же спрыгнул в другую сторону — и попал на голову другому охраннику! — сбил с ног и того и успел уйти под соседние эшелоны. Сел за станцией, на ходу.— Свердловск он решил обходить со стороны, в окрестностях его грабанул торговую палатку, взял там одежды, надел на себя три костюма, набрал еды. На какой-то станции продал один костюм и купил билет Челябинск — Орск — Средняя Азия. Нет, он знал, куда едет — в Вену! — но надо было обшерститься и чтобы перестали его искать. Туркмен, предколхоза, встретил его на базаре и без документов взял к себе в колхоз. И руки оправдали звание механика, он чинил колхозу все машины. Через несколько месяцев он рассчитался и поехал в Красноводск, приграничной линией. На перегоне после Маров шёл патруль, проверяя документы. Тогда наш механик вышел на площадку, открыл дверь, повис на окне уборной (через забеленное стекло изнутри его видеть не могли), и только самый носок одной ноги остался для упора и для возврата на ступеньке. В раме двери в углу один носок ботинка патруль не заметил и прошёл в следующий вагон. Так миновал страшный момент. Благополучно переехав Каспий, беглец сел на поезд Баку — Шепетовка, а оттуда подался в Карпаты. Через горную границу глухим крутым лесистым местом он переходил очень осмотрительно — и всё-таки пограничники перехватили его! Сколько надо было жертвовать, страдать, изобретать и силиться от самого сибирского лагпункта, от этой поваленной первой ёлочки — и при самом конце в один миг всё рухнуло!.. И как там, в стогу у Тайшета, покинули его силы, он не мог больше ни сопротивляться, ни лгать, и с последней яростью только крикнул: «Берите, палачи! Берите, ваша сила!» — «Кто такой?» — «Беглец! Из лагеря! Берите!» Но пограничники вели себя как-то странно: они завязали ему глаза, привели в землянку, там развязали, снова допрашивали — и вдруг выяснилось: свои! бандеровцы! (Фи! фи! — морщатся образованные читатели и машут на меня руками: «Ну, и персонаж вы выбрали, если бандеровцы ему — *свои*! Хорошенький фрукт!» Разведу руками и я: какой есть. Какой бежал. Каким его лагерь сделал. Они ведь, лагерники, я вам скажу, они живут по свинскому принципу: «бытие определяет сознание», а не по газетам. Для лагерника те и свои, с кем он вместе мучился в лагере. Те для него и чужие, кто спускает на него ищеек. Честно говоря — и я сам так.) Обнялись! У бандеровцев ещё были тогда ходы через границу, и они его мягко перевели.

И вот он снова был в Вене! — но уже в американском секторе. И подчиняясь всё тому же завлекающему материалистическому принципу, никак не забывая свой кровавый смертный лагерь, он уже не искал работы инженера-механика, а пошёл к американским властям душу отвести. И стал работать кем-то у них.

Но! — человеческое свойство: минует опасность — расслабляется и наша настороженность. Он надумал отправить деньги родителям в Одессу, для этого надо было обменять доллары на советские деньги. Какой-то еврей-коммерсант пригласил его менять к себе на квартиру в советскую зону Вены. Туда и сюда непрерывно сновали люди, мало различая зоны. А ему было никак нельзя переходить! Он перешёл — и на квартире менялы был взят.

Вполне русская история о том, как сверхчеловеческие усилия нанизываются, нанизываются — и срываются одним широким распахом руки.

Приговорённый к расстрелу, в камере берлинской советской тюрьмы он всё это рассказал другому офицеру и инженеру — Аникину. Этот Аникин к тому времени уже побывал и в немецком плену, и умирал в Бухенвальде, и освобождён был американцами, и вывезен в советскую зону Германии, оставлен там временно для демонтирования заводов, и бежал в ФРГ, под Мюнхеном строил гидроэлектростанцию, и оттуда выкраден советской разведкой (ослепили фарами, втолкнули в автомобиль) — и для чего всё это? Чтобы выслушать рассказ одесского механика и сохранить его нам? Чтобы затем два раза бесплодно бежать в Экибастузе (о нём ещё будет в Части Пятой)? И потом на штрафном известковом заводе быть убитым?

Вот предначертания! вот изломы судьбы! И как же нам разглядеть смысл отдельной человеческой жизни?..

Мы почти не рассказали о групповых побегах, а и таких было много. Из Усть-Сысольска был массовый побег (через восстание) в 1943. Ушли по тундре, ели морошку с черникой. Их проследили с аэропланов и с них же расстреляли. Говорят, в 1956 целый лагерёк бежал, под Мончегорском.

История всех побегов с Архипелага была бы перечнем невпрочёт и невперелист. И даже тот, кто писал бы книгу только о побегах, поберёг бы читателя и себя, стал бы опускать их сотнями.

Глава 15

ШИзо, БУРы, ЗУРы

Среди многих радостных отказов, которые нёс нам с собой новый мир,— отказа от эксплуатации, отказа от колоний, отказа от обязательной воинской повинности, отказа от тайной дипломатии, от тайных назначений и перемещений, отказа от тайной полиции, отказа от «закона божьего» и ещё многих других феерических отказов,— не было, правда, отказа от тюрем (стен не рушили, а вносили в них «новое классовое содержание»), но был безусловный отказ от карцеров — этого безжалостного мучительства, которое могло родиться только в извращённых злобой умах буржуазных тюремщиков. ИТК-1924 (исправительно-трудовой кодекс 1924 года) допускал, правда, изоляцию особо-провинившихся заключённых в отдельную камеру, но предупреждал: эта отдельная камера ничем не должна напоминать карцера — она должна быть сухой, светлой и снабжённой принадлежностями для спанья.

А сейчас не только тюремщикам, но и самим арестантам было бы дико, что карцера почему-то нет, что карцер запрещён.

ИТК-1933, который «действовал» (бездействовал) до начала 60-х годов, оказался ещё гуманнее: он запрещал даже изоляцию в отдельную камеру!

Но это не потому, что времена стали покладистей, а потому, что к этой поре были опытным путём уже освоены другие градации внутрилагерных наказаний, когда тошно не от одиночества, а от «коллектива», да ещё наказанные должны и *горбить*:

РУРы — Роты Усиленного Режима, заменённые потом на
БУРы — Бараки Усиленного Режима, штрафные бригады, и
ЗУРы — Зоны Усиленного Режима, штрафные командировки.

А уж там позже, как-то незаметно, пристроились к ним и — не карцеры, нет! а —

ШИзо — Штрафные Изоляторы.

Да ведь если заключённого не пугать, если над ним уже нет никакой дальше кары — как же заставить его подчиняться режиму?

А беглецов пойманных — куда ж тогда сажать?

За что даётся ШИзо? Да за что хочешь: не угодил начальнику, не так поздоровался, не вовремя встал, не вовремя лёг, опоздал на проверку, не по той дорожке прошёл, не так был одет, не там курил, лишние вещи держал в бараке — вот тебе сутки, трое, пятеро. Не выполнил нормы, с бабой застали — вот тебе пять, семь и десять. А для *отказчиков* есть и пятнадцать суток. И хоть по закону (по какому?) больше пятнадцати никак нельзя (да ведь по ИТК и этого нельзя!), а растягивается эта гармошка и до году. В 1932 в Дмитлаге (это Авербах пишет, это — чёрным по белому!) за *мостырку* давали г о д ШИзо! Если вспомнить ещё, что мостырку и не лечили, то, значит, раненого больного человека помещали гнить в карцер — на год!

Что требуется от ШИзо? Он должен быть: а) холодным; б) сырым;

в) тёмным; г) голодным. Для этого не топят (Липай: даже когда снаружи 30 градусов мороза), не вставляют стёкол на зиму, дают стенам отсыреть (или карцерный подвал ставят в мокром грунте). Окошки ничтожные или никаких (чаще). Кормят *сталинской пайкой* — 300 граммов в день, а «горячее», то есть пустую баланду, дают лишь на третий, шестой и девятый дни твоего заключения туда. Но на Воркуте-Вом давали хлеба только двести, а вместо горячего на третий день — кусок *сырой* рыбы. Вот в этом промежутке надо и вообразить все карцеры.

Наивное представление таково, что карцер должен быть обязательно вроде камеры — с крышей, дверью и замком. Ничего подобного. На Куранах-Сала карцер в мороз 50 градусов был разомшённый сруб. (Вольный врач Андреев: «Я как в р а ч заявляю, что в таком карцере м о ж н о сидеть!») Перескочим весь Архипелаг: на той же Воркуте-Вом в 1937 карцер для отказчиков был — сруб *без крыши,* и ещё была *простая яма.* В такой яме (спасаясь от дождя, натягивали какую-нибудь тряпку) Арнольд Раппопорт жил как Диоген в бочке. С кормёжкой издевались так: надзиратель выходил из вахтенной избушки с пайками хлеба и звал тех, кто сидел в срубе: «Идите, получайте!» Но едва они высовывались из сруба, как часовой с вышки прикладывал винтовку: «Стой, стрелять буду!» Надзиратель удивлялся: «Что, и хлеба не хотите? Ну, уйду.» — А в яму просто швыряли сверху хлеб и рыбу, в размокшую от дождей глину.

В Мариинском лагере (как и во многих других, разумеется) на стенах карцера был снег — и в такой-то карцер не пускали в лагерной одежёнке, а р а з д е в а л и д о б е л ь я. Через каждые полчаса надзиратель открывал кормушку и советовал Ивану Васильевичу Шведу: «Эй, не выдержишь, погибнешь! Иди лучше на лесоповал!» И верно,— решил Швед,— здесь скорей накроешься. Пошёл в лес. Всего за 12 с половиной лет в лагерях Швед отсидел 148 суток карцера. За что только он не наказывался! За отказ идти дневальным в «Индию» (барак шпаны) получил 6 месяцев штрафного лагеря. За отказ перейти с сытой сельхозкомандировки на лесоповал — судим вторично как за экономическую контрреволюцию, 58-14, и получил новые десять лет. Это блатной, не желая идти на штрафной лагпункт, может ударить начальника конвоя, выбить наган из рук — и его не отправят. У мирного политического выхода нет — ему-таки загонят голову между ног. На Колыме в 1938 для блатных и карцеры были утеплённые, не то что для Пятьдесят Восьмой.

БУР — это содержание подольше. Туда заключают на месяц, три месяца, полгода, год, а часто — бессрочно, просто потому, что арестант считается опасным. Один раз попавши в чёрный список, ты потом уже закатываешься в БУР на всякий случай: на каждые первомайские и ноябрьские праздники, при каждом побеге или чрезвычайном происшествии в лагере.

БУР — это может быть и самый обычный барак, отдельно огороженный колючей проволокой, с выводом сидящих в нём на самую тяжёлую и неприятную в этом лагере работу. А может быть — каменная тюрьма в лагере, со всеми тюремными порядками: избиениями в надзирательской вызванных поодиночке (чтоб следов не оставалось, хорошо бить валенком, внутрь которого заложен кирпич); с засовами, замка-

ми и глазками на каждой двери; с бетонным полом камер и ещё с отдельным карцером для сидящих в БУРе.

Именно таков был Экибастузский БУР (впрочем, и первого типа там был). Посаженных содержали там в камерах без нар (спали на полу на бушлатах и телогрейках). Намордник из листового железа закрывал маленькое подпотолочное оконце целиком. В нём пробиты были дырочки гвоздём, но зимой заваливало снегом и эти дырочки, и в камере становилось совсем темно. Днём не горела электрическая лампочка, так что день был темнее ночи. Никакого проветривания не бывало никогда. *Полгода* (в 1950 году) не было и ни одной прогулки. Так что тянул наш БУР на свирепую тюрьму, неизвестно, что́ тут оставалось от лагеря. Вся оправка — в камере, без вывода в уборную. Вынос большой параши был счастьем дневальных по камере: глотнуть воздуха. А уж баня — общий праздник. В камере было набито тесно, только что лежать, а уж размяться негде. И так — полгода. Баланда — вода, хлеба — шестьсот, табака — ни крупинки. Если кому-нибудь приходила из дома посылка, а он сидел в БУРе, то скоропортящееся «списывали» актом (брал себе надзор или по дешёвке продавали придуркам), остальное сдавалось в каптёрку на многомесячное хранение. (Когда такую *режимку* выводили потом на работу, они уже для того *шевелились,* чтобы не быть снова запертыми.)

В этой духоте и неподвижности арестанты изводились, и приблатнённые — нервные, напористые — чаще других. (Попавшие в Экибастуз блатари тоже считались за Пятьдесят Восьмую, и им не было поблажек.) Самое популярное среди арестантов БУРа было — глотать алюминиевые столовые ложки, когда их давали к обеду. Каждого проглотившего брали на рентген и, убедившись, что не врёт, что действительно ложка в нём,— клали в больницу и вскрывали желудок. Лёшка Карноухий глотал трижды, у него и от желудка ничего не осталось. Колька Салопаев *закосил на чокнутого:* повесился ночью, но ребята по уговору «увидели», сорвали петлю — и взят он был в больничку. Ещё кто-то: заразил нитку во рту (протянул между зубов), вдел в иголку и пропустил под кожу ноги. Заражение! больница! — там уж гангрена, не гангрена, лишь бы вырваться.

Но удобство получить от штрафников ещё и работу заставляло хозяев выделять их в отдельные штрафные зоны (ЗУРы). В ЗУРе прежде всего — худшее питание, месяцами может не быть второго, уменьшенная пайка. Даже в бане зимой — выбитое окно, парикмахеры в ватных брюках и телогрейках стригут голых заключённых. Может не быть столовой, но и в бараках баланду не раздают, а получив её около кухни надо нести по морозу в барак и там есть холодную. Мрут массами, стационар забит умирающими.

Одно только перечисление штрафных зон когда-нибудь составило бы историческое исследование, тем более, что не легко ему будет установить, всё сотрётся.

Для штрафных зон назначали работы такие. Дальний сенокос за 35 километров от зоны, где живут в протекающих сенных шалашах и косят по болотам, ногами всегда в воде. (При добродушных стрелках собирают ягоды, бдительные стреляют и убивают, но ягоды всё равно собира-

ют: есть-то хочется.) Заготовка силосной массы по тем же болотистым местам, в тучах мошкары, без всяких защитных средств. (Лицо и шея изъедены, покрыты струпьями, веки глаз распухли, человек почти слепнет.) — Заготовка торфа в пойме реки Вычегды: зимою, долбя тяжёлым молотом, вскрыть слои промёрзшего ила, снять их, из-под них брать талый торф, потом на санках на себе тащить километр в гору (лошадей лагерь берёг).— Просто земляные работы («земляной» ОЛП под Воркутой). Ну и излюбленная штрафная работа — известковый карьер и обжиг извести. И каменные карьеры. Перечислить всего нельзя. Всё, что есть из тяжёлых работ ещё потяжелей, из невыносимых — ещё невыносимей, вот это и есть штрафная работа. В каждом лагере своя.

А посылать в штрафные зоны излюблено было: верующих, упрямых и блатных (да, блатных, здесь срывалась великая воспитательная система на невыдержанности местных воспитателей). Целыми бараками содержали там «монашек», отказывающихся работать на дьявола. (На штрафной «подконвойке» совхоза Печорского их держали в карцере по колено в воде. Осенью 1941 дали 58-14 и всех расстреляли.) Послали священника отца Виктора Шиповальникова «за религиозную агитацию» (под Пасху для пяти санитарок отслужил всенощную). Посылали дерзких инженеров и других обнаглевших интеллигентов. Посылали пойманных беглецов. И, сокрушаясь сердцем, посылали социально-близких, которые никак не хотели слиться с пролетарской идеологией. (За сложную умственную работу классификации не упрекнём начальство в невольной иногда путанице: вот с Карабаса выслали две телеги — религиозных женщин на детгородок ухаживать за лагерными детьми, а блатнячек и сифилитичек — на Конспай, штрафной участок Долинки. Но перепутали, кому на какую телегу класть вещи, и поехали блатные сифилитички ухаживать за детьми, а «монашки» на штрафной. Уж потом спохватились, да так и оставили.)

И часто посылали там в штрафные зоны за отказ стать стукачом. Большинство их умерло там, на штрафных, и уж они о себе не расскажут. Тем менее расскажут о них убийцы-оперативники. Так послали и почвоведа Григория Ивановича Григорьева, а он выжил. Так послан был и редактор эстонского сельскохозяйственного журнала Эльмар Нугис.

Бывали тут и истории дамские. О них нельзя судить достаточно обстоятельно и строго, потому что всегда остаётся не известный нам интимный элемент. Однако, вот история Ирины Нагель в её изложении. В совхозе Ухта она работала машинисткой адмчасти, то есть очень благоустроенным придурком. Представительная, плотная, большие косы свои она заплетала вокруг головы и, отчасти для удобства, ходила в шароварах и курточке вроде лыжной. Кто знает лагерь, понимает, что́ это была за приманка. Оперативник младший лейтенант Сидоренко выразил желание узнать её тесней. Нагель ответила ему: «Да пусть меня лучше последний урка поцелует! Как вам не стыдно, у вас ребёнок плачет за стеной!» Отброшенный её толчком, опер вдруг изменил выражение и сказал: «Да неужели вы думаете — вы мне нравитесь? Я просто хотел вас проверить. Так вот, вы будете с нами сотрудничать.» Она отказалась и была послана на штрафной лагпункт.

Вот впечатления Нагель от первого вечера: в женском бараке —

блатнячки и «монашки».* Пятеро девушек ходят, обёрнутые в простыни: играя в карты накануне, блатняки проиграли с них всё, велели снять и отдать. Вдруг входит с гитарой банда блатных — в кальсонах и в фетровых шляпах. Они поют свою воровскую как бы серенаду. Вдруг вбегают другие блатные, рассерженные. Они хватают одну свою девку, бросают её на пол, бьют скамейкой и топчут. Она кричит, потом уже и кричать не может. Все сидят, не только не вмешиваясь, но как будто даже и не замечают. Позже приходит фельдшер: «Кто тебя бил?» — «С нар упала», — отвечает избитая.— В этот же вечер проиграли в карты и саму Нагель, но выручил её сука Васька Кривой: он донёс начальнику, и тот забрал Нагель ночевать на вахту.

Штрафные командировки (как Парма Ныроблага, в самой глуши тайги) считались часто и для стрелков и для надзора тоже штрафными, туда же слали провинившихся, а ещё чаще заменяли их самоохранниками.

Если нет закона и правды в лагерях, то уж на штрафных и тем более не ищи. Блатные куролесят там как хотят, открыто ходят с ножами (Воркутинский «земляной» ОЛП, 1946), надзиратели прячутся от них за зоной, и это ещё когда Пятьдесят Восьмая составляет большинство.

На штрафлаге Джантуй близ Печоры блатные из озорства сожгли два барака, отменили варку пищи, разогнали поваров, прирезали двух офицеров. Остальные офицеры даже под угрозой снятия погонов отказались идти в зону.

В таких случаях начальство спасается рознью: комендантом Джантуя назначили *суку,* срочно привезенного со своими помощниками ещё откуда-то. Они в первый же вечер закололи трёх воров, и стало немного успокаиваться.

Вор вором губится, давно предвидела пословица. Согласно Передовому Учению расплодив этих социально-близких выше всякой меры, так что уже задыхались сами, отцы Архипелага не нашли другого выхода, как разделить их и стравить на поножовщину. (Война блатных и сук, сотрясшая Архипелаг в послевоенные годы.)

Конечно, при всей видимой вольнице, блатным на штрафном тоже несладко, этим разгулом они и пытаются как-то вырваться. Как всем паразитам, им выгоднее жить среди тех, кого можно сосать. Иногда блатные даже пальцы себе рубили, чтоб только не идти на штрафной, например на знаменитый воркутинский известковый завод. (Некоторым рецидивистам в послевоенные годы уже в приговоре суда писалось: «с содержанием на воркутинском известковом заводе». Болты заворачивались сверху.)

Там все ходили с ножами. Суки и блатные каждый день резали друг друга. Повар (сука) наливал по произволу: кому густо, кому жидко, кому просто черпаком по лбу. Нарядчик ходил с арматурным прутом и одним его свистящим взмахом убивал на месте. Суки держали при себе мальчиков для педерастии. Было три барака: барак сук, барак воров, барак фраеров, человек по сто в каждом. Фраера — работали: внизу близ лагеря добывалась известь, потом её носилками поднимали на скалу,

* Кто ещё в мировой истории уравнивал их? Кем надо быть, чтоб их смешать?

там ссыпали в конусы, оставляя внутри дымоходы; обжигали; в дыму, саже и известковой пыли раскладывали горящую известь.

В Джидинских лагерях известен штрафной участок Баянгол.

На штрафной ОЛП Краслага Ревучий ещё до всяких штрафных прислали «рабочее ядро» — ни в чём не провинившихся крепких работяг сотни полторы. (Штрафной-то штрафной, а план с начальства требуют. И вот простые работяги осуждены на штрафной!) Дальше присылали блатных и большесрочников по 58-й — *тяжеляков*. Этих тяжеляков урки уже побаивались, потому что имели они по 25 лет и в послевоенной обстановке, убив блатного, не утяжеляли своего срока, это уж не считалось (как на Каналах) вылазкой классового врага.

Рабочий день на Ревучем был как будто и 11 часов, но на самом деле с ходьбой до леса (5—6 км) и назад получалось 15 часов. Подъём был в 4.30 утра, в зону возвращались в восьмом часу вечера. Быстро *доходили* и, значит, появлялись отказчики. После общего развода выстраивали в клубе отказчиков, нарядчик шёл и отбирал, кого *в довод*. Таких отказчиков в верёвочных лаптях («обут по сезону», 60° мороза), в худых бушлатах выталкивали за зону — а там на них напускали пяток овчарок: «Взять!» Псы рвали, когтили и валяли отказчиков. Тогда псов отзывали, подъезжал китаец на бычке, запряжённом в ассенизационный возок, отказчиков грузили туда, отвозили и выворачивали тележный ящик с насыпи в лощину. А там, внизу, был бригадир Лёша Слобода, который палкой бил этих отказчиков, пока они не подымутся и не начнут на него работать. Их выработку он записывал своей бригаде, а им полагалось по 300 граммов — карцерный паёк. (Кто эту всю ступенчатую систему придумал — это ж просто маленький Сталин!)

Галина Иосифовна Серебрякова! Отчего вы *об этом* не напишете? Отчего ваши герои в лагере ничего не делают, не горбят, а только разговаривают о Ленине и Сталине?

Простому работяге из Пятьдесят Восьмой выжить на таком штрафном лагпункте почти невозможно.

На штрафной подкомандировке СевЖелДорЛага (начальник — полковник Ключкин) в 1946—47 годах было людоедство: резали людей на мясо, варили и ели.

Это было как раз сразу после всемирно-исторической победы нашего народа.

Ау, полковник Ключкин! Где ты выстроил себе пенсионный особняк?

Глава 16

СОЦИАЛЬНО-БЛИЗКИЕ

Присоединись и моё слабое перо к воспеванию этого племени! Их воспевали как пиратов, как флибустьеров, как бродяг, как беглых каторжников. Их воспевали как благородных разбойников — от Робина Гуда и до опереточных, уверяли, что у них чуткое сердце, они грабят богатых и делятся с бедными. О, возвышенные сподвижники Карла Моора! О, мятежный романтик Челкаш! О, Беня Крик, одесские босяки и их одесские трубадуры!

Да не вся ли мировая литература воспевала блатных? Франсуа Вийона корить не станем, но ни Гюго, ни Бальзак не миновали этой стези, и Пушкин-то в цыганах похваливал блатное начало. (А как там у Байрона?) Но никогда не воспевали их так широко, так дружно, так последовательно, как в советской литературе. (На то были высокие Теоретические Основания, не одни только Горький с Макаренкой.)

Гнусаво завыл Леонид Утёсов с эстрады — н завыла ему навстречу восторженная публика. И не каким другим, а именно приблатнённым языком заговорили балтнйские и черноморские *братишки* у Вншневского и Погодина. Именно в приблатнённом языке отливалось выразительнее всего их остроумие. Кто только ие захлебнулся от святого волнения, описывая нам блатных — их живую разнузданиую отрнцательность в начале, их диалектичную перековку в конце,— тут и Маяковский (за ним и Шостакович — балет «Барышня и хулнган»), и Леонов, и Сельвинский, и Иибер, и не перечтёшь. Культ блатных оказался заразительиым в эпоху, когда литература иссыхала без положительного героя. Даже такой далёкий от официальной лиции писатель как Виктор Некрасов не нашёл для воплощения русского геройства лучшего образца, чем блатного, старшину Чумака («В окопах Сталинграда»). Даже Татьяиа Есенина поддалась тому же гипнозу и изобразила нам «невииную» фигуру Веиькн Бубнового Валета. Может быть только Тендряков, с его умением взглядывать иа мир непредвзято, впервые выразил нам блатного без восхищённого глотания слюны («Тройка, семёрка, туз»), показал его душевную мерзость. Алдан-Семёнов как будто и сам в лагере сидел, но («Барельеф на скале») изобретает абсолютиую чушь: что вор Сашка Александров под влияннем коммуниста Петракова, которого будто бы все бандиты уважали за то, что он знал Лениина и громил Колчака (совершеино легендарная мотивировка времён Авербахов) собирает брнгаду из доходяг и не живёт за их счёт (как *только и было!* как хорошо знает Алдан-Семёнов!), а — заботится об их прокормленин! и для этого выигрывает в карты у вольняшек! Как будто на *чифирь* ему не нужны эти выигрыши! Какой для 60-х годов занафталиненный вздорный аиекдот.

Как-то в 1946 году летним вечером в лагерьке на Калужской заставе блатной лёг животом на подоконник третьего этажа и сильным голосом стал петь одну блатную песню за другой. Песни его легко переходили через вахту, через колючую проволоку, их слышно было на тротуаре Большой Калужской, на троллейбусной остановке и в ближней части Нескучного сада. В песнях этих воспевалась «лёгкая жизнь», убийства, кражи, налёты. И не только никто из надзирателей, воспитателей, вахтёров не помешал ему — но даже окрикнуть его никому не пришло в голову. Пропаганда блатных взглядов, стало быть, вовсе не противоречила строю нашей жизни, не угрожала ему. Я сидел в зоне и думал: а что если бы сейчас на третий этаж поднялся я, да из того же окна с той же силой голоса пропел что-нибудь о судьбе военнопленного, вроде «Где ты, где ты?», слышанное мной во фронтовой контрразведке, или сочинил бы что-нибудь о судьбе униженного растоптанного фронтовика,— что́ бы тут поднялось! Как бы забегали! Да тут бы в суете пожарную

лестницу на меня надвинули, не стали бы ждать, пока кругом обегут. Рот бы мне заткнули, руки связали, намотали бы новый срок! А блатной поёт, вольные москвичи слушают — и как будто так и надо...

Всё это сложилось не сразу, а *исторически,* как любят у нас говорить. В старой России существовал (а на Западе и существует) неверный взгляд на воров как на неисправимых, как на постоянных преступников («костяк преступности»). Оттого на этапах и в тюрьмах от них обороняли политических. Оттого администрация, как свидетельствует П. Якубович, ломала их вольности и верховенство в арестантском мире, запрещала им занимать артельные должности, доходные места, решительно становилась на сторону прочих каторжан. «Тысячи их поглотил Сахалин и не выпустил.» В старой России к рецидивистам-уголовникам была одна формула: «Согните им голову под железное ярмо закона!» (Урусов). Так к 1917 году воры не хозяйничали ни в стране, ни в русских тюрьмах.

Но оковы пали, воссияла свобода. Сразу после февральской революции — кто заодно с политическими, в суматохе, кто быстро вослед, по льготным амнистиям Керенского,— уголовники привольно хлынули на свободу и перемешались со свободными гражданами. В миллионном дезертирстве 1917 года, потом за гражданскую войну все человеческие страсти очень распустились, а воровские первее всех, и уж никак не хотели головы гнуться под ярмо, да им объявили, что и не надо. Находили очень полезным и забавным, что они — враги частной собственности, а значит сила революционная, надо только ввести её в русло пролетариата, да это и затруднений не составит. Тут подросла им и небывалая многолюдная смена из сирот гражданской войны — беспризорники, шпана. Они грелись у асфальтовых котлов НЭПа и в виде первых уроков обрезали дамские сумочки с руки, рвали крючьями чемоданы из вагонных окон. Социально рассуждая: ведь во всём виновата *среда?* Так перевоспитаем этих здоровых люмпенов и включим в строй сознательной жизни! Тут были и первые коммунисты, и колонии, и «Путёвка в жизнь». (Только не заметили: беспризорники — это ещё не были *воры в законе,* и исправление беспризорников ни о чём не говорило: они ещё не все испортиться-то успели.)

Теперь же, когда прошло больше сорока лет, можно оглянуться и усумниться: кто ж кого перевоспитал: чекисты ли — у́рок? или урки — чекистов? Урка, принявший чекистскую веру,— это уже сука, урки его режут. Чекист же, усвоивший психологию урки,— это *напористый* следователь 30—40-х годов или *волевой* лагерный начальник, они в чести, они продвигаются по службе.

А психология урки очень проста, очень доступна к усвоению:

1. Хочу жить и наслаждаться, на остальных на...!
2. Прав тот, кто сильней.
3. Тебя не [дол]бут — не подмахивай! (То есть, пока бьют не тебя, не заступайся за тех, кого бьют. Жди своей очереди.)

Бить покорных врагов поодиночке! — что-то очень знакомый закон. Так делал Сталин. Так делал Гитлер.

Сколько нам в уши насюсюкал Шейнин о «своеобразном кодексе» блатных, об их «честном» слове. Почитаешь — и Дон-Кихоты, и патриоты! А встретишься с этим мурлом в камере или в воронке...

Эй, довольно лгать, продажные перья! Вы, наблюдавшие блатарей через перила парохода да через стол следователя! Вы, никогда не встречавшиеся с блатными в вашей беззащитности!

Урки — не Робины Гуды! Когда нужно воровать у доходяг — они воруют у доходяг. Когда нужно с замерзающего снять последние портянки — они не брезгуют и ими. Их великий лозунг — «умри ты сегодня, а я завтра!»

Но, может, правда они патриоты? Почему они не воруют у государства? Почему они не грабят *особых* дач? Почему не останавливают длинных чёрных автомобилей? Потому что они ожидают там встретить победителя Колчака? Нет, потому что автомобили и дачи хорошо защищены. А магазины и склады находятся под сенью закона. Потому что реалист Сталин давно понял, что всё это жужжанье одно — перевоспитание урок. И перекинул их энергию, натравил на граждан собственной страны.

Вот каковы были законы тридцать лет (до 1947): должностная, государственная, казённая кража? ящик со склада? три картофелины из колхоза? Десять лет! (А с 47-го и двадцать!) *Вольная* кража? Обчистили квартиру, на грузовике увезли всё, что семья нажила за жизнь? Если при этом и не было убийства, то *до одного года,* иногда — 6 месяцев...

От поблажки воры и плодятся.

Своими законами сталинская власть ясно сказала уркам: воруй не у меня! воруй у частных лиц! Ведь частная собственность — отрыжка прошлого. (А персональная собственность — надежда будущего...)

И урки — поняли. В своих рассказах и песнях такие бесстрашные,— пошли они брать там, где трудно, опасно, сносят головы? Нет. Трусливо и алчно попёрли туда, куда их поноравливали,— раздевать одиноких прохожих, воровать из неограждённых квартир.

Двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы! Кто не помнит этой вечно висящей над гражданином угрозы: не иди в темноте! не возвращайся поздно! не носи часов! не имей при себе денег! не оставляй квартиру без людей! Замки! Ставни! Собаки! (Не обчищенные вовремя фельетонисты теперь высмеивают дворовых верных собак...)

В последовательной борьбе против отдельности человека социалистическое государство сперва отняло у него одного друга — лошадь, взамен обещая трактор. (Как будто лошадь — это только тяга плуга, не живой твой друг в беде и в радости, не член твоей семьи, не часть твоей души.) Вскоре же и неотступно стали преследовать второго друга — собаку. Их брали на учёт, свозили на живодёрню, а чаще особыми командами от местных советов застреливали каждую встречную. И на то были не санитарные и не скупостные экономические соображения, основание глубже: ведь собака не слушает радио, не читает газет, это как бы не контролируемый государственный гражданин, и физически сильный, но сила идёт не для государства, а для защиты хозяина как личности, независимо от того, какое состоится о нём постановление в местном совете и с каким ордером к нему придут ночью. В Болгарии в 1960 было не шутя предложено гражданам *вместо* собак выкармливать... свиней! Свинья не имеет принципов, она растит своё мясо для каждого, у кого есть нож.

Впрочем, гонение против собак никогда не распространялось на государственно-полезных оперативных и охранных овчарок.

Сколько обокраденных граждан знает, что милиция даже не стала искать преступников, даже дела не стали заводить, чтобы не портить себе отчётности: потеть ли его ловить, если ему дадут шесть месяцев, а по зачётам сбросят три? Да и пойманных бандитов ещё будут ли судить? Ведь прокуроры «снижают преступность» (этого требуют от них

на каждом совещании) тем странным способом, что просто заминают дела, особенно если по делу предвидится много обвиняемых.

Наконец обязательно будет сокращение сроков и конечно именно для уголовников. Эй, поберегись свидетель на суде! — они скоро все вернутся, и нож в бок тому, кто свидетельствовал!

Оттого, если видишь, что залезают в окно, вырезают карман, вспарывают чемодан твоего соседа — зажмурься! иди мимо! ты ничего не видел!

Так воспитали нас и воры и — законы!

В сентябре 1955 «Литературная газета» (смело судящая о многом, только не о литературе) проливала крокодиловы слёзы в большой статье: ночью на московской улице под окнами двух семей с шумом убивали и убили человека. Выяснилось позже, что обе семьи (наши! советские!) были разбужены, поглядывали в окна, но не вышли на помощь: жёны не пустили мужей. И какой-то их однодомец (может быть и он был тогда разбужен? но об этом не пишется), член партии с 1916 года, полковник в отставке (и, видимо, томясь от безделья) взял на себя обязанность общественного обвинителя. Он ходит по редакциям и судам и требует привлечь эти две семьи за соучастие в убийстве! Гремит и журналист: это не подпадает под кодекс, но это — позор! позор!

Да, позор, но д л я к о г о? Как всегда в нашей предвзятой прессе, в статье этой написано всё, кроме главного. Кроме того, что:

1) «Ворошиловская» амнистия 27 марта 1953 года в поисках популярности у народа затопила всю страну волной убийц, бандитов и воров, которых с трудом переловили после войны. (Вора миловать — доброго погубить.)

2) Существует в уголовном кодексе (УК-1926) нелепейшая статья 139-я «о пределе необходимой обороны» — и ты имеешь право обнажать нож не раньше, чем преступник занесёт над тобой свой нож, и пырнуть его не раньше, чем он тебя пырнёт. В противном случае будут судить т е б я! (А статьи о том, что самый большой преступник — это нападающий на слабого, в нашем законодательстве нет!..) Эта боязнь превзойти меру необходимой обороны доводит до полного расслабления национального характера. Красноармейца Александра Захарова у клуба стал бить хулиган. Захаров вынул складной перочинный нож и убил хулигана. Получил за это — 10 лет как за чистое убийство. «А что я должен был делать?» — удивлялся он. Прокурор Арцишевский ответил ему: «Надо было убежать!»

Так к т о выращивает хулиганов?!

3) Государство по уголовному кодексу запрещает гражданам иметь огнестрельное либо холодное оружие — но и н е б е р ё т их защиты на себя! Государство отдаёт своих граждан во власть бандитов — и через прессу смеет призывать к «общественному сопротивлению» этим бандитам! Сопротивлению — ч е м? Зонтиками? Скалками? — Сперва развели бандитов, потом начали собирать против них народные дружины, которые, действуя вне законодательства, иногда и сами превращаются в тех же. А ведь как можно было просто с самого начала: «Согните им голову под ярмо закона!» Так Единственно Верное Учение поперёк дороги.

Что было бы, если б эти жёны отпустили мужей, а мужья выбежали бы с палками? Либо бандиты убили бы их, это скорей. Либо они убили бы бандитов — и сели бы в тюрьму за превышение необходимой обороны. Полковник в отставке на утреннем выводе своей собаки мог бы в обоих случаях посмаковать событие.

А подлинная самодеятельность, такая, как во французском фильме «Набережная утренней зари», где рабочие без ведома властей сами вылавливают воров и сами их наказывают,— такая самодеятельность не была бы у нас обрублена как самовольство? Такой ход мысли и фильм такой — разве у нас возможны?

Но и это не всё! Есть ещё одна важная черта нашей общественной жизни, помогающая ворам и бандитам процветать,— *боязнь гласности.* Наши газеты заполнены никому не интересными сообщениями о производственных победах, но отчётов о судебных процессах, сообщений о преступлениях в них почти не найдёшь. (Ведь по Передовой Теории преступность порождается только наличием классов, классов же у нас нет, значит и преступлений нет, и потому нельзя писать о них в печати! не давать же материал американским газетам, что мы от них в преступности не отстали.) Если на Западе совершается убийство — портретами преступника облеплены стены домов, они смотрят со стоек баров, из окон трамваев, преступник чувствует себя загнанной крысой. Совершается наглое убийство у нас — пресса безмолвствует, портретов нет, убийца отъезжает за сто километров в другую область и живет там спокойно. И министру внутренних дел не придётся оправдываться в парламенте, почему преступник не найден: ведь о деле никто не знает, кроме жителей того городка. Найдут — хорошо, не найдут — тоже ладно. Убийца — не нарушитель государственной границы, не такой уж он опасный (для государства), чтоб объявлять всесоюзный розыск.

С преступностью — как с малярией: рапортовали однажды, что нет её больше,— и больше лечить от неё нельзя, и диагноза такого ставить нельзя.

Конечно, «закрыть дело» хочется и милиции и суду, но это ведёт к формальности, которая ещё больше на руку истинным убийцам и бандитам: в нераскрытом преступлении обвиняют кого-нибудь, первого попавшегося, а особенно охотно — *довешивают* несколько преступлений тому, за кем уже есть одно.— Стоит вспомнить дело Петра Кизилова («Известия», 11.12.59 и апреля 60) — дважды без всяких улик приговоренного к расстрелу (!) за Несовершённое им убийство, или дело Алексеенцева («Известия», 30.1.60), сходно. Если бы письмо адвоката Попова (по делу Кизилова) пришло не в «Известия», а в «Таймс», это кончилось бы сменой королевского суда или правительственным кризисом. А у нас через четыре месяца собрался обком (почему — обком? разве суд ему подвластен?) и, учитывая «молодость, неопытность» следователя (зачем же таким людям доверяют человеческие судьбы), «участие в Отечественной войне» (что-то н а м его не учитывали в своё время!),— кому записали выговор в учётную карточку, а кому погрозили пальцем. Главному же палачу Яковенко за применение п ы т к и (это уже после XX съезда!) ещё через полгода дали будто бы три года, но поскольку он — свой человек, действовал по инструкции, выполнял приказ — неужели же его заставят отбывать срок на самом деле? За что такая жестокость?.. А вот за адвоката Попова придётся приняться, чтобы выжить его из Белгорода: пусть знает блатной и всесоюзный принцип: тебя не [дол]бут — не подмахивай!

Так всякий, вступившийся за справедливость,— трижды, осьмижды раскается, что вступился. Так наказательня система оборачивается для блатных поощрительной, и они десятилетиями разрастались буйной плесенью на воле, в тюрьме и в лагере.

* * *

И всегда на всё есть освящающая высокая теория. Отнюдь не сами легковесные литераторы определили, что блатные — наши союзники по построению коммунизма. Это изложено в учебниках по советской исправительно-трудовой политике (были такие, издавались), в диссертациях и научных статьях по лагереведению, а деловее всего — в инструкци-

ях, на которых и были воспитаны лагерные чины. Это всё вытекает из Единственно Верного учения, объясняющего всю переливчатую жизнь человечества — классовой борьбою и ею одною.

Вот как это обосновывается. Профессиональные преступники никак не могут быть приравнены к элементам капиталистическим (то есть инженерам, студентам, агрономам и монашкам): вторые устойчиво-враждебны диктатуре пролетариата, первые — лишь (!) политически неустойчивы. (Профессиональный убийца лишь политически неустойчив!) Люмпен — не собственник, и поэтому не может он сойтись с классово-враждебными элементами, а охотнее сойдётся с пролетариатом (ждите!). Поэтому-то по официальной терминологии ГУЛага и названы они «социально-близкими». (С кем породнишься...) Поэтому инструкции повторяли и повторяли: оказывать доверие уголовникам-рецидивистам! Поэтому через КВЧ положено было настоятельно разъяснять уркачам единство их классовых интересов со всеми трудящимися, воспитывать в них «презрительно-враждебное отношение к кулакам и контрреволюционерам» (помните, у Иды Авербах: это он подучил тебя украсть! ты сам бы не украл!) и *«делать ставку* на эти настроения» (помните: разжигать классовую борьбу в лагерях?).

Завязавший * вор Г. Минаев в письме ко мне в «Литературной газете» (29.11.62): «Я даже гордился, что хоть и вор, но не изменник и предатель. При каждом удобном случае нам, ворам, старались дать понять, что мы для Родины всё-таки ещё не потерянные, хоть и блудные, но всё-таки сыновья. А вот «фашистам» нет места на земле.»

И ещё так рассуждалось в теории: надо изучать и использовать *лучшие свойства* блатных. Они любят романтику? — так «окружить приказы лагерного начальства ореолом романтики». Они стремятся к героизму? — дать им героизм работы! (Если возьмут...) Они азартны? — дать им азарт соревнования! (Знающим и лагерь и блатных просто трудно поверить, что это всё писали не слабоумные.) Они самолюбивы? они любят быть заметными? — удовлетворить же их самолюбие похвалами, отличиями! выдвигать их на руководящую работу! — а особенно *паханов,* чтобы использовать для лагеря их уже сложившийся авторитет среди блатных (так и написано в авербаховской монографии: авторитет паханов!).

Когда же стройная эта теория опускалась на лагерную землю, выходило вот что: самым заядлым матёрым блатнякам передавалась безотчётная власть на островах Архипелага, на лагучастках и лагпунктах,— власть над населением своей страны, над крестьянами, мещанами и интеллигенцией, власть, которой они не имели никогда в истории, никогда ни в одном государстве, о которой на воле они и помыслить не могли,— а теперь отдавали им всех прочих людей как рабов. Какой же бандит откажется от такой власти? *центровые воры,* верховые уркачи полностью владели лагучастками, они жили в отдельных «кабинках» или палатках со своими временными жёнами. (Или по произволу перебирая гладких баб из числа всех своих подданных, интеллигентные женщины из Пятьдесят Восьмой и молоденькие студентки разнообразили их меню. Чав-

* *Завязать* (воровское) — с согласия воровского мира порвать с ним, уйти во фраерскую жизнь.

даров был свидетелем в Норильлаге, как шпаниха предлагала своему блатному муженьку: «Колхозничкой шестнадцатилетней хочешь угощу?» То была крестьянская девочка, попавшая на Север на 10 лет за один килограмм зерна. Девочка вздумала упираться, шпаниха сломила её быстро: «Зарежу! Я — что, хуже тебя? Я ж под него ложусь!») У них были *шестёрки* — лакеи из работяг, выносившие за ними горшки. Им отдельно готовили из того немногого мяса и доброго жира, который отпускался на общий котёл. Уркачи рангом поменьше состояли нарядчиками, помпобытами, комендантами, утром они становились по двое с дрынами у выхода из двухсотместной палатки и командовали: «Вы́-ходи без последнего!» Шпана помельче использовалась для битья отказчиков — то есть тех, кто не имел сил тащиться на работу. (Начальник полуострова Таймыр подъезжал к разводу на легковой и любовался, как урки бьют Пятьдесят Восьмую.) Наконец, урки, умевшие *чирикать,* мыли шею и назначались... воспитателями. Они речи произносили, поучали Пятьдесят Восьмую, как надо жить для труда, сами жили на ворованном и получали досрочки. На Беломорканале такая морда — социально-близкий воспитатель, ничего не понимая в строительном деле, мог отменять строительные распоряжения социально-чуждого прораба.

И это была не только теория, перешедшая в практику, но и гармония повседневности. Так было лучше для блатных. Так было спокойнее для начальства: не натруживать рук (о битьё) и глотки, не вникать в подробности и даже в зону не являться. И для самого угнетения так было гораздо лучше: блатные осуществляли его более нагло, более зверски и совершенно не боясь никакой ответственности перед законом.

Но и там, где воров не ставили властью, им всё по той же классовой теории поблажали довольно. Если блатари выходили за зону — это была наибольшая жертва, о которой можно было их просить. На производстве они могли сколько угодно лежать, курить, рассказывать свои блатные сказки (о победах, о побегах, о геройстве) и греться летом на солнышке, а зимою у костра. Их костров конвой никогда не трогал, костры Пятьдесят Восьмой разбрасывал и затаптывал. А *кубики* (леса, земли, угля) потом приписывались им от Пятьдесят же Восьмой. И ещё даже возят блатных на слёты ударников и вообще слёты рецидивистов (Дмитлаг, Беломорканал).

Привычку жить за счёт чужого кубажа вор сохраняет и после освобождения, хотя на первый взгляд это и противоречит его врастанию в социализм. В 1951 на Оймяконе (Усть-Нера) освободился вор Крохалёв и поступил забойщиком на ту же шахту. Он и молотка в руки не брал, горный же мастер начислял ему рекордную выработку за счёт заключённых. Крохалёв получал в месяц 8—9 тысяч, на тысячу приносил заключённым пожрать, те были и этому очень рады и молчали. Бригадир заключённый Милючихин попробовал в 1953 этот порядок сломать. Вольные воры его порезали, его же обвинили в грабеже, он был судим и обновил свои 20 лет.

Это примечание да не будет понято в поправку марксистского положения, что люмпен — не собственник. Конечно, не собственник! На свои 8 тысяч Крохалёв же не строил особняка: он их проигрывал в карты, пропивал и тратил на баб.

Одна блатнячка — Береговая, попала в славные летописи Волгоканала. Она была бичом в каждом домзаке, куда её сажали, хулиганила в каждом отделении милиции. Если когда по капризу и работала, то всё сделанное уничтожала. С ожерельем судимостей её прислали в июле

1933 в Дмитлаг. Дальше идёт глава легенд: она пошла в «Индию» и с удивлением (только вот это удивление и достоверно) не услышала там мата и не увидела картёжной игры. Ей будто бы объяснили, что блатные тут увлекаются трудом. И она «сразу же» пошла на земляные работы и даже стала «хорошо» работать (читай: записывали ей чужие кубики). Дальше идёт глава истины: в октябре (когда стало холодно) пошла к врачу и без болезни попросила (с ножом в рукаве?) несколько дней отгулять. Врач охотно (! у него ж всегда много вакансий для больных) согласился. А нарядчицей была старая подружка Береговой — Полякова, и уже от себя добавила ей две недели пофилонить, ставя ей ложные выходы (то есть, кубики на неё вычитывались опять-таки с работяг). И вот тут-то, заглядевшись на завидную жизнь нарядчицы, Береговая тоже захотела *ссучиться*. В тот день, когда Полякова разбудила её идти на развод, Береговая заявила, что не пойдёт копать землю, пока не разоблачит махинации Поляковой с выходами, выработкой и пайками (чувство благодарности её не очень тяготило). Добилась вызова к оперу (блатные не боятся оперов, второй срок им не грозит, а попробовала бы вот так не выйти каэрка!) — и сразу стала бригадиром отстающей мужской бригады (видимо взялась зубы дробить этим доходягам),— потом — нарядчицей вместо Поляковой, потом — воспитательницей женского барака (матерщинница, картёжница и воровка!), затем и — начальником строительного отряда (то есть распоряжалась уже и инженерами). И на всех красных досках Дмитлага красовалась эта зубастая *сука* в кожанке и с полевой сумкой (сдрюченных с кого-то). Её руки умеют бить мужчин, глаза у неё ведьмины. Её-то и прославляет Ида Леопольдовна.

Так легки пути блатных в лагере: один шумок, одно предательство, дальше бей и топчи.

Мне возразят, что только *суки* идут занимать должности, а «честные воры» хранят воровской закон. А я сколько не смотрел на тех и других, не замечал, чтобы одно отребье было благороднее другого. Воры выламывали у эстонцев золотые зубы кочергой. Воры (в Краслаге, 1941 год) топили литовцев в уборной за отказ отдать им посылку. Воры грабили осуждённых на смерть. Воры шутя убивают первого попавшегося однокамерника, чтобы только затеять новое следствие и суд, пересидеть зиму в тепле или уйти из тяжёлого лагеря, куда уже попали. Что ж говорить о такой мелочи, как раздеть-разуть кого-то на морозе? Что говорить об отнятых пайках?

Нет уж, ни от каменя плода, ни от вора добра.

Теоретики ГУЛага возмущались: «кулаки» (в лагере) даже не считают воров настоящими людьми (и тем, мол, выдают свою звериную сущность).

А как же принять их за людей, если они сердце твоё вынимают и сосут? Вся их «романтическая вольница» есть вольница вурдалаков.

Люди образованного круга, но кто сам не встречался с блатными на узкой тропке, возражают против такой беспощадной оценки воровского мира: не тайная ли любовь к собственности движет теми, кого воры так раздражают? Я настаиваю на своём выражении: вурдалаки, сосущие твоё сердце. Они оскверняют всё кряду, что для нас — естественный круг человечности.— Но неужели это так безнадёжно? Ведь не прирождённые же это свойства воров! А где — добрые стороны их души? — Не знаю. Вероятно, убиты, угнетены воровским *законом*, по которому мы, все остальные,— не люди. Мы уже писали выше о пороге

злодейства. Очевидно, пропитавшись воровским законом, блатной необратимо переходит некий нравственный порог. Ещё возражают: да ведь вы видели только ворячью мелкоту. Главные-то подлинные воры, головка воровского мира, все расстреляны в 37-м году. Действительно, воров 20-х годов я не видел. Но не хватает у меня воображения представить их нравственными личностями.

* * *

Но довольно! Скажем и слово в защиту блатных. У них-то есть «своеобразный кодекс» и своеобразное понятие о чести. Но не в том, что они патриоты, как хотелось бы нашим администраторам и литераторам, а в том, что они совершенно последовательные материалисты и последовательные пираты. И хотя за ними так ухаживала диктатура пролетариата — не уважали они её ни минуты.

Это племя, пришедшее на землю — ж и т ь! А так как времени на тюрьму у них приходится почти столько же, сколько и на волю, то они и в тюрьме хотят срывать цветы жизни, и какое им дело — для чего эта тюрьма задумана и как страдают другие тут рядом. Они — непокорны, и вот пользуются плодами этой непокорности — и почему им заботиться о тех, кто гнёт голову и умирает рабом? Им нужно есть — и они отнимают всё, что видят съедобное и вкусное. Им нужно пить — и они за водку продают конвою вещи, отобранные у соседей. Им нужно мягко спать — и при их мужественном виде считается у них вполне почётным возить с собой подушку и ватное одеяло или перину (тем более, что там хорошо прячется нож). Они любят лучи благодатного солнца, и если не могут выехать на черноморский курорт, то загорают на крышах строительств, на каменных карьерах, у входа в шахту (под землю пусть спускаются кто дурней). У них великолепно откормленные мускулы, собираемые в шары. Бронзовую кожу свою они отдают под татуировку, и так постоянно удовлетворена их художественная, эротическая и даже нравственная потребность: на грудях, на животах, на спинах друг у друга они разглядывают могучих орлов, присевших на скалу или летящих в небе; *балдоху* (солнце) с лучами во все стороны; женщин и мужчин в слиянии; и отдельные органы их наслаждений; и вдруг около сердца — Ленина или Сталина, или даже обоих (но это стоит ровно столько, сколько и крестик на шее у блатного). Иногда посмеются забавному кочегару, закидывающему уголь в самую задницу, или обезьяне, предавшейся онанизму. И прочтут друг на друге хотя и знакомые, но дорогие в своём повторении надписи: «Всех дешёвок в рот ... !» (Звучит победно, как «Я — царь Ассаргадон!») Или на животе у блатной девчёнки: «Умру за горячую ... !» И даже скромную некрупную мораль на руке, всадившей уже десяток ножей под рёбра: «Помни слова матери!» или: «Я помню ласки, я помню мать.» (У блатных — культ матери, но формальный, без выполнения её заветов. Среди них популярно есенинское «Письмо матери» и вослед весь Есенин, что попроще. Некоторые стихи его, это «Письмо», «Вечер чёрные брови насопил», они поют.) — Для укрупнения чувств в их скоробегущей жизни они любят наркотики. Доступней всех наркотиков — анаша (из конопли), она же «плантчик», заворачиваемая в закурку. С благодарностью они и об этом поют:

Ах, плантчик, ты плантчик, ты божия травка,
Отрада для всех ширмачей. *

Да, не признают они на земле института собственности и этим действительно чужды буржуа и тем коммунистам, которые имеют дачи и автомобили. Всё, что блатные встречают на жизненном пути, они берут как своё (если это не слишком опасно). Даже когда у них всего вдоволь, они тянутся взять чужое, потому что приедчив вору некраденный кусок. Отобранное из одёжки они носят, пока не надоест, пока внове, а вскоре проигрывают в карты. Карточная игра ночами напролёт приносит им самые сильные ощущения, и тут они далеко превзошли русских дворян прошлых веков. Они могут играть на *глаз* (и у проигравшего тут же вырывают глаз), играть *под себя,* то есть проигрывать себя для неестественного употребления. Проигравшись, объявляют на барже или в бараке шмон, ещё находят что-нибудь у фраеров, и игра продолжается.

Затем, блатные не любят трудиться, но почему они должны любить труд, если кормятся, поятся и одеваются без него? Конечно, это мешает им сблизиться с рабочим классом (но так ли уж любит трудиться и рабочий класс? не из-за горьких ли денег он напрягается, не имея других путей заработать?). Блатные не только не могут «увлечься азартом труда», но труд им отвратителен, и они умеют это театрально выразить. Например, попав на сельхозкомандировку и вынужденные выйти за зону сгребать вику с овсом на сено, они не просто сядут отдыхать, но соберут все грабли и вилы в кучу, подожгут и у этого костра греются. (Социально-чуждый десятник! — принимай решение...)

Тщетно пытались заставить их воевать за Родину, у них родина — вся земля. Мобилизованные урки ехали в воинских эшелонах и напевали, раскачиваясь: «Наше дело правое! — Наше дело левое! — Почему все драпают?— ды-да почему?» Потом воровали что-нибудь, арестовывались и родным этапом возвращались в тыловую тюрьму. Даже когда уцелевшие троцкисты подавали заявления из лагерей на фронт, урки не подавали. Но когда действующая армия стала переваливать в Европу и запахло трофеями,— они надели воинское обмундирование и поехали грабить вослед за армией (они называли это шутя «Пятый Украинский Фронт»).

Но! — и в этом они гораздо принципиальнее Пятьдесят Восьмой! — никакой Женька Жоголь или Васька-Кишкеня́ с завёрнутыми голенищами, однощёкою гримасою уважительно выговаривающий священное слово «вор»,— никогда не поможет укреплять тюрьму: врывать столбы, натягивать колючку, вскапывать предзонник, ремонтировать вахту, чинить освещение зоны. В этом — честь блатаря. Тюрьма создана против его свободы — и он не может работать на тюрьму! (Впрочем, он не рискует за этот отказ получить 58-ю, а бедному врагу народа сразу бы припаяли контрреволюционный саботаж. По безнаказанности блатные и смелы, а кого медведь драл, тот и пня боится.)

Впрочем, в иных местах, в иное время достаётся от рассердившегося начальства и некоторым блатным. Вот рассказ американского итальянца Томаса Сговио. (Родился в 1916 в Баффало, успел побывать в американском комсомоле. В 1933 его отец за коммунистическую деятельность

* Ширмач — карманщик.

был выслан из США, уехал в СССР, семья последовала за ним. Там жили как политэмигранты на содержании МОПРа, многие тысячи было таких в СССР, в ожидании, что понадобятся для захвата своих стран. Но с 1937 Сталин начал мести их подчистую. Посадили Сговио-отца, в 1938 арестовали и Томаса в Охотном ряду — получил СОЭ, социально-опасный элемент, 5 лет,— и быстро, в августе того же года, уже был на Колыме.) Чуть побыл на ОЛПе «Разведчик», был доходной, по-русски плохо говоря, плохо понимая,— и не понял, за что в столовой его избил молодой сильный блатарь. Кровоточа носом, лёжа на полу, Сговио увидел, что блатарь вытащил из-за голенища сапога длинный нож — ещё слово сказать и заколет. Остался лежать на полу, потом долго плакал от горя и бессилия. Тот блатной работал на блатной же и работёнке — водовозом. Но через несколько месяцев в разгар зимы его сняли с водовоза и велели идти на общие работы. Он отказался (обычное поведение блатного). Его посадили в изолятор. На разводе поволокли к вахте перед всеми, требовали стать в строй бригады. Блатарь плюнул в лицо начальнику ОЛПа и кричал на надзор, на охрану: «Суки! Лягавые! Фашисты!» Охрана раздела его (был сильный мороз), оставили в одних кальсонах, привязали к саням — и так протащили через ворота. А он всё барахтался, поносил начальника и охрану. Поволокли дальше — замёрз. (Но вот Сговио: «Что он меня чуть не зарезал — это ничто. Он для меня герой, и я люблю его — за то, что он ругал начальство.»)

Увидеть блатаря с газетой — совершенно невозможно, блатными твёрдо установлено, что политика — щебет, не относящийся к подлинной жизни. Книг блатные тоже не читают, очень редко. Но они любят литературу устную, и тот рассказчик, который после отбоя им бесконечно *тискает ро́маны,* всегда будет сыт от их добычи и в почёте, как все сказочники и певцы у примитивных народов. Ро́маны эти — фантастическое и довольно однообразное смешение дешёвой бульварщины из великосветской (обязательно великосветской) жизни, где мелькают титулы виконтов, графов, маркизов,— с собственными блатными легендами, самовозвеличением, блатным жаргоном и блатными представлениями о роскошной жизни, которой герой всегда в конце добивается: графиня ложится в его «койку», курит он только «Казбек», имеет «луковицу» (часы), а его «прохоря́» (ботинки) начищены до блеска.

Николай Погодин получил командировку на Беломорканал и, вероятно, проел там немало казны,— а ничего в блатных не разглядел, ничего не понял, обо всём солгал. Так как в нашей литературе 40 лет ничего о лагерях не было, кроме его пьесы (и фильма потом), то приходится тут на неё отозваться.

Убогость инженеров-каэров, смотрящих в рот своим воспитателям и так учащихся жить, даже не требует отзыва. Но — о его *аристократах,* о блатных. Погодин умудрился не заметить в них даже той простой черты, что они отнимают по праву сильного, а не тайно воруют из кармана. Он их всех поголовно изобразил мелкими карманными ворами н до надоедания, больше дюжины раз, обыгрывает это в пьесе, и у него урки воруют даже друг у друга (совершенный вздор: воруют только у фраеров, *и всё сдаётся пахану*). Так же не понял Погодин (или не захотел понять) подлинных стимулов лагерной работы — голода, битья, бригадной круговой поруки. Ухватился же за одно: за «социальную близость» блатных (зто подсказали ему в Управлеиии каиала в Медвежке, а то ещё раиьше в Москве, Максим

Горький),— и бросился он показывать «перековку» блатных. И получился пасквиль на блатных, от которого даже мне хочется их защитить.

Они гораздо умней, чем их изображает Погодин (и Шейнин), и на дешёвую «перековку» их не купишь, просто потому, что мировоззрение их ближе к жизни, чем у тюремщиков, цельнее и не содержит никаких элементов идеализма — а все заклинания, чтоб голодные люди трудились и умирали в труде, есть чистый идеализм. И если в разговоре с гражданином начальником, или корреспондентом из Москвы, или на дурацком митинге у них слеза на глазах и голос дрожит — то это рассчитанная актёрская игра, чтобы получить льготу или скидку срока,— а внутри урка смеётся в этот момент! Урки прекрасно понимают забавную шутку (а приехавшие столичные писатели — не понимают).— Это невозможно, чтобы *сука* Митя вошёл безоружный и без надзирателя в камеру РУРа,— а местный пахан Костя уполз бы от него под нары! Костя конечно приготовил нож, а если его нет — то бросится Митю душить, и один из них будет мёртв. Вот тут наоборот — не шутка, а Погодин лепит пошлую шутку.— Ужасающая фальшь с «перевоспитанием», и переход двух воров в стрелки (это бытовики могут сделать, но не блатные). И невозможное для трезвых циничных урок соревнование между бригадами (разве только для смеха над вольняшками). И самая раздирающе-фальшивая нота: блатные просят дать им правила создания коммуны!

Нельзя оглупить и оболгать блатных больше! Блатные просят правил! Блатные прекрасно знают свои правила — от первого воровства и до последнего удара ножом в шею. И когда можно бить лежачего. И когда нападать пятерым на одного. И когда на спящего. И для коммуны *своей* — у них есть правила ещё пораньше «Коммунистического манифеста»!

Их коммуна, а точней — их мир, есть отдельный мир в нашем мире, и суровые законы, которые столетиями там существуют для крепости того мира, никак не зависят от нашего «фраерского» законодательства и даже от съездов Партии. У них свои законы старшинства, по которым их паханы не избираются вовсе, но входя в камеру или в зону, уже несут на себе державную корону и сразу признаны за главного. Эти паханы бывают и с сильным интеллектом, всегда же с ясным пониманием блатняцкого мировоззрения и с довольным количеством убийств и грабежей за спиной. У блатных свои суды («правилки»), основанные на кодексе воровской «чести» и традиции. Приговоры судов беспощадны и проводятся неотклонимо, даже если осуждённый недоступен и совсем в другой зоне. (Виды казни необычны: могут по очереди все прыгать с верхних нар на лежащего на полу и так разбить ему грудную клетку).

И что значит само их слово «фраерский»? Фраерский значит — общечеловеческий, такой, как у всех нормальных людей. Именно этот общечеловеческий мир, наш мир, с его моралью, привычками жизни и взаимным обращением, наиболее ненавистен блатным, наиболее высмеивается ими, наиболее противопоставляется своему антисоциальному антиобщественному *кублу́*.

Нет, не «перевоспитание» стало ломать хребет блатному миру («перевоспитание» только помогало им поскорей вернуться к новым грабежам), а когда в 50-х годах, махнув рукой на классовую теорию и социальную близость, Сталин велел совать блатных в изоляторы, в одиночные отсидочные камеры и даже строить для них новые тюрьмы (*крытки* — назвали их воры).

В этих крытках или закрытках воры быстро никли, хирели и доходили. Потому что паразит не может жить в одиночестве. Он должен жить на ком-нибудь, обвиваясь.

Глава 17

МАЛОЛЕТКИ

Много оскалов у Архипелага, много харь. Ни с какой стороны, подъезжая к нему, не залюбуешься. Но может быть мерзее всего он с той пасти, с которой заглатывает *малолеток*.

Малолетки — это совсем не те беспризорники в серых лохмотьях, снующие, ворующие и греющиеся у котлов, без которых представить себе нельзя городскую жизнь 20-х годов. В колонии несовершеннолетних преступников (при Наркомпросе такая была уже в 1920; интересно бы узнать, как с несовершеннолетними преступниками обстояло до революции), в труддома для несовершеннолетних (существовали с 1921 по 1930, имели решётки, запоры и надзор, так что в истрёпанной буржуазной терминологии их можно было бы назвать и тюрьмами), а ещё в «трудкоммуны ОГПУ» с 1924 года — беспризорников брали с улиц, не от семей. Их осиротила гражданская война, голод её, неустройство, расстрелы родителей, гибель их на фронтах, и тогда юстиция действительно пыталась вернуть этих детей в общую жизнь, оторвав от воровского уличного обучения. В трудкоммунах начато было обучение фабрично-заводское, по условиям тех безработных лет это было льготное устройство, и многие парни учились охотно. С 1930 в системе Наркомюста были созданы школы ФЗУ особого типа — для несовершеннолетних, отбывающих срок. Юные преступники должны были работать от 4 до 6 часов в день, получать за это зарплату по всесоюзному КЗОТу, а остальное время дня учиться и веселиться. Может быть на этом пути дело бы и наладилось.

А откуда взялись юные преступники? От статьи 12 Уголовного Кодекса 1926 года, разрешавшей за кражу, насилие, увечья и убийства судить детей с 12-летнего возраста (58-я статья при этом тоже подразумевалась), но судить умеренно, не «на всю катушку», как взрослых. Это уже была первая лазейка на Архипелаг для будущих малолеток — но ещё не ворота.

Не пропустим такой интересной цифры: в 1927 заключённых в возрасте от 16 (а уж более молодых и не считают) до 24 лет было 48% от всех заключённых. * Это так можно понять: что почти половину всего Архипелага в 1927 году составляла молодёжь, которую Октябрьская революция застала в возрасте от 6 до 14 лет. Эти-то мальчики и девочки через десять лет победившей революции оказались в тюрьме, да ещё составив половину её населения! Это плохо согласуется с борьбой против пережитков буржуазного сознания, доставшихся нам от старого общества, но цифры есть цифры. Они показывают, что Архипелаг никогда не был беден юностью.

Но *насколько* быть ему юным — решилось в 1935 году. В том году на податливой глине Истории ещё раз вмял и отпечатал свой палец Великий Злодей. Среди таких своих деяний, как разгром Ленинграда и разгром собственной партии, он не упустил вспомнить о детях — о детях,

---

* Сборник «От тюрем...», стр. 333.

которых он так любил, Лучшим Другом которых был и потому с ними фотографировался. Не видя, как иначе обуздать этих злокозненных озорников, этих кухаркиных детей, всё гуще роящихся в стране, всё наглей нарушающих социалистическую законность, испомыслил он за благо: этих детей с двенадцатилетнего возраста (уже и его любимая дочь подходила к тому рубежу, и он осязаемо мог видеть этот возраст) судить *на всю катушку* кодекса! То есть, «с применением всех мер наказания», пояснил Указ ЦИК и СНК от 7.4.35. (То есть, и расстрела тоже.)

Неграмотные, мы мало вникали тогда в Указы. Мы всё больше смотрели на портреты Сталина с черноволосой девочкой на руках... Тем меньше читали их сами двенадцатилетние ребятишки. А Указы шли своей чередой. 10.12.40 — судить с 12-летнего возраста так же и за «подкладывание на рельсы разных предметов» (ну, тренировка молодых диверсантов). Указ 31.5.41 — за все остальные виды преступлений, не вошедшие в статью 12,— судить с 14 лет!

А тут небольшая помеха: началась Отечественная война. Но Закон есть Закон! И 7 июля 1941 года — через четыре дня после панической речи Сталина, в дни, когда немецкие танки рвались к Ленинграду, Смоленску и Киеву,— состоялся ещё один Указ Президиума Верховного Совета, трудно сказать чем для нас сейчас более интересный: бестрепетным ли своим академизмом, показывающим, какие важные вопросы решала власть в те пылающие дни, или самим содержанием. Дело в том, что прокурор СССР (Вышинский?) пожаловался Верховному Совету на Верховный Суд (а значит, и Милостивец с этим делом знакомился): что неправильно применяется судами Указ 35-го года: детишек-то судят только тогда, когда они совершили преступление *умышленно*. Но ведь это же недопустимая мягкотелость! И вот в огне войны разъясняет Президиум: такое истолкование не соответствует тексту закона, оно вводит непредусмотренные законом ограничения!.. И в согласии с прокурором поясняется Верхсуду: судить детей с применением всех мер наказания (то есть «на всю катушку») так же и в тех случаях, когда они совершат преступления не умышленно, а *по неосторожности!*

Вот это так! Может быть и во всей мировой истории никто ещё не приблизился к такому коренному решению детского вопроса! С 12 лет, за неосторожность — и вплоть до расстрела!

В марте 1972 вся Англия была потрясена, что в Турции английский 14-летний подросток за торговлю *крупными* партиями наркотиков приговерён к 6 годам — да как же это можно?!! А где же были сердца и глаза ваших левых лидеров (да и ваших юристов), когда читали сталинские законы о малолетках?

«Детей?! Зачем же вы уничтожили д е т е й?» — ужасался на подсудимых, изумлялся в своей невинности член Нюрнбергского трибунала советский судья Никитченко, случайно совсем не знавший советских внутренних законов (забыл, как сам судил). С тем более честным и умным видом рядом с ним сидели английский, французский и американский судьи.

Вот только когда были закрыты все норы для жадных мышей! Вот только когда были обережены колхозные колоски! Теперь-то должна была пополняться и пополняться житница, расцветать жизнь, а порочные от рождения дети становиться на долгую стезю исправления.

И не дрогнул никто из партийных прокуроров, имевших таких же детей своих! — они незатруднённо ставили визы на арест. И не дрогнул никто из партийных судей! — они со светлыми очами приговаривали детишек к трём, пяти, восьми и десяти годам общих лагерей!

И за стрижку колосьев этим крохам не давали меньше 8 лет!

И за карман картошки — один карман картошки в детских брючках! — тоже восемь!

Огурцы не так ценились. За десяток огурцов с колхозного огорода Саша Блохин получил 5 лет.

А голодная 14-летняя девочка Лида в Чингирлауском райцентре Кустанайской области пошла вдоль улицы собирать вместе с пылью узкую струйку зерна, просыпавшегося с грузовика (и всё равно обречённого пропасть). Так её осудили только на три года по тому смягчающему обстоятельству, что она расхищала социалистическую собственность не прямо с поля и не из амбара. А может то ещё смягчило судей, что в этом (1948) году было-таки разъяснение Верхсуда: за хищения с характером детского озорства (мелкая кража яблок в саду) — не судить. По аналогии суд и вывел, что можно чуток помягче. (А мы выведем для себя, что с 1935 по 1948 за яблоки — судили.)

И очень многих судили за побег из школ ФЗО. Правда только 6 месяцев за это давали. (В лагере их называли в шутку «смертниками». Но шутка не шутка, а вот из дальневосточного лагеря картинка со «смертниками»: им поручен вывоз дерьма из уборной. Телега с двумя огромными колёсами, на ней огромная бочка, полная зловонной жижи. «Смертники» впрягаются по много в оглобли и с боков и сзади толкают (на них хлюпает при качаниях бочки), а краснорожие *суки* в шевиотовых костюмах хохочут и палкой погоняют ребятишек.— На корабельном же этапе на Сахалин из Владивостока (1949) суки под угрозой ножа *использовали* этих ребятишек.— Так что и шести месяцев бывает иногда довольно.

И вот когда двенадцатилетние переступали пороги тюремных взрослых камер, уравненные со взрослыми как полноправные граждане, уравненные в дичайших сроках, почти равных их всей несознательной жизни, уравненные в хлебной пайке, в миске баланды, в месте на нарах,— вот тогда старый термин коммунистического перевоспитания «несовершеннолетние» как-то обесценился, оплыл в контурах, стал неясен — и сам ГУЛАГ родил звонкое нахальное слово: *малолетка!* И с гордым и горьким выражением сами о себе стали повторять его эти горькие граждане — ещё не граждане страны, но уже граждане Архипелага.

Так рано и так странно началось их совершеннолетие — с переступа через тюремный порог.

На двенадцати- и четырнадцатилетние головки обрушился уклад, которого не выдерживали устоявшиеся мужественные люди. Но молодые по законам молодой жизни не должны были этим укладом расплющиться, а — врасти и приспособиться. Как в раннем возрасте без затруднения усваиваются новые языки, новые обычаи — так малолетки *с ходу* переняли и язык Архипелага,— а это язык блатных, и философию Архипелага,— а чья ж это философия?

Они взяли для себя из этой жизни всю самую бесчеловечную суть, весь ядовитый гниющий сок — и так привычно, будто жидкость эту, эту, а не молоко, сосали они ещё младенцами.

Они так быстро врастали в лагерную жизнь — не за недели даже, а за дни! — будто и не удивились ей, будто эта жизнь и не была им вовсе нова, а была естественным продолжением вчерашней вольной жизни.

Они и на воле росли не в охлопочках, не в бархате: не дети властных и обеспеченных родителей стригли колосья, набивали карманы картошкой, опаздывали к заводской проходной и бежали из ФЗО. Малолетки — это дети трудящихся. Они и на воле хорошо понимали, что жизнь строится на несправедливости. Но не всё там было обнажено до последней крайности, иное в благопристойных одеждах, иное смягчено добрым словом матери. На Архипелаге же малолетки увидели мир, каким представляется он глазам четвероногих: только сила есть правота! только хищник имеет право жить! Так видим мы Архипелаг и во взрослом возрасте, но мы способны противопоставить ему наш опыт, наши размышления, наши идеалы и прочтённое нами до того дня. Дети же воспринимают Архипелаг с божественной восприимчивостью детства. И в несколько дней дети становятся тут зверьми! — да зверьми худшими, не имеющими этических представлений (глядя в покойные огромные глаза лошади или лаская прижатые уши виноватой собаки, как откажешь им в этике?). Малолетка усваивает: если есть зубы слабей твоих — вырывай из них кусок, он — твой!

Есть два основных вида содержания малолеток на Архипелаге: отдельными детскими колониями (главным образом младших малолеток, кому ещё не исполнилось пятнадцати лет) и (старших малолеток) — на смешанных лагпунктах, чаще с инвалидами и женщинами.

Оба эти способа равно достигают развития животной злобности. И ни один из них не освобождает малолеток от воспитания в духе воровских правил.

Вот Юра Ермолов. Он рассказывает, что ещё в 12 лет (в 1942 году) видел вокруг себя много мошенничества, воровства, спекуляции, и сам для себя так рассудил жизнь: не крадёт и не обманывает только тот, кто боится. А я — не хочу ничего бояться! И, значит, буду красть и обманывать и жить хорошо. Впрочем, на время его жизнь пошла всё-таки иначе. Его увлекло школьное воспитание в духе светлых примеров. Однако, раскусив Любимого Отца (лауреаты и министры говорят, что это было непосильно), он в 14 лет написал листовку: «Долой Сталина! Да здравствует Ленин!» Тут-то его и схватили, били, дали 58-10 и посадили с малолетками-урками. И Юра Ермолов быстро усвоил воровской закон. Спираль его существования стремительно наворачивала витки — и уже в 14 лет он выполнил своё «отрицание отрицания»: вернулся к пониманию воровства как высшего и лучшего в бытии.

И что ж увидел он в детской колонии? «Ещё больше несправедливостей, чем на воле. Начальство и надзиратели живут за счёт государства, прикрываясь воспитательной системой. Часть пайка малолеток уходит с кухни в утробы воспитателей. Малолеток бьют сапогами, держат в страхе, чтобы были молчаливыми и послушными.» (Тут надо пояснить, что паёк младших малолеток — это не обычный лагерный паёк. Осудив малолеток на долгие годы, правительство не перестало быть гуманным, оно не забыло, что эти самые дети — будущие хозяева коммунизма. Поэтому им добавлено в паёк и молоко, и сливочное масло, и настоящее мясо. Как же *воспитателям* удержаться от соблазна запустить черпак в котёл малолеток? И как заставить малолеток молчать, если не сапогами? Может быть из выросших этих малолеток кто-нибудь расскажет нам ещё историю помрачнее «Оливера Твиста»?)

Самый простой ответ на одолевающие несправедливости — твори несправедлевости и сам! Это — самый лёгкий вывод, и он теперь надолго (а то и навсегда) станет жизненным правилом малолеток.

Но вот интересно! — вступая в борьбу жестокого мира, малолетки не борются друг против друга. Друг во друге — не видят они врагов! Они вступают в эту борьбу — коллективом, дружиной! Ростки социализма? внушение воспитателей? — ах, не бормочите, лепетуны! Это снисходит на них закон воровского мира. Ведь воры — дружны, ведь у воров — дисциплина и паханы. А малолетки — это воровские пионеры, они усваивают заветы старших.

О, конечно, их усиленно воспитывают! Приезжают воспитатели — три звёздочки, четыре звёздочки — читают им лекции о Великой Отечественной войне, о бессмертном подвиге нашего народа, о фашистских зверствах, о солнечной сталинской заботе о детях, о том, каков должен быть советский человек. Но Великое Учение об обществе, построенное на одной экономике, никогда не знавшее психологии, не знает и того простого психологического закона, что всякое повторение пять и шесть раз — уже вызывает недоверие, а свыше того — отвращение. Малолеткам отвратительно то, что когда-то втолковывали им учителя, а сейчас ворующие с кухни воспитатели. (И даже патриотическая речь офицера из воинской части: «Ребята! Вам доверяется пороть парашюты. Это драгоценный шёлк, имущество Родины, старайтесь его беречь!» — не имеет успеха. Гонясь за перевыполнением и дополнительными кашами, малолетки изрезают весь шёлк в негодные клочья.— Кривощёково.) И изо всех этих семян только семена ненависти — вражда к Пятьдесят Восьмой, превосходство над врагами народа — усваиваются ими.

Это понадобится им дальше, в общих лагерях. А пока среди них нет врагов народа. Юра Ермолов — такой же свой малолетка, он давно сменил глупый политический закон на мудрый воровской. Никто не может не перевариться в этой каше! Никакой мальчик не может остаться особой личностью — он будет растоптан, разорван, разъят, если сейчас же не заявит себя воровским пионером. И в с е принимают эту неизбежную присягу... (Читатель! Подставьте туда — своих детей...)

В детских колониях — кто враг малолеток? Надзиратели и воспитатели. С ними и борьба!

Малолетки отлично знают свою силу. Первая их сила — сплочённость, вторая — безнаказанность. Это извне они втолкнуты сюда по взрослому закону, здесь же, на Архипелаге, их охраняет священное табу. «Молоко, начальничек! Отдай молоко!» — вопят они и барабанят в двери камеры, ломают нары, бьют стёкла — всё, что было бы названо у взрослых вооружённым восстанием или экономическим саботажем. А малолеткам — ничто не грозит! Им сейчас принесут молоко!

Вот ведут под строгим конвоем колонну малолеток по городу, кажется — даже стыдно так серьёзно охранять малышей. А не тут-то было! Они сговорились — свист!! — и кто хочет, бегут в разные стороны! Что делать конвою? Стрелять? В кого именно? Да можно ли в детей?.. На том и кончились их тюремные сроки! Сразу лет сто пятьдесят убежало от государства. Не нравится быть смешным? — не арестовывай детей!

Будущий романист (тот, кто детство провёл среди малолеток) опишет нам множество затей малолеток, как они озоровали в колониях, мстили и гадили воспитателям. При кажущейся строгости их сроков и внутреннего режима, у малолеток из безнаказанности развивается большая дерзость.

Вот один из их хвалебных рассказов о себе. Зная обычный образ действий малолеток, я вполне ему верю. К медицинской сестре в колонии прибегают взволнованные испуганные ребятишки, зовут её к тяжело заболевшему товарищу. Забыв о предосторожности, она быстро отправляется с ними в их большую — человек на сорок — камеру. И тут начинается муравьиная работа! — одни баррикадируют дверь и держат оборону, другие десятком рук срывают с сестры всё надетое, валят её, те садятся ей на руки, те на ноги, и теперь, кто во что горазд, насилуют её, целуют, кусают. И стрелять в них не положено, и никто её не отобьёт, пока сами не отпустят, поруганную и плачущую.

Интерес к женскому телу развивается у мальчиков вообще рано, а в камерах малолеток он ещё сильно раскаляется красочными рассказами и похвальбою. И они не упускают случая разрядиться. Вот эпизод. Среди бела дня на виду у всех сидят в кривощёковской зоне (1-й лагпункт) четверо малолеток и разговаривают с малолеткой же Любой из переплётного цеха. Она в чём-то резко им возражает. Тогда мальчики вскакивают и высоко вздёргивают её за ноги. Она оказывается в беспомощном положении: руками опираясь о землю, и юбка спадает ей на голову. Мальчики держат её так и свободными руками ласкают. Потом опускают не грубо. Она ударяет их? убегает от них? Нет, садится по-прежнему и продолжает спорить.

Это уже — малолетки лет по шестнадцати, это — зона взрослая, смешанная. (Это — в ней тот самый барак на 500 женщин, где все соединения происходят без завешиваний и куда малолетки с важностью ходят как мужчины.)

В детских колониях малолетки трудятся четыре часа, а четыре должны учиться (впрочем, вся эта учёба — тухта). С переводом во взрослый лагерь они получают 10-часовой рабочий день, только уменьшенные трудовые нормы, а нормы питания — те же, что у взрослых. Их переводят сюда лет шестнадцати, но недоедание и неправильное развитие в лагере и до лагеря придаёт им в этом возрасте вид маленьких щуплых детей, отстаёт их рост, и ум их, и их интересы. По роду работы их содержат здесь иногда отдельными бригадами, иногда смешивая в общую бригаду со стариками-инвалидами. Здесь и спрашивают с них «облегчённый физический», а попросту детский туземный труд.

После детской колонии обстановка сильно изменилась. Уже нет детского пайка, на который зарился надзор,— и поэтому надзор перестаёт быть главным врагом. Появились какие-то старики, на которых можно испробовать свою силу. Появились женщины, на которых можно проверить свою взрослость. Появились и настоящие живые воры, мордатые лагерные штурмовики, которые охотно руководят и мировоззрением малолеток и их тренировками в воровстве. Учиться у них — заманчиво, не учиться — невозможно.

Для *вольного* читателя слово «воры» может быть звучит укоризненно? Тогда он ничего не понял. Это слово произносится в блатном мире,

как в дворянской среде «рыцарь», и даже ещё уважительнее, не в полный голос, как слово священное. Стать достойным вором когда-нибудь — это мечта малолетки, это — стихийный напор их дружины. Да и самому самостоятельному среди них —

юноше, обдумывающему житьё,

не найти жребия верней.

Как-то на ивановской пересылке ночевал я в камере малолеток. Рядом со мной на нарах оказался худенький мальчик старше пятнадцати, кажется Слава. Мне показалось, что весь обряд малолеток он выполняет как-то изневольно, будто вырастя из него или устало. Я подумал: вот этот мальчик не погиб и умнее, он от них скоро отстанет. Мы разговорились. Мальчик был из Киева, кто-то из родителей у него умер, кто-то бросил его. Слава начал воровать ещё перед войной, лет девяти, воровал и «когда наши пришли», и после войны, и с задумчивой невесёлой улыбкой, такой ранней для пятнадцати лет, объяснил мне, что и в дальнейшем собирается жить только воровством. «Вы знаете,— очень разумно обосновывал он,— рабочей профессией кроме хлеба и воды ничего не заработаешь. А у меня *детство* было плохое, я хочу хорошо пожить.» — «А что ты делал при немцах?» — спросил я, восполняя два обойденных им года — два года оккупации Киева. Он покачал головой: «При немцах я работал. Что вы, разве при немцах можно было воровать? Они за это на месте расстреливали.»

И во взрослых лагерях малолетки сохраняют главную черту своего поведения — дружность нападения и дружность отпора. Это делает их сильными и освобождает от ограничений. В их сознании нет никакого контрольного флажка между дозволенным и недозволенным, и уж вовсе никакого представления о добре и зле. Для них то всё хорошо, чего они хотят, и то всё плохо, что им мешает. Наглую нахальную манеру держаться они усваивают потому, что это — самая выгодная в лагере форма поведения. Притворство и хитрость отлично служат им там, где не может взять сила. Малолетка может прикинуться иконописным отроком, он растрогает вас до слёз, пока его товарищи будут сзади потрошить ваш мешок. Всей своей злопамятной дружиной они кого хочешь доймут местью — и, чтоб не связываться с этой ордой, никто не помогает жертве. Цель достигнута — соперники разъединены, и малолетки бросаются сворою на одного. И они непобедимы! Их налетает так много сразу, что не успеешь их заметить, различить, запомнить. Не хватает рук и ног отбиться от них.

Вот по рассказу А. Ю. Сузи несколько картинок со 2-го (штрафного) Кривощёковского лагпункта Новосиблага. Жизнь в громадных (на 500 человек) полутёмных землянках, вкопанных в землю на полтора метра. Начальство не вмешивается в жизнь зоны (уже ни лозунгов, ни лекций). Засилие блатарей и малолеток. На работу почти не выводят. Соответствующее и питание. Зато избыток времени.

Вот несут из хлеборезки под конвоем своих бригадников хлебный ящик. Перед самым ящиком малолетки затевают мнимую драку, толкают друг друга и опрокидывают ящик. Бригадники бросаются поднимать пайки с земли. Из двадцати они успевают подхватить только четырнадцать. «Дравшихся» малолеток уже и помина нет.

Столовая на этом лагпункте — досчатая пристройка, не годная сибирской зимой, там не едят. Баланду и пайку надо донести по морозу от кухни до своей землянки — метров 150. Для стариков-инвалидов это — опасная тяжёлая операция. Пайка всунута глубоко за пазуху, мёрзнущие руки вцепились в котелок. Но внезапно, с бесовской быстротой, налетают со стороны двое-трое малолеток. Они сбивают старика с ног, в шесть рук его обшаривают и уносятся вихрем. Пайка отобрана, баланда пролилась, валяется пустой котелок, старик силится подняться на колени. (А другие зэки видят — и спешат обойти опасное место, спешат свою-то пайку донести до землянки.) Чем слабей жертва — тем беспощаднее малолетки. Вот у совсем слабого старика отнимают пайку в открытую, рвут из пальцев. Старик плачет, умоляет отдать: «Я с голоду умру!» — «А тебе и всё равно скоро подыхать, какая разница!» — Вот наладились малолетки нападать на инвалидов в пустом холодном помещении перед кухней, где вечно снуёт народ. Шайка валит жертву на землю, садится на руки, на ноги, на голову, обшаривают все карманы, берут махорку, деньги и исчезают.

Крупный крепкий латыш Мартинсон имеет неосторожность появиться в зоне в кожаных коричневых шнуровых высоких сапогах английского лётчика, зашнурованных через крючки на высоту всей голени. Он даже на ночь не снимает их с ног. И он уверен в своей силе. Но вот его подстерегают чуть прилегшим на помост в столовой, на него мгновенно налетает шайка и так же мгновенно улетает — и сапог нет! Все шнурки перерезаны и сапоги сдёрнуты. Искать? Куда там! Сейчас же через надзирателя (!) сапоги отправляют за зону и там продают за высокую цену. (Чего только не сплавляют малолетки за зону. Всякий раз, когда, пожалев их юность, лагерное начальство даёт им чуть получше обувку или одёжку, или какие-нибудь жалкие лепёшки матрасов, отобранные от Пятьдесят Восьмой,— в несколько дней это всё загоняется за махорку вольным, а малолетки снова ходят в продранном и спят на голых нарах.)

Довольно неосторожному вольняшке зайти в зону с собакой и на миг отвернуться,— шкуру своей собаки к вечеру он может купить за зоной: собака вмиг отманена, зарезана, ободрана и испечена.

Краше нет воровства и разбоя! — они и кормят, они и веселы. Но и простая разминка, бескорыстная забава и беготня нужны молодому телу. Если уж дали им молотки сколачивать снарядные ящики,— они машут ими непрестанно и с удовольствием (даже девочки) вколачивают гвозди во что попало, в столы, в стены, во пни. Они постоянно борются друг с другом — и не для того только, чтоб опрокинуть хлебный ящик, они и действительно борются и бегают друг за другом по нарам и проходам. Нужды нет, что они бегут по ногам, по вещам, что-то опрокинули, что-то испачкали, кого-то разбудили, кого-то сшибли,— они играют!

Так играют и всякие дети, но на обычных детей есть всё же родители (в нашу эпоху — не более, чем «всё же»), есть какая-то управа, их можно остановить, пронять, наказать, отправить в другое место,— в лагере это всё невозможно. Пронять малолеток словами — просто нельзя, человеческая речь вырабатывалась не для них, их уши не впускают ничего, не нужного им. Раздражённые старики начинают одёргивать их руками —

малолетки забрасывают стариков тяжёлыми предметами. В чём не находят малолетки забавы! — схватить у инвалида гимнастёрку и играть в перекидашки — заставить его бегать как ровесника. Он обиделся, ушёл? — так он её и не увидит! продали за зону и прокурили. (Теперь к нему же и подойдут невинно: «Папаша, дай закурить! Да ладно, не сердись. Чего ж ты ушёл, не ловил?»)

Взрослым людям, отцам и дедам, эти буйные забавы малолеток в лагерной тесноте может быть надсаднее и оскорбительнее, чем их разбой и голодная жадность. Это оказывается одним из самых чувствительных унижений: пожилому человеку быть приравненным к пацану, да если бы на равных! — нет, отданным на произвол пацанов.

Малолетки безумышленны, они вовсе не думают оскорбить, они не притворяются: они действительно никого за людей не считают, кроме себя и старших воров! Они так ухватили мир! — и теперь держатся за это. Вот при съёме с работы они вбиваются в колонну взрослых зэков, измученных, еле стоящих, погрузившихся в какое-то оцепенение или в воспоминания. Малолетки расталкивают колонну не потому, что им надо стать первыми,— это ничего не даёт, а просто так, для забавы. Они шумно разговаривают, постоянно всуе поминают Пушкина («Пушкин взял», «Пушкин съел»), матерятся в Бога, в Христа и в Богородицу, выкрикивают любую брань о половых извращениях, никак не стесняясь пожилых женщин, стоящих тут, а тем более молодых. За короткое лагерное время они достигли высочайшей свободы *от* общества.— Во время долгих проверок в зоне малолетки гоняются друг за другом, торпедируя толпу, валя одних людей на других («Что, мужик, на дороге стал?»), или бегают друг за другом вокруг человека как вокруг дерева, тем удобнее дерева, что ещё можно им заслоняться, дёргать, шатать, рвать в разные стороны.

Это и в весёлую-то минуту оскорбительно, но когда переломлена вся жизнь, человек заброшен в далёкую лагерную яму, чтобы погибнуть, уже голодная смерть распространяется в нём, мрак стоит в его глазах,— нельзя подняться выше себя и посочувствовать юнцам, что так беззатейливы их игры в таком унылом месте. Нет, пожилых измученных людей охватывает злоба, они кричат им: «Чтоб вас чума взяла, змеёныши!» «Падлюки! Бешеные собаки!» «Чтоб вы подохли!» «Своими бы руками их задушил!» «Хуже фашистов зверьё!» «Вот напустили нам на погибель!» (И столько вложено в эти крики инвалидов, что если бы слова убивали — они бы убили.) Да! Так и кажется, что их напустили нарочно — потому что и долго думая, лагерные распорядители не изобрели бы бича тяжелей. (Как в удачной шахматной партии все комбинации вдруг начинают вязаться сами, а мнится, что — задолго гениально придуманы, так и многое удалось в нашей Системе на лучшее изнурение человеков.) Так и кажется, что по христианской мифологии вот такими должны быть чертенята, никакими другими!

Тем более, что их главная забава и их символ — их постоянный символ, приветственный и угрозный знак — это *рогатка:* расставленные указательный и средний пальцы руки, как бы подвижные бодающие рожки. Но они не бодающие, они — выкалывающие, потому что тянутся всегда к глазам. Это заимствовано у взрослых воров и означает

серьёзную угрозу: «Глаза выдавлю, падло!» А у малолеток это любимая игра: внезапно перед глазами старика, невесть откуда, змеиною головой вырастает рогатка, и пальцы уверенно идут к глазам, сейчас надавят! Старик откидывается, его ещё чуть подталкивают в грудь, а другой малолетка сзади уже приник к земле вплотную к ногам — и старик грохается навзничь, головою обземь, под весёлый хохот малолеток. И никогда они его не поднимут. Да невдомёк им, что они сделали что-нибудь худое! — это только весело. Ни отвар, ни присыпка этих чертей не берёт! И, с трудом поднимая больное тело, старик со злобой шепчет: «Пулемёт бы был — из пулемёта бы по ним не жалко!»

Старик Ц. ненавидел их устойчиво. Он говорил: «Всё равно они погибшие, это для людей чума растёт. Надо их потихоньку уничтожать!» И разработал способ: поймав украдкой малолетку, валить его на землю и давить ему коленями грудь, пока услышится треск рёбер — но не до конца, на этом отпустить. Такой малолетка, говорил Ц., уже не жилец, но ни один врач не поймёт в чём дело. И Ц. отправил так несколько малолеток на тот свет, пока самого его смертно не избили.

Ненависть порождает ненависть. Чёрная вода ненависти с лёгкостью разливается по горизонтали. Это легче, чем извернуться по жерлу вверх — к тем, кто и старого и малого обрёк на рабью участь.

Так готовились маленькие упрямые звери совместным действием сталинского законодательства, гулаговского воспитания и воровской закваски. Нельзя было изобрести лучшего способа оскотинения ребёнка! Нельзя было плотней и быстрей вогнать все лагерные пороки в неокрепшую узкую грудь!

Даже когда ничего не стоило смягчить душу ребёнка, лагерные хозяева этого не допускали: ведь это не было задачей их воспитания. С Кривощёковского первого лагпункта на второй мальчик просился к своему отцу, сидевшему там. Не разрешили (ведь инструкция требует разъединять)! Пришлось мальчишке спрятаться в бочке, так переехать на второй лагпункт и тайно пожить при отце. А его с суматохой считали в побеге и палкой с гвоздевыми поперечинами пробалтывали ямы уборных — не потоплен ли там.

И лихо только начать. Это в 15 лет Володе Снегирёву было садиться как-то непривычно. А потом за шесть сроков он перебрал почти столетие (было дважды по 25), сотни дней провёл в БУРах и карцерах (усвоил молодыми лёгкими туберкулёз), 7 лет — под всесоюзным розыском. Потом-то он был уже на верной воровской дорожке. (Сейчас — без лёгкого и пяти рёбер, инвалид второй группы.) — Витя Коптяев с 12-летнего возраста сидит непрерывно. Осуждён *четырнадцать* раз, из них 9 раз — за побеги. «На свободе в законном порядке я ещё не был.» — Юра Ермолов после освобождения устроился работать, но его уволили: важнее было принять демобилизованного солдата. Пришлось «идти на гастроли». И на новый срок.

Сталинские бессмертные законы о малолетках просуществовали 20 лет (до Указа от 24.4.54, чуть послабившего: освободившего тех малолеток, кто отбыл больше одной трети,— да ведь это из *первого* срока! а если их четырнадцать?). Двадцать жатв они собрали. Двадцать возрастов они свихнули в преступление и разврат.

Кто смеет наводить тень на память нашего Великого Корифея?

* * *

Есть такие проворные дети, которые успевают схватить 58-ю очень рано. Например, Гелий Павлов получил её в 12 лет (с 1943 по 1949 сидел в колонии в Заковске). По 58-й вообще *никакого возрастного минимума* не существовало! Даже в популярных юридических лекциях — Таллин, 1945 год,— говорили так. Доктор Усма знал 6-летнего мальчика, сидевшего в колонии по 58-й статье — уж это, очевидно, рекорд!

Иногда посадка ребёнка для приличия откладывалась, но всё равно настигала отмеченного. Вера Инчик, дочь уборщицы, вместе с двумя другими девочками, всем по 14 лет,— узнала (Ейск, 1932), как при раскулачивании покидают малых детей — умирать. Решили девочки («как раньше революционеры») протестовать. На листках из школьных тетрадей они написали своим почерком и расклеили по базару, ожидая немедленного всеобщего возмущения. Дочь врача посадили, кажется, тотчас. А дочери уборщицы лишь пометили где-то. Подошёл 1937 год — и арестовали её «за шпионаж в пользу Польши».

Где, как не в этой главе, помянуть и тех детей, кто осиротел от ареста своих родителей?

Ещё счастливы были дети женщин из религиозной общины под Хостой. Когда в 1929 матерей отправили на Соловки, то детей по мягкости оставили при домах и хозяйствах. Дети сами обихаживали сады, огороды, доили коз, прилежно учились в школе, а родителям на Соловки посылали отметки и заверения, что готовы пострадать за Бога, как и матери их. (Разумеется, Партия скоро дала им эту возможность.)

По инструкции «разъединять» сосланных детей и родителей — сколько этих малолеток было ещё в 20-е годы (вспомним 48 процентов)? И кто нам расскажет их судьбу?..

Вот — Галя Венедиктова. Отец её был петроградский типограф, анархист, мать — белошвейка из Польши. Галя хорошо помнит свой шестой день рождения (1933), его весело отпраздновали. На другое утро она проснулась — ни отца, ни матери, в книгах роется чужой военный. Правда, через месяц маму ей вернули: женщины и дети едут в Тобольск свободно, только мужчины этапом. Там жили семьёй, но не дожили трёх лет сроку: арестовали снова мать, а отца расстреляли, мать через месяц умерла в тюрьме. Галю забрали в детдом в монастыре под Тобольском. Обычай был там такой, что девочки жили в постоянном страхе насилия. Потом перевелась она в городской детдом. Директор внушал ей: «Вы дети врагов народа, а вас ещё кормят и одевают!» (Нет, до чего гуманная эта диктатура пролетариата!) Стала Галя как волчонок. В 11 лет она была уже на своём первом политическом допросе.— С тех пор она имела *червонец*, отбыла впрочем не полностью. К сорока годам одинокая живёт в Заполярьи и пишет: «Моя жизнь кончилась с арестом отца. Я его так люблю до сих пор, что боюсь даже думать об этом. Это был другой мир, и душа моя больна любовью к нему...»

Вспоминает и Светлана Седова: «Никогда мне не забыть тот день, когда все наши вещи вынесли на улицу, а меня посадили на них, и лил сильный дождь. С шести лет я была «дочерью изменника родины» — страшней этого ничего в жизни быть не может.»

Брали их в приёмники НКВД, в *спецдома*. Большинству меняли

фамилии, особенно у кого громкая. (Юра Бухарин только в 1956 году узнал свою истинную фамилию. А Чеботарёв, кажется, и не громкая?) Вырастали дети вполне очищенными от родительской скверны. Роза Ковач, уроженка Филадельфии, малышкой привезенная сюда отцом-коммунистом, после приёмника НКВД попала в войну в американскую зону Германии — каких только судеб не накручивается! — и что ж? Вернулась на советскую родину получить и свои 25 лет.

Даже поверхностный взгляд замечает эту особенность: детям — тоже сидеть, в свой черёд отправляться и им на обетованный Архипелаг, иногда и одновременно с родителями. Вот восьмиклассница — Нина Перегуд. В ноябре 1941 пришли арестовывать её отца. Обыск. Вдруг Нина вспомнила, что в печи лежит скомканная, но не сожжённая её частушка. Так бы и лежать ей там, но Нина по суетливости решила тут же её изорвать. Она полезла в топку, дремлющий милиционер схватил её. И ужасающая крамола, написанная школьным почерком, предстала глазам чекистов:

В небе звёзды засияли,
Свет ложится на траву,
Мы Смоленск уж проиграли,
Проиграем и Москву.

И выражала она пожелание:

Чтобы школу разбомбили,
Нам учиться стало лень.

Разумеется, эти взрослые мужчины, спасающие родину в глубоком тамбовском тылу, эти рыцари с горячим сердцем и чистыми руками, должны были пресечь такую смертельную опасность. * Нина была арестована. Изъяты были для следствия её дневники с 6-го класса и контрреволюционная фотография: снимок Варваринской уничтоженной церкви. «О чём говорил отец?» — добивались рыцари с горячим сердцем. Нина только ревела. Присудили ей 5 лет и 3 года поражения в правах (хотя поразиться в них она ещё не могла: не было у неё ещё прав).

В лагере её, конечно, разлучили с отцом. Ветка белой сирени терзала её: а подруги сдают экзамены! Нина страдала так, как по замыслу и должна страдать преступница, исправляясь: что́ сделала Зоя Космодемьянская, моя ровесница, и какая гадкая я! Оперы жали на эту педаль: «Но ты ещё можешь к ней подтянуться! *Помоги* нам!»

О, растлители юных душ! Как благополучно вы окончите вашу жизнь! Вам нигде не придётся, краснея и коснея, встать и признаться, какими же вы помоями заливали души!

А Зоя Лещева сумела всю семью свою превзойти. Это вот как было. Её отца, мать, дедушку с бабушкой и старших братьев-подростков — всех рассеяли по дальним лагерям за веру в Бога. А Зое было всего

* Когда-нибудь, когда-нибудь неужели не вытащим мы одного такого крота, утверждавшего арест восьмиклассницы за стишок? Посмотреть — какой лоб у него? какие уши?

десять лет. Взяли её в детский дом (Ивановская область). Там она объявила, что никогда не снимет с шеи креста, который мать надела ей при расставании. И завязала ниточку узлом туже, чтобы не сняли во время сна. Борьба шла долго, Зоя озлоблялась: вы можете меня задушить, с мёртвой снимете! Тогда, как не поддающуюся воспитанию, её отослали в детдом *для дефективных!* Здесь уже были подонки, стиль малолеток худший, чем описан в этой главе. Борьба за крест продолжалась. Зоя устояла: она и здесь не научилась ни воровать, ни сквернословить. «У такой святой женщины, как моя мать, дочь не может быть уголовницей. Лучше буду политической, как вся семья.»

И она — стала политической! Чем больше воспитатели и радио славили Сталина, тем верней угадала она в нём виновника всех несчастий. И, неподдавшаяся уголовникам, она теперь увлекла за собою их! Во дворе стояла стандартная гипсовая статуя Сталина. На ней стали появляться издевательские и неприличные надписи. (Малолетки любят спорт! — важно только правильно их направить.) Администрация подкрашивает статую, устанавливает слежку, сообщает и в МГБ. А надписи всё появляются, и ребята хохочут. Наконец, в одно утро голову статуи нашли отбитой, перевёрнутой и в пустоте её — кал.

Террористический акт! Приехали гебисты. Начались по всем их правилам допросы и угрозы: «Выдайте банду террористов, иначе *всех расстреляем* за террор!» (А ничего дивного, подумаешь, полторы сотни детей расстрелять. Если б Сам узнал — он бы и сам распорядился.)

Неизвестно, устояли бы малолетки или дрогнули, но Зоя Лещева объявила:

— Это сделала всё я одна! А на что другое годится голова папаши?

И её судили. И присудили к *высшей мере,* безо всякого смеха. Но, из-за недопустимой гуманности закона о возвращённой смертной казни (1950), расстрелять 14-летнюю вроде не полагалось. И потому дали ей десятку (удивительно, что не двадцать пять). До восемнадцати лет она была в обычных лагерях, с восемнадцати — в Особых. За прямоту и язык был у неё и второй лагерный срок и, кажется, третий.

Освободились уже и родители Зои и братья, а Зоя всё сидела.

Да здравствует наша веротерпимость!

Да здравствуют дети, хозяева коммунизма!

Отзовись та страна, которая так любила бы своих детей, как мы своих!

Глава 18

МУЗЫ В ГУЛАГе

Принято говорить, что *всё возможно* в ГУЛАГе. Самая чернейшая низость, и любой оборот предательства, дико-неожиданная встреча, и любовь на склоне пропасти — всё возможно. Но если с сияющими глазами станут вам рассказывать, что кто-то перевоспитался казёнными средствами через КВЧ,— уверенно отвечайте: брехня!

Перевоспитываются в ГУЛАГе все, перевоспитываются под влиянием друг друга и обстоятельств, перевоспитываются в разных направлениях,— но ни один ещё малолетка, а тем более взрослый не перевоспитался от средств КВЧ.

Однако, чтобы лагеря наши не были похожи на «притоны разврата, общины разбоя, рассадники рецидивистов и проводники безнравственности» (это — о царских тюрьмах),— они были снабжены такой приставкой — Культурно-Воспитательная Часть.

Потому что, как сказал когдатошний глава ГУЛага И. Апетер: «тюремному строительству капиталистических стран пролетариат СССР противопоставляет своё *культурное* (а не лагерное! — А. С.) строительство. ...Те учреждения, в которых пролетарское государство осуществляет лишение свободы... можно называть тюрьмами или иным словом — *дело не в терминологии.* Это те места, где жизнь не убивается, а даёт новые ростки...» *

Не знаю, как кончил Апетер. С большой вероятностью думаю, что вскоре и свернули ему голову в этих самых местах, где жизнь пускает новые ростки. Но дело не в терминологии. А понял читатель, что́ в лагеря́х наших было главное? *Культурное* строительство.

И на всякий спрос орган был создан, размножен, щупальцы его дотягивались до каждого острова. В 20-е годы они назывались ПВЧ (Политико-Воспитательные Части), с 30-х годов КВЧ. Они должны были в частности заменить прежних тюремных попов и тюремные богослужения.

Строились они так. Начальник КВЧ был из вольных и с правами помощника начальника лагеря. Он подбирал себе воспитателей (по норме один воспитатель на 250 опекаемых) — обязательно из «близких пролетариату слоёв», стало быть интеллигенты (мелкая буржуазия) конечно не подходили (да и приличнее было им махать киркою), а набирали в воспитатели воров с двумя-тремя судимостями, ну ещё городских мошенников, растратчиков и растлителей. Вот такой молодой парень, чисто себя содержащий, получивший пяток лет за изнасилование при смягчающих обстоятельствах, сворачивал газетку в трубочку, шёл в барак Пятьдесят Восьмой и проводил с ним беседу: «Роль труда в процессе исправления». Воспитателям особенно хорошо видно эту роль со стороны, потому что сами они «от производственного процесса освобождаются». Из таких же социально-близких создава́лся актив КВЧ — но активисты от работы не освобождались (они могли только надеяться со

* Сборник «От тюрем...», стр. 429, 432, 438.

временем сшибить кого-нибудь из воспитателей и занять их место; это создавало общую дружелюбную обстановку при КВЧ). Воспитатель с утра должен проводить заключённых на работу, после этого проверить кухню (то есть его хорошо покормят), ну, и можно пока идти досыпать к себе в кабинку. Паханов цеплять и трогать ему не надо, ибо во-первых это опасно, во-вторых наступит момент, когда «преступная спайка превратится в производственную», и тогда паханы поведут ударные бригады на штурм. А пока пусть отсыпаются и они после ночной картёжной игры. Но в своей деятельности воспитатель постоянно руководствуется общим положением: что культвоспит-работа в лагерях — это не культвоспит-работа с «несчастненькими», а культурно-производственная работа с остриём (без острия мы никак не можем), направленным против... ну, читатель уже догадался: против Пятьдесят Восьмой. Увы, КВЧ «сама не имеет прав ареста» (да, вот такое ограничение культурных возможностей), «но может просить администрацию» (та не откажет). К тому же воспитатель «систематически представляет отчёты о настроении заключённых». (Имеющий ухо да слышит! Здесь культурно-воспитательная часть деликатно переходит в оперчекистскую, но в инструкциях это не пишется.)

Однако мы видим, что увлечённые цитированием, мы грамматически сбились на настоящее время. Мы должны огорчить читателя, что речь идёт о конце 20-х — начале 30-х годов, о лучших расцветных годах КВЧ, и когда в стране достраивалось бесклассовое общество и ещё не было такой ужасной вспышки классовой борьбы, как с момента, когда оно достроилось. В те славные годы КВЧ обрастала ещё многими важными приставками: культсоветами лишённых свободы; культпросветкомиссиями; санбыткомиссиями; штабами ударных бригад; контрольными постами о выполнении промфинплана... Ну, да как говорил товарищ Сольц (куратор Беломорканала и председатель комиссии ВЦИК по частным амнистиям): «заключённый и в тюрьме должен жить тем, чем живёт страна». (Злейший враг народа Сольц справедливо покаран пролетарским судом... простите... борец за великое дело товарищ Сольц оклеветан и погиб в годы культа... простите... при наличии незначительного явления культа...)

И как были многоцветны, как разнообразны формы работы! — как сама жизнь. Организация соревнования. Организация ударничества. Борьба за промфинплан. Борьба за трудовую дисциплину. Штурм по ликвидации прорывов. Культпоходы. Добровольные сборы средств на самолёты. Подписка на займы. Субботники на усиление обороноспособности страны. Разоблачение лжеударников. Беседы с отказчиками. Ликвидация неграмотности (только шли неохотно). Профтехкурсы для лагерников из среды трудящихся (очень пёрли урки учиться на шоферов: свобода!). Да просто увлекательные беседы о неприкосновенности социалистической собственности. Да просто читки газет. Вечера вопросов и ответов. А красные уголки в каждом бараке! Диаграммы выполнения. Цифры заданий! А плакаты какие! Какие лозунги!

В то счастливое время над мрачными просторами и безднами Архипелага реяли Музы — и первая высшая среди муз — Полигимния, муза гимнов (и лозунгов).

«Отличной бригаде — хвала и почёт!
Ударно работай — получишь зачёт!»

Или:

«Трудись честно, дома ждёт тебя семья!»

(Ведь это психологично как! Ведь здесь что? Первое: если забыл о семье — растревожить, напомнить. Второе: если сильно тревожится — успокоить: семья есть, не арестована. А третье: семье ты *просто так* не нужен, а нужен только через честный лагерный труд.) Наконец:

«Включимся в ударный поход имени 17-й годовщины Октября!» Ну, кто устоит?..

А — драмработа с политически заострённой тематикой (немного от музы Талии)? Например: обслуживание Красного Календаря! Живая газета! Инсценированные агитсуды! Ораторий на тему сентябрьского пленума ЦК 1930 года! Музыкальный скетч «Марш статей Уголовного Кодекса» (58-я — хромая баба-яга)! Как это всё украшало жизнь заключённых, как помогало им тянуться к свету!

А затейники КВЧ! Потом ещё — атеистическая работа! Хоровые и музыкальные кружки (под сенью музы Эвтерпы). Потом эти — агитбригады! **(ф. 30):**

«Торопятся враскачку
Ударники за тачками!»

Ведь какая смелая самокритика! — и ударников не побоялись затронуть! Да достаточно такой агитбригаде приехать на штрафной участок и дать там концерт:

«Слушай, Волга-река!
Если рядом с зэ́-ка́
Днём и ночью на стройке чекисты,—
Это значит — рука
У рабочих крепка,
Значит, в ОГПУ — коммунисты!»

— и сразу же все штрафники и особенно рецидивисты бросают карты и просто рвутся на работу!

Бывало и такое мероприятие: группа лучших ударников посещает РУР или ШИзо и приводит с собой агитбригаду. Сперва ударники всячески укоряют отказчиков, объясняют им выгоды выполнения норм (питание будет лучше). Потом агитбригада поёт:

«Всюду бой запылал,
И Мосволгоканал
Побеждает снега и морозы!»

и совсем откровенно

«Чтобы лучше нам жить,
Чтобы есть, чтобы пить —
Надо лучше нам землю рыть!»

И всех желающих приглашают не просто выходить в зону, но — сразу переходить в *ударный* барак (из штрафного), где их тут же и кормят! Какой

успех искусства! (Агитбригады, кроме центральной, сами от работы не освобождаются. Получают лишнюю кашу в день выступления.)

А более тонкие формы работы? Например, «при содействии самих заключённых проводится борьба с уравниловкой в зарплате». Ведь только вдуматься, какой здесь смысл глубокий. Это значит, на бригадном собрании встаёт заключённый и говорит: не давать такому-то полной пайки; он плохо работал, лучше 200 грамм передайте мне!

Или — товарищеские суды? (В первые годы после революции они назывались «морально-товарищескими» и разбирали азартные игры, драки, кражи — но разве это дело для суда? И слово «мораль» шибало в нос буржуазностью, его отменили.) С реконструктивного периода (с 1928 года) суды стали разбирать прогулы, симуляцию, плохое отношение к инвентарю, брак продукции, порчу материала. И если не втирались в состав судов классово-чуждые арестанты (а были только — убийцы, ссученные блатари, растратчики и взяточники), то суды в своих приговорах ходатайствовали перед начальником о лишении свиданий, передач, зачётов, условно-досрочного освобождения, об этапировании неисправимых. Какие это разумные, справедливые меры и как особенно полезно, что инициатива применять их исходит от самих же заключённых! (Конечно, не без трудностей. Начали судить бывшего кулака, а он говорит: «У вас суд — товарищеский, я же для вас — кулак, а не товарищ. Так что не имеете вы права меня судить.» Растерялись. Запрашивали политвоспитательный сектор ГУИТЛ и оттуда ответили: судить! непременно судить, не церемониться!)

Что является основой осиов всей культурно-воспитательной работы в лагере? *«Не предоставлять лагерника после работы самому себе* — чтобы не было рецидивов его прежних преступных наклонностей» (ну, например, чтобы Пятьдесят Восьмая не задумывалась о политике). Важно, «чтобы заключённый никогда ие выходил из-под воспитательного воздействия».

Здесь очень помогают передовые современные технические средства, именно: громкоговорители на каждом столбе и в каждом бараке. Они никогда не должны умолкать! Они постоянно и систематически от подъёма и до отбоя должны разъяснять заключённым, как приблизить час свободы; сообщать ежечасно о ходе работ; о передовых и отстающих бригадах; о тех, кто мешает. Можно рекомендовать ещё такую оригинальную форму: беседа по радио с отдельными отказчиками и недобросовестными.

Ну, и печать, конечно, печать! — самое острое оружие нашей партии. Вот подлинное доказательство того, что в нашей стране — свобода печати: иаличие печати в заключении! Да! А в какой стране это ещё возможно?

Газеты во-первых стенные, рукописные, и во-вторых многотиражные. У тех и других — бесстрашные *лагкоры*, бичующие недостатки (заключённых), и эта самокритика поощряется Руководством. Насколько само Руководство придаёт значение вольной лагерной печати, говорит хотя бы приказ № 434 по Дмитлагу: «огромное большинство заметок остаётся без отклика».— Газеты помещают и фото ударников. Газеты указывают. Газеты вскрывают. Газеты освещают и вылазки классового врага — чтобы крепче по иим ударили. (Газета — лучший сотрудник оперчекотдела.) И вообще газеты отражают лагерную жизнь, как она течёт, и являются неоценимым свидетельством для потомков.

Вот например, газета архангельского домзака в 1931 году рисует нам изобилие и процветание, в каком живут заключённые: «плевательницы, пепельницы, клеёнка на столах, громкоговорящие радиоустановки, портреты вождей и ярко говорящие о генеральной линии партии лозунги на стенах...— вот *заслуженные плоды,* которыми пользуются лишённые свободы!»

Да, дорогие плоды! И как же это отразилось на жизни лишённых свободы? Та же газета через полгода: «Все дружно, энергично принялись за работы... Выполнение промфинплана поднялось... Питание уменьшилось и ухудшилось.»

Ну, это ничего. Это как раз ничего! Последнее — поправимо. *

И куда, куда это кануло всё?.. О, как недолговечно на Земле всё прекрасное и совершенное! Такая напряжённая бодрая оптимистическая система воспитания карусельного типа, вытекавшая из самых основ Передового Учения, обещавшая, что в несколько лет не останется ни одного преступника в нашей стране (30 ноября 1934 года особенно так казалось),— и куда же? Насунулся внезапно ледниковый период (конечно, очень нужный, совершенно необходимый!) — и облетели лепестки нежных начинаний. И куда сдуло ударничество и соцсоревнование? И лагерные газеты? Штурмы, сборы, подписки и субботники? Культсоветы и товарищеские суды? Ликбез и профтехкурсы? Да что там, когда громкоговорители и портреты вождей велели из зон убрать. (Да уж и плевательниц не расставляли.) Как сразу поблекла жизнь заключённых! Как сразу на десятилетия она была отброшена назад, лишившись важнейших революционно-тюремных завоеваний! (Но мы нисколько не возражаем: мероприятия партии были своевременные и очень нужные.)

Уже не стала цениться художественно-поэтическая форма лозунгов, и лозунги-то пошли самые простые: выполним! перевыполним! Конечно, эстетического воспитания, порхания муз, никто прямо не запрещал, но очень сузились его возможности. Вот, например, одна из воркутских зон. Кончилась девятимесячная зима, наступило трёхмесячное , ненастоящее, какое-то жалкое лето. У начальника КВЧ болит сердце, что зона выглядит гадко, грязно. В таких условиях преступник не может по-настоящему задуматься о совершенстве нашего строя, из которого он сам себя исключил. И КВЧ объявляет несколько воскресников. В свободное время заключённые с большим удовольствием делают «клумбы» — не из чего-нибудь растущего, ничего тут не растёт, а просто на мёртвых холмиках вместо цветов искусно выкладывают мхи, лишайники, битое стекло, гальку, шлак и кирпичную щебёнку. Потом вокруг этих «клумб» ставят заборчики из штукатурной дранки. Хотя получилось не так хорошо, как в парке имени Горького,— но КВЧ и тем довольно. Вы скажете, что через два месяца польют дожди и всё смоет. Ну что ж, смоет. Ну что ж, на будущий год сделаем сначала.

Или во что превратились политбеседы? Вот на 5-й ОЛП Унжлага приезжает из Сухобезводного — лектор (это уже 1952). После работы загоняют заключённых на лекцию. Товарищ, правда без среднего об-

---

* Материал этой главы до сих пор — из сборника «От тюрем...» и из Авербах.

разования, но политически вполне правильно читает нужную своевременную лекцию: «О борьбе греческих патриотов». Зэки сидят сонные, прячутся за спинами друг друга, никакого интереса. Лектор рассказывает о жутких преследованиях патриотов и о том, как греческие женщины в слезах написали письмо товарищу Сталину. Кончается лекция, встаёт Шеремета, женщина такая из Львова, простоватая, но хитрая, и спрашивает: «Гражданин начальник! А скажить — а кому бы н а м написать?» И вот, собственно, положительное влияние лекции уже сведено на нет.

Какие формы работы по исправлению и воспитанию остались в КВЧ, так это: на заявлении заключённого начальнику сделать пометку о выполнении нормы и о его поведении; разнести по комнатам письма, выданные цензурой; подшивать газеты и прятать их от заключённых, чтоб не раскурили; раза три в год давать концерты самодеятельности; доставать художникам краски и холст, чтоб они зону оформляли и писали картины для квартир начальства. Ну, немножко помогать оперуполномоченному, но это неофициально.

После этого всего неудивительно, что и работниками КВЧ становятся не инициативные пламенные руководители, а так больше — придурковатые, пришибленные.

Да! Вот ещё важная работа, вот: содержать ящики! Иногда их отпирать, очищать и снова запирать — небольшие буровато-окрашенные ящички, повешенные на видном месте зоны. А на ящиках надписи: «Верховному Совету СССР», «Совету министров СССР», «Министру Внутренних Дел», «Генеральному Прокурору».

Пиши, пожалуйста! — у нас свобода слова. А уж мы тут разберёмся, что куда кому. Есть тут особые товарищи, кто это читает.

* * *

Что ж бросают в эти ящики? *помиловки?*

Не только. Иногда и доносы (от начинающих) — уж там КВЧ разберётся, что их не в Москву, а в соседний кабинет. А ещё что? Вот неопытный читатель не догадается! Ещё — изобретения! Величайшие изобретения, которые должны перевернуть всю технику современности и уж во всяком случае своего автора освободить из лагеря.

Среди обычных нормальных людей изобретателей (как и поэтов) — гораздо больше, чем мы догадываемся. А в лагере их — сугубо. Надо же освобождаться! Изобретательство есть форма побега, не грозящая пулею и побоями.

На разводе и на съёме, с носилками и с киркой, эти служители музы Урании (никакой другой ближе не подберёшь) морщат лоб и усиленно изобретают что-нибудь такое, что поразило бы правительство и разожгло его жажду.

Вот Лебедев из Ховринского лагеря, радист. Теперь, когда пришёл ему ответ-отказ, скрывать больше нечего, и он признаётся мне, что обнаружил эффект отклонения стрелки компаса под влиянием запаха чеснока. Отсюда он увидел путь модулировать высокочастотные колебания запахом и таким образом передавать запах на большие расстояния. Однако правительственные круги не усмотрели в этом проекте военной выгоды и не заинтересовались. Значит, не выгорело. Или оставайся горбить или придумывай что-нибудь лучшее.

А иного, правда очень редко,— вдруг берут куда-то! Сам он не объяснит, не скажет, чтоб не испортить дела, и никто в лагере не догадывается: почему именно его, куда поволокли? Один исчезнет навсегда, другого, спустя время, привезут назад. (И тоже не расскажет теперь, чтоб не смеялись. Или напустит глубокого туману. Это в характере зэков: рассказами набивать себе цену.)

Но мне, побывавшему на Райских островах, довелось посмотреть и второй конец провода: куда это приходит и как там читают. Тут я разрешу себе немного позабавить терпеливого читателя этой невесёлой книги.

Некий Трушляков, в прошлом советский лейтенант, контуженный в Севастополе, взятый там в плен, протащенный потом через Освенцим и от этого всего как бы немного тронутый,— сумел из лагеря предложить что-то такое интригующее, что его привезли в научно-исследовательский институт для заключённых (то есть, на «шарашку»). Тут оказался он настоящим фонтаном изобретений, и едва начальство отвергало одно — он сейчас же выдвигал следующее. И хотя ни одного из этих изобретений он не доводил до расчёта, он был так вдохновенен, многозначителен, так мало говорил и так выразительно смотрел, что не только не смели заподозрить его в надувательстве, но друг мой, очень серьёзный инженер, настаивал, что Трушляков по глубине своих идей — Ньютон XX столетия. За всеми идеями его я, правда, не уследил, но вот поручено было ему разработать и изготовить *поглотитель радара,* им же и предложенный. Он потребовал помощи по высшей математике, в качестве математика к нему прикомандировали меня. Трушляков изложил задачу так:

чтобы не отражать волн радара, самолёт или танк должен иметь покрытие из некоего многослойного материала (что это за материал, Трушляков мне не сообщил: он ещё сам не выбрал, либо это был главный авторский секрет). Электромагнитная волна должна потерять всю свою энергию при многократных преломлениях и отражениях вперёд и назад на границах этих слоёв. Теперь, не зная свойств материала, но пользуясь законами геометрической оптики и любыми другими доступными мне средствами, я должен был доказать, что так всё оно и будет, как предсказывал Трушляков,— и ещё выбрать оптимальное количество слоёв.

Разумеется, я ничего не мог поделать. Ничего не сделал и Трушляков. Наш творческий союз распался.

Вскоре мне как библиотекарю (в начале шарашки я был и библиотекарь) Трушляков принёс заказ на межбиблиотечный (из Ленинки) абонемент. Без указаний авторов и изданий там было:

«Что-нибудь из техники межпланетных путешествий.»

Так как на дворе был только 1947 год, то почти ничего, кроме Жюля Верна, Ленинская библиотека ему предложить не могла. (О Циолковском тогда думали мало.) После неудачной попытки подготовить полёт на Луну Трушляков был сброшен в бездну — в лагеря.

А письма из лагерей всё шли и шли. Я был присоединён (на этот раз в качестве переводчика) к группе инженеров, разбиравших вороха пришедших из лагерей заявок на изобретения и на патенты. Переводчик нужен был потому, что многие документы в 1946—47 годах приходили на немецком.

Но это не были заявки! И не добровольные то были сочинения. Читать их было больно и стыдно. Это были вымученные, вытеребленные, выдавленные из немецких военнопленных странички. Ведь было ясно, что не век удастся держать этих немцев в плену: пусть через три, через пять лет после войны, но их придётся отпустить nach der Heimat. Так следовало за эти годы вымотать из них всё, чем они могли быть полезны нашей стране. Хоть в этом бледном отображении получить патенты, увезенные в западные зоны Германии.

Я легко воображал, как это делалось. Ничего не подозревающим исполнительным немцам велено сообщить: специальность, где работал, кем работал. Затем не иначе как оперчекистская часть вызывала всех инженеров и техников по одному в кабинет. Сперва с уважительным вниманием (это льстило немцам) их расспрашивали о роде и характере их довоенной работы в Германии (и они уже начинали думать, не предстоит ли им вместо лагеря льготная работа). Потом с них брали письменную подписку о неразглашении (а уж что «verboten», того немцы не нарушат). И наконец им выдвигалось жёсткое требование изложить письменно все интересные особенности их производства и важные технические новинки, применённые там. С опозданием понимали немцы, в какую ловушку попались, когда похвастались своим прежним положением! Они не могли теперь не написать ничего — их грозили за это никогда не отпустить на родину (и по тем годам это выглядело очень вероятно).

Угрызённые, подавленные, едва водя пером, немцы писали... Лишь то спасало их и избавляло от выдачи подлинных тайн, что невежественные оперчекисты не могли вникнуть в суть показаний, а оценивали их по числу страниц. Мы же, разбираясь, почти никогда не могли выловить ничего существенного: показания были либо противоречивы, либо с напуском учёного тумана и пропуском самого важного, либо пресерьёзно толковали о таких «новинках», которые и дедам нашим были хорошо известны.

Но те заявки, что были на русском языке,— каким же холопством они разили иногда! Можно опять-таки вообразить, как там, в лагере, в подаренное жалкое воскресенье авторы этих заявок, тщательно отгородясь от соседей, наверно лгали, что пишут помиловку. Могло ли хватить их ума предвидеть, что не ленивое сытое Руководство будет читать их каллиграфию, посланную на высочайшее имя, а такие же простые зэки.

И мы разворачиваем на шестнадцати больших страницах (это в КВЧ он бумагу выпрашивал) разработаннейшее предложение: 1) «Об использовании инфра-красных лучей по охране зон заключённых»; 2) «Об использовании фотоэлементов для подсчёта выходящих сквозь лагерную вахту». И чертежи приводит, сукин сын, и технические пояснения. А преамбула такая:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Хотя я за свои преступления осуждён по 58-й статье на долгий тюремный срок, но я и здесь остаюсь преданным своей родной советской власти и хочу помочь в надёжной охране лютых врагов

народа, окружающих меня. Если я буду вызван из лагеря и получу необходимые средства, я берусь наладить эту систему.»

Вот так «политический»! Трактат обходит наши руки при восклицаниях и лагерном мате (тут все свои). Один из нас садится писать рецензию: проект технически малограмотен... проект не учитывает... не предусматривает (а он как раз очень предусматривает, и совсем не плох)... не рентабелен... не надёжен... может привести не к усилению, а к ослаблению лагерной охраны...

Что тебе снится сегодня, Иуда, на далёком лагпункте? Дышло тебе в глотку, окочурься там, гад!

А вот пакет из Воркуты. Автор сетует, что у американцев есть атомная бомба, а у нашей Родины — до сих пор нет. Он пишет, что на Воркуте часто размышляет об этом, что из-за колючей проволоки ему хочется помочь партии и правительству. А поэтому он озаглавливает свой проект

РАЯ — Распад Атомного Ядра.

Но этот проект (знакомая картина) не завершён им из-за отсутствия в воркутинском лагере технической литературы (будто там есть художественная!). И этот дикарь просит пока выслать ему всего лишь *инструкцию по радиоактивному распаду,* после чего он берётся быстро закончить свой проект РАЯ.

Мы покатываемся за своими столами и почти одновременно приходим к одному и тому же стишку:

Из этого РАЙ
Не выйдет ни ... !

А между тем в лагерях изнурялись и гибли действительно крупные учёные, но не спешило Руководство нашего родного Министерства разглядеть их там и найти для них более достойное применение.

Александру Леонидовичу Чижевскому за весь его лагерный срок ни разу не нашлось место на «шарашке». Чижевский и до лагеря был в СССР очень не в чести за то, что связывал земные революции, как и биологические процессы, с солнечной активностью. Его деятельность вся была необычна, проблемы — неожиданны, не укладывались в удобный распорядок наук, и непонятно было, как использовать их для военных и индустриальных целей. После его смерти мы читаем теперь хвалебные статьи ему: установил возрастание инфарктов миокарда (в 16 раз) от магнитных бурь, давал прогнозы эпидемий гриппа, искал способы раннего обнаружения рака по кривой РОЭ (реакция оседания эритроцитов), выдвинул гипотезу о Z-излучении Солнца.

Отец советского космоплавания Королёв был, правда, взят на шарашку, но как авиационник. Начальство шарашки не разрешило ему заниматься ракетами, и он занимался ими по ночам.

(Не знаем, взяли бы на шарашку Л. Ландау или спустили бы на дальние острова,— со сломанным ребром он уже признал себя немецким шпионом, но спасло его заступничество П. Капицы.)

Крупный отечественный аэродинамик и чрезвычайно разносторонний научный ум — Константин Иванович Страхович после этапа из

ленинградской тюрьмы был в угличском лагере подсобным рабочим в бане. С искренне-детским смехом, который он удивительно пронёс через свою *десятку,* он теперь рассказывает об этом так. После нескольких месяцев камеры смертников ещё перенёс он в лагере дистрофический понос. После этого поставили его стражем при входе в мыльню, когда мылись женские бригады (против мужиков ставили покрепче, там бы он не выдюжил). Задача его была: не пускать женщин в мыльню иначе, как голых и с пустыми руками, чтобы сдавали всё в прожарку, и паче и паче — лифчики и трусы, в которых санчасть видела главную угрозу вшивости, а женщины старались именно их не сдать и пронести через баню. А вид у Страховича такой: борода — лорда Кельвина, лоб — утёс, чело двойной высоты, и лбом не назовёшь. Женщины его и просили, и поносили, и сердились, и смеялись, и звали на кучу веников в угол — ничто его не брало, и он был беспощаден. Тогда они дружно и зло прозвали его Импотентом. И вдруг этого Импотента увезли куда-то, ни много ни мало — руководить первым в стране проектом турбореактивного двигателя.

А кому дали погибнуть на общих — о тех мы не знаем...

А кого арестовали и уничтожили в разгар научного открытия (как Николая Михайловича Орлова, ещё в 1936 разработавшего метод долгого хранения пищевых продуктов),— тех тоже откуда нам узнать? Ведь открытие *закрывали* вслед за арестом автора.

* * *

В смрадной бескислородной атмосфере лагеря то брызнет и вспыхнет, то еле светится коптящий огонёк КВЧ. Но и на такой огонёк стягиваются из разных бараков, из разных бригад — люди. Одни с прямым делом: вырвать из книжки или газеты на курево, достать бумаги на помиловку, или написать здешними чернилами (в бараке нельзя их иметь, да и здесь они под замком: ведь чернилами фальшивые печати ставятся!). А кто — распустить цветной хвост: вот я культурный! А кто — потереться и потрепаться меж новых людей, не надоевших своих бригадников. А кто — послушать да куму стукнуть. Но ещё и такие, кто сами не знают, зачем необъяснимо тянет их сюда, уставших, на короткие вечерние полчаса, вместо того чтобы полежать на нарах, дать отдых ноющему телу.

Эти посещения КВЧ незаметными, не наглядными путями вносят в душу толику освежения. Хотя и сюда приходят такие же голодные люди, как сидят на бригадных вагонках, но здесь говорят не о пайках, не о кашах и не о нормах. Здесь говорят не о том, из чего сплетается лагерная жизнь, и в этом-то есть протест души и отдых ума. Здесь говорят о каком-то сказочном прошлом, которого быть не могло у этих серых оголодавших затрёпанных людей. Здесь говорят и о какой-то неописуемо блаженной, подвижно-свободной жизни на воле тех счастливчиков, которым удалось как-то не попасть в тюрьму. И — об искусстве рассуждают здесь, да иногда как ворожебно!

Как будто среди разгула нечистой силы кто-то обвёл по земле слабо-светящийся мреющий круг — и он вот-вот погаснет, но пока не погас — тебе чудится, что внутри круга ты не подвластен нечисти на эти полчаса.

Да ещё ведь здесь кто-то на гитаре перебирает. Кто-то напевает вполголоса — совсем не то, что разрешается со сцены. И задрожит в тебе: жизнь — есть! она — есть! И, счастливо оглядываясь, ты тоже хочешь кому-то что-то выразить.

Однако, говори да остерегайся. Слушай, да ущипни себя. Вот Лёва Г-ман. Он и изобретатель (недоучившийся студент автодорожного, собирался сильно повысить к. п. д. двигателя, да бумаги отобрали при обыске). Он и артист, вместе с ним мы «Предложение» ставим чеховское. Он и философ, красивенько так умеет: «Я не желаю заботиться о будущих поколениях, пусть они сами ковыряются в земле. За жизнь я вот так держусь!» — показывает он, впиваясь ногтями в дерево стола. «Верить в высокие идеи? — это говорить по телефону с оторванным проводом. История — бессвязная цепь фактов. Отдайте мне мой хвост! Амёба — совершеннее человека: у неё более простые функции.» Его заслушаешься: подробно объяснит, почему ненавидит Льва Толстого, почему упивается Эренбургом и Александром Грином. Он и покладистый парень, не чуждается в лагере тяжёлой работы: долбит шлямбуром стены, правда в такой бригаде, где 140% обеспечены. Отец у него посажен и умер в 37-м, но сам он бытовик, сел за подделку хлебных карточек, однако стыдится мошеннической статьи и жмётся к Пятьдесят Восьмой. Жмётся-жмётся, но вот начинаются лагерные суды, и такой симпатичный, такой интересный, «так державшийся за жизнь» Лёва Г-ман выступает свидетелем обвинения. * Хорошо, коли ты ему не слишком много говорил.

Если в лагере есть чудаки (а они всегда есть), то уж никак их путь не минует КВЧ, заглянут они сюда обязательно.

Вот профессор Аристид Иванович Доватур — чем не чудак? Петербуржец, румыно-французского происхождения, классический филолог, отроду и довеку холост и одинок. Оторвали его от Геродота и Цезаря, как кота от мясного, и посадили в лагерь. В душе его всё ещё — недоистолкованные тексты, и в лагере он — как во сне. Он пропал бы здесь в первую же неделю, но ему покровительствуют врачи, устроили на завидную должность медстатистика, а ещё раза два в месяц не без пользы для лагерных свеженабранных фельдшеров поручают Доватуру читать им лекции! Это в лагере-то — по латыни! Аристид Иванович становится к маленькой досочке — и сияет как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики спряжений, никогда не маячившие перед глазами туземцев, и от звуков крошащегося мела сердце его сладострастно стучит. Он так тихо, так хорошо устроен — но гремит беда и над его головой: начальник лагеря усмотрел в нём редкость — честного человека. И назначает... завпеком (заведующим пекарней)! Самая заманчивая из лагерных должностей! Завхлебом — завжизнью! Телами и душами лагерников изостлан путь к этой должности, но немногие дошли. А тут должность сваливается с небес — Доватур же раздавлен ею. Неделю он ходит как приговорённый к смерти, ещё не приняв пекарни. Он умоляет начальника *пощадить* его и оставить жить, иметь нестеснённый дух и латинские спряжения! И приходит помилование: на завпека назначен очередной жулик.

---

* А все, кто слишком «держатся за жизнь», никогда особенно не держатся за дух.

А вот этот чудак — всегда в КВЧ после работы, где ж ему быть ещё. У него большая голова, крупные черты, удобные для грима, хорошо видные издалека. Особенно выразительны мохнатые брови. А вид всегда трагический. Из угла комнаты он подавленно смотрит за нашими скудными репетициями. Это — Камилл Леопольдович Гонтуар. В первые революционные годы он приехал из Бельгии в Петроград создавать Новый Театр, театр будущего. Кто ж тогда мог предвидеть и как пойдёт это будущее и как будут сажать режиссёров? Обе мировых войны Гонтуар провоевал против немцев: первую — на Западе, вторую на Востоке. И теперь влепили ему десятку за измену родине... Какой?.. Когда?..

Но уж конечно, самые заметные люди при КВЧ — художники. Они тут хозяева. Если есть отдельная комната — это для них. Если кого освободят от общих напостоянку — то только их. Изо всех служителей муз одни они создают настоящие ценности — те, что можно руками пощупать, в квартире повесить, за деньги продать. Картину пишут они, конечно, не из головы — да это с них и не спрашивают, разве может выйти хорошая картина из головы Пятьдесят Восьмой? А просто пишут большие копии с открыток — кто по клеточкам, а кто и без клеточек справляется. И лучшего эстетического товара в таёжной и тундреной глуши не найдёшь, только пиши, а уж куда повесить — знаем. Даже если не понравится сразу. Придёт помкомвзвод ВОХРы Выпирайло, посмотрит на копию Деуля «Нерон-победитель»:

— Эт чего? Жених едет? А что он смурной какой?..— и возьмёт всё равно. Малюют художники и ковры с красавицами, плавающими в гондолах, с лебедями, закатами и замками — всё это очень хорошо потребляется товарищами офицерами. Не будь дураки, художники тайком пишут такие коврики и для себя, и надзиратели исполу продают их на внешнем рынке. Спрос большой. Вообще художникам жить в лагере можно.

Скульпторам — хуже. Скульптура для кадров МВД — не такая красивая, не привычная, чтобы поставить, да и место занимает мебели, а толкнёшь — разобьётся. Редко работают в лагере скульпторы и уж обычно по совместительству с живописью, как Недов. И то зайдёт майор Бакаев, увидит статуэтку матери:

— Ты что это плачущую мать сделал? В нашей стране матери не плачут! — и тянется разбить фигуру.

Володя Клемпнер, молодой композитор, сын состоятельного адвоката, а по лагерным понятиям ещё и *небитый фрей,* взял в Бескудниковский подмосковный лагерь из дому собственный рояль (неслыханное событие на Архипелаге)! Взял как бы для укрепления культмассовой работы, а на самом деле — чтобы самому сочинять. Зато был у него всегда ключ к лагерной сцене, и после отбоя он там играл при свече (электричество выключали). Однажды он так играл, записывал свою новую сонату, и вздрогнул от голоса сзади:

— Кан-да-лами ваша музыка пахнет!

Клемпнер вскочил. От стены, где стоял, подкравшись, теперь двигался на свечу майор, начальник лагеря, старый чекист,— и за ним росла его гигантская чёрная тень. Теперь-то понял майор, зачем этот обманщик выписал рояль. Он подошёл, взял нотную запись и молча, мрачно стал жечь на свече.

— Что вы делаете? — не мог не вскрикнуть молодой композитор.

— *Туда* вашу музыку! — ещё более определённо назначил через стиснутые зубы майор.

Пепел отпал от листа и мягко опустился на клавиши.

Старый чекист не ошибся: эта соната действительно писалась о лагерях. *

Если объявится в лагере поэт,— разрешается ему под карикатурами на заключённых делать подписи и сочинять частушки — тоже про нарушителей дисциплины.

Другой темы ни у поэта, ни у композитора быть не может. И для начальства своего они не могут сработать ничего ощутимого, полезного, в руки взять.

А прозаиков и вовсе в лагере не бывает, потому что не должно их быть никогда.

Когда русская проза ушла в лагеря,

— догадался советский поэт. Ушла — да назад не пришла. Ушла — да не выплыла...

Обо всём объёме происшедшего, о числе погибших и об уровне, которого они могли достичь,— нам никогда уже не вынести суждения. Никто не расскажет нам о тетрадках, поспешно сожжённых перед этапом, о готовых отрывках и о больших замыслах, носимых в головах и вместе с головами сброшенных в мёрзлый общий могильник. Ещё стихи читаются губами к уху, ещё запоминаются и передаются они или память о них,— но прозу не рассказывают прежде времени, ей выжить трудней, она слишком крупна, негибка, слишком связана с бумагой, чтобы пройти ей превратности Архипелага. Кто может в лагере решиться *писать*? Вот А. Белинков написал — и досталось куму, а ему — срок рикошетом. Вот М. И. Калининна, никакая не писательница, всё же в записную книжку записывала примечательное из лагерной жизни: «авось, кому-нибудь пригодится». Но — попало к оперу. А её — в карцер (и дёшево ещё отделалась). Вот Владимир Сергеевич Г-в, будучи бесконвойным, там, за зоной, писал где-то 4 месяца лагерную летопись,— но в опасную минуту зарыл в землю, а сам оттуда был угнан навсегда,— так и осталась в земле. И в зоне нельзя, и за зоной нельзя, где же можно? В голове только! но так пишутся стихи, не проза.

Сколько погибло нас, питомцев Клио и Каллиопы, нельзя никакой экстраполяцией рассчитать по нескольким уцелевшим нам — потому что не было вероятности выжить и нам. (Перебирая, например, свою лагерную жизнь, я уверенно вижу, что должен был на Архипелаге умереть — либо уж так приспособиться выжить, что заглохла бы и нужда писать. Меня спасло побочное обстоятельство — математика. Как это использовать при подсчётах?)

Всё то, что называется нашей прозой с 30-х годов,— есть только пена от ушедшего в землю озера. Это — пена, а не проза, потому что она освободила себя ото всего, что было главное в тех десятилетиях. Лучшие из писателей подавили в себе лучшее и отвернулись от правды — и

* Вскоре нашли повод мотать Володе новое лагерное дело и послали его на следствие в Бутырки. В свой лагерь он больше не вернулся, и рояля ему назад, разумеется, не выдали. Да и выжил ли он сам? — не знаю, что-то нет его.

только так уцелели сами и книги их. Те же, кто не мог отказаться от глубины, особенности и прямизны,— неминуемо должны были сложить голову в эти десятилетия — чаще всего через лагерь, иные через безрассудную смелость на фронте.

Так ушли в землю прозаики-философы. Прозаики-историки. Прозаики-лирики. Прозаики-импрессионисты. Прозаики-юмористы.

А между тем именно Архипелаг давал единственную, исключительную возможность для нашей литературы, а может быть — для мировой. Небывалое крепостное право в расцвете XX века в этом одном, ничего не искупающем смысле открывало для писателей плодотворный, хотя и гибельный путь.

Я осмелюсь пояснить эту мысль в самом общем виде. Сколько ни стоит мир, до сих пор всегда были два несливаемых слоя общества: верхний и нижний, правящий и подчинённый. Это деление грубо, как все деления, но если к верхним относить не только высших по власти, деньгам и знатности, но также и по образованности, полученной семейными ли, своими ли усилиями, одним словом всех, кто не нуждался работать руками,— то деление будет почти сквозным.

И тогда мы можем ожидать существования четырёх сфер мировой литературы (и искусства вообще, и мысли вообще). Сфера первая: когда верхние изображают (описывают, обдумывают) верхних же, то есть себя, своих. Сфера вторая: когда верхние изображают, обдумывают нижних, «младшего брата». Сфера третья: когда нижние изображают верхних. Сфера четвёртая: нижние — нижних, себя.

У верхних всегда был досуг, избыток или скромный достаток, образование, воспитание. Желающие из них всегда могли овладеть художественной техникой и дисциплиной мысли. Но есть важный закон жизни: довольство убивает в человеке духовные поиски. Оттого сфера первая заключала в себе много сытых извращений искусства, много болезненных и самолюбивых «школ» — пустоцветов. И только когда в эту сферу вступали писатели, глубоко несчастные лично или с непомерным напором духовного поиска от природы,— создавалась великая литература.

Сфера четвёртая — это весь мировой фольклор. Здесь был дробен досуг — дифференциалами доставался он отдельным личностям. И дифференциалами были безымянные вклады — непреднамеренно, в удачную минуту прозрением сложившийся образ, оборот слов. Но самих творцов было бесчисленно много, и это были почти всегда утеснённые неудовлетворённые люди. Всё созданное проходило потом стотысячную отборку, промывку и шлифовку от уст к устам и от года к году. И так получили мы золотое отложение фольклора. Он не бывает пуст, бездушен — потому что среди авторов его не было не знакомых со страданием. Относящаяся же к сфере четвёртой письменность («пролетарская», «крестьянская») — вся зародышевая, неопытна, неудачна, потому что единичного умения здесь всегда не хватало.

Теми же пороками неопытности страдала и письменность сферы третьей («снизу вверх»), но пуще того — она была отравлена завистью и ненавистью — чувствами бесплодными, не творящими искусства. Она делала ту же ошибку, что и постоянная ошибка революционеров: приписывать пороки высшего класса — ему, а не человечеству, не представлять, как успешно они сами потом эти пороки наследуют. Или же, напротив, была испорчена холопским преклонением.

Морально самой плодотворной обещала быть сфера вторая («сверху вниз»). Она создавалась людьми, чья доброта, порывы к истине, чувство справедливости оказывались сильней их дремлющего благополучия, и, одновременно, чьё художество было зрело и высоко. Но вот был порок этой сферы: неспособность понять доподлинно. Эти авторы сочувствовали, жалели, плакали, негодовали — но именно потому они не могли т о ч н о п о н я т ь. Они всегда смотрели со стороны и сверху, они никак не были в шкуре нижних и кто переносил одну ногу через этот забор, не мог перебросить второй.

Видно уж такова эгоистическая природа человека, что перевоплощения этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в работе и Достоевский на каторге. В Архипелаге же ГУЛАГе этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу.

Миллионы русских интеллигентов бросили сюда не на экскурсию: на увечья, на смерть, и без надежды на возврат. Впервые в истории такое множество людей развитых, зрелых, богатых культурой оказалось без

придумки и навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтёра. Так впервые в мировой истории (в таких масштабах) *слились* опыт верхнего и нижнего слоёв общества! Растаяла очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде перегородка, мешавшая верхним понять нижних: жалость. Жалость двигала благородными соболезнователями прошлого (и всеми просветителями) — и жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения, что они сами не делят этой доли, и оттого они считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости, упуская при этом доосновное рассмотрение человеческой природы нижних, верхних, всех.

Только у интеллигентных зэков Архипелага эти угрызения наконец отпали: они полностью делили злую долю народа! Только сам став крепостным, русский образованный человек мог теперь (да если поднимался над собственным горем) писать крепостного мужика *изнутри*.

Но теперь не стало у него карандаша, бумаги, времени и мягких пальцев. Но теперь надзиратели трясли его вещи, заглядывали ему в пищеварительный вход и выход, а оперчекисты — в глаза...

Опыт верхнего и нижнего слоёв слились — но носители слившегося опыта умерли...

Так невиданная философия и литература ещё при рождении погреблись под чугунной коркой Архипелага.

* * *

А гуще всего среди посетителей КВЧ — участников художественной самодеятельности. Это отправление — руководить самодеятельностью, осталось и за одряхлевшим КВЧ, как было за молодым. * На отдельных островах возникала и исчезала самодеятельность приливами и отливами, но не закономерными, как морские, а судорожно, по причинам, которые знало начальство, а зэки нет, может быть начальнику КВЧ раз в полгода что-то надо было в отчёте поставить, может быть ждали кого-нибудь сверху.

На глухих лагпунктах это делается так. Начальник КВЧ (которого и в зоне-то обычно не видно, вместо него всё крутит заключённый воспитатель) вызывает аккордеониста и говорит ему:

— Вот что. Обеспечь хор! ** И чтоб через месяц выступать.

— Так я ж нот не знаю, гражданин начальник!

— А на черта тебе ноты? Ты играй песню, какую все знают, а остальные пусть подпевают.

И объявляется набор, иногда вместе с драмкружком. Где ж им

---

* Всеобщая забота о художественной самодеятельности в нашей стране, на что уходят не такие уж малые средства, имеет, конечно, умысел, но какой? Сразу не скажешь. То ли — оставшаяся инерция от однажды провозглашённого в 20-е годы. То ли, как спорт, обязательное средство отвлечения народной энергии и интереса. То ли верит кто-то, что эти песенки и скетчи содействуют нужной обработке чувств?

** В первостепенном воспитательном значении именно хора политическое начальство и в армии и на воле убеждено суеверно. Остальная самодеятельность хоть захирей, но чтобы был хор! — поющий коллектив. Песни легко проверить, все наши. А что поёшь — в то и веришь.

заниматься? Комната КВЧ для этого мала, надо попросторней, а уж клубного зала конечно нет. Обычен для этого удел лагерных столовых — постоянно провонявшихся паром баланды, запахом гнилых овощей и варёной трески. В одной стороне столовой — кухня, а в другой — или постоянная сцена или временный помост. Здесь-то после ужина и собирается хор и драмкружок. (Обстановка — как на рисунке А. Г-на **(ф. 31)**. Только художник изобразил не свою местную самодеятельность, а приезжую культбригаду. Сейчас соберут последние миски, выгонят последних доходяг — и запустят зрителей. Читатель сам видит, сколько радости у крепостных артисток.)

Чем же заманить в самодеятельность зэков? Ну, на полтысячи человек в зоне может быть есть 3-4 настоящих любителей пения,— но из кого же хор? А встреча на хоре и есть главная заманка для смешанных зон. Назначенный хормейстером А. Сузи удивлялся, как непомерно растёт его хор, так что ни одной песни он не может разучить до конца,— валят всё новые и новые участники, голосов никаких, никогда не пели, но все просят, и как было бы жестоко им отказать, не посчитаться с проснувшейся тягой к искусству! Однако на самих репетициях хористов оказывалось гораздо меньше. (А дело было в том, что разрешалось участникам самодеятельности два часа после отбоя передвигаться по зоне — на репетицию и с репетиции, и вот в эти-то два часа они своё добирали.)

Не хитро было и такому случиться: перед самым концертом единственного в хоре баса отправляли на этап (этап шёл не по тому ведомству, что концерт), а хормейстера (того же Сузи) отзывал начальник КВЧ и говорил:

— Что вы потрудились — мы это ценим, но на концерт мы вас выпускать не можем, потому что Пятьдесят Восьмая не имеет права руководить хором. Так подготовьте себе заместителя: руками махать — это ж не голос, найдёте.

А для кого-то хор и драмкружок были не просто местом встречи, но опять-таки подделкой под жизнь, или не подделкой, а напоминанием, что жизнь всё-таки бывает, вообще — бывает... Вот приносится со склада грубая бурая бумага от мешка с крупой — и раздаётся для переписки ролей. Заветная театральная процедура! А само распределение ролей! А соображение, кто с кем будет по спектаклю целоваться! Кто что наденет! Как загримируется! Как будет интересно выглядеть! В вечер спектакля можно будет взять в руки настоящее зеркало и увидеть себя в настоящем вольном платьи и с румянцем на щеках.

Очень интересно обо всём этом мечтать, но Боже мой — пьесы! Что там за пьесы! Эти специальные сборники, помеченные грифом *«только внутри ГУЛАГа!»* Почему же — только? Не кроме воли ещё и в ГУЛАГе, а — только в ГУЛАГе?.. Это значит: уж такая наболтка, такое свиное пойло, что и на воле его не хлебают, так лей сюда. Это уж самые глупые и бездарные из авторов пристроили свои самые мерзкие и вздорные пьесы! А кто бы захотел поставить чеховский водевиль или другое что-нибудь — так ведь ещё эту пьесу где найти? Её и у вольных во всём посёлке нет, а в лагерной библиотеке есть Горький, да и то страницы на курево вырваны.

Вот в кривощёковском лагере собирает драмкружок Н. Давиденков, литератор. Достаёт он откуда-то пьеску необычайную: патриотическую,

о пребывании Наполеона в Москве (да уж наверно на уровне ростопчинских афишек). Распределили роли, с энтузиазмом кинулись репетировать — кажется, что бы могло помешать? Главную роль играет Зина, бывшая учительница, арестованная после того, как оставалась на оккупированной территории. Играет хорошо, режиссёр доволен. Вдруг на одной из репетиций — скандал: остальные женщины восстают против того, чтобы Зина играла главную роль. Сам по себе случай традиционный, и режиссёр может с ним справиться. Но вот что кричат женщины: «Роль патриотическая, а она на оккупированной территории с немцами...! Уходи, гадюка! Уходи б... немецкая, пока тебя не растоптали!» Эти женщины — социально-близкие, а может быть и из Пятьдесят Восьмой, да только пункт не изменнический. Сами ли они придумали, подучила ли их оперчасть? Но режиссёр, при своей статье, не может защитить артистку... И Зина уходит в рыданиях.

Читатель сочувствует режиссёру? Читатель думает, что вот кружок попал в безвыходное положение, и кого ж теперь ставить на роль героини, и когда ж её учить? Но нет безвыходных положений для оперчекистской части. Они запутают — они ж и распутают! Через два дня и самого Давиденкова уводят в наручниках: за попытку передать за зону что-то письменное (опять летопись?), будет новое следствие и суд.

Это — лагерное воспоминание о нём. С другой стороны случайно выяснилось: Л. К. Чуковская знала Колю Да́виденкова по тюремным ленинградским очередям 1939 года, когда он по концу ежовщины был оправдан обыкновенным судом, а его одноделец Л. Гумилёв продолжал сидеть. В институте молодого человека не восстановили, взяли в армию. В 1941 под Минском он попал в плен.

О жизни его в годы войны Л. Чуковская имела сведения неверные, а на Западе меня поправили люди, знавшие тут его. Кто уходил из лагеря военнопленных и все сгорали тут, в месяц, год, а Давиденков вдвое: был капитаном РОА, сражался, имел невесту (Н. В. К., осталась на Западе) и книги писал, видимо не одну,— и о ленинградских застенках 1938, и «Предатель», военного времени повесть под псевдонимом Анин (оборот имени невесты). Но в конце войны попал в советские лапы. Может быть, не всё о нём было известно — приговорили к расстрелу, но заменили на 25 лет. Очевидно по второму лагерному делу он получил расстрел, уже не заменённый (уже возвращённый нам Указом января 1950).

В мае 1950 Давиденков сумел послать своё последнее письмо из лагерной тюрьмы. Вот несколько фраз оттуда: «Невозможно описывать невероятную мою жизнь за эти годы... Цель у меня другая: за 10 лет кое-что у меня сделано; проза, конечно, вся погибла, а стихи остались. Почти никому я их ещё не читал — некому. Вспомнил наши вечера у Пяти Углов и... представил себе, что стихи должны попасть... в Ваши умные и умелые руки... Прочтите, и если можно сохраните. О будущем, так же, как о прошедшем,— ни слова, всё кончено.» И стихи у Л. К. целы. Как я узнаю (сам как лепил) эту мелкость — три десятка стихов на двойном тетрадном листе — в малом объёме надо столько вместить! Надо представить это отчаяние у конца жизни: ожидание смерти в лагерной тюрьме! И «левой» почте он доверяет свой последний безнадёжный крик.

Не надо чистого белья,
Не открывайте дверь!
Должно быть в самом деле я
Заклятый дикий зверь!
Не знаю, как мне с вами быть
И как вас величать:
По-птичьи петь, по-волчьи выть,
Реветь или рычать...?

Итак, никого назначать на главную роль не нужно. Наполеон не будет ещё раз посрамлён, русский патриотизм — ещё раз восславлен. Пьесы вообще не будет. Не будет и хора. И концерта не будет. Итак,

самодеятельность пошла в отлив. Вечерние сборы в столовой и любовные встречи прекращаются. До следующего прилива.

Так судорогами она и живёт.

А иногда уже всё отрепетировано, и все участники уцелели, и никто перед концертом не арестован, но начальник КВЧ майор Потапов (СевЖелДорЛаг), комяк, берёт программу и видит: «Сомнение» Глинки.

— Что-что? Сомнение? Никаких сомнений! Нет-нет, и не просите! — и вычёркивает своей рукой.

А я надумал прочесть мой любимый монолог Чацкого — «А судьи кто?» Я с детства привык его читать и оценивал чисто декламационно, я не замечал, что он — о сегодняшнем дне, у меня и мысли такой не было. Но не дошло до того, чтобы писать в программе «А судьи кто?», и вычеркнули бы,— пришёл на репетицию начальник КВЧ и подскочил уже на строчке:

«К свободной жизни их вражда непримирима».

Когда же я прочёл:

«Где, укажите нам, отечества отцы...
Не эти ли, грабительством богаты?..» —

он и ногами затопал и показывал, чтоб я сию минуту со сцены убирался.

Я в юности едва не стал актёром, только слабость горла помешала. Теперь же, в лагере, то и дело выступал в концертах, тянулся освежиться в этом коротком неверном забвении, увидеть близко женские лица, возбуждённые спектаклем. А когда услышал, что существуют в ГУЛАГе особые театральные труппы из зэков, освобождённых от общих работ,— подлинные крепостные театры! — возмечтал я попасть в такую труппу и тем спастись и вздохнуть легче.

Крепостные театры существовали при каждом областном УИТЛК, и в Москве их было даже несколько. Самый знаменитый был — ховринский крепостной театр полковника МВД Мамулова. Мамулов следил ревниво, чтоб никто из арестованных в Москве заметных артистов не проскочил бы через Красную Пресню. Его агенты рыскали и по другим пересылкам. Так собрал он у себя большую драматическую труппу и начатки оперной. Это была гордость помещика: у меня лучше театр, чем у соседа! В бескудниковском лагере тоже был театр, но много уступал. Помещики возили своих артистов друг к другу в гости, хвастаться. На одном таком спектакле Михаил Гринвальд забыл, в какой тональности аккомпанировать певице. Мамулов тут же отпустил ему 10 суток холодного карцера, где Гринвальд заболел.

Такие крепостные театры были на Воркуте, в Норильске, в Соликамске, в Магадане, на всех крупных гулаговских островах. Там эти театры становились почти городскими, едва ли не академическими, они давали в городском здании спектакли для вольных. В первых рядах надменно садились с жёнами самые крупные местные эмведешники и смотрели на своих рабов с любопытством и презрением. А конвоиры сидели с автоматами за кулисами и в ложах. После концерта артистов, отслушавших аплодисменты, везли в лагерь, а провинившихся — в кар-

цер. Иногда и аплодисментами не давали насладиться. В магаданском театре Никишев, начальник Дальстроя, обрывал Вадима Козина, широко известного тогда певца: «Ладно, Козин, нечего раскланиваться, уходи!» (Козин пытался повеситься, его вынули из петли.)

В послевоенные годы через Архипелаг прошли артисты с известными именами: кроме Козина — артистки кино Токарская, Окуневская, Зоя Фёдорова. Много шума было на Архипелаге от посадки Руслановой, шли противоречивые слухи, на каких она сидела пересылках, в какой лагерь отправлена. Уверяли, что на Колыме она отказалась петь и работала в прачечной. Не знаю.

Кумир Ленинграда тенор Печковский в начале войны попал под оккупацию на своей даче под Лугой, затем при немцах давал концерты в Прибалтике. (Его жену, пианистку, тотчас же арестовали в Ленинграде, она погибла в рыбинском лагере.) После войны Печковский получил десятку за измену и отправлен в ПечЖелДорЛаг. Там начальник содержал его как знаменитость: в отдельном домике с двумя приставленными дневальными, в паёк ему входило сливочное масло, сырые яйца и горячий портвейн. В гости он ходил обедать к жене начальника лагеря и к жене начальника режима. Там он пел, но однажды, говорят, взбунтовался: «Я пою для народа, а не для чекистов»,— и так попал в Особый Минлаг. (После срока ему уже не пришлось подняться к прежним концертам в Ленинграде.)

Известный пианист Всеволод Топилин не был пощажён при сгоне московского народного ополчения и брошен с берданкой 1866 года в вяземский мешок. * Но в плену его пожалел поклонник музыки немецкий майор, комендант лагеря,— он помог ему оформиться остовцем и так начать концертировать. За это, разумеется, Топилин получил у нас стандартную десятку. (После лагеря он тоже не поднялся.)

Ансамбль Московского УИТЛК, который разъезжал по лагпунктам, давая концерты, а жил на Матросской Тишине, вдруг переведен был на время к нам, на Калужскую заставу. Какая удача! Вот теперь-то я с ними познакомлюсь, вот теперь-то я к ним пробьюсь!

О, странное ощущение! Смотреть в лагерной столовой постановку профессиональных актёров-зэков! Смех, улыбки, пение, белые платьица, чёрные сюртуки... Но — какие сроки у них? Но по каким статьям они сидят? Героиня — воровка? или — по «общедоступной»? Герой — дача взятки? или «семь восьмых»? У обычного актёра перевоплощение только одно — в роль. Здесь двойная игра, двойное перевоплощение: сперва изобразить из себя свободного артиста, а потом — изобразить роль. И этот груз тюрьмы, это сознание, что ты — крепостной, что завтра же гражданин начальник за плохую игру или за связь с другой крепостной актрисой может послать тебя в карцер, на лесоповал или услать за десять тысяч вёрст на Колыму,— каким дополнительным жерновом должно оно лечь к тому грузу, который актёр-зэк разделяет с вольными,— к разрушительному, с напряжением

* Весь этот перепуг с ополчением — какая же осатанелая паника! Бросать городских интеллигентов с берданками прошлого века против современных танков! Двадцать лет дмились, что «готовы», что сильны,— но в животном ужасе перед наступающими немцами заслонялись телами учёных и артистов, чтоб только уцелело лишние дни своё руководящее ничтожество.

лёгких и горла проталкиванию через себя драматизованной советской пустоты, механической пропаганды неживых идей?

Героиня ансамбля Нина В. оказалась по 58-10, 5 лет. Мы быстро нашли с ней общего знакомого — её и моего учителя на искусствоведческом отделении МИФЛИ. Она была недоучившаяся студентка, молода совсем. Злоупотребляя правами артистки, портила себя косметикой и теми гадкими накладными ватными плечами, которыми тогда на воле все женщины себя портили, женщин же туземных миновала эта участь, и плечи их развивались только от носилок.

В ансамбле у Нины был, как у всякой примы, свой возлюбленный (танцор Большого театра), но был ещё и духовный отец в театральном искусстве — Освальд Глазунов (Глазнек), один из самых старых вахтанговцев. Он и жена его были (может, и хотели быть) захвачены немцами на даче под Истрой. Три года войны они пробыли у себя на маленькой родине в Риге, играли в латышском театре. С приходом наших оба получили по десятке за измену большой Родине. Теперь оба были в ансамбле.

Изольда Викентьевна Глазнек уже старела, танцевать ей становилось трудно. Один только раз мы видели её в каком-то необычном для нашего времени танце, назвал бы я его импрессионистическим, да боюсь не угодить знатокам. Танцевала она в посеребрённом тёмном закрытом костюме на полуосвещённой сцене. Очень запомнился мне этот танец. Большинство современных танцев — показ женского тела, и на этом почти всё. А её танец был какое-то духовное мистическое напоминание, чем-то перекликался с убеждённой верой И. В. в переселение душ.

А через несколько дней внезапно, по-воровски, как всегда готовятся этапы на Архипелаге, Изольда Викентьевна была взята на этап, оторвана от мужа, увезена в неизвестность.

Это у помещиков-крепостников была жестокость, варварство: разлучать крепостные семьи, продавать мужа и жену порознь. Ну, зато ж и досталось им от Некрасова, Тургенева, Лескова, ото всех. А у нас это была не жестокость, просто разумная мера: старуха не оправдывала своей пайки, занимала штатную единицу.

В день этапа жены Освальд пришёл к нам в комнату (уродов) с блуждающими глазами, опираясь о плечо своей хрупкой приёмной дочери, как будто только одна она ещё его и поддерживала. Он был в состоянии полубезумном, можно было опасаться, что и с собой кончит. Потом молчал, опустил голову. Потом постепенно стал говорить, вспоминать всю жизнь: создавал зачем-то два театра, из-за искусства на годы оставлял жену одну. Всю жизнь хотел бы он теперь прожить иначе...

Я скульптурно запомнил их: как старик притянул к себе девушку за затылок, и она из-под руки, не шевелясь, смотрела на него сострадающе и старалась не плакать.

Ну, да что говорить,— старуха не оправдывала своей пайки...

Сколько я ни бился — попасть в тот ансамбль мне не удалось. Вскоре они уехали с Калужской, и я потерял их из виду. Годом позже в Бутырках дошёл до меня слух, что ехали они на грузовике на очередной концерт и попали под поезд. Не знаю, был ли там Глазнек. В отношении же себя я ещё раз убедился, что неисповедимы пути Господни.

Что никогда мы сами не знаем, чего хотим. И сколько уже раз в жизни я страстно добивался не нужного мне и отчаивался от неудач, которые были удачами.

Остался я в скромненькой самодеятельности на Калужской с Анечкой Бреславской, Шурочкой Острецовой и Лёвой Г-маном. Пока нас не разогнали и не разослали, мы что-то там ставили. Своё участие в этой самодеятельности я вспоминаю сейчас как духовную неокреплость, как унижение. Ничтожный лейтенант Миронов мог в воскресенье вечером, не найдя других развлечений в Москве, приехать в лагерь навеселе и приказать: «Хочу через десять минут концерт!» Артистов поднимали с постели, отрывали от лагерной плиты, кто там сладострастно что-то варил в котелке,— и вскоре на ярко освещённой сцене перед пустым залом, где только сидел надменный глупый лейтенант да тройка надзирателей, мы пели, плясали и изображали.

Глава 19

ЗЭКИ КАК НАЦИЯ

(Этнографический очерк Фан Фаныча)

В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное научное открытие.

При развитии своей гипотезы мы бы никак не хотели прийти в противоречие с Передовым Учением.

Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего Архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал обильный материал.

В результате нам ничего не стоит сейчас доказать, что *зэки* Архипелага составляют *класс* общества. Ведь эта многочисленная (многомиллионная) группа людей имеет единое (общее для всех них) отношение к производству: (именно: подчинённое, закреплённое и без всяких прав этим производством руководить). Также имеет она единое общее отношение и к распределению продуктов труда (именно: никакого отношения, получает лишь ничтожную долю продуктов, необходимую для худого поддержания собственного существования). Кроме того, вся работа их — не мелочь, а одна из главных составных частей всей государственной экономики. *

По нашему честолюбию этого уже мало.

Гораздо сенсационнее было бы доказать, что эти опустившиеся существа (в прошлом — безусловно люди) являются совсем *иным биологическим типом* по сравнению с Homo sapiens. (Может быть как раз — недостающим для теории эволюции промежуточным звеном.) Однако, эти выводы у нас ещё не все готовы. Здесь можно читателю только намекнуть. Вообразите, что человеку пришлось бы внезапно и вопреки желанию, но с неотклонимой необходимостью и без надежды на возврат, перейти в разряд медведей или барсуков (уж не используем затрёпанного по метафорам волка) и оказалось бы, что телесно он выдюживает (кто сразу ножки съёжит, с того и спроса нет),— так вот мог ли бы он, ведя новую жизнь, всё же остаться среди барсуков — человеком? Думаем, что нет, так и стал бы барсуком: и шерсть бы выросла, и заострилась бы морда, и уже не надо было бы ему вареного-жареного, а вполне бы он лопал сырое.

Представьте же, что островная среда так резко отличается от обычной человеческой и так жестоко предлагает человеку или немедленно приспособиться или немедленно умереть,— что мнёт и жуёт характер его куда решительней, чем чужая национальная или чужая социальная среда. Это только и можно сравнить с переходом именно в животный мир.

Но это мы отложим до следующей работы. А здесь поставим себе

---

* Этого никак не скажешь об отверженных в западных странах. Там они — либо порознь томящиеся одиночки и вовсе не работают, либо — немногочисленные гнёзда каторги, труд которых не отзывается на экономике своей страны.

такую ограниченную задачу: доказать, что зэки составляют особую отдельную *нацию*.

Почему в обычной жизни классы не становятся нациями в нации? Потому что они живут территориально перемешанно с другими классами, встречаются с ними на улицах, в магазинах, поездах и пароходах, в зрелищах и общественных увеселениях, и разговаривают, и обмениваются идеями через голос и через печать. Зэки живут, напротив, совершенно обособленно, на своих островах, их жизнь проходит в общении только друг с другом (вольных работодателей большинство их даже не видит, а когда видит, то ничего кроме приказаний и ругательств не слышит). Ещё углубляется их отобщённость тем, что у большинства нет ясных возможностей покинуть это состояние прежде смерти, то есть, выбиться в другие, более высокие классы общества.

Кто из нас ещё в средней школе не изучал широко-известного единственно-научного определения нации, данного товарищем Сталиным: нация — это исторически сложившаяся (но не расовая, не племенная) общность людей, имеющих общую территорию; общий язык; общность экономической жизни; общность психического склада, проявляющегося в общности культуры. Так всем этим требованиям туземцы Архипелага вполне удовлетворяют! — и даже ещё гораздо больше! (Нас особенно освобождает здесь гениальное замечание товарища Сталина, что расово-племенная общность крови совсем не обязательна.)

Наши туземцы занимают вполне определённую о б щ у ю т е р р и т о р и ю (хотя и раздробленную на острова, но в Тихом же океане мы этому не удивляемся), где другие народы не живут. Э к о н о м и ч е с к и й у к л а д их однообразен до поразительности: он весь исчерпывающе описывается на двух машинописных страницах (котловка и указание бухгалтерии, как перечислять мнимую зарплату зэков на содержание зоны, охраны, островного руководства и государства). Если включать в экономику и бытовой уклад, то он до такой степени единообразен на островах (но нигде больше!), что переброшенные с острова на остров зэки ничему не удивляются, не задают глупых вопросов, а сразу безошибочно действуют на новом месте («питаться на научной основе, воровать как сумеешь»). Они едят пищу, которой никто больше на земле не ест, носят одежду, которой никто больше не носит, и даже распорядок дня у них — един по всем островам и обязателен для каждого зэка. (Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единые распорядок дня, пищу и одежду?)

Что понимается в научном определении нации под общностью к у л ь т у р ы — там недостаточно расшифровано. Единство науки и изящной литературы мы не можем требовать от зэков по той причине, что у них нет письменности. (Но ведь это — почти у всех островных туземных народов, у большинства — по недостатку именно культуры, у зэков — по избытку цензуры.) Зато мы с преизбытком надеемся показать в нашем очерке — общность психологии зэков, единообразие их жизненного поведения, даже единство философских взглядов, о чём можно только мечтать другим народам и что не оговорено в научном определении нации. Именно ясно выраженный *народный характер* сразу замечает исследователь у зэков. У них есть и свой фольклор, и свои образы героев. Наконец, тесно объединяет их ещё один уголок культуры,

который уже неразрывно сливается с языком, и который мы лишь приблизительно можем описать бледным термином *матерщина* (от латинского mater). Это — та особая форма выражения эмоций, которая даже важнее всего остального языка, потому что позволяет зэкам общаться друг с другом в более энергичной и короткой форме, чем обычные языковые средства. * Постоянное психологическое состояние зэков получает наилучшую разрядку и находит себе наиболее адекватное выражение именно в этой высоко-организованной матерщине. Поэтому весь прочий язык как бы отступает на второй план. Но и в нём мы наблюдаем удивительное сходство выражений, одну и ту же языковую логику от Колымы и до Молдавин.

Язык туземцев Архипелага без особого изучения так же непонятен постороннему, как и всякий иностранный язык. (Ну, например, может ли читатель понять такие выражения, как:

— сблочивай лепе́нь!

— я ещё клы́каю;

— дать набой (о чём);

— лепить от фонаря;

— петушок к петушку, раковые шейки в сторону!?)

Всё сказанное и разрешает нам смело утверждать, что туземное состояние на Архипелаге есть особое национальное состояние, в котором гаснет прежняя национальная принадлежность человека.

Предвидим такое возражение. Нам скажут: но народ ли это, если он пополняется не обычным способом деторождения? (Кстати, в единственно-научном определении нации это условие не оговорено!) Ответим: да, он пополняется техническим способом *посадки* (а своих собственных детёнышей по странной прихоти отдаёт соседним народам). Однако, ведь цыплят выводят в инкубаторе — и мы же не перестаём от этого считать их курами, когда пользуемся их мясом?

Но если даже возникает какое-то сомнение в том, как зэки начинают существование, то в том, как они его *прекращают*, сомненья быть не может. Они умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременней. И похоронный обряд их мрачен, скуп и жесток.

Два слова о самом термине зэки. До 1934 года официальный термин был *лишённые* свободы. Сокращалось это «л/с», и осмысливали ли туземцы себя по этим буквочкам как «элэсов» — свидетельств не сохранилось. Но с 1934 года термин сменили на «заключённые» (вспомним, что Архипелаг уже начинал каменеть и даже официальный язык приспосабливался, он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше *свободы*, чем тюрьмы). Сокращённо стали писать: для единственного числа «з/к» (зэ-ка́), для множественного — з/к з/к (зэ-ка зэ-ка). Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, всеми слышалось, все привыкли. Однако казённо рождённое слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам, оно было достойным дитём мёртвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышлёных туземцев не могло с этим мириться, и, посмеиваясь, на разных островах, в разных местностях стали его по-разному к себе переиначи-

---

* Экономность этого способа общения заставляет задуматься, нет ли тут зачатков Языка Будущего?

вать: в одних местах говорили «Захар Кузьмич», или (Норильск) «заполярные комсомольцы», в других (Карелия) больше «зак» (это верией всего этимологически), в иных (Инта) — «зык». Мне приходилось слышать «зэк». * Во всех этих случаях оживлённое слово начинало склоняться по падежам и числам. (А на Колыме, настаивает Шаламов, так и держалось в разговоре «зэ-ка». Остаётся пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо.) Пишем же мы это слово через «э», а ие через «е» потому, что иначе нельзя обеспечить твёрдого произношения звука «з».

* * *

Климат Архипелага — всегда поляриый, даже если островок затесался и в южные моря. Климат Архипелага — *двенадцать месяцев зима, остальное лето*. Самый воздух обжигает и колет, и не только от мороза, ие только от природы.

Одеты зэки даже и летом в мягкую серую броню телогреек. Одно это вместе со сплошною стрижкою голов у мужчин придаёт им единство внешнего вида: осуровленность, безличность. Но даже немного понаблюдав их, вы будете поражены также и общностью выражеиий их лиц — всегда настороженных, неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко переходящих в решительиость и даже жестокость. Выражеиия их лиц таковы, как если б оии были отлиты из этого смугломедного (зэки относятся, очевидно, к индейской расе), шершавого, почти уже и не телесного материала, для того, чтобы постояиио идти против встречного ветра, иа каждом шагу ещё ожидая укуса слева или справа. Также вы могли бы заметить, что в действии, работе и борьбе их плечи развёрнуты, груди готовы принять сопротивление, но как только зэк остаётся в бездействии, в одиночестве и в размышлениях — шея его перестаёт выдерживать тяжесть головы, плечи и спина сразу выражают необратимую сутулость, как бы даже прирождённую. Самое естественное положение, которое принимают его освободившиеся руки, это — соединиться в кистях за спиною, если ои идёт, либо уж вовсе повиснуть, если ои сидит. Сутулость и придавленность будут в нём и когда он подойдёт к вам — вольному человеку, а потому и возможиому начальству. Ои будет стараться не смотреть вам в глаза, а в землю, но если вынужден будет посмотреть,— вас поразит его тупой бестолковый взгляд, хотя и старательный к выполнению вашего распоряжения (впрочем, ие доверяйтесь: ои его не выполнит). Если вы велите ему снять шапку (или он сам догадается),— его обритый череп неприятно поразит вас антропологически — шишками, впадинами и ассиметричностью явно-дегенеративного типа.

В разговоре с вами он будет короткословен, говорить будет без выражения, монотоино-тупо либо с подобострастием, если ему о чём-нибудь нужио вас просить. Но если бы вам удалось как-нибудь невидимо подслушать туземцев, когда они между собой, вы пожалуй навсегда бы запомнили эту особую речевую манеру — как бы толкающую

* Старый соловчанин Д. С. Л. уверяет, что он в 1931 слышал, как конвоир спросил туземца: «Ты кто? — зэк?»

звуками, зло-насмешливую, требовательную и никогда не сердечную. Она настолько свойственна туземцам, что даже когда туземец остаётся наедине с туземкою (кстати, островными законами это строжайше воспрещено), то представить себе нельзя, чтоб он от этой манеры освободился. Вероятно и ей он высказывается так же толкающе-повелительно, никак нельзя вообразить зэка, говорящего нежные слова. Но и нельзя не признать за речью зэков большой энергичности. Отчасти это потому, что она освобождена от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде: «простите», «пожалуйста», «если вы не возражаете», также и от лишних местоимений и междометий. Речь зэка прямо идёт к цели, как сам он прёт против полярного ветра. Он говорит, будто лепит своему собеседнику в морду, бьёт словами. Как опытный боец старается сшибить противника с ног обязательно первым же ударом, так и зэк старается озадачить собеседника, сделать его немым, даже заставить захрипеть от первой же фразы. Встречный к себе вопрос он тут же отшибает начисто.

С этой отталкивающей манерой читатель даже и сегодня может встретиться в непредвиденных обстоятельствах. Например, на троллейбусной остановке при сильном ветре сосед сыпет вам крупным горячим пеплом на ваше новое пальто, грозя прожечь. Вы довольно наглядно стряхнули раз, он продолжает сыпать. Вы говорите ему:

— Послушайте, товарищ, вы бы с курением всё-таки поосторожней, а?..

Он же не только не извиняется, не предостерегается с папиросой, но коротко гавкает вам:

— А вы не застрахованы?

И пока вы ищете, что же ответить (ведь не найдёшься), он уже лезет раньше вас в троллейбус. Вот это очень всё похоже на туземную манеру.

Помимо прямых многослойных ругательств, зэки имеют, по-видимому, также и набор готовых выражений, онемляющих всякое разумное постороннее вмешательство и указание. Такие выражения как:

— Не подначивайте, я не вашего бога!

или

— Тебя не [гребут] — не подмахивай! — (Здесь в квадратных скобках мы поставили фонетический аналог другого, ругательного, слова, от которого и второй глагол во фразе сразу приобретает совершенно неприличный смысл.)

Подобные отбривающие выражения особенно неотразимо звучат из уст туземок, так как именно они собственно вольно используют для метафор эротическое основание. Мы сожалеем, что нравственные рамки не позволяют нам украсить исследование ещё и этими примерами. Мы осмелимся привести только ещё одну иллюстрацию подобной быстроты и ловкости зэков на язык. Некий туземец по фамилии Глик был привезен с обычного острова на особый, в закрытый научно-исследовательский институт (некоторые туземцы до такой степени развиты от природы, что даже годны для ведения научной работы), но по каким-то личным соображениям новое льготное место его не устраивало, а хотел он вернуться на свой прежний остров. Когда его вызвали перед лицо весьма авторитетной комиссии с крупными звёздами на погонах, и там ему объявили:

— Вот вы — инжеиер-радист, и мы хотим вас использовать...— он не дал им договорить «по специальности». Ои резко дёрнулся:

— *Использовать?* Так что — стать раком?

И взялся за пряжку брюк, и уже как бы сделал движение занять указанную позу. Естествеино, что комиссия оиемела, и никаких переговоров, ни уговоров ие состоялось. Глик был тут же отправлен.

Любопытно отметить, что сами туземцы Архипелага отлично сознают, что вызывают большой интерес со стороны антропологии и этнографии, и даже этим они бахвалятся, это как бы увеличивает их собственную ценность в своих глазах. Среди них распространеиа и часто рассказывается легенда-анекдот о том, что иекий профессор-этнограф, очевидно иаш предшественник, всю жизнь изучал породу зэков и написал в двух томах пухлое сочинеиие, где пришёл к тому окончательному выводу, что *арестант — ленив, обжорлив и хитёр* (здесь и рассказчик и слушатели довольио смеются, как бы любуясь собой со стороны). Но что якобы вскоре после этого посадили и самого профессора (очень иеприятный коиец, ио без виныу нас ие сажают, значит, что-то было). И вот, потолкавшись иа пересылках и *дойдя* на общих, профессор понял свою ошибку, ои понял, что на самом деле *арестант — звонкий, тонкий и прозрачный*. (Характеристика — весьма меткая и опять-таки в чём-то лестная. Все снова смеются.)

Мы уже говорили, что у зэков нет своей письменности. Но в личном примере старых островитян, в устиом предаиии и в фольклоре выработаи и передаётся новичкам весь кодекс *правильного* зэческого поведения, основиые заповеди в отиошеиии к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Весь этот вместе взятый кодекс, запечатлённый, осуществлёиный в нравственной структуре туземца, и даёт то, что мы иазываем *национальным типом зэка*. Печать этой принадлежиости втравливается в человека глубоко и иавсегда. Много лет спустя, если он окажется вие Архипелага, сперва в человеке узнаешь зэка, а лишь потом — русского или татариа, или поляка.

В дальнейшем изложении мы и постараемся черта за чертой оглядеть комплексно то, что́ есть иародный характер, жизненная психология и иормативиая этика иации зэков.

* * *

Отношение к казённой работе. У зэков абсолютио неверное представление, что работа призваиа высосать из них всю жизнь, зиачит, их главное спасение: работая, не отдать себя работе. Хорошо известно зэкам: всей работы не переделаешь (никогда не гонись за тем, что вот мол кончу побыстрей и присяду отдохнуть: как только присядешь, сейчас же дадут другую работу). *Работа дураков любит.*

Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще иельзя! — сгиоят в карцерах, сморят голодом. Выходить иа работу — неизбежно, но там-то, в рабочий деиь, иадо ие *вкалывать*, а «ковыряться», не *мантулить*, а *кантоваться, филонить* (то есть, не работать всё равио). Туземец ни от одного приказаиия не отказывается открыто, наотрез — это бы его погубило. Но он — *тянет резину*. «Тянуть резину» — одно из главнейших понятий и выражеиий Архипелага, это — главное спаси-

тельное достижение зэков (впоследствии оно широко перенято и работягами воли). Зэк выслушивает всё, что ему приказывают, и утвердительно кивает головой. И — уходит выполнять. Но — не выполняет! Даже чаще всего — и не начинает. Это иногда приводит в отчаяние целеустремлённых неутомимых командиров производства. Естественно возникает желание — кулаком его в морду или по захрястку, это тупое бессмысленное животное в лохмотьях,— ведь ему же русским языком было сказано!.. Что за беспонятливость? (Но в том-то и дело, что русский советский язык плохо понимается туземцами, ряду наших современных представлений — например «рабочая честь», «сознательная дисциплина» — на их убогом языке даже нет эквивалента.) Однако, едва наскочит начальник вторично — зэк покорно сгибается под ругательствами и тут же начинает выполнять. Сердце работодателя слегка отпускает, он идёт дальше по своим неотложным многочисленным руководящим делам — а зэк за его спиной сейчас же садится и бросает работу (если нет над ним бригадирского кулака или лишение хлебной пайки не угрожает ему сегодня же, а также если нет приманки в виде зачётов). Нам, нормальным людям, даже трудно понять эту психологию, но она такова.

Беспонятливость? Наоборот, высшая понятливость, приспобленная к условиям. На что он может рассчитывать? ведь работа сама не сделается, а начальник подойдёт ещё раз — будет хуже? А вот на что он рассчитывает: сегодня третий раз начальник скорей всего и не подойдёт. А до завтра ещё дожить надо. Ещё сегодня вечером зэка могут услать на этап, или перевести в другую бригаду, или положить в больничку, или посадить в карцер — а отработанное им тогда достанется другому? А завтра этого же зэка в этой бригаде могут перекинуть на другую работу. Или сам же начальник отменит, что делать этого не надо или совсем не так надо делать. От многих таких случаев усвоили зэки прочно: *не делай сегодня того, что можно сделать завтра*. На зэка *где сядешь, там и слезешь*. Опасается он потратить лишнюю калорию там, где её может быть удастся не потратить. (Понятие о калориях — у туземцев есть и очень популярно.) Между собою зэки так откровенно и говорят: *кто везёт, того и погоняют* (а кто, мол, не тянет, на того и рукой машут). В общем, работает зэк *лишь бы день до вечера*.

Но тут научная добросовестность заставляет нас признать и некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего потому, что лагерное правило «кто везёт, того и погоняют» оказывается одновременно и старой русской пословицей. Находим мы у Даля * также и другое чисто зэковское выражение: «живёт *как бы день к вечеру*». Такое совпадение вызывает у нас вихрь мыслей: теория заимствования? теория странствующих сюжетов? мифологическая школа? Продолжая эти опасные сопоставления, мы находим среди русских пословиц, сложившихся при крепостном праве и уже отстоявшихся к XIX веку, такие:

— Дела не делай, от дела не бегай (поразительно! но ведь это же и есть принцип лагерной *резины*!).

— Дай Бог всё уметь, да не всё делать.

— Господской работы не переделаешь.

— Ретивая лошадка недолго живёт.

* В. Даль. «Пословицы русского народа». М., 1957, стр. 257.

— Дадут ломоть, да заставят неделю молоть. (Очень похоже на зэковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не восполняет трудовых затрат.)

Что ж это получается? Что через все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительства, революций и социализма, екатерининский крепостной мужик и сталинский зэк, несмотря на полное несходство своего социального положения,— пожимают друг другу чёрные корявые руки?.. Этого не может быть!

Здесь наша эрудиция обрывается, и мы возвращаемся к своему изложению.

Из отношения к работе вытекает у зэка отношение к начальству. По видимости он очень послушен ему; например одна из «заповедей» зэков: *не залупайся!* — то есть не спорь с начальством. По видимости он очень боится его, гнёт спину, когда начальник его ругает или даже рядом стоит. На самом деле здесь простой расчёт: избежать лишних наказаний. На самом деле зэк совершенно презирает своё начальство — и лагерное и производственное, но прикровенно, не выказывая этого, чтобы не пострадать. Гурьбой расходясь после всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, зэки тут же вполголоса смеются между собой: *было бы сказано, а забыть успеем!* Зэки внутренне считают, что они превосходят своё начальство — и по грамотности, и по владению трудовыми специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств. Приходится признать, что часто так и бывает, но тут зэки в своём самодовольстве упускают, что зато администрация островов имеет постоянное преимущество перед туземцами в *мировоззрении.* Вот почему совершенно несостоятельно наивное представление зэков, что начальство — это *как хочу, так и кручу,* или «закон здесь — я!»

Однако это даёт нам счастливый повод провести различительную черту между туземным состоянием и старым крепостным правом. Мужик не любил барина, посмеивался над ним, но привык чувствовать в нём нечто высшее, отчего бывали во множестве Савельичи и Фирсы, преданные рабы. Вот с этим душевным рабством раз и навсегда покончено. И среди десятков миллионов зэков нельзя представить себе ни одного, который бы искренно обожал своего начальника.

А вот и важное национальное отличие зэков от наших с вами, читатель, соотечественников: зэки не тянутся за похвалой, за почётными грамотами и красными досками (если они не связаны прямо с дополнительными пирожками). Всё то, что на воле называется трудовой славой, для зэков по их тупости — лишь пустой деревянный звон. Тем ещё более они независимы от своих опекунов, от необходимости угождать.

Вообще у зэков вся шкала ценностей — перепрокинутая, но это не должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так: за крохотное зеркальце они отдают жирную свинью, за дешёвые бусы — корзину кокосовых орехов. То, что дорого нам с вами, читатель,— ценности идейные, жертвенность и желание бескорыстно трудиться для будущего — у зэков не только отсутствует, но даже ни в грош ими не ставится. Достаточно сказать, что зэки *начисто лишены патриотического чувства,* они совсем не любят своих родных островов. Вспомним хотя бы слова их народной песни:

«Будь проклята ты, Колыма!
Придумали ж гады планету!..»

Оттого они нередко предпринимают рискованные дальние поиски счастья, которые называются в просторечии *побегами.*

Выше всего у зэков ценится и на первое место ставится так называемая *пайка* — это кусок чёрного хлеба с подмесями, дурной выпечки, который мы с вами и есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупней и тяжелей. Тем, кто видел, с какой жадностью набрасываются зэки на свою утреннюю пайку и доедают её почти до рук,— трудно отогнать от себя это неэстетическое воспоминание. На втором месте у них идёт махорка или самосад, причём меновые соотношения дико произвольные, не считающиеся с количеством общественно-полезного труда, заложенного в то и другое. Это тем более чудовищно, что махорка у них является как бы всеобщей валютой (денежной системы на островах нет). На третьем месте идёт баланда (островной суп без жиров, без мяса, без круп и овощей, по обычаю туземцев). Пожалуй, даже парадный ход гвардейцев точно в ногу, в сияющей форме и с оружием, не производит на зрителя такого устрашающего впечатления, как вечерний вход в столовую бригады зэков за баландою: эти бритые головы, шапки-нашлёпки, лохмотья связаны верёвочками, лица злые, кривые (откуда у них на баланде эти жилы и силы?),— и двадцатью пятью парами ботинок, чуней и лаптей — туп-туп, туп-туп, *отдай пайку, начальничек!* Посторонись, кто не нашей веры! В эту минуту на двадцати пяти лицах у самой уже добычи приоткрывается вам явственно национальный характер зэка.

Мы замечаем, что рассуждая о народе зэков, почти как-то не можем представить себе индивидуальностей, отдельных лиц и имён. Но это — не порок нашего метода, это отражение того стадного строя жизни, который ведёт этот странный народ, отказавшийся от столь обычной у других народов семейной жизни и оставления потомства (они уверены, что их народ будет пополнен другим путём). На Архипелаге очень своеобразен именно этот коллективный образ жизни — то ли наследие первобытного общества, то ли — уже заря будущего. Вероятно — будущего.

Следующая у зэков ценность — сон. Нормальный человек может только удивляться, как много способен спать зэк и в каких различных обстоятельствах. Нечего и говорить, что им неведома бессонница, они не применяют снотворных, спят все ночи напролёт, а если выпадет свободный от работы день, то и его весь спят. Достоверно установлено, что они успевают заснуть, присев у пустых носилок, пока те нагружаются; умеют заснуть на разводе, расставив ноги; и даже идя под конвоем в строю на работу — тоже умеют заснуть, но не все: некоторые при этом падают и просыпаются. Для всего этого обоснование у них такое: во сне быстрей идёт срок. И ещё *ночь для сна, а день для отдыха.* *

Мы возвращаемся к образу бригады, топающей за «законной» (как

* Парадоксально, но сходные пословицы есть и у русского народа:
— Ходя наемся, стоя высплюсь.
— Где щель, там и постель.

они говорят) баландой. Мы видим здесь выражение одной нз главнейших национальных черт народа зэков — жизненного напора (и это не идёт в противоречие с их склонностью часто засыпать. Вот для того-то они н засыпают, чтобы в промежутке иметь силы для напора). Напор этот — н буквальный, физическнй, на финишных прямых перед целью — едой, тёплой печкой, сушилкой, укрытием от дождя, и зэк не стесняется в этой толкучке садануть соседа плечом в бок; идут ли два зэка поднять бревно — оба онн иаправляются к хлыстовому концу, так чтобы комлевой достался напарнику. И напор в более общем смысле — напор для занятия более выгодного жизненного положения. В жестоких островных условиях (столь близких к условиям животного мира, что мы безошибочно можем прилагать сюда дарвиновскую struggle for life) от успеха или иеуспеха в борьбе за место часто зависит сама жизнь — и в этом пробитии дороги себе за счёт других туземцы не знают сдерживающих этических начал. Так прямо и говорят: *совесть? в личном деле осталась.* При важных жизненных решениях они руководятся известным правилом Архипелага: *лучше ссучиться, чем мучиться.*

Но иапор может быть успешным, если ои сопровождается жизненной ловкостью, изворотливостью в труднейших обстоятельствах. * Это качество зэк должен проявлять ежедневно, по самым простым и ничтожиым поводам: для того чтобы сохранить от гибели своё жалкое ублюдочное добро — какой-нибудь погиутый котелок, тряпку вонючую, деревянную ложку, иголку-работницу. Однако в борьбе за важное место в островиой иерархии — изворотливость должиа быть более высокая, тонкая, рассчнтанная *темниловка.* Чтобы не отяжелять исследование — вот один пример. Некий зэк сумел занять важную должность иачальника промышленных мастерских при хоздворе. Одни работы его мастерских удаются, другие нет, но крепость его положения зависит даже не от удачного хода дел, а от того *понта,* с которым он держится. Вот приходят к нему офицеры МВД и видят на его письменном столе какие-то глиняные конусы. — «А это — что у тебя?» — «Конусы Зегера.» — «А зачем?» — «Определять температуру в печах.» — «А-а-а»,— с уважением протянет начальник и подумает: ну, н хорошего ж я инженера поставил. А конусы эти своим плавлением никакой температуры определить не могут, потому что онн из глины не только не стандартной, а — неизвестно какой. Примелькиваются конусы,— н у начальника мастерских новая игрушка на столе — оптический прибор без единой линзы (где ж иа Архипелаге линзы брать?). И опять все удивляются.

И постоянно должна быть голова зэка занята вот такнмн ложнымн боковыми ходами.

Сообразно обстановке и психологическн оценивая противника, зэк должен проявнть гибкость поведения — от грубого действия кулаком или горлом до тончайшего притворства, от полного бесстыдства до святой верности слову, данному с глазу на глаз и, казалось бы, совсем не обязательному. (Так почему-то все зэки свято верны обязательствам по тайным взяткам и нсключительно терпелнвы и добросовестны в выполнении частных заказов. Рассматривая какую-нибудь чудесную островную выделку с резьбой и инкрустацией, подобные которым

* У русских: «Передом кланяется, боком глядит, задом щупает».

мы видим только в музее Останкино, бывает нельзя поверить, что это делали те самые руки, которые сдают работу десятнику, лишь колышком подперев, а там пусть сразу и рухнет.)

Эта же гибкость поведения отражается и известным правилом зэков: *дают — бери, бьют — беги.*

Важнейшим условием успеха в жизненной борбе является для островитян ГУЛАГа их скрытность. Их характер и замыслы настолько глубоко спрятаны, что непривыкшему начинающему работодателю по началу кажется, что зэки гнутся как травка — от ветра и сапога. * (Лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян.) Скрытность — едва ли не самая характерная черта зэковского племени. Зэк должен скрывать свои намерения, свои поступки и от работодателей, и от надзирателей, и от бригадира, и от так называемых «стукачей». ** Скрывать ему надо удачи свои, чтоб их не перебили. Скрывать надо планы, расчёты, надежды — готовится ли он к большому «побегу», или надумал, где собрать стружку для матраса. В зэковской жизни всегда так, что открыться — значит потерять... Один туземец, которого я угостил махоркой, объяснил мне так (даю в русском переводе): «откроешься, где спать тепло, где десятник не найдёт,— и все туда налезут, и десятник featureнанюхает. Откроешься, что письмо послал через вольного ***, и все этому вольному письма понесут и накроют его с теми письмами. И если обещал тебе каптёр сорочку рваную сменить — молчи, пока не сменишь, а когда сменишь — опять же молчи: и его не подводи и тебе ещё пригодится. **** С годами зэк настолько привыкает всё скрывать, что даже усилия над собой ему для этого не надо делать: у него отмирает естественное человеческое желание поделиться переживаемым. (Может быть следует признать в этой скрытности как бы защитную реакцию против общего закрытого хода вещей? Ведь от него тоже всячески скрывают информацию, касающуюся его судьбы.)

Скрытность зэка вытекает из его круговой недоверчивости: он не доверяет всем вокруг. Поступок, по виду бескорыстный, вызывает в нём особенно сильное подозрение. *Закон — тайга,* вот как он формулирует высший императив человеческих отношений. (На островах Архипелага и действительно большие массивы тайги.)

Тот туземец, который наиболее полно совместил и проявил в себе эти племенные качества — жизненного напора, безжалостности, изворотливости, скрытности и недоверчивости, сам себя называет и его называют «сыном ГУЛАГа». Это у них — как бы звание почётиого гражданина и приобретается оно, конечно, долгими годами островной жизни.

Сын ГУЛАГа считает себя непроницаемым, но что, напротив, он сам видит окружающих насквозь и, как говорится, на два метра под ними вглубь. Может быть это и так, но тут-то и выявляется, что даже у самых проницательных зэков — обрывистый кругозор, недальний

* Сравни у русских: «Лучше гнуться, чем переломиться».

** Малозначительное островное явление, касаться которого в нашем очерке мы считаем излишним.

*** На островах есть своя почта, но туземцы предпочитают ею не пользоваться.

**** Сравни у русских: «нашёл — молчи, потерял — молчи». Откровенно говоря, параллелизм этих жизненных правил ставит нас несколько в тупик.

в з г л я д вперёд. Очень трезво судя о поступках, близких к нему, и очень точно рассчитывая свои действия на ближайшие часы, рядовой зэк, да даже и сын ГУЛАГа не способен ни мыслить абстрактно, ни охватить явлений общего характера, ни даже разговаривать о будущем. У них и в грамматике будущее время употребляется редко: даже к завтрашнему дню оно применяется с оттенком условности, ещё осторожнее — к дням уже начавшейся недели, и никогда не услышишь от зэка фразы: «на будущую весну я...» Потому что все знают, что ещё перезимовать надо, да и в любой день судьба может перебросить его с острова на остров. Воистину: день мой — век мой!

Сыны ГУЛАГа являются и главными носителями традиций и так называемых з а п о в е д е й з э к о в. На разных островах этих заповедей насчитывают разное количество, не совпадают в точности их формулировки, и было бы увлекательным отдельным исследованием провести их систематизацию. Заповеди эти ничего общего не имеют с христианством. (Зэки — не только атеистический народ, но для них вообще нет ничего святого, и всякую возвышенную субстанцию они всегда спешат высмеять и унизить. Это отражается и в их языке.) Но, как уверяют сыны ГУЛАГа, живя по их заповедям, на Архипелаге не пропадёшь.

Есть такие заповеди, как *не стучи* (как это понять? очевидно, чтоб не было лишнего шума); *не лижи мисок,* то есть после других, что́ считается у них быстрой и крутой гибелью. *Не шакаль.*

Интересная заповедь: *не суй носа в чужой котелок.* Мы бы сказали, что это — высокое достижение туземной мысли: ведь это принцип негативной свободы, это как бы обёрнутый my home is my castle и даже выше него, ибо говорит о котелке не своём, а чужом (но свой — подразумевается). Зная туземные условия, мы должны здесь понять «котелок» широко: не только как закопчённую погнутую посудину и даже не как конкретное непривлекательное варево, содержащееся в нём, но и как все способы добывания еды, все приёмы в борьбе за существование, и даже ещё шире: как *душу* зэка. Одним словом, дай мне жить, как я хочу, и сам живи, как хочешь,— вот что значит этот завет. Твёрдый жестокий сын ГУЛАГа этим заветом обязуется не применять своей силы и напора из пустого любопытства. (Но одновременно и освобождает себя от каких-либо моральных обязательств: хоть ты рядом и околей — мне всё равно. Жестокий закон, и всё же гораздо человечнее закона «блатных» — островных каннибалов: «подохни ты сегодня, а я завтра». Каннибал-блатной отнюдь не равнодушен к соседу: он ускорит его смерть, чтоб отодвинуть свою, а иногда для потехи или из любопытства понаблюдать за ней.)

Наконец, существует сводная заповедь: *не верь, не бойся, не проси!* В этой заповеди с большой ясностью, даже скульптурностью отливается общий национальный характер зэка.

Как можно управлять (на воле) народом: если бы он весь проникся такой гордой заповедью?.. Страшно подумать.

Эта заповедь переводит нас к рассмотрению уже не жизненного поведения зэков, а их психологической сути.

Первое, что мы сразу же замечаем в сыне ГУЛАГа и потом всё более и более наблюдаем: д у ш е в н а я у р а в н о в е ш е н н о с т ь, психологическая устойчивость. Тут интересен общий философский взгляд зэка на

своё место во вселенной. В отличие от англичанина и француза, которые всю жизнь гордятся тем, что они родились англичанином и французом, зэк совсем не гордится своей национальной принадлежностью, напротив: он понимает её как жестокое испытание, но испытание это он хочет пронести с достоинством. У зэков есть даже такой примечательный миф: будто где-то существуют «ворота Архипелага» (сравни в античности столпы Геркулеса), так вот на лицевой стороне этих ворот для входящего будто бы надпись: *«не падай духом!»*, а на обратной стороне для выходящего: *«не слишком радуйся!»* И главное, добавляют зэки: надписи эти видят только умные, а дураки их не видят. Часто выражают этот миф простым жизненным правилом: приходящий не грусти, уходящий не радуйся. Вот в этом ключе и следует воспринимать взгляды зэка на жизнь Архипелага и на жизнь обмыкающего пространства. Такая философия и есть источник психологической устойчивости зэка. Как бы мрачно ни складывались против него обстоятельства, он хмурит брови на своём грубом обветренном лице и говорит: *глубже шахты не опустят.* Или успокаивают друг друга: бывает хуже! — и действительно, в самых глубоких страданиях голода, холода и душевного упадка это убеждение — *могло быть и хуже!* — явно поддерживает и приободряет их.

Зэк всегда н а с т р о е н н а х у д ш е е, он так и живёт, что постоянно ждёт ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. В этом постоянном ожидании беды вызревает суровая душа зэка, бестрепетная к своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим.

Отклонения от равновесного состояния очень малы у зэка — как в сторону светлую, так и в сторону тёмную, как в сторону отчаяния, так и в сторону радости.

Это удачно выразил Тарас Шевченко (немного побывавший на островах ещё в доисторическую эпоху): «У меня теперь почти нет ни грусти, ни радости. Зато есть моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. Ужели постоянные несчастья могут так переработать человека?» (Письмо к Репниной.)

Именно. Именно могут. Устойчивое равнодушное состояние является для зэка необходимой защитой, чтобы пережить долгие годы угрюмой островной жизни. Если в первый год на Архипелаге он не достигает этого тусклого, этого пригашенного состояния, то обычно он и умирает. Достигнув же — остаётся жить. Одним словом: не околеешь — так натореешь.

У зэка притуплены все чувства, огрублены нервы. Став равнодушным к собственному горю и даже к наказаниям, накладываемым на него опекунами племени, и почти уже даже — ко всей своей жизни,— он не испытывает душевного сочувствия и к горю окружающих. Чей-то крик боли или женские слёзы почти не заставляют его повернуть голову — так притуплены реакции. Часто зэки проявляют безжалостность к неопытным новичкам, смеются над их промахами и несчастьями — но не судите их за это сурово, это они не по злу: у них просто атрофировалось сочувствие, и остаётся для них заметной лишь смешная сторона бытия.

Самое распространённое среди них мировоззрение — ф а т а л и з м. Это — их всеобщая глубокая черта. Она объясняется их подневольным

положением, совершенным незнанием того, что случится с ними в ближайшее время и практической неспособностью повлиять на события. Фатализм даже необходим зэку, потому что он утверждает его в его душевной устойчивости. Сын ГУЛАГа считает, что самый спокойный путь — это полагаться на судьбу. Будущее — это кот в мешке, и не понимая его толком, и не представляя, что́ случится с тобой при разных жизненных вариантах, не надо слишком настойчиво чего-то добиваться или слишком упорно от чего-то отказываться,— переводят ли тебя в другой барак, бригаду, на другой лагпункт. Может это будет к лучшему, может к худшему, но во всяком случае ты освобождаешься от самоупрёков: пусть будет тебе и хуже, но не твоими руками это сделано. И так ты сохраняешь дорогое чувство бестрепетности, не впадаешь в суетливость и искательность.

При такой тёмной судьбе сильны у зэков многочисленные суеверия. Одно из них тесно примыкает к фатализму: если будешь слишком заботиться о своём устройстве или даже уюте — обязательно *погоришь на этап.* *

Фатализм распространяется у них не только на личную судьбу, но и на общий ход вещей. Им никак не может прийти в голову, что общий ход событий можно было бы изменить. У них такое представление, что Архипелаг существовал вечно и раньше на нём было ещё хуже.

Но пожалуй самый интересный психологический поворот здесь тот, что зэки воспринимают своё устойчивое равнодушное состояние в их неприхотливых убогих условиях — как победу жизнелюбия. Достаточно череде несчастий хоть несколько разредеть, ударам судьбы несколько ослабнуть — и зэк уже выражает удовлетворение жизнью и гордится своим поведением в ней. Может быть читатель больше поверит в эту парадоксальную черту, если мы процитируем Чехова. В его рассказе «В ссылке» перевозчик Семён Толковый выражает это чувство так:

> «Я... довёл себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. *И дай Бог всякому такой жизни.*— (Курсив наш.) — Ничего мне не надо и никого не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет.»

Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах: мы слышали их не раз от зэков Архипелага (и только удивляемся, где их мог подцепить А. П. Чехов?). И дай Бог всякому такой жизни! — как вам это понравится?

До сих пор мы говорили о положительных сторонах народного характера. Но нельзя закрывать глаз и на его отрицательные стороны, на некоторые трогательные народные слабости, которые стоят как бы в исключении и противоречии с предыдущим.

Чем бестрепетней, чем суровее неверие этого казалось бы атеистического народа (совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис

---

* Пожары в буквальном смысле не волнуют зэков, они не дорожат своими жилищами, даже не спасают горящих зданий, уверенные, что их всегда заменят. *Погореть* у них применяется только в смысле личной судьбы.

«не судите, да не судимы будете», они считают, что судимость от этого не зависит),— тем лихорадочнее настигают его припадки безоглядной легковерности. Можно так различить: на том коротком кругозоре, где зэк хорошо видит,— он ни во что не верит. Но лишённый зрения абстрактного, лишённый исторического расчёта, он с дикарскою наивностью отдаётся вере в любой дальний слух, в туземные чудеса.

Давний пример туземного легковерия — это надежды, связанные с приездом Горького на Соловки. Но нет надобности так далеко забираться. Есть почти постоянная и почти всеобщая религия на Архипелаге: это вера в так называемую *Амнистию*. Трудно объяснить, что это такое. Это — не имя женского божества, как мог бы подумать читатель. Это — нечто сходное со Вторым Пришествием у христианских народов, это наступление такого ослепительного сияния, при котором мгновенно растопятся льды Архипелага, и даже расплавятся сами острова, а все туземцы на тёплых волнах понесутся в солнечные края, где они тотчас же найдут близких приятных им людей. Пожалуй, это несколько трансформированная вера в Царство Божие на земле. Вера эта, никогда не подтверждённая ни единым реальным чудом, однако очень живуча и упорна. И как другие народы связывают свои важные обряды с зимним и летним солнцеворотом, так и зэки мистически ожидают (всегда безуспешно) первых чисел ноября и мая. Подует ли на Архипелаг южный ветер, тотчас шепчут с уха на ухо: «наверно, будет Амнистия! уже начинается!» Установятся ли жестокие северные ветры — зэки согревают дыханием окоченевшие пальцы, трут уши, отаптываются и подбодряют друг друга: «Значит, будет Амнистия. А иначе замёрзнем все на ...! (Тут — непереводимое выражение.) Очевидно — теперь будет.»

Вред всякой религии давно доказан — и тут тоже мы его видим. Эти верования в Амнистию очень расслабляют туземцев, они приводят их в несвойственное состояние мечтательности, и бывают такие эпидемические периоды, когда из рук зэков буквально вываливается необходимая срочная казённая работа,— практически такое же действие, как и от противоположных мрачных слухов об «этапах». Для повседневного же строительства всего выгоднее, чтобы туземцы не испытывали никаких отклонений чувств.

И ещё есть у зэков некая национальная слабость, которая непонятным образом удерживается в них вопреки всему строю их жизни,— это тайная жажда справедливости.

Это странное чувство наблюдал и Чехов на острове совсем впрочем не нашего Архипелага: «Каторжник, как бы глубоко ни был он испорчен и несправедлив, любит больше всего справедливость, и если её нет в людях, поставленных выше него, то он из года в год впадает в озлобление, в крайнее неверие.»

Хотя наблюдения Чехова ни с какой стороны не относятся к нашему случаю, однако они поражают нас своей верностью.

Начиная с попадания зэков на Архипелаг, каждый день и час их здешней жизни есть сплошная несправедливость, и сами они в этой обстановке совершают одни несправедливости — и, казалось бы, давно пора им к этому привыкнуть и принять несправедливость как всеобщую норму жизни. Но нет! Каждая несправедливость от старших в племени

и от племенных опекунов продолжает их ранить и ранить так же, как и в первый день. (А несправедливость, исходящая снизу вверх, вызывает их бурный одобрительный смех.) И в фольклоре своём они создают легенды уже даже не о справедливости, а — утрируя чувство это — о неоправданном великодушии. (Так, в частности, и был создан и десятилетия держался на Архипелаге миф о великодушии относительно Ф. Каплан — будто бы она не была расстреляна, будто пожизненно сидит в разных тюрьмах, и находились даже многие свидетели, кто был с нею на этапах или получал от неё книгу из бутырской библиотеки. * Спрашивается, зачем понадобился туземцам этот вздорный миф? Только как крайний случай непомерного великодушия, в которое им хочется верить. Они тогда могут мысленно обратить его к себе.)

Ещё известны случаи, когда зэк полюбил на Архипелаге труд (А. С. Братчиков: «горжусь тем, что сделали мои руки») или по крайней мере не разлюбил его (зэки немецкого происхождения), но эти случаи столь исключительны, что мы не станем их выдвигать как общенародную, даже и причудливую черту.

Пусть не покажется противоречием уже названной туземной черте скрытности — другая туземная черта: любовь рассказывать о прошлом. У всех остальных народов это — стариковская привычка, а люди среднего возраста как раз не любят и даже опасаются рассказывать о прошлом (особенно — женщины, особенно — заполняющие анкеты, да и вообще все). Зэки же в этом отношении ведут себя как нация сплошных стариков. (В другом отношении — имея *воспитателей*, напротив содержатся как нация сплошных детей.) Слова из них не выдавишь по поводу сегодняшних мелких бытовых секретов (где котелок нагреть, у кого махорку выменять), но о прошлом расскажут тебе без утайки, нараспашку всё: и как жил до Архипелага, и с кем жил, и как сюда попал. (Часами они слушают, кто как «попал», и им эти однообразные истории не прискучивают нисколько. И чем случайнее, поверхностней, короче встреча двух зэков (одну ночь рядом полежали на так называемой «пересылке»),— тем развёрнутей и подробней они спешат друг другу всё рассказать о себе).

Тут интересно сравнить с наблюдением Достоевского. Он отмечает, что каждый вынашивал и отмучивал в себе историю своего попадания в «Мёртвый дом» — и говорить об этом было у них совсем не принято. Нам это понятно: потому что в «Мёртвый дом» попадали за преступление, и вспоминать о нём каторжникам было тяжело.

На Архипелаг же зэк попадает необъяснимым ходом рока или злым стечением мстительных обстоятельств — но в девяти случаях из десяти он не чувствует за собой никакого «преступления»,— и поэтому нет на

* Недавно комендант Кремля товарищ Мальков официально эти слухи опроверг и рассказал, как он расстрелял Каплан тогда же. Да и Демьян Бедный присутствовал при этом расстреле. Да отсутствие её свидетельницей на процессе эсеров в 1922 могло бы убедить зэков! — так они того процесса вообще не помнят. Мы предполагаем, что слух о пожизненном заключении Ф. Каплан потянулся от пожизненного заключения Берты Гандаль. Эта ничего не подозревающая женщина приехала из Риги в Москву как раз в дни покушения, когда братья Гандаль (ожидавшие Каплан в автомашине) были расстреляны. За то и получила Берта пожизненное.

Архипелаге рассказов более интересных и вызывающих более живое сочувствие аудитории, чем — «как попал».

Обильные рассказы зэков о прошлом, которыми наполняются все вечера в их бараках, имеют ещё и другую цель и другой смысл. Насколько неустойчиво настоящее и будущее зэка — настолько незыблемо его прошедшее. Прошедшего уже никто не может отнять у зэка, да и каждый был в прошлой жизни нечто большее, чем сейчас (ибо нельзя быть ниже, чем зэк; даже пьяного бродягу вне Архипелага называют «товарищем»). Поэтому в воспоминаниях самолюбие зэка берёт назад те высоты, с которых его свергла жизнь. * Воспоминания ещё обязательно приукрашиваются, в них вставляются выдуманные (но весьма правдоподобно) эпизоды — и зэк-рассказчик, да и слушатели, чувствуют живительный возврат веры в себя.

Есть и другая форма укрепления этой веры в себя — многочисленные фольклорные рассказы о ловкости и удачливости народа зэков. Это — довольно грубые рассказы, напоминающие солдатские легенды николаевских времён (когда солдата брали на двадцать пять лет). Вам расскажут и как один зэк пошёл к начальнику дрова колоть для кухни — начальникова дочка сама прибежала к нему в сарай. И как хитрый дневальный сделал лаз под барак и подставлял там котелок под слив, проделанный в полу посылочной комнаты. В посылках извне иногда приходит водка, но на Архипелаге — сухой закон, и её по акту должны тут же выливать на землю (впрочем никогда не выливали),— так вот дневальный собирал в котелок и всегда пьян был.

Вообще зэки ценят и любят юмор — и это больше всего свидетельствует о здоровой основе психики тех туземцев, которые сумели не умереть в первый год. Они исходят из того, что слезами не оправдаться, а смехом не задолжать. Юмор — их постоянный союзник, без которого, пожалуй, жизнь на Архипелаге была бы совершенно невозможна. Они и ругань-то ценят именно по юмору: которая смешней, вот та их особенно и убеждает. Хоть небольшой толикою юмора, но сдабривается всякий их ответ на вопрос, всякое их суждение об окружающем. Спросишь зэка, сколько он уже пробыл на Архипелаге — он не скажет вам «пять лет», а:

— Да пять январей просидел.

(Своё пребывание на Архипелаге они почему-то называют *сиденьем*, хотя сидеть-то им приходится меньше всего.)

— Трудно? — спросишь. Ответит, зубоскаля:

— Трудно только первые десять лет.

Посочувствуешь, что жить ему приходится в таком тяжёлом климате, ответит:

— Климат плохой, но общество хорошее.

Или вот говорят о ком-то уехавшем с Архипелага:

— Дали три, отсидел пять, выпустили досрочно.

А когда стали приезжать на Архипелаг с путёвками на четверть столетия:

---

* А ведь самолюбие и у старого глухого жестянщика и у мальчишки-подсобника маляра ничуть не меньше, чем у прославленного столичного режиссёра, это надо иметь в виду.

— Теперь двадцать пять лет жизни обеспечено!

Вообще же об Архипелаге они судят так:

— Кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет.

(Здесь — неправомерное обобщение: мы-то с вами, читатель, вовсе не собираемся там быть, правда?)

Где бы когда бы ни услышали туземцы чью-либо просьбу чего-нибудь *добавить* (хоть кипятку в кружку),— все хором тотчас же кричат:

— Прокурор *добавит!*

Вообще к прокурорам у зэков непонятное ожесточение, оно часто прорывается. Вот например по Архипелагу очень распространено такое несправедливое выражение:

— Прокурор — топор.

Кроме точной рифмы мы не видим тут никакого смысла. Мы с огорчением должны отметить здесь один из случаев разрыва ассоциативных и причинных связей, которые снижают мышление зэков ниже среднего общечеловеческого уровня. Об этом чуть дальше.

Вот ещё образцы их милых беззлобных шуток:

— Спит-спит, а отдохнуть некогда.

— Воды не пьёшь — от чего сила будет?

О ненавистной работе к концу рабочего дня (когда уже томятся и ждут съёма) обязательно шутят:

— Эх, только работа пошла, да день мал!

Утром же вместо того, чтобы приняться за эту работу, ходят от места к месту и говорят:

— Скорей бы вечер, да завтра (!) на работу!

А вот где видим мы *перерывы в их логическом мышлении*. Известное выражение туземцев:

— Мы этого лесу не сажали и валить его не будем.

Но если так рассуждать — леспромхозы тоже лесу не сажали, однако сводят его весьма успешно. Так что здесь — типичная детскость туземного мышления, своеобразный дадаизм.

Или вот ещё (со времени Беломорканала):

— Пусть медведь работает!

Ну как, серьёзно говоря, можно представить себе медведя, прокладывающего великий канал? Вопрос о медвежьей работе был достаточно освещён ещё в трудах И. А. Крылова. Если была бы малейшая возможность запрячь медведей в целенаправленную работу — не сомневайтесь, что это было бы сделано в социалистическом государстве, и были бы целые медвежьи бригады и медвежьи лагпункты.

Правда, у туземцев есть ещё параллельное высказывание о медведях — очень несправедливое, но въевшееся:

— Начальник — медведь.

Мы даже не можем понять — какая ассоциация могла породить такое выражение? Мы не хотели бы думать о туземцах так дурно, чтобы эти два выражения сопоставить и отсюда что-то заключить.

Переходя к вопросу о *языке* зэков, мы находимся в большом затруднении. Не говоря о том, что всякое исследование о новооткрытом языке есть всегда отдельная книга и особый научный курс, в нашем случае содержатся ещё специфические трудности.

Одна из них — агломератное соединение языка с руганью, на которое мы уже ссылались. Разделить этого не смог бы никто (потому что нельзя делить живое!) *, но и помещать всё, как есть, на научные страницы мешает нам забота о нашей молодёжи.

Другая трудность — необходимость разграничить собственно язык народа зэков от языка племени каннибалов (иначе называемых «блатными» или «урками»), рассеянного среди них. Язык племени каннибалов есть совершенно отдельная ветвь филологического древа, не имеющая себе ни подобных, ни родственных. Этот предмет достоин особого исследования, а нас здесь только запутала бы непонятная каннибальская лексика (вроде: ксива — документ, марочка — носовой платок, угол — чемодан, луковица — часы, прохоря́ — сапоги). Но трудность в том, что другие лексические элементы каннибальского языка, напротив, усваиваются языком зэков и образно его обогащают:

свистеть; темнить; раскидывать чернуху; кантоваться; лукаться; филонить; мантулить; цвет; полуцвет; духовой; кондей; шмон; костыль; фитиль; шестёрка; сосаловка; отрицаловка; с понтом; гумозница; шалашовка; бациллы; хилять под блатного; заблатниться; и другие, и другие.

Многим из этих слов нельзя отказать в меткости, образности, даже общепонятности. Венцом их является окрик — *на цырлах!* Его можно перевести на русский язык только сложно-описательно. Бежать или подавать что-нибудь на цырлах значит: и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием — и всё это одновременно.

Нам просто кажется, что и современному русскому языку этого выражения очень не хватает! — особенно потому, что в жизни часто встречается подобное действие.

Но это попечение — уже излишнее. Автор этих строк, закончив свою длительную научную поездку на Архипелаг, очень беспокоился, сумеет ли вернуться к преподаванию в этиографическом институте,— то есть, не только в смысле отдела кадров, но: не отстал ли он от современного русского языка и хорошо ли будут его понимать студенты. И вдруг с недоумением и радостью он услышал от первокурсников те самые выражения, к которым привыкло его ухо на Архипелаге и которых так до сих пор не хватало русскому языку: «с ходу», «всю дорогу», «по новой», «раскурочить», «заначить», «фраер», «дурак, и уши холодные», «она с парнями шьётся» и ещё многие, многие!

Это означает большую энергию языка зэков, помогающую ему необъяснимо просачиваться в нашу страну и прежде всего в язык молодёжи. Это подаёт надежду, что в будущем процесс пойдёт ещё решительней и все перечисленные выше слова тоже вольются в русский язык, а может быть даже и составят его украшение.

---

* Только недавно некая Сталевская из села Долгодеревенского Челябинской области нашла путь: «Почему заключённые не боролись за чистоту языка? Почему организованно не обратились к воспитателю за помощью?» Эта замечательная идея нам просто в голову не пришла, когда мы были на Архипелаге, мы б её зэкам подсказали.

Но тем трудней становится задача исследователя: разделить теперь язык русский и язык зэческий!

И, наконец, добросовестность мешает нам обойти и четвёртую трудность: первичное, какое-то доисторическое влияние самого русского языка на язык зэков и даже на язык каннибалов (сейчас такого влияния уже не наблюдается). Чем иначе можно объяснить, что мы находим у Даля такие аналоги специфически-островных выражений:

жить законом (костромское) — в смысле жить с женой (на Архипелаге: жить с ней в законе);
вына́чить (офенское) — выудить из кармана
(на островах сменили приставку — зана́чить, и
означает: далее спрятать);
подходить — значит: беднеть, истощаться
(сравни — доходить);

или пословица у Даля

«щи — добрые люди» — и целая цепь островных выражений: мороз-человек (если не крепкий), костёр-человек и т. д.

И «мышей не ловит» — мы тоже находим у Даля. А «сука» означало «шпиона» уже при П. Ф. Якубовиче.

А ещё превосходное выражение туземцев *упираться рогами* (обо всякой упорно выполняемой работе и вообще обо всяком упорстве, настаивании на своём), *сбить рога, сшибить рога* — восстанавливают для современности именно древний русский и славянский смысл слова «рога» (кичливость, высокомерие, надменность) вопреки пришлому, переводному с французского «наставить рога» (как измена жены), которое в простом народе совершенно не привилось, да и интеллигенцией уже было бы забыто, не будь связано с пушкинской дуэлью.

Все эти бесчисленные трудности вынуждают нас пока отложить языковую часть исследования.

В заключение несколько личных строк. Автора этой статьи во время его расспросов зэки вначале чуждались: они полагали, что эти расспросы ведутся для кума (душевно близкий им попечитель, к которому они, однако, как ко всем своим попечителям, неблагодарны и несправедливы). Убедясь, что это не так, к тому ж из разу в раз угощаемые махоркою (дорогих сортов они не курят), они стали относиться к исследователю весьма добродушно, открывая неиспорченность своего нутра. Они даже очень мило стали звать исследователя в одних местах Укроп Помидорович, в других — Фан Фаныч. Надо сказать, что на Архипелаге отчества вообще не употребляются, и поэтому такое почтительное обращение носит оттенок юмористический. Одновременно в этом выразилась недоступность для их интеллекта смысла данной работы.

Автор же полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана; открыта в середине XX века совершенно новая никому не известная нация, этническим объёмом во много миллионов человек.

Глава 20

ПСОВАЯ СЛУЖБА

Не в нарочитое хлёсткое оскорбление названа так глава, но обязаны мы и придерживаться лагерной традиции. Рассудить, так сами они этот жребий выбрали: служба их — та же, что у охранных собак, и служба их связана с собаками. И есть даже особый устав по службе с собаками, и целые офицерские комиссии следят за *работой* отдельной собаки, вырабатывают у неё *хорошую злобность.* И если содержание одного щенка в год обходится народу в 11 тысяч дохрущёвских рублей (овчарок кормят питательней, чем заключённых) *, то содержание каждого офицера — не паче ли?

А ещё на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднение: как вообще их называть? «Начальство, начальники» — слишком общо, относится и к воле, ко всей жизни страны, да и затёрто уж очень. «Хозяева» — тоже. «Лагерные распорядители»? — обходное выражение, показывающее нашу немощь. Называть их прямо «псы», как в лагере говорят? — как будто грубо, ругательно. Вполне в духе языка было бы слово *лагерщики:* оно так же отличается от «лагерника», как «тюремщик» от «тюремника» и выражает точный единственный смысл: те, кто лагерями заведуют и управляют. Так испросив у строгих читателей прощения за новое слово (оно не новое совсем, раз в языке оставлена для него пустая клетка), мы его от времени ко времени будем употреблять.

Так вот о ком эта глава: о лагерщиках (и тюремщиках сюда же). Можно бы с генералов начать, и славно бы это было — но нет у нас материала. Невозможно было нам, червям и рабам, узнать о них и увидеть их близко. А когда видели, то ударяло нам в глаза сияние золота, и не могли мы разглядеть ничего.

Так ничего мы не знаем о сменявших друг друга начальниках ГУЛага — этих царях Архипелага. А уж попадётся фото Бермана или словечко Апетера — мы их тут же подхватываем. Знаем вот «гаранинские расстрелы» — а о самом Гаранине не знаем. Только знаем, что было ненасытно ему одни подписи ставить; он, по лагерю идя, и сам из маузера стрелять не брезговал, чья морда ему не выходила. Пишем вот о Кашкетине — а в глаза того Кашкетина не видели (и слава Богу). О Френкеле подсобрался материальчик, а об Абраме Павловиче Завенягине — нет. Его, покойника, с ежовско-бериевской компанией не захоронили, о нём смакуют газетчики: «легендарный строитель Норильска»! Да уж не сам ли он и камни клал? Легендарный вертухай, то верней. Сообразя, что сверху любил его Берия, а снизу очень о нём хорошо отзывался эмведешник Зиновьев, полагаем, что зверь был отменный. А иначе б ему Норильска и не построили.

Вот об Антонове, начальнике Енисейского лагеря, спасибо написал нам инженер Побожий. ** Эту картинку мы всем советовали бы прочесть: разгрузку лихтеров на реке Таз. В глуби тундры, куда дорога ещё

* Всё о собаках — из повести Меттера «Мурат». («Новый мир», 1960, № 6).

** «Мёртвая дорога». «Новый мир», 1964, № 8.

не пришла (да и придёт ли?), египетские муравьи тянут паровозы на снег, а наверху на горке стоит Антонов, обозревает и срок даёт на разгрузку. Он по воздуху прилетел, по воздуху сейчас улетит, свита пляшет перед ним, куда твой Наполеон, а личный повар тут же на раскладном столике, среди полярной мерзлоты, подаёт ему свежие помидоры и огурчики. И ни с кем, сукин сын, не делится, всё суёт себе в утробу.

В этой главе подлежат нашему обзору от полковника и ниже. Потолкуем маленько об офицерах, там перейдём к сержантам, скользнём по стрелковой охране — да и того будет с нас. Кто заметил больше — пусть больше напишет. В том наша ограниченность: когда сидишь в тюрьме или лагере — характер тюремщиков интересует тебя лишь для того, как избежать их угроз и использовать их слабости. В остальном совсем тебе не хочется ими интересоваться, они твоего внимания недостойны. Страдаешь ты сам, страдают вокруг тебя несправедливо посаженные, и по сравнению с этим снопом страданий, на который не хватает твоих разведенных рук,— что тебе эти тупые люди на должности псов? их мелкие интересы? их ничтожные склонности? их служебные успехи и неуспехи?

А теперь с опозданием спохватываешься, что всматривался в них мало.

Уж не спрашивая о даровании — может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? — зададим вопрос: вообще может ли лагерщик быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь? Первый отбор — при зачислении в войска МВД, в училища МВД или на курсы. Всякий человек, у кого хоть отблеск был духовного воспитания, у кого есть хоть какая-то совестливая оглядка, различение злого и доброго,— будет инстинктивно, всеми мерами отбиваться, чтобы только не попасть в этот мрачный легион. Но, допустим, отбиться не удалось. Наступает второй отбор: во время обучения и первой службы само начальство приглядывается и отчисляет всех тех, кто проявит вместо воли и твёрдости (жестокости и бессердечия) — расхлябанность (доброту). И потом многолетний третий отбор: все, кто не представляли себе, куда и на что идут, теперь разобрались и ужаснулись. Быть постоянно орудием насилия, постоянным участником зла! — ведь это не каждому даётся и не сразу. Ведь топчешь чужие судьбы, а внутри что-то натягивается, лопается — и дальше уже так жить нельзя! И с большим опозданием, но люди всё равно начинают вырываться, сказываются больными, достают справки, уходят на меньшую зарплату, снимают погоны — но только бы уйти, уйти, уйти!

А остальные, значит, втянулись? А остальные, значит, привыкли, и уже их судьба кажется им нормальной. И уж конечно полезной. И даже почётной. А кому-то и втягиваться было не надо: они с самого начала такие.

Благодаря этому отбору можно заключить, что процент бессердечных и жестоких среди лагерщиков значительно выше, чем в произвольной группе населения. И чем дольше, чем непрерывнее и отметнее человек служит в Органах, тем с большей вероятностью он — злодей.

Мы не упускаем из виду возвышенных слов Дзержинского: «Кто из вас очерствел, чьё сердце не может чутко и внимательно относиться

к терпящим заключение — уходите из этого учреждения!» Однако мы не можем никак соотнести их с действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьёзно? — если при этом защищался Косырев (Часть Первая, гл. 8)? И кто этому внял? Ни «террор как средство убеждения», ни аресты по признаку «сомнительности», ни расстрелы заложников, ни ранние концлагеря за 15 лет до Гитлера — не дают нам как-то ощущения этих чутких сердец, этих рыцарей. И если кто за эти годы уходил и из Органов сам, то как раз те, кому Дзержинский предлагал остаться,— кто не мог очерстветь. А кто очерствел или был чёрств — тот-то и остался. (Да может в другие разы Дзержинский подавал совет совсем другой, да у нас цитатки нет.)

Как прилипчивы бывают ходячие выражения, которые мы склонны усваивать, не обдумав и не проверив. *Старый чекист!* — кто не слышал этих слов, произносимых протяжно, в знак особого уважения. Если хотят отличить лагерщика от неопытных, суетливых, попусту крикливых, но без бульдожьей хватки, говорят: «А начальник там ста-арый чекист!» (Ну, например, как этот майор, который сжёг кандальную сонату Клемпнера.) Сами чекисты и пустили это словечко, а мы повторяем его бездумно. «Старый чекист» — ведь это по меньшей мере значит: и при Ягоде оказался хорош, и при Ежове, и при Берии, всем угодил.

Но не разрешим себе растечься и говорить о «чекистах вообще». О чекистах в собственном смысле, о чекистах оперативно-следственного направления глава уже была. А лагерщики любят только звать себя чекистами, только тянутся к тому званию, или с тех должностей пришли сюда — на отдых, потому что здесь не треплются их нервы и не расшатывается здоровье. Их здешняя работа не требует ни того развития, ни того активного злого давления, что там. В ЧКГБ надо быть острым и попасть обязательно в глаз, в МВД достаточно быть тупым и не промахнуться по черепу.

С огорчением, но не возьмёмся мы объяснять, почему лозунг «орабочения и окоммунизирования состава лагерных работников» *, успешно проведенный в жизнь, не создал на Архипелаге этого трепетного человеколюбия по Дзержинскому. С самых ранних революционных лет на курсах при Центральном Карательном Отделе и губкаротделах готовился для тюрем и для лагерей младший адмстройсостав (то есть внутренний надзор) «без отрыва от производства» (то есть уже служа в тюрьме и лагерях). К 1925 только 6% осталось царского надзорсостава. А уж средний лагерный комсостав и прежде того был полностью советский. Они продолжали учиться: сперва на факультетах права Наркомпроса (да, Наркомпроса! и не бесправия, а — права!), с 1931 это стали исправтруд-отделения институтов Права НКЮ в Москве, Ленинграде, Казани, Саратове и Иркутске. Выпускалось оттуда 70% рабочих и 70% коммунистов! С 1928 постановлением Совнаркома и никогда не возражающего ЦИКа ещё были расширены и режимные полномочия этих орабоченных и окоммунизированных начальников мест заключения **,— а вот поди ж ты, человеколюбия почему-то не получилось! Пострадало от

* А было их в РСФСР уже 1.10.23 — 12 тысяч, а 1.1.25—15 тысяч. ЦГАОР, ф. 393, оп. 39, д. 48, л. 4 и 13; оп. 53, д. 141, л. 4.

** Сборник «От тюрем...», стр. 421.

них миллионов людей куда больше, чем от фашистов,— да ведь не пленных, не покорённых, а — своих соотечественников, на родной земле.

Кто это нам объяснит?

Сходство жизненных путей и сходство положений — рождает ли сходство характеров? Вообще — нет. Для людей, значительных духом и разумом,— нет, у них свои решения, свои особенности, и очень бывают неожиданные. Но у лагерщиков, прошедших строгий отрицательный отбор — нравственный и умственный — у них сходство характеров разительное и, вероятно, без труда мы сумеем проследить их основные *всеобщие* черты.

Спесь. Он живёт на отдельном острове, слабо связан с далёкой внешней властью, и на этом острове он — безусловно первый: ему униженно подчинены все зэки, да и вольные тоже. У него здесь — самая большая звезда на погонах. Власть его не имеет границ и не знает ошибок: всякий жалобщик всегда оказывается неправ (подавлен). У него — лучший на острове дом. Лучшее средство передвижения. Приближённые к нему следующие лагерщики тоже весьма возвышены. А так как вся предыдущая жизнь не заложила в них ни искры критической способности,— то им и невозможно понять себя иначе как особую расу — прирождённых властителей. Из того, что никто не в силах сопротивляться, они выводят, что крайне мудро властвуют, что это — их талант («организационный»). Каждый день и каждый обиходный случай даёт им зримо видеть своё превосходство: перед ними встают, вытягиваются, кланяются, по зову их не подходят, а подбегают, с приказом их не уходят, а убегают. И если он (БАМлаг, Дукельский) выходит к воротам посмотреть, как, замыкаемая овчарками, идёт колонна грязного сброда его рабочих, то сам плантатор — в белоснежном летнем костюме. И если они (Унжлаг) надумали поехать верхом осмотреть работы на картофельном поле, где ворочаются женщины в чёрных одеждах, увязая в грязи по пузо, и пытаются копать картошку (впрочем, вывезти её не успеют и весной перекопают на удобрение),— то в начищенных своих сапогах и в шерстяных безупречных мундирах они проезжают, элегантные всадники, мимо утопающих рабынь как подлинные олимпийцы.

Из самодовольства всегда обязательно следует тупость. Заживо обожествлённый всё знает доконечно, ему не надо читать, учиться, и никто не может сообщить ему ничего, достойного размышления. Среди сахалинских чиновников Чехов встречал умных, деятельных, с научными наклонностями, много изучавших местность и быт, писавших географические и этнографические исследования,— но даже для смеха нельзя представить себе на всём Архипелаге одного такого лагерщика! И если Кудлатый (начальник одной из усть-вымьских командировок) решил, что выполнение государственных норм на 100% ещё не есть никакие сто процентов, а должно быть выполнено его (взятое из головы) сменное задание, иначе всех сажает на штрафной паёк,— переубедить его невозможно. Выполнив 100%, все получают штрафной паёк. В кабинете Кудлатого — стопы ленинских томов. Он вызывает В. Г. Власова и поучает: «Вот тут Ленин пишет, как надо относиться к паразитам.» (Под паразитами он понимает заключённых, выполнивших только 100%, а под пролетариатом — себя. Это у них в голове укладывается рядом: вот моё поместье, и я пролетарий.)

Да старые крепостники были образованы не в пример: они ж многие в Петербургах учились, а иные и в Геттингенах. Из них смотришь, Аксаковы выходили, Радищевы, Тургеневы. Но из наших эмведешников никто не вышел и не выйдет. А главное — крепостники или сами управляли своими имениями, или хоть чуть-чуть в хозяйстве своём разбирались. Но чванные офицеры МВД, осыпанные всеми видами государственных благ, никак не могут взять на себя ещё и труд хозяйственного руководства. Они ленивы для этого и тупы. И они обволакивают своё безделье туманом строгости и секретности. И так получается, что государство (отнюдь не всегда управлявшееся с самого верха, история это поймёт: очень часто именно средняя прослойка своей инерцией покоя определяла государственное не-развитие) вынуждено рядом со всей их золотопогонной иерархией воздвигать ещё такую же вторую из трестов и комбинатов. (Но это никого не удивляло: что́ в стране у нас не дублируется, начиная с самой власти советов?)

Самовластие. Самодурство. В этом лагерщики вполне сравнялись с худшими из крепостников XVIII и XIX века. Бесчисленны примеры бессмысленных распоряжений, единственная цель которых — показать власть. Чем дальше в Сибирь и на Север — тем больше, но вот и в Химках, под самой Москвой (теперь уже — в Москве), майор Волков замечает 1-го мая, что зэки не веселы. Приказывает: «Всем веселиться немедленно! Кого увижу скучным — в кондей!» А чтоб развеселить инженеров — шлёт к ним блатных девок с третьим сроком петь похабные частушки. Скажут, что это — не самодурство, а политическое мероприятие, хорошо. В тот же в лагерь привезли новый этап. Один новичок, Ивановский, представляется как танцор Большого театра. «Что? Артист? — свирепеет Волков.— В кондей на двадцать суток! Пойди сам и доложи начальнику ШИзо!» Спустя время позвонил: «Сидит артист?» — «Сидит.» — Сам пришёл?» — «Сам.»— «Ну выпустить его! Назначаю его помкоменданта.» (Этот же Волков, мы уже писали, велел остричь наголо женщину за то, что волосы красивые.)

Не угодил начальнику ОЛПа хирург Фустер, испанец. «Послать его на каменный карьер!» Послали. Но вскоре заболел сам начальник, и нужна операция. Есть другие хирурги, можно поехать и в центральную больницу, нет, он верит только Фустеру! Вернуть Фустера с карьера! Будешь делать мне операцию! (Но умер на столе.)

А у одного начальника вот находка: з/к инженер-геолог Козак, оказывается, имеет драматический тенор, до революции учился в Петербурге у итальянца Репетто. И начальник лагеря открывает голос также и у себя. 1941 — 42 годы, где-то идёт война, но начальник хорошо защищён бронью и берёт уроки пения у своего крепостного. А тот чахнет, доходит, посылает запросы о своей жене, и жена его О. П. Козак из ссылки ищет мужа через ГУЛаг. Розыски сходятся в руках начальника, и он может связать мужа и жену, однако не делает этого. Почему? Он «успокаивает» Козака, что жена его... сослана, но живёт сытно (педагог, она работает в Заготзерно уборщицей, потом в колхозе). И — продолжает брать уроки пения. Когда в 1943 году Козак уже совсем при смерти, начальник милует его, помогает сактировать и отпускает умереть к жене. (Так ещё не злой начальник?)

Всем лагерным начальникам свойственно ощущение вотчи-

ны. Они понимают свой лагерь не как часть какой-то государственной системы, как вотчину, безраздельно отданную им, пока они будут находиться в должности. Отсюда — и всё самовольство над жизнями, над личностями, отсюда и хвастовство друг перед другом. Начальник одного кенгирского лагпункта: «А у меня профессор в бане работает!» Но начальник другого лагпункта, капитан Стадников, режет под корень: «А у меня — академик дневальным, параши носит!»

Жадность, стяжательство. Это черта среди лагерщиков — самая универсальная. Не каждый туп, не каждый самодур — но обогатиться за счёт бесплатного труда зэков и за счёт государственного имущества старается каждый, будь он главный в этом месте начальник или подсобный. Не только сам я не видел, но никто из моих друзей не мог припомнить бескорыстного лагерщика, и никто из пишущих мне бывших зэков тоже не назвал такого.

В их жажде как можно больше урвать никакие многочисленные законные выгоды и преимущества не могут их насытить. Ни высокая зарплата (с двойными и тройными надбавками «за полярность», «за отдалённость», «за опасность»). Ни — премирование (предусмотренное для руководящих сотрудников лагеря 79-й статьёй исправительно-трудового кодекса 1933 года — того самого кодекса, который не мешал установить для заключённых 12-часовой рабочий день и без воскресений). Ни — исключительно выгодный расчёт стажа. (На Севере, где расположена половина Архипелага, год работы засчитывается за два, а всего-то для «военных» до пенсии надо 20 лет. Таким образом, окончив училище 22-х лет, офицер МВД может выйти на полную пенсию и ехать жить в Сочи в 32 года!)

Нет! Но каждый обильный или скудный канал, по которому могут притекать бесплатные услуги или продукты или предметы,— всегда используется каждым лагерщиком взагрёб и взахлёб. Ещё на Соловках начальники стали присваивать себе из заключённых — кухарок, прачек, конюхов, дровоколов. С тех пор никогда не прерывался (и сверху никогда не запрещался) этот выгодный обычай, и лагерщики брали себе также скотниц, огородников или преподавателей к детям. И в годы самого пронзительного звона о равенстве и социализме, например в 1933, в БАМлаге любой вольнонаёмный за небольшую плату в кассу лагеря мог получить личную прислугу из заключённых. В Княж-Погосте тётя Маня Уткина обслуживала корову начальника лагеря, и была за то награждена — стаканом молока в день. И по нравам ГУЛАГа это было щедро. (А ещё верней по нравам ГУЛАГа, чтоб корова была не начальникова, а — «для улучшения питания больных», но молоко бы шло начальнику.)

Не стаканами, а вёдрами и мешками, кто только мог съесть или выпить за счёт пайка заключённых — обязательно это делал! Перечтите, читатель, письмо Липая из главы 9, это вопль наверно бывшего каптёра. Ведь не из голода, не по нужде, не по бедности эти Курагин, Пойсуйшапка и Игнатченко тянули мешки и бочки из каптёрки, а просто: отчего же не поживиться за счёт безответных, беззащитных и умирающих с голоду рабов? А тем более во время войны, когда все вокруг хапают? Да не живи так, над тобой другие смеяться будут! (Уже не выделяю особым свойством их предательство по отношению к придуркам, попавшимся на

недостаче.) Вспоминают и колымчане: кто только мог потянуть из общего котла заключённых — начальник лагеря, начальник режима, начальник КВЧ, вольнонаёмные служащие, дежурные надзиратели — обязательно тянули. А вахтёры — чай сладкий таскали на вахту. Хоть ложечку сахара, да за счёт заключённого слопать! От умирающего отнять — ведь слаже...

А что же было, когда им доставались в руки «американские подарки» (сбор жителей Штатов для советского народа)! На Усть-Нере в 1943, по рассказу Т. Сговио, начальник лагеря полковник Нагорный, политотдела — Голоулин, Индигирского управления Быков и геологического управления Раковский вместе с жёнами сами открывали все ящики подарков, отбирали себе и дрались. Остальное, не взятое ими самими, они потом раздавали как премии на собрании вольных. Ещё и до 1948 года дневальные начальства продавали на чёрном рынке остатки американских подарков.

Начальников КВЧ лучше не вспоминать — смех один. Всё тащат, да мелочно как-то (крупней им не разрешено). Вызовет начальник КВЧ каптёра и даёт ему свёрток — рваные ватные брюки, завёрнутые в «Правду» — на мол, а мне новые принеси. А с Калужской заставы начальник КВЧ в 1945 — 46 годах каждый день уносил за зону вязанку дровишек, собранную для него зэками на строительстве. (И потом ещё по Москве ехал в автобусе — шинель и вязанка дровишек, тоже жизнь несладкая...)

Лагерным хозяевам мало, что сами они и семьи их обуваются и одеваются у лагерных мастеров (даже костюм «голубь мира» к костюмированному балу для толстухи жены начальника ОЛПа шьётся на хоздворе). Им мало, что там изготовляют им мебель и любую хозяйственную снасть. Им мало, что там же льют им и дробь (для браконьерской охоты в соседнем заповеднике). Им мало, что свиньи их кормятся с лагерной кухни. Мало! от старых крепостников тем и отличаются они, что власть их — не пожизненна и не наследственна. И оттого крепостники не нуждались воровать сами у себя, а у лагерных начальников голова только тем и занята, как у себя же в хозяйстве что-нибудь украсть.

Я скудно привожу примеры, только чтоб не загромождать изложения. Из нашего лагеря на Калужской заставе мрачный горбун Невежин никогда не уходил с пустыми руками, так и шёл в долгой офицерской шинели и нёс или ведёрко с олифой, или стёкла, или замазку, в общем в количествах тысячекратно превышающих нужды одной семьи. А пузатый капитан, начальник 15-го ОЛПа с Котельнической набережной, каждую неделю приезжал в лагерь на легковой машине за олифой и замазкой (в послевоенной Москве это было золото). И всё это предварительно воровали для них из производственной зоны и переносили в лагерную — те самые зэки, которые получили по 10 лет за снопик соломы или пачку гвоздей! Но мы-то, подсоветские, давно *исправились,* и у себя на родине освоились, и нам это только смешно. А вот каково было военнопленным немцам в ростовском лагере! — начальник посылал их ночами воровать для себя стройматериалы: он и другие начальники строили себе дома. Что могли понять в этом смирные немцы, если они знали, что тот же начальник за кражу котелка картошки посылал их под трибунал и там лепили им 10 лет и 25? Немцы придумали: приходи-

ли к переводчице Т. С. и подавали ей оправдательный документ: заявление, что такого-то числа идут воровать вынужденно. (А строили они железнодорожные сооружения, и из-за постоянной кражи цемента те клались почти на песке.)

Зайдите сейчас в Экибастузе в дом начальника шахтоуправления Д. М. Матвеева (это он из-за свёртывания ГУЛАГа в шахтоуправлении, а то был начальник Экибастузского лагеря с 1952 года). Дом его набит картинами, резьбой и другими вещами, сделанными бесплатными руками туземцев.

Похоть. Это не у каждого, конечно, это с физиологией связано, но положение лагерного начальника и совокупность его прав открывали полный простор гаремным наклонностям. Начальник буреполомского лагпункта Гринберг всякую новоприбывшую пригожую молодую женщину тотчас же требовал к себе. (И что она могла выбрать ещё, кроме смерти?) В Кочемасе начальник лагеря Подлесный был любитель ночных облав в женских бараках (как мы видели и в Ховрино). Он самолично сдёргивал с женщин одеяла, якобы ища спрятанных мужчин. При красавице-жене он одновременно имел трёх любовниц из зэчек. (Однажды, застрелив одну из них по ревности, застрелился и сам.) Филимонов, начальник КВО всего Дмитлага, был снят «за бытовое разложение» и послан исправляться (в той же должности) на БАМлаг. Здесь продолжал широко пьянствовать и блудить, и свою наложницу бытовичку сделал... начальницей КВЧ. (Сын его сошёлся с бандитами и вскоре сам сел за бандитизм.)

Злость, жестокость. Не было узды ни реальной, ни нравственной, которая бы сдерживала эти свойства. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости.

Как дикая плантаторша, носилась на лошади среди своих рабынь Татьяна Меркулова, женщина-зверь (13-й лесоповальный женский ОЛП Унжлага). Майор Громов, по воспоминанию Пронмана, ходил больной в тот день, когда не посадил несколько человек в БУР. Капитан Медведев (3-й лагпункт Устьвымьлага) по несколько часов ежедневно сам стоял на вышке и записывал мужчин, заходящих в женбарак, чтобы следом посадить. Он любил иметь всегда полный изолятор. Если камеры изоляторов не были набиты, он ощущал неполноту жизни. По вечерам он любил выстроить зэков и читать им внушения, вроде: «Ваше карта бита! Возврата на волю вам не будет никогда, и не надейтесь!» В том же Устьвымьлаге начальник лагпункта Минаков (бывший замнач Краснодарской тюрьмы, отсидевший два года за превышение власти в ней и уже вернувшийся в партию) самолично сдёргивал отказчиков за ноги с нар; среди тех попались блатари, стали сопротивляться, размахивать досками; тогда он велел во всём бараке выставить рамы (25° мороза) и через проломы плескать внутрь воду вёдрами.

Они все знали (и туземцы знали): *здесь телеграфные провода кончились!* Развилась у плантаторов и злоба с вывертом, то что называется садизм. Перед начальником спецотдела Буреполома Шульманом построен новый этап. Он знает, что этот этап весь идёт сейчас на общие работы. Всё же он не отказывает себе в удовольствии спросить: «Инженеры есть? Поднимите руки!» Поднимается с десяток над лицами, засветившимися надеждой. «Ах, вот как! А может и академики есть?

Сейчас принесут *карандаши!»* И подносят... ломы. Начальник вильнюсской колонии лейтенант Карев видит среди новичков младшего лейтенанта Бельского (тот ещё в сапогах, в обтрёпанной офицерской форме). Ещё недавно этот человек был таким же советским офицером, как и Карев, такой же погон носил с одним просветом. Что ж, пробуждается в Кареве сочувствие при виде этой обтрёпанной формы? Удерживается ли по крайней мере безразличие? Нет — желание унизить выборочно! И он распоряжается поставить его (вот именно не меняя форму на лагерную) возить навоз на огороды. В баню той же колонии приезжали ответработники литовской УИТЛК, ложились на полки и мыть себя заставляли не просто заключённых, а обязательно Пятьдесят Восьмую.

Да присмотритесь к их лицам, они ведь ходят и сегодня среди нас, вместе с нами могут оказаться в поезде (не ниже, конечно, купированного), в самолёте. У них венок в петлице, неизвестно что венчающий венок, а погоны уже не стали правда голубые (стесняются), но кантик голубенький или даже красный, или малиновый. На их лицах — задубеневшая отложившаяся жестокость и всегда мрачно-недовольное выражение. Казалось бы, всё хорошо в их жизни, а вот выражение недовольное. То ли кажется им, что они ещё что-то лучшее упускают? То ли уж за все злодейства метит Бог шельму непременно? — В вологодских, архангельских, уральских поездах в купированных вагонах — повышенный процент этих *военных*. За окном мелькают облезлые лагерные вышки. «Ваше *хозяйство?»* — спрашивает сосед. Военный кивает удовлетворённо, даже гордо: «Наше.» — «Туда и едете?» — «Да.» — «И жена работает тоже?» — «Девяносто получает. Да я две с половиной сотни (майор). Двое детей. Не разгонишься». Вот этот например, даже с городскими манерами, очень приятный сособедник для поезда. Замелькали колхозные поля, он объясняет: «В сельском хозяйстве значительно лучше пошли дела. Они теперь *сеют, что хотят.»* (Социализм! А когда из пещеры первый раз вылезли засевать лесной пожог — не «что хотели» сеяли?..)

В 1962 году ехал я через Сибирь в поезде первый раз вольным. И надо же! — в купе оказался молодой эмведешник, только что выпущенный из Тавдинского училища и ехавший в распоряжение иркутского УИТЛ. Я притворился сочувственным дурачком, и он рассказывал мне, как стажировку проходили в современных лагерях, и какие эти заключённые нахальные, бесчувственные и безнадёжные. На его лице ещё не установилась эта постоянная жестокость, но показал он мне торжественный снимок 3-го выпуска Тавды, где были не только мальчики, но и давние лагерщики, добиравшие образование (по дрессировке, сыску, лагереведению и марксизму-ленинизму) больше для пенсии уже, чем для службы,— и я хоть и видел виды, однако ахнул. Чернота души выбивается в лица! Как же умело отбирают их из человечества!

В лагере военнопленных Ахтме (Эстония) был такой случай: русская медсестра вступила в близость с военнопленным немцем, это обнаружили. Её не просто изгнали из своей благородной среды — о, нет! Для этой женщины, носившей советские офицерские погоны, сколотили близ вахты за зоной тесовую будку (трудов не пожалели) с кошачьим окошком. В этой будке продержали женщину неделю, и каждый вольный, приходящий «на работу» и уходящий с неё,— бросал в будку камнями, кричал «б... немецкая!» и плевал.

Вот так они и отбираются.

Поможем сохранить для истории фамилии колымских лагерщиков-палачей, не знавших (конец 30-х годов) границ своей власти и изобретательной жестокости: Павлов, Вишневецкий, Гакаев, Жуков, Комаров, Кудряшёв М. А., Логовиненко, Меринов, Никишов, Резников, Титов, Василий «Дуровой». Упомянем и Светличного, знаменитого истязателя из Норильска, много жизней числят зэки за ним.

Уж кто-нибудь без нас расскажет о таких монстрах, как Чечев (разжалованный из прибалтийского минвнудела в начальники Степлага); Тарасенко (начальник Усольлага); Коротицын и Дидоренко из Каргопольлага; о свирепом Барабанове (начальник Печорлага с конца войны); о Смирнове (начальник режима Печжелдорлага); майоре Чепиге (начальник режима Воркутлага). Только перечень этих знаменитых имён занял бы десятки страниц. Моему одинокому перу за ними за всеми не угнаться. Да и власть по-прежнему у них. Не отвели мне ещё конторы собирать эти материалы и через всесоюзное радио не предлагают обратиться со сбором.

А я ещё о Мамулове, и хватит. Это всё тот же ховринский Мамулов, чей брат был начальником секретариата Берии. Когда наши освободили пол-Германии, многие крупные эмведешники туда ринулись, и Мамулов тоже. Оттуда погнал он эшелоны с запломбированными вагонами — на свою станцию Ховрино. Вагоны вгонялись в лагерную зону, чтоб не видели вольные железнодорожники (как бы «ценное оборудование» для завода),— а уж свои зэки разгружали, их не стеснялись. Тут навалом набросано было всё, что наспех берут ошалевшие грабители: вырванные из потолка люстры, мебель музейная и бытовая, сервизы, кое-как увёрнутые в комканые скатерти, и кухонная утварь, платья бальные и домашние, бельё женское и мужское, цветные фраки, цилиндры и даже трости. Здесь это бережно теперь сортировалось, и что цело — везлось по квартирам, раздавалось знакомым. Привёз Мамулов из Германии и целый парк трофейных автомашин, даже 12-летнему сыну (как раз возраст малолетки!) подарил «Опель-кадета». На долгие месяцы портновская и сапожная лагерные мастерские были завалены перешивкой привезенного ворованного. Да у Мамулова не одна ж была квартира в Москве и не одна женщина, которую надо было обеспечить. Но любимая его квартира была загородная, при лагере. Сюда приезжал иногда и сам Лаврентий Павлович. Привозили из Москвы всамделишный хор цыган и даже допускали на эти оргии двух зэков — гитариста Фетисова и плясуна Малинина (из ансамбля песни и пляски Красной армии), предупредив их: если где слово расскажете — сгною! Мамулов вот был какой: с рыбалки возвращались, тащили лодку через огород какого-то деда, и потоптали. Дед как бы забурчал. Чем же наградить его? А избил его своими кулаками так, что тот в землю только хрипел. За моё же жито и меня же бито... *

Но я чувствую, что рассказ мой становится однообразным. Я, кажется, повторяюсь? Или мы об этом уже где-то читали, читали, читали?..

---

* При падении Берии в 1953 году погорел и Мамулов, но не надолго, потому что всё-таки принадлежал он к правящим кадрам. Он выплыл и стал одним из начальников в Мосстрое. Потом ещё раз завалился на «левой» загонке квартир. Потом снова приподнялся. Да ведь уже и на пенсию хорошую пора.

Мне возражают! Мне возражают! Да, были отдельные факты... Но главным образом при Берии... Но почему вы не даёте светлых примеров? Но опишите же и хороших! Но покажите нам наших отцов родных...

Нет уж, кто видел, тот пусть и показывает. А я — не видел. Я общим рассуждением уже вывел, что лагерный начальник *не может быть хорошим* — он должен тогда голову свернуть или быть вытолкнут. Ну допустите на минуту: вот лагерщик задумал творить добро и сменить собачий режим своего лагеря на человеческий,— так дадут ему? разрешат? допустят? Как это самовар на мороз вынести да он бы там нагревался?

Вот так я согласен принять: «хорошие» это те, кто никак не вырвется, кто ещё не ушёл, но уйдёт. Например, у директора московской обувной фабрики М. Герасимова отняли партбилет, а из партии не исключили (и такая форма была). А пока его — куда? Послали лагерщиком (Усть-Вымь). Так вот, говорят, он очень тяготился должностью, с заключёнными был мягок. Через 5 месяцев вырвался и уехал. Можно поверить: эти 5 месяцев он был хорошим. Вот, мол, в Ортау был (1944) начальник лагпункта Смешко, от него дурного не видели,— так и он рвался уйти. В УСВИТЛе начальник отдела (1946) бывший лётчик Морозов хорошо относился к заключённым — так зато к нему начальство дурно. Или вот капитан Сиверкин, говорят, в Ныроблаге был хорошим. Так что? Послали его в Парму, на штрафную командировку. И два у него были занятия — пил горькую да слушал западное радио, оно в их местности слабо глушилось (1952). Вот и сосед мой по вагону, выпускник Тавды, тоже ещё с добрыми порывами: в коридоре оказался безбилетный парень, сутки на ногах. Говорит: «Потеснимся, дадим место? Пусть поспит.» Но дозвольте ему годик послужить начальником — и он иначе сделает, он пойдёт к проводнице: «Выведите безбилетника!» Разве неправда?

Ну, честно скажу, знал я одного очень хорошего эмведешника, правда не лагерщика, а тюремщика — подполковника Цуканова. Одно короткое время он был начальником марфинской спецтюрьмы. Не я один, но все тамошные зэки признают: зла от него не видел никто, добро видели все. Как только мог он изогнуть инструкцию в пользу зэков — обязательно гнул. В чём только мог послабить — непременно послаблял. Но что ж? Перевели нашу спецтюрьму в разряд более строгих — и он был убран. Он был немолод, служил в МВД долго. Не знаю — как. Загадка.

Да вот ещё Арнольд Раппопорт уверяет меня, что инженер-полковник Мальцев Михаил Митрофанович, армейский сапёр, с 1943 по 1947 начальник Воркутлага (и строительства и самого лагеря) — был, мол, хороший. В присутствии чекистов подавал руку заключённым инженерам и называл их по имени-отчеству. Профессиональных чекистов не терпел, пренебрегал начальником Политотдела полковником Кухтиковым. Когда ему присвоили звание гебистское — генерального комиссара третьего ранга, он не принял (может ли так быть?): я инженер. И добился своего: стал обычным генералом. За годы его правления, уверяет Раппопорт не было создано на Воркуте ни одного лагерного *дела* (а ведь это годы — военные, самое время для «дел»), жена его была прокурором города Воркуты и парализовала творчество лагерных оперов. Это очень

важное свидетельство, если только А. Раппопорт не поддаётся невольным преувеличениям из-за своего привилегированного инженерного положения в то время. Мне как-то плохо верится: почему тогда не сшибли этого Мальцева? ведь он должен был всем мешать! Понадеемся, что когда-нибудь кто-нибудь установит здесь истину. (Командуя сапёрной дивизией под Сталинградом, Мальцев мог вызвать командира полка перед строй и собственноручно его застрелить. На Воркуту он и попал как опальный, да не за это, за другое что-то.)

В этом и других подобных случаях память и личные наслоения иногда искажают воспоминания. Когда говорят о *хороших,* хочется спросить: хорошие — к кому? ко всем ли?

И бывшие фронтовики — совсем не лучшая замена исконным эмведешникам. Чульпенёв свидетельствует, что становилось не лучше, а хуже, когда старый лагерный пёс сменялся (в конце войны) подраненным фронтовиком, вроде комиссара полка Егорова. Совсем ничего не понимая в лагерной жизни, они делали беспечные поверхностные распоряжения и уходили за зону пьянствовать с бабами, отдавая лагерь во власть мерзавцев из придурков.

Однако, те, кто особенно кричат о «хороших чекистах» в лагерях, а это — благонамеренные ортодоксы,— имеют в виду «хороших» не в том смысле, в котором понимаем мы: не тех, кто пытался бы создать общую человечную обстановку для всех ценой отхода от зверских инструкций ГУЛага. Нет, «хорошими» считают они тех лагерщиков, кто честно выполнял все псовые инструкции, загрызал и травил всю толпу заключённых, но поблажал бывшим коммунистам. (Какая у благонамеренных широта взгляда! Всегда они — наследники общечеловеческой культуры.)

Такие «хорошие» конечно были, и немало. Да вот и Кудлатый с томами Ленина — чем не такой? О таком рассказывает Дьяков, вот благородство: начальник лагеря во время московской командировки посетил семью сидящего у него ортодокса, а вернулся — и приступил к исполнению всех псовых обязанностей. И генерал Горбатов «хорошего» колымского припоминает: «Нас привыкли считать какими-то извергами, но это мнение ошибочное. Нам тоже приятно сообщать радостное известие заключённому.» А чем этот «хороший» колымский пёс озабочен — чтоб Горбатов не рассказал «наверху» о произволе в его лагере. Из-за того и вся приятная беседа. К концу же: «Будьте осторожны в разговорах.» (И Горбатов опять ничего не понял...)

Вот и Левкович пишет в «Известиях» (6.9.64), как называется, *страстную,* а по-нашему — заданную статью: что знала де она в лагерях несколько добрых, умных, строгих, печальных, усталых и т. д. чекистов, и такой комендант Капустин в Джамбуле пытался сосланных жён коммунистов устраивать на работу — и из-за этого был вынужден застрелиться. Тут уже полный бред, мели, Емеля... Комендант и обязан устраивать ссыльных на работу, даже насильственным путём. И если он действительно застрелился — так или проворовался, или с бабами запутался.

Да, вот же ещё «хороший»! — наш экибастузский подполковник Матвеев. При Сталине острые зубы казал и лязгал, а умер Папаша, Берия слетел — и стал Матвеев первым либералом, отец туземцев! Ну, и до следующего ветра. (Но натихую поучал бригадира Александрова и в этот год: «Кто вас не слушает — бейте в морду, вам ничего не будет, обещаю!»)

Нет, до ветру нам таких «хороших»! Такие все «хорошие» дёшево сто́ят. По нам тогда они хороши, когда сами в лагерь садятся.

И — садились иные. Только суд был над ними — не за *то.*

* * *

Лагерный надзор считается младшим командным составом МВД. Это — гулаговские унтеры. Та самая их и задача — тащить и не пущать. На той же гулаговской лестнице они стояли, только пониже. Оттого у них прав меньше, а свои руки приложить приходится чаще. Они, впрочем, на это не скупятся, и если нужно искровянить кого в штрафном изоляторе или в надзирательской комнате, то втроём смело бьют одного, хоть до полёгу. Год от года они на своей службе грубеют, и не заметишь на них ни облачка сожаления к мокнущим, мёрзнущим голодным, усталым и умирающим арестантам. Заключённые перед ними — так же бесправны и беззащитны, как и перед большим начальством, так же можно на них давить — и чувствовать себя высоким человеком. И выместить злость, проявить жестокость — в этом преграда им не поставлена. А когда бьёшь безнаказанно — то, начав, покинуть не хочется. Произвол растравляет, и самого себя таким уж грозным чувствуешь, что и себя боишься. Своих офицеров надзиратели охотно повторяют и в поведении, и в чертах характера — но нет на них того золота, и шинели грязноваты, и всюду они пешком, прислуги из заключённых им не положено, сами копаются в огороде, сами ходят и за скотиной. Ну, конечно, *дёрнуть* зэка к себе домой на полдня — дров поколоть, полы помыть — это можно, но не очень размашисто. За счёт работающих — нельзя, значит за счёт отдыхающих. (Табатеров — Березники, 1930 — только прилёг после ночной двенадцатичасовой смены, надзиратель его разбудил и послал к себе домой работать. А попробуй не пойди...) Вотчины нет у надзирателей, лагерь им всё-таки — не вотчина, а — служба, оттого нет ни той спеси, ни того размаха в самовластии. Стоит перед ними преграда и в воровстве. Здесь — несправедливость: у начальства и без того денег много — так им и брать можно много, а у надзора куда меньше — и брать разрешено меньше. Уже из каптёрки мешком тебе не дадут — разве сумочкой малой. Как сейчас вижу крупнолицего льноволосого сержанта Киселёва: зашёл в бухгалтерию (1945) и командует: «не выписывать ни грамма жиров на кухню зэ-ка! только вольным!» (жиров не хватало). Всего-то и преимуществ — жиров по норме... Сшить что-нибудь себе в лагерной мастерской — надо разрешение начальника, да в очередь. Ну, вот на производстве можно заставить зэка что-нибудь по мелочи сделать — запаять, подварить, выковать, выточить. А крупней табуретки не всегда и вынесешь. Это ограничение в воровстве больно обижает надзирателей, а жён их особенно, и оттого много бывает горечи против начальства, оттого жизнь ещё кажется сильно несправедливой, и появляются в груди надзирательской струны не струны, но такие незаполненности, пустоты, где отзывается стон человеческий. И бывают способны низшие надзиратели иногда с зэками сочувственно поговорить. Не так это часто, но и не вовсе редко. Во всяком случае, в надзирателе, тюремном и лагерном, встретить человека бывает можно, каждый заключённый встречал на своём пути не одного. В офицере же — почти невозможно.

Это, собственно, общий закон об обратной зависимости социального положения и человечности.

Настоящие надзиратели — это те, кто служит в лагерях по 15 и по 25 лет. Кто, однажды поселясь в делёких этих проклятых местах,—

уж оттуда и не вылезает. Устав и распорядок они однажды утвердят в голове — и ничего во всю жизнь им больше ни читать, ни знать не надо, только слушай радио, московскую первую программу. Вот их-то корпус и составляет для нас — тупо́-невыразительное, непреклонное, не доступное никакой мысли лицо ГУЛага.

Только в годы войны состав надзора исказился и замутился. Военные власти впопыхах пренебрегли безупречностью службы надзора и кого-то выхватили на фронт, а взамен стали попадать сюда солдаты войсковых частей после госпиталя — но этих ещё отбирали потупей и пожесточе. А то попадали старики: сразу из дому по мобилизации и сюда. И вот среди этих-то, седоусых, очень были добродушные непредвзятые люди — разговаривали ласково, обыскивали кое-как, ничего не отнимали и ещё шутили. Никогда от них не бывало жалобы и рапорта на карцер. Но после войны они вскоре демобилизовались, и больше таких не стало.

Необычны были для надзорсостава и такие (тоже надзиратели военного времени), как студент «Сенин», я о нём уже писал, и ещё один еврей-надзиратель в нашем лагере на Калужской — пожилой, совершенно гражданского вида, очень спокойный, не придирчивой, никому от него не было зла. Он так нестрого держался, что раз я осмелился у него спросить: «Скажите, кто вы по гражданской специальности?» Он не обиделся, посмотрел на меня спокойными глазами и тихо ответил: «Коммерсант.» До нашего лагеря во время войны он служил в подольском, где, как говорил, каждый день войны умирало от истощения 13—14 человек (вот уже 20 тысяч смертей). В «войсках» НКВД он, видимо, перебывал войну, а теперь, после войны, нужно было ему проявить умение и не застрять здесь навечно.

А вот старшина Ткач, гроза и помначрежима экибастузского лагеря, пришёлся к надзорсоставу как влитый, будто от пелёнок он только тут и служил, будто и родился вместе с ГУЛАГом. Это было — всегда застывшее зловещее лицо под чёрным чубом. Страшно было оказаться просто рядом с ним или встретиться с ним на лагерной дорожке: он не проходил мимо, чтоб не причинить человеку зла — вернуть его, заставить работать, отнять, напугать, наказать, арестовать. Даже после вечерней проверки, когда бараки запирались на замок, но в летнее время зарешеченные окна были открыты, Ткач неслышно подкрадывался к окнам, подслушивал, потом заглядывал,— вся комната шарахалась — а он за подоконником, как чёрная ночная птица, через решётку объявлял наказания: за то, что пользуются запрещённым.

И вдруг — исчез Ткач навсегда. И пронёсся по лагерю слух (проверить точно мы его не могли, но такие упорные слухи обычно верны), что он разоблачён как фашистский палач с оккупированной территории, арестован и получил *четвертную*. Это было в 1952 году.

Как случилось, однако, что фашистский палач (никак не долее, чем трёхлетний) семь лет после войны был на лучшем счету в МВД?

* * *

«Конвой открывает огонь без предупреждения!» В этом заклинании — весь особый статут конвоя, его власти над нами по ту сторону закона.

Говоря «конвой», мы употребляем бытовое слово Архипелага: ещё говорили (в ИТЛ даже чаще) — *вохра* или просто «охра». По-учёному же они назывались Военизированная Стрелковая Охрана МВД, и «конвой» был только одной из возможных служб вохры, наряду со службой «в карауле», «на зоне», «на оцеплении» и «в дивизионе».

Служба конвоя, когда и войны нет,— как фронтовая. Конвою не страшны никакие разбирательства, и объяснений ему давать не придётся. Всякий стрелявший прав. Всякий убитый виноват, что хотел бежать или переступил черту.

Вот два убийства на лагпункте Ортау (а на число лагпунктов умножайте). Стрелок вёл подконвойную группу, бесконвойный подошёл к своей девушке, идущей в группе, пошёл рядом. «Отойди!» — «А тебе жалко?» Выстрел. Убит. Комедия суда, стрелок оправдан: оскорблён при исполнении служебных обязанностей.

К другому стрелку, на вахте, подбежал зэк с обходным листком (завтра ему освобождаться), попросил: «пусти, я в прачечную (за зону) сбегаю, мигом!» — «Нельзя.» — «Так завтра же я буду вольный, дурак!» Застрелил. И даже не судили.

А в пылу работы как легко заключённому не заметить этих затёсов на деревьях, которые и есть воображаемый пунктир, лесное оцепление вместо колючей проволоки. Вот Соловьёв (бывший армейский лейтенант) повалил ель и, пятясь, очищает её от сучьев. Он видит только своё поваленное дерево. А конвоир, «таншаевский волк», прищурился и ждёт, он не окликнет зэка — «поберегись!» Он ждёт — и вот Соловьёв, не замечая, переступил зону, продолжая пятиться вдоль ствола. Выстрел! Разрывная пуля, и разворочено лёгкое. Соловьёв убит, а таншаевскому волку — 100 рублей премия. («Таншаевские волки» — это близ Буреполома местные жители Таншаевского района, которые все поступали в вохру — во время войны, чтоб от дома ближе и на фронт не идти.)

Эта беспрекословность отношений между конвоем и заключёнными, постоянное право охраны употребить пулю вместо слова — не может остаться без влияния на характер вохровских офицеров и самих вохровцев. Жизнь заключённых отдаётся в их власть хотя не на полные сутки, но зато уже сполна и доглубока. Туземцы для них — никак не люди, это какие-то движущиеся ленивые чучела, которых довёл их рок считать, да побыстрее прогнать на работу и с работы, да на работе держать погуще.

Но ещё больше сгущался произвол в офицерах вохры. У этих молоденьких лейтенантиков создавалось злобно-своевольное ощущение власти над бытием. Одни — только громогласные (старший лейтенант Чюрный в Ныроблаге), другие — наслаждаясь жестокостью и даже перенося её на своих солдат (лейтенант Самутин, там же), третьи не зная уже ни в чём запрета своему всесилию. Командир вохры Невский (Усть-Вымь, 3-й лагпункт) обнаружил пропажу своей собачки — не служебной овчарки, а любимой собачки. Он пошёл искать её разумеется в зону и как раз застал пятерых туземцев, разделывавших труп. Он вырвал пистолет и одного убил на месте. (Никаких административных последствий этот случай не имел, кроме наказания штрафным изолятором остальных четверых.)

В 1938 в Приуралье на реке Вишере с ураганною быстротою налетел лесной пожар — от леса да на два лагпункта. Что делать с зэками? Решать надо было в минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпу-

стила их — и все сгорели. Так — спокойнее. А если б выпущенные да разбежались — судили бы охрану.

Лишь в одном ограничивала вохровская служба клокочущую энергию своих офицеров: взвод был основной единицей, и всё всесилие кончалось взводом, а погоны — двумя малыми звёздочками. Продвижение в дивизионе лишь удаляло от реальной взводной власти, было тупиковым.

Оттого самые властолюбивые и сильные из вохровцев старались перескочить во внутреннюю службу МВД и продвигаться уже там. Некоторые известные гулаговские биографии именно таковы. Уже упомянутый Антонов, вершитель заполярной «Мёртвой дороги», вышел из командиров вохры и образование имел — всего четырёхклассное.

Нет сомнения, что отбору стрелковой охраны МВД придавалось большое значение в министерстве, да и военкоматы имели на то тайное указание. Много тайной работы ведут военкоматы, мы к ним относимся добродушно. Почему, например, так решительно отказались от идеи территориальных войск 20-х годов (проект Фрунзе), и даже наоборот с исключительным упорством усылают новобранцев служить в армии как можно дальше от своей местности (азербайджанцев — в Эстонию, латышей — на Кавказ)? Потому что войска должны быть чужды местному населению желательно и по расе (как проверено в Новочеркасске в 1962 году). Так и в подборе конвойных войск не без умысла было достигнуто повышенное число татар и других нацменов: их меньшая просвещённость, их худшая осведомлённость были ценностью для государства, крепостью его.

Но настоящее научное комплектование и дрессировка этих войск начались лишь одновременно с Особлагами — с конца 40-х и начала 50-х годов. Стали брать туда только 19-летних мальчиков и сразу подвергать их густому идеологическому облучению. (Об этом конвое мы ещё будем говорить отдельно.)

А до того времени как-то руки не доходили в ГУЛаге. Да просто весь наш, хотя и социалистический, народ ещё не доразвился, не поднялся до того стойкого жестокого уровня, чтобы поставлять достойную лагерную охрану. Состав вохры бывал пёстр и переставал быть той стеной ужаса, как замыслен. Особенно размягчился он в годы советско-германской войны: лучших тренированных («хорошей злобности») молодых ребят приходилось передавать на фронт, а в вохру тянулись хилые запасники, по здоровью не годные к действующей армии, а по злобности совсем не подготовленные к ГУЛАГу (не в советские годы воспитывались). В самые беспощадные голодные военные лагерные годы это расслабление вохры (где оно было, не везде-то было) — хоть отчасти облегчало жизнь заключённых.

Нина Самшель вспоминает о своём отце, который вот так в пожилом возрасте в 1942 году был призван в армию, а направлен служить охранником в лагерь Архангельской области. Переехала к нему и семья. «Дома отец горько рассказывал о жизни в лагере, и о хороших людях там. Когда папе приходилось на сельхозе охранять бригаду одному (вот тоже ещё военное время — на всю бригаду один стрелок, разве не облегчение?), то я часто ходила к нему туда, и он разрешал мне разговаривать с заключёнными. Отца заключённые очень уважали: он

никогда им не грубил, и отпускал их по просьбам, например в магазин, и они у него никогда не убегали. Они мне говорили: «вот если бы все конвойные были такие, как твой папа». Он знал, что много людей сидит невинных и всегда возмущался, но только дома — во взводе сказать так было нельзя, за это судили». По окончании войны он сразу демобилизовался.

Но и по Самшелю нельзя верстать вохру военного времени. Доказывает это дальнейшая судьба его: уже в 1947 он был по 58-й посажен и сам! В 1950 в присмертном состоянии сактирован и через 5 месяцев дома умер.

После войны эта разболтанная охрана ещё оставалась год-два, и както повелось, что многие вохровцы стали о своей службе тоже говорить «срок»: «Вот когда срок кончу.» Они понимали позорность своей службы, о которой соседям и то не расскажешь. В том же Ортау один стрелок нарочно украл предмет из КВЧ, был разжалован, судим и тут же амнистирован,— и стрелки завидовали ему: вот додумался! молодец!

Наталья Столярова вспоминает стрелка, который задержал её в начале побега — и скрыл её попытку, она не была наказана. Ещё один застрелился от любви к зэчке, отправленной на этап. До введения подлинных строгостей на женских лагпунктах между женщинами и конвоирами частенько возникали дружелюбные, добрые, а то и сердечные отношения. Даже наше великое государство не управлялось повсюду подавить добро и любовь.

Молодые пополнения послевоенных лет тоже не сразу стали такими, как хотел ГУЛаг. Когда в выроблагской стрелковой охране бунтовал Владилен Задорный (о нём ещё будет), то сверстники-сослуживцы относились к его сопротивлению очень сочувственно.

Особую полосу в истории лагерной охраны составляет *самоохрана*. Ещё ведь в первые послереволюционные годы было провозглашено, что *самокарауливание* есть обязанность советских заключённых. Не без успеха это было применено на Соловках, очень широко на Беломорканале и на Волгоканале: всякий социально-близкий, не желавший катать тачку, мог взять винтовку против своих товарищей.

Не будем утверждать, что это был специальный дьявольский расчёт на моральное разложение народа. Как всегда в нашей полувековой советской истории, высокая коммунистическая теория и ползучая моральная низость естественно переплетались, легко обращаясь друг в друга. Но из рассказов старых зэков известно, что самоохранники были жестоки к своим братьям, тянулись выслужиться, удержаться в собачьей должности, иногда и сводили старые счёты выстрелом наповал.

Нет, скажите: чему дурному нельзя научить народ? людей? человечество?..

Да это и в юридической литературе отмечено: «во многих случаях лишённые свободы выполняют свои обязанности по охране колонии и поддержанию порядка лучше, чем штатные надзиратели». *

Эта цитата — из 30-х годов, а Задорный подтверждает и о конце 40-х: самоохранники были озлоблены к своим товарищам, ловили формальный повод и застреливали. Причём в Парме, штрафной коман-

---

* Сборник «От тюрем...», стр. 141.

дировке Ныроблага, сидела только Пятьдесят Восьмая, и самоохрана была из Пятьдесят Восьмой! Политические...

Рассказывает Владилен о таком самоохраннике — Кузьме, бывшем шофёре, молодом парне лет двадцати с небольшим. В 1949 он получил десятку по 58-10. Как жить? Другого пути не нашёл. В 1952 Владилен уже застал его самоохранником. Положение мучило его, он говорил, что не выдержит этой ноши — винтовки; идя в конвой, часто не заряжал её. Ночами плакал, называя себя шкурой продажной, и даже хотел застрелиться. У него был высокий лоб, нервное лицо. Он любил стихи и уходил с Владиленом читать их в тайгу. А потом опять за винтовку...

И такого знал он самоохранника как Александр Лунин, уже пожилой, седые волосы венчиком около лба, располагающая добрая улыбка. На войне он был пехотный лейтенант, потом — предколхоза. Он получил десятку (по бытовой) за то, что не уступил райкому, чего тот требовал, а раздал самовольно колхозникам. Значит, каков человек! — ближние были ему дороже себя. А вот в Ныроблаге стал самоохранником, даже у начальника лагпункта Промежуточная заработал скидку срока.

Границы человека! Сколько ни удивляйся им, не постигнешь...

Глава 21

ПРИЛАГЕРНЫЙ МИР

Как кусок тухлого мяса зловонен не только по поверхности своей, но и окружён ещё молекулярным зловонным облаком, так и каждый остров Архипелага создаёт и поддерживает вокруг себя зловонную зону. Эта зона, более охватная, чем сам Архипелаг,— зона посредническая, передаточная между малой зоной каждого отдельного острова и Большой Зоной всей страны.

Всё, что рождается самого заразного в Архипелаге — в людских отношениях, нравах, взглядах и языке, по всеобщему в мире закону проникания через растительные и животные перегородки — просачивается сперва в эту передаточную зону, а потом уже расходится и по всей стране. Именно здесь, в передаточной зоне, сами собой проверяются и отбираются элементы лагерной идеологии и *культуры* — достойные войти в культуру общегосударственную. И когда лагерные выражения звенят в коридорах нового здания МГУ, или столичная независимая женщина выносит вполне лагерное суждение о сути жизни,— не удивляйтесь: это достигло сюда через передаточную зону, через прилагерный мир.

Пока власть пыталась (а может быть и не пыталась) перевоспитать заключённых через лозунги, культурно-воспитательную часть, почтовую цензуру и оперуполномоченных,— заключённые быстрее перевоспитали всю страну посредством прилагерного мира. Блатное миропонимание, сперва подчинив Архипелаг, легко перекинулось дальше и захватило всесоюзный идеологический рынок, пустующий без идеологии более сильной. Лагерная хватка, жестокость людских отношений, броня бесчувствия на сердце, враждебность всякой добросовестной работе — всё это без труда покорило прилагерный мир, а затем и глубоко отразилось на всей *воле*.

Так Архипелаг мстит Союзу за своё создание.

Так никакая жестокость не проходит нам даром.

Так дорого платим мы всегда, гоняясь за тем, что подешевле.

* * *

Перечислять эти места, местечки и посёлки — почти то же, что повторять географию Архипелага. Ни одна лагерная зона не может существовать сама по себе — близ неё должен быть посёлок вольных. Иногда этот посёлок при каком-нибудь временном лесоповальном лагпункте простоит несколько лет — и вместе с лагерем исчезнет. Иногда он вкоренится, получит имя, поселковый совет, подъездую дорогу — и останется навсегда. А иногда из этих посёлков вырастают знаменитые города — такие как Магадан, Норильск, Дудинка, Игарка, Темир-Тау, Балхаш, Джезказган, Ангрен, Тайшет, Братск, Совгавань. Посёлки эти гноятся не только на диких отшибах, но и в самом туловище России у донецких и тульских шахт, близ торфоразработок, близ сельскохозяйственных лагерей. Иногда заражены и относятся к прилагерному миру целые районы, как Таншаевский. А когда лагерь впрыснут в тело боль-

шого города, даже самой Москвы,— прилагерный мир тоже существует, но не особым посёлком, а теми отдельными людьми, которые ежевечерне растекаются от него троллейбусами и автобусами и ежеутренне стягиваются к нему опять (передача заразы вовне в этом случае идёт ускоренно).

Ещё есть такие городки, как Кизел (на пермской горнозаводской ветке); они начали жить до всякого Архипелага, но затем оказались в окружении множества лагерей — и так превратились в одну из провинциальных столиц Архипелага. Такой город весь дышит лагерным окружением, офицеры-лагерщики и группы солдат охраны ходят и ездят по нему густо, как оккупанты; лагерное управление — главное учреждение города: телефонная сеть — не городская, а лагерная: маршруты автобусов все ведут из центра города в лагеря, все жители кормятся от лагерей.

Из таких провинциальных столиц Архипелага крупнейшая — Караганда. Она создана и наполнена ссыльными и бывшими заключёнными, так что старому зэку по улице и пройти нельзя, чтобы то и дело не встречать знакомых. В ней — несколько лагерных управлений. И как песок морской рассыпано вокруг неё лагпунктов.

Кто же живёт в прилагерном мире? 1) Коренные местные жители (их может и не быть). 2) Вохра — военизированная охрана. 3) Лагерные офицеры и их семьи. 4) Надзиратели с семьями (надзиратели, в отличие от охраны, всегда живут по-домашнему, даже когда числятся на военной службе). 5) Бывшие зэки (освободившиеся из этого или соседнего лагеря). * 6) Разные ущемлённые — полурепрессированные, с «нечистыми» паспортами. (Они, как бывшие зэки, живут здесь не по доброй воле, а по заклятью: им если и не указана прямо эта точка, как ссыльным, то во всяком ином месте им будет хуже с работой и жильем, а может быть и совсем жить не дадут.) 7) Производственное начальство. Это — люди высокопоставленные, всего несколько человек на большой посёлок. (Иногда их тоже может не быть.) 8) Собственно *вольняшки*, всё наброд да приволока — разные приблудные, пропащие и приехавшие на лихие заработки. Ведь в этих далёких гиблых местах можно работать втрое хуже, чем в метрополии, и получать вчетверо бóльшую зарплату: за полярность, за удалённость за неудобства, да ещё приписывая себе труд заключённых. К тому ж многие стягиваются сюда по вербовке, по договорам и ещё получают подъёмные. Для тех, кто умеет мыть золото из производственных нарядов, прилагерный мир — Клондайк. Сюда тянутся с поддельными дипломами, сюда приезжают авантюристы, проходимцы, рвачи. Выгодно ехать сюда тем, кому нужна бесплатно чужая голова (полуграмотному геологу геологи-зэки и проведут полевые наблюдения, и обработают их, и выводы сделают, а он потом хоть диссертацию защищай в метрополии). Сюда забрасывает неудачников и просто горьких пьяниц. Сюда приезжают после крушения семей или скрываясь от алиментов. Ещё бывают здесь молодые выпускники тех-

* Прошла сталинская эпоха, веяло разными тёплыми и холодными ветрами,— а многие бывшие зэки так и не уехали из прилагерного мира, из своих медвежьих мест, и правильно сделали. Там они хоть полулюди, в центральных частях Союза не были бы и ими. Они останутся там до смерти, приживутся и дети как коренные.

никумов, кому не удалось при распределении благополучно славировать. Но с первого дня приезда сюда они начинают рваться назад в цивилизованный мир, и кому не удаётся это за год, то уж за два обязательно. А есть среди вольняшек и совсем другой разряд: уже пожилых, уже десятки лет живущих в прилагерном мире и так придышавшихся к нему, что другого мира, слаще,— им не надо. Закрывается их лагерь, или перестаёт начальство платить им, сколько они требуют,— они уезжают, но непременно в другую такую же прилагерную зону, иначе они жить не могут. Таков был Василий Аксентьич Фролов, великий пьяница, жулик и «знатный мастер литья», о котором здесь много можно было бы рассказать, да уж он у меня описан в пьесе. Не имея никакого диплома, а мастерство своё последнее пропив, он меньше 5000 в месяц дохрущёвскими деньгами не получал.

В самом общем смысле слово *вольняшка* значит — всякий вольный, то есть ещё не посаженный или уже освобождённый гражданин Советского Союза, стало быть и всякий гражданин прилагерного мира. Но чаще это слово употребляется на Архипелаге в узком смысле: вольняшка — это тот вольный, кто работает в одной производственной зоне с заключёнными. Поэтому приходящие туда работать из групп (1), (5) и (6) — тоже вольняшки.

Вольняшек берут прорабами, десятниками, мастерами, завскладами, нормировщиками. Ещё берут их на те должности, где использование заключённых сильно бы затруднило конвоирование: шофёрами, возчиками, экспедиторами, трактористами, экскаваторщиками, скреперистами, линейными электриками, ночными кочегарами.

Эти вольняшки второго разряда, простые работяги, как и зэки, тотчас и запросто сдруживались с нами, и делали всё, что запрещалось лагерным режимом и уголовным законом: охотно бросали письма зэков в «вольные» почтовые ящики посёлка; носильные вещи, замотанные зэками в лагере, продавали на вольной толкучке, вырученные за то деньги брали себе, а зэкам несли чего-нибудь *пожрать;* вместе с зэками разворовывали также и производство; вносили или ввозили в производственную зону водку. (При строгом осмотре на вахте — пузырьки с засмоленными горлышками спускали в бензобаки автомашин. Если вахтёры находили и там,— то всё же никакого рапорта начальству не следовало: комсомольцы-охранники вместо того предпочитали трофейную водку выпить сами.)

А там, где можно было работу заключённых записать на вольных (не брезговали и на самих себя записывать десятники и мастера),— это делалось непременно: ведь работа, записанная на заключённого,— пропащая, за неё денег не заплатят, а дадут пайку хлеба. Так в некарточные времена был смысл закрыть наряд зэку лишь кое-как, чтоб неприятностей не было, а работу переписать на вольного. Получив за неё деньги, вольняшка и сам ел-пил и зэков своих подкармливал.

Большая выгода работать в прилагерном мире видна была и на вольняшках московских лагерей. У нас на Калужской заставе в 1946 было двое вольных каменщиков, один штукатур, один маляр. Они числились на нашей стройке, работать же почти не работали, потому что не могло им строительство выписать больших денег: надбавок здесь не было, и объёмы были все меряные: оштукатурка одного квадратного метра стоила 32 копейки, и никак невозможно оценить метр по полтиннику или записать метров в три раза больше, чем есть их в комнате. Но во-первых наши вольняшки потаскивали со строительства цемент, краски, олифу и стекло,

а во-вторых хорошо отдыхали свой 8-часовой рабочий день, вечером же и по воскресеньям бросались на главную работу — левую, частную, и тут-то добирали своё. За такой же квадратный метр стены тот же штукатур брал с частного человека уже не 32 копейки, а червонец, и в вечер зарабатывал двести рублей.

Говорил ведь Прохоров: «деньги — они двухэтажные теперь». Какой западный человек может понять «двухэтажные деньги»? Токарь в войну получал за вычетами 800 рублей в месяц, а хлеб на рынке стоил 140 рублей. Значит, он за месяц не дорабатывал к карточному пайку и хлеба — то есть он не мог на всю семью принести двести граммов в день! А между тем — жил... С открытой наглостью платили рабочим нереальную зарплату и предоставляли изыскивать «второй этаж». И тот, кто платил нашему штукатуру бешеные деньги за вечер, тоже в чём-то и где-то добирал свой «второй этаж». Так торжествовала социалистическая система, да только на бумаге. Прежняя — живучая, гибкая — не умирала ни от проклятий, ни от прокурорских преследований.

Так, в общем, отношения зэков с вольняшками нельзя назвать враждебными, а скорее дружественными. К тому ж эти потерянные, полупьяные, разорённые люди живей прислушивались к чужому горю, были способны внять беде посаженного и несправедливости его посадки. На что по должности закрывали глаза офицеры, надзор и охрана, на то открыты были глаза непредвзятого человека.

Сложней были отношения зэков с десятниками и мастерами цехов. Как «командиры производства» они поставлены были давить заключённых и погонять. Но с них спрашивали и ход самого производства, а его не всегда можно было вести в прямой вражде с зэками: не всё достигается палкой и голодом, что-то надо и по доброму согласию, и по склонности, и по догадке. Только те десятники были успешливы, кто ладил с бригадирами и лучшими мастерами из заключённых. Сами-то десятники бывали мало того что пьяницы, что расслаблены и отравлены постоянным использованием рабского труда, но и неграмотны, совсем не знали своего производства или знали дурно, и оттого ещё сильней зависели от бригадиров.

И как же интересно тут сплетались иногда русские судьбы! Вот пришёл перед праздником напьяне́ плотницкий десятник Фёдор Иванович Муравлёв и бригадиру маляров Синебрюхову, отличному мастеру, серьёзному, стойкому парню, сидящему уже десятый год, открывается:

— Что? *сидишь,* кулацкий сынок? Твой отец всё землю пахал да коров набирал — ду́мал в царство небесное взять. И где он теперь? В ссылке умер? И тебя посадил? Не-ет, мой отец был поумней: он сызмалетства всё дочиста пропивал, изба голая, в колхоз и курицы не сдал, потому что нет ничего — и сразу бригадир. И я за ним водку пью, горя не знаю.

И получалось, что он прав: Синебрюхову после срока в ссылку ехать, а Муравлёв — председатель месткома строительства.

Правда, от этого председателя месткова и десятника прораб Буслов не знал, как и избавиться (избавиться невозможно: нанимает их отдел кадров, а не прораб, отдел же кадров по симпатии подбирает частенько бездельников или дураков). За все материалы и фонд заработной платы прораб отвечает своим карманом, а Муравлёв то по неграмотности, а то и по простодушию (он совсем не вредный парень, да бригадиры ж ему за то ещё и *подносят)* транжирит этот самый фонд, подписывает непродуманные наряды (заполняют их бригадиры сами), принимает дурно сделанную работу, а потом надо ломать и делать заново. И Буслов рад был бы такого десятника заменить на инженера-зэка, работающего с киркой, но из бдительности не велит отдел кадров.

— Ну, вот говори: какой длины балки у тебя сейчас есть на строительстве, а?

Муравлёв вздыхал тяжело:

— Я пока стесняюсь вам точно сказать...

И чем пьяней был Муравьёв, тем дерзее разговаривал он с прорабом. Тогда прораб надумывал взять его в письменную осаду. Не щадя своего времени, он начинал писать ему все приказания письменно (копии подшивая в папку). Приказания эти, разумеется, не выполнялись и росло грозное дело. Но не терялся и председатель месткома. Он раздобывал половину измятого тетрадного листика и за полчаса выводил мучительно и коряво:

«довожу довашего сведенье о Том что все механизмы которые имеются для плотниских работ в не исправном виде тоесть в Плохом состоянии и исключительно не работают».

Прораб — это уже иная степень производственного начальства, это для заключённых — постоянный пригнёт и постоянный враг. Прораб уже не входит с бригадирами ни в дружеские отношения, ни в сделки. Он режет их наряды, разоблачает их тухту (сколько ума хватает) и всегда может наказать бригадира и любого заключённого через лагерное начальство:

«Начальнику лагпункта лейтенанту товарищу...

Прошу вас самым строгим образом наказать (желательно — в карцер, но с выводом на работу) бригадира бетонщиков з/к Зозулю и десятника з/к Орачевского за отливку плит толще указанного размера, в чём выразился перерасход бетона.

Одновременно сообщаю вам, что сего числа при обращении ко мне по поводу записи объёма работ в наряды з/к бригадир Алексеев нанёс десятнику товарищу Тумаркину оскорбление, назвав его *ослом*. Такое поведение з/к Алексеева, подрывающего авторитет вольнонаёмного руководства, считаю крайне нежелательным и даже опасным и прошу принять самые решительные меры вплоть до отсылки на этап.

Старший прораб Буслов».

Этого Тумаркина в подходящую минуту Буслов и сам называл ослом, но заключённый бригадир по цене своей достоин был этапа.

Такие записочки посылал Буслов лагерному начальству что ни день. В лагерных наказаниях он видел высший производственный стимул. Буслов был из тех производственных начальников, которые вжились в систему ГУЛАГа и приноровились, как тут надо действовать. Он так и говорил на совещаниях: «Я имею длительный опыт работы с зэ-ка́ зэ-ка́ и не боюсь их угроз прибить, понимаете ли, кирпичом.» Но, жалел он, гулаговские поколения становились не те. Люди, попавшие в лагерь после войны и после Европы, приходили какие-то непочтительные. «А вот работать в 37-м году, понимаете ли, было просто приятно. Например, при входе вольнонаёмного зэ-ка зэ-ка обязательно вставали.» Буслов знал и как обмануть заключённых, и как послать на опасные места, он никогда не щадил ни сил их, ни желудка, ни тем более самолюбия.

Длинноносый, длинноногий, в жёлтых американских полуботинках, полученных через ЮНРРА для нуждающихся советских граждан, он вечно носился по этажам строительства, зная, что иначе во всех его углах и закоулках ленивые грязные существа зэ-ка зэ-ка будут сидеть, лежать, греться, искать вшей и даже совокупляться, несмотря на разгар короткого десятичасового рабочего дня, а бригадиры будут толпиться в нормировочной и писать в нарядах тухту.

И изо всех десятников на одного только он полагался отчасти — на Фёдора Васильевича Горшкова. Это был щуплый старичок с растопыренными седыми усами. Он в строительстве тонко разбирался, знал и свою работу и смежную, а главное необычное среди вольняшек его свойство было то, что он был искренне заинтересован в исходе строительства: не карманно, как Буслов (вычтут или премируют? выругают или похвалят?), а внутренне, как если б строил всё огромное здание для себя и хотел получше. Пил он тоже осторожно, не теряя из виду стройки. Но был в нём и крупный недостаток: не прилажен он был к Архипелагу, не привык держать заключённых в страхе. Он тоже любил ходить по строительству и доглядывать своими глазами сам, однако он не носился, как Буслов, не настигал, кто там обманывает, а любил посидеть с плотниками на балках, с каменщиками на кладке, со штукатурами у растворного ящика и потолковать. Иногда угощал заключённых конфетами — это диковинно было нам. От одной работы он никак не мог отстать и в старости — от резки стекла. Всегда у него в кармане был свой алмаз, и если только при нём резали стекло, он тотчас начинал гудеть, что режут не как надо, отталкивал стекольщиков и резал сам. Уехал Буслов на месяц в Сочи — Фёдор Васильевич его заменял, но наотрез отказался сесть в его кабинет, оставался в общей комнате десятников.

Всю зиму уходил Горшков в старорусской короткой поддёвке. Воротник её оплешивел, а материал верха держался замечательно. Разговорились об этой поддёвке, что носит её Горшков уже тридцать второй год, не снимая, а до этого ещё сколько-то лет его отец надевал по праздникам,— и так выяснилось, что отец его Василий Горшков был казённый десятник. Вот тогда и понятно стало, отчего Фёдор Васильевич так любил камень, дерево, стекло и краску: с малолетства он и вырос на постройках. Но хоть десятники тогда назывались казёнными, а сейчас так не называются — казёнными-то они стали именно теперь, а раньше это были — артисты.

Фёдор Васильевич и сейчас похваливал старый порядок:

— Что теперь прораб? Он же копейки не может переложить из статьи в статью. А раньше придёт подрядчик к рабочим в субботу: «Ну, ребята, *до* бани или *после?*» Мол, «после, после, дядя!» «Ну, нате вам деньги на баню, а оттуда в такой-то трактир.» Ребята из бани валят гурьбой, а уж он их в трактире ждёт с водкой, закуской, самоваром... Попробуй-ка в понедельник поработать плохо.

Для нас теперь всё названо и всё известно: это была потогонная система, бессовестная эксплуатация, игра на низких инстинктах человека. И выпивка с закуской не стоила того, что выжимали из рабочего на следующей неделе.

А пайка, сырая пайка, выбрасываемая равнодушными руками из окна хлеборезки,— разве стоила больше?..

* * *

И вот все эти восемь разрядов вольных жителей варятся и толкутся на тесном пространстве прилагерного пятачка: от лагеря до леса, от лагеря до болота, от лагеря до рудника. Восемь разных категорий, разных рангов и классов — и всем им надо поместиться в этом засмраженном тесном посёлке, все они друг другу «товарищи» и в одну школу посылают детей.

Товарищи они такие, что, как святые в облаках, плавают надо всеми остальными два-три здешних магната (в Экибастузе — Хищук и Каращук, директор и главный инженер треста, нарочно не выдумаешь). А ниже, строго разделяясь, строго соблюдая перегородки, следует начальник лагеря, командир конвойного дивизиона, другие чины треста, и офицеры лагеря, и офицеры дивизиона, и где-то директор ОРСа, и где-то директор школы (но не учителя). Чем выше, тем ревнивее соблюдаются эти перегородки, тем больше значения имеет, какая баба к какой может пойти полузгать семячки (они не княгини, они не графини, так тем оглядчивей они следят, чтобы не уронить своего положения). О, обречённость жить в этом узком мире вдали от других чистопоставленных семей, но живущих в удобных просторных городах. Здесь все вас знают, и вы не можете просто пойти в кино, чтоб себя не уронить, и уж, конечно, не пойдёте в магазин (тем более, что лучшее и свежее вам принесут домой). Даже и поросёнка своего держать как будто неприлично: ведь унизительно жене такого-то кормить его из собственных рук. (Вот почему нужна прислуга из лагеря.) И в нескольких палатах поселковой больницы как трудно отделиться от драни и дряни и лежать среди приличных соседей. И детей своих милых приходится посылать за одну парту с кем?

Но ниже эти разгородки быстро теряют свою резкость и значение, уже нет придирчивых охотников следить за ними. Ниже — разряды неизбежно смешиваются, встречаются, покупают-продают, бегут занять очередь, ссорятся из-за профсоюзных ёлочных подарков, беспорядочною перемежкою сидят в кино — и настоящие советские люди, и совсем недостойные этого звания.

Духовные центры таких посёлков — главная Чайная в каком-нибудь догнивающем бараке, близ которой выстраиваются грузовики и откуда воющие песни, рыгающие и заплетающие ногами пьяные разбредаются по всему посёлку; и среди таких же луж и месива грязи второй духовный центр — Клуб, заплёванный семячками, затоптанный сапогами, с засиженной мухами стенгазетой прошлого года, постоянно бубнящим динамиком над дверью, с матерщиной на танцах и поножовщиной после киносеанса. Стиль здешних мест — «не ходи поздно», и идя с девушкой на танцы, самое верное дело — положить в перчатку подкову. (Ну, да и девушки тут такие, что от иной — семеро парней разбегутся.)

Этот клуб — надсада офицерскому сердцу. Естественно, что офицерам ходить на танцы в такой сарай и среди такой публики — совершенно невозможно. Сюда ходят, получив увольнительную, солдаты охраны. Но беда в том, что молодые бездетные офицерские жёны тоже тянутся сюда, и без мужей. И получается так, что они танцуют с солдатами! — рядовые солдаты обнимают спины офицерских жён, а как же завтра на

службе ждать от них беспрекословного подчинения? Ведь это выходит — на равную ногу, и никакая армия так не устоит! Не в силах унять своих жён, чтоб не ходили на танцы, офицеры добиваются запрещения ходить туда солдатам (уж пусть обнимают жён какие-нибудь грязные вольняшки). Но так вносится трещина в стройное политвоспитание солдат: что мы все — счастливые и равноправные граждане советского государства, а враги де наши — за проволокой.

Много таких сложных напряжений глубится в прилагерном мире, много противоречий между его восемью разрядами. Перемешанные в повседневной жизни с репрессированными и полурепрессированными, честные советские граждане не упустят попрекнуть их и поставить на место, особенно если пойдёт о комнате в новом бараке. А надзиратели, как носящие форму МВД, претендуют быть выше простых вольных. А ещё обязательно есть женщины, попрекаемые всеми за то, что без них пропали бы одинокие мужики. А ещё есть женщины, замыслившие иметь мужика постоянного. Такие ходят к лагерной вахте, когда знают, что будет освобождение, и хватают за рукава незнакомых: «Иди ко мне! У меня угол есть, согрею. Костюм тебе куплю! Ну, куда поедешь? Ведь опять посадят!»

А ещё есть над посёлком оперативное наблюдение, есть свой кум и свои стукачи, и мотают жилы: кто это принимает письма от зэков, и кто это продавал лагерное обмундирование за углом барака.

И уж конечно меньше чем где бы то ни было в Союзе, есть у жителей прилагерного мира ощущение Закона и барачной комнаты своей — как Крепости. У одних паспорт помаранный, у других его вовсе нет, третьи сами сидели в лагере, четвёртые — члены семьи, и так все эти независимые расконвоированные граждане ещё послушнее, чем заключённые, окрику человека с винтовкой, ещё безропотнее против человека с револьвером. Видя их, они не вскидывают гордой головы — «не имеете права!», а сжимаются и гнутся — как бы прошмыгнуть.

И это ощущение бесконтрольной власти штыка и мундира так уверенно реет над просторами Архипелага со всем его прилагерным миром, так передаётся каждому, вступающему в этот край, что вольная женщина (П-чина) с девочкой, летящая красноярской трассой на свидание к мужу в лагерь, по первому требованию сотрудников МВД в самолёте даёт обшарить, обыскать себя и раздеть догола девочку. (С тех пор девочка постоянно плакала при виде Голубых.)

Но если кто-нибудь скажет теперь, что нет печальнее этих прилагерных окрестностей и что прилагерный мир — клоака, мы ответим: кому как.

Вот якут Колодезников за отгон чужого оленя в тайгу получил в 1932 три года и, по правилам глубокомысленных перемещений, с родной Колымы был послан отбывать под Ленинград. Отбыл, и в самом Ленинграде был, и привёз семье ярких тканей, и всё ж много лет потом жаловался землякам и зэкам, присланным из Ленинграда:

— Ох, скучно там у вас! Ох, плохо!..

Глава 22

МЫ СТРОИМ

После всего сказанного о лагерях так и рвётся вопрос: да полно! Да выгоден ли был государству труд заключённых? А если не выгоден — так стоило ли весь Архипелаг затевать?

В самих лагерях среди зэков обе точки зрения на это были, и любили мы об этом спорить.

Конечно, если верить вождям,— спорить тут не о чем. Товарищ Молотов, когда-то второй человек государства, изъявил VI съезду Советов СССР по поводу использования труда заключённых: «Мы делали это раньше, делаем теперь и будем делать впредь. Это выгодно для общества. Это полезно для преступников.»

Не для государства это выгодно, заметьте! — для самого общества. А для преступников — полезно. И будем делать впредь! И о чём же спорить?

Да и весь порядок сталинских десятилетий, когда прежде планировались строительства, а потом уже — набор преступников для них, подтверждает, что правительство как бы не сомневалось в экономической выгоде лагерей. Экономика шла впереди правосудия.

Но очевидно, что заданный вопрос требует уточнения и расчленения:

— оправдывают ли себя лагеря в политическом и социальном смысле?

— оправдывают ли они себя экономически?

— самоокупаются ли они (при кажущемся сходстве второго и третьего вопроса здесь есть различие)?

На первый вопрос ответить не трудно: для сталинских целей лагеря были прекрасным местом, куда можно было загонять миллионы — для испугу. Стало быть, политически они себя оправдывали. Лагеря были также корыстно-выгодны огромному социальному слою — несчётному числу лагерных офицеров: они давали им «военную службу» в безопасном тылу, спецпайки, ставки, мундиры, квартиры, положение в обществе. Также пригревались тут и тьмы надзирателей, и лбов-охранников, дремавших на лагерных вышках (в то время как тринадцатилетних мальчишек сгоняли в ремесленные училища). Все эти паразиты всеми силами поддерживали Архипелаг — гнездилище крепостной эксплуатации. Всеобщей амнистии боялись они как моровой язвы.

Но мы уже поняли, что в лагеря набирались далеко не только инакомыслящие, далеко не только те, кто выбивался со стадной дороги, намеченной Сталиным. Набор в лагеря явно превосходил политические нужды, превосходил нужды террора — он соразмерялся (может быть только в сталинской голове) с экономическими замыслами. Да не лагерями ли (и ссылкой) вышли из кризисной безработицы 20-х годов? С 1930 года не рытьё каналов изобреталось для дремлющих лагерей, но срочно соскребались лагеря для задуманных каналов. Не число реальных «преступников» (или даже, «сомнительных лиц») определило деятельность судов, но — заявки хозяйственных управлений. При начале

Беломора сразу сказалась нехватка соловецких зэков, и выяснилось, что три года — слишком короткий, нерентабельный срок для Пятьдесят Восьмой, что надо засуживать их на две пятилетки сразу.

В чём лагеря оказались экономически-выгодными — было предсказано ещё Томасом Мором, прадедушкой социализма, в его «Утопии». Для работ унизительных и особо тяжёлых, которых никто не захочет делать при социализме,— вот для чего пришёлся труд зэков. Для работ в отдалённых диких местностях, где много лет можно будет не строить жилья, школ, больниц и магазинов. Для работ кайлом и лопатой — в расцвете двадцатого века. Для воздвижения великих строек социализма, когда к этому нет ещё экономических средств.

На великом Беломорканале даже автомашина была в редкость. Всё создавалось, как в лагере говорят, «пердячим паром».

На ещё более великом Волгоканале (в 7 раз большем по объёму работ, чем Беломор, и сравнимом с Панамским и Суэцким) было прорыто 128 километров длины глубиною более 5 метров с шириной вверху 85 метров и всё почти — киркой, лопатой и тачкой. * Будущее дно Рыбинского моря было покрыто массивами леса. Весь его свалили вручную, не видавши в глаза электропил, а уж сучья и хворост жгли полные инвалиды.

Кто бы это, если не заключённые, работали бы на лесоповале по 10 часов, ещё идя в предутренней темноте 7 километров до леса и столько же вечером назад, при тридцатиградусном морозе и не зная в году других выходных, кроме 1 мая и 7 ноября (Волголаг, 1937)?

Кто бы это, если не туземцы, корчевали бы пни зимой? На открытых приисках Колымы тащили бы лямками на себе короба с добытою породою? Лес, поваленный в километре от реки Коин (притока Выми), по глубокому снегу на финских подсанках тянули бы по двое, впрягшись в хомуты (петля хомута для мягкости обшивалась лоскутьями ветхой одежды, хомут надевался через одно плечо)?

Правда, уверяет нас полномочный коммунистический журналист Ю. Жуков **, что подобно тому и комсомольцы строили Комсомольск-на-Амуре (1932): валили без топоров, не имея кузни, не получая хлеба и вымирая от цынги. И восхищается: ах, как мы героически строили! А не подобией ли было бы возмутиться: кто это, не любя своего народа, послал их так строить? Да что ж возмущаться? Мы-то знаем, какие «комсомольцы» строили Комсомольск. Теперь пишут, что те «комсомольцы» и Магадан основали.

А кого можно было в джезказганские рудники на 12-часовой рабочий день спускать на сухое бурение? — туманом стоит силикатная пыль от вмещающей породы, масок нет, и через 4 месяца с необратимым силикозом отправляют человека умирать. Кого можно было в не укреплённые от завалов, в не защищённые от затопления шахты спускать на лифтах без тормозных башмаков? Для кого одних в XX веке не надо было тратиться на разорительную технику безопасности?

И как же это лагеря были экономически невыгодны?..

---

* Когда катаетесь на катере по каналу — помяните всякий раз лежащих там на дне.

** «Литературная газета», ноябрь 1963.

Прочтите, прочтите в «Мёртвой дороге» Побожия * эту картину высадки и выгрузки с лихтеров на реке Таз, эту полярную Илиаду сталинской эпохи: как в дикой тундре, где не ступала человеческая нога, муравьи-заключённые под муравьиным конвоем тащат на себе тысячи привезенных брёвен, и строят причалы, и кладут рельсы, и катят в эту тундру паровозы и вагоны, которым никогда не суждено уйти отсюда своим ходом. Зэки спят по 5 часов в сутки на голой земле, окружённой табличками «зона».

И он же описывает дальше, как заключённые прокладывают по тундре телефонную линию: они живут в шалашах из веток и мха, комары разъедают их незащищённые тела, от болотной жижи не просыхает их одежда, уж тем более обувь. Трасса их разведана кое-как, проложена не лучшим способом (и обречена на переделку), для столбов нет леса вблизи, и они на два-три дня (!) уходят в сторону, чтобы оттуда притащить на себе столбы.

Не случилось другого Побожия рассказать, как перед войной строили другую железную дорогу — Котлас — Воркута, где под каждою шпалой по две головы осталось. Да что железную! — как прежде той железной клали рядом простую лежнёвку через непроходимый лес — тощие руки, тупые топоры да штыки-бездельники.

И кто ж бы это без заключённых делал? И как же это вдруг лагеря — да невыгодны?

Лагеря были неповторимо выгодны покорностью рабского труда и его дешевизной,— нет, даже не дешевизной, а — бесплатностью, потому что за покупку античного раба всё же платили деньги, за покупку же лагерника — никто не платил.

Даже на послевоенных лагерных совещаниях признавали индустриальные помещики: «з/к з/к сыграли большую роль в работе тыла, в победе».

Но на мраморе над костями никто никогда не надпишет забытые их имена.

Как незаменимы были лагеря, это выяснилось в хрущёвские годы во время хлопотливых и шумных комсомольских призывов на целину и на стройки Сибири.

Другое же дело — самоокупаемость. Слюнки на это текли у государства давно. Ещё «Положение о местах заключения» 1921 года хлопотало: «содержание мест заключения должно по возможности окупаться трудом заключённых». С 1922 года некоторые местные исполкомы, вопреки своей рабоче-крестьянской природе, проявили «тенденции аполитического делячества», а именно: не только добивались самоокупаемости мест заключения, но ещё старались выжать из них прибыль в местный бюджет, осуществить хозрасчёт с превышением. Требовал самоокупаемости мест заключения также и исправительно-трудовой кодекс 1924 года. В 1928 на 1-м всесоюзном совещании пенитенциарных деятелей настаивали упорно, что обязателен «возврат государству всей сетью предприятий мест заключения затрат государства на местах заключения».

---

* «Новый мир», 1964, № 8, стр. 152—154.

Очень, очень хотелось лагерьки иметь — и чтобы бесплатно! С 1929 года все исправтруд-учреждения страны включены в народно-хозяйственный план. А с 1 января 1931 декретирован переход всех лагерей и колоний РСФСР и Украины на полную самоокупаемость!

И что же? Сразу успех, разумеется! В 1932 юристы торжествуют: «расходы на исправительно-трудовые учреждения сокращаются (этому поверить можно), а условия содержания лишённых свободы с *каждым годом улучшаются»* (?). *

Стали б мы удивляться, стали б мы добиваться — откуда ж это? как? если б на шкуре своей не знали, ка́к содержание улучшалось дальше...

Да оно, если рассудить, так и не трудно совсем. Что нужно? Уравнять расходы на лагеря с доходами от них? Расходы, как мы читаем, сокращаются. А увеличить доходы ещё проще: надо прижать заключённых! Если в соловецкий период Архипелага на принудительный труд делалась официальная 40%-ная скидка (считалось почему-то, что труд из-под палки не так производителен), то уже с Беломора, введя «шкалу желудка», открыли учёные ГУЛага, что наоборот: принудительный-то голодный труд самый производительный в мире и есть! Украинское управление лагерей, когда велели им перейти с 1931 года на самоокупаемость, та́к пря́мо и решило: по сравнению с предыдущими годами увеличить производительность труда в наступающем ни много ни мало — на 242% (двести сорок два процента!),— то есть сразу в три с половиной раза увеличить и безо всякой механизации! ** (Да ведь как научно разочли: двести сорок да ещё два процента. Одного только не знали товарищи: что называется это *Большой Скачок под тремя красными знамёнами.)*

И ведь как знал ГУЛаг, куда ветер дует! Тут подсыпались как раз и бессмертно-исторические Шесть Условий Товарища Сталина,— а средь них-то — хозрасчёт,— а у нас уже есть! а у нас уже есть! А ещё там: использование специалистов. А это нам проще всего: взять инженеров с общих работ, поставить производственными придурками. (Начало 30-х годов было для технической интеллигенции на Архипелаге самым льготным временем: она почти не влачила общих работ, даже новичков устраивали сразу по специальности. До того, в 20-е годы, инженеры и техники втуне погибали на общих потому, что не было им разворота и применения. После того, с 37-го и по 50-е, забыт был хозрасчёт и все исторические Шесть Условий, а исторически-главной стала тогда Бдительность — и просачивание инженеров поодиночке в придурки сменилось волнами изгнания их всех на общие.) Да и дешевле ведь иметь инженера заключённого, а не вольного: ему ж зарплаты платить не надо. Опять выгода, опять хозрасчёт! Опять-таки прав товарищ Сталин!

Так что издалека эту линию тянули, верно её вели: сделать Архипелаг бесплатным.

Но как ни лезли, как ни рвались, как ногти все о скалы ни изломали, как ведомости выполнений по двадцать раз ни исправляли, и до дыр

* Сборник «От тюрем...», стр. 437.

** И. Л. Авербах. «От преступления к труду», стр. 23.

тёрли,— а не было самоокупаемости на Архипелаге — и никогда её не будет. И никогда тут расходов с доходами не уравнять, и приходится нашему молодому рабоче-крестьянскому государству (а потом и пожилому общенародному) волочить на себе этот грязно-кровавый мешок.

И вот причины. Первая и главная — несознательность заключённых, нерадивость этих тупых рабов. Не только не дождёшься от них социалистической самоотверженности, но даже не выказывают они простого капиталистического прилежания. Только и смотрят они, как развалить обувь — и не идти на работу; как испортить лебёдку, свернуть колесо, сломать лопату, утопить ведро — чтоб только повод был посидеть-покурить. Всё, что лагерники делают для родного государства,— откровенная и высшая халтура: сделанные ими кирпичи можно ломать руками, краска с панелей облезает, штукатурка отваливается, столбы падают, столы качаются, ножки отскакивают, ручки открываются. Везде — недосмотры и ошибки. То и дело надо уже прибитую крышку отдирать, уже заваленную траншею откапывать, уже выложенные стены долбить ломом и шлямбуром.— В 50-е годы привезли в Степлаг новенькую шведскую турбину. Она пришла в срубе из брёвен, как бы избушка. Зима была, холодно, так влезли проклятые зэки в этот сруб между брёвнами и турбиной и развели костёр погреться. Отпаялась серебряная пайка лопастей — и турбину выбросили. Стоила она три миллиона семьсот тысяч. Вот тебе и хозрасчёт.

А при зэках — и это вторая причина — вольным тоже как бы ничего не надо, будто строят не своё, а на чужого дядю, ещё и воруют крепко, очень крепко воруют. (Строили жилой дом, и разокрали вольняшки несколько ванн — а их отпущено по числу квартир. Как же дом сдавать? Прорабу, конечно, признаться нельзя, он торжественно показывает приёмочной комиссии 1-ю лестничную клетку, да в каждую ванную не преминет зайти, каждую ванну покажет. Потом ведёт комиссию во 2-ю клетку, в 3-ю, и не торопясь, и всё в ванные заходит,— а проворные обученные зэки под руководством опытного сантехнического десятника тем временем выламывают ванны из квартир 1-й клетки, чердаком на цыпочках волокут их в 4-ю и там срочно устанавливают и вмазывают до подхода комиссии. И кто прохлопал — пусть потом рассчитывается... Это бы в кинокомéдии показать, так не пропустят: нет у нас в жизни ничего смешного, всё смешное на Западе.)

Третья причина — несамостоятельность заключённых, их неспособность жить без надзирателей, без лагерной администрации, без охраны, без зоны с вышками, без Планово-Производственной, Учётно-Распределительной, Оперативно-Чекистской и Культурно-Воспитательной части, без высших лагерных управлений вплоть до самого ГУЛага; без цензуры, без ШИзо, без БУРа, без придурков, без каптёрок и складов; неспособность передвигаться без конвоя и без собак. И так приходится государству на каждого работающего туземца содержать хоть по одному надсмотрщику (а у надсмотрщика — семья). Да и хорошо, что так, а то на что б эти надсмотрщики жили?

И ещё умники-инженерá высказывают четвёртую причину: что, мол, необходимость за каждым шагом ставить зону, усилять конвой, выделять дополнительный — стесняет, мол, им, инженерáм, технический манёвр, вот как, например, при высадке на реке Таз, и оттого дескать всё не

вовремя делается и дороже обходится. Но это уже — *объективная* причина, это — отговорка. Вызвать их на партбюро, пропесочить хорошо — и причина отпадёт. Пусть голову ломают, выход находят.

А ещё сверх этих причин бывают естественные и вполне простительные недосмотры самого Руководства. Как говорил товарищ Ленин, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Например, как ни планируй земляные работы — редко они в лето приходятся, а всегда почему-то на осень да на зиму, на грязь да на мороз.

Или вот на ключе Заросшем прииска Штурмового (Колыма) в марте 1938 поставили 500 человек бить шурфы 8—10 метров в вечной мерзлоте. Сделали (половина зэков подохла). Надо бы взрывать, так раздумались: низко содержание металла. Покинули. В мае затекли шурфы, пропала работа. А через два года, опять же в марте, в колымский мороз, хватились: да шурфовать же! да то самое место! да срочно! да людей не жалеть!

Так это ж расходы лишние...

Или на реке Сухоне около посёлка Опоки — навозили, насыпали заключённые плотину. А паводок тут же её и сбил. Всё, пропало.

Или вот талажскому лесоповалу Архангельского управления запланировали выпускать мебель, но упустили запланировать им поставки древесины, из которой эту мебель делать. План есть план, надо выполнять! Пришлось Талаге специальные бригады расконвоированных бытовиков держать на выловке из реки аварийной древесины — то есть отставшей от основного сплава. Не хватало. Тогда стали наскоками целые плоты себе отбивать у сплавщиков и растаскивать. Но ведь плоты эти у кого-то другого в плане, теперь их не хватит. А ребятам-молодцам Талага выписывать нарядов не может: ведь воровство. Вот такой хозрасчёт...

Или как-то в Устьвымьлаге (1943) хотели перевыполнить план молевого (отдельными брёвнами) сплава, нажали на лесоповал, выгнали всех могущих и не могущих, и собралось в генеральной запони слишком много древесины — 200 000 кубометров. Выловить её до зимы не успели, она вмёрзла в лёд. А ниже запони — железнодорожный мост. Если весной лес не распадётся на брёвна, а пойдёт целиком — сшибёт мост, лёгкое дело, начальника — под суд. И пришлось: выписывать динамит вагонами; опускать его зимой на дно; рвать замёрзшую сплотку и потом побыстрей выкатывать эти брёвна на берег — и сжигать (весной они уже не будут годны для пиломатериалов). Этой работой занят был целый лагпункт, двести человек, им за работу в ледяной воде выписывали сало,— но ни одной операции нельзя было оправдать нарядом, потому что всё это было лишнее. И сожжённый лес — тоже пропал. Вот тебе и самоокупаемость.

А весь Печжелдорлаг строил дорогу на Воркуту — извилистую, как попало. А потом уже готовую дорогу стали выпрямлять. Это — за какой счёт? А железная дорога Лальск (на реке Лузе) — Пинюг (и даже до Сыктывкара думали её тянуть)? В 1938 какие крупные лагеря там согнали, 45 километров той дороги построили — бросили... Так всё и пропало.

Ну да эти небольшие ошибки во всякой работе неизбежны. Никакой Руководитель от них не застрахован.

А вся эта дорога Салехард — Игарка? Насыпáли сотни километров дамб через болота, к смерти Сталина оставалось 300 километров до соединения двух концов. И — тоже бросили (**ф. 32**). Так ведь это ошибка — страшно сказать ч ь я. Ведь — Самого...

До того иногда доведут этим хозрасчётом, что начальник лагеря не знает, куда от него деваться, как концы сводить. Инвалидному лагерю Кача под Красноярском (полторы тысячи инвалидов) после войны тоже велели быть всем на хозрасчёте: делать мебель. Так лес эти инвалиды валили лучковыми пилами (не лесоповальный лагерь — и не положена им механизация), до лагеря везли лес на коровах (транспорт им тоже не положен, а молочная ферма есть). Себестоимость дивана оказывалась 800 рублей, а продажная цена — 600... Так уж само лагерное начальство заинтересовано было как можно больше инвалидов перевести в 1 группу или признать больными и не вывести за зону: тогда сразу с убыточного хозрасчёта они переводились на надёжный госбюджет.

От всех этих причин не только не самоокупается Архипелаг, но приходится стране ещё дорого доплачивать за удовольствие его иметь.

А ещё усложняется хозяйственная жизнь Архипелага тем, что этот великий общегосударственный социалистический хозрасчёт нужен целому государству, нужен ГУЛагу — но начальнику отдельного лагеря на него наплевать: ну поругают немного, ну от премии отщипнут (а дадут всё же). Главный же доход, и простор, главное удобство и удовольствие для всякого начальника отдельного лагеря — иметь самостоятельное натуральное хозяйство, иметь своё уютное маленькое поместье, вотчину. Как в Красной армии, так и среди офицеров МВД, не в шутку вовсе, а всерьёз развилось и укрепилось обстоятельное, уважительное, гордое и приятное слово — *хозяин*. Как сверху над страной стоял один Хозяин, так и командир каждого отдельного подразделения должен быть обязательно — Хозяином.

Но при той жестокой гребёнке групп А-Б-В-Г, которую запустил навсегда в гриву ГУЛАГа беспощадный Френкель, хозяину надо было извернуться, чтобы хитро протащить через эту гребёнку такое количество рабочих, без которых никак не могло построиться своё вотчинное хозяйство. Там, где по штатам ГУЛага полагался один портной, надо было устроить целую портняжную мастерскую, где один сапожник — сапожную мастерскую, а сколько ещё других полезнейших мастеров хотелось бы иметь у себя под рукой! Отчего, например, не завести парники и иметь парниковую зелень к офицерскому столу? Иногда даже, у разумного начальника,— завести и большое подсобное огородное хозяйство, чтобы подкармливать овощами даже и заключённых,— они отработают, это просто выгодно самому хозяину, но откуда взять людей?

А выход был — поднагрузить всё тех же заключённых работяг, да немножко обмануть ГУЛаг, да немножко — производство. Для больших внутризонных работ, какой-нибудь постройки — можно было заставить всех заключённых проработать в воскресенье или вечерком после рабочего (10-часового) дня. Для постоянной же работы раздували

цифры выхода бригад: рабочие, оставшиеся в зоне, считались вышедшими со своей бригадой на производство — и оттуда бригадир должен был принести на них *процент,* то есть часть выработки, отобранной у остальных бригадников (и без того не выполняющих нормы). Работяги больше работали, меньше ели — но укреплялось поместное хозяйство, и разнообразнее и приятнее жилось товарищам офицерам.

А в некоторых лагерях у начальника был большой хозяйственный замах, да ещё находил он инженера с фантазией — и в лагерной зоне вырастал могучий *хоздвор,* уже проводимый и по бумагам, уже с открытыми штатами и берущийся выполнять промышленные задания. Но в плановое снабжение материалами и инструментами он втиснуться не мог, поэтому не имея ничего, должен был делать всё.

Расскажем об одном хоздворе — кенгирского лагеря. О портняжной, скорняжной, переплётной, столярной и других подобных мастерских тут даже упоминать не будем, это пустяки. Кенгирский хоздвор имел свою литейку, свою слесарную мастерскую и даже — как раз в середине XX века — кустарно изготовил свой сверлильный и точильный станки! Токарного, правда, сами сделать не смогли, но тут употреблён был *лагерный лендлиз:* станок среди бела дня украли с производственного объекта. Устроено это было так: подогнали лагерный грузовик, дождались, когда начальник цеха ушёл,— целой бригадой кинулись на станок, пересобачили его на грузовик, а тот легко прошёл через вахту, потому что с охраной было договорено, охранный дивизион — такие же МВД,— и с ходу завезли станок в лагерь, а уж туда никто из вольняшек доступа не имеет. И всё! Какой спрос с тупых безответственных туземцев? Начальник цеха рвёт и мечет — куда делся станок? — а они ничего не знают: разве был станок? мы не видели.— Самые важные инструменты доставлялись в лагерь так же, но легче — в кармане и под полой.

Как-то взялся хоздвор отливать для обогатительной фабрики Кенгира крышки канализационных люков. Получились. Но не стало чугуна — откуда ж лагерю настачиться в конце концов? Тогда с неё же, с этой обогатительной фабрики, поручили заключённым воровать первоклассные английские чугунные кронштейны (оставшиеся ещё от дореволюционной концессии), в лагере их переплавляли и отвозили обогатительной фабрике люками, за что лагерю переводили деньги.

Теперь читатель понимает, как такой деятельный хоздвор укреплял самоокупаемость да и всю экономику страны.

И чего только не брался делать этот хоздвор! — не за всё бы взялся и Крупп. Брались делать большие глиняные трубы для канализации. Ветряк. Соломорезки. Замки. Водяные насосы. Ремонтировать мясорубки. Сшивать трансмиссионные ремни. Чинить автоклавы для больницы. Точить свёрла для трепанации черепа. Да ведь чего не возьмётся делать безвыходность! Проголодаешься — догадаешься. Ведь если сказать: не сумеем, не сможем,— завтра погонят за зону. А в хоздворе намного вольготней: ни развода, ни ходьбы под конвоем, да и работать помедленней, да и себе что-то сделаешь. Больница за заказ расплачивается «освобождением» на два денька, кухня — «добавком», кто-то махоркой, а начальство ещё и казённого хлебца подбросит.

И смешно, и занятно. Инженерам вечная головоломка: из чего? как? Кусок подходящего железа, найденный где-нибудь на свалке, часто

менял всю задуманную конструкцию.— Ветряк сделали, а вот пружины, которая поворачивала бы его по ветру, не нашли. Пришлось просто привязать две верёвки и наказать двум зэкам: как ветер изменится, так бежать и за верёвки поворачивать ветряк.— Делали и свои кирпичи: женщина резала струной подающуюся глиняную полосу по длине будущих кирпичей, а дальше они шли на траспортёр, который ей же, этой женщине, и следовало приводить в движение. Но чем? ведь руки её заняты. О, бессмертная изобретательность хитрых зэков! Придумали такие две оглобельки, которые плотно прилегали к тазу работницы, и пока руками отрезала кирпичи,— сильным и частым вилянием таза одновременно двигала и ленту конвейера! Увы, фотографии такой показать читателю мы не сможем.

А кенгирский помещик уверился окончательно: нет на земле ничего такого, чего не мог бы сделать его хоздвор. И, однажды вызвав главного инженера, приказал: приступить к срочному изготовлению стекла оконного и графинов! Как же его делают? Ребята не знали. Заглянули в завалявшийся том энциклопедического словаря. Общие слова, рецепта нет. Всё же соду заказали, нашли где-то и кварцевый песок, привезли. А главное: дружкам заказывали носить битое стекло с объектов, строивших «новый город»,— там много его били. Всё это заложили в печь, плавили, мешали, протягивали — и получились листы оконного стекла! — да только с одной стороны толщина сантиметр, а к другой сходится до 2-х миллиметров. Через такое стекло узнать своего хорошего приятеля — никак невозможно. А срок подходит — показывать продукцию начальнику. Как живёт зэк? Одним днём: сегодня бы пережить, а уж завтра — как-нибудь. Украли с объекта готовых нарезанных стёкол, принесли на хоздвор и показали начальнику лагеря. Остался доволен: «Молодцы! Как настоящее! Теперь приступайте к массовому производству!» — «Больше не сможем, гражданин начальник.» — «Да почему ж?» — «Видите, в оконное стекло обязательно молибден идёт. У нас было немножко, а вот кончился.» — «И нигде достать нельзя?» — «Да где ж его достанешь?» — «Жаль.— А графины без этого молибдена пойдут?» — «Графины пожалуй пойдут.» — «Ну, валите.» — Но и графины выдувались все скособоченные и почему-то неожиданно сами разваливались. Взял надзиратель такой графин получить молоко — и остался с одним горлышком в руках, молоко пролилось. «Ах, мерзавцы! — ругал он.— Вредители! Фашисты! Всех вас перестрелять!»

Когда в Москве на улице Огарёва для расчистки под новые здания ломали старые, простоявшие более века, то балки из междуэтажных перекрытий не только не выбрасывались, не только не шли на дрова — но на столярные изделия! Это было звенящее чистое дерево. Такова была у наших прадедов просушка.

Мы же всё спешим, нам всё некогда. Неужели ещё ждать, пока балки высохнут? На Калужской заставе мы мазали балки новейшими антисептиками — и всё равно балки загнивали, в них появлялись грибки, да так проворно, что ещё до сдачи здания приходилось взламывать полы и на ходу менять эти балки.

Поэтому через сто лет всё, что строили мы, зэки, да и вся страна, наверняка не будет так звенеть, как те старые балки с улицы Огарёва.

В день, когда СССР, трубно гремя, запустил в небо первый искусственный спутник,— против моего окна в Рязани две пары вольных женщин, одетых в грязные зэковские бушлаты и ватные брюки, носили раствор *на 4-й этаж носилками*.

— Верно, верно, это так,— возразят мне.— Но что вы скажете? — а всё-таки она вертится!

Вот этого у *неё* не отнять, чёрт возьми! — она вертится!

* * *

Уместно было бы закончить эту главу долгим списком работ, выполненных заключёнными хотя бы с первой сталинской пятилетки и до хрущёвских времён. Но я, конечно, не в состоянии его написать. Я могу только начать его, чтобы желающие вставляли и продолжали.

— Беломорканал (1932), Волгоканал (1936), Волгодон (1952);
— ж-д Котлас — Воркута, ветка на Салехард;
— ж-д Рикасиха — Молотовск; *
— ж-д Салехард — Игарка (брошена);
— ж-д Лальск — Пинюг (брошена);
— ж-д Караганда — Моинты — Балхаш (1936);
— ж-д по правому берегу Волги у Камышина;
— ж-д рокадные вдоль финской и персидской границ;
— ж-д вторые пути Сибирской магистрали (1933—35 годы, около 4000 км);
— ж-д Тайшет — Лена (начало БАМа);
— ж-д Комсомольск — Совгавань;
— ж-д на Сахалине от ст. Победино на соединение с японской сетью;
— ж-д к Улан-Батору ** и шоссейные дороги в Монголии;
— автотрасса Москва — Минск (1937—38);
— автотрасса Ногаево — Атка — Нера;
— постройка Куйбышевской ГЭС;
— постройка Нижнетуломской ГЭС (близ Мурманска);
— постройка Усть-Каменогорской ГЭС;
— постройка Балхашского медеплавильного комбината (1934—35);
— постройка Соликамского бумкомбината;
— постройка Березниковского химкомбината;
— постройка Магнитогорского комбината (частично);
— постройка Кузнецкого комбината (частично);
— постройка заводов, мартенов;
— постройка Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1950—53, частично);
— строительство города Комсомольска-на-Амуре;
— строительство города Совгавани;
— строительство города Магадана;
— весь Дальстрой;

* Лагеря по реке Кудьме, на острове Ягры, в посёлке Рикасиха.

** При постройке этой дороги расконвоированным заключённым велели говорить монголам, что они — комсомольцы и добровольцы. Выслушав, монголы отвечали: заберите вашу дорогу, отдайте наших баранов!

— строительство города Норильска;
— строительство города Дудинки;
— строительство города Воркуты;
— строительство города Молотовска (Северодвинска, с 1935);
— строительство города Дубны;
— строительство порта Находки;
— нефтепровод Сахалин — материк;
— постройка почти всех объектов атомной промышленности;
— добыча радиоактивных элементов (уран и радий — под Челябинском, Свердловском, Турой);
— работа на разделительных и обогатительных заводах (1945—48);
— добыча радия в Ухте; нефтеобработка на Ухте, получение тяжёлой воды;
— угледобыча в бассейнах Печорском, Кузнецком, месторождениях Карагандинском, Сучанском и др.
— рудодобыча в Джезказгане, Южной Сибири, Бурят-Монголии, Шории, Хакасии, на Кольском полуострове;
— золотодобыча на Колыме, Чукотке, в Якутии, на острове Вайгач, в Майкаине (Баян-Аульского района Павлодарской области);
— добыча апатитов на Кольском полуострове (с 1930);
— добыча плавикового шпата в Амдерме (с 1936);
— добыча редких металлов (месторождение „Сталинское", Акмолинской области, до 50-х годов);
— лесозаготовки для экспорта и внутренних нужд страны. Весь европейский русский Север и Сибирь. Бесчисленных лесоповальных лагпунктов мы перечислить не в силах, это половина Архипелага. Убедимся с первых же наименований: лагеря по реке Коин; по реке Уфтюге Двинской; по реке Нем, притоке Вычегды (высланные немцы); на Вычегде близ Рябова; на Северной Двине близ Черевкова; на Малой Северной Двине близ Аристова...

Да возможно ли составить такой список?.. На каких картах или в чьей памяти сохранить эти тысячи временных лесных лагучастков, разбитых на год, на два, на три, пока не вырубили ближнего лесу, а потом снятых начисто? Да почему только лесозаготовки? А полный список всех островков Архипелага, когда-либо бывших над поверхностью,— знаменитых устойчивых по десяткам лет лагерей и кочующих точек вдоль строительства трасс, и могучих отсидочных централов и лагерных палаточно-жердевых пересылок? И разве взялся бы кто-нибудь нанести на такую карту ещё и КПЗ? ещё и тюрьмы каждого города (а их там по несколько)? Ещё и сельхозколонии с их покосными и животноводческими подкомандировками? Ещё и мелкие промколонии, как семячки засыпавшие города? А Москву да Ленинград пришлось бы отдельно крупно вычерчивать. (Не забыть лагучасток в полукилометре от Кремля — начало строительства Дворца Советов.) Да в 20-е годы Архипелаг был один, а в 50-е — совсем другой, совсем на других местах. Как представить движение во времени? Сколько надо карт? А Ныроблаг, или Устьвымьлаг, или Соликамские или Потьминские лагеря должны быть целой областью заштрихованной — но кто из нас и те границы обошёл?



30. Агитбригада (стр. 292)



31. Культбригада (стр. 305)



32. Мёртвая дорога (стр. 363)

Надеемся мы всё же увидеть и такую карту.

— погрузка леса на пароходы в Карелии (до 1930. После призывов английской печати не принимать леса, груженного заключёнными,— зэков спешно сняли с этих работ и убрали в глубь Карелии); поставки фронту во время войны (мины, снаряды, упаковка к ним, шитьё обмундирования);
— строительство совхозов Сибири и Казахстана...

И даже упуская все 20-е годы и производство домзаков, исправдомов, исправтруддомов — чем занимались, что изготовляли *четверть столетия* (1929—1953) сотни промколоний, без которых нет приличного города в стране?
А что вырастили и сотни сельхозколоний?

Легче перечислить, чем заключённые никогда не занимались: изготовлением колбасы и кондитерских изделий.

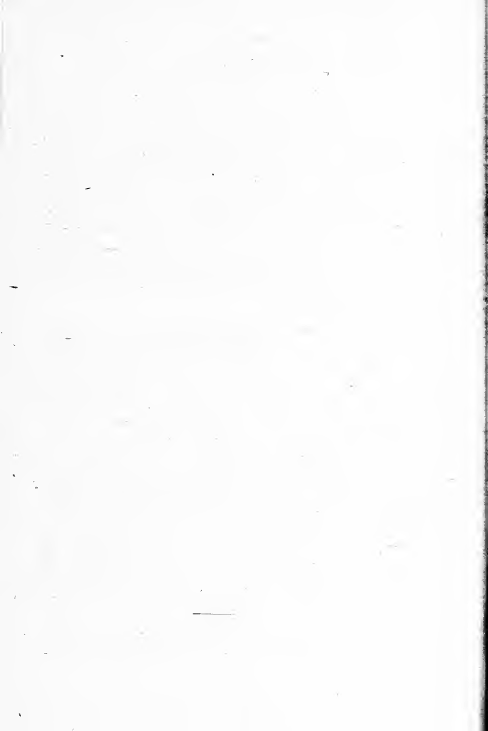
Конец Третьей Части

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Говорю вам тайну: не все мы умрём,
но все изменимся.

1-е послание к Коринфянам, 15, 51



Глава 1

ВОСХОЖДЕНИЕ

А годы идут...

Не частоговоркой, как шутят в лагере,— «зима-лето, зима-лето», а — протяжная осень, нескончаемая зима, неохотливая весна, и только лето короткое. На Архипелаге — короткое лето.

Даже один год — у-у-у, как это долго! Даже в одном году сколько ж времени тебе оставлено думать. Уж триста тридцать-то раз в году ты потолчёшься на разводе и в моросящий слякотный дождичек, и в острую вьюгу, и в ядрёный неподвижный мороз. Уж триста тридцать-то дней ты поворочаешь постылую чужую работу с незанятой головой. И триста тридцать вечеров пожмёшься мокрый, озябший на съёме, ожидая пока конвой соберётся с дальних вышек. Да проходка туда. Да проходка назад. Да склонясь над семьюстами тридцатью мисками баланды, над семьюстами тридцатью кашами. Да на вагонке твоей, просыпаясь и засыпая. Ни радио, ни книги не отвлекут тебя, их нет, и слава Богу.

И это — только один год. А их — десять. Их — двадцать пять...

А ещё когда в больничку сляжешь дистрофиком,— вот там тоже хорошее время — подумать.

Думай. Выводи что-то и из беды.

Всё это бесконечное время ведь не бездеятельны мозг и душа заключённых. Они издали в массе похожи на копошащихся вшей, но ведь они — венец творения, а? Ведь когда-то и в них вдохнута была слабенькая искра Божья. Так что теперь стало с ней?

Считалось веками: для того и дан преступнику срок, чтобы весь этот срок он думал над своим преступлением, терзался, раскаивался и постепенно бы исправлялся.

Но *угрызений совести не знает Архипелаг ГУЛАГ!* Из ста туземцев — пятеро блатных, их преступления для них не укор, а доблесть, они мечтают впредь совершать их ещё ловчей и нахальней. Раскаиваться им — не в чем. Ещё пятеро — *брали* крупно, но не у людей: в наше время крупно взять можно только у государства, которое само-то мотает народные деньги без жалости и без разумения,— так в чём такому типу раскаиваться? Разве в том, что возьми больше и поделись — и остался бы на свободе? А ещё у восьмидесяти пяти туземцев — и вовсе никакого преступления не было. В чём раскаиваться? В том, что думал то́, что думал? (Впрочем, так задолбят и задурят иного, что раскаивается — какой он испорченный... Вспомним отчаяние Нины Перегуд, что она недостойна Зои Космодемьянской.) Или в безвыходном положении сдался в плен? В том, что при немцах поступил на работу вместо того, чтобы подохнуть от голода? (Впрочем, так перепутают дозволенное и запрещённое, что иные терзаются: лучше б я умер, чем зарабатывал этот хлеб.) В том, что, бесплатно работая в колхозе, взял с поля накормить детей? Или с завода вынес для того же?

Нет, ты не только не раскиваешься, но чистая совесть как горное озеро светит из твоих глаз. (И глаза твои, очищенные страданием, безошибочно видят всякую муть в других глазах, например — безоши-

бочно различают стукачей. Этого ви́дения глазами правды за нами не знает ЧКГБ — это наше «секретное оружие» против неё, в этом плошает перед нами ГБ.)

В нашем почти поголовном сознании невиновности росло главное отличие нас — от каторжников Достоевского, от каторжников П. Якубовича. Там — сознание заклятого отщепенства, у нас — уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и меня; что колючая проволока разделила нас условно. Там у большинства — безусловное сознание личной вины, у нас — сознание какой-то многомиллионной напасти.

А от напасти — не пропа́сти. Надо её пережить.

Не в этом ли причина и удивительной редкости лагерных самоубийств? Да, редкости, хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства. Но ещё больше он вспомнит побегов. Побегов-то было наверняка больше, чем самоубийств. (Ревнители социалистического реализма могут меня похвалить: провожу оптимистическую линию). И членоповреждений было гораздо больше, чем самоубийств,— но это тоже действие жизнелюбивое, простой расчёт: пожертвовать частью для спасения целого. Мне даже представляется, что самоубийств в лагере было статистически, на тысячу населения, меньше, чем на воле. Проверить этого я не могу, конечно.

Ну вот вспоминает Скрипникова, как в 1931 в Медвежегорске в женской уборной повесился мужчина лет тридцати — и повесился-то в день освобождения! — так может, из отвращения к тогдашней воле? (За два года перед тем его бросила жена, но он тогда не повесился.) — Ну вот в клубе центральной усадьбы Буреполома повесился конструктор Воронов.— Коммунист и партработник Арамович, переснсчик, повесился в 1947 на чердаке мехзавода в Княж-Погосте.— В Краслаге в годы войны литовцы, доведенные до полного отчаяния, а главное — всей жизнью своей не подготовленные к советской жестокости, шли на стрелков, чтобы те их застрелили.— В 1949 в следственной камере во Владимире Волынском молодой парень, сотрясённый следствием, уже было повесился, да однокамерник Павло Баранюк его вынул.— На Калужской заставе бывший латышский офицер, лежавший в стационаре санчасти, крадучись стал подниматься по лестнице — она вела в ещё недостроенные пустые этажи. Медсестра-зэчка хватилась его и бросилась вдогонку. Она настигла его в открытом балконном проёме 6-го этажа. Она вцепилась в его халат, но самоубийца отделился от халата, в одном белье поспешно вступил в пустоту — и промелькнул белой молнией на виду у оживлённой Большой Калужской улицы в солнечный летний день.— Немецкая коммунистка Эми, узнав о смерти мужа, вышла из барака на мороз неодетая, простудиться.— Англичанин Келли во Владимирском ТОНе виртуозно перерезал вены при открытой двери камеры и надзирателе на пороге. (Оружие его было — кусочек эмали, отколупнутый от умывальника. Келли припрятал его в ботинке, ботинок стоял у кровати. Келли спустил с кровати одеяло, прикрыл им ботинок, достал эмаль и под одеялом перерезал вену на руке.)

Повторяю, ещё многие могут рассказать подобные случаи,— а всё-таки на десятки миллионов сидевших их будет немного. Даже среди этих примеров видно, что большой перевес самоубийств падает на иностран-

цев, на западников: для них переход на Архипелаг — это удар оглушительнее, чем для нас; вот они и кончают. И ещё — на благонамеренных (но не на твердочелюстных). Можно поиять, ведь у них в голове всё должно смешаться и гудеть, не переставая. Как устоишь? (Зоя Залесская, польская дворянка, всю жизнь отдавшая «делу коммунизма» путём службы в советской разведке, на следствии трижды кончала с собой: вешалась — вынули, резала вены — помешали, скакнула на подоконник 7-го этажа — дремавший следователь успел схватить её за платье. Трижды спасли, чтобы расстрелять.)

А вообще: как верно истолковать самоубийство? Вот Анс Бернштейн настаивает, что самоубийцы — совсем не трусы, что для этого нужна большая сила воли. Он сам свил верёвку из биитов и душился, поджав ноги. Но в глазах появлялись зелёные круги, в ушах звенело — и он всякий раз непроизвольно опускал ноги до земли. Во время последней пробы оборвалась верёвка — и он испытал радость, что остался жив.

Я не спорю, для самоубийства может быть и в самом крайнем отчаянии ещё иужно приложить волю. Долгое время я не взялся бы совсем об этом судить. Всю жизнь я уверен был, что ни в каких обстоятельствах даже ие задумаюсь о самоубийстве. Но не так давно протащило меня через мрачные месяцы, когда мне казалось, что погибло всё дело моей жизни, особенно если я останусь жить. И я ясно помню это отталкиваиие от жизни, приливы этого ощущеиия, что умереть — легче, чем жить. По-моему, в таком состоянии больше воли требует остаться жить, чем умереть. Но, вероятно, у разных людей и при разной крайности это по-разному. Поэтому и существуют издавна два мнения.

Очень эффектно вообразить, что вдруг бы все невинно-оскорблённые миллионы стали бы повально кончать самоубийством, досаждая правительству двояко: и доказательством своей правоты и лишением даровой рабочей силы. И вдруг бы правительство размягчилось? И стало бы жалеть своих подданных?.. Едва ли. Сталииа бы это не остановило, он занял бы с воли ещё миллионов двадцать.

Но не было этого! Люди умирали сотнями тысяч и миллионами, доведенные уж кажется до крайней крайности,— а самоубийств почему-то не было. Обречённые на уродливое существование, на голодное истощение, на чрезмерный труд — не кончали с собой!

И, раздумавшись, я нашёл такое доказательство более сильным. Самоубийца — всегда банкрот, это всегда — человек в тупике, человек, проигравший жизнь и неимеющий воли для продолжения её. Если же эти миллионы беспомощных жалких тварей всё же ие кончали с собой — значит жило в них какое-то непобедимое чувство. Какая-то сильная мысль.

Это было чувство всеобщей правоты. Это было ощущение народного испытания — подобного татарскому игу.

* * *

Но если не в чем раскаиваться — о чём, о чём всё время думает арестант? «Сума да тюрьма — дадут ума». Дадут. Только — куда его направят?

Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо — были чёрные клубящиеся тучи и чёрные столбы извержений, это было небо Помпеи, небо Судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь, а Я — средоточие этого мира.

Наше последнее тюремное небо было бездонно-высокое, бездонно-ясное, даже к белому от голубого.

Начинаем мы все (кроме верующих) с одного: хватаемся рвать волосы с головы — да она острижена наголо!.. Как мы могли?! Как не видели наших доносчиков? Как не видели наших врагов? (И ненависть к ним! и как им отомстить?) И какая неосторожность! слепость! сколько ошибок! Как исправить? Скорей исправлять! Надо написать... надо сказать... надо передать...

Но — ничего не надо. И ничто не спасёт. В положенный срок мы подписываем 206-ю статью, в положенный — выслушиваем очный приговор трибунала или заочный — ОСО.

Начинается полоса пересылок. Вперемежку с мыслями о будущем лагере мы любим теперь вспоминать наше прошлое: как хорошо мы жили! (Даже если плохо.) Но сколько неиспользованных возможностей! Сколько неизмятых цветов!.. Когда теперь это наверстать?.. Если я доживу только — о, как по-новому, как умно я буду жить! День будущего освобождения! — он лучится как восходящее солнце!

И вывод: дожить до него! дожить! любой ценой!

Это просто словесный оборот, это привычка такая: «любой ценой».

А слова наливаются своим полным смыслом, и страшный получается зарок: выжить *любой ценой!*

И тот, кто даст этот зарок, кто не моргнёт перед его багровой вспышкой,— для того своё несчастье заслонило и всё общее, и весь мир.

Это — великий развилок лагерной жизни. Отсюда — вправо и влево пойдут дороги, одна будет набирать высоты, другая низеть. Пойдёшь направо — жизнь потеряешь, пойдёшь налево — потеряешь совесть.

Самоприказ «дожить!» — естественный всплеск живого. Кому не хочется дожить? Кто не имеет права дожить? Напряженье всех сил нашего тела! Приказ всем клеточкам: дожить! Могучий заряд введен в грудную клетку, и электрическим облаком окружено сердце, чтоб не остановиться. Заполярною гладью в мятель за пять километров в баню ведут тридцать истощённых, но жилистых зэков. Банька — не сто́ит тёплого слова, в ней моются по шесть человек в пять смен, дверь открывается прямо на мороз, и четыре смены выстаивают там до или после мытья — потому что нельзя отпускать без конвоя. И не только воспаление лёгких, но насморка нет ни у кого. (И десять лет так моется один старик, отбывая срок с пятидесяти до шестидесяти. Но вот он свободен, он — дома. В тепле и холе он сгорает в месяц. Не стало приказа — дожить...)

Но просто «дожить» ещё не значит — любой ценой. «Любая цена» — это значит: ценой другого.

Признаем истину: на этом великом лагерном развилке, на этом разделителе душ — не бо́льшая часть сворачивает направо. Увы — не бо́льшая. Но к счастью,— и не одиночки. Их много, людей — кто так избрал. Но они о себе не кричат, к ним присматриваться надо. Десятки раз поднимался и перед ними выбор, а они знали да знали своё.

Вот Арнольд Сузи, лет около пятидесяти попавший в лагерь. Он никогда не был верующим, но всегда был исконно-добропорядочным, никакой другой жизни он не вёл — и в лагере он не начинает другой. Он — «западный», он, значит, вдвойне неприспособленный, всё время попадает впросак, в тяжёлое положение, он и на общих работает, он и в штрафной зоне сидит — и выживает, выживает точно таким, каким пришёл в лагерь. Я знал его вначале, знал — после, и могу засвидетельствовать. Правда, три серьёзных облегчающих обстоятельства сопутствуют ему в лагерной жизни: он признан инвалидом, он получает несколько лет посылки и благодаря музыкальным способностям немного подкармливается художественной самодеятельностью. Но эти три обстоятельства могут только объяснить, почему он остался в живых. Не было бы их — он бы умер, но он бы не переменился. (А те, кто умерли,— может быть потому и умерли, что не переменились?)

А Тарашкевич, совсем простой бесхитростный человек, вспоминает: «много было заключённых, которые за пайку и за глоток махорочного дыма готовы были пресмыкаться. Я доходил, но был душою чист: на белое всегда говорил белое».

Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры — таких, как Сильвио Пеллико: отсидев 8 лет, он превратился из яростного карбонария в смиренного католика. * У нас всегда вспоминают Достоевского. А Писарев? Что осталось от его революционности после Петропавловки? Можно спорить, хорошо ли это для революции, но всегда эти изменения идут в сторону углубления души. Ибсен писал: «От недостатка кислорода и совесть чахнет.» ** Э, нет! Совсем не так просто! Наоборот даже как раз! Вот генерал Горбатов — с молодости воевал, в армии продвигался, задумываться ему было некогда. Но сел в тюрьму, и как хорошо — стали в памяти подыматься разные случаи: то как он заподозрил невиновного в шпионстве; то как он по ошибке велел расстрелять совсем не виновного поляка. *** (Ну когда б это ещё вспомнил! Небось после реабилитации уже не очень вспоминал?) Об этих душевных изменениях узников писалось достаточно, это поднялось уже на уровень теории тюрьмоведения. Вот например в дореволюционном «Тюремном вестнике» пишет Лученецкий: «Тьма делает человека более чувствительным к свету; невольная бездеятельность возбуждает в нём жажду жизни, движения, работы; тишина заставляет глубоко вдуматься в своё «я», в окружающие условия, в своё прошлое, настоящее и подумать о будущем.»

Отмечу противоположное мнение Льва Тихомирова. Он пишет («Красный Архив», № 41/42, стр. 138): народовольцам «негде было проверить свои взгляды. Это самая ужасная сторона тюрьмы, что знаю по себе. Четыре года тюрьмы были для меня совершенно потерянным временем для развития. А следующие четыре года свободы дали мне тысячи различных драгоценнейших наблюдений себя, людей и законов жизни.» Думаю: может быть это потому, что сидели — однородные? Или очень нетерпеливые, всё ждали скорой свободы? Тогда это мешало сосредоточиться и расти.

---

* С. Пеллико. «Мои темницы», СПб, 1836.

** Ибсен. «Враг народа».

*** «Новый мир», 1964, № 4.

Наши просветители, сами не сидевшие, испытывали к узникам только естественное стороннее сочувствие; однако Достоевский, сам посидевший, ратовал за наказания! Об этом стоит задуматься.

И пословица говорит: «Воля портит, неволя учит».

Но Пеллико и Лученецкий писали о *тюрьме*. Но Достоевский требовал наказаний — тюремных. Но неволя учит — какая?

Лагерь ли?..

Тут задумаешься.

Конечно, по сравнению с тюрьмой, наш лагерь ядовит и вреден.

Конечно, не о душах наших думали, когда вспучивали Архипелаг. Но всё-таки: неужели же в лагере безнадёжно устоять?

И больше того: неужели в лагере нельзя возвыситься душой?

На лагпункте Самарка в 1946 году доходит до самого смертного рубежа группа интеллигентов: они изморены голодом, холодом, непосильной работой — и даже сна лишены, спать им негде, бараки-землянки ещё не построены. Идут они воровать? стучать? хнычут о загубленной жизни? Нет. Предвидя близкую, уже не в неделях, а в днях смерть, вот как они проводят свой последний бессонный досуг, сидя у стеночки: Тимофеев-Ресcовский собирает из них «семинар», и они спешат обменяться тем, что одному известно, а другим нет,— они читают друг другу последние лекции. Отец Савелий — «о непостыдной смерти», священник из академистов — патристику, униат — что-то из догматики и каноники, энергетик — о принципах энергетики будущего, экономист — как не удалось, не имея новых идей, построить принципы советской экономики. Сам Тимофеев-Ресcовский рассказывает им о принципах микрофизики. От раза к разу они не досчитываются участников: те уже в морге...

Вот кто может интересоваться всем этим, уже костенея предсмертно,— вот это интеллигент!

Позвольте, вы — любите жизнь? Вы, вы! вот которые восклицают, и напевают и приплясывают: «Люблю тебя, жизнь! Ах, люблю тебя, жизнь!» Лю́бите? Так вот — люби́те! Лагерную — тоже любите! Она — тоже жизнь.

«Там, где нет борьбы с судьбой,
Там воскреснешь ты душой...»?

Ни черта вы не поняли. Там-то ты и размякнешь.

У дороги нашей, выбранной,— виражи и виражи. В гору? Или в небо? Пойдёмте, поспотыкаемся.

День освобождения? Что́ он нам может дать через столько лет? Изменимся неузнаваемо мы, и изменятся наши близкие — и места, когда-то родные, покажутся нам чужее чужих.

Мысль о свободе с какого-то времени становится даже насильственной мыслью. Надуманной. Чужой.

День «освобождения»! Как будто в этой стране есть свобода. Или как будто можно освободить того, кто прежде сам не освободился душой.

Сыпятся камни из-под наших ног. Вниз, в прошлое. Это прах прошлого.

Мы подымаемся.

* * *

Хорошо в тюрьме думать, но и в лагере тоже неплохо. Потому, главное, что нет *собраний.* Десять лет ты свободен от всяких собраний! — это ли не горный воздух? Откровенно претендуя на твой труд и твоё тело до изнеможения и даже до смерти, лагерщики отнюдь не посягают на строй твоих мыслей. Они не пытаются ввинчивать твои мозги и закреплять их на месте. (Кроме несчастного периода Беломора и Волгоканала). И это создаёт ощущение свободы гораздо большее, чем свобода ног бегать по плоскости.

Тебя никто не уговаривает подавать в партию. Никто не выколачивает с тебя членских взносов в *добровольные* общества. Нет профсоюза, такого же твоего «защитника», как казённый адвокат в трибунале. Не бывает и производственных совещаний. Тебя не могут избрать ни на какую должность, не могут назначить никаким уполномоченным, а самое главное — не заставят тебя быть агитатором. Ни — слушать агитацию. Ни — кричать по дёргу нитки: «требуем!.. не позволим!» Ни — тянуться на участок свободно и тайно голосовать за одного кандидата. От тебя не требуют социалистических обязательств. Ни — критики своих ошибок. Ни статей в стенгазету. Ни — интервью областному корреспонденту.

Свободная голова — это ли не преимущество жизни на Архипелаге?

И ещё одна свобода: тебя не могут лишить семьи и имущества — ты уже лишён их. Чего нет — того и Бог не возьмёт. Это — основательная свобода.

Хорошо в заключении думать. Самый ничтожный повод даёт тебе толчок к длительным и важным размышлениям. За кои веки, один раз в три года, привезли в лагерь кино. Фильм оказывается — дешевейшая «спортивная» комедия «Первая перчатка». Скучно. Но с экрана настойчиво вбивают зрителям мораль:

«Важен результат, а результат не в вашу пользу».

Смеются на экране. В зале тоже смеются. Щурясь, при выходе на освещённый солнцем лагерный двор, ты обдумываешь эту фразу. И вечером обдумываешь её на своей вагонке. И в понедельник утром на разводе. И ещё сколько угодно времени обдумываешь — когда б ты мог ею так заняться? И медленная ясность спускается в твою голову.

Это — не шутка. Это — заразная мысль. Она давно уже привилась нашему отечеству, а её — ещё и ещё подпускают. Представление о том, что важен только материальный результат, настолько у нас въелось, что когда, например, объявляют какого-нибудь Тухачевского, Ягоду или Зиновьева — изменниками, снюхавшимися с врагом, то народ только ахает и многоустно удивляется: «*чего ему не хватало?!*» Поскольку у него было жратвы от пуза, и двадцать костюмов, и две дачи, и автомобиль, и самолёт, и известность — чего ему не хватало?!! Миллионам наших замотанных соотечественников невместимо представить, чтобы человеком (я не говорю об этих именно троих) могло двигать что-нибудь, кроме корысти.

Настолько все впитали и усвоили: «важен результат».

Откуда это к нам пришло? Отступя лет триста назад,— разве в Руси старообрядческой могло такое быть?

Это пришло к нам с Петра, от славы наших знамён и так называемой «чести нашей родины». Мы придавливали наших соседей, расширялись,— и в отечестве утверждалось: важен результат.

Потом от наших Демидовых, Кабаних и Цыбукиных. Они карабкались, не оглядываясь, кому обламывают сапогами уши, и всё прочней утверждалось в когда-то богомольном прямодушном народе: важен результат.

А потом — от всех видов социалистов, и больше всего — от новейшего непогрешимого нетерпеливого Учения, которое всё только из этого и состоит: важен результат! Важно сколотить боевую партию! захватить власть! удержать власть! устранить противников! победить в чугуне и стали! запустить ракеты!

И хотя для этой индустрии и для этих ракет пришлось пожертвовать и укладом жизни, и целостью семьи, и здравостью народного духа, и самой душою наших полей, лесов и рек,— наплевать! важен результат!!

Но это — ложь. Вот мы годы горбим на всесоюзной каторге. Вот мы медленными годовыми кругами восходим в понимании жизни — и с высоты этой так ясно видно: не результат важен! не результат — а д у х! Не *что* сделано — а *как*. Не что достигнуто — а какой ценой.

Вот и для нас, арестантов,— если важен результат, то верна и истина: выжить любой ценой. Значит: стать стукачом, предавать товарищей — за это устроиться тепло, а может быть и досрочку получить. В свете Непогрешимого Учения тут очевидно нет ничего дурного. Ведь если делать так, то результат будет в нашу пользу, а важен — результат.

Никто не спорит: приятно овладеть результатом. Но не ценой потери человеческого образа.

Если важен результат — надо все силы и мысли потратить на то, чтоб уйти от общих. Надо гнуться, угождать, подличать — но удержаться придурком. И тем — уцелеть.

Если важна суть — то пора примириться с общими. С лохмотьями. С изодранной кожей рук. С меньшим и худшим куском. И может быть — умереть. Но пока жив — с гордостью потягиваться ломящею спиной. Вот когда — перестав бояться угроз и не гонясь за наградами — стал ты самым опасным типом на совиный взгляд хозяев. Ибо — чем тебя взять?

Тебе начинает даже нравиться нести носилки с мусором (да, но не с камнем!) и разговаривать с напарником о том, как кино влияет на литературу. Тебе начинает нравиться присесть на опустевшее растворное корытце и закурить около своей кирпичной кладки. И ты просто горд, если десятник, проходя мимо, прищурится на твою вязку, посмотрит в створ со стеной и скажет:

— Это ты клал? Ровненько.

Ни на что тебе не нужна эта стена и не веришь ты, что она приблизит счастливое будущее народа, но, жалкий оборванный раб, у этого творения своих рук ты сам себе улыбнёшься.

Дочь анархиста Галя Венедиктова работала в санчасти медсестрой, но видя, что это — не лечение, а только личное устройство,— из упря-

мства ушла на общие, взяла кувалду, лопату. И говорит, что духовно это её спасло.

Доброму и сухарь на здоровье, а зло́му и мясное не впрок.

(Так-то оно так, но — если и сухаря нет?..)

* * *

И если только ты однажды отказался от этой цели — «выжить любой ценой», и пошёл, куда идут спокойные и простые,— удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер. Преображать в направлении, самом для тебя неожиданном.

Казалось бы: здесь должны вырастать в человеке злобные чувства, смятенье зажатого, беспредметная ненависть, раздражение, нервность. * А ты и сам не замечаешь, как, в неощутимом течении времени, неволя воспитывает в тебе ростки чувств противоположных.

Ты был резко-нетерпелив когда-то, ты постоянно спешил, и постоянно не хватало тебе времени. Теперь тебе отпущено его с лихвой, ты напитался им, его месяцами и годами, позади и впереди,— и благодатной успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам — терпение.

Ты подымаешься...

Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и так же невоздержанно превозносил — теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя — можешь понять чужую слабость. И поразиться силе другого. И пожелать перенять.

Камни шуршат из-под ног. Мы подымаемся...

Бронированная выдержка облегает с годами сердце твоё и всю твою кожу. Ты не спешишь с вопросами, не спешишь с ответами, твой язык утратил эластичную способность лёгкой вибрации. Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй вести и не потемнеют от горя.

Ибо надо ещё проверить, так ли это будет. И ещё разобраться надо — что́ радость, а что го́ре.

Правило жизни твоё теперь такое: не радуйся нашедши, не плачь потеряв.

Душа твоя, сухая прежде, от страдания *сочает*. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких ты теперь научаешься любить.

Тех близких по духу, кто окружает тебя в неволе. Сколькие из нас признаю́т: именно в неволе в первый раз мы узнали подлинную дружбу!

И ещё тех близких по крови, кто окружал тебя в прежней жизни, кто любил тебя, а ты их — тиранил...

Вот благодарное и неисчерпаемое направление для твоих мыслей: пересмотри свою прежнюю жизнь. Вспомни всё, что ты делал плохого и постыдного, и думай — нельзя ли исправить теперь?..

---

* Революционеры прошлого оставили много следов тому. Серафимович в одном рассказе описывает таким общество ссыльных. Большевик Ольминский пишет: «Горечь и злость — эти чувства так хорошо знакомы арестанту, так близки его душе.» Он срывал зло на тех, кто приходил к нему на свидания. Пишет, что потерял и всякий вкус к работе. Но ведь русские революционеры не получали и не отбывали (в массе своей) н а с т о я щ и х (больших) сроков.

Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем.

Но — перед совестью своей? Но — перед отдельными другими людьми?..

...После операции я лежу в хирургической палате лагерной больницы. Я не могу пошевелиться, мне жарко и знобко, но мысль не сбивается в бред — и я благодарен доктору Борису Корнфельду, сидящему около моей койки и говорящему целый вечер. Свет выключен, чтоб не резал глаза. Он и я — никого больше нет в палате.

Он долго и с жаром рассказывает мне историю своего обращения из иудейской религии в христианскую. Обращение это совершил над ним, образованным человеком, какой-то однокамерник, беззлобный старичок вроде Платона Каратаева. Я дивлюсь его убеждённости новообращённого, горячности его слов.

Мы мало знаем друг друга, и не он лечит меня, но просто не с кем ему поделиться здесь. Он — мягкий обходительный человек, ничего дурного я не вижу в нём и не знаю о нём. Однако настораживает то, что Корнфельд уже месяца два живёт безвыходно в больничном бараке, заточил себя здесь, при работе, и избегает ходить по лагерю.

Это значит — он боится, чтоб его не зарезали. У нас в лагере недавно пошла такая мода — резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении низких личных счётов. И поэтому — самозаточение Корнфельда в больнице ещё нисколько не доказывает, что он — стукач.

Уже поздно. Вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так:

— И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чём мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко — мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар.

Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные отсветы зоны, да жёлтым электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое знание в его голосе, что я вздрагиваю.

Это — последние слова Бориса Корнфельда. Он бесшумно уходит ночным коридором в одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят, ему уже не с кем сказать ни слова. Засыпаю и я.

А просыпаюсь утром от беготни и тяжёлого переступа по коридору: это санитары несут тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатурным молотком нанесены ему, спящему, в череп (у нас принято убивать тотчас же после подъёма, когда уже отперты бараки, но никто ещё не встал, не движется). На операционном столе он умирает, не приходя в сознание.

Так случилось, что вещие слова Корнфельда — были его последние слова на земле. И, обращённые ко мне, они легли на меня наследством. От такого наследства не стряхнёшься, передёрнув плечами.

Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли.

Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные ещё жесточе, чем тюрьмою,— расстрелянные, сожжённые — это

некие сверхзлодеи. (А между тем — невинных-то и казнят ретивее всего.) И что́ бы тогда сказать о наших явных мучителях: почему не наказывает судьба *их?* почему они благоденствуют?

(Это решилось бы только тем, что смысл земного существования — не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а — в развитии души. С *такой* точки зрения наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чьё развитие — о б е щ а е т.)

Но что-то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я вполне принимаю. И многие примут для себя.

На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне всё: и тюрьма, и довеском — злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной.

Кара? Но — чья?

Ну, придумайте — ч ь я?

В той самой послеоперационной, откуда ушёл на смерть Корнфельд, я пролежал долго, и всё один (из-за ареста хирурга операции остановились), бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и её поворотам. По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки,чтобы запомнить. Верней всего теперь и привести их — как они были, с подушки больного, когда за окнами сотрясался каторжный лагерь после мятежа.

Да когда ж я так до́пуста, дочиста
Всё развеял из зёрен благих?
Ведь провёл же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!

Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились — постижными,
Жребий жизни — податлив как воск.

Кровь бурлила — и каждый вы́полоск
Иноцветно сверкал впереди,—
И, без грохота, тихо рассыпалось
Зданье веры в моей груди.

Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.

Не рассудком моим, не желанием
Освещён её каждый излом —
Смысла Высшего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.

И теперь, возвращённою мерою
Надчерпнувши воды живой,—
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрекшимся был Ты со мной...

Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я всё порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасывает на берег — так и меня ударами несчастий больно возвращало на твердь. И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел.

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как — добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями,— она проходит через каждое человеческое сердце — и черезо все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренённый уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им *носителей* зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра),— само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство.

К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал самую злую идею, очень мало — заражённых ею людей. (Конечно, не Сталина здесь заслуга, уж он бы предпочёл меньше растолковывать, а больше расстреливать.) Если к XXI веку человечество не взорвёт и не удушит себя — может быть это направление и восторжествует?..

Да если оно не восторжествует — то вся история человечества будет пустым топтаньем, без малейшего смысла! Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной — это знал и пещерный человек.

«Познай самого себя». Ничто так не способствует пробуждению в нас всепонимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками. После трудных неоднолетних кругов таких размышлений говорят ли мне о бессердечии наших высших чиновников, о жестокости наших палачей — я вспоминаю себя в капитанских погонах и поход батареи моей по Восточной Пруссии, объятой огнём, и говорю:

— А разве *мы* — были лучше?..

Досадуют ли при мне на рыхлость Запада, его политическую недальновидность, разрозненность и растерянность — я напоминаю:

— А разве мы, не пройдя Архипелага,— были твёрже? сильнее мыслями?

Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих:

— **Благословение тебе, тюрьма!**

Прав был Лев Толстой, когда мечтал о посадке в тюрьму. С какого-то мгновенья этот гигант стал иссыхать. Тюрьма была, действительно, нужна ему, как ливень засухе.

Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклинать. Я — достаточно там сидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно:

— Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!

(А из могил мне отвечают: — Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!)

Глава 2

ИЛИ РАСТЛЕНИЕ

Но меня останавливают: вы не о том совсем! Вы опять сбились на тюрьму! А надо говорить — о лагере.

Да я, кажется, и о лагере говорил. Ну хорошо, умолкну. Дам место встречным мыслям. Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого «восхождения» они не заметили, чушь, а растление — на каждом шагу.

Настойчивее и значительнее других (потому что у него это уже всё написано) возразит Шаламов:

> «В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого созданы.»
>
> «Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с мясом мускулов... У нас не было гордости, самолюбия, а ревность и страсть казались марсианскими понятиями... Осталась только злоба — самое долговечное человеческое чувство.»
>
> «Мы поняли, что правда и ложь — родные сёстры.»
>
> «Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Если дружба между людьми возникает — значит, условия недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили — значит, они не крайние. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями.»

Только на одно различение здесь согласится Шаламов: восхождение, углубление, развитие людей возможно в *тюрьме. А*

> «...лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключённый обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям... Возвращаясь домой, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но интересы его стали бедными, грубыми.»

Ещё считает Шаламов признаком угнетения и растления человека в лагере то, что он «долгие годы живёт чужой волей, чужим умом». Но, во-первых, то же самое можно сказать и о многих вольных (не считая простора для деятельности в мелочах, которая есть и у заключённых); во-вторых же, вынужденно-фаталистический характер, вырабатываемый в туземце Архипелага его незнанием судьбы и неспособностью влиять на неё, скорее облагораживает его, освобождает от суетных метаний.

С различением таким согласна и Е. Гинзбург: «тюрьма возвышала людей, лагерь растлевал».

Да и как же тут возразить?

В тюрьме (в одиночке, да и не в одиночке) человек поставлен в противостояние со своим горем. Это горе — гора, но он должен вместить его в себя, освоиться с ним и переработать его в себе, а себя в нём. Это — высшая моральная работа, это всех и всегда

возвышало. * Поединок с годами и стенами — моральная работа и путь к возвышению (коли ты его одолеешь). Если годы эти ты разделяешь с товарищем, то не надо тебе умереть для его жизни, и ему не надо умереть, чтобы ты выжил. Есть путь у вас вступить не в борьбу, а в поддержку и обогащение.

А в лагере этого пути, кажется, у вас и нет. Хлеб не роздан равномерно кусочками, а брошен в свалку — хватай! сбивай соседей и рви у них! Хлеба выдано столько, чтоб на каждого выжившего приходился умерший или двое. Хлеб подвешен на сосне — свали её. Хлеб заложен в шахте — полезай да добудь. Думать ли тебе о своём горе, о прошлом и будущем, о человечестве и о Боге? Твоя голова занята суетными расчётами, сейчас заслоняющими тебе небо, завтра — уже не сто́ящими ничего. Ты ненавидишь труд — он твой главный враг. Ты ненавидишь окружающих — твоих соперников по жизни и смерти.** Ты исходишь от напряжённой зависти и тревоги, что где-то сейчас за спиною делят тот хлеб, что мог достаться тебе, где-то за стеною вылавливают из котла ту картофелину, которая могла попасть в твою миску.

Лагерная жизнь устроена так, что зависть со всех сторон клюёт душу, даже и самую защищённую от неё. Зависть распространяется и на сроки и на самую свободу. Вот в 45-м году мы, Пятьдесят Восьмая, провожаем за ворота бытовиков (по сталинской амнистии). Что мы испытываем к ним? Радость за них, что идут домой? Нет, зависть, ибо несправедливо их освобождать, а нас держать. Вот В. Власов, получивший двадцатку, первые 10 лет сидит спокойно — ибо кто же не сидит 10 лет? Но в 1947 — 48 многие начинают освобождаться — и он завидует, нервничает, изводится: как же он-то получил 20? как обидно эту вторую десятку сидеть. (Не спросил я его, но предполагаю: а стали те возвращаться в лагерь повторниками, ведь он должен был — успокоиться?) А вот в 1955 — 56 годах массово освобождается Пятьдесят Восьмая, а бытовики остаются в лагере. Что они испытывают? Ощущение справедливости, что многострадальная Статья после сорока лет непрерывных гонений наконец помилована? Нет, повсеместную зависть (я много писем таких получил в 1963 году): освободили «врагов, которые не нам, уголовникам, чета», а мы — сидим? за что?..

Ещё ты постоянно сжат страхом: утерять и тот жалкий уровень, на котором ты держишься, утерять твою ещё не самую тяжёлую работу, загреметь на этап, попасть в зону усиленного режима. А ещё тебя бьют, если ты слабее всех, или ты бьёшь того, кто слабее тебя. Это ли не растление? «Душевным лишаём» называет старый лагерник А. Рубайло это быстрое запаршивленье человека под внешним давлением.

В этих злобных чувствах и напряжённых мелочных расчётах — когда же и на чём тебе возвышаться?

Чехов ещё и до наших ИТЛ разглядел и назвал растление на Сахалине. Он пишет верно: пороки арестантов — от их подневольности, порабощения, страха и постоянного голода. Пороки эти: лживость, лукавст-

* И как интереснеют люди в тюрьме! Знаю людей уныло скучных с тех пор, как их выпустили на волю,— но в тюрьме оторваться было нельзя от бесед с ними.

** П. Якубович: «почти каждый каторжанин не любит каждого». А ведь там не было соперничества на выживание.

во, трусость, малодушие, наушничество, воровство. Опыт показал каторжному, что в борьбе за существование обман — самое надёжное средство.

Не десятерицею ли всё это и у нас?.. Так впору не возражать, не защищать мнимое какое-то лагерное «возвышение», а описать сотни, тысячи случаев подлинного растления. Приводить примеры, как никто не может устоять против лагерной философии, выраженной джезказганским Яшкой-нарядчиком: «чем больше делаешь людям гадости, тем больше тебя будут уважать». Рассказать, как недавние солдаты-фронтовики (Краслаг, 1942 год), лишь чуть заглотнув блатного воздуха, потянулись и сами *жучковать* — литовцев *прихватывать,* и на их продуктах и вещах поправляться самим, а вы хоть пропадите, зелёные! Как начинали *хилять за вора* некоторые власовцы, убедясь, что только так в лагере и проживёшь. О том доценте литературы, который стал блатным паханом. Удивиться, как заразлива эта лагерная идеология — на примере Чульпенёва. Чульпенёв выдержал семь лет общего лесоповала, стал знаменитым лесорубом, но попал в больницу со сломанной ногой, а после неё предложили ему поработать нарядчиком. Никакой в этом не было ему необходимости, два с половиной оставшихся года он уже уверенно мог дотянуть лесорубом, начальство с ним носилось — но как уклониться от соблазна? ведь по лагерной философии «дают — бери!». И Чульпенёв идёт в нарядчики — всего-то на шесть месяцев, самых беспокойных, тёмных, тревожных в своём сроке. (И вот срок миновал давно, и о соснах он рассказывает с простодушной улыбкой,— но камень на сердце лежит, как умер от его *довóда* двухметровый латыш, капитан дальнего плавания,— да он ли один?..)

До какого «душевного лишая» можно довести лагерников сознательным науськиванием друг на друга! В Унжлаге в 1950 уже тронутая в рассудке Моисеевайте (но по-прежнему водимая конвоем на работу), не замечая оцепления, пошла «к маме». Её схватили, у вахты привязали к столбу и объявили, что «за побег» весь лагерь лишается ближайшего воскресенья (обычный приём). Так возвращавшиеся с работы бригады плевали в привязанную, кто и бил: «Из-за тебя, сволочи, выходного не будет!» Моисеевайте блаженно улыбалась.

А сколько растления вносит то демократическое и прогрессивное «самоокарауливание», а по-нашему — самоохрана, ещё в 1918 году провозглашённое? Ведь это — одно из главных русл лагерного растления: позвать арестанта в самоохрану. Ты — пал, ты — наказан, ты — вырван из жизни,— но хочешь быть не на самом низу? Хочешь ещё над кем-то выситься с винтовкой? над братом своим? На! держи! А побежит — стреляй! Мы тебя даже *товарищем* будем звать, мы тебе — красноармейский паёк.

И — гордится. И — холопски сжимает ложе. И стреляет. И — строже ещё, чем чисто-вольные охранники. (Как угадать: у властей — тут действительно курослепая вера в «социальную самодеятельность»? Или ледяной презрительный расчёт на самые низкие человеческие чувства?)

Да ведь не только самоохрана: и самонадзор, и самоугнетение — вплоть до начальников ОЛПов все были из зэков в 30-е годы. И заведующий транспортом. И заведующий производством. (А как же иначе, если 37 чекистов на 100 тысяч зэков Беломорканала?) Да оперупол-

номоченные — и те были из зэков!! Дальше в «самодеятельности» уже и идти некуда: сами над собой следствие вели! Сами против себя стукачей заводили!

Да. Да. Но я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать здесь. Они — всем известны, их уже описывали и будут. Довольно с меня признать их. Это — общее направление, это — закономерность.

Зачем о каждом доме повторять: а в мороз его выхолаживает. Удивительнее заметить, что есть дома, которые и в мороз держат тепло.

Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка — так личность.

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сёстры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень вы упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба всё-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию?

А как сохраняются в лагере (уж мы прикасались не раз) истые религиозные люди? На протяжении этой книги мы уже замечали их уверенное шествие через Архипелаг — какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемёта падают среди них — и следующие заступают, и опять идут. Твёрдость, не виданная в XX веке! И как нисколько это не картинно, без декламации. Вот какая-нибудь тётя Дуся Чмиль — круглолицая спокойная совсем неграмотная старушка. Окликает конвой:

— Чмиль! Статьи!

Она мягко незлобливо отвечает:

— Да что ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано, я всех не помню.— (У неё — букет из пунктов 58-й.)

— Срок!

Вздыхает тётя Дуся. Она не потому так сбивчиво отвечает, чтоб досадить конвою. Она простодушно задумывается над этим вопросом: срок? Да разве людям дано знать сроки?..

— Какой срок!.. Пока Бог грехи отпустит — потоль и сидеть буду.

— Дура ты дура! — смеётся конвой.— Пятнадцать лет тебе, и все отсидишь, ещё может и больше.

Но проходит два с половиной года её срока, никуда она не пишет — и вдруг бумажка: освободить!

Как не позавидовать этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? Едва ли! Известно, что «монашек» только и держали с проститутками и блатными на штрафных ОЛПах. А между тем, кто из верующих растлился? Умирали — да, но — не растлились?

А как объяснить, что некоторые шаткие люди именно в лагере обратились к вере, укрепились ею и выжили нерастленными?

И многие ещё, разрозненные и незаметные, переживают свой урочный поворот и не ошибаются в выборе. Те, кто успевают заметить, что не им одним худо — но рядом ещё хуже, ещё тяжелей.

А все, кто под угрозой штрафной зоны и нового срока — отказались стать стукачами?

Как вообще объяснить Григория Ивановича Григорьева, почвоведа? Учёный, добровольно пошёл в 1941 году в народное ополчение, дальше известно — плен под Вязьмою. Весь плен немецкий провёл в лагере. Дальше известно — посажен у нас. Десятка. Я познакомился с ним зимою на общих работах в Экибастузе. Прямота так и светилась из его крупных спокойных глаз, какая-то несгибаемая прямота. Этот человек никогда не умел духовно гнуться — и в лагере не согнулся, хотя из десяти лет только два работал по специальности и почти весь срок не получал посылок. Со всех сторон в него внедряли лагерную философию, лагерное тление, но он не способился усвоить. В Кемеровских лагерях (Антибесс) его напорно вербовал опер. Григорьев ответил вполне откровенно: «Мне противно с вами разговаривать. Найдётся у вас много охотников и без меня.» — «На карачках приползёшь, сволочь!» — «Да лучше на первом суку повешусь.» И послан был на штрафной. Вынес там полгода.— Да что, он делал *ошибки* ещё более непростительные: попав на сельхозкомандировку, он отказался от предложенного (как почвоведу) бригадирства! — с усердием же полол и косил. Да ещё глупей: в Экибастузе на каменном карьере он отказался быть учётчиком — лишь по той причине, что пришлось бы для работяг приписывать тухту, за которую потом, очнувшись, будет расплачиваться (да ещё будет ли?) вечно пьяный вольный десятник. И пошёл ломать камень! Чудовищная неестественная его честность была такова, что ходя с бригадой овощехранилища на переработку картошки — он не воровал её там, хотя все воровали. Будучи устроен в привилегированной бригаде мехмастерских у приборов насосной станции — покинул это место лишь потому, что отказался стирать носки вольному холостому прорабу Трейвишу. (Уговаривали бригадники: да не всё ли равно тебе, какую работу делать? Нет, оказывается не всё равно.) Сколько раз избирал он худший и тяжёлый жребий, только бы не искривиться душой — и не искривился ничуть, я этому свидетель. Больше того: по удивительному влиянию светлого непорочного духа человека на его тело (теперь в такое влияние совсем не верят, не понимают) — организм уже немолодого (близ 50 лет) Григория Ивановича в лагере укреплялся: у него совсем исчез прежний суставной ревматизм, а после перенесенного тифа он стал особенно здоров: зимой ходил в бумажных мешках, проделывая в них дырки для головы и рук,— и не простужался!

Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына?

Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не обогащён был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. (Случай — вовсе не теоретический, за советское пятидесятилетие таких-то и выросли — миллионы.)

Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда.

Тот конвойный офицер, который велел привязать Моисеевайте к столбу для глумления,— он не больше растлен, чем плевавшие лагерники?

И уж заодно: а все ли из бригад в неё плевали? Может, из бригады — лишь по два человека? Да наверное так.

Татьяна Фалике пишет: «Наблюдения за людьми убедили меня, что не мог человек стать подлецом в лагере, если не был им до него.»

Если человек в лагере круто подлеет, так может быть: он не подлеет, а открывается в нём его внутреннее подлое, чему раньше просто не было нужды?

М. А. Войченко считает так: «В лагере бытие не определяло сознание, наоборот, от сознания и неотвратимой веры в человеческую сущность зависело: сделаться тебе животным или остаться человеком.»

Крутое, решительное заявление... Но не он один так думает. Художник Ивашёв-Мусатов с горячностью доказывает то же.

Да, лагерное растление было массовым. Но не только потому, что ужасны были лагеря, а потому ещё, что мы, советские люди, ступали на почву Архипелага духовно безоружными — давно готовыми к растлению, ещё на воле тронутые им, и уши развешивали слушать от старых лагерников «как надо в лагере жить».

А как надо жить (и как умереть), мы обязаны знать и без всякого лагеря.

И может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде вообще-то между людьми возникает, и даже в крайней беде,— да не между такими сухими и гадкими людьми, как мы, при воспитании наших десятилетий?

Если уж растление так неизбежно, то почему Ольга Львовна Слиозберг не покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти наверное погибнуть с нею сама — и спасла? Уж эта ли беда — не крайняя?

Если уж растление так неизбежно, то откуда берётся Василий Мефодьевич Яковенко? Он отбыл два срока, только что освободился и жил вольняшкой на Воркуте, только-только начинал ползать без конвоя и обзаводиться первым гнёздышком. 1949 год. На Воркуте начинаются посадки бывших зэков, им дают новые сроки. Психоз посадок! Среди вольняшек — паника! Как удержаться? Как быть понезаметнее? Но арестован Я. Д. Гродзенский, друг Яковенко по воркутинскому же лагерю, он доходит на следствии, передач носить некому. И Яковенко — бесстрашно носит передачи! Хотите, псы,— гребите и меня!

Отчего же *этот* не растлился?

А в с е уцелевшие не припомнят ли того, другого, кто ему в лагере руку протянул и спас в крутую минуту?

Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, что *каждого* им удавалось смять.

Как в природе нигде никогда не идёт процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идёт растление без восхождения. Они — рядом.

В следующей части я ещё надеюсь показать, как в других лагерях — в Особых, создалось с какого-то времени иное *поле:* процесс растления был сильно затруднён, а процесс восхождения стал привлекателен даже для лагерных шкур.

* * *

Да, ну а — *исправление?* А с исправлением-то как же? («Исправление» — это понятие общественно-государственное и не совпадает с восхождением.) Все судебные системы мира мечтают о том, чтобы преступники не просто отбывали срок, но исправлялись бы, то есть чтобы другой раз не увидеть их на скамье подсудимых, особенно по той же статье.

Впрочем, Пятьдесят Восьмую никогда и не стремились «исправить», то есть второй раз не посадить. Мы уже приводили откровенные высказывания тюрьмоведов об этом. Пятьдесят Восьмую хотели истребить через труд. А то, что мы выживали,— это уже была наша самодеятельность.

Достоевский восклицает: «Кого когда исправила каторга?»

Идеал исправления был и в русском пореформенном законодательстве (весь чеховский «Сахалин» исходит из этого идеала). Но успешно ли осуществлялся?

П. Якубович над этим много думал и пишет: террористический режим каторги «исправляет» лишь не развращённых — но они и без этого второй раз не совершат преступления. А испорченного этот режим только развращает, заставляет быть хитрым, лицемерным, по возможности не оставлять улик.

Что ж сказать о наших ИТЛ?! Теоретики тюрьмоведения (Gefängniskunde) всегда считали, что заключение не должно доводить до совершенного отчаяния, должно оставлять надежду и выход. Читатель уже видел, что наши ИТЛ доводили только и именно до совершенного отчаяния.

Чехов верно сказал: «Углубление в себя — вот что действительно нужно для исправления.» Но именно углубления в себя больше всего боялись устроители наших лагерей. Общие бараки, бригады, трудовые коллективы именно и призваны были рассеять, растерзать это опасное самоуглубление.

Какое ж в наших лагерях исправление! — только порча: усвоение блатной воровской морали, усвоение жестоких лагерных нравов как общего закона жизни («криминогенные места» на языке тюрьмоведов, школа преступности).

И. Г. Писарев, кончающий долгий срок, пишет (1963 год): «Становится тяжело особенно потому, что выйдешь отсюда неизлечимым нервным уродом, с непоправимо разрушенным здоровьем от недоедания и повсечасного подстрекательства. Здесь люди портятся окончательно. Если этот человек до суда называл и лошадь на «вы», то теперь на нём и пробу негде ставить. Если на человека семь лет говорить: «свинья» — он и захрюкает... Только первый год карает преступника, а остальные ожесточают, он прилаживается к условиям, и всё. Своей продолжительностью и жестокостью закон карает больше семью, чем преступника.»

Вот другое письмо. «Больно и страшно, ничего не видя и ничего не сделав в жизни, уйти из неё, и никому нет дела до тебя, кроме, наверно, матери, которая не устаёт ждать всю жизнь.»

А вот поразмышлявший немало Александр Кузьмич К. (пишет в 1963 году):

«Заменили мне расстрел 20-ю годами каторги, но, честное слово, не считаю это благодеянием... Я испытал на своих коже и костях те «ошибки», которые теперь так принято именовать,— они ничуть не легче Майданека и Освенцима. Как отличить грязь от истины? Убийцу от воспитателя? закон от беззакония? палача от патриота? — если он идёт вверх, из лейтенанта стал подполковником? Как мне, выходя после 18 лет сидки, разобраться во всём хитросплетении? Завидую вам, людям образованным, с умом гибким, кому не приходится долго ломать голову, как поступить или приспособиться, *чего впрочем и не хочется*.»

Замечательно сказано: «и не хочется»! Но тогда — *исправлен* ли он в государственном смысле? Никак нет. Для государства он погублен.

Того «исправления», которого хотело бы (?) государство, оно вообще никогда не достигает в лагерях. «Выпускники» лагеря научаются только лицемерию — как притвориться исправившимися, и научаются цинизму — к призывам государства, к законам государства, к обещаниям его.

А если человеку и исправляться не от чего? Если он и вообще не преступник? Если он посажен за то, что Богу молился, или выражал независимое мнение, или попал в плен, или за отца, или просто по развёрстке,— так что́ дадут ему лагеря?

Сахалинский тюремный инспектор сказал Чехову: «Если в конце концов из ста каторжных выходит 15 — 20 порядочных, то этим мы обязаны не столько исправительным мерам, которые употребляем, сколько нашим русским судам, присылающим на каторгу так много хорошего, надёжного элемента.»

Что ж, вот это и будет суждение об Архипелаге, если цифру безвинно поступающих поднять, скажем, до 80-ти,— но и не забыть, что в наших лагерях поднялся также и коэффициент порчи.

Если же говорить не о мясорубке для неугодных миллионов, не о помойной яме, куда швыряют без жалости к своему народу,— а о серьёзной исправительной системе,— то тут возникает сложнейший из вопросов: как можно по единому уголовному кодексу давать однообразные уподобленные наказания? Ведь внешне равные наказания для *разных* людей, более нравственных и более испорченных, более тонких и более грубых, образованных и необразованных, суть наказания совершенно *неравные* (см. Достоевский, «Записки из Мёртвого дома», во многих местах).

Английская мысль это поняла, и у них говорят сейчас (не знаю, насколько делают), что наказание должно соответствовать не только преступлению, но и личности каждого преступника.

Например, общая потеря внешней свободы для человека с богатым внутренним миром менее тяжела, чем для человека малоразвитого, более живущего телесно. Этот второй «более нуждается во внешних впечатлениях, инстинкты сильнее тянут его на волю» (П. Якубович). Первому легче и одиночное заключение, особенно с книгами. (Ах, как некоторые из нас жаждали такого заключения вместо лагерного! При тесноте телу — какие открывает оно просторы уму и душе! Николай Морозов ничем особенным не выдавался ни до посадки, ни — самое удивительное — после неё. А тюремное углубление дало ему возможность додуматься до планетарного строения атома, до разнозаряженных

ядра и электронов — за десять лет до Резерфорда! Но *нам* не только не предлагали карандаша, бумаги и книг, а — отбирали последние.) Второй, может быть, и года не вынесет одиночки, просто истает, сморится. Ему — кто-нибудь, только бы товарищи. А первому неприятное общение хуже одиночества. Зато лагерь (где хоть немного кормят) второму гораздо легче, чем первому. И — барак на 400 человек, где все кричат, несут вздор, играют в карты и в домино, гогочут и храпят, и черезо всё это ещё долдонит постоянное радио, рассчитанное на недоумков. (Лагеря, в которых я сидел, были *наказаны* отсутствием радио! — вот спасение-то!)

Таким образом, именно система ИТЛ с обязательным непомерным физическим трудом и обязательным участием в унизительно-гудящем многолюдьи была более действенным способом уничтожения интеллигенции, чем тюрьма. Именно интеллигенцию система эта смаривала быстро и до конца.

Глава 3

ЗАМОРДОВАННАЯ ВОЛЯ

Но и когда будет написано, прочтено и понято всё главное об Архипелаге ГУЛАГе,— ещё поймут ли: а что́ была наша *воля*? Что́ была та страна, которая десятками лет таскала в себе Архипелаг?

Мне пришлось носить в себе опухоль с крупный мужской кулак. Эта опухоль выпятила и искривила мой живот, мешала мне есть, спать, я всегда знал о ней (хоть не составляла она и полупроцента моего тела, а Архипелаг в стране составлял процентов восемь). Но не тем была она ужасна, что давила и смещала смежные органы, страшнее всего было, что она испускала яды и отравляла всё тело.

Так и наша страна постепенно вся была отравлена ядами Архипелага. И избудет ли их когда-нибудь — Бог весть.

Сумеем ли и посмеем ли описать всю мерзость, в которой мы жили (недалёкую, впрочем, и от сегодняшней)? И если мерзость эту не полновесно показывать, выходит сразу ложь. Оттого и считаю я, что в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы литературы у нас не было. Потому что безо *всей* правды — не литература. Сегодня эту мерзость показывают в меру моды — обмолвкой, вставленной фразой, довеском, оттенком — и опять получается ложь.

Это — не задача нашей книги, но попробуем коротко перечислить те признаки *вольной* жизни, которые определялись соседством Архипелага или составляли единый с ним стиль.

Постоянный страх. Как уже видел читатель, ни 35-м, ни 37-м, ни 49-м годами не исчерпаешь перечня наборов на Архипелаг. Наборы шли всегда. Как не бывает минуты, чтоб не умирали и не рождались, так не было и минуты, чтобы не арестовывали. Иногда это подступало близко к человеку, иногда было где-то подальше, иногда человек себя обманывал, что ему ничего не грозит, иногда он сам выходил в палачи, и так угроза ослабевала,— но любой взрослый житель этой страны от колхозника до члена Политбюро всегда знал, что неосторожное слово или движение — и он безвозвратно летит в бездну.

Как на Архипелаге под каждым придурком — пропасть (и гибель) общих работ, так и в стране под каждым жителем — пропасть (и гибель) Архипелага. По видимости страна много больше своего Архипелага — но вся она, и все её жители как бы призрачно висят над его распяленным зевом.

Страх — не всегда страх перед арестом. Тут были ступени промежуточные: чистка, проверка, заполнение анкеты — по распорядку или внеочередное, увольнение с работы, лишение прописки, высылка или ссылка. * Анкеты так подробно и пытливо были составлены, что более половины жителей ощущали себя виновными и постоянно мучились подступающими сроками заполнения их. Составив однажды ложную

* Ещё такие малоизвестные формы, как: исключение из партии, снятие с работы и посылка в лагерь вольнонаёмным. Так в 1938 был сослан Степан Григорьевич Ончул. Естественно, такие числились крайне неблагонадёжными. Во время войны Ончула взяли в трудовой батальон, где он и умер.

повесть своей жизни, люди старались потом не запутаться в ней. Но опасность могла грянуть неожиданно: сын кадыйского Власова Игорь постоянно писал, что отец его умер. Так он поступил уже в военное училище. Вдруг его вызвали: в три дня представить справку, что отец твой умер. Вот и представь!

Совокупный страх приводил к верному сознанию своего ничтожества и отсутствия всякого *права*. В ноябре 1938 года Наташа Аничкова узнала, что любимый человек её (незарегистрированный муж) посажен в Орле. Она поехала туда. Огромная площадь перед тюрьмой была запружена телегами, на них — бабы в лаптях, шушунах и с передачами, которые от них не принимали. Аничкова сунулась в окошко в страшной тюремной стене.— Кто вы такая? — строго спросили её. Выслушали.— Так вот, товарищ москвичка, даю вам один совет: уезжайте сегодня, потому что ночью *за вами придут!* — Иностранцу здесь всё непонятно: почему вместо делового ответа на вопрос чекист дал непрошенный совет? какое право он имел от свободной гражданки требовать немедленного выезда? и кто это придёт и зачем? — Но какой советский гражданин солжёт, что ему непонятно или что случай неправдоподобный? После такого совета опасёшься остаться в чужом городе.

Верно замечает Н. Я. Мандельштам: наша жизнь так пропиталась тюрьмою, что многозначные слова «взяли», «посадили», «сидит», «выпустили», даже без текста, у нас каждый понимает только в одном смысле!

Ощущения беззаботности наши граждане не знали никогда.

Прикреплённость. Если б можно было легко менять своё место жительства, уезжать оттуда, где тебе стало опасно,— и так отряхнуться от страха, освежиться! — люди вели бы себя смелей, могли б и рисковать. Но долгие десятилетия мы были скованы тем порядком, что никакой работающий не мог самовольно оставить работу. И ещё — пропиской все были привязаны по местам. И ещё — жильём, которого не продашь, не сменишь, не наймёшь. И оттого было смелостью безумной — *протестовать* там, где живёшь, или там, где работаешь.

Скрытность, недоверчивость. Эти чувства заменили прежнее открытое радушие, гостеприимство (ещё не убитые и в 20-х годах). Эти чувства — естественная защита всякой семьи и каждого человека, особенно потому, что никто никуда не может уволиться, уехать, и каждая мелочь годами на прогляде и на прослухе. Скрытность советского человека нисколько не избыточна, она необходима, хотя иностранцу может порой показаться сверхчеловеческой. Бывший царский офицер К. У. только потому уцелел, никогда не был посажен, что, женясь, не сказал ж е н е о своём прошлом. Был арестован брат его, Н. У.,— так жена арестованного, пользуясь тем, что они с Н. У. в момент ареста жили в разных городах, скрыла его арест от своего о т ц а и с е с т р ы — чтоб они не проговорились. Она предпочла сказать им, и всем (и потом долго играть), что муж её бросил! Это — тайны одной семьи, рассказанные теперь, через 30 лет. А какая городская семья не имела их?

В 1949 году у соученицы студента В. И. арестовали отца. В таких случаях все отшатнулись, и это считалось естественно, а В. И. не усторонился, открыто выразил девушке сочувствие, искал, чем помочь. Перепуганная таким необычайным поведением, девушка отвергла по-

мощь и участие В. И., она соврала ему, что не верит в правдивость своего арестованного отца, наверно он всю жизнь скрывал своё преступление от семьи. (Только в хрущёвское время разговорились: девушка решила тогда, что В. И.— либо стукач, либо член антисоветской организации, ловящей недовольных.)

Это всеобщее взаимное недоверие углубляло братскую яму рабства. Начни кто-нибудь смело открыто высказываться — все отшатывались: «провокация!» Так обречён был на одиночество и отчуждение всякий прорвавшийся искренний протест.

Всеобщее незнание. Таясь друг от друга и друг другу не веря, мы сами помогали внедриться среди нас той абсолютной негласности, абсолютной дезинформации, которая есть причина причин всего происшедшего — и миллионных посадок и их массовых одобрений. Ничего друг другу не сообщая, не вопя, не стеня, и ничего друг от друга не узнавая, мы отдались газетам и казённым ораторам. Каждый день нам подсовывали что-нибудь разжигающее, вроде железнодорожного крушения (вредительского) где-нибудь за 5 тысяч километров. А что́ надо было нам обязательно, что на нашей лестничной клетке сегодня случилось,— нам неоткуда было узнать.

Как же стать гражданином, если ты ничего не знаешь об окружающей жизни? Только сам захваченный капканом, с опозданием узнаёшь.

Стукачество, развитое умонепостижимо. Сотни тысяч оперативников в своих явных кабинетах, и в безвинных комнатах казённых зданий, и на явочных квартирах, не щадя бумаги и своего пустого времени, неутомимо вербовали и вызывали на сдачу донесений такое количество стукачей, которое никак не могло быть им нужно для сбора информации. Вербовали даже заведомо ненужных, не подходящих им людей, кто наверняка не согласится,— например, верующую жену умершего в лагере баптистского пресвитера Никитина. Всё же её по несколько часов держали на допросе на ногах, то арестовывали, то переводили на заводе на худшую работу.— Одна из целей такой обильной вербовки была, очевидно: сделать так, чтобы каждый подданный чувствовал на себе дыхание осведомительных труб. Чтобы в каждой компании, в каждой рабочей комнате, в каждой квартире или был бы стукач, или все бы опасались, что он есть.

Я выскажу поверхностное оценочное предположение: из четырёх-пяти городских жителей одному непременно хоть один раз за его жизнь да предложили стать стукачом. А то — и гуше. В новейшее время я делал проверки и среди арестованных компаний и среди извечных вольняшек: кого, когда и как вербовали. И так оказывалось, что из нескольких человек за столом *всем* в своё время предлагали!

Н. Я. Мандельштам правильно заключает: кроме цели ослабить связь между людьми, тут была и другая — поддавшиеся на вербовку, стыдясь общественного разоблачения, будут заитересованы в незыблемости режима.

Скрытность пустила холодные щупальцы по всему народу — она проникла между студентами, между солдатами, между соседями, между подрастающими детьми — и даже в приёмной НКВД между жёнами, принесшими передачи.

Предательство как форма существования. При многолетнем постоян-

ном страхе за себя и свою семью человек становится данником страха, подчинённым его. И оказывается наименее опасной формой существования — постоянное предательство.

Самое мягкое, зато и самое распространённое предательство — это ничего прямо худого не делать, но: не заметить гибнущего рядом, не помочь ему, отвернуться, сжаться. Вот арестовали соседа, товарища по работе и даже твоего близкого друга. Ты молчишь, ты делаешь вид, что и не заметил (ты никак не можешь потерять свою сегодняшнюю работу!). Вот на общем собрании объявляется, что исчезнувший вчера — заклятый враг народа. И ты, вместе с ним двадцать лет сгорбленный над одним и тем же столом, теперь своим благородным молчанием (а то и осуждающей речью) должен показать, как ты чужд его преступлений (ты для своей дорогой семьи, для близких своих должен принести эту жертву! какое ты имеешь право не думать о *них?*). Но остались у арестованного — жена, мать, дети, может быть помочь хоть им? Нет-нет, опасно: ведь это — жена *врага,* и мать врага, и дети врага (а твоим-то надо получить ещё долгое образование)!

Когда арестовали инженера Пальчинского, жена его Нина писала вдове Кропоткина: «Осталась я совсем без средств, никто ничем не помог, все чураются, боятся... Я теперь увидала, что такое друзья. Исключений очень мало.» *

Укрыватель — тот же враг! Пособник — тот же враг. Поддерживающий дружбу — тоже враг. И телефон заклятой семьи замолкает. Почта обрывается. На улице их не узнают, ни руки не подают, ни кивают. Тем более в гости не зовут. И не ссужают деньгами. В кипении большого города люди оказываются как в пустыне.

А Сталину только это и нужно! А он смеётся в усы, гуталинщик!

Академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошёл в лакейские президенты Академии наук. (Усатый шутник в издёвку придумал, проверял человеческое сердце.) А. Н. Толстой, советский граф, остерегался не только посещать, но деньги давать семье своего пострадавшего брата. Леонид Леонов запретил своей жене, урождённой Сабашниковой, посещать семью её посаженного брата С. М. Сабашникова. А легендарный Димитров, этот лев рыкающий лейпцигского процесса, отступился и не спас, предал своих друзей Попова и Танева, когда им, освобождённым по фашистскому суду, вкатили на советской земле по 15 лет, «за покушение на товарища Димитрова» (в Краслаге они отбывали).

Положение у семей арестованных было известно какое. Вспоминает В. Я. Кавешан из Калуги: «После ареста отца от нас все бежали, как от прокажённых, мне пришлось школу бросить — затравили ребята — (растут предатели! растут палачи!),— а мать уволили с работы. Приходилось побираться.»

Одну семью арестованного москвича в 1937 — мать с ребятишками, милиционеры повезли на вокзал — ссылать. И вдруг, когда вокзал проходили, мальчишка (лет восьми) исчез. Милиционеры искрутились, найти не могли. Сослали семью без этого мальчишки. Оказывается он

* Письмо от 16.8.29, рукописный отдел библиотеки им. Ленина, фонд 410, карт. 5, ед. хр. 24.

нырнул под красную ткань, обматывающую высокую разножку под бюстом Сталина, и так просидел, пока миновала опасность. Потом вернулся домой — квартира опечатана. Он к соседям, он к знакомым, он к друзьям папы и мамы — и не только никто не принял этого мальчика в семью, но ночевать не оставили! И он сдался в детдом... Современники! Соотечественники! Узнаёте ли вы свою харю?

И всё это — только легчайшая ступень предательства — отстранение. А сколько ещё заманчивых ступеней — и какое множество людей опускалось по ним? Те, кто уволили мать Кавешан с работы,— не отстранились? внесли свою лепту? Те, послушные звонку оперативника, кто послали Никитину на чёрную работу, чтоб скорее стала стукачкой? Да те редакторы, которые бросались вычёркивать имя вчера арестованного писателя?

Маршал Блюхер — вот символ той эпохи: сидел совой в президиуме суда и судил Тухачевского (впрочем, и тот сделал бы так же). Расстреляли Тухачевского — снесли голову и Блюхеру. Или прославленные профессора медицины Виноградов и Шерешевский. Мы помним, как пали они жертвой злодейского оговора в 1952 году,— но не менее же злодейский оговор на собратьев своих Плетнёва и Левина они подписали в 1936. (Венценосец тренировался в сюжете и на душах...)

Люди жили в *поле* предательства — и лучшие доводы шли на оправдание его. В 1937 году одна супружеская пара ждала ареста — из-за того, что жена приехала из Польши. И согласились они так: не дожидаясь этого ареста, муж донёс на жену! Её арестовали, а он «очистился» в глазах НКВД и остался на свободе.— Всё в том же достославном году старый политкаторжанин Адольф Добровольский, уходя в тюрьму, произнёс своей единственной любимой дочери Изабелле: «Мы отдали жизнь за советскую власть — и пусть никто не воспользуется твоей обидой. Поступай в комсомол!» По суду Добровольскому не запретили переписку, но комсомол потребовал, чтобы дочь не вела её,— и в духе отцовского напутствия дочь отреклась от отца.

Сколько было тогда этих *отречений!* — то публичных, то печатных: «Я, имя рек, с такого-то числа отрекаюсь от отца и матери как от врагов советского народа.» Этим покупалась жизнь.

Тем, кто не жил в то время (или сейчас не живёт в Китае), почти невозможно понять и простить. В средних человеческих обществах человек проживет свои 60 лет, никогда не попадая в клещи такого выбора, и сам он уверен в своей добропорядочности и те, кто держат речь на его могиле. Человек уходит из жизни, так и не узнав, в какой колодец зла можно сорваться.

Массовая парша душ охватывает общество не мгновенно. Ещё все 20-е годы и начало 30-х многие люди у нас сохраняли душу и представления общества прежнего: помочь в беде, заступиться за бедствующих. Ещё и в 1933 году Николай Вавилов и Мейстер открыто хлопотали за всех посаженных ВИР'овцев. Есть какой-то минимально необходимый срок растления, раньше которого не справляется с народом великий Аппарат. Срок определяется и возрастом ещё не состарившихся упрямцев. Для России оказалось нужным 20 лет. Когда Прибалтику в 1949 году постигли массовые посадки,— для их растления прошло всего около 5—6 лет, мало, и там семьи, пострадавшие от власти, встречали

со всех сторон поддержку. (Впрочем, была и дополнительная причина, укреплявшая сопротивление прибалтов: социальные гонения выглядели как национальное угнетение, а в этом случае люди всегда твёрже стоят на своём.)

Оценивая 1937 год для Архипелага, мы обошли его высшей короной. Но здесь, для *воли,*— этой коррозийной короной предательства мы должны его увенчать: можно признать, что именно этот год сломил душу нашей *воли* и залил её массовым растлением.

Но даже это не было концом нашего общества! (Как мы видим теперь, конец вообще никогда не наступил — живая ниточка России дожила, дотянулась до лучших времён, до 1956, а теперь уж тем более не умрёт.) Сопротивление не выказалось въявь, оно не окрасило эпохи всеобщего падения, но невидимыми тёплыми жилками билось, билось, билось, билось.

В это страшное время, когда в смятенном одиночестве сжигались дорогие фотографии, дорогие письма и дневники, когда каждая пожелтевшая бумажка в семейном шкафу вдруг расцветала огненным папоротником гибели и сама порывалась кинуться в печь, какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей не сжечь, сберечь архивы осуждённых (как Флоренского) или заведомо упречных (как философа Фёдорова)! А какой подпольной антисоветской жгучей крамолой должна была казаться повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». Её сохранил Исидор Гликин. В блокадном Ленинграде, чувствуя приближение смерти, он побрёл через весь город отнести её к сестре и так спасти.

Каждый поступок противодействия власти требовал мужества, не соразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа,— однако сколько же детей таких взяли, спасли (сами-то дети пусть расскажут). И тайная помощь семьям — была. И кто-то же подменял жену арестованного в безнадёжной трёхсуточной очереди, чтоб она погрелась и поспала. И кто же, с колотящимся сердцем, шёл предупредить, что на квартире — засада, и туда возвращаться нельзя. И кто-то давал беглянке приют, хоть сам в эту ночь не спал.

Уже поминали мы тех, кто осмеливался не голосовать за казнь Промпартии. А кто-то же ушёл на Архипелаг и за защиту своих неприметных сослуживцев. Сын в отца: сын того Рожанского, Иван, пострадал и сам за защиту своего сослуживца Копелева. На партсобрании ленинградского Детгиза поднялся М. М. Майснер и стал защищать «вредителей в детской литературе» — тотчас же он был и исключён, и арестован. Ведь знал, на что шёл! А в военной цензуре (Рязань, 1941) девушка-цензорша порвала криминальное письмо не известного ей фронтовика,— но заметили, как она рвала в корзину, сложили из кусочков — и *посадили* её самоё. Пожертвовала собой для неизвестного дальнего человека! (И я-то узнал — лишь потому, что в Рязани. А сколько таких неузнанных случаев?..) *

Теперь приудобились выражаться (Эренбург), что *посадка* была —

* Есть у нас свидетельство о доблестном массовом случае стойкости, но ему бы требовалось второе подтверждение: в 1930 на Соловки прибыли своим строем (не приняв конвоя) несколько сот курсантов какого-то из украинских училищ — за то, что отказались давить крестьянские волнения.

лотерея. Лотерея-то лотерея, да кой-какие номерки и помеченные. Заводили общий бредень, сажали по цифровым заданиям, да,— но уж каждого публично возражавшего тяпали в ту же минуту! И получался душевный отбор, а не лотерея! Смельчаки попадали под топор, отправлялись на Архипелаг — и не замучалась картина однообразно-покорной оставшейся *воли*. Все, кто чище и лучше, не могли состоять в этом обществе, а без них оно всё более дряннело. Эти тихие уходы — их и совсем не приметишь. А они — умирание народной души.

Растление. В обстановке многолетнего страха и предательства уцелевшие люди уцелевают только внешне, телесно. А что внутри — то истлевает.

Вот и соглашались миллионы стать стукачами. Ведь если пересидело на Архипелаге за 35 лет (до 1953), считая с умершими, миллионов сорок (это скромный подсчёт, это — лишь трёх- или четырёхкратное население ГУЛАГа, а ведь в войну запросто вымирало *по проценту в день)*, то хотя бы по каждому третьему, пусть пятому делу есть же чей-то донос, и кто-то свидетельствовал. Они все и сегодня среди нас, эти чернильные убийцы. Одни сажали ближних из страха — и это ещё первая ступень, другие из корысти, а третьи — самые молодые тогда, а сейчас на пороге пенсии,— предавали вдохновенно, предавали идейно, иногда даже открыто: ведь считалось классовой доблестью разоблачить врага. Все эти люди — среди нас, и чаще всего благоденствуют, и мы ещё восхищаемся, что это — «наши простые советские люди».

Рак души развивается скрыто и поражает именно ту её часть, где ждёшь благодарности. Фёдор Перегуд вспоил и вскормил Мишу Иванова: ему негде было работать — он устроил его на тамбовском вагоноремонтном заводе и обучил делу; ему жить было негде — он поселил его у себя, как родного. И Михаил Дмитриевич Иванов подаёт заявление в НКВД, что Фёдор Перегуд за домашним столом хвалил немецкую технику. (Надо знать Фёдора Перегуда — он был механик, моторист, радист, электрик, часовой мастер, оптик, литейщик, модельщик, краснодеревщик, до двадцати специальностей. В лагере он открыл мастерскую точной механики: потеряв ногу, сделал сам себе протез.) Пришли брать Перегуда — прихватили в тюрьму и 14-летнюю дочь — и всё это на счету М. Д. Иванова! На суд он пришёл чёрный: значит, гниющая душа проступает иногда на лице. Но скоро бросил завод, стал открыто служить в ГБ. Потом за бездарностью был спущен в пожарную охрану.

В растленном обществе неблагодарность — будничное, расхожее чувство, ему и не удивляются почти. После ареста селекционера В. С. Маркина агроном А. А. Соловьёв уверенно своровал выведенный тем сорт пшеницы «таёжная-49».* Когда разгромлен был институт буддийской культуры (все видные сотрудники арестованы), а руководитель его, академик Щербатской, умер,— ученик Щербатского Кальянов пришёл ко вдове и убедил отдать ему книги и рукописи умершего — «иначе будет плохо: институт буддийской культуры оказался шпионским центром». Завладев работами, он часть из них (а также и работу Вострикова) издал под своей фамилией и тем прославился.

---

* А когда через 20 лет Маркина реабилитировали, Соловьёв не захотел уступить ему даже половины гонорара.— «Известия», 15.11.63.

Есть многие научные репутации в Москве и Ленинграде, вот так же построенные на крови и костях. *Неблагодарность учеников,* пересекшая пегою полосою нашу науку и технику в 30-е —40-е годы, имела понятное объяснение: наука переходила от подлинных учёных и инженеров к скороспелым жадным *выдвиженцам.*

Сейчас не уследить, не перечислить все эти присвоенные работы, украденные изобретения. А — квартиры, перенятые у арестованных? А — разворованные вещи? Да во время войны эта дикая черта не проявилась ли почти как всеобщая: если кто-нибудь в глубоком горе, или разбомблён, сожжён, или эвакуируется,— уцелевшие соседи, простые советские люди, стараются в эти-то минуты и поживиться за его счёт?

Разнообразны виды растления, и не нам в этой главе их охватить. Совокупная жизнь общества состояла в том, что выдвигались предатели, торжествовали бездарности, а всё лучшее и честное шло крошевом из-под ножа. Кто укажет мне с 30-х годов по 50-е *один случай* на страну, чтобы благородный человек поверг, разгромил, изгнал низменного склочника? Я утверждаю, что такой случай невозможен, как невозможно ни одному водопаду в виде исключения падать вверх. Благородный человек ведь не обратится в ГБ, а у подлеца оно всегда под рукой. И ГБ тоже не остановится ни перед кем, если уж не остановилось перед Николаем Вавиловым. Так отчего же бы водопад упал вверх?

Это лёгкое торжество низменных людей над благородными кипело чёрной вонючей мутью в столичной тесноте,— но и под арктическими честными вьюгами, на полярных станциях — излюбленной картинке 30-х годов, где впору бы ясноглазым гигантам Джека Лондона курить трубку мира,— зловонило оно и там. На полярной станции острова Домашнего (Северная Земля) было всего три человека: беспартийный начальник станции Александр Павлович Бабич, почётный старый полярник; чернорабочий Ерёмин — он же и единственный партиец, он же и парторг (!) станции; комсомолец (он же и комсорг!) метеоролог Горяченко, честолюбиво добивавшийся спихнуть начальника и занять его место. Горяченко роется в личных вещах начальника, ворует документы, угрожает. По Джеку Лондону полагалось бы двоим мужчинам просто сунуть этого негодяя под лёд. Но нет — посылается в Главсевморпуть телеграмма Папанину о необходимости сменить работника. Парторг Ерёмин подписывает эту телеграмму, но тут же кается комсомольцу, и вместе с ним шлёт Папанину партийно-комсомольскую телеграмму обратного содержания. Решение Папанина: коллектив разложился, снять на берег. За ними приходит ледокол «Садко». На борту «Садко» комсомолец не теряет времени и даёт *материалы* судовому комиссару — и тут же Бабича арестовывают (главное обвинение: хотел... передать немцам ледокол «Садко»,— вот этот самый, на котором они сейчас все плывут...). На берегу его уже сразу сгружают в КПЗ. (Вообразим на минуту, что судовой комиссар — честный разумный человек, что он вызывает Бабича, выслушивает и другую сторону. Но это значило бы открыть тайну доноса возможному врагу! — и через Папанина Горяченко посадил бы судового комиссара. Система работает безотказно.)

Конечно, в отдельных людях, воспитанных с детства не в пионеротряде и не в комсомольской ячейке, душа уцелевает. Вдруг на сибирской

станции здоровяга-солдат, увидев эшелон арестантов, бросается купить несколько пачек папирос и уговаривает конвоиров — передать арестантам (в других местах этой книги мы ещё описываем подобные случаи). Но этот солдат — наверное не при службе, отпускник какой-нибудь, и нет рядом комсорга его части. В своей части он бы не решился, ему бы не поздоровилось. Да может быть и тут комендантский надзор его ещё притянет.

Ложь как форма существования. Поддавшись ли страху или тронутые корыстью, завистью, люди однако не могут так же быстро поглупеть. У них замутнена душа, но ещё довольно ясен ум. Они не могут поверить, что вся гениальность мира внезапно сосредоточилась в одной голове с придавленным низким лбом. Они не могут поверить в тех оглуплённых, дурашливых самих себя, как слышат себя по радио, видят в кино, читают в газетах. Резать правду в ответ их ничто не вынуждает, но никто не разрешит им молчать! Они должны *говорить* — а что же, как не ложь? Они должны бешено аплодировать — а искренности с них и не спрашивают.

И если мы читаем обращение работников высшей школы к товарищу Сталину: *

> «Повышая свою революционную бдительность, мы поможем нашей славной разведке, возглавляемой верным ленинцем, сталинским наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, до конца очистить наши высшие учебные заведения, как и всю нашу страну, от остатков троцкистско-бухаринской и прочей контрреволюционной мрази»,—

мы же не примем всё совещание в тысячу человек за идиотов, а только — за опустившихся лжецов, покорных и собственному завтрашнему аресту.

Постоянная ложь становится единственной безопасной формой существования, как и предательство. Каждое шевеление языка может быть кем-то слышано, каждое выражение лица — кем-то наблюдаемо. Поэтому каждое слово, если не обязано быть прямою ложью, то обязано не противоречить общей лжи. Существует набор фраз, набор кличек, набор готовых лживых форм, и не может быть ни одной речи, ни одной статьи, ни одной книги — научной, публицистической, критической, или так называемой «художественной», без употребления этих главных наборов. В самом наинаучнейшем тексте где-то надо поддержать чей-то ложный авторитет или приоритет, и кого-то обругать за истину: без этой лжи не выйдет в свет и академический труд. Что ж говорить о крикливых митингах, о дешёвых собраниях в перерыв, где надо голосовать против собственного мнения, мнимо радоваться тому, что тебя огорчает (новому займу, снижению производственных расценок, пожертвованиям на какую-нибудь танковую колонну, обязанности работать в воскресенье или послать детей на помощь колхозникам), и выражать глубочайший гнев там, где ты совсем не затронут (какие-нибудь неосязаемые, невидимые насилия в Вест-Индии или в Парагвае).

Тэнно со стыдом вспоминал в тюрьме, как за две недели до ареста он читал морякам лекцию: «Сталинская конституция — самая демократическая в мире» (разумеется — ни одного слова искренне).

Нет человека, напечатавшего хоть страницу — и не солгавшего. Нет

* «Правда», 20 мая 1938.

человека, взошедшего на трибуну — и не солгавшего. Нет человека, ставшего к микрофону — и не солгавшего.

Но если б хоть на этом конец! Ведь и далее: всякий разговор с начальством, всякий разговор в отделе кадров, всякий вообще разговор с другим советским человек требует лжи — иногда напроломной, иногда оглядчивой, иногда снисходительно-подтверждающей. И если с глазу на глаз твой собеседник-дурак сказал тебе, что мы отступаем до Волги, чтоб заманить Гитлера поглубже, или что колорадского жука нам сбрасывают американцы,— надо согласиться! надо обязательно согласиться! А качок головы вместо кивка может обойтись тебе переселением на Архипелаг (вспомним посадку Чульпенёва, Часть Первая, глава 7).

Но и это ещё не всё: растут твои дети. Если они уже подросли достаточно, вы с женой не должны говорить при них открыто то, что вы думаете: ведь их воспитывают быть Павликами Морозовыми, они не дрогнут пойти на этот подвиг. А если дети ваши ещё малы, то надо решить, как верней их воспитывать: сразу ли выдавать им ложь за правду (чтоб им было *легче* жить) и тогда вечно лгать ещё и перед ними; или же говорить им правду — с опасностью, что они оступятся, прорвутся, и значит тут же втолковывать им, что правда — убийственна, что за порогом дома надо лгать, только лгать, вот как папа с мамой.

Выбор такой, что пожалуй и детей иметь не захочешь.

Ложь как длительная основа жизни. В провинциальный институт преподавать литературу приезжает из столицы молодая умная, всё понимающая женщина А. К.— ио не запятнана её анкета и новенький кандидатский диплом. На своём главном курсе она видит единственную партийиую студеитку — и решает, что именно та здесь будет стукачка. (Кто-то на курсе обязательно должен стучать, в этом А. К. уверена.) И она решает играть с этой партийной студенткой в милость и близость. (Кстати, по тактике Архипелага, здесь — чистый просчёт, надо напротив влепить ей две двойки, тогда всякий её донос — личные счёты.) Они и встречаются вне института, и обмениваются карточками (студентка носит фото А. К. в обложке партбилета); в каникулярное время нежно переписываются. И каждую лекцию читает А. К., приноравливаясь к возможным оценкам своей партийиой студеитки.— Проходит 4 года этого унизительного притворства, студентка кончила, теперь её поведение безразлично для А. К., и при первом же её визите А. К. откровеиио плохо её принимает. Рассерженная студентка требует размена карточек и писем и восклицает (самое уныло-смешное, что оиа, вероятио, и стукачкой ие была): «Если кончу аспирантуру — никогда так не буду держаться за жалкий институт, как вы! На что были похожи ваши лекции! — шарманка!»

Да! Обедняя, выцвечивая, обстригая всё под восприятие стукачки, А. К. погубила лекции, которые способна была читать с блеском.

Как остроумно сказал один поэт, не культ личности у нас был, а культ двуличности.

Конечно, и здесь надо различать ступени: вынужденной, оборонительной лжи — и лжи самозабвенной, страстной, какой больше всего отличались писатели, той лжи, в умилении которой написала Шагинян в 1937 году (!), что вот эпоха социализма преобразила даже и следствие: по рассказам следователей теперь подследственные *охотно с ними сотрудничают,* рассказывая о себе и о других всё необходимое.

Как далеко увела нас ложь от нормального общества, даже не сориентируешься: в её сплошном сероватом тумане не видно ни одного столба. Вдруг разбираешь из примечаний, что «В мире отверженных» П. Якубовича была напечатана (пусть под псевдонимом) *в то самое время*, когда автор кончал каторгу и ехал в ссылку. * Ну, примерьте же, примерьте к нам! Вот проскочил чудом мой запоздавший и робкий рассказ об Иване Денисовиче, и твёрдо опустили шлагбаумы, плотно задвинули створки и болты, и — не о современности даже, но о том, что было тридцать и пятьдесят лет назад,— писать запрещено. И прочтём ли мы это при жизни? Мы так и умереть должны оболганными и завравшимися.

Да впрочем, если бы и предлагали узнать правду — ещё захотела ли бы *воля* её узнать! Ю. Г. Оксман вернулся из лагерей вскоре после войны и не был снова посажен, жил в Москве. Не покинули его друзья и знакомые, помогали. Но только не хотели слышать его воспоминаний о лагере. Ибо, зная *то* — как же жить?..

После войны очень популярна была песня: «Не слышно шуму городского». Ни одного самого среднего певца после неё не отпускали без неистовых аплодисментов. Не сразу догадалось Управление Мыслей и Чувств, и ну передавать её по радио, и ну разрешать со сцены: ведь русская, народная! А потом догадались — и затёрли. Слова-то песни были об обречённом узнике, о разорванном союзе сердец. Потребность покаяться гнездилась всё-таки, шевелилась, и изолгавшиеся люди хоть этой старой песне могли похлопать от души.

Жестокость. А где же при всех предыдущих качествах удержаться было добросердечности? Отталкивая призывные руки тонущих — как же сохранишь доброту? Уже измазавшись в кровушке — ведь потом только жесточеешь. Да жестокость («классовая жестокость») и воспевали, и воспитывали, и уж теряешь, верно, где эта черта между дурным и хорошим. Ну, а когда ещё и высмеяна доброта, высмеяна жалость, высмеяно милосердие,— кровью напоенных на цепи не удержишь!

Моя безымянная корреспондентка (с Арбата 15) спрашивает «о корнях жестокости», присущей «некоторым советским людям». Почему, чем беззащитнее в их распоряжении человек, тем бóльшую жестокость они проявляют? И приводит пример — совсем, вроде бы, и не главный, но мы его повторим.

Зима 1943—44, челябинский вокзал, навес около камеры хранения. Минус 25°. Под навесом — цементный пол, на нём — утоптанный прилипший снег, занесенный извне. В окне камеры хранения — женщина в ватнике, с этой стороны окна упитанный милиционер в дублёном полушубке. Они ушли в игровой ухаживающий разговор. А на полу лежат два человека — в хлопчатобумажных одежёнках и тряпках цвета земли, и даже ветхими назвать их тряпки — слишком их украсить. Это молодые ребята — измождённые, опухшие, с болячками на губах. Один, видно в жару, прилёг голой грудью на снег, стонет. Рассказывающая подошла к ним узнать, оказалось: один из них кончил срок в лагере, другой сактирован, но при освобождении им неправильно оформили документы и теперь не дают билетов на поезд домой. А возвращаться

* И в то самое время, когда каторга эта существовала! Именно о каторге *нынешней* книга, а не «это не повторится»!

в лагерь у них нет сил — истощены поносом. Тогда рассказчица стала отламывать им по кусочку хлеба. Тут милиционер оторвался от весёлого разговора и угрозно сказал ей: «Что, тётка, родственников признала? Уходи-ка лучше отсюда, умрут и без тебя.» И она подумала — а ведь возьмёт ни с того ни с сего и меня посадит. (И верно, отчего бы нет?) И — ушла.

Как здесь всё типично для нашего общества — и то, что́ она подумала, и как ушла. И этот безжалостный милиционер, и безжалостная женщина в ватнике, и та кассирша, которая отказала им в билетах, и та медсестра, которая не примет их в городскую больницу, и тот вольнонаёмный дурак, который оформлял им документы в лагере.

Пошла лютая жизнь, и уже не назовут заключённого, как при Достоевском и Чехове «несчастненьким», а пожалуй только — «падло». В 1938 магаданские школьники бросали камнями в проводимую колонну заключённых женщин (вспоминает Суровцева).

Знала ли наша страна раньше или знает другая какая-нибудь теперь столько отвратительных и раздирающих квартирных и семейных историй? Каждый читатель расскажет их довольно, упомянем одну-две.

В коммунальной ростовской квартире на Доломановском жила Вера Красуцкая, у которой в 1938 был арестован и погиб муж. Её соседка Анна Стольберг знала об этом — и восемнадцать лет! — с 1938 по 1956— наслаждалась властью, пытала угрозами: на кухне или подловив проход по коридору, она шипела Красуцкой: «Пока хочу — живи, а захочу — *карета* за тобой приедет.» И только в 1956 году Красуцкая решилась написать жалобу прокурору. Стольберг смолкла. Но жили и дальше в одной квартире.

После ареста Николая Яковлевича Семёнова в 1950 году в городе Любиме, его жена, тут же, зимой, выгнала из дому жившую вместе с ними его мать Марию Ильинишну Семёнову: «Убирайся, старая ведьма! Сын твой — враг народа!» (Через шесть лет, когда муж вернётся из лагеря, она с подросшей дочерью Надей выгонит и мужа ночью в кальсонах на улицу. Надя будет стараться потому, что ей нужно освободить место для своего мужа. И, бросая брюки в лицо отцу, она будет кричать: «Убирайся вон, старый гад!» *) Мать уехала в Ярославль к бездетной дочери Анне. Скоро мать надоела этой дочери и зятю. И зять, Василий Фёдорович Метёлкин, пожарник, в свободные от дежурства дни брал лицо тёщи в ладони, стискивал, чтобы она не могла отвернуться, и с наслаждением плевал ей в лицо, сколько хватало слюны, стараясь попадать в глаза и в рот. Когда был злей, обнажал член, тыкал старухе в лицо и требовал: «На, пососи и умирай!» Жена объясняет вернувшемуся брату: «Ну что ж, когда Вася выпимши... Что с пьяного спрашивать?» Затем, чтобы получить новую квартиру, стали относиться к старухе сносно («нужна ванная, негде мыть престарелую мать! не гонять же её в баню!»). Получив «под неё» квартиру, набили комнаты сервантами и шифоньерами, мать загнали в щель шириною 35 сантиметров между шкафом и стеной — чтоб лежала там и не высовывалась. Н. Я., живя у сына, рискнул, не спросясь, перевезти туда

* Точно такую же историю рассказывает и В. И. Жуков из Коврова: его выгоняли жена («убирайся, а то опять в тюрьму посажу!») и падчерица («убирайся, тюремщик!»).

и мать. Вошёл внук. Бабка опустилась перед ним на колени: «Вовочка! Ты не прогонишь меня?» Скривился внук: «Ладно, живи, пока не женюсь.» Уместно добавить и о внучке: Надя (Надежда Николаевна Топникова) за это время закончила истфилфак Ярославского пединститута, вступила в партию и стала редактором районной газеты в городе Нея Костромской области. Она и поэтесса, и в 1961 ещё в городе Любиме обосновала своё поведение в стихах:

Уж если драться, так драться.
Отец?!.. И его — в шею!
Мораль?! Вот придумали люди!
Знать не хочу я об этом!
В жизнь шагать я буду
Только с холодным расчётом!

Но стала от неё парторганизация требовать «нормализовать» отношения с отцом, и она внезапно стала ему писать. Обрадованный отец ответил всепрощающим письмом, которое она тотчас же показала в парторганизации. Там поставили галочку. С тех пор только поздравляет его с великими майскими и ноябрьскими праздниками.

В этой трагедии — семь человек. Вот и капелька нашей *воли*.

В семьях повоспитаннее не выгоняют пострадавшего родственника в кальсонах на улицу, но стыдятся его, тяготятся его жёлчным «искажённым» мировоззрением.

И можно перечислять дальше. Можно назвать ещё —

Рабскую психологию. Тот же несчастный Бабич в заявлении прокурору: «я понимаю, что военное время налагало на органы власти более серьёзные обязанности, чем разбор судебных дел отдельных лиц».

И ещё другое можно.

Но признаем уже и тут: если у Сталина это всё не *само* получилось, а он это для нас разработал по пунктам — он-таки был гений!

* * *

И вот в этом зловонном сыром мире, где процветали только палачи и самые отъявленные из предателей; где оставшиеся честные — спивались, ни на что другое не найдя воли; где тела молодёжи бронзовели, а души подгнивали; где каждую ночь шарила серо-зелёная рука и кого-то за шиворот тащила в ящик,— в этом мире бродили ослепшие и потерянные миллионы женщин, от которых мужа, сына или отца оторвали на Архипелаг. Они были напуганней всех, они боялись зеркальных табличек, кабинетных дверей, телефонных звонков, дверных стуков, они боялись почтальона, молочницы и водопроводчика. И каждый, кому они мешали, выгонял их из квартиры, с работы, из города.

Иногда они доверчиво уповали, что «без права переписки» так надо и понимать, а пройдёт десять лет — и *он* напишет. * Они стояли в притюремных очередях. Они ехали куда-то за сто километров, откуда, говорят, принимают продуктовые посылки. Иногда они сами умирали

---

* Иногда лагеря без права переписки действительно существовали: не только атомные заводы 1945—49 годов, но например Новая Земля; или 29-й пункт Карлага с 1938 года не имел полтора года переписки.

прежде смерти своего арестанта. Иногда по возвращённой посылке — «адресат умер в лазарете» — узнавали дату смерти. Иногда, как Ольга Чавчавадзе, добирались до Сибири, везя на могилу мужа щепотку родной земли,— да только никто уже не мог указать, под которым же он холмиком, с троими ещё. Иногда, как Зельма Жугур, писали разносные письма какому-нибудь Ворошилову, забыв, что совесть Ворошилова умерла задолго до него самого. *

А у этих женщин подрастали дети, и для каждого наступало то крайнее время, когда непременно надо вернуться отцу, пока не поздно, а он не шёл.

Треугольник из тетрадной бумаги косой разграфки. Чередуются синий и красный карандаш,— наверно, детская рука откладывала карандаш, отдыхала и брала потом новой стороной. Угловатые неопытные буквы с передышками иногда и внутри слов:

«Здастуй Папочка я забыл как надо писать скоро в Школу пойду через зиму 1 скорей приходи а то нам плохо нету у нас Папы мама говорит то ты в командировке то больной что ж ты смотриш убеги из больницы вон Олешка из больницы в одной рубашке прибежал мама сошьёт тебе новые штаны я тебе свой пояс отдам меня всё равно ребята боятся только Олешеньку я не бю никогда он тоже правду говорит он тоже бедный а ещё я както болел лежал в пруду [бреду] хотел с мамой вместе умирать а она не захотела ну и я не захотел ой руки уморили хватит писать целую тебя шкаф раз

Игорёк 6 с половиночкой лет

Я уж на конвертах писать научился мама пока с работы придёт а я уже письмо в ящик.»

Манолис Глезос «в яркой и страстной речи рассказал московским писателям о своих товарищах, томящихся в тюрьмах Греции.

— Я понимаю, что заставил своим рассказом сжаться ваши сердца. Но я сделал это умышленно. Я хочу, чтобы наши сердца болели за тех, кто томится в заключении... Возвысьте ваш голос за освобождение греческих патриотов!» **

И эти тёртые лисы, конечно — возвысили! Ведь в Греции томились десятка два арестантов! Может быть, сам Манолис не понимал бесстыдства своего призыва, а может в Греции пословицы такой нет:

Зачем в люди по печаль, коли дома навзрыд?

В разных местах нашей страны мы встречаем такое изваяние: гипсовый охранник с собакой, устремлённый вперёд, кого-то перехватить. В Ташкенте стоит такое хоть перед училищем НКВД, а в Рязани — как символ города: единственный монумент, если подъезжать со стороны Михайлова.

И мы не вздрогнем от отвращения, мы привыкли, как к естественным, к этим фигурам, травящим собак на людей.

На нас.

* Он и своего-то ближайшего адъютанта Лангового не имел смелости оградить от ареста и пыток.

** «Литературная газета», 27.8.63.

Глава 4

НЕСКОЛЬКО СУДЕБ

Судьбы всех арестантов, кого я упоминаю в этой книге, я распылил, подчиняя плану книги — контурам Архипелага. Я отошёл от жизнеописаний: это было бы слишом однообразно, так пишут и пишут, переваливая работу исследования с автора на читателя.

Но именно поэтому я считаю себя теперь вправе привести несколько арестантских судеб целиком.

Анна Петровна Скрипникова

Единственная дочь майкопского простого рабочего, девочка родилась в 1896 году. Как мы уже знаем из истории партии, при проклятом царском режиме ей закрыты были все пути образования, и обречена она была на полуголодную жизнь рабыни. И это всё действительно с ней случилось, но уже после революции. Пока же она была принята в майкопскую гимназию.

Аня росла и вообще крупной девочкой и крупноголовой. Подруга по гимназии рисовала её из одних кругов: голова — шар (круг со всех сторон), круглый лоб, круглые как бы всегда недоуменные глаза. Мочки ушей вросли и закруглились в щёки. И плечи круглые. И фигура — шар.

Аня слишком рано стала задумываться. Уже в 3-м классе она просила у учительницы разрешения получить в гимназической библиотеке Добролюбова и Достоевского. Учительница возмутилась: «Рано тебе!» — «Ну, не хотите, так я в городской получу.» Тринадцати лет она «эмансипировалась от Бога», перестала верить. В пятнадцать лет она усиленно читала отцов церкви — исключительно для яростного опровержения батюшки на уроках к общему удовольствию соучениц. Впрочем, стойкость старообрядцев она взяла для себя в высший образец. Она усвоила: лучше умереть, чем дать сломать свой духовный стержень.

Золотую медаль, заслуженную ею, никто не помешал ей получить. * В 1917 (самое время для учёбы!) она поехала в Москву и поступила на высшие женские курсы Чаплыгина по отделению философии и психологии. Как золотой медалистке ей до октябрьского переворота выплачивали стипендию Государственной Думы. Отделение это готовило преподавателей логики и психологии для гимназий. Весь 1918 год, подрабатывая уроками, занималась она психоанализом. Она как будто оставалась атеисткой, но и ощущала всей душой, как это

...неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мирозданья курится.

Она успела поклониться поэтической философии Джордано Бруно и Тютчева и даже одно время считать себя восточной католичкой. Она меняла свои веры жадно, может чаще, чем наряды (нарядов не было, да она за ними так и не следила). Ещё она считала себя социалисткой, и неизбежными — кровь восстаний и гражданской войны. Но не могла

* А если бы девочка в наше время так спорила по основам марксизма?

примириться с террором. Демократия, но не зверства! «Пусть будут руки в крови, но не в грязи!»

В конце 1918 ей пришлось оставить курсы (да и остались ли сами курсы?) и с трудом пробираться к родителям, где сытей. Она приехала в Майкоп. Тут уже создался «институт народного образования», для взрослых и для молодых. Анна стала не меньше как исполняющей должность профессора по логике, философии и психологии. Она имела успех у студентов.

Тем временем белые доживали в Майкопе последние дни. 45-летний генерал убеждал её бежать с ним. «Генерал, прекратите ваш парад. Бегите, пока вас не арестовали.» В те дни на преподавательской вечеринке, среди своих, гимназический историк предложил тост: «За великую Красную армию!» Анна оттолкнула тост: «Ни за что!» Зная её левые взгляды, друзья вытаращились. «А потому что... несмотря на вечные звёзды... расстрелов будет всё больше и больше»,— предсказала она.

У неё было ощущение, что все лучшие погибают в этой войне, а остаются жить приспособленцы. Она уже предчувствовала, что к ней близится подвиг, но ещё не знала — какой.

Через несколько дней в Майкоп вошли красные. И ещё через несколько собран был вечер городской интеллигенции. На сцену вышел начальник особого отдела 5-й армии Лосев и стал в разгромном тоне (недалеко от мата) поносить «гнилую интеллигенцию»: «Что? Между двумя стульями сидите? Ждали, пока я вас приглашу? А почему сами не пришли?» Всё более расходясь, он выхватил из кобуры револьвер и, потрясая им, уже кричал так: «И вся культура ваша гнилая! Мы всю её разрушим и построим новую! И вас, кто будет мешать,— уберём!» И после этого предложил: «Кто выступит?»

Зал молчал гробово. Не было ни одного аплодисмента, и ни одна рука не поднялась. (Зал молчал — испуганно, но испуг ещё не был отрепетирован, и не знали люди, что аплодировать — обязательно.)

Лосев, наверно, и не рассчитывал, что решится кто-то выступить, но встала Анна: «Я!» — «Ты? Ну, полезай, полезай.» И она пошла через зал и поднялась на сцену. Крупная, круглолицая и даже румяная 25-летняя женщина, щедрой русской природы (хлеба она получала осьмушку фунта, но у отца был хороший огород). Русые толстые косы её были до колен, но как зауряд-профессор она не могла так ходить и накручивала из них ещё вторую голову. И звонко она ответила:

— Мы выслушали вашу невежественную речь. Вы звали нас сюда, но не было объявлено, что — на погребение великой русской культуры. Мы ждали увидеть культуртрегера, а увидели погребальщика. Уж лучше бы вы просто крыли нас матом, чем то, что говорили сегодня! Должны мы так понимать, что вы говорите от имени советской власти?

— Да,— ещё гордо подтвердил уже растерявшийся Лосев.

— Так если советская власть будет иметь представителями таких бандитов как вы — она распадётся!

Анна кончила, и зал гулко зааплодировал (все вместе ещё тогда не боялись). И вечер на этом кончился. Лосев ничего не нашёлся больше. К Анне подходили, в гуще толпы жали руку и шептали: «Вы погибли, вас сейчас арестуют. Но спасибо-спасибо! Мы вами гордимся, но вы — погибли! Что вы наделали?»

Дома её уже ждали чекисты. «Товарищ учительница! Как ты бедно живёшь — стол, два стула и кровать, обыскивать нечего. Мы ещё таких не арестовывали. И отец — рабочий. И как же при такой бедности ты могла стать на сторону буржуазии?» ЧК ещё не успели наладить, и привели Анну в комнаты при канцелярии Особого отдела, где уже заключён был белогвардейский полковник барон Бильдерлинг (Анна была свидетелем его допросов и конца и потом сказала жене: «Он умер честно, гордитесь!»).

Её повели на допрос в комнату, где Лосев и жил, и работал. При её входе он сидел на разобранной кровати, в галифе и расстёгнутой нижней рубахе и чесал грудь. Анна сейчас же потребовала от конвойного: «Ведите меня назад!» Лосев огрызнулся: «Хорошо, сейчас помоюсь, лайковые перчатки надену, в которых революцию делают!»

Неделю она ждала смертного приговора в экстазе. Скрипникова теперь вспоминает даже, что это была самая светлая неделя её жизни. Если эти слова точно понять — можно вполне поверить. Это тот экстаз, который в награду нисходит на душу, когда ты отбросил все надежды на невозможное спасение и убеждённо отдался подвигу. (Любовь к жизни разрушает этот экстаз.)

Она ещё не знала, что интеллигенция города принесла петицию о её помиловании. (В конце 20-х это б уже не помогло, в начале 30-х на это бы никто и не решился.) Лосев на допросах стал идти на мировую:

— Сколько городов брал — такой сумасшедшей не встречал. Город на осадном положении, вся власть в моих руках, а ты меня — гробовщиком русской культуры! — Ну ладно, мы оба погорячились... Возьми назад «бандита» и «хулигана».

— Нет. Я и теперь о вас так думаю.

— С утра до вечера ко мне лезут, за тебя просят. Во имя медового месяца советской власти придётся тебя выпустить...

Её выпустили. Не потому, что сочли выступление безвредным, а потому что она — дочь рабочего. Дочери врача этого бы не простили. *

Так Скрипникова начала свой путь по тюрьмам.

В 1922 году она была посажена в краснодарскую ЧК и просидела там 8 месяцев — «за знакомство с подозреваемой личностью». В той тюрьме был повальный тиф, скученность. Хлеба давали осьмушку (50 граммов!) да ещё из подмесей. При ней умер от голода ребёнок на руках соседки,— и Анна поклялась при таком социализме никогда не иметь ребёнка, никогда не впасть в соблазн материнства.

Эту клятву она сдержала. Она прожила жизнь без семьи, и рок её — её неуступчивость, имел случай ещё не раз вернуть её в тюрьму.

Начиналась как будто мирная жизнь. В 1923 Скрипникова поехала поступать в институт психологии при МГУ. Отвечая на анкету, она написала: «не марксистка». Принимавшие её посоветовали доброжелательно: «Вы сумасшедшая? Кто же так пишет? Объявите, что марксистка, а там думайте, что угодно.» «Но я не хочу обманывать советскую власть. Я Маркса просто не читала...» — «Так тем более!» — «Нет. Вот когда я изучу марксизм и *если* я его приму...» А пока поступила преподавать в школу для дефективных.

---

* Сам же Лосев в 1920 году за бандитизм и насилия был расстрелян в Крыму.

В 1925 муж её близкой подруги, эсер, скрылся от ареста. Чтобы вынудить его вернуться, ГПУ взяло заложниками (в разгаре НЭПа — заложники!) жену и её подругу, то есть Анну. Всё та же круглолицая, крупная, с косами до колен, она вошла в Лубянскую камеру. (Тут-то и внушал ей следователь: «Устарели эти русские интеллигентские замашки!.. *Заботьтесь только о себе.»)* В этот раз она сидела с месяц.

В 1927 году, за участие в музыкальном обществе учителей и рабочих, обречённом на разгром как возможное гнездо свободомыслия, Анна была арестована уже в четвёртый раз! Получила 5 лет и отбыла их на Соловках и Беломорье.

С 1932 года её долго не трогали, да и жила она, видимо, поосторожней. С 1948 её однако стали увольнять с работ. В 1950 Институт Психологии вернул ей уже принятую диссертацию («Психологическая концепция Добролюбова») на том основании, что в 1927 она имела судимость по 58-й статье. В это трудное её время (она четвёртый год оставалась безработной) руку помощи протянуло ей... ГБ! Приехавший во Владикавказ уполномоченный центрального МГБ Лисов (да это же Лосев! он жив? и как мало изменилось в буквах! лишь не так открыто выставляет голову, как лось, а шмыгает по-лисьи) предложил ей *сотрудничать* и за то — устройство на работу, защиту диссертации. Она гордо отказалась. Тогда очень проворно состряпали ей обвинение, что за 11 лет до этого (!), в 1941, она говорила:

— что мы плохо подготовлены к войне (а разве хорошо?),
— что немецкие войска стоят на нашей границе, а мы им гоним хлеб (а разве нет?).

Теперь она получила 10 лет (её пятый срок) и попала в Особлаги — сперва Дубровлаг в Мордовии, потом Камышлаг, станция Суслово Кемеровской области.

Ощущая непробиваемую эту стену перед собой, надумала она писать жалобы не куда-нибудь, а... в ООН!! При жизни Сталина она отправила таких три. Это был не просто приём,— нет. Она действительно облегчала вечно-клокочущую свою душу, беседуя мысленно с ООН. Она действительно за десятилетия людоедства не видела другого света в мире. В этих жалобах она бичевала зверский произвол в СССР и просила ООН ходатайствовать перед советским правительством: или о переследовании её дела или о расстреле, так как жить дальше при таком терроре она не может. Конверты она адресовала «лично» кому-нибудь из членов правительства, а внутри лежала просьба переслать в ООН.

В Дубровлаге её вызвало сборище разгневанного начальства:

— Как вы смеете писать в ООН?

Скрипникова стояла как всегда прямая, крупная, величественная:

— Ни в УК, ни в УПК, ни по Конституции это не запрещается. А вот вам не следовало бы вскрывать конвертов, адресованных члену правительства лично!

В 1956 году в их лагере работала «разгрузочная» комиссия Верховного Совета. Единственным заданием этой комиссии было — как можно больше зэков как можно быстрей выпустить на волю. Была какая-то скромная процедура, при которой надо было зэку сказать несколько виноватых слов, простоять минутку с опущенной головой. Но нет, не

такова была Анна Скрипникова! Лично её освобождение было ничто перед общей справедливостью! Как она могла принять прощение, если была невиновна? И она заявила комиссии:

— Вы особенно не радуйтесь. Все проводники сталинского террора рано или поздно, но обязательно будут отвечать перед народом. Я не знаю, кем были при Сталине вот вы лично, гражданин полковник, но если вы были проводником его террора, то тоже сядете на скамью подсудимых.

Члены комиссии захлебнулись от ярости, закричали, что в их лице она оскорбляет Верховный Совет, что даром это ей не пройдёт, и будет она сидеть от звонка до звонка.

И действительно, за её несбыточную веру в справедливость пришлось ей отсидеть лишних три года.

Из Камышлага она продолжала иногда писать в ООН (всего за 7 лет до 1959 года она написала 80 заявлений во все места). В 1958 за эти письма её направили на год во Владимирскую политзакрытку. А там был закон — каждые 10 дней принималось заявление в любую инстанцию. За полгода она отправила оттуда 18 заявлений в разные места, в том числе двенадцать — в ООН.

И добилась-таки! — не расстрела, а переследствия! — по делам 1927 и 1952 годов. Следователю она сказала: «А что ж? Заявления в ООН — единственный способ пробить брешь в каменной стене советской бюрократии и заставить хоть что-нибудь услышать оглохшую Фемиду.»

Следователь вскакивал, бил себя в грудь:

— Все проводники «сталинского террора», как вы почему-то (!) называете культ личности, будут отвечать перед народом? А за что вот *мне* отвечать? Какую другую политику я мог проводить в то время? Да я Сталину безусловно верил и ничего не знал.

Но Скрипникова добивала его:

— Нет-нет, так не выйдет! За каждое преступление надо нести ответственность! А кто же будет отвечать за миллионы невинных погибших? За цвет нации и цвет партии? Мёртвый Сталин? Расстрелянный Берия? А вы будете делать политическую карьеру?

(А у самой кровяное давление подходило к смертельному пределу, она закрывала глаза, и всё огненно кружилось.)

И ещё б её задержали, но в 1959 году это было уже курьёзно.

В последующие годы (она жива и сегодня) её жизнь заполнена хлопотами об оставшихся в заключении, ссылках и судимостях знакомых по лагерям последних лет. Некоторых она освободила, других реабилитировала. Защищает и одногорожан. Городские власти побаиваются её пера и жалоб в Москву, уступают кой в чём.

Если бы все были вчетверть такие непримиримые, как Анна Скрипникова,— другая была б история России.

Степан Васильевич Лощилин

Родился в 1908 году в Поволжьи, сын рабочего на бумажной фабрике. В 1921, во время голода, осиротел. Рос парень не бойким, всё же лет семнадцати был уже в комсомоле, а в восемнадцать поступил в школу крестьянской молодёжи, кончил её двадцати одного года. В это время

посылали их на хлебозаготовки, а в 1930 он в родном своём селе раскулачивал. Строить колхоз в селе однако не остался, а «взял справку» в сельсовете и с нею поехал в Москву. С трудом ему удалось устроиться чернорабочим на стройку (время безработицы, а в Москву особенно уже тогда полезли). Через год призвали его в армию, там был он принят в кандидаты, а затем и в члены партии. В конце 1932 уже демобилизован и вернулся в Москву. Однако не хотелось ему быть чернорабочим, хотелось квалификации, и просил он райком партии дать ему путёвку учеником на завод. Но, видно, был он коммунист недотёпистый, потому что даже в этом ему отказали, а предложили путёвку в милицию.

А вот тут — отказался он. Поверни он иначе — этой биографии писать бы нам не пришлось. Но он — отказался.

Молодому человеку, ему перед девушками стыдно было работать чернорабочим, не иметь специальности. Но негде было её получить! И на завод «Калибр» он поступил опять чернорабочим. Здесь на партийном собрании он простодушно выступил в защиту рабочего, очевидно уже заранее партийным бюро намеченного к чистке. Того рабочего вычистили, как и наметили, а Лощилина стали теснить. В общежитии у него украли партвзносы, которые он собирал, а из зарплаты покрыть он их не мог. Тогда его исключили из партии и грозили отдать под суд (разве утрата партвзносов подлежит уголовному кодексу?). Уже пойдя душою под уклон, Лощилин однажды не вышел на работу. Его уволили за прогул. С такой справкой он долго не мог никуда поступить. Тягал его следователь, потом оставил. Ждал суда — суда нет. Вдруг пришло заочное решение: 6 месяцев принудработ с вычетом 25%, отбывать через городское Бюро исправтрудработ (БИТР).

В сентябре 1937 года Лощилин днём направился в буфет Киевского вокзала. (Что знаем мы о своей жизни? Переголодай он лишних 15 минут, пойди в буфет в другом месте?..) Быть может, у него был какой-нибудь потерянный или ищущий вид? Этого он не знает. Навстречу ему шла молодая женщина в форме НКВД. (Тебе ли, женщина, этим заниматься?) Она спросила: «Что вам нужно? Куда вы идёте?» — «В буфет.» Показала на дверь: «Зайдите сюда!» Лощилин разумеется подчинился. (Сказали бы так англичанину!) Это было помещение Особого отдела. За столом сидел сотрудник. Женщина сказала: «Задержан при обходе вокзала.» И ушла, никогда больше в жизни Лощилин её не видел. (И мы никогда ничего о ней не узнаем...) Сотрудник, не предлагая сесть, начал задавать вопросы. Все документы у него отобрал и отправил в комнату для задержанных. Там уже было двое мужчин и, как говорил Лощилин, «уже без разрешания (!) я сел с ними рядом на свободный стул». Все трое долго молчали. Пришли милиционеры и повели их в КПЗ. Милиционер велел отдать ему деньги, потому что, мол, в камере «всё равно отнимут» (какая однонаправленность у милиции и у блатных). Лощилин соврал, что нет у него денег. Стали обыскивать и деньги отобрали навсегда. А махорку вернули. С двумя пачками махорки и вошёл он в первую свою камеру, и положил махорку на стол. Курить, конечно, не было ни у кого.

Один единственный раз водили его из КПЗ к следователю. Тот спросил, не занимается ли Лощилин воровством. (И какое же это было спасение! Надо было сказать — да, занимаюсь, но ещё не попадался.

И его бы самое большое выслали из Москвы.) Но Лощилин гордо ответил: «Я живу своим трудом.» И больше ни в чём его следователь не обвинил, и следствие на этом кончилось, и не было никакого суда!

Десять дней он просидел в КПЗ, потом ночью всех их перевезли в МУР (Московский уголовный розыск), на Петровку. Здесь уже было тесно, душно, не пройти. Здесь царили блатные, они отнимали вещи, проигрывали их. Здесь впервые Лощилин был поражён «их странной смелостью, их подчёркиванием какого-то непонятного превосходства».— В одну из ночей стали возить в пересыльную тюрьму на Сретенке (вот где была до Красной Пресни). Тут было ещё тесней — сидели на полу и на нарах по очереди. Полураздетых (блатными) милиция теперь одевала — в лапти и в старое милицейское же обмундирование.

Среди тех, кто ехал с Лощилиным, и других было много таких, кому не предъявляли *никакого обвинительного заключения,* не вызывали в суд,— но везли вместе с осуждёнными. Их привезли в Переборы, там заполняли ведомость на прибывших, и только тут Лощилин узнал свою статью: СВЭ — Социально-Вредный Элемент, срок —4 года. (Он недоумевает и по сей день: ведь и отец мой рабочий, и сам я рабочий — почему же СВЭ? *другое бы дело* — торговал...)

Волголаг. Лесоповал —10-часовой рабочий день, и никаких выходных, кроме 7 ноября и 1 мая (это за три года до войны). Однажды Лощилину перебило ногу, операция, 4 месяца в больнице, 3— на костылях. Потом опять лесоповал. И так он отбыл все четыре года. Началась война,— но всё-таки он не считался Пятьдесят Восьмой статьёй, и осенью 1941 его освободили по концу срока. Перед самым освобождением у Лощилина украли бушлат, записанный в его арматурную карточку. Уж как молил он придурков сактировать этот проклятый бушлат — нет! не сжалились! Из «фонда освобождения» вычли за бушлат, да в двукратном размере — а по казённым ценам это ватно-рваное сокровище дорого! — и холодной осенью выпустили за ворота в одной хлопчатобумажной лагерной рубашке и почти без денег, хлеба и селёдки на дорогу. Вахтёры обыскали его при выходе и пожелали счастливого пути.

Так ограблен был он в день освобождения, как и в день ареста...

При оформлении справки у начальника УРЧ Лощилин прочёл вверх ногами, чтó ж у него написано в деле. А написано было: «Задержан при обходе вокзала...»

Приехал в город Сурск, в свои места. По болезни райвоенкомат освободил его от воинской повинности. И это оказалось — плохо. Осенью 1942 года по приказу НКО № 336 военкомат же мобилизовал всех мужчин призывного возраста, годных к физическому труду. Лощилин попал в *рабочий отряд* КЭЧ (квартирно-эксплуатационной части) Ульяновского гарнизона. Что это был за отряд и как относились к нему — можно представить, если там было много молодёжи из Западной Украины, которую управились перед войной мобилизовать, но на фронт не посылали из-за ненадёжности. Так Лощилин попал в одну из разновидностей Архипелага, военизированный бесконвойный лагерь, рассчитанный на такое же уничтожение с отдачей последних сил.

10-часовой рабочий день. В казарме — двухэтажные нары, никаких постельных принадлежностей (ушли на работу — казарма необитаема).

Работали и ходили во всём своём, в чём взяты из дому, и бельё — только своё, без бани и без смены. Платили им пониженную зарплату, из который вычитали за хлеб (600 грамм), за питание (плохое, двухразовое из первого и второго), и даже, выдав чувашские лапти,— за лапти.

Из числа отрядников один был — комендант, другой — начальник отряда, но они не имели никаких прав. Всем заправлял М. Желтов, начальник ремстройконторы. Это был князь, который делал, что хотел. По его распоряжению некоторым отрядникам по суткам и по двое не давали хлеба и обеда. («Где такой закон? — удивлялся Лощилин.— И в лагерях так не было.») А между тем в отряд поступали после ранения и ослабевшие фронтовики. При отряде была женщина-врач. Она имела право выписывать больничные листы, но Желтов запретил ей и, боясь его, она плакала, не скрывая слёз от отрядников. (Вот она — *воля!* Вот она, наша Воля!) Обовшивели, а нары оклопянели.

Но ведь это не лагерь! — можно было жаловаться! И жаловались. Писали в областную газету, в обком. Ответа ниоткуда не было. Отозвался только горздравотдел: сделали хорошую дезинфекцию, настоящую баню и в счёт зарплаты (!) выдали всем по паре белья и постельные принадлежности.

Зимой с 1944 на 45 год, к началу третьего года пребывания в отряде, собственная обувь Лощилина износилась вовсе, и он не вышел на работу. По Указу тут же судили его за прогул — три месяца исправтрудработ всё в том же отряде, с вычетом 25%.

Весенней сыростью не мог Лощилин ходить уже и в лаптях — и снова не вышел на работу. Снова его судили (если считать со всеми заочными — четвёртый раз в жизни), в красном уголке казармы, и приговор был: три месяца лишения свободы.

Но... не посадили. Потому что невыгодно было государству брать Лощилина на содержание. Потому что никакое лишение свободы уже не могло быть хуже этого рабочего отряда!

Это было в марте 1945 года. И всё бы обошлось, если бы перед тем Лощилин не написал в КЭЧ гарнизона жалобу, что Желтов обещал выдать всем ботинки б/у, но не выдаёт. (А почему написал он один: «коллективки» были строго запрещены, за коллективку, как противоречащую духу социализма, могли дать и 58-ю.)

И вызвали Лощилина в отдел кадров: «Сдайте спецодежду!» И единственное, что безмолвный этот трудяга получил за три года — рабочий фартук — Лощилин снял и тихо положил на пол. Тут же стоял и вызванный КЭЧем участковый милиционер. Он отвёл Лощилина в милицию, а вечером — в тюрьму, но дежурный по тюрьме что-то нашёл неладное в бумагах — и принять отказался.

И милиционер повёл Лощилина назад в участок. А путь был — мимо казармы их отряда. И сказал милиционер: «Да иди, отдыхай, всё равно никуда не денешься. Жди меня на днях как-нибудь.»

Кончался апрель 1945 года. Легендарные дивизии уже подходили к Эльбе и обкладывали Берлин. Каждый день салютовала страна, заливая небо красным, зелёным и золотым. 24 апреля Лощилина посадили в Ульяновскую областную тюрьму. Её камера была так же переполнена, как и в 1937. Пятьсот граммов хлеба, суп — из кормового турнепса, а если из картошки, то — мелкой, нечищенной и плохо вымытой.

9 мая он провёл в камере (несколько дней они не знали о конце войны). Как Лощилин встречал войну за решёткой — так её и проводил.

После дня Победы отправили *указников* (то есть прогул, опоздание, иногда — мелкое хищение на производстве) в колонию. Там были земляные работы, стройка, разгрузка барж. Кормили плохо, лагпункт был новый, в нём не было не то что врача, но даже и медсестры. Лощилин простыл, получил воспаление седалищного нерва — всё равно гнали работать. Он доходил, опухли ноги, был постоянный озноб — всё равно гнали.

7июля 1945 года разразилась знаменитая сталинская амнистия. Но освобождения по ней Лощилин не дождался: 24 июля окончился его трёхмесячный срок — и вот тут его выпустили.

«Всё равно,— говорит Лощилин,— в душе я большевик. Когда умру — считайте меня коммунистом.»

Не то шутит, не то нет.

* * *

Сейчас у меня нет материалов, чтобы эту главу окончить так, как хотелось бы — показать разительное пересечение судеб русских и законов Архипелага. И нет надежды, что выдастся у меня неторопливое и безопасное время провести ещё одну редакцию этой книги и тогда дописать здесь недостающие судьбы.

Я думаю, здесь очень уместно бы стал очерк жизни, тюремно-лагерных преследований и гибели отца Павла Флоренского — может быть одного из самых замечательных людей, проглоченных Архипелагом навсегда. Сведущие люди говорят о нём, что это был для XX века редкий учёный — профессионально владевший множеством областей знаний. По образованию математик, он в юности испытал глубокое религиозное потрясение, стал священником. Книга его молодости «Столп и Утверждение Истины» только сейчас получает достойную оценку. У него много сочинений математических (топологические теоремы, много спустя доказанные на Западе), искусствоведческих (о русских иконах, о храмовом действе), философско-религиозных. (Архив его в основном сохранён, ещё не опубликован, доступа к нему я не имел.) После революции он был профессором энергетического института. В 1927 высказал идеи, предвосхитившие Винера. В 1932 в журнале «Социалистическая реконструкция и наука» напечатал статью о машинах для решения задач, по духу близкую кибернетике. Вскоре затем арестован. Тюремный путь его известен мне лишь несколькими точками, которые ставлю я неуверенно: сибирская ссылка (в ссылке писал работы и публиковал под чужим именем в трудах Сибирской экспедиции Академии наук), Соловки (кажется, создал там бригаду по добыванию иода из водорослей), после их ликвидации — Крайний Север и Колыма. И там занимался флорой и минералами (это — сверх работы киркой). Не известно ни место, ни время его гибели в лагере. (Есть слух, что он умер в 1938 на Колыме на прииске «Пятилетка». Есть и такой, что до Колымы он не доплыл, потонул на одном из кораблей.)

Непременно собирался я привести здесь и жизнь Валентина И. Комова из Ефремовского уезда, с которым в 1950—52 годах сидел

вместе в Экибастузе, но недостаточно я о нём помню, надо бы поподробнее. В 1929 году 17-летним парнем он убил председателя своего сельсовета, бежал. Просуществовать и скрыться после этого не мог иначе, как вор. Несколько раз садился в тюрьму, и всё как вор. В 1941 году освобождён. Немцы увезли его в Германию, думаете — сотрудничал с ними? Нет, дважды бежал, за то попал в Бухенвальд. Оттуда освобождён союзниками. Остался на Западе? Нет — под собственной фамилией («Родина простила, Родина зовёт!») вернулся в село, женился, работал в колхозе. В 1946 посажен по 58-й статье за дело 1929 года. Освободился в 1955. Если эту биографию развернуть подробно, она многое объяснила бы нам в русских судьбах этих десятилетий. К тому же Комов был типичным лагерным бригадиром — «сыном ГУЛАГа». (Даже в каторжном лагере не побоялся начальнику на общей поверке: «Почему у нас в лагере — фашистские порядки?»)

Наконец, подошло бы для этой главы жизнеописание какого-нибудь незаурядного (по личным качествам, по твёрдости взглядов) социалиста; показать его многолетние мытарства по передвижкам Большого Пасьянса.

А может быть и очень бы сюда легла биография какого-нибудь заядлого эмведиста — Гаранина, или Завенягина, или малоизвестного кого-то.

Но всего этого мне, очевидно, уже не суждено сделать. Обрывая эту книгу в начале 1968 года, не рассчитываю я больше, что достанется мне возвратиться к теме Архипелага.

Да уж и довольно, мы с ней — двадцать лет.

Конец Четвёртой Части

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ — ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ

Глава 1 — ПЕРСТЫ АВРОРЫ

Когда начались советские концлагеря? — Ленинские требования к карательной системе.— Во что обошлось нам послеоктябрьское внутреннее подавление.— Несколько цифр по прежней России.— Недовольство Ленина первичными размерами репрессий.— Слабость первосоветских тюрем.— Использование дореволюционного тюремного персонала.— Переворот 6 июля 1918.— Принудительный труд от Маркса до Вышинского.— Инструкция 23 июля 1918, начало Архипелага.— ВЦИК создаёт сеть лагерей принудработ, весна 1919.

Декрет о Красном Терроре 5 сентября 1918 и учреждение концентрационных лагерей.— Заключение по праву захвата.— Кого сажали в концлагеря.— Где оборудовали их.— Режим в рязанском концлагере 1921 года.— Лагерная статистика 1920 года.— Ранние лагеря принудительных работ.— Статистика 1922 года.— Вéдение ГУМЗака.— Запущенность, голод, смертность.— Состояние лагерной охраны.— Рост лагерной системы в 1923.— Переуплотнение лагерей.— Перевес закрытых мест заключения и изоляторов.— Требования к дальнейшему росту лагерей.— Административные преобразования центральных управлений.

Глава 2 — АРХИПЕЛАГ ВОЗНИКАЕТ ИЗ МОРЯ

Соловецкие острова.— Основание Соловецкого монастыря и расцвет его.— Крепостное использование.— Монастырская тюрьма.— Советская легенда о пытках в ней.— Эксплуатация монастыря в раннесоветское время.— Поджог и грабёж.— Выброс монахов.— Чекисты приехали.— Первые лагеря Особого назначения.

Кемперпункт и порядки в нём.— Легендарный ротмистр Курилко.— К Соловкам по льду и на пароходе.— Соловецкий дух, зародыш Архипелага.— Карцеры и лестница Секирной горы.— Другие соловецкие расправы.— Соловецкая фантастика.— Денежные боны.— Соловецкий журнал, театр, общество краеведения.— Ни одного выстрела иначе как по заключённому.— Дневной расстрел под колокольней.— Расстрельная дорога.— Офицеры перед смертью.— Рост Соловецкого лагеря.— Сдерживать ужасом! — Отборный состав узников.— Приёмы хорошего тона.— Предсмертные дни Георгия Осоргина.— Смешанный воздух Соловков, непонимание всеобщей обречённости.— Белогвардейцы в управлении Соловками.— Борьба белогвардейской Адмчасти с чекистской Информационно-Следственной.— Разоблачение стукачей.— Формула Нафталия Френкеля.

Упадок соловецкого хозяйства при чекистах.— Худая пища, цынга, тяжести и издевательства быта.— Убийства на Голгофской горе.— История Голгофско-Распятского скита.— Эпидемии 1928 и 1929 годов на Соловках.— Проступание черт будущего архипелажного быта.— Дальние рабочие командировки.— Переход Соловков к экономической системе.— Прокладка материковых трактов.— Групповые казни за невыполнение нормы.— Обстановка работы.— Начало злокачественного распространения Соловков.— Меры расчуждения вольных и зэков.— Побеги с Соловков.— Книги о Соловках в Европе.— Приезд Горького на Соловки.— Эпизод в Кеми.— Осмотр лагеря.— Эпизод с мальчиком-правдолюбцем.— Горьковские похвалы Соловкам.— Мотивировки его поведения? — Массовый расстрел 15 октября 1929.— Сын священника Успенский.— Вид той ямы через 45 лет.— Эпоха Зарина.— Мор истинно-православных на Малом Заяцком острове.

Соловки бытовеют.— Воровки и проститутки.— Несовершеннолетние.— Перековка.— «Соревнование и ударничество» на Соловках.— Воровская «коммуна».— «От нас всё — нам ничего!» — Пятьдесят Восьмая вне трудколлективов.— Рассылка Пятьдесят Восьмой прочь с Соловков.— Зэки Новой Земли.

Глава 3 — АРХИПЕЛАГ ДАЁТ МЕТАСТАЗЫ

Архипелаг получает экономический смысл.— Постановление Совнаркома (1928) о расширении лагерей и бесплатности принудительных работ.— Соловецкий рак расползается по Северу.— Образование главных знаменитых лагерей.— Административная организация.— Лагеря по всем областям СССР.— Кому ближние, кому дальние.

Смягчение и замирание каторжных работ в последние десятилетия России.— Осмысленный труд арестантов в то время.— Ожесточение в советское время.— Нафталий Френкель, нерв ГУЛАГа.— Его долагерная и лагерная биография.— Открытие главных принципов ГУЛАГа.— Лицо.

Советская книга о Беломорканале.— Её история.— Как проходила поездка 120 писателей.— Некоторые из авторов.— Творческая установка Горького.— Точка зрения авторов.— Повторение официальных бредней.— Прославление ведущих чекистов канала.— Горький и чекисты.— На строительстве никто не умирает.— Человеческое сырьё.

Почему Сталин назначил Беломорско-Балтийский канал.— Темпы.— Объём работ.— Ни копейки валюты.— Жертвы канала, не подготовленные к тому.— Условия работы.— Пещерная техника.— Отличие от постройки пирамид.— Изобретательность инженеров.— Давление Ягоды.— Пропаганда и соцсоревнование.— Опора на блатных против социально-чуждых.— Торжество воровства.— Хаотический быт и хаотические рывки работы.— Тухта — орудие контрреволюции.— Штурм за штурмом.— Окончание канала. Прогулка вождей. Писателей.

Каким казался Беломор бывшим соловчанам.— А беженцам с Украины? — Скорость вымирания.— Сколько зэков на Архипелаге в начале 1933.— Вечер на канале по Витковскому.— Как на Беломоре сэкономили.— Увековечить убийц.— Моя прогулка близ Повенца. Разговор с охранником.— Непригодность и бездействие канала.

Что самое тяжёлое на каналах: изображать общественную жизнь.— Декларации воспитательной задачи.— Канал Москва — Волга. Соревнование и ударничество.— «У Волги нет выходных».— Политическое воспитание.— Насильственный труд как... внутренняя необходимость.— Техника Волгоканала.— Слёты ударников.— Однако и не перехваливать лагерь! — Материальные стимулы идейности.— Зачёты с применением классовых соображений.— Самозакрепление, когда деться некуда.— Оборотная сторона соревновательной шумихи.— Нелепый случай с кузнецом Парамоновым.— Работники юстиции осуждают зачёты.— Репрессии вместо льгот.— Коллективная ответственность.— Что такое лагерная бригада на самом деле.— Чистка в трудколлективе.— Песни каналоармейцев.— Что значит «чирикать».

Глава 4 — АРХИПЕЛАГ КАМЕНЕЕТ

Сталин, 1933: добить остатки умирающих классов.— Вступление в социализм через максимальное укрепление лагерей.— 1937 год был публично предсказан.— Взрыв населения Архипелага.— Окончательное ужесточение лагерного режима в 1937.— Военизация охраны.— Упразднение наблюдательных комиссий.— Лагерное начальство становится независимым от хозяйственного плана.— «В консервные банки обую!» — Эпидемии.— Урки — лагерные штурмовики.— Уменьшить количество заключённых.— Колыма, полюс жестокости Архипелага.— Что способен есть зэк.— Наказания невыполнившим нормы.— Карета смерти.— Изолятор по-колымски.— Просто из пистолета.— Назначение Гаранина.— Новые ужесточения.— Гаранинские расстрелы.— Расстрелы на Серпантинке.— Набавка сроков.— Свидетели Колымы.

Как отозвалось на Архипелаге начало советско-германской войны.— «До особого распоряжения».— И сверх него.— Питание военного времени.— «Кто в войну не сидел — тот и лагеря не отведал.» — Ложные оправдания лишений.— Наматывание вторых сроков.— Отправьте на фронт! — Сердечная широта.— Эксплуатация патриотизма.— Мамуловский лагерь в Ховрине.— Расправа с главным инженером.— Шаткая скудная жизнь в подмосковных лагерях.

А метастазы всё источаются.— Норильлаг.— Казахстанские лагеря.— Сибирские.— Северные.— Всеобластные.— Целыми сёлами в лагеря.— Сталинское задание Френкелю.— ГУЛЖДС.— Отраслевая перестройка ГУЛага.— Децентрализация управления в годы войны.— Френкель. Черты поведения.— Палачи умирают в почёте.

Глава 5 — НА ЧЁМ СТОИТ АРХИПЕЛАГ

Цесаревич-Свободный.— Экономическая потребность в лагерях.— Теоретическое обоснование их, начиная от Маркса.— Не вина, а классовая причинность. Не наказание, а мера социальной защиты.— И всё же как сочетать с исправлением.— Не для всех.— Легендарность Исправительно-трудового кодекса.— Статьи о запрете мучений.— Близорукие иностранные наблюдатели.— Наказанная девушка на вахте. Огонь.

Крепостные и зэки, сравнение быта.— Не в пользу зэков.— Расшифровка ВКП(б).

Поиски трудовых стимулов при коммунизме.— Три кита под Архипелагом.— Котловка. Что это значит.— Но если кто уклоняется от всяких стимулов.— Бригады и бригадиры.— Взаимоподдержка в некоторых бригадах.— Тогда каков и бригадир.— Какой же выход у людей? — Система двух начальств.— Особенности положения каждого.— Столкновение

двух плаиов.— Невраждебность иачальств между собою.— Государственное нормирование — и тухта.— Технические зэки, создающие тухту.— Как В. Г. Власов остоялся в лагерях.— Его фокус с несрублеиным лесом.— Как тухтили при комплексных бригадах.— Разрастание тухты.— Без тухты и аммоиала не построили б Канала.

Глава 6 — ФАШИСТОВ ПРИВЕЗЛИ!

Грузовиком по летнему Подмосковью.— Как глаза арестанта видят мир.— Пятьдесят восьмая — «фашисты».— Зона Новоиерусалимского лагерька.— Первая встреча с лагерной жизнью.— «Кто не работает — тот не ест!» — Первый день в лагере.— Назначение по военной косточке.— Командование в армии и командоваиие в лагере.— Расправа блатных с Акимовым.— Не умею руководить.— Мечта о деревенской жизни.— Ортодокс Матронина.— Я разжалован.— К чему приводит гордость военным мундиром.— Ингал и Кампесино.— «И снисхожденья вашего...»

Амнистированные бытовики ждут смеиу.— Система, не совместимая с великодушием.— Великая сталинская амнистия 7 июля 1945.— Как отнеслась она к дезертирам и к воинам.— Дело супругов Зубовых.— На амнистию — удвоением производительности.— Освобождение бытовиков из Нового Иерусалима.

Королева цеха.— Вагонетки в сушильную камеру.— «На трассе дождя не бывает».— Мечта барона Тузеибаха.— Юноши западные и восточные.— Морская глина.— Съём во тьме.

Глава 7 — ТУЗЕМНЫЙ БЫТ

Примеры лагериых работ.— Приёмы лесоповала.— «Сухой расстрел».— Тяжело ли было в «Мёртвом доме»? — Норма у декабристов и у Шаламова.— Лесоповал при прожекторах.— Работа ниже 50°.— Под-продукты лагерного питания.— Котловка.— Лучше кашки не доложь...— На развод бегом.— Питание на дореволюционной каторге.— А колхозники завидуют зэкам...— При хозрасчёте.— Как одевают туземцев Архипелага.— Как обувают.— Лагерные лица крупным плаиом.— Барак и вместо барака.— Когда жилое помещение необитаемо.— Насекомые.— Бригадный хлеб под конвоем.— Непостоянство жизни: этапы, перетасовки, обыски.— Член бригады. Неотдельность.— Начало нового лагеря зимой.

Снижение человека до животиого.— Что есть Голод.— Доходяги.— Виды умираний.— Зачем вспоминать? — Доходяга-теоретик.— Доходяжество — не крестьянский путь?

Как я пишу зту книгу, чувства и обстоятельства.— Лучшие книги у нас не известны вовремя.— Соотношение опытов Шаламова и моего.— Расхождение по санчасти.— Лагерная санчасть — звено угнетеиия.— Врач и посадка в карцер.— Врач и несчастный случай на производстве.— Комиссовки.— Санчасть и мостырки.— Ограниченность группы «В» и пути обхода.— Убогость лагерных больничек.— А как было при Достоевском? — Санчасть и лагерное питание.— Санчасть и труд — не противопоставление.— У Ивана Денисовича нет другого выхода, как трудиться.— Отдыхательный пункт и несправедливости.— Виды мостырок.— Актировка инвалидов.— Миллионные воры выкупаются.— Пятьдесят Восьмую не актируют.

Смерть как вид освобождения.— По скольку умирали.— Как обрабатывают мертвецов.— Похороны без гроба и без белья.— Кенгирское уничтоженное кладбище.— Сожжение лагерных дел.

Из песка верёвки вить.— Всё для себя.— Лагерная дружба.— Лагерная жена.— И родиая из свидаиии.— Лагерные бабы, указницы.— Настя Гуркииа и иностранные чемоданы.— Бухгалтер Шитарев.— Сроки за хлебные карточки.

Глава 8 — ЖЕНЩИНА В ЛАГЕРЕ

Приметы женщии в тюрьме.— Как женщины переносят тюрьму.— Забавы.— Лагерная нечистота.— Придурки выбирают среди приехавших женщин.— Выбор лёгкий и выбор тяжкий.— «Здесь все так живут».— Как сдалась М.— Сковорода жареной картошки.— Шалашовка.— Месиво жеиского барака в Кривощёкове.— Венерические.— Колымский «трамвай».— Работа женщины в смешаииой бригаде, в женской и на женском лагпункте.— Изневольное озорство.— Женщииы-бурлаки.— Как обезображивается женщина.— Крановщица Напольиая.— Если иет другой молодости, кроме лагерной.— Инструкция судам о разводе с заключёнными.— Разлучать сожительства.— Острота лагерной любви.— Риск и расплата.— Не всем.— Когда лагерная любовь шагает через проволоку.— Разлука от рождения ребёнка.— Уничижительный уклон в ззыьем языке.— Первый год ребёнка.— Детдом или дом? — Аборты выгодны для лагеря.— Проблема материнства для лагерницы.— Крестниы.— Частные амиистии для матерей.— Мамка на ташкентском вокзале.

Послевоенное отделение мужчин от женщин.— Утяжеление женских работ.— Учащение беременностей.— Соединение через колючую проволоку.— Постройка разделительных стен.— Переписка между незнакомыми.— Замужество с незнакомым.— Лесбиянки.— Новые чувства к оперуполномоченному.— Общее оценление как производственный стимул.

Глава 9 — ПРИДУРКИ

Кто называется так.— Как много их.— Выживают именно придурки.— Нерезкость классификации.— Преимущества хоздвора.— Лагерная шкала специальностей.— Зонные придурки и их привилегии.— Производственные придурки.— Почему Пятьдесят Восьмую надо снимать на общие.— И почему приходится брать её в придурки снова.— «Использовать только на общих.» — «Коммунистический Манифест» превзойдён.

Моральный аспект придурочьего положения.— Дискуссия о придурках и о работягах.— Павел Чульпенёв 7 лет на лесоповале.— Имеет ли право работяга не ненавидеть свой труд? — Кто держит Кащееву цепь? — Та же проблема во всём нашем обществе.— Зонные придурки, подбор по бессердечью.— Типы их.— Но и придурки вынуждаемы начальством.— Не прямо брали, так косвенно пользовались.— Как возвысился? как себя вёл? Если не вреден, то был ли полезен братии? — Выживанье — за чей-то счёт.

Аттестация саморассказом.— Как я стал «заведующим производством» и как слетел.— Комната уродов.— Генерал Беляев. Гордость в первом поколении.— Генерал МВД Зиновьев. Под спасительным крылом.— Доктор Правдин, перепуганный всемерть.— Интеллигенция по-советски.— Кто же истинно интеллигент? — Инженер Орачевский.— Бабочка, пережившая мороз.— Посажен за улыбку.— Мужик Прохоров, посажен за жалость.— И сам я был урод.— Что с генералом Беляевым дальше.— Москва под нами.— Я нынче в своём лагерьке на Калужской.

Кукос, инженер новой советской формации.— Как и какие они создались.— Судьба военного времени.— «Лёгкий завтрак».

Глава 10 — ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ

Политических отменили.— Народ — враг самому себе.— Анекдотические случаи посадок по 58-й.— Агитаторы неграмотные и глухонемые.— Ветлужец Максимов.— Дети.— Спиритический сеанс.— Смысл массового террора.— Фантастические обвинения.— Стандартный набор.— Донос, невидимый луч борьбы.— Спектр агитации.— 10-й пункт, общедоступный.— 12-й «знал — не сказал».— Случай с профессором Журавским.— И случаи, случаи...— Груша-пролетарка.— Чтение Есенина.— Пилот «Дугласа» и Эренбург.— И ещё другие.— Маркс в защиту гражданина.— Когда поверит Европа.

Политические обыватели.— Мешанина.— 58-я статья — простейший способ убрать.— Че-эСы, посадка семьями.— Пятьдесят Восьмая статья всё серей и робче.— Исправление бесцельно.— Теоретические основания, как содержать Пятьдесят Восьмую в лагерях.— Практические приёмы.— Стада неповинных. Угнетённость и разъединённость.— Политическая шпана.— «Заботьтесь только о себе!» — Японские офицеры на Ревучем.— Нам не давали осознаться.

Когда политических не стало, тогда-то они и появились.— Христиане в лагерях.— Безвестная гибель.— Архиерей Преображенский.— Войно-Ясенецкий, епископ Лука.— Инженер Пальчинский.— Академик Вавилов.— Профессор Родионов.— Загадка Якова Почтаря.— Политическая молодёжь с 1944.— Насколько теперь политическим надо смелости больше, чем до революции.— Группа Бакста — Тарантина.— Смелого ищи в тюрьме.— Троцкисты. Как сторонились социалистов.— Надрывный энтузиазм лагерных протестов.— Воркутская голодовка-забастовка троцкистов, 1936, и как их обманули.— Голодовка на 8-й воркутской шахте. Шатания блатных.

Глава 11 — БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ

Благомыслы, преданные коммунисты — политзаключённые ли? — Коммунисты без злорадства и претензий исключительности.— Авенир Борисов.— Борис Виноградов.— Николай Говорко.— Отпавшие.— Поддельные.— Ортодоксы — не работяги.— Бывший прокурор республики.— Сокрушение — от своих! — Протоколы съезда стахановцев.— Дочери не жить без комсомола.— Верность? — или кол на голове теши?

Набор 37-го года и легенда 37-го года.— П. Постышев о карательной политике.— «Чей переворот?» — Их объяснения посадок.— Сталин — незатменное солнце.— «Называть побольше фамилий».— Как они сами помогали сажать других.— Поздняя справедливость истории.— Из списка главных.— Никто не боролся против партии.— Коммунисты разрушили традиции политических.— Какими глазами видели лагерники свежий набор 37-го года.—

Неспособность и нежелание усваивать опыт жизни.— Взывания о помиловании.— Их уровень анализа событий.— Непробиваемость чугунных лбов.— Диалог с профессором-марксистом.— Поиграть «в товарищей».

Отношение благомыслов к лагерному режиму.— И не хотели и не могли бороться.— Кукиш в кармане.— Взаимоотношение их с лагерным начальством. Выпирают партийность. Всегда устроены.— И как сами же открыто пишут об этом.— Ортодоксы одобряют лагерный рабский труд, только не для себя.— Примеры, как они устраивались.— Коммунист Дьяков о себе.— Никто и не описан в полезном труде.— Ортодоксы не бегут и чужие побеги осуждают.— От Пятьдесят Восьмой отделяются — и даже ненавидят её.— Все пути их — к стукачеству.— Кадар, Гомулка, Гусак — из той компании.

Глава 12 — СТУК-СТУК-СТУК...

Сексот.— Стукач.— Зачем надо знать стукачей.— Как незагадочно, если представлять их лица.— Донос как помощь человеку и социализму.— Технические приёмы вербовки и встреч.— Отмычки для вербовки.— Степовой, солдат МВД.— «Нам нужно пять процентов правды».— Происхождение слова «кум».— Пометка «не вербовать».— Редкая расправа над стукачами в лагере.

Как неопытно я начинал срок.— Как меня вербовали.— Как трудно становиться человеком.— И ещё раз, когда уже смешно.

Самая сильная отмычка — судьба семьи.— Совет с тем самым, на кого и доносить.— Освобождение отталкиванием.— Освобождение Христовым именем.

Глава 13 — СДАВШИ ШКУРУ, СДАЙ ВТОРУЮ!

Второй лагерный срок.— Бей лежачего! — Регенерация сроков — форма жизни Архипелага.— Механическая подача второго срока без следствия.— Во время войны лагерное следствие — спасение кумовьёв.— Всюду заговоры! — Следствие Александра Бабича.— Берут — заметных.— Буреполомский набор по агитации.— Срок за Горького. Срок за Пушкина.— Даже лагерный арест как тяжёл.— Лагерная тюрьма. Воркутская «Тридцатка».— «Следственная палатка».— Следственная тюрьма Оротукана.— Скученность Серпантинки.— Лагколлегия, лагерный суд.— И снова на работу.

Лагерный расстрелы 1938 года — кашкетинские, гаранинские.— На Старом Кирпичном заводе.— Глумление блатных.— Расстрел-фантазия.— Пощажённые.— Расстрелы малых групп.— «Если вы когда-нибудь выйдете — расскажите!...» — Расстрел в ущелье у реки Усы.— Судьба расстрельщиков и самого Кашкетина.— Закопка живых на Адаке.

Глава 14 — МЕНЯТЬ СУДЬБУ!

«Зелёный прокурор».— Постоянные побеги — энергия зэков не утеряна.— Порыв первого года.— Одинокая цифра.— С ростом Архипелага и труда — ослабленье охраны.— Усть-вымьлаг, 1939.— Побеги в самой Москве.— Цепи: отданность рабскому положению; голод; угроза нового срока.— Стоит ли бежать вору? — Враки блатных о несовершённых побегах.— Бесконвойность как помеха побегу.— Как якуты увозили зэков с Колымы.— Враждебность окружного населения к беглецам. Награды за поимку.— Предатели геологи.— Издевательства над пойманным.— Избить, искалечить, убить.— Расправа Петра Ломаги.— А кто поможет в конце побега? — На бревне по Индигирке.— Смерть в тайге.— Провокации побегов, для пользы оперов.— Но беглец и стращен встречным.— Разоруженья охраны.— Групповой побег поездом узкоколейки, близ станции Решёты.— Об успешных побегах по поздним провалам.— Под руку с лётчиком мимо охраны.— Пешком от Перми до Латвии.— Побег старика-анекдотчика, через дно вагона на ходу.— Побег Чеботарёва близ Балхаша.— Затравленная жизнь, скрывания, поиски.— Два слова по-китайски и расстрел.— Какие бывают разоблачения.— За помощь в атомной бомбе — на Колыму.— И удавшийся побег — ещё не свобода.— Побеги за границу.— Побег Тайшет — Красноводск — Вена.— И как это всё прахом.— Изломы жизни инженера Аникина.— Групповые побеги.— Всех не перечесть.

Глава 15 — ШИзо, БУРы, ЗУРы

Торжественный отказ от карцеров в раннесоветские годы.— За что даётся штрафной изолятор.— До года.— Каков он.— Карцер-сруб и карцер-яма.— Раздеванье до белья.— Преимущества блатных.— БУР и приписанные к нему.— БУР-барак и БУР-каменная тюрьма.— Экибастузский БУР.— Глотать столовую ложку, повеситься, сделать гангрену.— Черты ЗУРа.— Виды штрафных работ.— За что посылали в штрафные зоны.— Впечатления

Ирины Нагель.— Зоны, штрафные и для надзора.— Вор вором губится.— Воркутский известковый завод.— ОЛП Ревучий.— Когда Пятьдесят Восьмая может убивать блатных.— Довóд на Ревучем.— Людоедство.

Глава 16 — СОЦИАЛЬНО-БЛИЗКИЕ

Воспевание блатных в мировой литературе.— И, разумеется, в советской.— Блатной певец на Калужской заставе.— Удержание уголовников в узде до революции.— Рассвобождение в год революций.— Беспризорники, сироты гражданской войны.— Чекисты и урки, кто кого перевоспитал? — Пункты жизненной психологии блатного.— Почему они не воруют у государства.— Как их натравили на частные грабежи.— Социалистическое государство против лошади и собаки.— Ловить ли воров? судить ли их? — Амнистия 1953 года, воровская свобода.— «Предел необходимой обороны».— Государство не защищает граждан.— Как помогает преступнику советская боязнь гласности.— «Довеска» несовершённых преступлений. Дело Петра Кизилова.— Кто вступится за справедливость — раскается осьмижды.

Как «социально-близкие» выводятся из классовой теории.— Как им втолковывают.— «Использовать лучшие свойства блатных».— Блатные — владетели наших жизней.— Блатная администрация вместо чекистской.— На производстве — за счёт Пятьдесят Восьмой.— Береговая на Волгоканале.— Зверства «честных воров».— За порогом злодейства?

Слово в защиту блатных.— Почему им не пользоваться плодами своей непокорности? — Жить везде.— Виды татуировок.— Наркотики.— Всё — своё.— Как далеко заходят карты.— Почему они должны любить труд? — Блатные и отечественная война.— Честь блатных — не укреплять тюрьму.— Рассказ Томаса Сговио. Расправа на вахте.— Блатные рóманы.— Фальшь и бред драматурга Погодина.— Иерархия паханов.— Правúлки.— Несовместимость с «фраерским» миром.— Крытки сломали хребет блатного мира.

Глава 17 — МАЛОЛЕТКИ

20-е годы. Тюрьмы для несовершеннолетних, трудкоммуны, ФЗУ особого типа.— Статья о наказании с 12-летнего возраста.— Половина Архипелага — дети Октября.— Сталин вводит для 12-летних полную катушку и расстрел.— Череда отягчающих указов.— За детскую неосторожность — вплоть до расстрела.— Глазами английских левых.— Колосья, картошка. Рассыпанное зерно. Яблоки из сада.— Чего может натерпеться подросток и за 6 месяцев.— Рождение слова «малолетка».— Всачиванье в лагерную жизнь.— Перехват хищничества.— Два способа содержания малолеток.— История Юры Ермолова.— Ограбление и подавление малолеток воспитателями.— Малолетки борются коллективом.— Пропаганда отскакивает от них.— Безнаказанность протестов.— Дерзость.— Ранняя эротика.— Условия в смешанных колониях.— Идеал — стать вором.— Почему киевский мальчик не воровал при немцах.— Непобедимость банды.— Ограбления стариков.— Торговля с вольными.— Динамичные забавы.— Обозление инвалидов.— Оптимальный способ оскотинить ребёнка.— Лихо только начать. Многосрочники.— 20 лет сталинских законов.

Малолетки по 58-й.— Шестилетний.— Ейские девочки.— Хостинские сироты.— Галя Венедиктова.— «Дочь изменника родины».— Дети, оставшиеся от ареста родителей.— Дети вослед за родителями.— Дело Нины Перегуд.— Растлители душ.— Стойкость Зои Лещевой.— Отбитая сталинская голова.— Отзовись, та страна...

Глава 18 — МУЗЫ В ГУЛАГе

Никто никогда не перевоспитался через КВЧ.— Назначение КВЧ.— Функции воспитателя.— Донять человека и в лагере, «чем живёт страна».— Оптимизм карусельного типа.— Муза лозунгов.— Живгазеты, скетчи, агитбригады.— Товарищеские суды.— Не предоставлять лагерника самому себе.— Лагерные газеты.— Всё кануло. Ледниковый период.— Воркутские мёртвые клумбы.— А кому бы нáм написать? — Что осталось при КВЧ.

Изобретательство как форма побега.— Трушляков.— Вынужденные технические показания пленных немцев.— Политический изобретает охрану лагеря.— Проект РАЯ.— Александр Чижевский.— Лагерная судьба Константина Страховича.— А других — откуда нам узнать?..

На огонёк КВЧ.— Лёва Г-ман.— Профессор Доватур.— Камилл Гонтуар.— Художники в лагере.— Кандалами музыка пахнет.— Поэты для карикатур.— А прозаиков не бывает.— Надгробное слово русской прозе.— Четыре возможных сферы мировой литературы.— Небывалое слияние опытов и гибель его.

Художественная самодеятельность.— Хор.— Крепостные артисты.— Что приманивает их.— «Только внутри ГУЛАГа».— Патриотический скандал в патриотической пьесе.— Судьба Николая Давиденкова.— Никаких «сомнений»! — «А судьи кто?» — Крепостные труппы

и театры.— Судьба известных советских артистов.— Двойное перевоплощение актёра-зэка.— Труппа московского управления лагерей.— Танец Изольды Глазнек.— Освальд Глазнек над разрушенной жизнью.— Никогда не знаем, где удача, где гибель.— Наша самодеятельность на Калужской заставе.

Глава 19 — ЗЭКИ КАК НАЦИЯ

Зэки как класс.— Зэки как биологический тип? — Определение нации по Сталину.— Зэки более чем удовлетворяют.— Матерщина как ядро языка.— Проблема деторождения.— Происхождение слова «зэк».

Климат Архипелага.— Внешний вид туземцев.— Речевая манера зэков.— Энергичность языка. Оемляющая манера.— Звонкий, тонкий и прозрачный.— Национальный тип зэка.

Отношение к казённой работе.— Жизненные правила зэков и старые крепостные пословицы.— Отношение к начальству.— Не тянутся за похвалой.— Перепрокинутая шкала ценностей.— Не любят своих островов.— Преувеличенное значение пайки, махорки и баланды.— Отказ от семейной жизни.— Виртуозное умение спать.— Жизненный напор.— Совесть? в личном деле.— Темниловка.— Добросовестность в частных обязательствах.— Скрытность.— «Закон-тайга».— Сыны ГУЛАГа.— Заповеди зэков.— Не суй носа в чужой котелок. Как это понимать.— Не верь, не бойся, не проси.— Душевная уравновешенность.— Настроенность на худшее.— Притупленность чувств.— Фатализм.— Жизнелюбие.— И дай Бог всякому такой жизни.— Легковерие.— Вера в Амнистию.— Жажда справедливости.— Миф о помиловании Каплан.— Рассказы о прошлом. «Как попал».— Незыблемость прошедшего.— Рассказы о зэчьей ловкости.— Юмор.— Медведи и социализм.— Язык блатных в языке зэков.— Язык зэков в языке воли.— Некоторые корни жаргона в дореволюционном языке.— От Фан Фаныча.

Глава 20 — ПСОВАЯ СЛУЖБА

Служба, связанная с собаками.— А как их называть? — Генералы ГУЛага. Завенягин. Антонов.— Почему мы не всматриваемся в тюремщиков.— Моральный отбор в МВД.— Лицемерный совет Дзержинского.— «Старый чекист».— Разница между чекистом и лагерщиком.— Обучение лагерщиков в 20-х — 30-х годах.— Человеколюбия не получилось.— Общие черты лагерщиков.— Безграничная власть.— Во всём превосходство.— Спесь.— Тупость.— Вот моё поместье, и я пролетарий.— Бездарность.— Самодурство.— Уроки пения от крепостного.— Ощущение вотчины.— Универсальное стяжательство.— Их преимущества по самой службе.— Использование прислуги и обслуги.— Воровство из пайка заключённых.— Воровство по лагерному хозяйству, использование хоздвора.— Воровство с производства.— Похоть и возможности её.— Злость и жестокость.— «Здесь телеграфные провода кончились!» — Садизм.— Почему выражение недовольное? — Как же умело отбирают их из человечества! — Расправа с медсестрою в Ахтме.— Перечень палачей.— Трофеи и попойки Мамулова.— Примеры хороших лагерщиков.— Подполковник Цуканов.— Свидетельство об инженер-полковнике Мальцеве.— «Хорошие» лагерщики в понимании благонамеренных.— Тогда хороши, когда в лагерь садятся.

Гулаговские унтеры.— Те же качества в уменьшенном виде.— Сочувственные надзиратели.— Надзиратели-ветераны.— Призванные военного времени.— Старшина Ткач в Экибастузе.

Вохра и виды её служб.— Конвой и убивши прав.— Беспрекословность отношений с зэками.— Произвол офицеров вохры.— Как сгорели лагпункты на реке Вишере.— Военкоматский отбор конвойных войск.— Размягчение состава вохры в годы советско-германской войны.— Стрелок вохры Самшель.— И служба — «срок».— Конвоиры и женщины на женских лагпунктах.— Самоохрана. Её жестокость.— Самоохранник Кузьма.— Самоохранник Лунин.

Глава 21 — ПРИЛАГЕРНЫЙ МИР

Передаточная зона вокруг лагерей.— Распространение лагерных элементов на весь Союз.

Посёлки прилагерного мира и их дальнейшая судьба.— Кизел.— Караганда.— Категории жителей прилагерного мира.— Какие вольняшки стягиваются сюда.— Вольняшки-работяги. Взаимные услуги зэков с ними.— Когда лагерь в крупном городе. Ещё о «двухэтажных деньгах».— Вольные десятники.— Сын пьяницы и сын крепкого мужика.— Фёдор Муравлёв, председатель месткома.— Прораб Буслов.— Фёдор Горшков, старый десятник.— Воспоминания о дореволюционных порядках.

Ревнивые разгородки среди верхов вольняшечьего посёлка.— Поселковые нравы.— Страсти скудной жизни.— И то же наблюдение и беззаконие надо всеми.— Наша столица глазами якута.

Глава 22 — МЫ СТРОИМ

Выгоден ли государству труд заключённых.— Высказывание Молотова.— Расчленение вопроса.— Политический и социальный расчёт.— Экономика впереди политики.— Для работ унизительных, особо-тяжёлых или неподготовленных.— Примеры таких работ.— Незаменимость бесплатной силы.— Задача самоокупаемости лагерей.— Как её нагнетали в начале 30-х годов.— Помехи тому. Нерадивость заключённых.— Воровство вольных.— Окупить лагерный аппарат.— Инженерные стеснения.— Ошибки руководства.— Прихоти социалистического планирования (Талага, Усть-Вымь).— Брошенные железные дороги.— Когда лагерю выгодней считать зэков больными.— Быть Хозяином вотчины.— Как обойти френкелевскую гребёнку? — Воскресные работы в жилой зоне.— Приписывание выхода.— Хоздвор, основанный на воровстве.— Преимущества там для работяг.— Чудеса кенгирского хоздвора.— Как строили наши прадеды и как мы.— А всё-таки она вертится!

Начало списка строительств и производств, где работали зэки.— Кто бы составил карту Архипелага — и как её составить?..— Тысячи неизвестных лагпунктов.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ — ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Глава 1 — ВОСХОЖДЕНИЕ

Ощутимая длительность — для размышлений.— Угрызений совести не знает Архипелаг.— Почти поголовное сознание невиновности.— Редкость лагерных самоубийств.— Несколько случаев их.— Большая сила воли или малая? — Чувство всеобщей правоты, народного испытания.

Очищение мыслей с тюремными годами.— Пойдёшь направо, пойдёшь налево...— Самоприказ «дожить!» — Те, кто не хотят меняться.— Благотворные перерождения в тюрьме.— А в лагере? — Семинар предсмертников.— Любить жизнь — так и самую тяжкую.— Когда мысль о свободе становится насильственной.

Лагерная свобода от казённого лицемерия.— Свобода от житейских забот.— Важен результат? — Нет, важен дух.— Эта проблема в лагере.— Гордость работой рук и успокоение от неё.

Развитие чувств в неожиданном направлении.— Мы подымаемся.— Не радуйся нашедши, не плачь потеряв.— Пересмотр бывшей жизни.— Завещание и смерть Бориса Корнфельда.— Как можно найти в этом правиле всеобщий смысл.— Высший Смысл объясняется нам всегда позже.— Линия между Добром и Злом.— Религии и революции.— Судить идею, а не людей.— Теребящие размышления над собой.— Благословение тебе, тюрьма!

Глава 2 — ИЛИ РАСТЛЕНИЕ?

Шаламов об отмирании в лагере человеческих чувств.— В тюрьме — моральная работа, а выживание — не за счёт других.— Лагерь — свалка, ненависть.— Зависть.— Страх.— Душевный лишай.— Множественность примеров.— Даже когда это нам без надобности (Чульпенёв).— Науськивание.— Самоохрана.— Самоугнетение.— Суть в отступлениях от закономерности.— Твёрдость верующих.— Тётя Дуся Чмиль.— Григорий Иванович Григорьев.— Не растлеваются, у кого есть нравственное ядро.— Растление не идёт без восхождения.

«Исправление»? — Только не оно в советских лагерях.— А если человеку не от чего исправляться? — Неравность «равных» наказаний.

Глава 3 — ЗАМОРДОВАННАЯ ВОЛЯ

Что значит носить опухоль.— Признаки вольной жизни тех лет.— Постоянный страх ареста, чистки, притеснений, анкет.— Совет чекиста в окошечко.— Прикреплённость к месту.— Скрытность советского человека — его спасение.— Когда скрывают от жены, от отца.— Когда не верят честным движениям.— Когда даже бесполезно сказать вслух.— Всеобщее незнание, абсолютная негласность.— Избыточная вербовка стукачей. Чего этим достигали.— Предательство как форма существования.— Все отворачиваются от преследуемых.— Черты некоторых знаменитостей.— Мальчишка, сбежавший на вокзале.— А кто услуживал в преследованиях? — Предательства внутри семей.— Не всем на Земле достаётся

НЕКОТОРЫЕ ТЮРЕМНО-ЛАГЕРНЫЕ ТЕРМИНЫ

актировка — официальиая коистатация (специальной комиссией), что состояние здоровья данного ззка делает затруднительным дальнейшее отбывание им срока; (обычно — канун смерти, полная обречённость)

бала́ны — бревиа (при сплавных и траиспортных работах)

бациллы — (блати. *) жиры

блатной, блатарь, блатняк, урка — вор, уголовник, ведущий жизнь по воровскому кодексу

б/у — бывший в употреблении (казёниое бухгалтерское сокращение)

БУР — барак усиленного режима, внутрилагерная тюрьма

бытовик — осужденный по уголовной статье, но не принадлежащий к уголовному миру

вагонка — плотницкое устройство для спаиья четырёх в два зтажа

с вещами — тюремная команда, означающая, что арестант полностью уходит нз зтой камеры

вкалывать, горбить — работать невпритвор, бессмыслеино растрачиваться в казённой работе

вохра (охра), вохровцы — лагерная полувоенизнрованная охрана

под вышкой — в ожидаиии казни («вышка»—«высшая мера», смертный приговор)

гарантийка — хлебиая пайка, гарантнрованная при отсутствии работы (на пересылках, в этапах, карантинах, иногда в лагерях), обычио от 450 до 650 граммов; обессмысливая трудное слово, называли и «карантинкой»

горбушка — лагерная хлебная пайка (не непременно буквально горбушка, скорей: заработаиная горбом)

гумозница — ругательная клнчка лагернныц-доходячки

ДОПР — дом принудительных работ, один из типов рание-советских тюрем

доходить (доходяга) — слабеть, опухать, близиться к смерти от плохого питаиия и тяжёлой работы

дать (врезать) дубаря́ (дуба) — умереть

заблатниться — заделаться блатным

в законе — 1) (блатн.) быть в законе—состоять в воровском закоие и «законно» ие работать; 2) жить в законе (лаг.)—о мужчине и женщине, состоять в лагерном браке, при молчаливой снисходительности иачальства

закосить — прнсвонть хитрым способом, утаить от контроля и учёта (порцию еды, предмет одежды, не отработать рабочего дня)

заначка — место упрятки или самое действне упрятанья

зачёты — система (бытовавшая в лагере лишь иногда), при которой проработанный день засчитывается больше чем деиь срока

ИТК — «исправительио-трудовая» колония

ИТЛ — «исправительио-трудовой» лагерь

кантоваться, филонить — жить «деиь до вечера»; отбывая срок, стараться не работать

---

* Пометка (блатн.) оставлена лишь при блатных словах, менее перенятых лагерем. Весь остальной лагерный жаргон — тоже от блатных.

катушка — полный срок (высший по данной статье или наиболее распространённый в данный период ГУЛАГа)

ка́эры — «контрреволюционеры»; в 20-е годы административное название всех политических, кроме социалистов

КВО — «культурно-воспитательный» отдел, административная ступень на КВЧ

КВЧ — «культурно-воспитательная» часть, отдел лагерной администрации

комиссовка — периодическая (квартальная, полугодовая) лагерная процедура, когда медицинская комиссия фиксирует степень годности каждого зэка к физическому труду (устанавливая, как правило, завышенную, непосильную)

кондей — см. **ШИзо**

кормушка — прорезь в камерной двери с отпадающим как столик заслоном

костыль — (блатн.) пайка (особенно тюремная, маленькая), то последнее, что ещё поддерживает гибнущую жизнь

КПЗ — камеры предварительного заключения — мелкая местная тюрьма, при многих ж-д станциях, в портах, в малых населённых пунктах

кум — оперуполномоченный; чекист, следящий за настроением и намерениями заключённых, ведающий осведомительством и лагерными следственными делами

куро́чить — (блатн.) отнимать еду, одежду, вещи, особенно — полученные в посылке; отбирать ценное

лишенцы, лишенники — лишенные избирательных прав — форма административного утеснения нежелательных социальных элементов в 20-е годы

малина — (блатн.) воровской притон

мантулить — (блатн.) см. **вкалывать**

мостырка — искусственно созданная видимость болезни или увечья, для того, чтобы получить освобождение от работы или льготу

мостырщик — кто учинил себе мостырку

намордник — 1) тюремное наоконное устройство, загораживающее вид из окна; 2) лишение гражданских прав после отбытия тюремного лагерного срока

наседка — осведомитель, подсаженный в тюремную камеру

общие — основные работы по профилю данного лагеря, где работает большинство зэков и условия наиболее тяжёлые

отрицаловка — зэки (большей частью блатные), отказывающиеся выполнять требования лагерной администрации

параша — 1) тюремный камерный сосуд для нечистот; 2) всякая посуда сомнительной чистоты; 3) лагерный слух

паханы — вожди блатных, разных степеней

на подсосе — (блатн.) на последних запасах еды (или курева), ища, где разжиться

поли́т — в 20-е годы: политический, признанный в таковом качестве советской властью (социалист)

полуцвет, полуцветные, жуковатые — приблатнённые; кто тянется в блатные, перенимает их закон

помпобыт — «помощник по быту», лагерная комендантская должность, придурок в помощь надзору

с понтом, для понта — как если бы; для показа; делая важный вид

ППЧ — планово-производственная часть, отдел лагерной администрации

придурок — заключённый, устроившийся так, чтобы не работать руками (более лёгкая, привилегированная работа)

пропускник — бесконвойный заключенный, ходящий на работу по отдельному пропуску

свистеть — рассказывать небылицы

сельхоз — сельскохозяйственная лагерная точка, командировка

си́дор — мешок (особенно — с продуктами)

сосаловка — доходиловка, безнадежно-голодный лагерь

ссучиться — (блатн.) стать «сукой»

суки — (блатн.) блатные, отступившие от воровского закона, сотрудничающие с лагерным начальством

темнить (темниловка) — делать вид, притворяться, особенно — изображать рабочее состояние

тискать ро́ман — (блатн.) рассказывать в камере авантюрно-любовную историю
тухта — чего на самом деле нет, особенно выдуманный объём работ
УИТЛК — управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (обычно — на уровне области)
УК — уголовный кодекс
урки — см. **блатной**
УРЧ — учётно-распределительная часть, отдел лагерной администрации
филонить (филон) — см. **кантоваться**
фитиль — доходяга, сильно ослабший человек, еле на ногах (уже не держится прямо, отсюда сравнение)
фраер — (блатн.), всякий, не принадлежащий к блатному миру
на цырлах — одновременно: на цыпочках, стремительно и со всем усердием
чернуху раскидывать — то же, что «темнить», особенно — ложь в рассказе
чифирь — чрезмерно крепкий чай, пьётся как вид наркотика
шестёрка — кого держат для мелких услуг
ШИЗо — лагерный карцер
шмон — обыск

ОГЛАВЛЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

Малое собрание сочинений, том 6

Архипелаг ГУЛАГ, том 2

Части III—IV

Редактор В. М. БОРИСОВ
Художественный редактор Л. Б. ФИЛИППОВА
Художник И. А. ШЕИН
Технический редактор С. Я. ШКЛЯР
Корректоры Е. Б. ФРУНЗЕ, С. Л. ЛУКОНИНА

Сдано в набор 18.03.91. Подписано в печать 15.08.91. Формат 60 х 84/16.
Бумага газетная. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 25,11. Усл. кр.-отт. 25,71. Уч.-изд. л. 33,8. Тираж 1 100 000 (3-й з-д 500 001—750 000) экз.
Заказ 2206. Цена 12 руб.

ИНКОМ НВ

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

12 р.


6
Александр Солженицын
АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ